*Джузеппе БЕРТИ*

# ДЕМОКРАТЫ и СОЦИАЛИСТЫ В ПЕРИОД РИСОРДЖИМЕНТО

Перевод с итальянского *В.С.Бондарчука, Т.С.Злочевской*

под ред. *К.Ф.Мизиано*

Москва: «Прогресс». 1965

ОГЛАВЛЕНИЕ

**От издательства**
**К русскому читателю**
**От автора**
Глава I. **Итальянская демократическая мысль в первой половине XIX века**
Глава II. **Радикальные идеи социальной реформы в Королевстве обеих Сицилий до 1850 года**
***I. Общество карбонариев и неокарбонарские организации***
***II. Демократизм и утопический социализм***
Глава III. **Идейное формирование Карло Пизакане и его теория социальной революции**
Глава IV. **Пизакане. От работы над «Очерками» к соглашению с Мадзини**
Глава V. **Кризис «Партии действия» и «инициатива Юга»**
Глава VI. **Решающие годы (1856—1860)**

Веб-публикация: библиотека Vive Liberta и Век Просвещения, 2010. **Скан разделен на 7 файлов, ссылки для скачивания в нашей библиотеке или в сообществе: http://www.diary.ru/~vive-liberta/p120414416.htm.**
Тематические ссылки даны нами.

*М.Ковальская*. Движение карбонариев в Италии 1808-1821 гг.
текст: http://vive-liberta.narod.ru/biblio/carbonnari.pdf
иллюстрации, дополнения: http://www.diary.ru/~vive-liberta/p73551112.htm

*М.Ковальская*. Италия в борьбе за национальную независимость и единство. От революции 1831 г. к революции 1848-1849 гг.
текст: http://vive-liberta.narod.ru/biblio/risorgimento_kovalskaya.pdf
иллюстрации, дополнения: http://www.diary.ru/~vive-liberta/p120414416.htm

*И.Полуяхтова*. История итальянской литературы 19 в. Эпоха Рисорджименто
текст: http://vive-liberta.narod.ru/biblio/lit_risorgimento.pdf
иллюстрации, дополнения: http://www.diary.ru/~vive-liberta/p78170179.htm

*Феличе Орсини*. Мемуары (с комментариями и статьей Г.Сандомирского)
http://vive-liberta.narod.ru/doc/orsini.pdf

Либерализм Запада 17-20 вв.
http://www.diary.ru/~vive-liberta/p55932199.htm
http://www.diary.ru/~vive-liberta/p57232261.htm

*А.Иоаннисян*. Революция 1848 года во Франции и коммунизм
http://www.diary.ru/~vive-liberta/p113481602.htm#410334653

*В.Волгин*. Очерки истории социалистических идей с древности до конца XVIII в.
http://enlightment2005.narod.ru/science/volg_soc4.pdf

*В.Волгин*. Очерки истории социалистических идей. Перв.половина 19 в.
http://vive-liberta.narod.ru/biblio/volgin7.pdf

*В.Волгин*. Сен-Симон и сенсимонизм
http://vive-liberta.narod.ru/biblio/volgin_s-simon.pdf

*Г.Кучеренко*. Сен-симонизм в общественной мысли XIX в.
http://vive-liberta.narod.ru/biblio/stsimon_kucherenko.pdf

*П.Луи*. Французские утописты: Луи Блан, Видаль, Пекер, Кабе, с отрывками из их произведений / пер. с франц. Е.Успенской под ред и с предисл.М.Зеликмана
http://vive-liberta.narod.ru/biblio/p-louis_blanc_vidal_pecquer_cabet.pdf

*Ф.Буонарроти*. Заговор во имя Равенства / вступит.статья В.П.Волгина, комментарии В.М.Далина
http://vive-liberta.narod.ru/doc/buon1.pdf
http://vive-liberta.narod.ru/doc/buon2.pdf

*Теодор Дезами*. Кодекс общности / Перевод с франц. Э.А.Желубовской и Ф.Б.Шуваевой). Комментарии В.С.Алексеева-Попова. Вступительная статья В.П.Волгина
http://vive-liberta.narod.ru/doc/t-dezamy_code-comm.pdf

Изложение учения Сен-Симона / вступит.статья В.П.Волгина
http://vive-liberta.narod.ru/doc/st-simon.pdf

**Подборки материалов о 1830-1849 гг. (от Июльской революции во Франции до европейских революций 1848-49 гг.)**
**http://www.diary.ru/~vive-liberta/p119138462.htm**
**http://www.diary.ru/~vive-liberta/p113481602.htm**

См. также записи с темой «Италия» в нашем сообществе:
http://www.diary.ru/~vive-liberta/?tag=8099
Ссылки на материалы о Джузеппе Мадзини: http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref4.htm#madz
о Джузеппе Гарибальди: http://vive-liberta.narod.ru/ref/ref4.htm#garb

## *От Издательства*

Новая книга итальянского историка-марксиста Дж. Берти посвящена истории итальянского национально-освободительного, революционного движения XIX века, и прежде всего роли итальянской демократии в вековой борьбе за национальное объединение и прогрессивное развитие Италии.

Автор дает глубокий анализ идейных концепций и политической деятельности итальянских демократов эпохи Рисорджименто в их диалектической взаимосвязи. Ставя перед собой один из главных вопросов, выдвигаемых историей Рисорджименто, а именно: почему левому демократическому течению не удалось стать подлинным гегемоном национально-освободительного движения, почему оно было отодвинуто либералами и Савойской династией с политической авансцены, автор, отвечая на этот вопрос, рассматривает весь исторический процесс в целом, анализируя позиции отдельных политических сил, взаимоотношения демократии и масс.

По-новому оценивает Дж. Берти сущность теоретической и политической деятельности Мадзини, глубже, чем кто-либо иной, анализирует идейную систему Карло Пизакане, рассматривая ее не как изолированное явление, а как составную часть, хотя и самую значительную, социалистического течения в итальянской демократической мысли периода Рисорджименто.

Этому течению — различным утопическо-социалистическим концепциям — в книге уделяется огромное внимание, и читатель убеждается в том, что вклад итальянской мысли в развитие утопического социализма куда более значителен, чем это принято было считать до сих пор.

Достоинства данной книги в том, что она показывает развитие социальной и социалистической мысли Италии не изолированно, а во взаимосвязи и взаимодействии с крупнейшими общественными явлениями европейской истории, с одной стороны, и идейными системами передовых европейских мыслителей, Сен-Симона, Фурье, Сисмонди, Прудона, Герцена,— с другой. Особый интерес представляют разделы книги, где автор сопоставляет и анализирует учение Сен-Симона и доктрину Мадзини, взгляды Прудона и систему Пизакане. Для советских же читателей исключительно интересны страницы, посвященные идейным связям между итальянской и русской общественной мыслью, и прежде всего между концепциями Герцена и Пизакане.

Мысль о перерастании наиболее радикальных, буржуазно-демократических идей в социалистические, о неразрывной связи демократизма и социализма проходит красной нитью через всю книгу. Таким образом, Дж. Берти вскрывает идейные и политические истоки итальянского рабочего движения и социализма 70—80-х годов XIX века.

Выход в свет на русском языке этого нового научного труда Дж. Берти, переработанного для русского издания самим автором, вызовет несомненный интерес советских читателей и послужит делу дальнейшего сближения советских людей и прогрессивных сил Италии в их борьбе за мир и дружбу народов.

## *К русскому читателю*

Если Грамши и Тольятти обнаруживали столь значительный интерес к изучению истории Рисорджименто, то это объясняется тем, что именно в ту эпоху начинается история Италии как нации и классовая борьба развертывается уже не в ограниченных, местных рамках, не в границах небольших государств, на которые была разделена Италия в первой половине XIX века, а в национальном масштабе и при наличии зрелого европейского сознания.

Таким образом, в эпоху движения Рисорджименто наряду с национальным вопросом были поставлены, хотя еще и в зачаточной форме, все проблемы, с которыми спустя столетие столкнулся итальянский пролетариат, уже достигший зрелости и осознавший собственные цели.

Как совершить переход от демократии к социализму? Эта центральная проблема, которая ныне волнует итальянский рабочий класс,— поиски того, что мы называем «итальянским путем к социализму»,— является в конечном счете проблемой, над разрешением которой с начала XIX века билась мысль многих демократов эпохи Рисорджименто, придерживавшихся крайне левых взглядов, причем не только самых известных, самых выдающихся деятелей, таких, как Пизакане, Мадзини, Феррари, но и многих менее известных демократов, воззрения которых мы стремились исследовать. Движение Рисорджименто рассматривается нами, таким образом, под определенным углом зрения — в качестве исторической предпосылки современных проблем. Мы надеемся поэтому, что наша работа может представлять актуальный интерес также для советских читателей.

*ДЖУЗЕППЕ БЕРТИ*

Москва, 12 октября 1964 года

## *От автора*

Предлагаемая на суд читателя работа, велик ли, мал ли ее научный интерес, является итогом долгого и тщательного исследования, покоящегося на базе широких архивных изысканий, а также на материалах и набросках давних лет. Эти наброски были сделаны в связи с тем, что мы пытались уяснить себе, как и почему после объединения Италии часть демократов, возглавлявших национальное движение за объединение, посвятила себя организации рабочего движения и разрешению того «социального вопроса», который до 1860 года фигурировал в их программах главным образом как некое общее положение. Поэтому особое внимание мы уделяли Мадзини, Пизакане и социально-демократическим течениям на Юге Италии.

В течение многих лет заметки эти оставались неиспользованными как потому, что они не вполне удовлетворяли нас, так и потому, что мы ощущали необходимость более широкой документации. Нам казалось, например, что Пизакане можно вполне понять только в рамках всего демократического движения в Королевстве обеих Сицилий, а для изучения этого движения требовалась длительная, кропотливая работа в архивах Неаполитанской провинции, Апулии, Калабрии и Сицилии. Но это далеко не все. На наш взгляд, чтобы понять, как конкретно протекал кризис «Партии действия» в период между 1848—1849 годами и 1860 годом, и выяснить его причины, нужно было установить прежде всего, каким образом принцип национальности восторжествовал в Италии, а также установить те причины, которые позволили умеренным в определенный момент захватить и прочно удерживать в своих руках бразды объединительного движения, используя демократов как подчиненную силу.

Все эти обстоятельства побудили нас временно отложить указанные наброски и материалы (которые были уже частично обработаны нами) и попытаться осуществить, так сказать, предварительное исследование — органическое и обстоятельное,— посвященное международным условиям, которые сделали возможным создание в Италии единого государства.

Главное внимание в этой работе мы уделили политической и дипломатической деятельности представителей старого и нового правящего класса Пьемонта — от Де Местра, Валлеза, Котти ди Брузаско и Соларо делла Маргарита до д'Адзелио и Кавура.

Только после того, как эта первоначальная работа была завершена (пусть даже под определенным углом зрения — изучения дипломатических отношений между Россией и итальянскими государствами), мы наконец почувствовали себя достаточно подготовленными, чтобы возобновить и довести до конца ранее начатое исследование и дать более обоснованную, углубленную интерпретацию истории «Партии действия» на кульминационном этапе итальянского национально-освободительного движения.

*ДЖУЗЕППЕ БЕРТИ*

**Рим, 30 июня 1961 года**

ПЕРЕЧЕНЬ АРХИВОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ДАННОЙ РАБОТЕ

АМИД — Архив Министерства иностранных дел в Москве
ACS — Archivio Centrale dello Stato, Roma
ASG — Archivio di Stato di Genova
ASN — Archivio di Stato di Napoli
ASP — Archivio di Stato di Palermo
ASS — Archivio di Stato di Salerno
AST — Archivio di Stato di Torino
SNSP — Società napoletana di Storia Patria
SSSP — Società siciliana di Storia Patria, Palermo
MCR — Museo centrale del Risorgimento, Roma
MSMN — Museo di San Martino, Napoli

ГЛАВА I

# Итальянская демократическая мысль в первой половине XIX века

Какие факторы оказали решающее влияние на формирование политико-философских взглядов итальянских демократов?

Быть может, прогрессивная философская традиция, к которой не могли не обращаться демократические деятели эпохи Рисорджименто,— традиция, представителями которой были Бернардино Телезио, Кампанелла, Бруно, Галилей и в дальнейшем Вико? Или же антикуриальная традиция, претерпевшая развитие от Макиавелли до Джанноне и вновь возрожденная Сисмонди в первой половине XIX века? Или же это новая наука, а именно политическая экономия, роль которой постепенно возрастала от физиократов и итальянца Дженовези до Сисмонди, Бентама и Джона Стюарта Милля,— наука, которая придала проблемам политического устройства новое социальное значение? Или, быть может, следует отвести особую роль неиссякающему влиянию просветительной мысли XVIII века, принявшей в Италии свои оригинальные формы и пустившей в национальной почве более глубокие корни, чем это можно было ожидать? Хотя, впрочем, не затмил ли это влияние новый фактор — теоретические построения немецкой классической философии, которая начала распространяться также в Италии? Наконец, не следует ли уделить особое внимание новым доктринам, звавшим к ниспровержению существующего строя, принесенным к нам французским социализмом и, безусловно, немало способствовавшим преобразованию итальянского демократического движения в социальном и социалистическом духе?

Но, право, если вдуматься, то речь идет вовсе не о том, чтобы в процентном выражении измерить влияние того или

иного фактора, установить градацию их важности и сделать какой-то выбор. Если выбор и был совершен, то его совершила в своих мучительных поисках сама история, ибо развитие итальянской демократической мысли первой половины XIX века шло в рамках вполне определенного (хотя отнюдь не прямолинейного) процесса, в ходе которого совершился переход *от эпохи Просвещения, от якобинизма и Великой* французской революции к эпохе романтизма и эпохе Реставрации.

Идейная атмосфера Италии в первой половине XIX века уже не была той почти однородной (хотя и не лишенной различий) атмосферой XVIII века, когда возобладали идеи реформ. Это был более обширный, более противоречивый, более сложный и динамичный идейный мир. Иначе говоря, если, с одной стороны, на новую поросль революционеров Италии оказывал мощное воздействие опыт просветительного и якобинского движения XVIII века всей силой своего престижа и авторитета, то, с другой стороны, новое поколение не могло не обратить своих взоров к новым горизонтам, не могло не заинтересоваться новыми проблемами, которые были порождены совершенно иным историческим опытом — *опытом эпохи Реставрации, которая ознаменовалась глубокой* критикой и переоценкой ценностей эпохи Просвещения и Французской революции.

В годы этого исторического перехода в диалектическом взаимодействии этих течений и шло развитие демократической мысли итальянского Рисорджименто — как тех демократов, которые остались приверженцами преимущественно просветительной, жирондистской или якобинской традиции, так и тех, которые, напротив, сформировались в основном в новой идейной атмосфере эпохи Реставрации.

Общим для всех них идейным источником были сочинения французских и итальянских просветителей XVIII века. Сам Мадзини, который в большей степени, чем кто-либо иной, отошел от этого источника, не отрицал того, что вначале он *отправлялся от этих идей, и не отрекался от них.* Но не на всех просветительные идеи оказали равное воздействие. Непосредственное влияние просветительных идей XVIII века испытал на себе Пизакане; косвенное влияние этих идей — через изучение работ Романьози — сказалось на Каттанео, Феррари и многих других.

Важнейшим идейным источником XIX века являлись сочинения Сисмонди, писателя по существу итальянского, влияние которого в эпоху Рисорджименто было огромным.

О Романьози, жившем на рубеже двух веков (он был не только ученым-экономистом, статистиком, юристом и философом, но и участвовал в политической борьбе), следует, пожалуй, сказать, что из всех указанных нами источников его идеи сыграли особенно большую роль, какие бы аргументы ни приводили в последнее время в пользу противоположного мнения. В самом деле, именно к Романьози неизменно обращалась наиболее передовая часть итальянских демократов и от его учения отправлялись не только те демократы, которые были близки к Романьози или являлись его учениками (как, например, Каттанео и Феррари), но и немало тех (здесь нужно указать в первую очередь Карло Пизакане), кто был только знаком с его работами.

Наконец, укажем на блестящую когорту французских социалистов-утопистов, оказавших значительное влияние почти на всех итальянских демократов эпохи Рисорджименто; исключением можно считать Каттанео, которого социализм во всех его аспектах затронул меньше, чем других, хотя в работах Каттанео и представителей его школы заметны отзвуки идей того направления в историографии (Тьерри, Гизо), которое тяготело к позитивистскому крылу сен-симонизма.

Во всяком случае, что касается истоков воззрений Мадзини, то сен-симонизм сыграл здесь, как известно, доминирующую роль. Впервые этот факт отметил в 1874 году Франческо Де Санктис (причем не в брошенном вскользь замечании, а в обобщающем труде) в своей работе, рисующей широкую панораму развития идей в XIX веке. Впоследствии к аналогичным выводам, подкрепив их, однако, более вескими аргументами, пришел Сальвемини, а также — своим путем — Омодео и Кроче. Сальвемини даже утверждал — в присущей ему решительной манере,— что социальные воззрения Мадзини на четыре пятых сен-симонистского происхождения [1].

Оставив в стороне арифметические подсчеты (по-видимому, чересчур преувеличенные), укажем, что ныне после стольких споров и дискуссий этот вывод Сальвемини получил в основе своей всеобщее признание, хотя его и по-разному истолковывают. Кроче, например, утверждал, что «то худшее, что Мадзини ввел в свою систему,— отрицательное отношение к конкуренции, ассоциацию, религию будущего и тому подобное, он заимствовал у сен-симонизма» [2]. Трудно согла-

---

[1] G. Salvemini, Mazzini, Catania, 1915, p. 158.
[2] B. Croce, Storia d'Europa nel secolo XIX, Bari, 1943, p. 140.

ситься с подобным мнением, ибо для Кроче худшими оказываются в конечном счете именно те характерные и существенные черты социально-демократической доктрины Мадзини, без которых вообще не существовало бы мадзинизма, то есть присущие ему отрицательное отношение к свободной капиталистической конкуренции и призыв (как бы он ни был сформулирован) к созданию строя, основанного на ассоциации.

Более полная и исторически более обоснованная оценка Омодео в гораздо большей степени соответствует исторической истине, чем правильная, но односторонняя интерпретация воззрений Мадзини, выдвинутая Сальвемини, и политико-полемическое суждение Кроче. Не полемизируя открыто с Сальвемини, Омодео, по существу, считает упрощенчеством утверждение, будто Мадзини сформировался исключительно под влиянием Сен-Симона. В самом деле, действительность не так проста, даже если среди всех идейных влияний, которые испытал на себе Мадзини, самым длительным и преобладающим было, несомненно, влияние сен-симонистских идей, внесших в мадзинистскую теорию серьезный и глубокий социальный элемент.

Оценка Омодео отличается, бесспорно, большей широтой, гибкостью и многогранностью. Согласно Омодео, Мадзини «признает свою непосредственную связь с бурным расцветом мысли в период французской Реставрации. Гизо, Кузен, Жуфруа и либеральный кружок «Глоб» указали ему путь» [1]. (Заметим, что в действительности «Глоб» в те годы, когда к нему тяготел Мадзини, был не либеральным, а сен-симонистским, а Пьер Леру считал себя даже социалистом.) Но, во всяком случае, Омодео верно установил связь между воззрениями Мадзини и идеями периода Реставрации. Впрочем, следует подчеркнуть, что Омодео в конечном счете тоже отмечает роль сен-симонизма как первоисточника идей Мадзини, принимая, таким образом, по существу, тезис Сальвемини. Однако в его истолковании эта генетическая связь выглядит в общем не столь односторонней и прямолинейной, а дается в рамках более сложного исторического процесса общеевропейского значения. При этом Омодео отчетливо видит, какую огромную роль в воззрениях Мадзини играет «идея прогресса» (или «закон прогресса», по терминологии Мадзини), хотя весьма сомнительно, чтобы Мадзини взял ее у французских мыслителей эпохи Реставрации (как предполагает Омодео). Значительно более вероятно, что Мадзини заимствовал эту идею непосредственно из сочинений Кондорсе или познакомился с ней косвенным путем по работам Сен-Симона, который, выступая как знаменосец утопического социализма и одновременно индустриализма, в большей мере, чем кто-либо из деятелей периода Реставрации, предвосхитил современную эпоху.

И все же на «идею прогресса» Мадзини, вероятно, натолкнулся именно в сочинениях самого Кондорсе. В письме к Мари д'Агу (от 25 мая 1865 года) Мадзини писал, что в 17 лет он прочел «Эскизы» [1] Кондорсе. Несомненно, что это чтение повлияло на его юношеские воззрения [2]. Как будто общепризнано также, что молодой Мадзини усвоил (и навсегда сохранил) некоторые янсенистские идеи, которые ему, по-видимому, внушила мать и его первые учителя — Де Скальци и Де Грегори [3]. Однако при всей бесспорной важности этого воспитания, которому он был обязан первыми религиозными и моральными представлениями, оно не сыграло определяющей роли в формировании зрелых концепций Мадзини. Этот юношеский янсенизм вскоре пережил кризис, который заставил Мадзини усомниться даже в существовании бога, и хотя вера все же восторжествовала, этот первый опыт претворился в конечном счете в определенные нравственные нормы, а не в догматическую веру и религиозную нетерпимость. Если бы дело обстояло иначе, мадзинистская религиозность приняла бы более категорическую и более жесткую форму. Вместо этого она стала лишь почвой, на

---

[1] A. Omodeo, Figure e passioni del Risorgimento, 1945, p. 167.

[1] Речь идет об «Эскизах исторической картины прогресса человеческого разума» Кондорсе. — *Прим ред.*

[2] См. R. Carmignani, Storia del giornalismo mazziniano, Pisa, 1959, vol. I, p. 140. «Мадзини утверждает, что с доктриной прогресса он первоначально познакомился у Данте, а не у Гизо и Кузена, однако, как доказал Леви (A. Levi, La filosofia politica di Giuseppe Mazzini, Bologna, 1922, p. 70—71), это утверждение неточно: скорее следует допустить, что Мадзини извлек эту доктрину из работ Кондорсе и Вольнея, причем она переплелась у него с идеями многих романтиков, как, например, госпожи де Сталь (популяризовавшей целый ряд идей Гердера) и писателей, группировавшихся вокруг журналов «Кончильяторе» и «Антолоджиа»». О юношеских воззрениях Мадзини, помимо работ Сальвемини, см. P. Silva, La giovinezza di Mazzini, в „Studi e scorci di storia", Firenze, 1921, p. 53—62; A. Codignola, La giovinezza di Giuseppe Mazzini, Firenze, 1926.

[3] F. Landogna, Giuseppe Mazzini e il pensiero giansenistico Bologna, 1921; E. Momigliano, L'educazione religiosa di Giuseppe Mazzini, в „Bilychnis", Roma, luglio 1920.

которой впоследствии легко пустили глубокие корни [1] религиозно-социальные идеи сен-симонизма.

Более отчетливо проявилась у молодого Мадзини приверженность к типично романтической доктрине гения-пророка и предтечи, наделенного той таинственной интуицией, которую Мадзини считал скорее проявлением божественного откровения, чем человеческого разума. Впрочем, в этой концепции гения Мадзини использовал и развил дальше идеи и принципы, широко бытовавшие в современной ему литературе романтического толка; не случайно он помышлял написать книгу «Об Италии», аналогичную книге «О Германии» госпожи де Сталь. Уже тогда Мадзини видел в гении истолкователя и посредника между природой и человечеством, «между извечными судьбами, предначертанными смертным, и усилиями живущих поколений выполнить эти предначертания. Каждый раз, когда завершалась одна эпоха цивилизации и движение веков открывало путь к новой, появлялся Гений... чтобы запечатлеть в ее последующих проявлениях главную особенность и черты минувшей эпохи» [2]. Связь, которую Мадзини установил (еще в ранних работах) между концепцией гения и доктриной прогресса, «как религии будущего», неразрывное единство, которое он усматривал (под влиянием Гизо и Кузена) между XVIII и XIX веками,— представляет, следовательно, одну из характерных черт мадзинизма. Но именно это представление о неразрывном единстве XVIII и XIX веков не только ослабило в его мировоззрении янсенистские начала, но и резко отделило его от христианства и от любой формы религии-откровения. Откровение всегда сводится к освящению совокупности догм. У Мадзини же мы не найдем другой догмы, кроме доктрины, или, если хотите, религии *прогресса*.

Омодео усматривает в воззрениях Мадзини «апокалипсическую интеграцию концепции прогресса, облеченную в самую настоящую религиозную форму». И в этом плане взгляды Мадзини, по мнению Омодео, развивались «параллельно, а отчасти под влиянием демократической концепции Ламенне (кое-где, писал Омодео, слышны даже отзвуки первоначальных реакционных настроений Ламенне, полемизировавшего с XVIII веком), сен-симонизма и политико-религиозного мессианства поляков». Эти замечания Омодео чрезвычайно интересны, однако он, по-видимому, впадает в крайность, преувеличивая как степень влияния Ламенне на Мадзини, так и характер мадзинистской религиозности как *религии-откровения*.

Говоря об отношениях между Мадзини и Ламенне, мы склонны скорее присоединиться к мнению, высказанному много лет назад Маши, к анализу которого даже сегодня мало что можно добавить. По мнению Маши, Мадзини рассматривал Ламенне как возможного союзника на определенном политическом этапе, но о «сходстве их взглядов говорить не приходится» [1]. Ламенне устраивал Мадзини, Мадзини же, напротив, не подходил для Ламенне, который не всегда вежливо отталкивал его от себя; поэтому увлечение ламеннизмом скоро исчерпало себя. Ламенне «любил меня, но как бы вопреки самому себе,— писал Мадзини.— В глубине души он питал какое-то непонятное мне недоверие...» [2]

---

[1] Впрочем, даже в молодости поведение Мадзини обусловливалось, по-видимому, не янсенистским ригоризмом, а политическим поссибилизмом. Об этом говорит письмо к Ла Чечилья от 1833 года: «Мы не хотим католицизма, не хотим бога-человека, не хотим религии-откровения, которая отвергает прогресс. Более того, у нас нет ясного представления о том, что будет в грядущей жизни. Наконец, мы должны придерживаться какой-то средней линии и относиться к материалистам, которые выступают вместе с нами в Италии, с уважением. Сегодня мы не можем сказать всего, но настанет день, когда мы должны будем сказать; сегодня же мы не намерены давать повод для обвинения нас в противоречии Оставляем за собой право придерживаться только *спиритуализма* и развивать принципы христианства; все мои перемены преследуют эту цель, и с этой точки зрения ты наверняка одобришь их» (La Cecilia, Memorie storico politiche dal 1820 al 1856, Roma, 1876, vol. II, p. 46).

[2] G. Mazzini, Scritti editi ed inediti, Edizione nazionale, Imola, 1906—1963, vol. I, p. 137. В дальнейшем, цитируя сочинения Мадзини, вошедшие в это издание, мы будем указывать лишь номер тома.

[1] См. статью Ф Маши (F. Masci) в «Rivista d'Italia», 1905 Пожалуй, чрезмерно сурово отнесся к мнению Маши Гарэн в его «Cronache di filosofia italiana», Bari, 1955

[2] G. Mazzini, vol. XXIX, письмо к госпоже д'Агу от 1 января 1865 года. В работе «La cultura francese nell'età della Restaurazione» (1946) Омодео придает большое значение влиянию Ламенне на сен-симонистов. В недавно вышедшей книге Сантонастазо «Il neo-liberalismo di G. Mazzini» автор, опираясь на новый фактический материал, отстаивает тезис Омодео о влиянии, которое будто бы оказали на Мадзини в 30-е годы польские религиозно-политические идеи апокалипсического толка; кроме того, он изучил на основе новых источников влияние, которое оказал на Мадзини спиритуалистический сен-симонизм Рейно. Не говоря уже о том, что основные выводы Сантонастазо [Мадзини — «наследник католического мира» (p 209) и предвестник новой формы либерализма, «которая совпадает в некоторых аспектах с основными положениями современного либерализма» (p. 211)] вызывают большие сомнения, даже наиболее ценная часть его работы, то есть исследование вопроса о влиянии ряда сен-симонистов Марселя и Лиона на Мадзини, по суще-

Как бы то ни было, оценки мировоззрения Мадзини, данные Сальвемини и Омодео, остаются самыми меткими и содержательными в итальянской историографии и, по существу, дополняют друг друга. Рассмотренные в совокупности, они утрачивают свою односторонность, ибо если Сальвемини рассматривает Мадзини почти исключительно сквозь призму сен-симонистского утопизма, то Омодео связывает Мадзини, являвшегося, как известно, одним из наиболее радикально настроенных итальянских демократов, почти исключительно с идеологией эпохи Реставрации.

Истина заключается в том, что итальянской демократии была присуща в отчетливой или скрытой форме социальная или социалистическая тенденция; у одних демократов она проявлялась в большей, у других — в меньшей степени, но была характерна почти для всех. Таким образом, для итальянской демократии была характерна та же тенденция, которая, по сути дела, была свойственна (в той или иной степени — в зависимости от особенностей развития страны) всему европейскому демократическому движению. Поэтому нельзя сказать, что именно социальная или социалистическая концепция отличала Пизакане от других итальянских демократов, или, во всяком случае, отличала столь резко, как это многие считали и продолжают считать до сих пор, хотя бесспорно, что в Италии именно Пизакане пошел в этом отношении дальше, чем кто-либо другой.

Идеи руссоистского эгалитаризма были привнесены в итальянскую демократическую мысль наиболее передовыми поборниками реформ XVIII века, французским и итальянским якобинизмом. Не следует забывать и о том, что когда Мадзини начинал в Италии свою деятельность, он обсуждал (по его собственному признанию) со своими молодыми друзьями вопрос о том, следует ли выступать под знаменем Робеспьера или под знаменем Бабефа[1]. О тех же идейных истоках свидетельствуют первоначальные связи «Молодой Италии» с обществами «Апофазимени», «Истинные итальянцы», с Буонарроти[1].

Как известно, события приняли затем иное направление. Сен-симонистская доктрина, утверждавшая стремление избежать ущерба, экономических и человеческих потерь, которые связаны с *негативной* революцией, а потому отрицавшая насилие, диктатуру и террор (то есть отличительные черты якобинизма, бабувизма, буонарротизма и бланкизма), доктрина, отстаивавшая возможность *позитивного,* мирного преобразования общества посредством технического или индустриального прогресса, регулируемого законами не свободной конкуренции, а *ассоциации,* — эта доктрина пленила Мадзини и часть итальянских демократов.

Конечно, самая сильная сторона сен-симонистского утопического социализма оказалась у Мадзини подчиненной необходимости предварительной победы национальной революции. Но это нисколько не меняет того факта, что сен-симонизм, от которого отправлялся Мадзини, вне всякого сомнения, был и оставался социалистическим учением и, более того, самым могучим проявлением утопического социализма в первые годы XIX века. Не нужно забывать, что, когда между 1830 и 1840 годами мадзинистская теория приняла уже более или менее законченную форму, еще не было ни прудонистского анархизма, ни народничества, ни марксизма.

Впрочем, для итальянцев сен-симонизм имел особую притягательную силу: он отвечал потребности в религиозной реформе, которой недоставало Италии, смыкался с христианскими традициями, особенно сильными в стране, бывшей местопребыванием пап, успешно противопоставляя религиозно-демократическую альтернативу либеральной доктрине, которая первоначально была в Италии также скорее католической, чем светской. К 1830 году, когда Мадзини начинал свою деятельность, сторонники этой либерально-католической доктрины считали своим идейным главой Росмини. Впрочем, разве карбонарское движение, самое мощное и ши-

---

ству, как будто не содержит много нового. Сен-Симон — в бо́льшей мере, чем его позднейшие и весьма умеренно настроенные лионские эпигоны, — оказал на Мадзини решающее влияние. Сен-Симон был гигантом по сравнению со всеми ними, хотя мы и не собираемся отрицать того, что Мадзини — именно благодаря своей особой, спиритуалистической интерпретации сен-симонизма — оказался подготовленным к восприятию идей Рейно; равным образом мы не отрицаем влияния Ламенне на эпигонов сен-симонизма.

[1] Мадзини («Fede ed Avvenire», 1833, G. Mazzini, vol. VI, p. 133) писал: «Мы спорили между собой, чтобы уяснить, будем ли мы выступать под знаменем 1791 или 1793 года, под знаменем Робеспьера или Бабефа». В своих юношеских работах Мадзини часто возвращается к этому вопросу.

[1] «Апофазимени» — тайное общество, возникшее в Италии незадолго до 1830 года, объединяло итальянских патриотов, поставивших своей целью борьбу за национальную независимость и демократизацию страны. Общество находилось под влиянием Буонарроти. В 1832 году общество слилось с «Молодой Италией»

«Общество истинных итальянцев» — тайное общество, учрежденное Буонарроти и ставившее своей целью создание независимой единой Итальянской республики. Подробнее о нем см. Дж. Канделоро, История современной Италии, т. 2, стр. 273 и сл — *Прим. ред.*

рокое демократическое движение в 1810—1830 годах, не носило демократически-евангелического, а иной раз и попросту уравнительного характера?

Возвращаясь к Сен-Симону, отметим, что успех его идей в Европе и особенно в Италии был обусловлен рядом причин. В учении Сен-Симона буржуазные тенденции занимали еще известное место наряду с пролетарскими тенденциями. Это делало сен-симонизм особенно привлекательным для национально-демократического движения, в котором мелкая буржуазия играла немаловажную роль. Стремясь противопоставить себя умеренным и сблизиться с народными массами, она должна была подчеркивать свой народный характер и стремление к социальным реформам. Сами социальные противоречия были облечены у Сен-Симона в такую форму, которая была вполне приемлема для представителей демократического движения эпохи Рисорджименто.

В самом деле, в учении Сен-Симона противоречие между третьим сословием и привилегированными представало в виде противоречия между «трудящимися» и «праздными», причем к «праздным» он относил не только старые привилегированные сословия, но и всех тех, кто жил на ренту, не участвуя в производстве и торговле. С другой стороны, под трудящимися Сен-Симон понимал не только наемных рабочих, но и промышленников, коммерсантов, банкиров. В обществе, о котором мечтал Сен-Симон, ведущую роль должны были играть интеллигенты, развивающие науку, и современная, активная буржуазия, промышленники, деятельность которых — и это существенный момент — подчинялась бы не законам свободной конкуренции, а законам «ассоциации».

Полноправной частью учения Сен-Симона была концепция классовой борьбы: с 1802 года он рассматривал Французскую революцию как классовую борьбу, причем не только между дворянством и буржуазией, но и между дворянством, буржуазией и *неимущими*. Тем не менее *позитивная* революция не должна, по мнению Сен-Симона, повторять опыт ожесточенной борьбы классов, характерной для *негативной* революции (то есть для Французской революции). Следовательно, Сен-Симон пытался преодолеть классовую борьбу с помощью своей утопической «ассоциации». Эти идеи оказали на Мадзини колоссальное влияние.

Впрочем, в 1840 году эта сен-симонистская идея «ассоциации» стала достоянием всей европейской социалистической мысли. Так, например, она дает себя знать в работах Прудона, хотя ее звучание приглушено здесь противоположной социальной концепцией, которая носит в своей основе мелкобуржуазный и анархистский характер. Впоследствии у Прудона или у Мадзини эту идею заимствовал Пизакане, ибо девиз «Свобода и Ассоциация», которым Пизакане намеревался заменить мадзинистский девиз «Бог и Народ», имеет, вне всякого сомнения, мадзинистское происхождение, хотя Пизакане и стремился противопоставить его главному и более известному девизу Мадзини.

Мадзини, однако, придал отправным идеям Сен-Симона особый акцент: под предлогом спасения «одного из неотъемлемых устоев государства — человеческой индивидуальности»[1] он постарался спасти право собственности. Это означает, что Мадзини, не отказываясь от социалистической направленности сен-симонистской доктрины, выпятил буржуазные тенденции, которые *сосуществовали* в доктрине Сен-Симона бок о бок с пролетарскими тенденциями, подобно тому как в «смутно-гениальном уме Сен-Симона»[2] *сосуществовали* идеалистические и позитивистские идеи. Более того, Сен-Симон был в Европе провозвестником позитивизма, и непосредственно от него отправлялись в своем учении Огюст Конт и Огюстен Тьерри.

Мадзини в соответствии с общим направлением своих взглядов усвоил только идеализм, а не позитивизм Сен-Симона, и прежде всего усвоил положение о неразрывной связи (как это утверждал Сен-Симон) между социальной реформой и реформой религиозной и моральной. Без влияния Сен-Симона было бы совершенно немыслимо объяснить, как складывались социальные и религиозные воззрения Мадзини: они бы выглядели лишенными всяких истоков. В действительности же основные социально-религиозные идеи Мадзини — доктрина социальной, моральной и религиозной революции,— связанные между собой неразрывной внутренней связью, ведут свое происхождение от доктрины Сен-Симона. В самом деле, в работе «Системы и демократия» («I sistemi e la democrazia»), написанной в 1846—1849 годах[3], Мадзини утверждал: «Сен-симонизм был самым важным, самым высоким проявлением нового духа, взбудоражившего умы; он по-

---

[1] G. Mazzini, vol. VII, p. 334.

[2] A. Labriola, A proposito della crisi del marxismo, в „Appendice ai Saggi intorno alla concezione materialistica della storia", Parigi, 1939, p. 208.

[3] Работа появилась первоначально под названием «Pensieri sulla democrazia in Europa» и была датирована 1846—1847 годами (хотя Мадзини закончил ее в 1849 году). См. G. Mazzini, vol. XXXIV, p. 92—246.

сеял больше истин и выдвинул более (если не самые) плодотворные и значительные идеи, чем какая-либо другая из школ социализма». Сен-симонизм, писал Мадзини, «принес пользу не только в дни своей короткой, но блестящей жизни, но и при своем закате». Дабы не загромождать изложение, ограничимся только одной из многих ссылок Мадзини на Сен-Симона. «Немало тех,— указывал Мадзини,— кто взирал на его развитие с насмешливой улыбкой и позабыл о нем, едва лишь наступил его закат, обнаружили, на мой взгляд, убогий ум и неспособность уразуметь святость этих идей, неспособность понять знамение времени и подлинные нужды человечества... Основанный на глубокой вере, сен-симонизм дает нам весьма редкое, быть может даже единственное, зрелище гармонии между мыслями и действиями многочисленной ассоциации, состоящей из людей могучего интеллекта и простолюдинов... В те времена, когда аморальный разрыв между *теорией* и *практикой* являл собой чуть ли не общепринятую норму жизни, выступили сен-симонисты и сказали: мы *верим* в то, что говорим... Они считали, что человек должен добиваться единства *мысли* и *действия*».

Мадзинистская концепция *единства мысли и действия,* проповедь которой сыграла чрезвычайно действенную роль в воспитании нового руководящего класса в эпоху Рисорджименто (причем эта концепция оказала влияние на формирование патриотической молодежи не только демократического, но и либерального толка), имеет, следовательно, также ясно выраженное сен-симонистское происхождение. Повторяем: Мадзини развил те идеи сен-симонизма, какие были наиболее созвучны национально-демократическому движению, которое могло обратиться и обратилось с призывом к народу, но должно было также опираться на буржуазию, оставшуюся одной из движущих сил в борьбе за национальное объединение. Этим и объясняется, почему Мадзини не развил идеи классовой борьбы, хотя она была неотъемлемой частью сен-симонизма, а заимствовал из этого учения прежде всего идею *ассоциации.* Однако нужно отметить, что у Мадзини, как и у Сен-Симона, концепция «ассоциации» имела социальное значение и явилась причиной тех успехов, которых Мадзини и мадзинисты добились в итальянском рабочем движении до и после 1860 года, создавая кооперативные организации и общества взаимопомощи (основанные на профессиональном принципе), бывшие на первых порах той формой, в которой развивалось итальянское рабочее движение.

Но хотя *«двувалентность»* сен-симонизма очевидна и Мадзини развил и приспособил к итальянским условиям ту сторону этой системы, которая наиболее соответствовала потребностям национально-буржуазного движения, не следует тем не менее забывать, что сен-симонистская система была все же единым целым, а социальные проблемы настолько доминировали в ней, что не могли не найти отражения и у Мадзини. Это также в известной степени предопределило противоречивый характер идеологии Мадзини, отдававшего предпочтение таким идеям и таким формам организации и борьбы, которые были свойственны эпохе (1830—1840 годы), когда пролетариат, еще не осознавший себя как класс, боролся вместе с буржуазией против абсолютизма. Отсюда преклонение Мадзини перед Сен-Симоном, который в ином историческом плане и с иной силой выразил во Франции (но в начале XIX века!) одновременно потребности промышленной буржуазии и промышленного пролетариата, которые находились в процессе становления и которым, по мнению Сен-Симона, обоим принадлежало будущее.

Впрочем, нельзя также утверждать, что воззрения, которых Мадзини придерживался в 1830—1840 годах, не претерпели никаких изменений. После 1840 года Мадзини стал выражать более радикальные взгляды в социальном вопросе, особенно на страницах газеты «Апостолато пополяре», выходившей в Лондоне с 1840 по 1843 год. Вот, например, что говорилось в речи «Об общественной роли простолюдинов» («Dell' importanza sociale acquistata dalle moltitudini»), обращенной к итальянским рабочим в Лондоне:

«Брожение рабочего класса, от имени которого мы выступаем, — говорил Мадзини, — охватило половину Европы. Повсюду предчувствуют и предсказывают радикальное изменение в организации общества. Обширные рабочие ассоциации покрыли всю Англию и Францию и распространяются в Германии и других странах. Проблемы, касающиеся труда и простолюдинов, с каждым днем все более доминируют над всеми другими. Внимание самых могучих умов каждой страны приковано почти целиком к деятельности и грядущей судьбе народного элемента. Неужто вы одни откажетесь примкнуть к общему движению? Нам известно, что многие из вас, исполненные похвальных стремлений и жаждущие освобождения Италии, говорят, что еще не пришло время и что ныне надо подчинить все усилия одной мысли, — мысли о независимости и о войне с австрийцами, которые препятствуют ее достижению. Но возможно ли завоевать эту независимость руками рабов? И не должны ли мы — дабы

быть уверенными в ее достижении — позаботиться о расширении своих знаний, чтобы сначала сделать независимыми самих себя? Вы жаждете войны с австрийцем — прекрасно! Но какими руками вы хотите вести ее? И почему вам не удалось это до сих пор, несмотря на попытки прошлых лет?.. Мы хотим сражаться, мы готовы даже, если нужно, умереть, но мы хотим знать, во имя какой цели, мы хотим знать, что даст нашим детям наша борьба и наши жертвы... Мы должны быть уверены, что наши усилия и принесенные нами жертвы не будут использованы, как это случалось почти всегда в прошлом, для удовлетворения тщеславия и алчности одного класса... Европу обуревает жажда равенства, как в свое время — жажда свободы. Перед лицом этой великой проблемы все другие отступают на задний план» [1].

С этого времени Мадзини начинает призывать к тому, чтобы рабочие объединялись в самостоятельные организации или боролись в рядах «Национальной ассоциации, не только как граждане, но и как рабочие». Только в этом случае им не придется «разочароваться в своих справедливых надеждах и стать свидетелями революций, которые сведутся к решению вопроса о чисто политических формах в интересах одного класса... До сих пор вы боролись за программу других классов, так выдвиньте же ныне свою собственную и единодушно заявите о своем намерении сражаться только за нее...» [2]

Однако попытка Мадзини решить вопрос о собственности носила противоречивый характер. Он вновь и вновь утверждал, что собственность, чтобы быть законной, должна являться «свидетельством... количества *труда,* посредством которого *индивидуум* преобразовал, развил, преумножил производительные силы природы» [3], и доказывал, что законы, регулирующие право собственности, не являются неизменными и подлежат преобразованию. И все же даже до 1848 года взгляды Мадзини в этом отношении не шли дальше мелкобуржуазных представлений о природе собственности. После же революции 1848—1849 годов, когда социализм решительно вышел на европейскую политическую арену, и особенно в 1850—1851 годах, когда Мадзини увидел, что социализм начинает претендовать на роль самостоятельной силы в лагере итальянской демократии, противопоставляя себя его, Мадзини, направлению и программе, страх, как бы социальное движение не ослабило движения национально-патриотического и как бы буржуазия и мелкая буржуазия, игравшие, бесспорно, первостепенную роль в борьбе за единство, не порвали с объединительным движением, побудил Мадзини занять более резкую критическую позицию в отношении коммунистов различных школ. Мадзини огорчал не только самый факт распространения социалистических идей, которое он считал (как указывал Сальвемини в своей прекрасной книге о Мадзини) несвоевременным и опасным, но и тот факт, что вместе с этими идеями распространялись материалистические взгляды на природу и жизнь, решительным противником которых он являлся. Следовательно, указывая рабочим цель, Мадзини (по выражению Сальвемини) закрывал перед ними единственный путь, на котором они могли бы достигнуть этой цели.

И все же после 2 декабря 1851 года, и особенно после 1853 года, то есть после миланского восстания, именно в тот момент, когда усилилась его полемика с материалистическими школами социализма и коммунизма, именно тогда, когда он особенно опасался, как бы эти идеи не оттолкнули средние классы от национального движения, — именно тогда (невозможно оспаривать этот факт) Мадзини, подготавливая свои заговоры, делает главную ставку на рабочих и их организации, на ремесленников, и именно тогда вместе с Пизакане он подготовил и экспедицию в Сапри и выступления в Ливорно и Генуе, которые носили исключительно рабочий характер. Да и мог ли Мадзини поступить иначе? Ведь именно эти социальные слои более всего были склонны воспринять его планы восстания

Не приходится, конечно, сомневаться, что Мадзини был озабочен тем, как бы не испугать буржуазию, не оттолкнуть ее от национального движения: ведь он достаточно хорошо знал, что представляла собой итальянская буржуазия — даже в лице ее самых либеральных представителей, менее подверженных предрассудкам, чем другие. Но для всякого союза, и особенно для союза подобного типа, необходимо согласие обеих сторон. После же революции 1848—1849 годов имущие слои в целом сказали свое окончательное *нет* последовательно демократическому разрешению главной проблемы — национального освобождения страны и объединения Италии. Итальянская либеральная буржуазия была напугана прежде всего февральской революцией 1848 года в Париже с ее социалистическими тенденциями, но события итальянской революции 1848—1849 годов также сыграли в этом отношении немаловажную роль (как бы демократы Милана, Рима, Палермо

---

[1] G. Mazzini, Prose politiche, Firenze, 1848, p. 169 sgg.
[2] G Mazzini, vol. XXV, p. 120.
[3] G. Mazzini, vol. LXIX, p. 121.

и других городов ни демонстрировали своего намерения не позволить событиям зайти слишком далеко). Мадзини мог выступать с какими угодно декларациями против коммунистических и социалистических доктрин — богатые сословия все-таки не доверяли Мадзини и не позволяли его громогласному антисоциализму обольстить или сбить себя с толку, ибо понимали, что в мадзинистской доктрине таится какая-то крайность, нечто абстрактное, утопическое, чреватое опасностью.

Массимо д'Адзелио выражал настроения целого класса, когда еще в 1849 году призывал не доверять «мистикам и коварным утопистам», посвятившим себя «служению злу». Начиная с 1852 года (то есть именно с того времени, когда Мадзини, стремясь сохранить связь с имущими сословиями, усилил свои нападки на социализм) обнаружился фактически его разрыв с буржуазией как классом, разрыв, который становился со временем все более глубоким, радикальным и этапы которого можно последовательно и детально проследить год за годом. Граф Клементе Соларо делла Маргарита в своих «Политических суждениях» констатировал не без некоторого мефистофельского удовлетворения: «Буржуа думали заменить тщеславие дворян собственным тщеславием. Время благоприятствовало этому, но недолго: Мадзини, которого они возвеличили, смеется над ними. Вот как он выражается, говоря о буржуазии: приговор, который вынесен ей, как правящей касте, должен свершиться в более или менее близком будущем; во всяком случае — он неотвратим» [1].

Миланское восстание в феврале 1853 года, совершенное руками рабочих, вызвало уже непоправимый разрыв. Не только крупная буржуазия (которая никогда не была настроена промадзинистски вопреки утверждению консерватора Соларо делла Маргарита, пытавшегося не без коварства доказать обратное), но даже значительная часть мелкой, домократически настроенной буржуазии, считавшей теперь необходимым добиться соглашения с умеренными, откажется от всякой дальнейшей поддержки Мадзини.

Соглашение 1856 года между Мадзини и Пизакане, восстание в Генуе против пьемонтского правительства, опиравшееся почти исключительно на рабочие организации, на общества профессионального типа, и одновременно экспедиция в Сапри еще более усилят разрыв.

---

[1] C. Solaro della Margarita, Avvedimenti politici, 1853, p. 89.

Впрочем, что имеют в виду, когда говорят о «буржуазии» эпохи Рисорджименто? Промышленной буржуазии подлинно современного типа, отделившейся от старой земельной аристократии и, тем более, противостоящей ей, в Италии не существовало или же ее удельный вес был крайне незначителен. Буржуазия Пьемонта, Ломбардии и Тосканы — самых развитых районов Италии, игравших в известном смысле решающую роль в экономическом и политическом отношении, — представляла собой дворянство, лишь в незначительной степени затронутое процессом обуржуазивания и модернизации; наиболее современным и лишенным предрассудков выразителем политических устремлений этого слоя был граф Кавур. Но в Пьемонте до 1848 года этот социальный слой заигрывал с Карлом Альбертом и даже с Соларо делла Маргарита, а в Ломбардии — даже с Австрией (впрочем, до 1848 года такой позиции не был чужд сам Каттанео). Что же касается Тосканы, то здесь даже наиболее просвещенные представители обуржуазившегося дворянства — укажем, например, на Джино Каппони — не только не останавливались перед тем, чтобы высказать иностранным послам (например, Горчакову, будущему министру иностранных дел России, который весьма внимательно отнесся к этим разговорам и вспоминал о них еще в 1860 году) враждебность к любому демократическому устройству, но и не считали нужным скрывать свое глубокое недоверие к планам национального объединения полуострова, ибо даже в случае осуществления их умеренными были бы существенно задеты сложившиеся на протяжении веков интересы и (особенно в Тоскане) древние, но все еще не утратившие силы отношения собственности.

В то время можно было сосчитать по пальцам тех немногих специалистов — выходцев из мелкобуржуазной интеллигенции, а не из дворянства, которым была присуща горячая вера в современный промышленный прогресс, причем только единицы среди них были настроены демократически. Так, например, братья Орландо, которые, будучи вынужденными эмигрировать после поражения революции 1848 года в Сицилии, сохранили верность демократическим мадзинистским идеалам, с их именем связано развитие промышленности современного типа в Генуе и Ливорно; или Пьетро Бастоджи, ливорнский банкир, казначей «Молодой Италии», основатель «Банко ди Тоскана», а впоследствии — президент компании «Страде феррате меридионали», основатель династии промышленных и финансовых магнатов.

Слева Мадзини, как известно, обвиняли в защите интересов имущих классов; но разве согласились бы собственники

связать судьбу своих вековых, непреложных привилегий с планами осуществления социально-мистической утопии Мадзини? Достаточно хотя бы немного поразмыслить над этим вопросом, чтобы понять, что обвинение, родившееся в пылу политической борьбы, носило сугубо полемический характер и не имело под собой конкретной, реальной почвы.

Если вы хотите уяснить себе истоки и природу итальянской демократии в первой половине XIX века (и далее, вплоть до 1860—1870 годов), то не следует забывать, что ее непрерывно раздирали глубокие противоречия, которые не были разрешены даже после воссоединения страны. В итальянской демократии были две идейные струи, две тенденции — просветительная, якобинская (или жирондистская) тенденция XVIII века и мистико-романтическая тенденция первой половины XIX века, которые в одних случаях сосуществовали в причудливом переплетении (Дж. Феррари), а в других проявлялись в остром и непримиримом противоречии (Каттанео и Пизакане представляли первую из них, Мадзини — вторую).

Революция 1848—1849 годов, которая в других странах привела к преодолению этого противоречия, породив новое, *реалистическое направление* (демократического, революционно-радикального или умеренно-либерального толка), в Италии вызвала эффективные сдвиги разве что среди умеренных.

Могут возразить, что реалистическую позицию занимал Каттанео. Это, разумеется, верно, когда речь идет о Каттанео как ученом, однако не следует забывать, что в своих социально-экономических исследованиях он выступал как поборник капиталистической системы экономики; экономические взгляды Каттанео обнаруживали в нем либерала, а не демократа. Если демократ и брал верх над либералом в Каттанео, то главным образом в политической полемике, направленной против пьемонтской бюрократии и централизации. Но стал ли его федерализм конкретной, реалистической политикой? Была ли позиция Каттанео как политического руководителя реалистической в той сложной и тяжелой борьбе, какой было итальянское Рисорджименто?

После революции 1848—1849 годов Пизакане попытался более последовательно, чем кто-либо другой, наметить правильный путь, разорвав путы мадзинистских и феррарист-ских концепций. Несомненно, что Пизакане преследовал именно эту цель, разрабатывая строго материалистическую философскую концепцию — концепцию национальной и социальной революции. Однако его социальная система (мы подробно рассмотрим ее ниже, и потому нет смысла забегать вперед с неизбежно поверхностными замечаниями) выросла на идеях XVIII века (даже если Пизакане старался развить ее в современном социалистическом духе), и эти идеи остались неотъемлемой частью воззрений Пизакане, какими бы гениальными и передовыми для своего времени ни были некоторые его предвидения и догадки, какой бы смелой ни была его попытка перебросить мост между прошлым и настоящим.

Наконец, что можно сказать о Мадзини, самой видной и самой спорной фигуре итальянской демократии? Кем он был и к чему стремился? Некоторые — здесь придется еще раз упомянуть Б. Кроче — чересчур поспешно сбрасывают Мадзини со счетов как теоретика и мыслителя, утверждая, что его вклад в Рисорджименто ограничивался исключительно сферой действия, утверждая, иначе говоря, что все написанное Мадзини (с какой бы стороны ни рассматривали его сочинения и что бы ни писали о них) не заключает в себе ни философской концепции, ни ясной и законченной экономической, юридической или другой теории. В известном смысле и в известных границах это утверждение правильно: в более чем ста томах сочинений Мадзини мы не обнаружили ни философской системы, подобной системе Росмини или Джоберти, ни экономической доктрины, которую можно было бы сопоставить с доктриной Дженовези.

Но был ли, например, философом или экономистом Сен-Симон? *Формально* он не был ни тем, ни другим, и все же он был одновременно и философом и экономистом и в равной мере обнаружил глубокое проникновение и в душу других наук. В самом деле, невозможно отрицать, что именно к Сен-Симону восходит своими истоками целое философское направление, и притом немаловажное (ведь Огюст Конт отправлялся непосредственно от сен-симонистских идей), доктрины *экономической ассоциации* (развитые затем различным образом Прудоном и Мадзини), литературное течение — социальный романтизм, историографическая школа во главе с Огюстеном Тьерри, секретарем Сен-Симона, различные религиозные и социалистические доктрины и даже теория свободной любви. Действительность нельзя уподоблять шкафу, где все в строгом порядке разложено по полочкам. Поэтому сто с лишним томов сочинений Мадзини что-нибудь да значат: в самом деле, нельзя же утверждать, что вся философия заключена в книгах философов и вся экономическая наука — в трактатах экономистов. Словом, воззрения Мадзини при всей их крайней противоречивости и спорности заключают в себе обширную философскую концепцию и социально-экономическую систему, которая, несмотря на свою

туманность, лежала в основе деятельности определенной партии и имела немало поборников. Следовательно, в этих работах имеется нечто, что привлекает и должно привлекать наше внимание. Разумеется, нет нужды превозносить мадзинистскую систему как некое откровение или тем более как неисчерпаемый и таинственный источник премудрости (какой она представлялась кое-кому из немногих демократов, сохранивших преданность мадзинизму,— самых настоящих верующих в божество, которое затем обратилось в ничто); но равным образом нельзя отрицать — как это делает Кроче — само существование системы, отрицать всякую ее значимость.

Разумеется, именно в сфере *действия* Мадзини проявил максимум политической и особенно *пропагандистской* энергии в период Рисорджименто. Но поскольку речь идет о человеке, который неразрывное единство *мысли* и *действия* сделал основой своего учения, то для того, чтобы лучше разобраться в том, что представляло собой это действие и какие цели оно преследовало, необходимо также тщательно уяснить себе и его идеи, его мысль.

Вот почему и поныне наиболее содержательной работой, посвященной Мадзини, остается книга Г. Сальвемини, несмотря на ее неполноту, несмотря на то, что она представляет собой скорее собрание заметок и цитат, скорее *схему исследования* мировоззрения Мадзини, чем вполне законченное исследование. Как бы то ни было, тот, кто хочет сегодня изучить Мадзини, должен начинать с книги Сальвемини. А историкам Рисорджименто необходимо изучать деятельность Мадзини и его идеи; без этого нельзя обойтись (как склонны думать некоторые), ибо только на основе досконального изучения деятельности и идей Мадзини можно вполне уяснить его роль, не упустить что-либо существенное в крайне сложном, напряженном и противоречивом процессе развития борьбы итальянской демократии.

Только тогда становится понятной парадоксальная судьба мадзинистской партии, которая была наиболее устойчивой и значительной партией итальянской демократии, но чьи сторонники никогда или почти никогда не следовали теории своего учителя. Только тогда можно понять, как произошел постепенный распад этой партии на несколько соперничавших между собой групп и почему значительная часть демократов, утратив веру в Мадзини, оказалась дезориентированной, лишенной руководства и легко позволила увлечь себя пьемонтской монархии, подчинившись ей. Наконец, только тогда можно объяснить, почему,. несмотря на все это, несмотря на противоречия и разброд, непоследовательность и расколы, мадзинистской партии удалось сыграть огромную роль в национально-освободительном движении.

Был ли Мадзини теософом, проповедником, пророком европейской социально-мистической революции? Допустим, что да. Но будет правильнее сказать, что в Италии — и, может быть, даже в Европе — он был самым выдающимся *лидером* того социального романтизма XIX века, который был вскормлен сен-симонизмом.

Мы уже имели случай рассмотреть этот вопрос в другой работе, изучая историю двух идейных направлений, развивавшихся в русле французского Просвещения, — чисто рационалистического и проторомантического, окрашенного в просветительные и эгалитаристские тона, но одновременно несшего на себе глубокий религиозный и сентиментальный отпечаток. Это второе направление «возникло параллельно с первым, но оно распространилось и расцвело главным образом после того, как первое было потоплено в крови, так сказать, на почве, политой кровью... Де Мюссе правильно определил политическую сущность этого «зла века», когда писал о «двух ранах», кровоточащих в сердце народа после 1793 и 1814 годов, и о той дезориентации и тревоге, которые были вызваны крахом якобинской диктатуры и крушением наполеоновской империи. Это была эпоха, когда люди утратили почти все путеводные нити и точки опоры, а у тех, кто не мог приспособиться к реакции и реставрации старых порядков, горячее стремление понять смысл происшедшего стало большим, нежели попыткой исследования, стало потребностью, страстью. Эпоха романтизма была пронизана этим пафосом... Становление и антагонизм двух течений — рационалистско-материалистического, носившего пролетарский и коммунистический характер, и революционного, мистико-романтического, враждебного абсолютизму, Реставрации, классицизму и неоклассицизму во всех его формах (но равным образом враждебного также зарождавшейся материалистической и коммунистической идеологии пролетариата), составили целую историческую эпоху. Следовательно, по своей социально-политической направленности романтизм представлял собой преимущественно мелкобуржуазное движение, сама природа которого обусловливала его бесконечные колебания между двумя противоположными полюсами социально-политической действительности, — колебания, которым не было и не могло быть конца. В самом деле, всякий раз, когда романтизм давал крен вправо, в сторону режима Реставрации (наиболее

характерным представителем этой тенденции романтизма в литературе был Шатобриан), его внутренняя природа, подобно неизбежному приливу, отбрасывала его в другую сторону. Да и правое направление романтизма во главе с Шатобрианом было охвачено беспокойством, тревогой, неуверенностью, чувством пессимизма и внутреннего бессилия — столь глубокий след оставила революция в европейской действительности, и поэтому со столь глубоким недоверием относился сам Шатобриан к попытке возродить в новых, современных формах былые ценности, а именно на это были направлены его усилия. С другой стороны, всякий раз, когда романтизм проявлял тенденцию дать крен влево — а такой крен действительно имел место, особенно во Франции и Италии в 1830—1848 годах (причем настолько сильный, что некоторые из левых романтиков, в частности Жорж Санд и Пьер Леру, стали называть себя коммунистами), — та же внутренняя сила рано или поздно приходила в действие и неизменно отбрасывала его назад» [1].

Действительно, в социально-политическом движении, каким был романтизм, следует различать две весьма отличные друг от друга стадии развития. На первой из них, которую Мадзини именовал индивидуальной эпохой, политический романтизм выступал главным образом как реакция на Просвещение, якобинизм и Французскую революцию. Как писал Де Санктис, романтизм был «реакцией быстрой и насильственной, как революция», реакцией, которая «вынесла всем общий приговор: якобинцам и жирондистам, Робеспьеру и Дантону, Марату и Наполеону. Белый террор пришел на смену красному; возник новый философский, политический и литературный лексикон. Двумя главными врагами стали скептицизм и материализм .. Естественному праву было противопоставлено божественное право, народному суверенитету — легитимизм; средние века стали восхвалять как колыбель нового духа; христианство, бывшее ранее главной мишенью для нападок, стало основой всех философских построений; Вольтера, Руссо, Дидро сменили Шатобриан, госпожа де Сталь, Ламартин, Виктор Гюго, Ламенне... одна крайность породила другую» [2].

Но индивидуальная стадия романтизма не была длительной. «Наполеон и Байрон, — писал Мадзини, — вот два человека, представлявшие и олицетворявшие собой индивидуальную эпоху» [1]. Благодаря сен-симонизму романтическое движение вступило во вторую стадию развития — появился социальный романтизм.

Первоначально сен-симонизм также являлся реакцией на рационалистические и материалистические идеи Просвещения, использованные Французской революцией, однако эта реакция была иной, чем реакция Шатобриана и де Сталь: это был антиякобинизм, стремившийся осуществить цели, поставленные якобинцами, но на базе социальной утопии, носившей спиритуалистический и примирительный характер.

Романтики-индивидуалисты боролись под знаменем *либерализма* и *религии.* Социальный романтизм изменил девиз и начертал на том же знамени — *религия* и *демократия.* Но на самом деле приверженцы как того, так и другого направления не были верующими в полном смысле слова; несомненно также, что к романтикам первого поколения принадлежали как католики (Шатобриан), так и протестанты (де Сталь), и можно было бы немало сказать и об ортодоксии самого их католицизма и протестантства. Но сторонники социального романтизма переступили этот рубеж: они были в равной мере противниками и католицизма и протестантства. Сен-Симон все-таки был за христианство и, уж во всяком случае, за *новое христианство,* несколько отличное от старого. Но Мадзини пошел еще дальше: он выступал не только против католицизма и папства и против протестантства, но отвергал также христианство. Его идея «религиозной миссии» есть идея спиритуалистической миссии *человека,* которая приводит к «замене догмы *грехопадения* и *искупления милостью божией* догмой *прогресса*» [2]. Мадзини считал, что христианство, папство, католицизм отжили свой век и являют собой уже не подлинный и святой авторитет, а только призрачный, ложный, мертвый авторитет. Католицизм, благоговеющий исключительно перед формой религии, представляет собой «материализацию религии, идолопоклонство перед формами, подменяющее дух религии» [3]. Протестантство, по мнению Мадзини, также носит отпечаток материализма. Учение, которое «полагает суверенитет *в индивидууме, в «я»*... приводит в религии тех, кто робко останавливается на полпути, к *протестантству,*

---

1 G. Berti, Appunti sull'epoca romantica, в „Società", 1946, p. 583.
2 F. De Sanctis, Storia della Letteratura Italiana, Torino, 1958, p. 939.

1 G. Mazzini, Scritti Editi ed Inediti, Milano, 1861, vol. I, p. 257.
2 G. Mazzini, vol. XCII, p. 152.
3 G. Mazzini, vol. LXXXIII, p. 63.

а тех, кто более последователен, — к *материализму*» [1]. Приговор выносится и христианству «Само христианство является *индивидуальной,* а не *социальной* религией» [2]. «Христианство — это религия *индивидуума*... Оно пренебрегает *ассоциацией,* которая ныне, как известно, является единственным средством *Прогресса*» [3].

Итак, в чем же проявляется бог Мадзини? В том, каким образом он обнаруживает себя на земле, то есть через *закон прогресса,* — странное сплетение идей Сен-Симона и Кондорсе. Следовательно, тщетны были бы попытки выявить мадзинистскую *религию* (понимаемую в узком смысле этого слова): ведь Мадзини не призывал к проведению религиозной реформы, ибо тот, кто выступает с подобным требованием, обязательно обращается к конкретной религиозной догме, которую надлежит реформировать. Мадзини же не обращается ни к одной конкретной религии, не исключая и христианства. Религия Мадзини — это его социально-политическая доктрина. Поэтому если мы хотим докопаться до сути дела, необходимо обратиться к ее рассмотрению и постараться установить, что представляла собой эта доктрина и каковы ее основные положения

Любая социально-политическая доктрина (консервативная, умеренно-либеральная или революционная) складывается из двух основных элементов из определения системы производства и распределения произведенных благ (то есть социально-экономической системы) и вытекающего отсюда определения политической структуры общества, то есть определения власти, суверенитета. Эти важнейшие категории претерпели в новое время особенно значительное развитие, приобретая постепенно все более точную, четкую форму.

Характер социально-экономической платформы Мадзини абсолютно ясен (даже если она выглядит утопической в эпоху бурного роста индустрии и торгового и промышленного капитала): Мадзини проповедовал добровольную ассоциацию мелких производителей. Таким образом, он выступал против идей социалистов и коммунистов, но еще более решительно

[1] G. Mazzini, vol. XCII, p. 109—110.
[2] G. Mazzini, vol. III, p. 8.
[3] G. Mazzini, vol XCII, p. 224 В письме от 12 января 1865 года к госпоже Х Мадзини писал «Бог христиан — это не мой бог я уже сказал вам, что я не христианин Изучая историю не отдельных индивидуумов, а масс, эпоха за эпохой, я подметил действие некой Силы, Закона, которые шаг за шагом заставляют нас подниматься вверх и извлекают добро из зла»

против свободного развития капитализма, то есть отвергал свободу капиталистической конкуренции и какую бы то ни было форму монополии и картелирования. По мнению Мадзини, собственность законна постольку, поскольку она является «свидетельством... количества *труда,* посредством которого *индивидуум* преобразовал, развил, преумножил производительные силы природы» [1]. Мадзини еще более суживает эту формулу, когда пишет о *«наглядном свидетельстве»* участия человеческого труда в «преобразовании материального мира» [2]. Таким образом, очевидно, что Мадзини делает ставку на мелкую собственность, отвергая в то же время крупную капиталистическую собственность, которая являет собой глубокое разъединение, разрыв между трудом и капиталом. *Трудящиеся — это человеческий фактор, который преобразует материальный мир.* Поэтому, согласно теории Мадзини, им принадлежит право быть совладельцами собственности. И только у трудящихся Мадзини признает то нравственно-экономическое соответствие, которое оправдывает одновременно их положение как производителей, граждан и людей.

Но капиталистическую экономическую систему, которую Мадзини — дабы отмежеваться от социалистов — предпочитает именовать *индивидуалистической,* он подвергает такой же критике, как и социалисты; в самом деле, Мадзини ссылается на Фурье [3] и социалистов других школ, когда объясняет причину нищеты народных масс монополией и тиранией капитала и утверждает как следствие необходимость того, чтобы собственность «основывалась на принципе, который делает ее законной, так чтобы труд мог создавать собственность». Поскольку современный мир, современная техника сделали необходимым ассоциированный труд и, следовательно, новые капиталистические формы инвестиций, то труд и капитал должны находиться в одних и тех же руках, чтобы стать законными в социальном отношении. Капитал, *оторванный* от материального труда или — что еще хуже — использующий его в своих интересах, эксплуатирующий его и извлекающий из него для себя экономические и политические привилегии, — такой капитал означал для Мадзини отрицание закона бога, отрицание закона прогресса, который суть проявление закона бога на земле.

Отсюда ведет свое начало утопическая религия долга Мадзини — ибо только такая религия, по мысли Мадзини,

[1] G. Mazzini, vol. LXIX, p. 121.
[2] G. Mazzini, vol. XCII, p. 311 (курсив наш. — *Д. Б.*).
[3] G. Mazzini, vol. VII, p. 386 sgg.

могла бы в современном мире убедить капиталистов отказаться мирным путем (пусть даже постепенно) от их материальных привилегий и вступить в *ассоциацию*. Либо восторжествует *социальная религия,* либо та и другая сторона — пролетариат и капиталисты — окажутся во власти материализма и классовой борьбы, так что в конечном счете утвердится или монополия капитала, или монополия коммунизма. Из этой экономической доктрины вытекает мадзинистская концепция власти, суверенитета. Конечно, это была демократическая концепция, однако ее демократизм неизбежно носил ограниченный характер (далее мы увидим, в чем состояла эта ограниченность и как она сказалась в конечном счете даже в воззрениях самых передовых итальянских демократов).

Как же Мадзини ставит проблему власти и суверенитета? На каком политическом фундаменте покоится весь сложный комплекс его принципов, верований, целей?

«Носитель суверенитета, — писал Мадзини, — это не *я* и не *мы,* а *Бог,* творец жизни, это *Прогресс,* который определяет жизнь, это Моральный закон, который определяет Долг» [1]. Но кому дано открыть закон прогресса, божий закон, который предписывает права и обязанности людей и должен служить нормой для каждого? «Открытие закона прогресса и применение закона бога принадлежит человечеству» [2]. В другом месте он так сформулировал свое кредо: *«единственный властитель — Бог; единственный закон — прогресс; единственный истолкователь закона Бога на земле — народ; указующие же путь, вожди — добродетель и гений»* [3].

На первый взгляд построение Мадзини кажется оборотной стороной концепции Де Местра: папско-монархическая теократия заменена народной теократией (термин «народная теократия» применительно к доктрине Мадзини впервые использовал, кажется, Сальвемини). Но так ли это на самом деле? Не целиком и даже не в основном, ответим мы.

Мадзини несчетное число раз возвращается к этой проблеме и столь настойчиво, что просто невозможно ошибиться. носителем суверенитета для него является бог, а его законом в социальном плане — *прогресс*; в индивидуальном же плане *долг* требует следовать этому закону прогресса. Все это, вместе взятое, представляет собой переработку идей Кондорсе в сен-симонистском и мистическом духе. Попытаемся, однако, выяснить, каково конкретное политическое содержание этой формулы.

Кому предстоит открыть закон прогресса? Именно с этим вопросом связано существо всей проблемы. Можно ли сказать, что открытие этого закона совершит народ — торжественным изъявлением своей воли в демократических ассамблеях? И да, и нет. Своеобразный (сен-симонистский) ключ к разрешению проблемы заключается в особой роли гения, который просвещает народные массы, невежественные и сбившиеся с пути (хотя и не по своей вине), то есть в роли гениальных и добродетельных людей, в роли интеллигенции в истории. Вспомним, что Сен-Симон хотел, чтобы руководство человечеством находилось в руках совета ученых, гениев, которые говорили бы с народом от имени бога; они были бы руководителями народа и одновременно его избранниками, но именно эти люди, а не народ должны были бы познать вечные законы универсума и применить их к социальному устройству. И самой концепции Сен-Симона с ее странным делением общества на классы (при котором к трудящимся относились не только лица, работающие по найму, и работники физического труда, но и предприниматели и капиталисты, вносящие в производство дух науки и изобретательности, а к «праздным» — те, кто не участвует в производстве — в его наиболее развитых и передовых формах — или потому, что не имеют работы, или потому, что живут на ренту, или же потому, что не принадлежат к этому передовому отряду человечества по какой-то иной причине), также и этой концепции присуща идея социального руководства интеллигенции как истолкователя закона бога на земле.

Вернемся, однако, к Мадзини. «Единственный властитель — Бог»,— утверждает он. Хорошо, но ведь бог находится на небе. «Единственный закон — прогресс»,— продолжает он, но ведь что является прогрессом, а что нет—решают люди, и, следовательно, именно они устанавливают, какой это закон или каким он должен быть. «Единственный истолкователь закона Бога на земле — народ, указующие же путь, вожди — добродетель и гений»,— и вот здесь, именно здесь выступает ограниченность демократической системы Мадзини, ибо он не называет здесь самого верного, самого существенного признака демократии — народного суверенитета. Конечно, теоретически этот суверенитет признается (*«Бог и Народ»*, и народ как истолкователь закона бога на земле), но как бы скрупулезно вы ни изучали концепцию Мадзини, с какой бы стороны вы ни анализировали ее, вам придется признать,

---

[1] G. Mazzini, vol. XCII, p. 112.
[2] G. Mazzini, vol. LXIX, p. 23.
[3] G. Mazzini, vol. XXXIX, p. 218.

что идея народного суверенитета никогда не принимала у Мадзини такой целостной, законченной формы, как у Руссо (хотя он жил в XVIII веке) или у наиболее последовательных демократов XIX века Конечно, Мадзини говорит, что именно народ определяет, каков, собственно, этот закон прогресса, но никак нельзя забывать, что «указующие путь, вожди — добродетель и гений». Однако чьи добродетель и гений? Вот в чем вопрос!

Сразу же оговоримся, что речь идет не о случайной фразе; это формула, обдуманная и тщательно взвешенная Мадзини, повторенная им множество раз, это ядро его революционной конституционной доктрины, основа его социально-политических взглядов, суть его принципов.

Ключом к пониманию мадзинистской концепции демократии является не столько идея народного суверенитета, сколько идея вождей, наделенных *гением* и *добродетелью* и указывающих путь народным массам. Вот почему Мадзини утверждал, что «носитель суверенитета — это не я и не мы, а Бог» [1], вот почему он писал, что «только бог является сувереном» [2], вот почему он доказывал, что народ постольку *достоин осуществлять суверенитет, поскольку он сообразуется* с законом бога, более того, *принимает* его [3]. Поэтому в действительности *подлинный* суверенитет воплощается у Мадзини в гении, который истолковывает закон бога, то есть *закон прогресса,* и знакомит с ним народ, *принимающий* этот закон. Если же народ не сделает этого — тем хуже для него: он сбивается с правильного пути, оказывается без руля и без ветрил, отступает от «закона Бога» и т. д. Мадзини категорически и недвусмысленно выступает против руссоистской концепции неограниченного народного суверенитета — значительно более решительно, чем принято обычно думать. Демократия у Мадзини не представляет собой последовательной, цельной системы; ее нельзя определить двумя словами: «народный суверенитет» — и точка. Нет, это *сложная*, многоступенчатая система, и эта сложность и многоступенчатость отнюдь не случайны.

Мы рассмотрели шаг за шагом эти взаимосвязанные звенья мадзинистской системы: бог проявляет себя через закон прогресса, истолкование этого закона принадлежит народу. Но кто прочтет на скрижалях этот закон, раскроет его народу? Гений, наделенный добродетелью и способностью свершить это, способный установить новую догму, то есть апостол новой веры.

Следовательно, когда демократы — как поборники Мадзини, так и немадзинисты — подметили в определенный момент несостоятельность и утопизм идей учителя и проявили свою нетерпимость и враждебность (принимавшую с течением времени все более широкие размеры) к претензиям Мадзини на роль пророка, как единственного истолкователя закона прогресса, закона бога на земле, то эта враждебность и раздражение, несомненно, имели под собой основание.

На деле мадзинистская теократия была не только «народной теократией», как писал Сальвемини; это была народно-философская теократия именно того типа, который предусматривал сен-симонизм. В самом деле, Мадзини упоминает о *«великой философской ассоциации,* к которой примыкали бы, как ветви к стволу, все второстепенные ассоциации, передавая в центр суммарные результаты своих трудов, своих открытий и предвидений» [1]. Таким образом, он высказывал в этом вопросе идеи, не отличавшиеся от тех, которые отстаивал один из главных учеников Сен-Симона, Огюст Конт. Этот последний в своем «Курсе позитивной философии» трактует позитивную организацию духовной власти как один из главных устоев своей политической системы [2]. Народная демократия, согласно Мадзини, — это демократия, находящаяся в становлении; закон бога на земле, закон прогресса *утвердится, восторжествует,* но для этого гений должен найти правильный путь, а таким путем является путь демократии, при которой главенствующая роль принадлежит гению и добродетели, *интеллигенции, интеллектуальной элите,* ведущей человечество по новой стезе. Таков сен-симонистский ключ к мадзинистской системе, и такова в основных чертах мадзинистская политическая доктрина.

Нужно отметить, что сам Мадзини не находил свою систему вполне демократической, но он считал — и это особенно важно — невозможным сделать ее такой. Мадзини рассматривал свою партию не как массовую демократическую партию (впрочем, в конкретных условиях Италии тех лет такая партия вряд ли была возможна) и даже не как демократическую партию, опирающуюся на массы, а скорее всего как очень небольшой героический авангард просвещенных энтузиастов, пролагающих путь демократии. Таким образом, в мадзинистской теории мы наблюдаем смешение сен-симо-

[1] G. Mazzini, vol. XCII, p. 112.
[2] G. Mazzini, vol. V, p. 317.
[3] См. G. Mazzini, vol. LXIX, p. 88.

[1] G. Mazzini, vol. VII, p. 309.
[2] См. A. Comte, Cours de philosophie positive, vol. VI, p. 490.

нистской и буонарротистской (в духе XVIII века) идей диктатуры как силы, воспитывающей общество, направляемое к единой цели, по единому замыслу людьми, наделенными «гением» (Сен-Симон) и «добродетелью» (Робеспьер, Буонарроти).

Можно было бы рассмотреть еще целый ряд вопросов, но на поверку они обнаружили бы свой второстепенный, подчиненный характер. Трудно поверить этому, но подчиненную роль играет даже мадзинистская концепция национальности, представляющая собой, по существу, лишь логическое следствие главного тезиса (в лоне человечества каждый народ выполняет свою особую, национальную миссию). Впрочем, сколь бы странным это ни показалось, такой непоколебимый, ревностный поборник принципа национальности, каким был Мадзини, не только имел смутное представление о конкретных политических формах, в которых ставился в XIX веке национальный вопрос в Европе, но и допускал весьма произвольное толкование этого вопроса. Он имел четкое и ясное представление о национальной проблеме только в двух странах — в Италии и во Франции. Что же касается других стран, то Мадзини (это опять-таки вызывает удивление) не рассматривал нацию ни в языковом, ни в этническом, ни в экономическом отношении (с точки зрения складывания внутреннего рынка и существования устойчивых связей и интересов); не рассматривал он нацию и в историческом аспекте. Все сводилось к туманной миссии, которую надлежит выполнить народам на земле, дабы осуществить предначертания бога. Этот тезис приводил Мадзини к тому, что он рассматривал как единую нацию Испанию и Португалию, имевшие разные языки, разную историю и разные экономические интересы, а также Бельгию и Голландию и помышлял даже о Британском государстве, объединенном в единую нацию со скандинавскими государствами; ему представлялась Греция, объединившая не только острова архипелага, но и Эпир, Македонию, Румынию и даже распростершаяся далеко по Балканам, вплоть до Константинополя. Что же это была бы за «греческая» нация? В отношении Венгрии Мадзини много раз менял свою точку зрения. То он хотел присоединения Венгрии к Германии, то включал ее в некую нацию (?) южных славян, относя к ней, помимо венгров, народы современной Югославии, албанцев, болгар и другие народы. Несмотря на тесные связи итальянского патриотического движения и венгерского, Мадзини не приходило в голову, что Венгрия представляет самостоятельную нацию, подобно Италии и Франции.

О непонимании Мадзини исторического процесса (и, следовательно, реального процесса формирования человеческих отношений) очень убедительно писал недавно Э. Сестан, указывая на «твердое убеждение Мадзини, что *новая эра* будет не просто новым эпизодом в извечном движении человечества, но принесет с собой нечто конечное, нечто — в прямом смысле этого слова — нетленное, не поддающееся более упадку и регрессу, но, напротив, постоянно развивающееся на своей собственной основе». Это было глубокое убеждение нерационального характера, это была вера. Уже Сальвемини правильно подметил, пишет Сестан, что Мадзини хотя и считал критерием истины сочетание общепринятого мнения человечества, то есть традиции, с индивидуальной интуицией нашего сознания, тем не менее, «когда ему приходилось отстаивать основополагающие принципы своей системы, он в конце концов всегда отодвигал общее мнение рода человеческого на задний план и апеллировал, по его собственному выражению, исключительно к «интуиции любящей души, постигающей величие жизни, к почти неизъяснимым порывам вдохновения». «Это некая всесильная необходимость,— писал далее Мадзини,— непостижимая для меня самого, направляющая все мои действия и носящая характер религиозного повеления, не подчиниться которому, когда я его ощущаю, мне кажется преступлением и которое навечно останется тайной для всех, ибо я не в силах объяснить его, а другие не смогут его понять». «Этот примат интуиции,— пишет Сестан,— примат вдохновленного свыше ума над традицией, над общим мнением, не говоря уже о трезвом аналитическом разуме, проявляется особенно отчетливо в его концепции бесконечного прогресса, в его слепой вере в наступление новой эры, в его представлении о фатальности, неотвратимости развития. Все это приводит Мадзини, по существу, к принижению роли истории...» [1]

Следует, однако, добавить, что эта мадзинистская концепция ведет не только к недооценке истории, но и к обесцениванию самой концепции демократии или, во всяком случае, к ее значительному ограничению. Вершителем судеб демократического общества, как его представляет себе Мадзини, оказывается не столько народный суверенитет, не столько воля большинства, сколько направляющий разум, гений, который истолковывает закон бога на земле и ведет не только

---

[1] E. Sestan, Mazzini e il Mondo della Storia, Firenze, 1958, в „Studi Storici in onore di Gioacchino Volpe", vol. II, p. 945—946.

итальянский, но и все народы к земле обетованной, к новой эре, к окончательному и совершенному общественному устройству. К тому, что сказал Сестан, следует добавить, что Мадзини никогда ясно не говорит, каков должен быть этот окончательный строй; он только поясняет, что человеческое общество примет «образ божественного общества, того царства небесного, где все равны»[1], что, когда данная цель «будет достигнута, преображенное человечество узрит другую»[2], но мы не знаем и не можем даже представить себе, какова будет эта новая цель.

Подводя некоторый итог, скажем, что мадзинистская доктрина приобрела определенное — и притом весьма значительное — влияние в условиях итальянской, и в известной мере также европейской, действительности; более того, ее влияние распространилось даже за пределы Европы (Сальвемини справедливо отметил отголоски мадзинизма в индийском национальном движении и воззрениях руководителя китайского национально-освободительного движения Сун Ят-сена). И все же не вызывает никакого сомнения, что мадзинизм в основе своей был утопической доктриной. Конечно, никто не отрицает, что утопии играют вполне *реальную и порой* чрезвычайно эффективную роль: ведь именно мадзинизм был в период Рисорджименто одной из главных движущих сил. И если вы хотите до конца понять и оценить Мадзини, не отделяйте человека действия, патриота, знаменосца национального единства, центральную фигуру демократического лагеря эпохи Рисорджименто от мыслителя, сен-симониста, утописта, ибо Мадзини был цельной, монолитной личностью, что и обусловило его исключительное влияние, несмотря на те бесконечные разногласия и расколы, которые его доктрина породила в конечном счете в демократическом лагере.

В действительности Мадзини не был выразителем интересов ни богачей (как полагал Буонарроти), ни бедняков; он не отстаивал ни классовых интересов буржуазии капиталистической формации (уже властно утвердившейся повсюду), ни интересов пролетариата; напротив, он пытался уйти от реальной классовой борьбы, встать над ней, объединить и примирить классы посредством своей утопической *ассоциации.*

И все же нельзя отрицать, что в теории Мадзини, так же как и в сен-симонистской теории, главное внимание акцентируется на *социальном вопросе,* на необходимости идти навстречу требованиям наиболее многочисленного и нуждающегося класса и указать народным массам (пусть даже в патерналистской форме, сверху) *единственный путь* (духовный, начертанный богом и т. д.) их освобождения. Конечно, эта доктрина сделала Мадзини противником социализма и классовой борьбы, но вместе с тем и еще более непримиримым противником капиталистического господства, монополии капитала.

Излишне даже специально говорить о решающем значении, которое имел для Мадзини «социальный вопрос»,— настолько он доминировал во всей его деятельности. В сущности, это была его *религия,* и, когда в своих «Воспоминаниях о Пизакане» Мадзини писал, что в социальном вопросе он пошел даже дальше самого Пизакане, не следует думать, что он утверждал это не вполне искренне: конечно, этого не было в действительности, но так оно могло казаться Мадзини. С этой точки зрения некоторые замечания Росселли[1], высказанные им по данному вопросу, нуждаются в оговорках. В частности, не верно, что Мадзини был «умеренным реформистом», *даже если его основной идеей была идея примирения* классов. Конечно, идея создания нового общества не на основе материальных интересов, а на религиозно-социальном законе долга была неосуществимой утопией, но если бы такая утопия была претворена в жизнь, это означало бы не умеренную реформу, а переоценку всех ценностей. Следовательно, социальная религия Мадзини была становым хребтом, сутью всей его теории.

Какова была историческая судьба мадзинистской доктрины? На первых порах, несмотря ни на что, она обнаружила себя в Италии в качестве мощной стимулирующей силы, чтобы затем, когда на Апеннинском полуострове стали распространяться более реалистические, более современные и более прогрессивные идеи, превратиться в тормоз, в препятствие движению.

Во всяком случае, мадзинистские категории — «индивидуальная эпоха» и «социальная эпоха» — полностью соответствуют категориям сен-симонистской системы — «критическая эпоха» (то есть эпоха индивидуалистическая) и «органическая эпоха» (то есть эпоха ассоциации). В обоих случаях речь идет об одном и том же социологическом принципе,

---

[1] G. Mazzini, vol. VI, p. 176.
[2] G. Mazzini, vol. XCII, p. 145.

[1] N. Rosselli, Carlo Pisacane nel Risorgimento italiano, Torino, 1932, p. 182.

который устанавливает одинаковое социально-экономическое различие между «индивидуальными эпохами» (иначе говоря, такими, в которых господствует индивидуальная инициатива и свобода конкуренции) и «социальными эпохами» (в которых социально-экономические силы упорядочены и развиваются по плану в рамках ассоциативной или социалистической системы).

Как же, спрашивается, могла итальянская буржуазия (землевладельцы, промышленники, торговцы — одним словом, имущие слои) считать Мадзини выразителем своих интересов и идеалов? Скорее, к его словам могли прислушаться пролетарии, которым, во-первых, нечего было терять, а во-вторых, посчастливилось наконец встретить человека, откликнувшегося на их нужды и обещавшего справедливость и равенство. Но могут задать вопрос: почему же все-таки Мадзини полностью умалчивал об *аграрном законе?*

Не может быть никакого сомнения, что мадзинистская теория ассоциации распространялась также на систему землевладения. Следовательно, Мадзини был противником крупной феодальной и капиталистической собственности и выступал за ассоциацию мелких землевладельцев кооперативного типа.

Однако в период борьбы за воссоединение Италии он — правильно или ошибочно — не желал поднимать этот вопрос, опасаясь, как бы против национального движения не выступила часть тех классов, которым как раз надлежало довести его до конца. Мадзини полагал, что без поддержки буржуазии будет очень трудно создать единое итальянское государство, ибо, несмотря на свои утопические идеи, он все же понимал, что национальное движение является в своей основе буржуазно-национальным; поэтому Мадзини и настаивал на необходимости достижения сначала национального единства и уж потом нового устройства общества.

Однако итальянская буржуазия не была настолько наивна, чтобы дать поймать себя на приманку этих *сначала* и *потом.* Прежде всего прогресс и свободное развитие капитализма сливались для нее в единое представление об историческом развитии, а во-вторых, она не желала, чтобы даже *потом* ее привилегии подвергались какому-бы то ни было ущемлению.

Какие же выводы можно сделать, рассматривая социально-экономические взгляды Мадзини?

Прежде всего следует остерегаться односторонней интерпретации этих взглядов. На ошибочный путь вступают те, кто при истолковании социально-экономических идей Мадзини ограничивается напоминанием, что Мадзини был противником «аграрного закона» и заявлял: «Мы не хотим ни отмены законно приобретенных прав, ни аграрного закона, ни бесполезных насилий над индивидуальными способностями, ни узурпаций собственности». Да, все это сказано Мадзини. Впрочем, в свете того, что мы знаем об идеях Мадзини, саму эту формулу следует понимать иначе, чем понимают ее те, кто обычно ссылается на нее. В самом деле, Мадзини выступает против попрания *законно* приобретенных прав, а ведь, согласно его постоянным утверждениям, *законна* только та собственность, которая является наглядным свидетельством участия человеческого труда в преобразовании материального мира; напротив, капиталистическое накопление незаконно, капиталистическое общество — «гнусность», его нужно изменить, и т. д. и т. д.

Ошибаются также те, кто, опираясь на бесчисленные высказывания Мадзини, окрашенные в пролетарские и социалистические тона, на его горячие призывы к построению общества свободных и равных, в котором будет покончено с угнетением и привилегиями, пытается представить Мадзини как социалиста, склоняясь, стало быть, к такой интерпретации социально-экономических взглядов Мадзини, которая диаметрально противоположна первой. Чего только не писали о социально-экономической программе Мадзини! Находились даже люди, авторитетно утверждавшие, что она базируется на идеях Лассаля, забывая, что Мадзини придал этой программе почти окончательную форму в 30—40-х годах XIX века, тогда как Лассаль публично изложил свои социально-экономические идеи лишь после 1860 года [1].

Конечно, Мадзини был против социальных преобразований, являющихся результатом классовой борьбы — борьбы пролетариата с буржуазией и тем более борьбы имущих классов с неимущими во имя сохранения привилегий первых в ущерб правам трудящихся масс.. Тем не менее он хотел, минуя путь классовой борьбы, на основе морального и религиозного единства, присущего новому общественному устрой-

[1] Эту абсурдную и анахроническую гипотезу о лассальянских истоках мадзинизма выдвинул в своей книге Гриффит (G. O. Griffith, Mazzini profeta di una nuova Europa, Bari, 1935, p. 451). Как известно, Лассаль до 1860—1861 годов придерживался либеральных взглядов. В «Речах к рабочим» (1862) он выражает уже более радикальные идеи. Эти речи вышли отдельным изданием только в 1863 году.

ству, *радикально изменить существующий социально-экономический строй,* иными словами, преобразовать капиталистический строй в строй социалитарный, основанный на ассоциации.

Мадзини питал утопические надежды на то, что живительная атмосфера нового города солнца, нового божьего града заставит и пролетариат и буржуазию осознать свой долг объединиться: буржуазия пойдет навстречу рабочим и разрешит социальный вопрос, избегнув тем самым участи быть «поглощенной ими» (в результате чего в тот момент она перестанет быть в экономическом и социальном отношении *классом капиталистов);* рабочие же со своей стороны примут предложенные капиталистами (или, во всяком случае, согласованные с ними) условия соглашения о постепенном преобразовании капиталистического общества в основанное на ассоциации общество свободных и равных мелких производителей (в результате чего в тот момент рабочие перестанут быть *классом пролетариев*). Так, постепенно, без острых столкновений и потрясений капитал и труд оказались бы в конечном счете ассоциированными в одних и тех же руках — в руках человечества, почти целиком состоящего из равных. И этого удалось бы достигнуть без крови, без переворотов, без насилия между противостоящими друг другу социальными группами, под руководством передового и просвещенного демократического государства, государства этико-социального, в котором воспитательная диктатура служила бы именно воспитанию всех граждан в новом духе, в духе «единой цели, единого закона», предопределяя и направляя все усилия к постепенному достижению величайшей конечной цели — утверждению «социальной эпохи».

Между тем, пока власть еще не перешла в руки этого просвещенного и революционного класса, призванного радикально преобразовать самые основы общества, следует побуждать капиталистов к более справедливой оплате труда и одновременно подталкивать рабочих к объединению в свободные и добровольные кооперативные ассоциации, которые гарантировали бы каждому часть продукта общего труда и право на пропорциональное участие в прибылях, — это был бы первый образец того, чем должно стать общество завтрашнего дня. Но это не означает, что город будущего представлялся Мадзини только в таких узких кооперативистских рамках. «Социальная эпоха» была, несомненно, связана для него не только с этико-религиозными изменениями, но и с глубокими социально-экономическими преобразованиями.

В свете всего сказанного нельзя признать правильными замечания о социально-экономических воззрениях Мадзини, высказанные Н. Росселли в книге о Пизакане и еще более подробно и пространно в книге «Мадзини и Бакунин», где социально-экономическая программа Мадзини сводится автором к трем основным положениям: «1. Введение единого подоходного налога вместо всех существующих; этот налог не распространяется только на доход, достаточный лишь для поддержания существования. 2. Создание банка рабочего кредита. 3. Основание специального национального фонда в целях экономического и духовного прогресса всей страны, который был бы создан за счет государственных налоговых поступлений, за счет доходов от церковных и коммунальных имуществ, от необрабатываемых земель и другого имущества, принадлежащего государству. Действия правительства и усилия трудящихся должны сочетаться с добровольным содействием имущих классов, которые поддержали бы всеми возможными средствами возникающие рабочие ассоциации и предвосхитили бы новую организацию труда, изучая пока новые системы оплаты, идя навстречу справедливым пожеланиям рабочих, словом, кладя начало сотрудничеству между трудом и капиталом. Со своей стороны рабочие классы смогли бы пробудить заинтересованность имущих сословий, доказав на деле, что стремление к созданию ассоциаций является не капризом жалкого меньшинства, а твердой волей большинства» [1].

Разумеется, это была программа-*минимум,* выдвинутая Мадзини в условиях, когда рабочий класс находился в оппозиции, а имущие слои — у власти, когда государство было монархическим (и, во всяком случае, не республиканско-демократическим), словом, когда «социальная эпоха» еще не восторжествовала, а революционный класс, которому предстояло создать новую структуру общества и обеспечить *постоянное и прогрессивное развитие* нового общества, еще не встал у власти (а это очень важный момент). Но наряду с этой программой-*минимум* в мадзинистской доктрине существовала также программа-*максимум,* какой бы туманной и утопической она ни была,— программа, о которой Мадзини никогда не забывал напоминать и которая выглядела, несомненно, более передовой.

Конечно, *на деле* — и это другой характерный аспект мадзинизма — ни программа-минимум, ни тем более программа-

[1] N. Rosselli, Mazzini e Bakounine, Torino, 1927, p. 8—9.

максимум никогда не спускались с неба на землю, даже в те моменты, когда Мадзини обладал в какой-то мере властью. Это было обусловлено, несомненно, целым рядом политических соображений, диктуемых реальными условиями абсолютистской Италии (политика — это неумолимая сила, которая в конце концов заставляет всех относиться к ней как к искусству достижения возможного). Отсюда — цепь бесчисленных компромиссов, на которые всегда готов был пойти (и легко шел) Мадзини. Прав поэтому А. М. Гизальберти, указывающий, что в 1849 году «из первоначального проекта *основного декрета* об учреждении республики (в Риме) была исключена именно та (IV) статья, которая касалась социальных требований» [1]. И все-таки эта IV статья была разработана, несмотря на труднейшие условия 1849 года, причем Мадзини намеревался, если будет выиграна битва за национальное единство и если к тому же к власти придет руководимый им отряд просвещенных республиканцев-унитариев, добиться торжества новой социальной религии в Италии, а затем и в Европе. Именно на достижение этой цели и были неизменно направлены его мысль и деятельность. Могут сказать, что эта цель была для него чрезвычайно отдаленной, туманной перспективой. Никто не отрицает этого, но все же нужно помнить, что Мадзини питал глубокую веру в эту цель.

С этой точки зрения представляются весьма справедливыми и меткими некоторые высказывания Л. Сальваторелли по поводу социализма Мадзини (к сожалению, они сопровождались неуместными нападками и резкостями, продиктованными соображениями политической полемики). «В 1832 году в статье «О Молодой Италии» Мадзини утверждает,— пишет Сальваторелли,— что люди рождаются духовно равными, «наделенными одинаковыми способностями, одинаковыми органами, одинаковым инстинктом прогресса, подчиненными влиянию одних и тех же принципов»; однако они неравны в интеллектуальном отношении и с точки зрения их экономического положения. Второй вид неравенства, «подвергающийся постоянным исправлениям, неизбежно несет на себе отпечаток законодательства, которое, распределяя труд и — пропорционально труду — оплату, может постепенно уменьшить это неравенство» (G. Mazzini, vol. III, p. 63). Тем самым Мадзини отвергает экономический либерализм в его чистом виде и признает необходимость вмешательства государства

[1] A. M. Ghisalberti, Popolo e politica nel' 49 romano, в „Giuseppe Mazzini e la Repubblica romana", Roma, 1949, p. 85—86.

с целью постепенного ослабления экономического неравенства между индивидуумами. Далее, в той же статье Мадзини утверждает в еще более синтетической форме, что *национальный* представительный орган, «строго охраняющий политическое равенство, должен заботиться о том, чтобы последовательно создаваемые установления способствовали прогрессу социального равенства» (op. cit., p. 67). И тут же он уточняет: «Сюда относятся законы о завещаниях, касающиеся наследования и передачи в дар, законы, направленные на предотвращение чрезмерного накопления богатств в руках немногих и концентрации собственности в руках нескольких семейств. Сюда относится принцип оплаты в соответствии с пользой, принесенной обществу». Написанный в 1834 году «Статут Молодой Европы», по существу своему программный документ, содержит более точные и прогрессивные формулировки. «Равенство требует, — гласит статья II, — чтобы каждый человек участвовал — соразмерно своему труду — в пользовании продуктами, которые являются результатом усилий всех приведенных в действие социальных сил» (Mazzini, vol. IV, p. 10—11).

Эта декларация могла бы выглядеть как чисто социалистическая, как свидетельство социалистической программы, которая подлежит немедленному и полному осуществлению, однако в письме, написанном несколько позже (в 1835 году), мы читаем, что «собственность священна, поскольку она воплощает человеческую индивидуальность, человеческую личность»; вместе с тем она подлежит изменениям, которые примут особенно значительные размеры в будущем, в новую эпоху, говоря точнее — к моменту ее завершения, и явятся как бы „символом эпохи" » [1].

Именно в этих словах Мадзини заключается весь смысл того метода стадийного, постепенного достижения цели, который предлагала мадзинистская концепция, метода, который нельзя, однако, назвать мирным эволюционизмом или реформизмом (на что намекает Росселли). Скорее, он сродни тем формам стадийности, которые были присущи программе карбонариев, Буонарроти, идеологии тех тайных обществ, которые отправлялись от требований, приемлемых для большинства, чтобы затем перейти к *высшей идее,* к *совершенному строю,* к *«городу солнца».*

[1] L. Sallvatore lli, Mazzini e il socialismo odierno, в „Tre problemi tre soluzioni", a cura di Codignola, Salvatorelli, Tramarollo, Genova, 1950.

Следовательно, тот факт, что исходной позицией Мадзини было не причинять «ни малейшего ущерба собственности, находящейся в руках отдельных индивидуумов», имеет лишь относительное значение[1]; это был, бесспорно, отправной пункт, но зато конечным пунктом должно было стать радикальное преобразование индивидуалистического, капиталистического общества в социалитарное общество, покоящееся на ассоциации, подчиненное единому закону и единой цели, общество, основанное на труде и оправдываемое только трудом, общество, где царит утопическая социальная гармония. Так должно было исчезнуть навсегда то капиталистическое общество, которое казалось Мадзини «гнусностью», не говоря уже о том, что он считал его «бессмысленным»[2].

Будущее, ради которого он хотел бороться, представлялось, следовательно, Мадзини обществом трудящихся, в котором стало бы невозможным существование капитала, *отделенного* от труда, а равно и социального слоя, живущего исключительно на нетрудовые доходы или ренту. Однако эту цель предстояло достигнуть, не ликвидируя частную собственность, а, напротив, добиваясь такого положения, когда все стали бы обладателями собственности, приобретенной трудом, но лишь в строжайших границах, допускаемых ассоциацией.

Стало быть, социальным идеалом Мадзини не был социалистический или коммунистический строй, как мы его понимаем сегодня (против такого строя он, как известно, всегда резко выступал). Однако идеалом Мадзини был социалитарный, основанный на ассоциации строй, находящийся в непримиримом противоречии с самыми основами капитализма и свободного предпринимательства, хотя Мадзини и не выдвигал требования обобществления средств производства и обмена.

В настоящее время туманной (как ее называют) социальной доктрине Мадзини усиленно противопоставляют социалистическую систему Джузеппе Феррари. Однако, несмотря на крайне радикальную фразеологию, Феррари — как мы постараемся показать ниже — не пошел в области социальных идей дальше Мадзини. Более того, поскольку Феррари, отстаивая одну из форм ассоциации (или, как он говорил, «общности») мелких собственников, игнорировал вместе с тем мадзинистский революционный метод стадийного, постепенного достижения цели, его позиция в социальном вопросе, несмотря на провозглашение «универсального аграрного закона», в конечном счете была менее передовой, чем позиция Мадзини, который был мишенью его яростных и едких нападок.

В действительности с точки зрения путей разрешения социально-экономических проблем как Мадзини, так и Феррари не идут дальше идей Сен-Симона, Сисмонди или Романьози, то есть остаются в рамках того мелкобуржуазного социализма, широко распространенного до революции 1848 года, который после этой революции, с появлением более последовательных и совершенных форм социализма, перестал уже соответствовать этому понятию. Но существо демократической проповеди, как бы ее ни называли, было именно таким, как мы его определили.

Мадзини был сложной исторической личностью, в его воззрениях и действиях сливались в непримиримом единстве различные и противоположные тенденции. Итальянец по духу, как никто другой, чуждый, однако, привычному, размеренному, спокойному (даже безмятежному) образу жизни Италии XIX века; неутомимый, наделенный мятежным духом агитатор; писатель, представлявший «северную школу», исполненную романтических порывов; боец, который, по словам Каттанео, «почитал победами даже поражения, лишь бы только сражаться»; политик и вместе с тем апостол религиозной и социальной реформы, причины краха которой коренились в ней самой; человек, рожденный, по выражению Томмазео, «скорее для того, чтобы вдохновлять, чем плести заговоры»; человек действия, над которым вечно тяготела неумолимая судьба, преследовавшая его не только в окружающей жизни, но и обрекавшая его на бесконечные душевные терзания; человек, осужденный вечно сталкиваться с неудачами, причины которых коренились в самой природе вещей, и видеть провал всех своих попыток и начинаний,— этот человек, несмотря на все его неудачи, вызывает восхищение и уважение в силу своей могучей идейной устремленности, поразительного упорства в достижении целей, мужества, с которым он переносил град невзгод, тяготевших над ним, как рок, неизменно сопутствовавших ему.

Что бы ни говорили, Мадзини со всеми его противоречиями был путеводной звездой итальянской демократии эпохи Рисорджименто, хотя некоторые его личные качества и некоторые аспекты его доктрины возмущали и отталкивали людей, воспитанных на совершенно иных идеях. Среди этих

---

1 G. Mazzini, vol. X, p. 298.
2 G. Mazzini, vol. XI, p. 28.

людей в числе многих других демократов-южан был и Пизакане, материалист и атеист, глубоко отличавшийся по своему умственному складу от Мадзини Но Пизакане, критиковавший Мадзини и разошедшийся с ним идейно, все-таки боролся вместе с Мадзини вплоть до самой смерти.

Трудно понять оригинальность личности Пизакане, трудно понять те противоречия, которые существовали между его доктриной и воззрениями Мадзини, если предварительно хорошо не уяснить себе, кем был Мадзини и какова его роль в утверждении демократических идей в Италии.

Чтобы покончить с вопросом о влиянии сен-симонизма на итальянскую демократию (мы не будем повторять здесь широко известные факты о том отпечатке, который наложил сен-симонизм на идеи многих представителей демократии Рисорджименто — Монтанелли, Леви, Мелегари и других), отметим лишь, что идеи Сен-Симона послужили первоисточником не только для мадзинизма, но и для многих других направлений европейской демократической мысли. В частности, от идей Сен-Симона отправлялся, как известно, Герцен, родоначальник русского народничества. «Новый мир,— писал он,— толкался в дверь; наши души, наши сердца растворялись ему. Сен-симонизм лег в основу наших убеждений и неизменно остался в существенном» [1].

Но Герцен в отличие от Мадзини был «христианином ненадолго, социалистом — навсегда». Мадзини же никогда не покидала мысль о новом моральном законе, о новой церкви, о новой социальной религии, и именно из этих его устремлений родился лозунг «Партии действия» — «Бог и Народ». Однако не следует чрезмерно возмущаться мадзинистским лозунгом (Маркс не был им возмущен), ибо именно в Италии этот лозунг имел право на существование, и сам Маркс (который безжалостно обрушивал на мадзинистский мистицизм стрелы своего разящего сарказма) учитывал это. «Если лозунг Мадзини: бог и народ, Dio e popolo, — писал он, — может иметь какой-то смысл в Италии, где бога противопоставляют папе, а народ — монархам» [2], то он лишен смысла в политических условиях Германии.

Во всяком случае, концепция *ассоциации,* истолкованная в социалистическом духе, была заимствована у Сен-Симона Мадзини и Прудоном (хотя они и поняли ее по-разному) и, наконец, Пизакане, который примерно в 1854—1855 годах принял лозунг «Свобода и Ассоциация», включив его в завершающий аккорд своего третьего «Очерка».

Пизакане задался целью разработать итальянскую социалистическую теорию, свободную от главной ошибки («искажения ассоциации»), за которую Мадзини (не будем здесь рассматривать, правильно или нет) упрекал Прудона, и в то же время отличную от «авторитарного коммунизма» Луи Блана, Кабе или многих других коммунистов (от Буонарроти до Маркса), доказывавших необходимость сильной власти, что, по мнению Мадзини, подавляло бы *индивидуальность.* Поборники этой теории хотели быть социалистами и итальянскими патриотами, отказываясь как от «авторитарного коммунизма», так и от индивидуалистического анархизма и вместе с тем — и это чрезвычайно важно — не капитулируя перед дилеммой Мадзини, который, отвергая ту или иную форму социализма, отвергал в действительности *весь* современный ему социализм и отстаивал лишь требование национальной революции, ставя в зависимость от последней требование социальной реформы и создания нового, справедливого общественного строя, конкретное воплощение которых стало бы возможным только *после* победы национальной революции.

Пизакане не мог отрицать того факта, что его лозунг «Свобода и Ассоциация» не содержал ничего нового, даже был простым повторением старой мадзинистской формулы. Но Пизакане вложил в нее — о чем он не раз говорил в своих «Очерках» и в еще более ясной и категорической форме в «Основных принципах» [1] — совсем иной смысл и иное социальное содержание, и именно это новое содержание делает Пизакане основоположником особого социалистического направления в Италии, получившего впоследствии название анархистского социализма. В отличие от Прудона, который, несмотря на заявление о своей приверженности к социализму, был мелкобуржуазным анархистом-индивидуалистом, Пизакане своей теорией анархистского *социализма* стремился про-

---

[1] А. И. Герцен, Полное собрание сочинений и писем, т. XII, 1919, стр. 152

[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 7, стр. 490.

---

[1] В октябре 1957 года поиски в архивах привели нас в Геную, где мы надеялись обнаружить бумаги Пизакане, конфискованные пьемонтской полицией после того, как пришло известие о провале экспедиции в Сапри. Мы предполагали, что эти бумаги находятся в генуэзском государственном архиве. С утверждением, что подобные бумаги должны существовать, мы столкнулись в книге Росселли (N. Rosselli, Carlo Pisacane nel Risorgimento Italiano, примечание к стр. 431 первого издания). Был ли Росселли знаком с теми рукописями, о которых в его книге даются столь точные указания? По-видимому, нет, ибо он не цитирует их и вообще ничего не говорит о них в самой книге; было бы странным, если бы Рос-

ложить новый путь, стремился преодолеть, с одной стороны, анархизм мелкого городского производителя, а с другой — «авторитарный коммунизм» и, таким образом, с новых социальных и политических позиций устранить мадзинистскую дилемму, порвав с примирительной социальной доктриной Мадзини и преодолев его упреки и критику по адресу «авторитарного коммунизма» и анархизма и, следовательно, социализма вообще.

Именно эта тенденция, а также первостепенная роль, отводимая крестьянскому восстанию, в значительной мере роднит Пизакане с народничеством. Даже не соглашаясь с тезисом о прямом идейном влиянии Герцена на Пизакане, приходится признать, что для народничества, носившего в ряде своих основных аспектов специфически русский характер, была характерна тем не менее (что свойственно обычно всем значительным политическим движениям) тенденция к социализму, присущая странам, отсталым в промышленном отношении, с преобладанием крестьянского хозяйства, с пережитками патриархальных и полуфеодальных отношений в деревне.

---

селли, познакомившись с этими рукописями, не придал им значения. Равным образом у нас не было оснований полагать, что после выхода в свет книги Россели эти рукописи обнаружил другой старательный исследователь Пизакане — Альдо Романо. Поэтому мы и занялись поисками. И вот в генуэзском архиве среди пяти папок, в которых собраны эти бумаги Пизакане и все относящееся к ним, мы обнаружили также еще не опубликованную в то время рукопись Пизакане, под названием «Основные принципы нового общественного договора и Временная конституция Италии» («Principi fondamentali del nuovo Patto Sociale e Costituzione Provvisoria d'Italia»), и другую рукопись, озаглавленную «Принципы, на которых должно основываться военное дело в Италии» («Principi sui quali è d'uopo fondare le istituzioni militari d'Italia»). Директор архива, доктор Костаманья, предупредил меня, однако, что не так давно по его указанию эти документы были пересняты на фотопленку для их публикации, подготовляемой профессором Джорджо Фалько, известным исследователем Пизакане, автором опубликованной в 1927 году работы о неаполитанском революционере, которая в целом ряде отношений до сих пор не утратила своего значения. В связи со 100-летием со дня гибели Пизакане Дж. Фалько как раз и вернулся к проблемам, которыми занимался в молодости. Поэтому мы сочли своим долгом дождаться публикации профессора Фалько и уже по ней цитировать эти документы Пизакане. О судьбе этих не изданных до последнего времени работ Пизакане и других материалов, конфискованных пьемонтской полицией в квартире Пизакане в Генуе, см. статью Bianca Montale, Le carte Borzone all'Istituto Mazziniano di Genova, в «Bollettino della Domus mazziniana», anno IV, 1958, № 2. «Основные принципы», были опубликованы Дж. Фалько в «Miscellanea di Storia Ligure», I, Genova, 1958, а затем еще раз в книге G. Falco, Pagine sparse di storia e di vita, Milano — Napoli, 1959, p. 372 sgg.

Однако бесспорно, что имело место и прямое влияние Герцена на Пизакане, но насколько оно было значительным, нам, в сущности говоря, не известно. Ф. Вентури, а также В. Матури (в своей вступительной статье к последнему изданию книги Н. Росселли)[1] уделяют особое внимание отношениям между Герценом и итальянскими революционерами, между русскими революционерами-эмигрантами и Пизакане в 1851—1852 годах. Конечно, заслуживает внимания тот факт, что Герцен, высланный в 1852 году из Пьемонта, отправился по просьбе Пизакане вести переговоры с Мадзини. В те годы Герцен занимал в отношении Мадзини критическую позицию, хотя он уважал его и глубоко симпатизировал ему лично. При этом по своим воззрениям Герцен был, конечно, ближе к Пизакане, чем к Мадзини. Несомненно, встречи и беседы с Герценом содействовали укреплению и, возможно, углублению тех социально-политических взглядов, которые Пизакане высказывал уже в 1850 году в «Войне в Италии 1848—1849 годов», но которые, как мы покажем ниже, сложились у него еще раньше.

Следовательно, если можно говорить об определенном влиянии Герцена на Пизакане, если имеются основания допустить такое влияние, то необходимо вместе с тем указать, что это влияние сыграло, на наш взгляд, второстепенную роль в процессе идейного формирования Пизакане. К тому же, находясь в Генуе, Герцен был, по-видимому, связан в гораздо большей степени лично с Медичи, чем с Пизакане. Его воспоминания о неаполитанском революционере («прекрасный капитан») весьма поверхностны и носят скорее эстетический характер. Идеи Герцена, бесспорно, оказали известное влияние на группу, сложившуюся вокруг журнала «Раджоне». Но Пизакане не считал себя членом этой группы, хотя и относился с уважением к главному редактору «Раджоне» Аузонио Франки. Кроме того, самым авторитетным представителем группы «Раджоне» в Генуе был Макки, а с ним Пизакане находился в последние годы в глубоком и остром разладе. Не случайно после трагических событий 1857 года «Раджоне», в сущности, отрицательно отозвался не только о восстании

---

[1] См. вступительную статью В. Матури к книге N. Rosselli, Carlo Pisacane nel Risorgimento Italiano, Milano, 1958, p. 22. В этой статье Матури писал: «В течение нескольких лет Пизакане мог легко встречаться с Герценом, который находился в непосредственной близости, то в Ницце, то в Генуе; в Турине обосновался Иван Головин, основавший эфемерную газету «Журналь де Турин», в Генуе был также Энгельсон. Герцен, высланный в 1852 году из Пьемонта, отправился по просьбе Пизакане с миссией к Мадзини...»

в Генуе и экспедиции в Сапри, но и о самом методе борьбы демократов, как его понимали Мадзини и Пизакане.

С другой стороны, нам представляется более важным и отнюдь не случайным тот факт, что на Юге Италии после воссоединения страны линия Пизакане была в известном смысле продолжена именно Бакуниным и бакунистами. Это доказывает, что между определенными историческими и социальными условиями, между определенной крестьянской массой (призванной стать политически активной силой в промышленно отсталой стране с феодальными пережитками), с одной стороны, и формированием социалистического течения крестьянско-анархистского толка — с другой, явная связь не только существовала, но и получила достаточно отчетливое воплощение в лице Пизакане. Это утверждение не противоречит тому критерию, которым мы намерены руководствоваться при оценке Пизакане, роль которого можно правильно понять только в том случае, если рассматривать его в рамках современных ему исторических условий.

В самом деле, каковы были истоки народничества 40—60-х годов? Ф. Вентури справедливо ставит вопрос, не содержало ли движение декабристов (1816—1825 годы) «народнического зерна, зародыша тех идей, которые будет отстаивать Герцен» [1], и указывает, что «центральной идеей их [декабристов.— *Ред.*] политической программы было освобождение крестьян. Они долго обсуждали способы, расходились во мнениях, но все признавали эту конечную цель» [2]. Более того, Вентури справедливо отмечает, что декабристы хотели «установить связь между просвещенной элитой и крестьянскими массами в обход абсолютистского государства и против него» [3],— факт, который «должен был принести свои плоды» [4]. Итак, от реформаторов XVIII века — к декабристам, от декабристов — к Герцену, иначе говоря, к истокам народничества 40—60-х годов. Спрашивается, было ли в Италии движение, которое хотя бы отдаленно напоминало народничество? Предпринимал ли кто-нибудь в Италии попытку «установить связь между просвещенной *элитой* и крестьянскими массами в обход и против абсолютистского государства»?

Для того чтобы дать обоснованный ответ на этот вопрос, необходимо глубоко исследовать характер карбонарского движения в Южной Италии до и после революции 1820—1821 годов. При этом следует не ограничиваться анализом карбонарских катехизисов, в которых звучат, конечно, призывы возврата к «законам природы» и к восстановлению свободы и равенства, а иногда — в уставах третьей степени — встречается и ясный намек на «аграрный закон», а попытаться изучить социальный состав карбонарских организаций, в которые (особенно в ряде южных районов — в Чиленто, Лукании, Апулии, Калабрии и Сицилии) входили десятки тысяч ремесленников и деревенских жителей, самых настоящих безземельных крестьян (например, «браччали» в провинции Салерно), а также представители солдат и низшего духовенства. Не было ли здесь новых черт и не таила ли в себе эта новизна важных симптомов?

В доктрине Пизакане явно ощущается доминирующая роль крестьянского вопроса. Но разве этот вопрос возник на голом месте? Разве не уделяли ему огромного внимания при разрешении социальных проблем сначала Дженовези, а затем Куоко, Филанджери и особенно Марио Пагано и Винченцо Руссо? И не усвоило ли следующее поколение (вовлеченное в карбонарское движение) это требование разрешения крестьянского вопроса, как никогда прежде в итальянской истории, ибо оно не только дало карбонарской организации религиозно-эгалитарную идеологию, которую могли понять и усвоить крестьянские массы, но и попросту (впервые в истории прогрессивного движения на Юге) открыло двери этой организации (несмотря на ее секретность) перед народными элементами и даже жителями деревни, беднотой, батраками? Но об этом мы скажем в своем месте. Здесь же ограничимся указанием, что и в Италии, на Юге страны, была сделана попытка перебросить мост между просвещенными кругами и крестьянскими массами (в какой мере она удалась, нам предстоит как раз выяснить), хотя карбонарская организация — как мы уже указывали в другой работе — в решающий момент отступила от задач, которые были все же поставлены [1].

О Пизакане можно с уверенностью сказать, что он мало знал о народничестве, хотя итальянские демократы Юга были хорошо информированы о революционном значении этого движения. Так, например, сицилийские демократы, на их дале-

---

[1] F. Venturi, il populismo russo, Torino, 1952, vol. I, p. 6.
[2] F. Venturi, op cit.
[3] F. Venturi, op. cit.
[4] F. Venturi, op cit., p 8.

[1] См в работе Ф Делла Перута (F. Della Peruta, I democratici e la rivoluzione italiana, Milano, 1958, p. 237) программный манифест Джузеппе Феррари от 19 сентября 1851 года, который должен был по-

ком острове, уже знали в 1848—1849 годах, что царскому самодержавию противостоит отныне как реальная сила социализм русского мужика. Пизакане, который не остался в глухой провинции Королевства обеих Сицилий, который был знаком с руководителями европейской демократии в Париже и Лондоне, который в 1849 и в 1851—1852 годах имел возможность часто встречаться с Герценом и, несомненно, был связан с ним дружескими отношениями и общностью духовных интересов, Пизакане, который обосновался в Генуе, одном из самых оживленных центров эмиграции, жившем напряженной духовной жизнью, должен был знать куда больше. Во всяком случае, наибольшее значение, на наш взгляд, имеет тот факт, что в тех странах, где преобладало крестьянское хозяйство и существовали определенные социально-экономические отношения в деревне, демократия трактовала свои задачи аналогичным образом. Разумеется, не все демократы устремляли свои взгляды в этом направлении, однако именно этим насущным проблемам обязаны своим появлением на свет теория крестьянского восстания Пизакане и философский идеал «универсального аграрного закона» Феррари.

Следует, однако, сказать, что итальянские демократы, особенно Мадзини и Пизакане, были озабочены созданием социальной доктрины, которая вытекала бы из «национального бытия» (как подчеркивал Пизакане), которая, иначе говоря, дала бы толчок итальянской инициативе и пробудила бы от летаргии *итальянский* народ, *итальянскую* нацию, позволила бы ей осознать свою миссию — социальную и национальную, итальянскую и европейскую. Поэтому, как бы ни акцентировался этот социальный или социалистический элемент, итальянская демократия хотела быть и была *национальной, итальянской,* а не космополитической. И самыми решительными поборниками этой идеи (чуть ли не враждебной к иной национальной демократии), самыми непримиримыми противниками свободы и демократии, полученной как дар из-за рубежа, были именно Марзини и Пизакане

Нельзя вполне понять воззрения Мадзини и Пизакане, не уяснив себе сущности этого противоречия. Речь идет о следующем: если, с одной стороны, тяготение Мадзини и Пизакане к социальным идеям и к социализму представляло собой явление общеевропейского порядка и поэтому подобный процесс имел много точек соприкосновения и совпадения с тем процессом, который был характерен для демократии других стран, то, с другой стороны, в Италии, еще не оформившейся в единую нацию, демократия (если она хотела быть таковой) *должна* была носить в первую очередь *национальный* характер и, следовательно, такой же явный национальный отпечаток должны были носить на себе и социальные идеи. Поэтому прилагались постоянные усилия — особенно со стороны определенной группы демократов — не только преодолеть, но и решительно отвергнуть, пресечь любую попытку направить движение по иностранному, особенно французскому, пути. После государственного переворота 2 декабря 1851 года, совершенного Луи Бонапартом, и после того, как часть итальянской демократии обратились к мюратизму, эта потребность сохранения итальянского характера движения стала еще более настоятельной.

Однако ни Мадзини, ни Пизакане — следует специально оговорить это — не были поборниками узкого национализма, как это пытались изобразить даже видные представители левых демократических кругов по ту сторону Альп, например Прудон, советовавший Наполеону III силой обуздать национализм итальянских демократов, или даже такой революционер, как Бланки, видевший в итальянских демократах (и особенно в Мадзини) в гораздо большей степени националистов, чем демократов; Бланки был так настроен против Мадзини, что на стенах тюремной камеры, где он томился в заключении, нацарапал: «Когда говорит Мадзини, ни, ни, ни — уши заткни». Однако принцип итальянской инициативы на деле играл и *должен* был играть решающую роль в движении, целью которого являлось достижение (и с каким опозданием по сравнению с более развитыми европейскими странами!) национального, государственного единства, но прежде всего пробуждение национального сознания итальянцев, чему препятствовала ужасающая инертность, порожденная слишком долгим и тяжелым периодом рабства, унижения, равнодушия, муниципалистской разобщенности.

служить платформой для той части демократов-федералистов, увлеченных социальными проблемами, которая намеревалась порвать с Мадзини Делла Перута справедливо считает этот документ «самой четкой и насыщенной из работ Феррари по итальянскому вопросу в 1849—1852 годах». В этом документе Феррари указывает на попытку участников революции 1820—1821 годов повести за собой народные массы, особенно (на Юге) ремесленников и крестьянство. «В 1821 и в 1831 годах, — пишет Феррари, — руководители восстания думали о том, как увлечь за собой народ; когда же им удалось найти ответ, они сникли и отступили». См. также G. Berti, Russia e stati italiani nel Risorgimento, Torino, 1957, p. 478 sgg. (См. Дж. Берти, Россия и итальянские государства в период Рисорджименто, М., 1959.)

легией думать и действовать за всех, рано или поздно неизбежно станет думать и заботиться только о себе»[1]. Однако, когда от общих фраз переходили к фактам и Сисмонди подчеркивал, что в таких в основном сельскохозяйственных странах, как Италия, нельзя быть революционером, не обещая сельским массам улучшения их положения, дабы побудить их примкнуть к революции, Мадзини в этом важнейшем вопросе отделывался, по существу, молчанием или туманными фразами, выражавшими упования на будущее. Следовательно, в этой полемике нельзя было провести четкую грань между правильной и неправильной позицией.

Мадзини, безусловно, руководствовался интересами демократии, когда утверждал, что нельзя вечно опекать народ как младенца и что «границы, устанавливаемые для народной жизни», должны «определяться не буржуазией», а самим народом[2]. Теми же интересами отчасти руководствовался и Сисмонди (как бы решительно он ни отвергал самостоятельные демократические действия народа), утверждая, что все эти рассуждения превосходны, но что в Италии первый конкретный шаг людей, желающих быть революционерами также и в социальном отношении, должен состоять в том, чтобы материально заинтересовать крестьян в революции.

Историческая ограниченность Сисмонди хорошо известна. Как экономист он один из первых с большой проницательностью вскрыл не только положительные, но и отрицательные стороны капитализма и промышленной революции. Он был одним из первых, кого встревожило положение трудящихся и то зло, к которому приводила ничем не ограниченная конкуренция; он усматривал драму современной эпохи в противоречивости прогресса, обусловленной капиталистическим развитием, которое сопровождалось экспроприацией мелких производителей и ростом нищеты народных масс. Но, разоблачая зло, он не пытался найти средства его устранения. Способ распределения продуктов труда среди тех, кто участвовал в их производстве, казался ему порочным, но в то же время он считал почти невозможной, превышающей человеческие силы задачу найти форму собственности, отличную от тех, которые были дотоле выдвинуты практикой — рабовладельческой, феодальной или капиталистической. Отсюда — экономический романтизм Сисмонди и идеализация им патриархальных экономических отношений прошлого.

---

[1] G. Mazzini, vol. XVII, p. 258.
[2] G. Mazzini, vol. XVII, p. 255.

Исходя из этого, Маркс рассматривал в 1848 году Сисмонди как главного представителя мелкобуржуазного социализма в Европе (мы не будем приводить здесь достаточно известную оценку, которую Маркс дал этому экономисту в «Манифесте Коммунистической партии»)[1]. Итальянский экономист Франческо Феррара, рассматривая учение Сисмонди с точки зрения классической политэкономии, высказал приблизительно то же мнение, что и Маркс, заметив, что Сисмонди «положил во Франции начало филантропической школе, из которой немало почерпнул социализм»[2]. В «Манифесте Коммунистической партии» Маркс останавливается главным образом на влиянии Сисмонди во Франции и Англии В действительности это влияние было особенно значительным (по понятным причинам) в аграрных странах — во Франции, Италии, России. В Италии это влияние не ограничивалось экономической теорией Сисмонди (более того, эта часть его учения, возможно, даже не сыграла здесь той роли, которую она, казалось, должна была сыграть в такой стране, как Италия); здесь получили распространение также те чрезвычайно глубокие идеи, которые Сисмонди высказал в своих работах, посвященных истории Италии, а также те политико-моральные выводы, к которым его привело изучение итальянской истории. Именно эта сторона учения Сисмонди оказала наибольшее влияние на итальянских левых либералов — Де Санктиса (горячего последователя Сисмонди) и Бертрандо Спавента. Напротив, итальянские демократы-федералисты усвоили отчасти также экономическую критику Сисмонди и саму идею федеративного устройства итальянского общества; эти идеи они заимствовали либо непосредственно у Сисмонди, либо в известной мере (в опосредствованной форме) у Романьози — в той части, которая прямо касалась критики отрицательных сторон капитализма.

Федералисты обязаны Сисмонди своим преклонением перед децентрализованной свободой, перед коммунальными свободами, которое привело Дж. Феррари к анархистскому федерализму. Благодаря Сисмонди вновь была извлечена на свет и возрождена (в национальном духе) антипапская полемика Макиавелли. У Сисмонди либералы Де Санктис и Спа-

---

[1] См. весьма содержательный комментарий Э. Кантимори Медзомонти к «Манифесту Коммунистической партии» в издании Эйнауди (Турин, 1948, стр. 83, 160 и сл.).

[2] F. Ferrara, у Boccardo, „Biblioteca dell'economista", II serie, vol. III, p. CXLIII.

вента и демократы Каттанео, Пизакане и Феррари заимствовали основные исторические аргументы о порочности католической морали, об испорченности итальянцев, и это дало Де Санктису основание утверждать, что Рисорджименто не могло свершиться в Италии без «революции в умах» («без моральной революции» — вторил ему Бертрандо Спавента), способной возродить национальное сознание и национальный характер и положить конец католическому лицемерию и испорченности. Иными словами, благодаря Сисмонди, женевскому протестанту, в Италии ожила и разгорелась в новой форме, в привлекательном либерально-романтическом одеянии XIX века, могучая антипапская и антикуриальная полемика Никколо Макиавелли и Пьетро Джанноне, которую регализм [1] свел во второй половине XVIII века к чисто юридическим проблемам, к вопросам узкогосударственного порядка и которая, напротив, благодаря Сисмонди возобновилась в новой, яркой форме, обретя совсем иной размах и более широкие перспективы.

Воздействие этой возобновившейся полемики в большей мере, чем кто-либо иной, испытал на себе Феррари, который считал влияние папства в Италии столь могущественным, что не верил в возможность победы революции, опирающейся исключительно на силы итальянского народа, без помощи более радикально настроенных и не столь подверженных предрассудкам народных масс Франции. Напротив, Пизакане, как военного, тревожил прежде всего вопрос о силе австрийской армии; что же касается духовенства и папы, то он полагал, что в случае победы революции и пробуждения народного сознания было бы нетрудно образумить их. Не случайно поэтому неогвельфы, действуя через Росмини, подвигнули Мандзони на создание их «антисисмонди» — «Католической морали».

Во всяком случае, переход от демократии к некоторым социалистическим тенденциям, который совершался под влиянием идей Сисмонди, а также Сен-Симона, не ограничивался только рамками Италии. Здесь мы снова сталкиваемся с характерной чертой европейской демократической мысли, которая если и не была присуща всем странам Европы, то, во всяком случае, обнаруживалась в тех из них, где промышленность и торговля были менее развиты и где, по выражению Маркса, мелкая буржуазия «еще прозябала рядом с развивающейся буржуазией». «В таких странах, как Франция,— писал Маркс,— где крестьянство составляет гораздо более половины всего населения, естественно было появление писателей, которые, становясь на сторону пролетариата против буржуазии, в своей критике буржуазного строя прикладывали к нему мелкобуржуазную и мелкокрестьянскую мерку и защищали дело рабочих с мелкобуржуазной точки зрения. Так возник мелкобуржуазный социализм» [1]. Так обстояло дело в Италии, во Франции и прежде всего в России: в самом деле, Сисмонди был наиболее почитаемым народниками экономистом, сохранявшим свой престиж и влияние на протяжении более полувека — от декабристов до позднего народничества (которое Ленин подверг жестокой критике в своей работе о русских последователях Сисмонди) [2].

Возможно, здесь следует напомнить о влиянии Сисмонди на декабристов и на раннее русское народничество, то есть о распространении влияния Сисмонди в России в те годы, когда формировалось демократическое движение эпохи Рисорджименто. Ф. Вентури не без основания утверждает, что Пестель, поднимая в 1819—1820 годах крестьянский вопрос, уже испытал на себе влияние «Новых начал политической экономии» Сисмонди и что проникнутая пессимизмом критика монополий, картина обнищания трудящихся масс как следствия концентрации капитала были в основном заимствованы декабристами из работ Сисмонди. «Отныне они видели в *общине*,— пишет Ф. Вентури,— не только чисто русскую традицию, но и ответ на проблемы, уже возникшие на Западе. Пестель не только усвоил критику, которой Сисмонди подверг общество, вышедшее из горнила промышленной революции, но и попытался наметить позитивную программу, которая носила уже социалистический отпечаток» [3].

Под влиянием идей Сисмонди оказалось и следующее поколение русских демократов, народники 40—60-х годов [4]. Однако представители этого поколения вскоре пошли дальше Сисмонди, не ограничившись его критическим, но лишенным позитивных элементов анализом. Действительно, положив начало критике буржуазной экономики, Сисмонди не смог развить ее дальше, но, отправляясь от его критики,

---

[1] Доктрина верховенства короля в церковных вопросах; ее поборники выступали против вмешательства церкви в светскую жизнь. — *Прим. ред.*

---

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 4, стр. 450.

[2] См. В. И. Ленин, К характеристике экономического романтизма, Соч., изд. 5, т. 2.

[3] F. Venturi, op. cit., p. 14.

[4] См. F. Venturi, op. cit., p. 133—135.

французские, русские и итальянские демократы пытались тем или иным образом проложить дальнейший путь к решению проблемы Конечно, теория Сисмонди ограничена рамками мелкобуржуазного социализма. Но разве от этого был свободен прудонизм, к которому склонялись Пизакане и другие итальянские демократы? Разве не было аналогичных черт и в социальной доктрине Мадзини, которому, несмотря на его критику Сисмонди и Прудона, по существу, не удалось выйти за те же рамки?[1] И не кроются ли здесь классовые корни того социализма, который распространился в отсталой Италии в 40—50-х годах XIX века? Ибо разве существовал тогда в Италии промышленный пролетариат?

Чтобы понять значение идей Сен-Симона, Сисмонди, а также итальянского мыслителя Романьози, надо перенестись в ту эпоху и вспомнить, что Французская революция, вызвав резкий разрыв в течении европейской истории, сделала крайне трудным возобновление постепенного, восходящего развития с того рубежа, которого достигло общественное развитие в XVIII веке, когда разразилась революция. Разрыв был столь значительным, что известное время даже препятствовал восстановлению идейных связей между этим столь памятным прошлым (ставшим, однако, невозвратным после эпохи Террора) и настоящим. Доктрины Сен-Симона, Сисмонди, а в Италии — Романьози были подобны мостам, переброшенным через пропасть, которые, не ликвидируя образовавшегося разрыва — это, разумеется, и не входило в их намерения,— тем не менее снова сделали возможной связь между двумя эпохами. Иначе говоря, благодаря им снова ожили и обрели новую форму основные идеи XVIII века; тем самым была создана теоретическая база, опираясь на которую демократы смогли перестроиться на новой основе в новом, XIX веке.

Нечто аналогичное произошло в Германии с немецкой классической философией в том смысле, что философия Канта, как указывал Маркс, явилась переосмыслением Французской революции на немецкой почве, пролетариат же в свою очередь явился прямым наследником немецкой классической философии, как утверждал, имея в виду Гегеля, Маркс (отправлявшийся от Фейербаха, то есть от левого гегельянства).

Этот переход от Просвещения к романтизму (экономическому, социально-политическому, философскому и, само собой разумеется, литературному) дал жизнь новому миру, — миру, от которого ведут свое начало современные поколения. Вполне понятно поэтому, что не только откровенные реакционеры, ретрограды, но даже либеральные католики обрушили яростные удары на эти стратегические «доктрины-мосты».

Ныне существует определенная тенденция — утверждать, что итальянские демократы эпохи Рисорджименто сформировались под прямым влиянием просветительных идей вообще и идей итальянских просветителей-реформаторов XVIII века в частности. Вообще следует всегда остерегаться подобных порывов; они, конечно, приводят подчас к раскрытию истины, или части истины, которой до того, пожалуй, чрезмерно пренебрегали, однако в таком случае истина редко раскрывается целиком, в совокупности всех своих аспектов. На наш взгляд, о *прямом* влиянии идей XVIII века на демократов эпохи Рисорджименто, вероятно, можно говорить с достаточным основанием лишь применительно к Пизакане и к некоторым менее известным демократам Юга, например к Музолино.

Соображения, высказанные недавно одним исследователем[1], о влиянии идей XVIII века на Каттанео большей частью справедливы, лишь бы при этом не делали слишком широких обобщений и не заходили слишком далеко, отрываясь от действительности. Ведь о прямом влиянии идей XVIII века на Каттанео говорить не приходится, ибо он познакомился с ними косвенным путем через учение Романьози, Сисмонди и других идеологов, чья деятельность приходится на начало XIX века. Признавая ценность идей, выдвинутых ломбардскими мыслителями XVIII века, особенно из «школы преобразователей», Каттанео вместе с тем был целиком поглощен попыткой преодолеть эти идеи как в философском, так и социально-политическом плане. Даже в теории столь почитаемого им учителя — Романьози — Каттанео упускает именно ту часть, которая более всего носит на себе отпечаток XVIII века,— учение о естественном праве, на многотомную разработку которого Романьози употребил столько усилий и которому Карло Пизакане придает крайнюю, почти примитивную форму.

Не следует забывать, что Каттанео до революции 1848 года — и это как раз отмечает Ф. Каталано в уже упоминавшейся нами статье — отстаивал идею постепенной эволюции

[1] См. F. Della Peruta, op. cit. Делла Перута справедливо отмечает, что Мадзини, хотя и критиковал Прудона, оставался, однако, в рамках аналогичной системы социально-экономической организации общества.

[1] См. F. Catalano, L'influenza del settecento sul Cattaneo e il problema della libertà, в "Rassegna Storica del Risorgimento", aprile—settembre 1955, p. 235 sgg.

Австрии в федеральное государство, уважающее свободу Ломбардии и сохраняющее в неприкосновенности ее общественную систему, которая, по мнению Каттанео, «по своим семейным устоям и системе владения» значительно превосходит соответствующую систему других областей Италии, и особенно Пьемонта, поскольку в то время Ломбардия значительно опередила все другие районы Италии в буржуазном развитии.

В этом смысле (разумеется, не в сфере экономического анализа, а в политическом и революционном отношении) Каттанео оказался даже позади своего престарелого учителя, который, подвергая себя риску, принял участие в заговоре против Австрии и тем самым показал на деле молодому ученику, что итальянская демократия должна пойти по иному пути. Перефразируя справедливое замечание Гарэна о характере позитивизма Карло Каттанео, можно сказать, что он растворил не «историю в природе» (как в духе XVIII века попытался сделать Пизакане), а «природу в истории» [1].

Подытоживая все сказанное о Сисмонди, отметим, с какой готовностью Пизакане в своем третьем «Очерке» и Феррари в статьях, появившихся затем под общим названием «Итальянские политические партии в 1789—1848 годах» («I partiti politici italiani dal 1789 al 1848»), использовали против Мадзини письмо, которое ему направил много лет назад Сисмонди. Оно послужило им поводом, чтобы вновь настойчиво поставить перед Мадзини все тот же старый вопрос, так и оставшийся без ответа: каким образом хотите вы заинтересовать сельское население в революции? «Сама свобода, — писал Сисмонди к Мадзини, — выдвигает самую тяжелую из проблем: проблему защиты бедных и невежественных... Доверите ли вы дело пролетариата людям, разделяющим его лишения? Но у них нет силы. Доверите ли богатым? Но они первыми предадут бедняка». Феррари отмечал, что письмо Сисмонди не оказало никакого влияния на Мадзини. «Заговорщик,— писал он с горечью,— не понял экономиста и отдал всего себя умножению числа революционных комитетов. Он был убежден, что восстание и утверждение демократии разрешат все проблемы». Он был убежден, продолжал Феррари, ссылаясь на одно из самых излюбленных суждений Мадзини, что «итальянская революция или вовсе не произойдет, или явится во всеоружии из народа» [2]. При внимательном рассмотрении

[1] E. Garin, op. cit., p. 11.
[2] G. Ferrari, op. cit., p. 138.

оказывается, что эта критика мадзинизма приложима также к Пизакане. Последний, придавая, несомненно, огромное значение материальной заинтересованности масс как важнейшему рычагу социальной революции, вместе с тем не видел необходимости в организованном политическом движении, которое, делая упор хотя бы на те же материальные интересы, вело бы настойчивую работу по установлению прочных связей с массами; ему казалось недопустимым терять время на хождение в народ. С точки зрения Пизакане, на «простонародье», «плебс» не действуют рассуждения — ими движут только материальные интересы. Поэтому достаточно заявить об удовлетворении этих материальных потребностей, как массы, как бы подхваченные революционным вихрем, ринутся в решительную борьбу. Таким образом, Пизакане, как и Мадзини, считал, что революция или вообще не совершится, или при первом же героическом примере, поданном пусть даже горсткой храбрецов, «явится во всеоружии из народа».

По сути дела, критические стрелы Сисмонди поражали не только ту цель, в которую их направляли: критика Сисмонди наносила тяжелые удары и самому Феррари, хотя он делал вид, что не замечает этого. Конечно, Феррари постоянно твердил о необходимости вовлечь крестьян в революционное движение; но если даже оставить в стороне тот факт, что данное требование носило теоретический, доктринерский характер, было выражено в чрезвычайно абстрактной и общей форме и не было претворено в действие, — где, спрашивается, у Феррари конкретный анализ социальных отношений в итальянской деревне?

Единственным среди итальянских демократов, предпринявшим серьезную попытку такого анализа, главным образом применительно к ломбардской деревне, был Каттанео. И тем не менее именно Каттанео не только не сделал радикальных выводов, но, напротив, стал подчеркивать благотворные последствия проникновения капитализма в ломбардскую деревню. В этом смысле анализ положения крестьянства в римской деревне, принадлежащий Сисмонди [1], проникнут более радикальным духом. Чтобы покончить с вопросом о Сисмонди, заметим, что в Италии его экономические идеи были восприняты наиболее поверхностно именно теми демократами, которые наиболее решительно выступали в поддержего учения. Конечно, антикатолическая проповедь Сисмон-

[1] G. C. L. Sismondi, De la condition des cultivateurs dans la campagne de Rome, в „Etudes sur l'économie politique", Bruxelles, 1837—1838, vol. II, p. 1—99.

ди была усвоена в той или иной мере всеми, в частности светскими кругами либералов. Конечно, итальянские федералисты широко заимствовали у Сисмонди политическую аргументацию, которая была использована затем для разработки концепции республиканского федерализма. Но нужно особо учесть, что экономический федерализм Сисмонди, его антицентралистская доктрина были, по существу, направлены против тенденции к экономической концентрации, присущей капитализму.

Эта наиболее оригинальная и актуальная часть доктрины Сисмонди осталась совершенно не использованной Каттанео, который ограничился критикой государственно-административного централизма и в связи с этим обеих форм унитарной концепции национального единства — умеренно-монархической и республиканско-демократической, мадзинистской. Ныне представляется крайне сомнительным, чтобы этот федерализм мог играть прогрессивную роль, особенно в тех его формах крайней децентрализации чуть ли не анархистского толка, которые намеревался отстаивать Феррари (заметим, кстати, что Каттанео осознал это и не поддержал подобные крайние тенденции).

Нужно также сказать, что Кавур и умеренные, с одной стороны, и Мадзини, Пизакане и демократы-унитаристы — с другой, были сто раз правы, считая, что в тех сложнейших международных условиях, в которых находилась Италия, эти центробежные тенденции представляли собой тем большую опасность, что могли причинить (в том случае, если бы они стали реальной политической силой, которую попытались бы использовать в своей игре великие державы) вред движению за национальное единство. В действительности же эти федералистские устремления остались в большей или меньшей степени на бумаге и, следовательно, не причинили никакого вреда. А после 1860 года федералистские идеи сослужили даже хорошую службу для критики наиболее отрицательных, бюрократических сторон пьемонтского централизма.

Совсем иной смысл и иное значение имела критика централизации у Сисмонди. «Централизация, — писал он, — совершенствует вещи и губит людей. Централизация торговли осуществляется посредством накопления огромных капиталов, ставших еще более доступными благодаря кредиту. Централизация ведет к вытеснению всех провинциальных торговцев, всех лавочников; ей благоприятствуют все усовершенствования в средствах сообщения, каналы, паровые машины и железные дороги; все это облегчает достижение цели, а цель эта состоит в создании крупного торговца, ворочающего сотнями миллионов и имеющего непосредственную связь с самыми отдаленными потребителями, в устранении каких бы то ни было посредников. Наконец, система крупных ферм представляет собой осуществление централизации в сельском хозяйстве; здесь устраняются все мелкие земледельцы, чтобы освободить место человеку, ведущему крупное хозяйство (directeur des travaux). По мере того как его контроль распространяется на все более обширную территорию, эта система предоставляет в его распоряжение все более крупные капиталы, а также гарантирует ему всестороннюю научную помощь; и далее, рассчитывая на его более высокий интеллект, она подчиняет ему тысячи рабочих рук, которым нет надобности больше руководствоваться собственным разумом или вдохновляться нравственным чувством. Но ведь целью человеческого общества должен быть прогресс людей, а не вещей. Централизация усовершенствует все в вещах — это верно; но зато она все губит в людях...»[1]

Гуманизм Сисмонди побудил его заняться изучением вопроса о том, каким становится в условиях капитализма «положение человека» в сельском хозяйстве, в промышленности и в колониальных странах, завоеванных метрополиями, и он пришел к выводу, что повсюду заметны опасные симптомы нарушения равновесия и пауперизации. Особенно его обеспокоило положение сельского населения, «...того... которое больше всего страдает от человеческой алчности»[2]. Сисмонди, кстати, полагал, что если не улучшить положения крестьян, то и промышленность не сможет развиваться, ибо «бедняк, а не богач является главным потребителем промышленных изделий»[3]. Поэтому главной целью его учения становится справедливый аграрный закон, причем аграрная реформа казалась ему особенно необходимой для таких стран, как Италия, где крупная земельная собственность и громадные латифундии уживались с отчаянной нищетой миллионов неимущих крестьян. «Мы требуем, — писал он, — аграрного закона, ибо только на справедливом разделе земли может зиждиться социальное благосостояние»[4].

---

[1] G. C. L. Sismondi, Études sur l'économie politique, vol. II, p. 51. Именно в этом ключевом вопросе Каттанео занял позицию, проти воположную позиции Сисмонди, то есть выступил за «систему крупных ферм», за крупные аграрные капиталистические предприятия.

[2] G. C. L. Sismondi, op. cit., vol. I, p. 108.

[3] G. C. L. Sismondi, op. cit., vol. II, p. 222.

[4] G. C. L. Sismondi, op. cit., p. 90.

Итальянская же демократия не только расходилась во мнениях по этому важнейшему вопросу, но и не имела ясных идей на этот счет. Каттанео, например, был решительным противником передачи земли тем, кто не имеет капитала, и выступал за капиталистическое накопление в промышленности и торговле, дабы в дальнейшем можно было перекачать капитал в деревню. Что же касается Мадзини, то на основе того, что им написано, невозможно точно установить, какова была его экономическая позиция в аграрном вопросе. Кстати говоря, в том, что внимание Мадзини было приковано почти исключительно к промышленности и рабочим (а не к сельскому хозяйству и крестьянам), сказалось, возможно, еще раз влияние сен-симонизма. Нельзя также отрицать, что Мадзини думал о такой форме капиталистического накопления в промышленности и торговле (осуществляемого на основе ассоциации, объединившей труд и капитал), которая благотворно отразилась бы затем на аграрной экономике. При этом Мадзини никогда не отказывался — даже для сельского хозяйства — от принципа ассоциации и того положения, что законной собственностью может считаться только та, которая создана трудом. Иначе чем объяснить его глубокое равнодушие к крестьянскому вопросу, его пренебрежение к проблеме Юга? Только стремлением Мадзини не повредить борьбе за национальное единство, опасением спугнуть сельскую буржуазию, которая в период 1830—1860 годов была, бесспорно, наиболее значительной и важной частью итальянской буржуазии? И в какой мере он сознавал политические последствия своего молчания в вопросе, имеющем ключевое значение для такой страны, как Италия?

При первом же знакомстве с учением Романьози мы также сталкиваемся с оценками, умаляющими его значение. Если Мадзини мог усмотреть в Сисмонди либерала-аристократа, то не следует тогда удивляться тому, что спустя сто лет Кроче назвал Романьози попросту «реакционером», а совсем недавно такой скрупулезный исследователь, как Э. Сестан, отозвался о нем как об «аристократе-либерале» и «философе аристократическо-умеренного направления, окрашенного в либеральные тона» [1].

[1] См. вступительную статью Э. Сестана к «Opere di Giandomenico Romagnosi, Carlo Cattaneo, Giuseppe Ferrari», 1957. См. также Loris Ricci Garotti, G. D. Romagnosi nella critica recente, p. 21. Риччи Гаротти считает это суждение Сестана «окончательным».

Допустим, что это так; но все же надо объяснить, как из такого реакционного — или умеренного, или аристократического — яйца вылупились такие неистовые цыплята — радикальные демократы или даже социалисты. А дело обстоит именно так. Поэтому представляется весьма поверхностным и мало соответствующим характеру таких духовно цельных людей, как Каттанео и Куадрио (мадзинист по убеждениям, он был учеником Романьози, посвященным последним в масоны, и навсегда остался верен памяти своего первого учителя), утверждение, будто все они, и Пизакане, и Феррари, и множество других демократов, обращавшихся к учению Романьози, поступали так не потому, что они действительно прониклись его идеями, а потому, что в эпоху, отмеченную ростом национального чувства и муниципалистской спеси, приходилось ссылаться на авторитетное, славное своей ученостью имя, дабы сделать его своим знаменем в Италии и за ее пределами. Не имея под рукой ничего лучшего, утверждает Сестан, итальянские демократы стали восхвалять «этого выдающегося человека» и тома его полузабытых книг [1].

Судьба идей Романьози и Сисмонди, который также чуждался крайностей и которому, как мы уже указывали, суждено было тем не менее содействовать почти повсюду в Евро-

[1] E. Sestan, op cit «Большинство принимало славу Романьози на веру, не имея на то достаточных оснований, ибо влияние идей Романьози не ощущалось в новой культуре» (p. XIX). Недавно проблеме филиации идей Романьози — Каттанео посвятил хорошо документированную работу Амброзоли (L. Ambrosoli, La formazione di Carlo Cattaneo, Milano — Napoli, 1959). Амброзоли справедливо отмечает, что Сестан в своей первой работе о Каттанео (E Sestan, Cattaneo giovane, в «Europa settecentesca ed altri saggi», Milano — Napoli, 1951) указывал, что среди «факторов, определивших формирование Каттанео», «доминирующую роль» сыграло влияние Романьози, тогда как в статье к упоминавшемуся уже сборнику работ Романьози, Каттанео и Феррари он, «по-видимому, решил вернуться к своей прежней точке зрения и отрицать возможность влияния идей Романьози на Каттанео, а тем более возможность признания Романьози учителем целого поколения, как это считают некоторые». Признавая ряд замечаний Сестана справедливыми, Амброзоли указывает, однако, что «Сестан забыл о возможности такой интерпретации идейной связи между Романьози и Каттанео, которая была предложена им самим в статье «Молодой Каттанео» и ощущается даже в самой последней его работе». В действительности Амброзоли не разделяет, по существу, интерпретации идейной связи между Романьози и Каттанео, выдвинутой недавно Сестаном, и все свое значительное исследование об идейном формировании Каттанео посвящает доказательству того, что эта связь была глубокой и органичной и оказала благотворное влияние на Каттанео.

По этому вопросу, помимо начальных страниц работы Амброзоли, см. также стр. 52—53 и 56—61.

не развитию демократических и социалистических школ, была весьма сходной. Быть может, эта аналогия (с точки зрения радикальных выводов, которые делали из обоих учений) поможет лучше объяснить политическую судьбу идей Романьози. Для нас, исследующих идеологические корни итальянской демократии, изучение этой филиации идей представляет особый интерес, поскольку идейное наследие Романьози в еще большей мере, чем Феррари (который был столь непоследовательным), и в еще большей мере, чем Каттанео (который отправлялся, безусловно, от идей Романьози, но затем пошел, как правильно указал Сестан, по иному пути), было использовано Пизакане при разработке своей социальной доктрины.

Что и говорить, странная судьба выпала на долю Романьози! Современники считали его величайшим умом, видные ученые наших дней (мы цитировали Кроче и Сестана) видят в нем чуть ли не узурпатора славы и оценивают его так низко, что вынуждены изобретать гипотезы, дабы объяснить столь высокий и незаслуженный, с их точки зрения, престиж. Как бы то ни было, в период 1820—1848 годов Романьози играл действительно весьма важную культурную и политическую роль. Чем же это объяснялось?

Одна из причин, и притом отнюдь не второстепенная (как недавно показал Э. Сестан), коренилась, помимо сочинений Романьози, в самой его жизни, которая прошла в бедности, а порой и в нищете, несмотря на честный и неустанный труд. С молодых лет и до глубокой старости Романьози находился под неусыпным полицейским надзором, подвергаясь притеснениям и гонениям, допросам и арестам. Вся его жизнь, за исключением небольших перерывов, была заполнена постоянной борьбой: начало было положено 15-месячным заключением (с апреля 1799 до июля 1800 года), затем за ним была установлена слежка в связи с его политическим участием в заговорах 1813—1814 годов, и, наконец, в 1821 году он был арестован по обвинению в принадлежности к карбонариям, причем этот арест застал его уже тяжелобольным шестидесятилетним человеком. Сисмонди, следивший издалека за перипетиями и превратностями его судьбы, обеспокоенный тяжелой болезнью и преследованиями, обрушившимися на ученого в столь преклонном возрасте, и его нищетой, в 1825 году добивался предоставления Романьози кафедры и надежного пристанища на о. Корфу.

Романьози не оставил после себя значительной философской «школы», но он создал в Италии довольно обш социальную и политическую школу, живо откликавшуюся на многие проблемы и изобиловавшую различными направлениями. Сам же Романьози известен нам не только как юрист, философ и педагог, но в еще большей мере как поборник социальной реформы, в которую он истинно и глубоко верил,— реформы, которая должна была привести к «эре принципов», а эта последняя — к «завершению дела цивилизации» [1]. Он был глубоко убежден, что история человечества есть история «борьбы гения света с гением тьмы, власти привилегий с властью справедливости» [2].

Философия этого «забытого» юриста была философией «социальной любви», «цивилизации», «прогресса», которые опираются на естественные законы; последние непреодолимы, и все же «гений тьмы» и «власть привилегий» отрицают их и стремятся задушить и извратить. Поэтому Природа и Разум смогут восторжествовать и тем самым обеспечить суверенное царствование законов природы только в результате упорнейшей борьбы, только благодаря «героизму» тех, кто готов пожертвовать собой ради счастья большинства, ради утверждения естественного и рационального строя, ради более справедливого общества. Только благодаря героизму узкой группы избранных существующие порядки могут быть преобразованы в такой строй, который будет более соответствовать природе и разуму. Под цивилизацией Романьози понимал утверждение господства «просвещенных взглядов», утверждение эпохи, когда наконец будет «торжествовать и править» философия [3] и когда гражданские добродетели человека будут восходить от «простой общественной добропорядочности к героизму» [4] в интересах большинства и всего общества.

Именно здесь ключ к пониманию успеха социально-политических идей Романьози в период между 1814 и 1830—1840 годами. В самые тяжелые годы он разработал социально-политическую метафизику, которая носила одновременно *национальный* и *социальный* характер и которая, несмотря на все ее тонкие и эрудированные построения, звала итальянскую молодежь скорее к борьбе, чем к занятию наукой. Романьози не был самоуглубленным, отрешенным от мира философом; его тяжеловесная эрудиция служила лишь при-

---

1 G. D. Romagnosi, Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento, Milano, 1832, p. 261.
2 G. D. Romagnosi, op. cit., p. 241.
3 G. D. Romagnosi, op. cit., p. 79.
4 G. D. Romagnosi, op. cit., p. 81.

крытием, позволявшим ему успешнее добиваться своих целей. Ныне мы, вероятно, не вполне осознаем, как в те труднейшие годы ученая молодежь умела читать между строк этих эрудированных сочинений, какой глубокий, неподдельный энтузиазм вызывала у нее *национальная* и *социальная* доктрина, которую проповедовал Романьози. Людей такой интеллектуальной честности, как Каттанео, такой суровой военно-революционной прямоты, как Пизакане, невозможно заподозрить в притворстве, когда речь идет об их подлинной и глубокой приверженности к идеям Романьози, об искреннем энтузиазме, с которым они относились к тому делу, олицетворением коего в период между 1814 и 1830—1840 годами был их наставник. На заре XIX века Романьози поднял факел, выроненный теми, кто сложил головы на эшафотах в 1799 году; он стремился наметить такие пути национального возрождения, которые соответствовали бы новой эпохе и носили бы глубоко социальный характер. В своих сочинениях он акцентирует внимание именно на этом втором *социальном* аспекте своей доктрины — на *социальной реформе*. Вместе с тем был ярко выражен и *национальный* характер его философии, которой было присуще неизменное преклонение перед «итальянской философией», итальянской мыслью, «итальянским гением». Вообще «гениальный законодатель» (вариант распространенной в XVIII веке концепции мудрого законодателя) играет большую роль в доктрине Романьози.

В чисто философском плане его *национальная философия* не отличалась, правда, особым богатством идей, была слабой и ограниченной, но в политическом плане она являлась одной из самых сильных сторон Романьози. Она была (здесь мы согласны с Сестаном) одной из причин — но не главной — его популярности. В этом отношении Романьози также имел последователей в истории итальянской философии: достаточно указать на Теренцио Мамиани и на его попытку (несравненно более жалкую и провинциальную) основать школу чисто итальянской философии. Впрочем, в период 1820—1860 годов эта тенденция пустила столь глубокие корни, что побудила Бертрандо Спавента специально заняться ею в своей знаменитой книге об отношениях между итальянской и европейской философией. Но если в философском плане это направление, скорее патриотическое, чем собственно философское, означало не более того, что оно могло означать (после 1860 года легко было критиковать его и чувствовать себя правым), то до 1860 года оно сыграло весьма действенную роль. Романьози стал символом, знаменем, воплощением национального гения: не принималась в расчет ни его зависимость от французских просветителей и сенсуалистов, ни его увлечение Бэконом.

Впрочем, оказал ли на него французский сенсуализм действительно существенное влияние? Мы встречаем у Романьози критический пересмотр сенсуализма, более диалектическое представление о соотношении объективного и субъективного начала в истории и о значении рациональной, субъективной деятельности человека в рамках «законов природы». И все это объясняется не только тем, что Романьози читал и перечитывал (в 1821 году) Вико, но и тем, что он являлся прямым последователем гениального ученика Вико, которому предстояло затем пойти иным путем,— Антонио Дженовези.

Дженовези был тем итальянским мыслителем, в школе которого главным образом и сформировался Романьози (школа Дженовези была, пожалуй, самой важной и плодотворной школой итальянской теоретической мысли XVIII века; существовало два главных направления этой школы — неаполитанское и ломбардо-эмилианское). Романьози был среди тех, кто самым недвусмысленным образом признавал эту преемственность идей [см., например, его статью «О первенстве итальянцев в политической экономии» («Sull'anteriorità degli Italiani nella scienza dell'economia politica»), напечатанную в свое время в XIV томе «Аннали ди статистика», а также ряд других его статей по политэкономии и статистике]. Впрочем, столь же откровенно признавали эту преемственность и другие итальянские идеологи-реформаторы XVIII века, хотя, разумеется, Филанджери, Пагано, Беккариа, не говоря уже о Романьози, были мыслителями, которые более других испытали на себе влияние идей Дженовези. Вместе с тем невозможно оспаривать тот исторический факт, что все те, кто опирался на идеи Дженовези, в не меньшей мере увлекались и идеями Вико, и не потому, что они неверно понимали Вико, а потому, что они обнаружили между тем «фантастическим предчувствием науки, которое было присуще ему»[1] (так Романьози определил «Новую науку»), и действительно новой наукой о современном развитии общества (то есть социальной наукой) ту связь, которая подтверждалась фактами, историей.

---

[1] G. D. Romagnosi, Osservazioni sulla Scienza nuova di Vico, „Opere", Firenze, 1832—1836, vol. VI, p. 118.

Вико представляется некоторым чуть ли не суровой, одинокой вершиной. Полагают, что у него не было прямых предшественников ни в философии, ни в итальянской истории, что он не имел ни школы, ни учеников. Кого из мыслителей можно назвать на Юге после Вико? Мысль тотчас же обращается к Куоко, но для этого нужно совершить такой скачок! На деле же никакого скачка не было. Даже воздавая должное известным работам Де Руджеро и Сальваторелли о формировании политической мысли на Юге (которые развили и в то же время довели до крайности тезис, с такой осторожностью и умеренностью отстаиваемый Кроче), следует все же признать, что подобные представления о Вико настолько укоренились в современной итальянской науке, что им отдают дань даже те историки философии, которым обычно удается избегать избитых схем. «Хотя Вико,— пишет, например, Гарэн,— уже сам по себе был школой, его идеи не получили какого-либо развития»[1]. И это пишет Гарэн, который учит нас, что философия существует не только в головах философов! Если это действительно так, то позволительно спросить: была ли в Италии школа более противоречивая — признаем это,— но в то же время более обширная и полнокровная, чем школа Вико, которая возникла опосредствованным путем (через распространение идей Дженовези) или благодаря огромному прямому влиянию, которое «Новая наука» оказала на мысль итальянских реформаторов?

Мы не намерены здесь извлекать на свет легенду, распространенную патриотами в 1799 году, будто Вико специально затемнил смысл «Новой науки», дабы обойти церковную цензуру, а равным образом не намерены оспаривать убедительно доказанное в свое время Кроче утверждение, что Вико стоял в стороне от общественной и политической жизни[2],— утверждение, безусловно соответствующее фактам. Хотя не лишне будет спросить: желал или должен был быть аполитичным философ, поставивший перед собой задачу установить вечные, идеальные законы истории, и что могло побудить его (если не заранее обдуманное намерение) отказаться от всякого упоминания Кампанеллы, Бруно, Джанноне и представителей юрисдикционалистских идей, в атмосфере которых он жил?[3] И как объяснить тот факт, что по

[1] E. Garin, La filosofia, vol. I, Milano, 1947, p. 5.
[2] См. B. Groce, La filosofia di G. B. Vico, Bari, 1913.
[3] См. A. Simioni, Le origini del risorgimento politico dell' Italia meridionale, vol. I, p. 120.

борники реформ в XVIII веке, которые использовали идеи Вико (и которые, помимо всего прочего, были не столь уж отдалены от него во времени), истолковали по-своему эту «аполитичность» и преобразовали науку об идеальных и вечных законах в науку социально-экономическую (Дженовези), в «Науку законодательства» (Филанджери), в учение об идеальных, естественных, вечных законах современной республики в духе Платона (Пагано) или в науку о справедливом социальном устройстве, как это сделал Романьози? А ведь именно так была понята «Новая наука» тогда в Италии, и мы соглашаемся с Кроче, что она была понята неправильно. Но разве это что-то меняет?

Данная филиация идей была историческим фактом и, возможно, самым значительным явлением в идейной жизни Италии XIX века. Именно в рамках этого сложного, многогранного и противоречивого процесса шло идейное формирование Джан Доменико Романьози, который более радикально, чем кто-либо другой, попытался разрешить задачу, поставленную Вико и сводившуюся к открытию естественного, вечного и позитивного закона развития общества. Так в русле итальянской общественной мысли окончательно оформилось социально-философское течение. И итальянские демократы первой половины XIX века (Мадзини, Пизакане, Феррари), призывая к созданию окончательного и не подлежащего изменению общественного строя, посвятили все свои усилия осуществлению этой задачи, проявив при этом качества не легковесных политиков, не дилетантов от философии и истории, а мыслителей и борцов, которые именно потому, что они находились в самой гуще борьбы, могли лучше, чем кто-либо другой, оценить значение этой связи.

Не приходится сомневаться в том, что стремление Мадзини открыть божественный и идеальный вечный закон общественного прогресса, так же как и поиски вечного и позитивного естественного закона у Пизакане и вечного рационального закона философии, истории и общества у Феррари, были не просто гимнастикой для ума; они являлись стержнем их идеологии.

Такая глубокая приверженность к теории, к догме была характерна для широких кругов итальянских демократов. Лишь немногие (среди них в первую очередь Каттанео) мыслили более современно, полагая, что законы общественного развития изменяются в соответствии с естественными и экономическими условиями и, следовательно, носят преходящий характер, подобно всему существу на земле; поэтому теорети-

ческие взгляды таких людей отличались бóльшим поссибилизмом.

Следовательно, попытки представителей этого теоретического направления сблизить Вико и Романьози, сколь бы субъективными эти попытки ни казались, нельзя считать совершенно произвольными. Не следует, между прочим, забывать, что Куоко занялся изучением Вико под влиянием работ Марио Пагано [как это доказал Джентиле в своих «Исследованиях о Вико» («Studi vichiani»)], идеи которого широко использовали и Романьози и Пизакане.

Впрочем, сам Куоко видел эту идейную связь в ее реальных исторических пределах. «В величественной сфере вечной истории рода человеческого,— писал он в своем «Историческом очерке»,— вы обнаружите лишь следы М. Пагано, которые укажут вам путь к высотам мысли Вико» [1].

Нельзя утверждать, что только в 1821 году, «перечитав сочинение Вико», Романьози «был втянут непосредственно в орбиту викианской мысли» [2]. Непосредственного влияния идей Вико Романьози никогда не испытывал — ни до, ни после 1821 года, критически же он переосмыслил идеи Вико еще раньше (на основе работ Дженовези, Пагано и других мыслителей XVIII века), и вся его доктрина покоится на комплексе этих первоисточников. Иными словами, Романьози, подобно итальянским реформаторам XVIII века, воспринял Вико по-своему, в том смысле, что он исходил из принципиального отрицания его вечной идеальной истории, более того, он преобразовал ее в вечную, естественную, основанную на опыте позитивную историю человеческого рода. Он считал, что Вико только «предчувствовал» необходимость такой науки, и отнюдь не признавал состоятельность самих его теоретических построений. То, что Вико ошибался, казалось Романьози «естественным для человека, который не сводил вещи к естественной первооснове и в котором,— как он писал,— сама традиция оставалась бесплодным фундаментом» [3]. Тем не менее, утверждал Романьози, нельзя «не воздать высочайшей похвалы Вико, нельзя не испытывать к нему чувства благодарности и восхищения. Такие предчувствия могут посетить лишь человека, способного, несмотря на царящий вокруг него мрак, заметить издалека проблески великого открытия; это лишь едва намеченное открытие в дальнейшем исследует кто-нибудь из будущих поколений...» [1]

Создается впечатление, что Романьози отождествлял этого человека «из будущих поколений» с самим собой, поскольку он намеревался развить дальше это учение, решительно преобразовав его. Впрочем, сдвиг в этом направлении уже отчетливо ощущается в теориях мыслителей XVIII века, особеннно Дженовези (идеи которого столь глубоко проанализировал Д. Демарко). Философия, писал Дженовези, одно время «обнимала собою все», ибо те, кто занимался ею, хотели быть руководителями, законодателями, наставниками народов. Затем началось великое «разложение» культуры, и в течение семи с лишним веков философские школы Европы «состязались между собой в том, кто окажется самым изощренным в бесполезных умствованиях и абстракциях», кто больше всех преуспеет в изгнании мысли «из доступной человеку сферы» и в отрыве мысли от борьбы за установление счастья на земле. Наконец мир одумался. Как после долгого шторма, выдающиеся умы Европы, казалось, «устали сражаться с вымышленными чудовищами и гоняться во мраке за призраками». Тогда наступил век разума, «ставшего практическим и реальным». Культура вернулась к своей исконной цели — приносить пользу людям. Начались наблюдения за явлениями природы, научные эксперименты, разработка прикладных дисциплин, и в результате всего за несколько десятилетий мир проделал путь, который ему не удалось одолеть за много веков. Благодаря этой обновленной культуре и распространяемым ею знаниям выросла производительность, интенсивность труда и были изобретены машины, позволившие «производить за день столько, сколько ранее немыслимо было произвести и за сто». А поскольку «жизнь» есть не что иное, как «деятельность», то это означало «умножение во сто крат человеческой жизни» [2].

Романьози развил дальше эту мысль. «Ныне часто говорят,— писал он,— что желают обрести *позитивные принципы,* причем речь идет о позитивности не в эмпирическом, а в философском смысле. Ученый мир восхваляет умозрительные построения, не впадающие в крайность, но желает видеть их приближенными к практическому состоянию вещей, ибо

---

1 V. Cuoco, Saggio storico, ed. Nicolini, p. 208.

2 B. Brunello, Il pensiero politico italiano dal Romagnosi al Croce, Bologna, 1949, p. 9.

3 G. D. Romagnosi, Osservazioni sulla Scienza Nuova di Vico, op. cit., vol. VI, p. 119.

1 G. D. Romagnosi, op. cit.

2 D. Demarco, Quello che è vivo del pensiero economico di Antonio Genovesi, в „Studi in onore di Antonio Genovesi", Napoli, 1957, p. 9—10.

лишь в этой связи можно судить об их содержательности и реальности, а следовательно, и об их пользе»[1]. Поэтому он отрицал, как ирреальную, теорию круговорота Джамбаттиста Вико: «Я утверждаю, стало быть, что его аналогичные циклы, *такие, какими он их себе представляет,* вовсе не существуют, более того, они противоречат истории и разуму». Согласно Романьози, историческое развитие «неизменно будет сопровождаться такими изменениями, что для последующего состояния будут характерны лишь остатки предыдущего, а это обусловит возникновение иного цикла, сообразующегося со своими *собственными особенностями,* так что никогда нельзя будет с уверенностью сказать, что этот цикл *подобен* предыдущему. При определении *реального состояния* вещей не следует руководствоваться грубым и поверхностным сходством, почерпнутым из туманных абстракций»[2].

Романьози считал, что общественное развитие не сводится к развитию идей, а носит естественный характер и подчиняется законам природы. Вместе с тем Романьози придает важнейшее значение экономическому процессу, так как именно в ходе этого процесса (в рамках производственных отношений) устанавливаются посредством труда отношения между человеком и естественной средой, которую люди, следуя законам природы, постоянно упорядочивают и преобразуют во все больших масштабах, созидая таким образом человеческое общество и творя историю.

На основе этого главного положения Романьози формулирует политические принципы общественного закона, которые отчасти носят тот же характер, что и у Дженовези.

Оба они полагают, что политика должна воспитывать не рабов, а свободных людей, поборников прогресса, оба считают, что должно существовать «аджелотрофическое» искусство (то есть искусство обеспечения народа пропитанием), ибо, только улучшив положение широких народных масс, можно поднять уровень жизни всего общества и обеспечить его прогресс. Конечно, в теории Дженовези субъективная деятельность человека, которая, развертываясь в сфере экономики, творит историю, выглядит более полнокровной, чем в учении Романьози,— вероятно, потому, что, будучи преимущественно экономистом, Дженовези отводит этой деятельности большую роль в преобразовании естественного мира; у Романьози же субъективная, рациональная деятельность людей рассматривается обязательно в рамках «законов природы». У Романьози правит богиня Природа, даже если рядом с ее троном неизменно стоит бог Разум. В целом, однако, у Романьози всегда присутствует диалектический взгляд на соотношение между объективным и субъективным началом в истории.

Нельзя согласиться с утверждением, будто Романьози целиком принадлежит XVIII веку, ибо позитивизм — это отнюдь не теория XVIII века, и важнейшая часть его доктрины — положение о развитии науки и истории посредством опытной, практической деятельности — носит современный характер. Джан Доменико Романьози пошел дальше рационализма XVIII века, хотя и остановился перед критической философией. Он слышал биение пульса нового мира и уже на склоне лет старался понять новые идеи — идеи «современного критицизма» (то есть философию Канта и Гегеля), но, в сущности, это ему так и не удалось. Во введении к своей книге «Собрание работ о доктрине Разума» («Collezione degli scritti sulla dottrina della Ragione») он дал искаженное, карикатурное изображение этой философии: «Всякий знает о современном критицизме (еще не известном во времена Дженовези), который затрагивает основы человеческого познания, и о вторжении диалектики в область философии человеческого духа, что привело к возникновению новой, пустотелой философии, свидетелями шумного распространения которой в Германии и Франции мы являемся. Эта философия стремится ни более, ни менее, как низвергнуть господство здравого смысла и, нацепив на него ярлык слепого эмпиризма, чувственного и подлого правителя, предоставить его воле слепой судьбы, а на его место возвести отвлеченную спекуляцию, лишенную всякого практического смысла»[1].

Разумеется, сила Романьози не в этих рассуждениях; сила и плодотворность его доктрины, как справедливо отметил Сестан, кроется «в его вере в человеческий прогресс, допускавшей самые широкие интерпретации»[2], так что в первой половине XIX века всякий разделявший эту веру в конечном счете отправлялся от идей Романьози, и именно к этим идеям обращались, по существу, почти все итальянские демократы эпохи Рисорджименто (за исключением Мадзини, который идентичную веру в прогресс почерпнул из

---

[1] G. D. Romagnosi, Vedute fondamentali sull'arte logica, op. cit., vol. XII, p. 290.

[2] G. D. Romagnosi, Osservazioni sulla scienza nuova di Vico, op. cit., vol. VI, p. 129.

[1] G. D. Romagnosi, Collezione degli scritti sulla dottrina della Ragione, Firenze, 1835, op. cit., vol. XII, p. 1.

[2] E. Sestan, Europa settecentesca ed altri saggi, 1951, p. 212.

другого источника — из сен-симонистской доктрины). Во всяком случае, не вызывает никакого сомнения, что Романьози, несмотря на дань, отданную им идеям XVIII века, являлся основоположником позитивизма и социологии в Италии. А «социология,— писал Кроче,— рассматриваемая в ее историческом значении... есть не что иное, как *позитивизм,*— позитивизм, занимающийся преимущественно положением и деятельностью человека и трактующий о морали и праве вместо зоологии и химии . отказ от свободы ради детерминизма, от конечной цели — ради механизма развития, утверждение более или менее последовательного, более или менее скрытого материализма»[1]. Однако главное (как мы подчеркивали с самого начала) состояло в том, что Романьози был борцом, подвижником, первым, кто после реформаторов XVIII века (ушедших из жизни до конца века или сложивших голову на эшафотах в 1799 году) стал проповедовать в Италии необходимость борьбы, самопожертвования, героизма.

Вот почему у Романьози было столько продолжателей, вот почему с ним связаны неразрывными узами многие итальянские демократы XIX века. Его доктрина, внешне причудливая, архаическая, схоластически тяжеловесная, по существу своему была «метафизикой героизма» (мы заимствуем выражение Спавента, употребленное им по отношению к неаполитанским гегельянцам — участникам революции 1848 года). Когда же влияние этой доктрины стало сходить на нет, поднялась уже масса людей, чтобы продолжить эту проповедь героизма. Среди них было немало его последователей и немало критиков, однако они были уже проникнуты тем же живительным духом, хотя и усвоили его из других источников: Мадзини и мадзинисты впитали его с сен-симонизмом, неаполитанские гегельянцы — с учением Гегеля, и как те, так и другие отстаивали единство мысли и действия, необходимость идейной и моральной революции, которая действительно содействовала бы возрождению Италии.

В те годы все, что было прогрессивного в Италии,— теория ли естественного права, гегельянство или сен-симонизм,— все было подчинено достижению одной цели — объединению страны, даже философия Гегеля, к которой с таким недоверием относился Романьози, наставлявший молодежь держаться подальше от этих «алхимических бредней» и хранить верность итальянской философии. Но Романьози был первым в Италии, кто в начале XIX века стал отстаивать эту метафизику героизма, кто стал доказывать, что знания должно приобретать не ради абстрактной любви к науке, а для борьбы за лучший мир. «Итак, речь идет здесь в конечном счете о том, чтобы *действовать,* а если хотят обогатить себя знаниями, то это нужно для действия»,— такими словами Романьози закончил свою работу «О природе и факторах цивилизации» («Dell'indole e dei fattori dell' incivilimento»), выделяя курсивом главную мысль.

Этот человек, возведший на трон Разум и Природу, был прежде всего человеком веры и принадлежал к некой группе верующих, обладавших в Италии и Европе своим таинственным Храмом. Простой, одинокий, скромный, «простой и великий» — как писал о нем Каттанео, — человек самых возвышенных чувств, хранитель лучших традиций масонства XVIII века (радикальное крыло которого исповедовало как раз религию социального прогресса и выдвинуло во Франции человека такого склада и такого таланта, как Кондорсе), Романьози углубил и развил дальше эти традиции в новых исторических условиях. Он не только цитировал и знал Кондорсе (как подчеркивает Сестан), но и во многих отношениях походил на французского мыслителя. Впрочем, было бы странно, если бы он не знал Кондорсе· оба они принадлежали к одной и той же организации, а внутри нее — к одному и тому же направлению; ведь именно Кондорсе был главной фигурой того направления европейского масонства, к которому тяготело левое крыло жирондистов и которое отстаивало религию социального прогресса, ратуя за умеренную политику и отвергая насилие. Кондорсе оставался знаменем левого крыла жирондистов, связанного с масонским движением, и в годы, последовавшие за периодом Террора.

Впрочем, еще до Французской революции это масонское направление выдвинуло не только во Франции, но и в Италии ряд довольно видных деятелей. Это были люди, напряженно размышлявшие над социальным вопросом и, подобно Кондорсе, живо откликавшиеся на многие проблемы современности, это были ученые, реформаторы, активные борцы, и все они прошли эту особую школу масонства — Беккариа, Верри, Пагано, Филанджери, Денина, Пьяттоли, Пилати (последний как будто бы посвятил Романьози в масоны и, во всяком случае, привил ему эти взгляды). Вот почему более глубокому пониманию деятельности и личности Романьози, помимо основного источника — его книг, а также истории его мужественной и скромной жизни, могут в немалой степени

[1] „Critica", 1905.

содействовать и его речи при посвящениях в масоны, из которых дошли до нас только некоторые. В этих речах Романьози не только доказывал посвящаемым (в значительной части его ученикам) необходимость организации общества в соответствии с законами Природы и Разума, но и излагал перед ними свою теорию героизма как важнейший, основополагающий принцип, которому должны следовать те, кто хочет обрести силу и энергию, достаточную не только для решения национальной проблемы, но и для перестройки общества с целью достижения «справедливости», «мира» и «благоденствия большинства». «Масон, который не стал героем,— не настоящий масон» [1],— имел обыкновение повторять Романьози. И с его стороны это были не пустые слова — они подкреплялись делом. По мнению Романьози, «отличительная черта морального облика Героя заключается в исключительной силе духа, направленной на подготовку и свершение великих деяний ради себе подобных», дабы поражать «врагов общего блага и родины», «поощряя и ускоряя духовное, моральное и политическое совершенствование» [2].

Итак, Романьози первый высказал великую истину (хотя она скрыта за семью масонскими покрывалами и отнесена к тысячелетней истории, берущей свое начало в Азии, Египте и кто знает где еще), доказывая (и это главное), что развитие итальянского общества по национальному пути не может быть подлинным и глубоким, если оно не будет сопровождаться утверждением новых форм справедливого социального устройства. Сформулировав эту истину, Романьози создал новую школу, к которой принадлежали Каттанео, Пизакане, Феррари и многие другие, и независимо от того, разделяли они или нет те или иные взгляды своего первого учителя, все они исходили из этого главного тезиса Романьози.

Если основоположником мелкобуржуазного социализма в Европе в первой половине XIX века, был, как это принято теперь считать, Сисмонди, то применительно к Италии такую роль следует отвести, конечно, Романьози, хотя мы предпочли бы назвать его социальную доктрину *филантропическим* социализмом (как назвал такого рода социализм Франческо Феррари, заимствовав этот термин из классической политэкономии). На наш взгляд, это определение особенно подходит к учению Романьози, ибо подчеркивает те ясно выраженные реформаторские устремления масонского толка — чуждые крайним методам, но тем не менее радикальные по своей внутренней сущности,— которые представляли собой важнейшую и неотъемлемую черту его личности. Ведь совершенно несомненно, что ригорическое и крайне усложненное естественно-правовое учение Романьози было глубоко радикальным и таило в себе возможность быстрого преобразования и развития, даже если в политической оценке масонства XVIII века нельзя целиком принять известный тезис Баррюеля [1].

Если бы Романьози родился во Франции или, во всяком случае, за пределами Италии, его учение было бы без труда истолковано именно таким образом. Но он родился в Италии, да еще в такое время. Это обусловило сугубую осторожность и осмотрительность при разработке некоторых тем, даже таких, на которые можно было набросить покров гуманистической и деистской социальной филантропии (впрочем, Романьози не помог даже этот покров: Росмини обвинил его в атеизме, чем вызвал гневную отповедь Каттанео). Но социальная борьба в Италии принимала, как известно, такие формы, что даже тем, кто пытался соблюдать осторожность, редко удавалось избежать каторги. Романьози соблюдал осторожность не из-за трусости — ведь он стремился показать личный пример того, как нужно следовать той доктрине героизма, которую он отстаивал. Однако он понимал, что необходимо быть осторожным, если хочешь продолжать сопротивление, если хочешь иметь возможность думать и бороться, двигать вперед пропаганду патриотических идей и идей социального переустройства. В самом деле, некоторые идеи и сообщества, которые могут сегодня показаться нам достаточно безобидными, правящие классы той эпохи оценивали совершенно по-иному, и упорные преследования, которым подвергался Романьози,— наглядное тому доказательство. Этим же обусловлен и его язык (напоминающий в известном смысле манеру выражаться посвященных в масоны), которым написано весьма знаменательное заключение одной из главных его работ: «Первый опыт науки о естественном праве» («Assunto Primo della scienza del diritto naturale»); эта работа должна была явиться теоретическим обоснованием и изложением принципов и в то же время средством их пропаганды

[1] R. Soriga, Le società segrete, l'emigrazione politica e i primi moti per l'indipendenza, Modena, 1942, p. 52. Речь при посвящении Ф.·.Ап произнесенная Джан Доменико Романьози, оратором от Королевской ложи им. Джозефины в Милане, 6 августа 1807 года.

[2] R. Soriga, op. cit., p. 52—53.

[1] Баррюель, Огюстен (1741—1820), аббат. Утверждал, что начало якобинству и «крайностям» Французской революции положило масонство, и в частности иллюминаты.— *Прим. ред.*

и орудием борьбы. Именно на последней странице этой работы, подытоживая все сказанное в ней, Романьози излагает свою внешне странную доктрину *белого* и *черного*; хотя эта доктрина (имевшая в то время широкое хождение среди масонов) не была разработана самим Романьози, он смело сделал ее достоянием гласности.

Романьози не объясняет, что такое белое, однако мысль его достаточно ясна. «Я прошу поэтому моих читателей,— писал он,— перечесть сие сочинение и постараться уразуметь в нем не только черное, но и *белое;* то есть я хочу, чтобы обратили внимание не только на изложенные предметы, но и на те неназванные связи, кои возникают при сопоставлении изложенных предметов, и учли те вытекающие из них последствия, кои отвечают интересам индивидуумов и общества. Сия просьба обращена к тем высокомудрым мужам, кои по счастливой случайности взяли на себя труд ознакомиться с сей работой. Что до учеников, то я не мог бы настоятельнее рекомендовать им хорошо запомнить все изложенное мною, ибо без такой методы учение их было бы лишено смысла и пользы. Пусть знают, что в этом состоит коренное основание любой науки...» [1] На наш взгляд, в этом рассуждении различие между «высокомудрыми мужами» и «учениками» имеет не дидактический (учителя и ученики), а скрытый политический смысл. Ибо книга вышла в свет в 1820 году и была связана с надеждами и приготовлениями тех лет [2].

На наш взгляд, утверждение, будто концепция Романьози целиком покоится на общих, абстрактных принципах, не вполне верно. По своим философским воззрениям Романьози был в основном (или, во всяком случае, считал себя) последователем Бэкона, то есть стремился подходить к познанию явлений природы и человеческого общества, опираясь на данные опыта, чтобы установить с помощью экспериментального метода законы и принципы общественного устройства Но экспериментальный метод, как хорошо известно, используется в естественных науках одним образом, а в сфере общественных наук и морали — в конечном счете совсем иным. У Романьози, как и у Сен-Симона, мы обнаруживаем в зародыше начатки социологического позитивизма, который у Сен-Симона тонул в его странной религиозно-индустриальной утопии, а у Романьози был подчинен естественно-правовым и рационалистическим концепциям. Но остается фактом, что все усилия его мысли были направлены на то, чтобы установить — выражаясь современным языком — принципы научной социологии. Вероятно, трудно разглядеть в этом скрупулезном, исключительно эрудированном юристе автора социальной утопии, и все же Романьози был им. Отсюда вольный, беспредельный полет его социальной мысли.

Романьози считал, что живет в эпоху «перехода» от «системы разъединяющей к системе ассоциативной» [1], то есть от строя привилегий, индивидуализма, ничем не ограниченной, жестокой конкуренции к строю ассоциации и социальной справедливости. При этом он полагал, что такой переход произойдет без потрясений и насилия, путем «тех естественных соглашений, которые известны под названием Умеренности» [2]. Он считал, правда, что «в обществе в любую эпоху всегда будет существовать очень многочисленный класс, для управления которым необходима власть» [3], но в то же время он полагал, что именно ликвидация привилегий и подъем материального и духовного уровня этого класса будут характеризовать цивилизацию на ее высшей ступени. «Не изобилие золота и серебра, не роскошь и утонченность немногих суть признак цивилизации народа,— писал он,— а социальная значимость, обретенная максимальным числом людей» [4]. Впрочем, Романьози (как и любого писателя, который сосредоточивал свое внимание на изучении социальных и политических проблем и активно участвовал в происходившей борьбе) следует рассматривать в связи с историческими условиями его

---

[1] G. D. Romagnosi, Assunto Primo della scienza del diritto naturale, Firenze, 1832, p. 179.

[2] Едва только появилась эта книга, как сторонники умеренно-либеральных идей с новой силой обрушились на Романьози. Тон в полемике задавал Росмини, а Алессандро Мандзони откликнулся на книгу Романьози благодушным замечанием. «Вы увидите, — писал Мандзони Кузену, — что сей славный человек льстит себя надеждой, что в его книге уразумеют *белое*. Тщетная надежда! Я не знаю, умеет ли читать хотя бы десятая часть народа, и я глубоко убежден, что среди тех, кто обладает сим талантом, едва ли сотая часть извлекает из него пользу. Среди читателей не так уж много тех, кто понимает *черное,* а тех, кто понимает черное господина Романьози, — совсем уже ничтожное число. Какие уж тут могут быть надежды в отношении его белого...» (письмо от 21 февраля 1821 года. См. «Carteggio di A. Manzoni», vol. I, p. 523—524). Однако Мандзони ошибался. Нашлись люди, которые поняли белое и создали на этой основе самую передовую социальную теорию, какой обладала итальянская демократия. Следовательно, усилия Романьози не пропали даром.

[1] G. D. Romagnosi, Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento, p. 237.

[2] G. D. Romagnosi, op. cit.

[3] G. D. Romagnosi, Assunto Primo della scienza del diritto naturale, p. 70.

[4] G. D. Romagnosi, op. cit., p. 89.

эпохи. С этой точки зрения большой интерес представляло бы составление его полной и всесторонней биографии, отражающей не только сложный процесс его идейного формирования и развития, но и его практическую деятельность, круг его итальянских и европейских политических связей.

Взять, например, те два трактата, которые впервые увидели свет в Тренто в 1792—1793 годах: «Что такое равенство?» («Che cos'è uguaglianza?») и «Что такое свобода?» («Che cos'è libertà?»). Они относятся к тому вполне определенному жанру политической литературы, главным зачинателем которой был в Европе как раз Кондорсе. Жирондистская группировка (Кондорсе, Ларошфуко, Лафайет), как известно, не пользовалась большой популярностью среди народных масс Парижа, да и всей Франции. Зато ее влияние давало о себе знать в европейских идейных течениях и сохранило свою силу даже в период наполеоновской империи и Реставрации благодаря Лафайету и связанному с ним миру тайных обществ. Последние исторические исследования (Саитта, Галанте Гарроне) пролили новый свет на этот мир, и тем не менее здесь еще остается широкое поле деятельности для исследователя, особенно в изучении предпосылок этого движения тайных обществ в последние два десятилетия XVIII века. Уже тогда существовало то радикальное течение в масонстве, на базе которого в период Французской революции возникло левое крыло жирондистов, чье влияние получило широкое распространение в Европе и, можно даже сказать, во всем мире — во Франции, в странах немецкого языка, в Италии, Польше, России и в далеких Соединенных Штатах Америки Казалось, что 1789 год знаменовал собой триумф этого левого крыла, однако очень скоро революция перехлестнула уровень, достигнутый находившимися под масонским влиянием жирондистами. В 1791—1792 годах эта группа прилагала особенно большие усилия, чтобы воспрепятствовать распространению крайних якобинских идей. Именно в те годы, 1792—1793, породившие столько страха, и появились эти работы Романьози, вызванные опасением, как бы дело мирного преобразования общества не свелось к установлению власти простонародья, к утверждению порядков «логова диких зверей» и к воцарению «подлинного хаоса» [1]. При этом возникает сильное подозрение, что под «троглодитами», фигурирующими в этих трактатах, Романьози подразумевал скорее французских санкюлотов, чем «естественных людей» Руссо. В этих трактатах Романьози обрушился также непосредственно на Руссо и его сочинение «Об общественном договоре», как бы предчувствуя, что оно явится философским и юридическим обоснованием якобинской диктатуры и Террора.

Напротив, в совершенно иной исторической обстановке и с совершенно иными целями был написан «Первый опыт науки о естественном праве» (1820 год), появившийся в то время, когда Италия и Европа от края и до края были покрыты сетью тайных обществ, а в тех кругах, к которым принадлежал Романьози, царило ожидание переворота, который должен был радикально изменить существующий порядок вещей. Наконец, последняя его книга, генезис которой хорошо известен,— «О природе и факторах цивилизации на примере ее возрождения в Италии» (Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento come esempio del suo Risorgimento in Italia») — пронизана более современными, национальными и социальными в одно и то же время, тенденциями и продиктована стремлением придать более систематическую и законченную форму его социальной доктрине.

Фигура Романьози важна и интересна не только сама по себе, но и тем, что в области философии и общественно-политической жизни Италии его практическая и теоретическая деятельность имела первостепенное значение, охватывая обширный период: от Французской революции со всеми ее конкретно поставленными кардинальными проблемами (можно даже сказать — от эпохи Просвещения, современником которой отчасти был Романьози) и вплоть до «Молодой Италии», до возникновения новой итальянской демократии. С этой точки зрения действительно немаловажное значение приобретает тот факт, что такие люди, как Каттанео, Пизакане и Феррари, настойчиво обращались к его учению. Романьози был патриархом идеи справедливого социального переустройства в период Рисорджименто, подобно тому как Буонарроти и Анджелони были патриархами идеи справедливого социального переустройства в мире тайных обществ. Впрочем, их пути тесно переплетались, и чем больше изучают мир тайных обществ, тем более очевидным становится, насколько тесными были связи между ними.

Однако у Романьози эти идеи социального переустройства восходят своими корнями к жирондистам, а у Буонарроти — к монтаньярам; поэтому весьма важно, что итальянская демократия даже в лице самых крайних своих представителей, каким был Пизакане, в идейном отношении ведет свое начало

[1] G. D. Romagnosi, Che cos'è uguaglianza? Che cos'è libertà, в приложении к „L'Assunto Primo della scienza del diritto naturale", p. 195.

именно от Романьози. Конечно, Пизакане должен был отбросить многое, чтобы, отправляясь от Филанджери, Беккариа, Пагано и Романьози, прийти к тем крайним выводам, которые мы постараемся проанализировать далее; но все-таки учение этих мыслителей послужило исходной точкой даже для него. Дело в том, что в Италии вследствие отсталости ее социальной и экономической структуры, вследствие ее раздробленности на абсолютистские государства и господства муниципалистского духа, а также вследствие других причин даже жирондизм выглядел крайне левым течением. Э. Сестан утверждает, имея в виду Романьози, что «его стремление выводить все из естественного права, сводить философию к праву, а не право к философии, выдает в нем человека того (то есть XVIII) века». С этим нельзя не согласиться, и все же, даже оставляя в стороне тот факт, что благодаря уже отмеченной широкой траектории, которую описала во времени деятельность Романьози, он попытался — как мог и как умел — перебросить мост между XVIII и XIX веками (и в известной мере, если исходить из фактов, эта попытка ему удалась, ибо в XIX веке у него были последователи и ученики),— даже оставляя в стороне этот факт, приходится признать, что на деле он не только сводил *философию* к *праву*, но и само право (а следовательно, и философию) к *экономике*. В его лице достигла вершины своего развития ломбардская экономико-юридическая школа XVIII века, основы которой заложили Верри и Беккариа и которая в начале XIX века получила дальнейшее развитие у Романьози и Джоя.

Однако так ли уж бесспорно утверждение, что Романьози рассматривал право как некую первооснову? Бесспорно, он посвятил его научной разработке немало книг, но о чем в них говорит и к какому конечному выводу приходит Романьози? К выводу о том, что экономика является фундаментом общества, а следовательно, и права. И это положение характерно именно для его доктрины, а не только для энного числа его бесконечных юридических трудов. «Экономика, — писал он, — является основой морали и политики. Упорядоченные материальные интересы порождают духовные устремления и общественные добродетели» [1]. Право, по мнению Романьози, есть та форма, в которую облекаются определенные социально-экономические отношения, и значение юридической науки заключается прежде всего в том, что она помогает выяснить черты этой действительности. В самом деле, чтобы судить о социальном строе, пишет Романьози, «должно исследовать всякую экономическую, моральную и политическую власть, которая проистекает из владения, из сельского хозяйства, из торговли, из доктрины политического устройства, из гражданских порядков и, следовательно, из законов, религии и установлений» [1]. Только таким путем, полагает Романьози, может быть создана наука об обществе; опираясь на одну юриспруденцию, далеко не уйдешь: «тот, кто хорошо понимает природу вещей, должен рассматривать универсальную юриспруденцию лишь как своего рода простое дополнение к науке об обществе» [2]. И далее он продолжал: «Юриспруденцию можно рассматривать как сдерживание личных и общественных сил сообща живущих людей, осуществляемое исключительно с помощью правосудия. Юриспруденция, однако, не порождает потребностей, интересов, возможностей, она лишь указывает условия и границы, которые люди и общество должны уважать как внутри, так и вовне... следовательно, задача юриспруденции носит скорее негативный, нежели позитивный характер» [3].

Самыми существенными Романьози считает те силы, которыми «движут потребности, интересы и естественные возможности. А посему изучение голой юриспруденции вырождается в пустую умозрительность, если не сочетается с изучением выгод как временных, так и постоянных, которые несет с собой человеческое общество» [4], то есть необходимо изучение не только политической экономии, но и законов социально-экономического развития. Выводы, к которым приходит Романьози, совершенно ясны: «Юриспруденция, взятая лишь сама по себе, являет пример бессильного и достойного сожаления урока» [5], тогда как сила материальных интересов придает весомость «велениям морали и справедливости и делает людей просвещенными, справедливыми и трудолюбивыми» [6].

Итак, именно материальные интересы и экономическая структура определяют юридические и общественные нормы и обусловливают ход развития истории. Вот почему целью философии Романьози, задачей его исследований цивилиза-

---

[1] G. D. Romagnosi, Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento, p. 170.

[1] G. D. Romagnosi, op. cit., p. 227.
[2] G. D. Romagnosi, op. cit.
[3] G. D. Romagnosi, op. cit., p. 228.
[4] G. D. Romagnosi, op. cit.
[5] G. D. Romagnosi, op. cit.
[6] G. D. Romagnosi, op. cit., p. 237.

ции было открытие «единого модуля, который можно применить к праву, к политической экономии и к статистике. Этот модуль не должен быть лишь чем-то измышленным из филантропических побуждений Он должен быть открыт, утвержден и провозглашен как проявление высшей силы естественного порядка» [1]. Коль скоро установлен этот «единый модуль», иначе говоря, коль скоро создана монистическая теория истории и организации общества, станут беспредметными «споры» между «меркантильной системой» (то есть капиталистической меркантилистской экономикой) и «гражданской системой» [2] (то есть новым рациональным устройством общества). «Нахождение сего модуля, — писал Романьози, — установление совокупности его частей есть высшее проявление гражданской мудрости, подготовленное веками» [3]

В этом существо доктрины Романьози,— доктрины глубокой, полнокровной, которая в известном смысле занимает промежуточное место между распространенными в его эпоху утопическими концепциями социального переустройства (мы имеем в виду прежде всего сен-симонизм) и самой современной тенденцией к разработке монистической теории исторического процесса; таков ключ к пониманию нового общественного строя, основами которого являются Природа и Разум. Но этот строй не утопическая или филантропическая выдумка: Романьози приходит к нему с помощью опытного метода Бэкона, путем изучения законов экономического и общественного развития.

Такова социальная теория Романьози, таковы причины, сделавшие его выдающейся фигурой своего времени, таковы мотивы, побудившие приверженцев социальной школы итальянской демократии неустанно обращаться к идеям Романьози. Особенно широко использовал его идеи человек, не принадлежавший непосредственно к его ученикам, но лучше других осознавший значение его интуитивных поисков монистической теории и не остановившийся перед тем, чтобы смело сделать из них самые крайние выводы,— а именно Карло Пизакане.

Все сказанное дает нам основание оспаривать утверждение Э. Сестана, заявившего, что у Романьози «трудно найти идею, которая по своему значению и масштабу выходила бы за рамки чисто юридических проблем, трудно найти такие идеи, которые благодаря их очевидному или скрытому смыслу внезапно освещают путь к новым идеям» [1]. Дело обстоит, однако, не так. Следует признать — ибо об этом говорят факты,— что молодежь видела в нем своего идейного, духовного учителя. Если даже допустить, что только «Каттанео, братья Сакки и немногие другие» (коль скоро речь идет о ломбардской группе, следовало бы упомянуть также по крайней мере Габриэле Роза и Карло Тенка) вспоминали «как озарившие их жизнь страницы из Романьози» [2], то и это уже немало. Однако на самом деле этот список имен следовало бы продолжить, ибо Пизакане, например, своей социальной доктриной обязан в большей мере Романьози и Пагано, нежели Прудону. Идеи Романьози дали толчок развитию демократических воззрений Куадрио, некоторые элементы теории Романьози заимствовал и его более поздний последователь Дж. Феррари, и, наконец, из его теоретического наследия не прекращали черпать люди несколько иного склада, такие, как Де Бони, Музолино, Риччарди и Кальви Всего этого, вместе взятого, не так уж мало К тому же надзор и преследования полиции, которая так старательно опекала его, были ведь неспроста, как и грубые и желчные наскоки Росмини, который, когда ему приходилось писать о Романьози и Джоя, использовал в своих философских опусах выражения, которые скорее под стать расходившейся солдатне, чем церковному деятелю, исполненному философской созерцательности [3].

---

[1] G. D. Romagnosi, op cit, p. 251.
[2] G. D. Romagnosi, op. cit.
[3] G. D. Romagnosi, op cit.

[1] E. Sestan, op. cit., p. X.
[2] E. Sestan, op cit., p. XVII.

[3] См в «Opere edite ed inedite di C Cattaneo», a cura A. Bertani, vol VI, письмо «Докт. Карло Каттанео — синьору Дон Антонио Сербати Росмини», в котором Каттанео, в частности, пишет «Разве не было оскорблением для Джоя, когда вы в печати называли его книги литературными монстрами, компиляцией, перепевами, грабежом, мешаниной, гробницами знания, разлагающейся и источающей гной материей? Разве не было оскорблением величать его пьяным, болваном, невежей, идиотом, грубияном, которому более пристало изучать лопату? Не говорили ли вы, что это бедняга, сумасшедший, шарлатан, архифанфарон? И не присовокупили ли вы к литературным оскорблениям личные? Не объявляли ли вы его в этой книге по крайней мере тридцать раз мужланом и деревенщиной? Это ли не оскорбление — обзывать его дикарем, покрытым коростой прирожденной грубости? И заявлять, что от него воняет козлом, что он жестокое животное, что он свиреп и едва не кровожаден Несколько месяцев тому назад, когда вы начали такой же поход против благороднейшего имени Романьози, я принудил себя взять малую толику самых мягких из этих выражений и бросить их вам в лицо, дабы вы прекратили

Выходец из Эмилии, Романьози, помимо глубокого влияния французских просветительных и сенсуалистских идей, а также опытного метода Бэкона, испытал на себе воздействие ломбардской школы «преобразователей» в лице Беккариа и Верри, ломбардской «гражданской философии», которая носила сначала рационалистический и позитивный характер (в XIX веке она превратилась в позитивистскую философию) и основывалась на изучении статистики, экономики, форм и методов законодательства и правления и на исследовании конкретного развития торговли, сельского хозяйства, промышленности, экономической и социально-юридической деятельности, всего того, что носило практический, конкретный характер. Отсюда, однако, не следует, что эта ломбардская школа была бедна высокими идеалами; впрочем, достаточно будет одного имени Беккариа, чтобы составить о ней правильное представление.

Идейно окрепнув и созрев в атмосфере ломбардской школы философии, Романьози вместе с тем обнаружил исключительный интерес к экономической и исторической проблематике, усвоив также — быть может, в большей степени, чем кто-либо другой в Италии,— экономическое учение Дженовези и идеи Вико о взаимосвязи между миром природы и миром человека,— идеи, которые, впрочем, можно встретить у итальянских реформаторов XVIII века наряду с представлением об имманентном законе развития человеческого духа, а следовательно, экономических, юридических и социальных институтов.

Эта обширная ломбардская школа была особым идейным центром тех слоев новой итальянской буржуазии, которая восходила своими корнями еще к эпохе Возрождения, но вновь обрела силы в XVIII веке в Ломбардии (а также на Юге, в Неаполитанском королевстве), и хотя ее развитие было, возможно, не столь блестящим, она обладала теперь четким сознанием собственной цели. Ее привлекали отныне не широкие идейные горизонты эпохи Возрождения, а богатство наций, сравнительное изучение законодательных систем и истории экономических и юридических институтов разных народов — «наука о социальных началах» (или социальная наука), «доктрина цивилизации», как называл ее Романьози.

---

это А здесь я не привел даже четверти ваших оскорблений Запасшись терпением, я отметил их одно за другим, и если вы попытаетесь хоть что-нибудь отрицать, я возьму их, по крайней мере из этой книги, и опубликую с указанием страниц, дабы те, кто не поверит мне, поверили вам».

Если Сен-Симон был озабочен положением «наиболее бедного и наиболее многочисленного класса», то Романьози со своей стороны, анализируя современное ему общество, определенно заявлял, что капитализм обрекает рабочих на предприятиях на худшее рабство, чем рабство крепостных, и безоговорочно отрицал благотворные результаты экономической конкуренции, которую шумно восхваляли современные ему экономисты. Следовательно, при социально-экономическом анализе капиталистического общества, находившегося на мануфактурной меркантилистской ступени развития, и Романьози, и Сисмонди руководствовались аналогичными критериями. Оба мыслителя констатировали, что законы капиталистической конкуренции порождают противоречия, которые, если их не преодолеть, неизбежно приведут к вырождению этой системы экономики, к ужасающей нищете трудящихся масс. «До тех пор,— писал Романьози,— пока конкуренция сводится к соревнованию, она есть благо, но когда конкуренция начинает поглощать и узурпировать собственность других» (то есть узурпировать собственность мелких предпринимателей, ремесленников, а также права самих рабочих), она превращается в конечном счете в средство разрушения экономики, вызывает потрясения и противоречия, вину за которые Романьози возлагал на «страсть к наживе, чуждую каким бы то ни было мотивам морального порядка» [1].

Когда работы Сен-Симона стали известны в Италии и Росмини обрушился на этого «обезумевшего коммуниста», Романьози выступил с критикой сен-симонизма в иной плоскости: подчеркнув, что эта теория, несомненно, таит в себе «стремление к великому покушению» на собственность, он вместе с тем писал: «Выступая с резкими упреками, мы тем не менее с радостью приветствуем внутренние устремления сен-симонизма как положительное явление по сравнению с невероятным идиотизмом в области гражданской философии» [2].

Конечно, общественное развитие, движение к прогрессу теория Романьози рассматривает как постепенный процесс реформ, как «рост политических всходов», который невозможно остановить. Однако Романьози не дает покоя вопрос: сможет ли развиваться общество, не обуздав индивидуализм,

---

[1] G. D. Romagnosi, Emulazione Industriale, Osservazioni alla lettera del Sig. Carlo Dupin, op. cit., vol. X, p. 239.

[2] G. D. Romagnosi, Del sansimonismo. См. антологию под ред. Сестана. стр. 117 и далее.

присущий капиталистической системе? Как совладать с этой новой, таинственной и неистовой экономической силой — свободным капиталистическим предпринимательством, которая, будь она обуздана и упорядочена с помощью высшего «общественного закона», привела бы к лучшему устройству, а предоставленная самой себе — разрушит все и вся? Именно в адрес капитализма направлена критика Романьози, когда он утверждает. «При общественном устройстве, где властвует богатство, самый обычный и самый ужасный из всех пороков состоит в том, что в угоду одной группе или одному особому классу приносят в жертву интересы или права всего гражданского сообщества» [1].

Именно в этом и состоит основная проблема социально-экономической доктрины Романьози,— проблема, которую он хотел разрешить, открыв общественный закон; последний поставил бы интересы «гражданского сообщества» над интересами «одной группы или одного особого класса», осуществив «переход от разъединяющей к ассоциативной системе» [2]. Следовательно, критикуя капитализм, Романьози шел в основном по тому же пути, что Сен-Симон и Сисмонди, то есть по пути мелкобуржуазной критики «недостатков» капитализма, получившей широкое распространение в начале XIX века.

Романьози было присуще ясное и твердое представление о тесной исторической связи между экономическим базисом и надстройкой Сама культура, утверждал он в работе «О природе и факторах цивилизации», рассматривая развитие Италии в эпоху Возрождения, расцветает с подъемом экономики, а если экономика деградирует, рано или поздно приходит в упадок и культура. В этом отношении его взгляды совершенно ясны: «хорошо упорядоченные материальные интересы порождают интересы духовные» [3], следовательно, материальные интересы определяют в конечном счете прогресс или упадок цивилизации народов. «Экономика,— уточняет Романьози,— является основой морали и политики. Упорядоченные материальные интересы порождают духовные устремления и общественные добродетели» [4].

Согласно Романьози, в объективной и субъективной деятельности человека проявляется единство мира природы и мира истории (который он именует миром наций). И хотя Романьози говорит нередко о «двух мирах», с которыми сталкивается человек, он предлагает использовать для познания этих миров единую, основанную на данных опыта, позитивную систему исследования, отвечающую духу учения Бэкона и делающую язык философии простым и понятным для всех. (Впрочем, аналогичный тезис еще до Романьози выдвинул в своих сочинениях М Пагано ) Следовательно, он хотел, чтобы объектом изучения стал не умозрительный человек, а человек реальный, которого следует познавать не в свете платонических идей, перипатетических категорий или изощренных трансцендентальных построений, а на основе изучения производства и тех законов, которым подчинялась и подчиняется его жизнь на земле.

Таким образом, конечной целью исследований Романьози было открытие общественного закона, закона интерпретации истории и учреждение с его помощью такого «общественного состояния», при котором «совершалось бы минимум ошибок и максимум справедливых дел» [1]. Поэтому цивилизацию Романьози понимал как «постоянное и непрерывное приближение к самому лучшему человеческому обществу» [2]. Однако этот процесс не является чисто механическим, самопроизвольным движением, независимым от субъективной деятельности человека; напротив, он не может развиваться без героической борьбы наиболее просвещенной и передовой части человечества и без создания соответствующего «образца общественной науки» [3]. Но торжеству этой новой науки «препятствуют алчность и честолюбие, которые властвуют над людьми... поэтому за каждый незначительный шаг, за каждую догму приходится выдерживать борьбу, которая ведется с помощью силы, слова, угроз, обольщения, ибо *максимум* теоретических, моральных и политических трудностей препятствует успеху этой науки» [4]. Словом, Романьози ясно указывает, что трудности, с которыми сталкиваются при открытии закона, обусловливающего историческое развитие общества,— это трудности не научные, а социально-политические. Вот почему, утверждает Романьози, это открытие может быть сделано только в результате «долгой и мучительной конспиративной деятельности, под давлением острых и ре-

---

1 G. D. Romagnosi, op. cit.
2 G. D. Romagnosi, Dell'indole e dei fattori dell'incivilimento, p. 237.
3 G. D. Romagnosi, op. cit., p. 35.
4 G. D. Romagnosi, op. cit., p. 170.

1 G. D. Romagnosi, op cit., p. 18.
2 G. D. Romagnosi, op. cit., p. 219.
3 G. D. Romagnosi, op. cit, p 227.
4 G. D. Romagnosi, op. cit., p. 246—247.

шающих потребностей, благодаря усилиям многих мыслителей, с появлением гения, который совершит само открытие» [1].

Следовательно, нельзя сказать, что система Романьози признает только мирное, эволюционное, самопроизвольное, механическое развитие. Напротив, в его учении чрезвычайно настойчиво и отчетливо проводится мысль о наличии могучей тормозящей силы, извечно препятствующей прогрессу и созданию более справедливого общественного устройства, о существовании глубокого противоречия, разъедающего современное ему общество. Отсюда вывод о необходимости самоотверженной борьбы для преодоления всех трудностей.

Пусть уж другие верят в силу свободной торговли, в либерализм, который совершал тогда триумфальное шествие в более развитых странах Европы, особенно в Англии. Он же называет такую философию, которая проповедует, подобно английским доктринам, «сверхобогащение немногих за счет притеснения и порабощения множества людей» [2], «философией жадности» [3]. Высказываясь за соревнование, но в рамках ассоциативной системы, Романьози, выступавший против неограниченной свободы конкуренции, относился еще более отрицательно к экономической монополии, являющейся следствием такой неограниченной конкуренции, к экономической монополии, порождающей «разложение, насилие, противоположность между немногими и многими. Поэтому-то она недостаточно прочна. Поэтому-то ненадежно могущество и процветание аграрных и денежных монополистов» [4]. Все это позволяет Романьози обнаружить «острые контрасты» в «уродливой английской экономике» [5].

Итак, человечество должно смело заняться открытием общественного закона, из которого вытекала бы неизбежность новой и справедливой организации общества. «Труднее и важнее всего,— писал Романьози,— открыть высшую идею, концентрирующую весь свет общественной науки в единой точке, из которой она [наука] черпает жизненную силу, прочность и власть» [6]. Что же эта за «высшая идея» и «единая точка», которая является как бы фокусом при объяснении истории? Романьози, безусловно, придерживался экономической интерпретации истории человеческого общества, и все

[1] G. D. Romagnosi, op. cit., p. 252.
[2] G. D. Romagnosi, op. cit., p. 254.
[3] G. D. Romagnosi, op. cit., p. 255.
[4] G. D. Romagnosi, op. cit., p. 254.
[5] G. D. Romagnosi, op. cit., p. 255.
[6] G. D. Romagnosi, op. cit., p. 260.

же, как казалось самому Романьози, писавшему об этом, его методу не хватало каких-то элементов, чтобы стать высшим законом общественного развития. Поэтому Романьози жаждал появления гения, «одаренной души», который открыл бы то, что не удалось открыть ему самому, и завершил бы начатую им работу. «Быть может, сия нация породит некую одаренную душу, которая постигнет и разрешит задачу, поставленную в этом труде и почитаемую мною за завещание моей родине» [1].

Романьози считал появление такого гения неизбежным, ибо в нем нуждается эпоха; он мечтал о том, что этим гением будет итальянец, но все же с горечью задавал вопрос, не будет ли с появлением этого гения предан полному забвению вклад в разрешение этой задачи итальянских мыслителей. Итак, в высшей степени вероятно, что идея, отстаиваемая Пизакане в его «Очерках», согласно которой материальные интересы, материальные потребности определяют духовные и гражданские устремления и, следовательно, в конечном счете историю (что наделало столько шуму и дало повод строить фантастические домыслы о приверженности Пизакане к историческому материализму и о его знакомстве с идеями Маркса),— эта идея навеяна просто-напросто учением Романьози, о чем с такой настойчивостью писал сам Пизакане.

Здесь, пожалуй, будет уместно рассмотреть оценку, которую Кроче дал в свое время Романьози и итальянским демократам. Редко случается так, чтобы в мире идей не существовало хотя бы отдаленного родства, и сам Кроче, сознает он это или нет, кое-чем также обязан Романьози. Не этот ли «отсталый» мыслитель за сто лет до Кроче предвосхитил его попытку свести философию права к философии экономики — предмет знаменитого доклада Кроче в Академии Понтаниана, вошедшего затем, как органическая часть, в его «Философию духа» («Filosofia dello spirito»)? Кроче либо не знал об этом, либо, если ему был известен этот факт, не пожелал воздать должное Романьози. Бесспорно, что Кроче пришел к этому выводу более прямым путем в результате знакомства с идеями Антонио Лабриола и марксистским учением. Он смотрел на Романьози, как смотрят на развалины, и в 1915 году в статьях, помещенных в журнале «Критика» и легших затем в основу его книги «История итальянской историографии в XIX веке» («Storia della storiografia italiana nel XIX secolo»), дал Романьози весьма отрицательную, почти пара-

[1] G. D. Romagnosi, op. cit., p. 262.

доксальную оценку. В 1920 году, подготовляя к изданию эту книгу, Кроче изменил и изъял (но только частично) некоторые из своих первоначальных формулировок — или потому, что не считал нужным публиковать теперь все написанное ранее, или же потому — хотелось бы этому верить,— что осознал, в какую крайность он впал, поддавшись антипатии к этому мыслителю. Как бы то ни было, но в этой книге он изменил, хотя и в незначительной степени, свое первоначальное суждение. Факт, заслуживающий, пожалуй, быть отмеченным.

Взгляды, высказанные Кроче в 1915 году, можно резюмировать следующим образом: Романьози «не дорос до своего времени», ибо он «недопонимал» смысл «идеи развития». Более того, Кроче даже утверждает, что Романьози не рассматривал цивилизацию как развитие. На самом деле Романьози отрицал естественную цивилизацию как «универсальный закон природы для всех концов земли», но отстаивал концепцию экономических, даже «промышленных» истоков развития очагов цивилизации, иначе говоря, идею неравномерного развития процесса цивилизации народов в зависимости от технического и промышленного уровня, достигнутого этими народами, и вообще от состояния их экономики. Эта часть учения Романьози носит наиболее современный характер, именно здесь мыслитель обнаружил особую проницательность.

Критиковать Романьози, как это делает Кроче, не уяснив смысла его концепции *исконной* и *привнесенной* цивилизации, и утверждать, что она представляет собой подновленную с большим трудом доктрину вольтеровских времен, которая изображала цивилизацию как нечто обусловленное ab extra [1], базирующуюся, например, на «промышленном изобретении вроде ткацкого станка или плуга»; даже рассматривать эту доктрину не более, не менее, как некое продолжение религиозных или деистических теорий,— значит искажать факты. Отметим попутно, что Кроче назвал Спавента приверженцем теологии, а Романьози — приверженцем деизма и религии,— как раз тех двух итальянских философов, которые не имели ничего общего с теологией и церковью и вдохновлялись светскими идеалами, философов, каждый из которых по-своему явился основателем одного из самых передовых и бунтарских направлений в истории итальянской общественно-политической мысли.

[1] Извне *(лат.).— Прим. ред.*

Не говоря уже о том, что вольтеровские взгляды на историю были вовсе не таковы, чтобы можно было отмахнуться от них с такой легкостью, позволительно спросить, кто ныне ставит под сомнение, что цивилизация опирается на «промышленные изобретения», на достижения науки и техники, олицетворением которых когда-то были ткацкие станки и плуги, а ныне — поразительные научные открытия? В этой резкой полемике именно Кроче занимает отсталую позицию. К тому же совершенно несостоятельна попытка Кроче, предпринятая как раз в этой связи, противопоставить Каттанео Романьози, так как именно Каттанео, утверждая, что «цивилизация имела разные начатки у разных народов» (со всеми вытекающими отсюда последствиями), тем самым продолжал и развивал идеи Романьози, которые в значительной мере направляли его мысль и перо.

Равным образом нет оснований противопоставлять Каттанео Романьози и в таком частном случае этой формы *привнесенной цивилизации,* как колониальные захваты. В самом деле, Каттанео выступал против таких захватов, следуя при этом учению Романьози, который не только осудил колониализм, но и предсказывал скорый и неизбежных крах господства метрополий над колониями.

В своих неумеренных нападках на Романьози Кроче дошел даже до отрицания того факта, что Каттанео и Феррари сформировались именно в школе Романьози (как утверждали они сами, а им, я полагаю, было виднее, чем Кроче). В самом деле, в 1915 году Кроче утверждал: «Ни Романьози, ни кто-либо иной из них не имел последователей в новых поколениях, поскольку Феррари избрал иной путь, а Каттанео целиком проникся духом нового времени» [1]. Смягчив в своей книге наиболее резкие оценки, Кроче отказался и от этого последнего вывода, признав, что продолжателем Романьози был Каттанео, обладавший (пусть будет так!) «несравненно более мощным стилем и совсем другим темпераментом» [2]. И все же прежняя оценка Романьози и его школы, оценка в общем произвольная и несправедливая, перекочевала в книгу: Романьози назван в ней «отсталым», а Феррари — «реакционером».

Но есть ли основания для подобной оценки? Нельзя же всерьез утверждать, что Романьози был «отсталым», только потому, что он «пытался опровергнуть гегелевскую филосо-

[1] „Critica", 1915.

[2] B. Croce, Storia della storiografia italiana nel XIX secolo, vol. I, p. 212.

фию истории». Конечно, Романьози не только отвергал гегелевскую философию истории, но и вообще не понял Гегеля. Кстати говоря, он не имел возможности ознакомиться с его философией по первоисточникам. Конечно, это было весьма большим пробелом, так как именно усвоение идей Гегеля, может быть, позволило бы Романьози соединить свой экономический детерминизм с гегелевской диалектикой, а это открыло бы перед ним возможность для более глубокого понимания исторических закономерностей. Однако Романьози не понял гегелевской диалектики: напрасно промучившись с ней, он окрестил ее «пустотелой, призрачной, примитивной метафизикой». «Становление» он считал возможным в «семени растения, а не в духе». Особенно непонятным казался ему этот «загадочный жаргон», это «положение противоположности» без «единого почему».

Но разве этого достаточно, чтобы считать его «отсталым»? И почему Феррари оказался уж совсем «реакционером»? Можно сказать, что исторические построения Феррари носят надуманный характер, можно порицать его за необоснованные обобщения, за поверхностность суждений, иной раз — за путаницу, но почему все-таки он «реакционер»? Только потому, что он «отвергал тождество философии истории с позитивной историей» и проводил «схоластическое разделение между идеями и фактами»? Однако же Франческо Де Санктис, несмотря на эти и другие аналогичные мотивы, не счел себя вправе отнести Сисмонди, Романьози, Каттанео или Феррари к «отсталым» или «реакционерам». Напротив, он полагал, что они возглавляли прогрессивную, демократическую итальянскую школу. Ибо Де Санктис (питал ли он к ним особую симпатию или нет) видел, что как мыслители и борцы они занимали такие позиции в происходившей борьбе, которые не допускают никаких кривотолков, а потому и судил о них соответствующим образом. Напротив, Кроче, особенно на первых порах, поддался чувству антипатии и предвзятости, что помешало ему быть объективным в своих оценках.

Учиненный им разнос не коснулся одного лишь Каттанео. Это обусловлено, несомненно, тем, что Каттанео, не принимавший участия в заговорах и борьбе и уделявший больше времени научным занятиям, был серьезным ученым, не говоря уже о его качествах глубокого и уравновешенного мыслителя; другая же причина состояла, вероятно, в том, что среди самых видных представителей итальянской демократии Каттанео был единственным, кто остался чужд современным ему проблемам социализма. В этом смысле Каттанео не ушел вперед ни от Романьози, ни от Сисмонди. Демократия Каттанео была прочной и умеренной демократией ломбардской буржуазии; это была прогрессивная, но ограниченная система, в чем Каттанео, обладавший ясным умом, отдавал себе полный отчет. В этой связи можно согласиться с Э. Сестаном, который находит «странным, что Каттанео, предвидевший многие стороны развития современного мира, не понял, какое огромное значение предстоит приобрести проблемам труда и трудящимся классам»[1].

Каттанео и Феррари вышли из одной и той же идейной школы, однако дальнейшее развитие их воззрений пошло по разным путям. Каттанео обновил эволюционистское учение Романьози, придав ему современный позитивистский характер, и попытался с присущей ему методичностью применить это учение к истории, к экономическим и социально-политическим проблемам. Феррари же, испытавший на себе влияние французского социализма, особенно прудоновских идей, попытался было двинуться по социалистическому пути, однако не очень уж преуспел в этом. Впрочем, он не обладал умением анализировать экономические проблемы современного ему общества. Вся экономическая доктрина Феррари сводится к декларированию ограничения права собственности. В чем же должно состоять это ограничение? Только в ликвидации права наследования?

Влияние Романьози на Феррари дает о себе знать прежде всего в теории «правления философов», характерной для Романьози, но встречающейся также у просветителей XVIII века. Разница здесь состоит в том, что для просветителей эта теория была программой на будущее, выражением их чаяний, тогда как Романьози придал ей, так сказать, практический, позитивно-социологический характер. «Революция есть триумф философии, призванной управлять человечеством. Вне философии нет революции...» — писал Феррари[2]. Но у Романьози эта теория выглядит более плодотворной и содержательной и, на наш взгляд, более современной, ибо он сводит философию и право к *экономике,* так что в центре внимания оказываются социологические и экономические проблемы. Феррари же, не обладавший даром экономиста и не усвоивший глубоко этой стороны учения Романьози, воспринял идею правления философии и философов в узком

---

[1] E. Sestan, op. cit., p. XXXVII.

[2] G. Ferrari, Filosofia della rivoluzione, Londra, 1851, vol. I, p. 5.

смысле слова; впрочем, подобная, чересчур однобокая интерпретация Романьози сохранилась отчасти и у Пизакане.

Именно с таких позиций был написан «opus magnum» [1] Феррари — «Философия революции» («Filosofia della rivoluzione»), которую, по мнению Джованни Джентиле, а также Франко Делла Перута, следует расценивать как вершину зрелой мысли Феррари [2], тогда как с нашей точки зрения эта работа, напротив, уступает тем, хотя и написанным наспех политико-публицистическим очеркам Феррари, которые, однако, более безыскусственны и более свободны от надуманных доктринерских построений Заимствовав у Романьози идею возведения философии на политический трон, Феррари связал ее (что лишь ухудшило дело) с почерпнутыми из вторых рук гегельянскими идеями (на наш взгляд, Феррари познакомился с ними главным образом по сочинениям Прудона) и усложнил все до такой степени, что стал отрывать в своей доктрине *идеи* от *фактов*, таким образом он пришел к выво-

[1] Главный труд (*лат.*)

[2] G Gentile, La filosofia in Italia dopo il 1850 I «Gli Scettici» e «G. Ferrari» в «La Critica», Bari, 1903, p 87, и F. Della Peruta, op. cit, p 97 Поэтому нам представляется убедительным замечание Грамши о том, что Феррари следует изучать «не столько по его так называемым главным сочинениям, которые представляют собой беспорядочную и путаную литературную мешанину, сколько по случайным брошюрам и письмам. Феррари мыслил, однако, — пишет Грамши, — в большой степени вне конкретной итальянской действительности, он очень офранцузился Часто в своих суждениях он забегал далеко вперед, отрываясь от реальности, так как применял к Италии французские схемы, которые отражали ситуацию, значительно более передовую, чем в Италии Можно сказать, что по отношению к Италии Феррари находился в положении «потомка» и рассуждал в известном смысле как человек будущего Феррари не видел, что между итальянской и французской действительностью отсутствует промежуточное звено и что важно скрепить именно это звено, чтобы затем перейти к следующему поэтому сама крайность его суждений способствовала путанице, порождала новые тайные общества и теченьица, но не оставляла следа в реальном движении» (A Gramsci, Risorgimento, Torino, 1949, p 75) Напротив, нельзя согласиться с Грамши, когда он утверждает, что Феррари был непризнанным «специалистом» по аграрному вопросу в «Партии действия» «Необходимо также, — пишет Грамши, — тщательно исследовать позицию Феррари по отношению к батракам (то есть к крестьянам без земли и поденщикам), которая играет значительную роль в его идеологии» (там же, стр 82). На самом деле Феррари вовсе не был специалистом в аграрном вопросе, не занимался положением батрачества и никогда не пытался конкретно анализировать характер классовой дифференциации в итальянской деревне — по крайней мере до воссоединения страны, до 1860 года Грамши значительно ближе к истине, когда утверждает в другом месте, что «аграрный закон» Феррари «из конкретной и актуальной программы, точно очерченной во времени и пространстве, превратился в туманную идеологию, в принцип философии истории» (там же, стр 155).

дам, противоположным тем, которые явились результатом длительных усилий Романьози. Тем самым Феррари дал повод для желчной, но вместе с тем проницательной критики Кроче, который не преминул обрушиться на слабые стороны доктрины Феррари Кроче доказывал, что подобное разделение *идей* и *фактов* схоластично (и порождает в конечном счете скепсис в теории и практике,— подхватил Джентили, как известно, отнесший Феррари к философам-*скептикам*), а следовательно, такая философия носит, по существу, реакционный характер. Бедный Феррари! Конечно, он не был реакционером, но путаником — безусловно.

Совсем недавно Делла Перута счел возможным утверждать, что истоки социалистических идей эпохи Рисорджименто и, следовательно, истоки социалистических взглядов Пизакане восходят к Феррари, однако этот тезис представляется необоснованным, и не только потому, что Пизакане задумал и написал «Войну в Италии 1848—1849 годов», не будучи знаком с «Республиканской федерацией» («Federazione repubblicana») Феррари, но и по более веским причинам На самом деле Джузеппе Феррари нельзя считать социалистом, хотя он любил себя так называть; впрочем, он сам объяснил, как и почему в определенный момент он счел необходимым заменить термин «правление философов», которому он дотоле отдавал предпочтение, термином «социализм». Но разве дело в словах? Сущность идей Феррари осталась неизменной, и под социализмом он разумел «правление философов» Романьози, причем (это нужно оговорить особо) речь шла о правлении, связанном с реальной действительностью в значительно меньшей степени, чем у самого Романьози.

Стержнем этих странных и причудливых доктрин Феррари была философия истории (*философия революции,* как любил называть ее Феррари), имевшая мало общего с социализмом В самом деле, в основе этой философии истории лежит тезис о вечной противоположности между *свободой* и *равенством,* между *собственностью* и *общностью* (то есть в упрощенном виде — между строем частной собственности и социалистическим или коммунистическим строем), противоположности, которая — и именно в этом сущность данной философии — непрерывно полагает себя, но никогда полностью не разрешается. Почему же? Потому что философская и историческая диалектика Феррари не является подлинной диалектикой, ибо она не включает диалектических категорий в конкретной форме их становления. Иначе говоря, диалек-

тика Феррари не знает преодоления и развития (то есть в конечном счете она лишена собственно диалектики); она гипостазирует противоположность, а движение рассматривает как нечто возвращающееся к самому себе. Следовательно, это диалектика, лишенная историзма, которая, пожалуй, напоминает круговорот Вико, учение которого Феррари внимательно изучал в юности. Диалектика полагает определенный тезис, затем отрицает его, чтобы далее прийти к диалектическому разрешению, к отрицанию отрицания, к диалектическому скачку, который ведет к утверждению качественно нового положения. У Феррари же круг оказывается замкнутым. Тезис-антитезис, утверждение-отрицание не развиваются сами по себе, а остаются совершенно неизменными до того момента, пока не наступит *примирение* между двумя противоположностями, которое Феррари называет историческим *синтезом.*

С этой точки зрения его социально-философская доктрина удивительно напоминает доктрину столь поносимого им Мадзини, а также доктрины Прудона, покоящиеся на принципе примирения. Правда, тезис-антитезис, свобода-равенство, собственность-общность в историческом аспекте находятся в движении, однако это движение по кругу, которое возвращается к самому себе, не выходя за рамки круга, вследствие чего оно странным образом сводится на нет. Выходом является *примирение,* то есть тупик.

Обратимся к важнейшей работе Феррари — «Философии революции» — и попытаемся резюмировать ее основные идеи на понятном для всех языке. В этой работе утверждается основное противоречие — противоречие между *свободой* и *равенством,* которому в социально-экономическом плане соответствует противоречие между *собственностью* и *общностью.* Уже тот факт, что Феррари отождествляет *свободу* и *собственность* и противопоставляет *равенство* и *свободу,* ставит его, на наш взгляд, за рамки социализма. В этих основных вопросах (*свобода* и *равенство, собственность* и *общность*) между позицией Феррари и Пизакане настоящая пропасть. В самом деле, Феррари писал: «Верите ли вы в свободу? Она неограниченна, ибо если вы ограничите ее, это уже не свобода... Если же вы установите равенство, то вы придете к тем же результатам, только иным путем, и свобода будет уничтожена, ибо каждый шаг будет подчинен действиям всех мне подобных, каждый мой шаг будет зависеть от свободы, установленной для меня человеческим родом, и мне нельзя будет больше ни думать, ни действовать, не заручившись прежде всякий раз его согласием...»[1] Из этого рассуждения вытекает, что право собственности священно, как священна свобода.

Итак, в конечном счете оказывается (и в этом самая суть социальной доктрины Феррари), что право собственности, принцип собственности вовсе не оспариваются и не являются объектом обсуждения; речь идет лишь об их пределах. Таким образом, мы вновь сталкиваемся с позицией, совершенно противоположной коммунистической позиции Пизакане, который считал (правильно или нет), что собственность — извечный источник всех бед.

«Социальная проблема, — писал Феррари, — касается не принципа собственности, а его пределов. Как определить их? Так же, как определяют все права — мерой полезного, одобренной чувством. Изолированный собственник, собственник, чье имущество не оспаривается, ограничен только рамками собственной свободы и не встречает больше никаких ограничений... Собственность ограничивается только в том случае, когда она оспаривается нам подобными, свобода которых ограничивает собственность, так же как равенство ограничивает свободу. Следовательно, речь идет не об абстрактном равенстве, не об универсальной общности, которая непосредственно упраздняет всякую собственность; абстрактное равенство не подкрепляется никаким юридическим сознанием, а универсальная общность сводится к диалектической гипотезе. Речь идет о реальном равенстве, о той свободе, которой пользуются нам подобные и которой требует их нравственное чувство. Ваша собственность причиняет мне вред? Осуждает меня на рабство? Обрекает меня на голод? Несет погибель семейству бедняка? Подавляет сознание народа? Ставит голодного перед выбором — воровство или смерть? Воровство прощается, нравственное же уважение, внушаемое собственностью, исчезает; его сменяет юридический протест в связи с поруганной нравственностью и попранной свободой, а общность протестует во имя равенства. Так возникает право необходимости. Все юрисконсульты признают его вместе с правом собственности...»[2] Следовательно, социальная доктрина Феррари сводится к ограничению права собственности. Кто же ограничит его? Оказывается, «право необходимости». «Народы,— писал Феррари,— провозгласили, подобно фило-

[1] G. Ferrari, Filosofia della Rivoluzione, seconda edizione, Milano, vol. II, p. 126—127.
[2] G. Ferrari, op. cit., p. 142.

софам, право ограничивать собственность по мере необходимости общностью» [1].

Что же представляет собой «право необходимости»,— право, провозглашенное, по утверждению Феррари, юрисконсультами и философами как ограничение, улучшающее право собственности? Да ведь это именно то право, которое вытекает из «закона долга» Романьози [2]. Но доктрина последнего была более прогрессивной, ибо не ставила пределов на пути общественного развития, даже если трактовала его как мирное, эволюционное. Напротив, Феррари устанавливает железные границы «Собственность,— утверждает он,— никогда не будет отменена, общность никогда не утвердится, логике никогда не согласовать собственность с общностью; философия противоречий, которая пожелала бы добиться их синтеза, перенесла бы наши надежды в область невозможного. Но собственность и общность, соединенные откровением, образуют нерушимый идеал универсального аграрного закона, устремляют наши мысли к такому устройству человечества, где будет равная собственность, и переносят в будущее тот общественный договор, который, как казалось Гроцию и Пуфендорфу, существовал на заре человечества» [3]

Итак, поскольку противоречие трактуется Феррари не диалектически, оно не может быть разрешено. *Свобода и равенство, собственность* и *общность* искони присущи человеческому обществу и всегда будут существовать в нем. Поэтому вопрос заключается в том, чтобы устранить искривления, найти синтез, то есть навязать этим категориям такую форму сосуществования, которая ограничивала бы их и в известном смысле взаимно нейтрализовала. И так как «собственность и общность, соединенные откровением, образуют нерушимый идеал универсального аграрного закона», то собственность приводит к универсальной общности. Но общности кого? Мелких производителей: ограничение или отмена права наследования должны как раз помешать воссозданию крупной собственности и навечно утвердить общность мелких собственников

Спрашивается, однако: что имел в виду Феррари, представляя свою систему в виде «собственности и общности, соединенных *откровением*»? В чем смысл этого откровения и от кого оно исходит? От бога? Нет, конечно. Феррари атеист.

[1] G. Ferrari, op. cit., p. 143.
[2] G. D. Romagnosi, op cit, vol XII, p. 287.
[3] G. Ferrari, op. cit., p. 146.

Его «откровение» (если называть вещи их именами) исходит из мира разума, из мира идей, который возвышается, доминирует над природой и материей и руководит ими. Эта характеристика опять-таки заставляет нас подходить к социальному идеалу Феррари (говорить о социалистическом идеале было бы рискованно) с теми же оценками, что и к социальному идеалу Мадзини. И впрямь, «универсальный аграрный закон» Феррари не является ни якобинским, ни коммунистическим, это идеологическая конструкция, философский миф, цель которого — примирить строй частной собственности со строем общности, миф, который на практике должен привести (поскольку вообще можно допустить практическое осуществление этих сомнительных замыслов) к созданию ассоциации мелких производителей мадзинистского или прудонистского толка Но к какому конкретному типу экономической ассоциации будет она принадлежать? К кооперативному? В этом плане идеи Феррари оказываются еще более туманными и неопределенными, чем идеи Мадзини. Во всяком случае (со ссылкой на бога или нет — это не имеет значения), как Мадзини, так и Феррари имели в виду закон прогресса, дарованный народу разумом, философией. Разница между ними заключается, пожалуй, в том, что Мадзини — в духе сен-симонизма — выдвигал на первый план ассоциацию мелких городских производителей (хотя следует предположить, что его система предусматривала такое же решение и для мелких производителей деревни), тогда как Феррари делал упор на «всеобщий аграрный закон». В целом же и Феррари и Мадзини стремились найти идеальную единицу измерения, с помощью которой можно было бы упорядочить весь комплекс социальных отношений в городе и деревне.

На наш взгляд, нельзя говорить о заметной эволюции этих теорий, которые носили целиком догматический характер. Сформулированные в таком виде до 1848 года, они воспроизводились без особых изменений также и после 1860 года. В 1845 году в своей работе «Заметки о принципе и границах философии истории» («Essai sur le principe et les limites de la philosophie de l'histoire») Феррари писал «Стремиться основать ассоциацию на основе общности — значит поощрять развитие промышленности, торговли, сельского хозяйства и рост богатств, опираясь на принцип, который осуждает богатство...» [1] И далее: «Ассоциация не упраздняет собственность... напротив, она дает простор ее развитию... ассо-

[1] G. Ferrari, Essai sur le principe et les limites de la philosophie de l'histoire, Paris, 1845, p. 468.

циация приноравливается ко всему — к пороку и добродетели, но она одна таит в себе секрет сочетания личной выгоды с общественной... будучи далека от того, чтобы ослаблять собственность, она способствует ее росту, защищает и поощряет ее, словом, она утверждает ее, ибо нет подлинной собственности там, где нет гарантии. Рост количества векселей, банковских билетов, облигаций государственного долга заставляет нас предвидеть прогрессивное и бесконечное обращение в движимое имущество всех видов собственности, и это обращение... вместо ослабления собственности во сто крат увеличит ее значение» [1]. Позднее, в «Философии революции», Феррари укажет, что общность ограничивает собственность, но вместе с тем оправдывает, координирует и увековечивает ее.

Следует, впрочем, сказать, что даже исходные позиции Пизакане и Феррари были совершенно противоположными. Пизакане отправлялся от теории естественного права, а Феррари — от критики этой теории. Среди социалистов-утопистов наибольшую симпатию у Пизакане вызывал Фурье именно потому, что он все сводил к естественному закону, вечному и доброму закону, который извратила цивилизация. «Кампанелла в «Городе солнца»,— писал Пизакане,— Кабе в «Икарии», Оуэн, Луи Блан — все они стремились к созданию внешней, искусственной силы, которая предписала бы раздел богатств. Шарль Фурье, стоявший выше их всех, обнаружил эту силу в природе самого человека...» [2].

Напротив, Феррари резко критиковал основанную на естественном праве социальную теорию Фурье и не питал к нему никаких симпатий — в отличие от Мадзини, который, несмотря на критику, восхищался французским мыслителем. В трудах Фурье Феррари находил одну лишь идейную путаницу и сумасбродство. Иначе говоря, те мотивы, которые сближали Пизакане с Фурье, восстанавливали против последнего Феррари. «Если фаланстер,— писал он,— не оправдывает себя ни с точки зрения своего устройства, ни с точки зрения ассоциации, ни с точки зрения критики общества,— в чем же тогда состоит его принцип? По-видимому, в природе; в самом деле, насколько Фурье впадает в крайность в своей критике общества, настолько же он преувеличивает в своей апологии природы; в цивилизации он видит только зло, как будто это творение палача; а в природе — только добро, как будто это рай... Природа же вся залита кровью: ей ведомы исчезнувшие бесследно племена, жизнь, вскормленная смертью. Всякое живое существо вооружено природой, дабы творить разрушение» [1].

Следовательно, для Феррари возврат к законам природы (который Пизакане считал главным условием искоренения социальных пороков) означал бы возврат чуть ли не к животному состоянию. Природа, на его взгляд, «находится во власти невидимого мира разума и идей» [2]. Феррари подвергает резкой критике доктрину, согласно которой природа создала людей свободными и равными, и, по сути дела, отвергает всю теоретическую мысль XVIII века. «Если послушать Вольтера, история — это сплошная комедия; если послушать Руссо, цивилизация — это болезнь мысли, а энциклопедисты дошли до того, что противопоставили средневековой теократии гигантский фантом теократии природы, где человек заменяет бога, обожествленный благодаря чудесам развития промышленности. Упускали из виду, что невозможно повелевать на земле, не обладая силами небесными, иными словами, повелевать промышленностью можно только с помощью силы идей; и в самом деле, когда разразилась революция, победа, на которую уповали и которая базировалась как раз на материалистических доктринах, сорвалась, ибо не удалось преодолеть материальный порядок общества» [3].

Какой же политический вывод следует отсюда? Феррари утверждает, что энциклопедисты, так же как утопические социалисты и «ультрареволюционеры всех мастей», ошибались: «извращая науку, они добивались от нее искупления вместо прогресса» [4]. Следовательно, необходимы были не отрицание частной собственности и утверждение социалистических или коммунистических порядков, а «разумный прогресс» [5]. После 1848 года сама действительность подтолкнула Феррари вперед, однако не в такой степени, чтобы заставить его существенно изменить свои взгляды, и «Философия революции» знаменует собой как раз достигнутый им предел.

Подводя некоторый итог, укажем, что, подобно Мадзини, Феррари был демократом, все мысли которого были сосредоточены на необходимости эволюции демократии в сторону

---

1 G. Ferrari, op. cit., p. 470—471.
2 C. Pisacane, Saggi storici-politici-militari sull'Italia, a cura di A. Romano, Roma, 1957, vol. III, p. 56.

1 G. Ferrari, Des idées et de l'école de Fourier depuis 1830, в „Revue des deux mondes", 1845, p. 394.
2 G. Ferrari, op. cit., p. 403.
3 G. Ferrari, op. cit.
4 G. Ferrari, op. cit., p. 434.
5 G. Ferrari, op. cit.

передовых форм общественного устройства Однако к предшественникам современного социализма его отнести нельзя

Могут, однако, спросить почему Феррари с такой настойчивостью добивался в противовес Мадзини создания социалистической партии? Нам тоже хотелось бы знать это. Иной раз бывает так, что раскол среди верующих одной и той же церкви оказывается особенно глубоким, а борьба между ними — особенно яростной. В этой связи следует сказать, что Феррари придал антимадзинистской полемике такую остроту, что другие демократы, даже настроенные весьма критически по отношению к Мадзини, не могли ее вполне одобрить— ни Пизакане, ни Каттанео, ни Макки Лишь среди демократов-южан были люди, занимавшие столь же беспощадную позицию по отношению к Мадзини, прежде всего Музолино, а также Риччарди

Возможно, Феррари хотел создать социалистическую партию, направляемую философами, чтобы претворить в жизнь свою утопическую доктрину иррелигиозности (носившей идеалистический характер) и универсальный аграрный закон. Отметим, что, за исключением Каттанео, элементы утопизма были присущи также и доктринам других видных представителей демократии Рисорджименто, но, пожалуй, ни у кого из них нетерпимость философско-утопической доктрины не принимала такой крайней формы, как у Феррари Не нужно смешивать, однако, эту нетерпимость с радикализмом

Кроче был прав, когда отмечал у Феррари отрыв идей от фактов (даже если при этом, утратив чувство меры, он окрестил его «реакционером»). Приходится признать, что Феррари рассматривал историческое развитие в двух, совершенно различных и не связанных между собой плоскостях — в высшей (или плоскости развития идей), в которой реализуется своего рода вечная идеальная история человеческого рода, в духе Вико, и в низшей, в которой реализуется история людей, таких, как они есть на самом деле, из плоти и крови, со всеми их нуждами и превратностями их судьбы,— злосчастная история фактов Но самое курьезное в теории Феррари — это то, что история в ее высшей плоскости время от времени опускается — движимая неведомо какой силой или добродетелью,— чтобы достигнуть низшей плоскости и одарить ее «откровением» разума Таким образом, идеи оказываются демиургом истории, а философы в большей мере, чем народы, намечают контуры общественного устройства Поэтому можно предполагать, что и Феррари испытал на себе прямое или косвенное (возможно, через Прудона) влияние сен-симонизма, если, конечно, не хотят допустить, что идею «правления философов», которая была для него воплощением социализма, он заимствовал у Романьози и что эта идея претерпела затем вырождение, облекшись в крайние формы Возможно, что это произошло именно так.

Итак, почти вся итальянская демократия (и в этом суть дела) была ограничена этими доктринерско-идеологическими схемами, этими абстрактными интеллектуалистическими построениями Для многих ее представителей демократия была скорее *теократией интеллекта,* чем демократией народа, какие бы усилия они ни прилагали — героически жертвуя своей свободой и жизнью,— чтобы обеспечить своим теориям широкую и действенную поддержку низов Этой судьбы избежали только те демократы, которые не были поглощены теоретическими и идеологическими проблемами, как, например, Джузеппе Гарибальди, народный вождь, руководствовавшийся исключительно здравым смыслом, инстинктом плебея и демократа В молодости и он не избежал увлечения сенсимонизмом, но, как человек из народа, человек практического склада, как человек действия, Гарибальди не придал этой доктрине особого значения и знакомство с ней не принесло ему ни пользы, ни вреда

Следует, однако, сказать, что Феррари, несмотря на все его слабости, подметил все же отсталые и огнюдь не прогрессивные черты прудонистскои экономической утопии и занял явно отрицательную позицию в отношении ряда наиболее важных формул прудонизма И хотя Феррари «офранцузился» в большей мере, чем кто-либо другой из итальянских демократов, как говорил о нем Пизакане, все же в лучшей части своей теории он остался верен традициям итальянской демократической мысли По сравнению с Феррари Пизакане занял, однако, более самостоятельную и более критическую позицию в отношении прудонистской доктрины и обнаружил более широкий кругозор, что позволило ему лучше выявить ее слабые стороны К тому же Пизакане больше всего опирался на итальянскую социальную мысль, и потому разработанная им социалистическая теория оказалась не только более радикальной, но и более оригинальной и жизнеспособной, чем доктрина Феррари, и оставила значительно более глубокий след в истории рабочего движения Италии

Говоря объективно, в области философских и исторических изысканий Феррари потерпел неудачу, здесь ему не хватало тех главных качеств, которые отличали Каттанео. точности и методичности исследователя и чувства меры.

Отправлялся он от правильных положений. Создавая свою философию истории, Феррари хотел взять на себя задачу (не разрешенную до конца Романьози) найти «единый модуль», то есть разработать монистический метод объяснения истории. Но вместо того чтобы идти дальше по пути, проложенному учителем, он пошел назад и сбился на путь странных и искусственных теорий. Тем не менее это был острый, яркий и сильный полемист и публицист, в сочинениях которого встречаются столь проницательные суждения, что его работы можно не без пользы перечитывать даже сегодня, и это объясняет нам, почему такие люди, как Каттанео и на первых порах также Пизакане, высоко ценили его.

Однако довольно об этом. Наша цель состояла в том, чтобы кратко показать, что итальянская демократия (как, впрочем, любое другое течение европейской демократии) прошла долгий, сложный и мучительный путь развития, что, несмотря на все трудности, она проложила себе путь из самых глубин итальянской действительности. В последние три десятилетия XVIII века в Италии занимались (и притом усердно) вопросом о глубоком преобразовании общества, и эти усилия не могли не принести плодов в новом веке. Романьози передал «новым поколениям мысль великого побежденного века» [1], но, не ограничившись этим, он, в меру своих сил и способностей, постарался наметить в своих тяжеловесных книгах новый путь.

Впрочем, эта древняя, внушительная юридическая эрудиция все же сослужила службу: она помогла Романьози если не попросту контрабандным путем, то, во всяком случае, без лишнего шума провести в печати ряд идей, которые немыслимо было во всеуслышание отстаивать в Италии в ясной и открытой форме. Во всяком случае, Романьози создал социальную школу, а обстановка после его кончины была такова, что под воздействием других влияний по крайней мере некоторые из его последователей неизбежно должны были стать поборниками социалистических идей. Социализм уже пустил корни в европейской демократической мысли, следовательно, его развитие в Италии также стало неотвратимым — он должен был возникнуть либо самостоятельно, либо в результате влияний из-за рубежа.

Некоторые полагают, что среди этих иностранных влияний наибольшее воздействие на Пизакане, Феррари, Монтанелли и вообще на радикальное крыло итальянской демократии оказал прежде всего прудонизм. Несомненно, такое воздействие имело место: успех прудонизма в Европе в 1840—1848 годах был слишком шумным, чтобы не получить отзвука также в Италии. Однако недавно Делла Перута правильно рассмотрел этот вопрос в его действительных границах, и мы полностью согласны с теми выводами, к которым он пришел. Поэтому не станем распространяться по поводу этой проблемы и отошлем читателей, желающих познакомиться с ней более детально, к соответствующим страницам этой книги [1]. «Некоторые положения «Республиканской федерации», «Войны в Италии» и «Введения к некоторым историческим заметкам о революции в Италии»,— пишет, в частности, Делла Перута,— обнаруживают достаточно ясно влияние идей французского писателя, но эти использованные идеи были подобны нитям, вплетенным в более широкую основу, которые образуют на поверхности характерный рисунок, отличающий прудонизм, экономическую утопию...» [2]

Действительно, после того как прошло первое ошеломляющее впечатление от тех высказываний Прудона, которые казались вначале исключительно радикальными (и которые потом, при более внимательном рассмотрении, оказались скорее парадоксальными, чем радикальными), после первого знакомства, вызвавшего интерес и сочувствие к этому писателю, когда все отчетливее начала обнаруживаться сущность его доктрины и за блеском радикальных фраз стало выступать реформистское, утопическое, эклектическое и примирительное содержание прудонизма во всей его скудости,— те же итальянские социальные демократы, которые вначале позволили ошеломить себя, подобно добрым, мелким провинциальным буржуа, начали критиковать прудонизм. И в самом деле, в своих «Очерках» Пизакане настроен, в сущности, весьма критически по отношению к Прудону. Пожалуй, в смысле использования некоторых абстрактных философских формул, это скоропреходящее увлечение (в философском плане) затронуло больше других Феррари, который заимствовал у Прудона (уже из третьих рук: Гегель—Грюн—Прудон) некоторые псевдодиалектические положения.

В оправдание итальянских демократов следует сказать, что Прудон и его радикальные на словах концепции при пер-

---

[1] F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, Torino, 1958, p. 946.

[1] См. F. Della Peruta, I democratici e la rivoluzione italiana, p. 127 sgg.

[2] F. Della Peruta, op. cit., p. 127.

вом появлении вызвали в Европе действительно всеобщий интерес. Прудон представляет исключительный случай с точки зрения судьбы фразы. в самом деле, его знаменитая инвектива — «собственность есть кража» — распространилась по всему миру подобно эпидемии, сделавшись — так или иначе — символом социалистических проблем целой исторической эпохи, вызывая энтузиазм или страх. Даже Маркс, который выступил вскоре с уничтожающей критикой прудонизма в «Нищете философии», вначале отнесся с интересом к работе французского утописта и назвал прудоновский памфлет 1840 года «Что такое собственность?» «научным манифестом французского пролетариата» [1].

Можно отметить четыре пункта, по которым существовало глубокое расхождение между воззрениями итальянских демократов, стремившихся к разрешению социальных проблем,— в первую очередь здесь следует упомянуть Пизакане и Феррари — и прудонистской доктриной. Прежде всего идеология типографского наборщика из Безансона родилась на почве интересов и представлений ремесленника, мелкого городского производителя, и, как справедливо указывал Энгельс, ей была присуща «реакционная черта — отвращение к промышленной революции и... стремление вышвырнуть вон всю современную промышленность, паровые машины, прядильные машины и прочие напасти и вернуться к старому, надежному ручному труду» [2]. Напротив, рисорджиментальный социализм Пизакане (а также и Феррари, несмотря на всю неопределенность его теории) обнаруживал известное понимание роли современной техники и был пронизан прежде всего стремлением разрешить важнейшую социальную задачу того времени, то есть разрешить на началах социальной справедливости крестьянский вопрос в Италии. Отсюда и отсутствие аналогий с политическими позициями Прудона и его экономической утопией, цель которых сводилась к улучшению в рамках существующего строя положения мелкого городского производителя с помощью «дарового кредита» и «обменного банка».

Второй момент, резко отличавший социально-политические теории итальянских демократов наиболее радикального толка от прудонистской доктрины, состоял в том, что Прудон отвергал революционные методы и строил утопические планы мирного преобразования общества с помощью того же

[1] К Маркс и Ф Энгельс, Соч, т. 2, стр. 45.
[2] К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 18, стр. 216.

«дарового кредита» и «обменного банка». Эти средства должны были вернуть обществу (посредством изобретенной им экономической комбинации) те богатства, которых лишает его в известной мере динамика капиталистического развития, концентрируя их в немногих руках. Другими словами, прудонистская доктрина исходила из того, что буржуазия уже находится у власти, что она уже объединила страну и овладела национальным рынком; при таких условиях можно было (ошибочно или нет — это другой вопрос) замышлять ту реформу социально-экономических отношений, утопические планы которой строил Прудон.

Но в Италии не существовало даже основных *предпосылок,* которые позволили бы выдвигать здесь подобную утопию буржуазия еще не сосредоточила в своих руках экономических и политических рычагов власти и не завоевала национальный рынок. Следовательно, в экономическом отношении прудонизм в целом не соответствовал действительным условиям Италии. Кроме того, отказ от революционной борьбы был абсолютно неприемлем для итальянских демократов, которые добивались прежде всего свержения абсолютистских режимов и ликвидации вооруженным путем австрийского господства в качестве условия объединения страны и создания нового экономического устройства общества

В-третьих, рассмотренная нами доктрина Прудона предполагала попытку классового примирения и в соответствии с этим примирение идеологий. Тем самым теоретически обосновывалась экономическая панацея (этот становой хребет прудонизма), а вместе с ней — эклектизм, умеренность, всеобщие embrassons nous [1]. Для тех, кто жил в условиях итальянской действительности, было очевидно, что мадзинистская теория восстания отличается несравненно большей революционностью и даже более широким подходом к социальному вопросу, чем эти прудонистские доктрины.

Наконец (здесь, правда, имеются в виду такие черты прудонизма, которые обнаружились позднее, в 1858—1859 годах, как следствие уже указанных нами идеологических предпосылок), в международном плане Прудон зарекомендовал себя как французский мелкий буржуа, как взбесившийся националист, не только глухой к интернациональным требованиям пролетариата, но и враждебно относящийся к движе-

[1] Буквально — объятия (*франц.*), здесь — в смысле классового примирения — *Прим. ред.*

нию за независимость и национальное освобождение других стран (Венгрии, Польши), особенно к движению за объединение Италии.

В европейском рабочем движении Прудон был самым откровенным и явным противником борьбы за независимость и объединение Италии. Правда, он начал трубить в эту трубу в 1858—1859 годах, а его статьи, затрагивавшие эту проблему, вышли отдельной книгой только в 1861 году [1], однако его политические заявления после 1848 года уже с достаточной очевидностью предвещали подобную позицию. Если бы в Италии лучше знали об этих взглядах Прудона, то даже те итальянские демократы (Рускони, Маэстри, Де Кристофорис, Гуасталла), которых можно считать прудонистами в узком смысле слова, ибо они восприняли его экономическую утопию, несомненно, проявили бы в отношении Прудона бóльшую самостоятельность суждений и бóльшую осторожность.

Набросанный нами портрет Прудона выдержан еще в очень блеклых тонах. Но таков был Прудон в действительности; характерная черта идеологии мелкого городского производителя состоит именно в переходе от самого пламенного и яростного индивидуалистического протеста к примирению, к пассивному прозябанию в рамках своего ограниченного горизонта. В самом деле, Прудон не обладал одной из главных черт анархизма пролетарского или народнического толка (которая, напротив, нашла яркое выражение у Пизакане), состоящей (сошлемся здесь на Кроче, как на лицо, которое невозможно заподозрить в радикальных симпатиях) в обостренном, непримиримом сознании раскола, разрыва между пролетариатом и буржуазией. «Быть может,— писал Кроче,— анархизму, взятому в целом, надлежит сохранить то чувство раскола между пролетариатом и буржуазией, которое теоретики синдикализма полагают необходимым для общественного прогресса. И может статься, что будущий историк в конце концов признает нечто положительное за анархизмом, подобно тому как мы признаем положительные моменты в еретических движениях средневековья, о которых современные им хронисты не могут рассказывать без ужаса, значительно большего, чем тот, который испытывают люди, пишущие об анархистах» [2]. Прудонизм же сводился на деле к доктрине примирения и «улучшения» капитализма.

[1] См. P. J. Proudhon, La Guerre et la Paix, Bruxelles, 1861.

[2] Рецензия Б. Кроче на книгу Этторе Цокколи (Ettore Zoccoli, L'anarchia, gli agitatori, le idee) в „Critica", 1908, p. 138.

Здесь невольно возникает вопрос: чем же тогда отличался социализм Пизакане от социальных теорий Мадзини, Феррари, Монтанелли и всех других итальянских демократов XIX века, которые сознавали необходимость социальных преобразований?

Социальные идеи Сен-Симона, Фурье, Сисмонди и Романьози, заимствованные итальянскими демократами эпохи Рисорджименто, были скорее идеями более справедливого социального устройства, ассоциативности, чем социализма. Разумеется, эта граница, этот рубеж не являются точной демаркационной линией, и если даже идеи Мадзини и Феррари, несомненно, находятся по эту сторону данного рубежа, им вместе с тем, в сущности говоря, присуща туманная, *генетическая* тенденция к тому, чтобы перейти его. И все же эти идеи, по сути дела, сводятся к какой-либо форме утопического устройства общества или к теории постепенной реформы общества, которая, сохранив «положительные» и устранив «отрицательные» стороны капитализма, обновила бы возрожденную итальянскую нацию и в социальном отношении.

Поэтому итальянские демократы или вообще не касались вопроса о классовой борьбе, или решительно отвергали ее, или же, подобно Феррари, робко признав ее в теории, затем возвращались все к той же ассоциации мелких собственников

Кроме того, итальянские демократы отстаивали необходимость национальной революции в целях достижения одновременно независимости и воссоединения Италии, а также установления республиканского и демократического строя. Однако (за исключением Феррари и Монтанелли) они не допускали и мысли о том, что национальная революция может быть одновременно социальной революцией. «Социальное переустройство произойдет лишь потом»,— писал Мадзини [1], причем это мадзинистское «потом» должно было состоять на первых порах в создании рабочих кооперативов, в расширении кредита, в распространении мелкобуржуазной собственности, основанной на труде. Но возможно ли было осуществить эти планы в эпоху, когда назревало бурное развитие крупной промышленности, которому суждено было ограничить и ликвидировать именно эти формы мелкобуржуазной собственности! Во всяком случае, здесь важно подчеркнуть, что политическая программа итальянской демократии предусматривала *сначала* революцию как необходимую фор-

[1] G. Mazzini, vol. XIII, p. 131.

му борьбы за национальное воссоединение и установление демократической республики и лишь *потом* — необходимость прогрессивной социальной эволюции.

Напротив, Пизакане считал, что национальная революция не может быть подлинно демократической и не может даже иметь шансов на успех, если она не будет *одновременно* социальной революцией, если уже *в ходе самой революционной борьбы* не будут учтены материальные потребности низов Пизакане был не только единственным, кто ясно сознавал эту необходимость, но и единственным, кто решил в соответствии с этим *действовать* с целью разрешения итальянской проблемы на подобной основе Поэтому Пизакане занимает совершенно особое место среди демократов эпохи Рисорджименто.

Ныне тот, кто крепок задним умом, может думать все что угодно об этой теории революции Пизакане, может доказывать, как это делают некоторые, что если бы демократическая революция была доведена до конца и достигла социалистических рубежей, то это испугало и оттолкнуло бы от нее именно тот класс, который призван был совершить революцию,— класс буржуазии, а также ту часть мелкой городской и сельской буржуазии, для которой подобная революционная программа оказалась бы слишком радикальной и неожиданной Можно полагать, как думают некоторые, что все это заставило бы буржуазию отказаться от выполнения своей задачи Еще Кавур и д'Адзелио поведали нам, что в 1848 году, когда в Европе и Италии впервые обнаружились признаки возможной социальной революции, не только либеральная буржуазия повернула назад, но сами демократические элементы были напуганы (хотя и по-другому) этой социалистической перспективой Можно также согласиться с Антонио Лабриола, что в 1848 году, а в еще большей степени — в 1860 году степень зрелости низов, их готовность к борьбе, их социально-экономические условия были иными, чем в 1789 году во Франции, вследствие чего буржуазия в Италии в 1848—1860 годах не могла стать якобинской, ибо следовала естественному инстинкту Впрочем, разве не был этот класс даже во Франции 1793—1794 годов напуган якобинизмом и его последствиями, разве не пришел он к Термидору? Эти и другие соображения могут дать повод к дискуссии и сами стать ее объектом.

Однако все это никоим образом не меняет того факта, что оригинальность теории национальной и социальной революции Пизакане заключается именно в этой его трактовке движения эпохи Рисорджименто как национально-демократической революции, которая с самого начала ставит социалистические задачи и, следовательно, в ходе своего развития превращается в революцию социалистическую Это главная идея Пизакане, и тот факт, что он истолковывал этот социализм как социализм анархистско-коллективистского толка, может побудить нас расценивать его теорию как утопическую, однако это не умаляет ее значения и не дает основания отрицать, что данная теория утвердила впервые отчетливо и бесповоротно (если так можно сказать) новый принцип, который не был полностью забыт в ходе дальнейшего развития итальянской истории Впрочем, не все утопические теории носят одинаковый характер В теории Пизакане, как и в воззрениях народников, содержится ряд идей, которые нельзя считать целиком утопическими, ибо крестьянские массы (с их нищетой, с их требованиями, с их жаждой земли), опираясь на которые Пизакане надеялся сокрушить существующий порядок вещей, были живой действительностью, хотя способ, каким Пизакане намеревался вовлечь их в борьбу,— с помощью внезапного, героического выступления — был утопическим

Во всяком случае, Пизакане был единственным, кто подходил таким образом к разрешению задач Рисорджименто, единственным — подчеркнем это,— кто попытался претворить эту идею в жизнь, ибо Феррари не вышел за рамки теории и к тому же ставил итальянскую революцию в зависимость от французской инициативы Все это выделяет фигуру Пизакане в истории итальянского Рисорджименто

С тем, что демократия должна обратиться к низам и опереться на народ, были согласны все демократы той эпохи, с тем, что она должна стремиться к более или менее широкому проведению в жизнь принципов социальной справедливости и даже социализма, также соглашалась более передовая часть итальянских демократов; но что демократическое движение не сможет восторжествовать и привести к освобождению и национальному объединению Италии, если не будет сопровождаться глубокой социальной революцией,— эту идею отстаивал и пытался провести в жизнь только один Пизакане.

Действительно, воздавая должное теориям тех демократов-южан, которые в период освободительного движения наряду с требованием единства проповедовали необходимость разрешения «социального вопроса» (тот же Риччарди, Музолино, Кальви, Фриша, Ланди, Мило Гуджино), причем неко-

торые из них предвосхитили даже ряд выводов Пизакане, все же приходится признать, что их усилия в идеологической области, несмотря на всю свою важность, никогда не сопровождались попыткой связать их с политической борьбой и не имели общенационального значения.

Драма нашей демократии периода Рисорджименто — подлинная и глубокая драма, волновавшая и мучившая тех демократов, которые, не ограничиваясь провозглашением доктрин, стремились ценой собственной крови претворить *мысль* в *действие,*— состояла в следующем: в то время как демократии в Италии (так же как и в Германии, Франции и России) было присуще стремление к социальным реформам и социализму, национально-патриотическое движение за объединение Италии было чрезвычайно трудным без союза с умеренными, которые не желали даже слышать о социализме, а также о демократии.

Даже самые решительные демократы, даже социалисты — и потому даже Пизакане — ничем не ограничивали себя, когда писали о самых крайних идеях и планах; когда же им приходилось *действовать,* они вынуждены были «проходить под кавдинским ярмом [1], то есть считаться с действительностью. Это обстоятельство доминировало в течение всей подготовки экспедиции в Сапри и препятствовало ей. А разве такое положение вещей не играло доминирующей роли также в 1860 году? Грамши справедливо считал «величайшим достижением» Рисорджименто именно тот факт, что удалось толкнуть на путь прогрессивного, либерального движения (в некоторых случаях принудив их к этому) те силы, чья ретроградная позиция имела вековую традицию. Но именно в результате такого положения вещей демократам нелегко было извлечь из этого «величайшего достижения» (которое в значительной степени было плодом их героической борьбы) желательные для них результаты.

Драма итальянских демократов эпохи Рисорджименто состояла также в том, что присущий им догматизм в теории ограничивал их не только в идеологическом, но и в социальном отношении, он являлся следствием развития демократического движения в особо трудных условиях — без достаточных связей с народом.

---

[1] В Кавдинском ущелье у г. Кавдия (Древний Рим) в 321 году до н. э. во время 2-й Самнитской войны римское войско потерпело поражение от самнитов Римляне вынуждены были сдаться и пройти под «ярмом», что считалось большим позором Отсюда выражение «пройти под кавдинским ярмом», то есть подвергнуться крайнему унижению. — *Прим ред*

ГЛАВА II

# Радикальные идеи социальной реформы в Королевстве обеих Сицилий до 1850 года

## 1. ОБЩЕСТВО КАРБОНАРИЕВ И НЕОКАРБОНАРСКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В данной главе объектом нашего исследования является, во-первых, общество карбонариев и неокарбонарские организации в период 1810—1840 годов, а во-вторых, демократическое движение в период с 1840 по 1850 год, которое, отчасти опираясь еще на идеи и революционный опыт прошлого, уже обрело в это десятилетие современные демократические формы, приобщилось к современным социалистическим теориям и придало более законченный вид той концепции инициативы Юга, руководствуясь которой демократы сделают решающие шаги в деле объединения Италии.

Изучение демократического движения в Королевстве обеих Сицилий — от возникновения общества карбонариев до периода, последовавшего непосредственно за революцией 1848—1849 годов,— представляет большой интерес. Это движение складывалось из деятельности множества различных организаций, из бесчисленных неудавшихся или подавленных революционных выступлений, каждое из которых имеет собственную историю. Однако нити, которые ведут к этим тайным обществам и к попыткам восстаний, какими бы они ни были запутанными, не носили случайный или хаотический характер. Этой деятельности была присуща внутренняя взаимосвязь, определенная руководящая линия, и вот почему попытки (которые настойчиво предпринимали извне, особенно начиная с 1838 года через посредство Никола Фабрици) насадить в Королевстве обеих Сицилий мадзинистские идеи и организацию натолкнулись на столь серьезные трудности.

Однако в настоящий момент мы намерены сосредоточить внимание не столько на этих попытках распространения мадзинистского влияния, сколько на характерных особенностях местного демократического движения, то есть на тех тайных обществах, которые хотя и испытали стимулирующее воздействие зарубежных идей и событий, тем не менее самостоятельно возникли в Неаполитанском королевстве

Каких принципов придерживались эти тайные организации? Мариано д'Айала считал, что в целом они представляли собой возрожденное и реформированное общество карбонариев [1]. Это определение может быть отнесено, в сущности, не только к организациям, существовавшим до 1830 года, которые имел в виду д'Айала, но и к более поздним, например к обществу «Сыны Молодой Италии» Музолино или к самой важной и крупной тайной организации, существовавшей на Юге накануне 1848 года, к которой принадлежал сам д'Айала и которой уделил столько внимания в своих «Очерках» Пизакане. Эта организация, возглавляемая Доменико Ромео, была распространена почти во всей Южной Италии и имела ответвления неокарбонарского типа, вроде «Евангелического общества» во главе с Ангерá в районе Катандзаро, «Христианского общества» в Терра д'Отранто или «Братства», основанного в 1843 году в Чиленто и возобновившего свою деятельность в 1847—1848 годах [2].

---

[1] M. D'Ayala, Vite degli italiani benemeriti della libertà e della patria, 1883, p. XI.

[2] Наши поиски материалов о «Евангелическом обществе» в Государственном архиве Катандзаро (ASC) не принесли никаких результатов Зато нам повезло в Государственном архиве Лечче (ASL, 5923, n 3. Reg Crim), где хранятся документы, относящиеся к «Христианскому обществу» В обвинительном акте говорится, что это общество было создано в мае 1848 года с «анархическими целями» Доменико Ромео в округе Мандурия, помимо Калабрии, оно имело сторонников также в провинции Потенца Это общество было одним из последних и самых экстремистских ответвлений подпольной организации, о возобновлении деятельности которой после ареста Музолино позаботился д'Айала; перейдя затем под руководство Ромео, она распространилась почти во всем королевстве. Тридцать три статьи устава общества свидетельствуют о его неокарбонарской природе В 1848 году образовалась также патриотическая организация в Андрии под названием «Секта карбонариев» См «La Setta dei Carbonari in Andria nel 1848», conclusioni rese dal P G. del Re presso la G C Speciale di Trani, Trani, 1851 О деятельности «Братства» в 1843 и в 1847—1848 годах, когда оно возобновило свою деятельность, см Archivio di Stato di Salerno (ASS), Processi Politici, b n 311 Foglio di lumi relativo alla setta dei comunisti ecc и Giudicato d'Istruzioni del Distretto di Vallo «Братство» также было организацией неокарбонарского типа.

Даже общество «Итальянское единство», возникшее в Неаполитанском королевстве после трагических событий 1848 года, заимствовало, хотя и в обновленной форме, основные политико-организационные принципы общества карбонариев и должно рассматриваться, по существу, как неокарбонарская организация (что правильно отметил в свое время Паладино); именно поэтому патриоты иного идейного склада, как, например, Спавента, не могли безоговорочно примкнуть к нему [1] После распада «Итальянского единства» новая тайная организация, возникшая в 1851 году на его руинах, стала открыто именовать себя «Военно-карбонарским обществом» Политико-организационные принципы «Итальянского единства», разработанные старым карбонарием Филиппо Агрести, были взяты за основу «Военно-карбонарским обществом» Благодаря усилиям Миньонья [2] это направление конспиративной деятельности просуществовало в виде самостоятельной организации вплоть до 1855 года.

Реки чернил были пролиты теми, кто писал о южном либерализме, о принципах и доктринах, получивших развитие на Юге. Однако тщательное изучение форм демократического движения в Королевстве обеих Сицилий с момента возникновения национального движения и вплоть до 1860 года, а также его отношений с мадзинизмом, с одной стороны, и умеренными — с другой, также представляет значительный интерес.

В самом деле, почему карбонарские и неокарбонарские идеи (и соответствующие им политико-организационные формы) обнаружили такую устойчивость в Королевстве обеих Сицилий? И в чем сущность этой идеологии? Даже Пизакане, когда он попытался, находясь в Генуе, организовать в Неаполитанском королевстве подпольную сеть, независимую от Мадзини, должен был вступить в контакт с Миньонья, а еще раньше—с тем, что осталось от «Общества унитариев» («Итальянского единства») и «Военно-карбонарского общества».

Мы не будем касаться здесь мучительной проблемы происхождения общества карбонариев — ее невозможно серьезно рассмотреть в кратком экскурсе Однако, не затрагивая хронологического и географического аспекта этой проблемы, мы должны коснуться ее постольку, поскольку нас интересует

---

[1] См. G. Paladino, Il processo per la Setta dell'Unità Italiana e la reazione borbonica dopo il' 48, Firenze, 1928

[2] Пупино Карбонелли в своей книге «Nicola Mignogna nella storia dell'Unità d'Italia» (Napoli, 1889, p. 17 sgg) по обыкновению путает «Молодую Италию» с «Сынами Молодой Италии», но из самого контекста его книги следует, что Миньонья примыкал к организации Музолино

вопрос о развитии демократического движения в Неаполитанском королевстве, породившего ряд крайних направлений.

Итак, если поставить эти проблемы вне обычного круга вопросов (когда и где возникла в Королевстве обеих Сицилий *данная* организация, с *данным* названием и с *данными* катехизисами и уставами) и обратиться к общественным и историческим условиям, породившим это движение, тогда, несомненно, приходишь к выводу, что оно восходит своими истоками к давнему времени — к драматическим событиям 1796—1799 годов и к тем урокам, которые извлекли из них неаполитанские демократы.

В своей книге «Идея итальянского единства в наполеоновскую эпоху» («L'idea dell'unità italiana nell'età napoleonica») Арриго Сольми пишет: «Здесь не место обсуждать вопрос о происхождении общества карбонариев, который до сих пор не получил беспристрастного освещения на основе широкого знакомства с источниками. Но все же я хочу здесь отметить для начала, что Ботта не единственный, кто говорит о «Черной лиге», ибо об этом обществе пространно повествует Пизакане, который хорошо знал эту эпоху. В самом деле, в своей краткой и своеобразной «Истории Италии», которая является одним из наиболее ярких документов нашего Рисорджименто, он утверждает, что «Черная лига» возникла в Италии несколько месяцев спустя после прихода французов, а еще через два года было создано «Общество лучей». Как ныне известно из документов, «Общество лучей» образовалось в конце 1798 года, следовательно, «Черная лига» должна была оформиться в конце 1796 года, именно в то время, к которому относит ее основание Ботта... Поэтому следует признать, что подобная организация, хотя и не столь обширная и завершенная, какой стало впоследствии общество карбонариев, действительно существовала, оформившись как «Черная лига» либо общество карбонариев; о ней со страхом говорили чужеземцы как о тайной организации, которая добивается создания единой Италии, свободной от всякого иностранного гнета. Когда же рассеялись беспочвенные иллюзии о великодушии Франции как поборницы свободы народов, эта «Черная лига», породившая затем «Общество лучей», выступила открыто. Практическая деятельность лиги была прервана только после того, как восторжествовала австро-русская реакция, которая коренным образом изменила политическую и духовную атмосферу в Италии...» [1]

[1] A. Solmi, L'idea dell'unità italiana nell'età napoleonica, Modena, 1934, p. 49—50. Точку зрения Сольми поддержал Анджело Оттолини в своей работе «La Carboneria dalle origini ai primi tentativi insurrezionali» (Modena, 1936). Оттолини полагает, что «одновременно с возникновением «Общества лучей» и утверждением итальянских национальных устремлений рождается общество карбонариев, которое разработало «статут Аузонии» (patto d'Ausonia) (p. 27). Оттолини также считает «вероятным», что «Черная лига» была тем же самым обществом карбонариев, ибо «именно под этим названием она будет упомянута позднее Пьетро Дольче в его донесениях высшей полиции» (там же). Р. Сорига также считает, что время зарождения карбонаризма относится к значительно более раннему времени. См. R. Soriga, Le società segrete, l'emigrazione politica e i primi moti per l'indipendenza, Modena, 1943, p. 77. «Первые ростки карбонаризма как политического движения относятся к 1794 году». См. «Denunziation einer neuen Monarchien stürmenden Freimaurerei in Frankreich zur Warnung», Augsbourg, 1794; A. D. E. Lerouge, Histoire des sociétés secrètes de l'Armée, Paris, 1815. В «Истории франкмасонства» («Histoire de la Franc-Maçonnerie») Б. Клавеля мы также встречаем указание на возникновение «Черной лиги», которая, по мнению Клавеля, ведет свое происхождение от ордена иллюминатов; затем она влилась в «Тугендферейн» (или «Тугендбунд») или, во всяком случае, явилась предшественницей этой тайной немецкой организации, аналогичной итальянскому обществу карбонариев. В своей книге (в нашем распоряжении было только третье ее издание, вышедшее в 1844 году) Клавель писал: «В скором времени после учреждения ордена иллюминатов в Германии возникло другое общество — *орден черных братьев,* придерживавшийся тех же принципов и принявший таинственный ритуал масонской степени кадош». Еще раньше он писал: «Из ордена иллюминатов вышло в 1790 году другое общество, принявшее наименование «Tugendverein» или «Tugendbund» — союз добродетели, который, подобно породившему его обществу, ставил своей задачей руководить кабинетами суверенов. *В 1807 году оно изменило свою цель* [курсив наш. — *Д. Б.*] и стало прилагать максимум усилий к освобождению Германии от ига завоевателей» (F. T. B. Clavel, Histoire Pittoresque de la Franc Maçonnerie et des sociétés secrètes anciennes et modernes, Paris, 1844, p. 371).

Прямую связь между «Обществом лучей», «Черной лигой» и обществом карбонариев проводит также пробурбонски настроенный историк Джачинто Де Сиво, для которого эти события были недалеким прошлым и который в общем хорошо осведомлен о фактической стороне дела, хотя его работа грешит реакционной тенденцией. «В самом начале века появилось «Общество унитариев» и другое — под названием «Общество лучей»; оба они влились в общество карбонариев, которое, *не имея возможности развиваться в условиях наполеоновского господства, носило еще зачаточный характер, получив, по-видимому, в 1808 году некоторое распространение в Калабрии...*» (G. De Sivo, Storia delle Due Sicilie dal 1847 al 1861, Roma, 1863, p. 37) [курсив наш. — *Д. Б.*]. Напротив, Нино Кортезе, расходясь с точкой зрения Валенте («G. Murat e l'Italia Meridionale», Torino, 1941, p. 87 sgg.), утверждает в статье «Мюрат и неаполитанское общество карбонариев в первой половине 1814 года» (см. «Studi storici in onore di Gioachino Volpe», vol. I, Firenze, 1958), что общество карбонариев возникло после 1807 года.

Конечно, сводить все дело если не к тождеству «Черной лиги» и общества карбонариев, то, во всяком случае, к тому, что карбонарская организация была простым ответвлени-

ем «Черной лиги», ограничиваться лишь признанием аналогичного характера этих обществ было бы большим упрощением. Несомненно, общество карбонариев как таковое — именно с таким названием, именно с такими катехизисами и уставами — возникло несколько позднее. Однако этот вопрос, пожалуй, менее важен, чем это кажется на первый взгляд. Конечно, не случайно люди, жившие непосредственно в ту эпоху или в близкое к ней время и хорошо осведомленные о делах карбонарского движения, указывали весьма различные даты его возникновения: Коллетта связывал, как известно, зарождение карбонарской организации с возвращением на родину патриотов, эмигрировавших в 1799 году (это произошло в 1806 году); Бенедетто Музолино (источник, несомненно, весьма информированный) относит появление карбонариев в Калабрии к 1808 году [1], а Филиппо Буонарроти называет в качестве приблизительной даты 1812 год [2].

Опыт 1799 года не прошел бесследно для южных демократов; они поняли, что нечего и думать о глубокой реформе существующего строя, пока не ликвидирован разрыв между интеллектуальной элитой города и широкими народными и плебейскими массами. Поддержка, которую оказали темные и фанатично настроенные низы санфедистским бандам кардинала Руффо, оставила глубокий и кровавый след в истории Неаполитанского королевства, ясно показав наиболее просвещенным умам, что возобновление прогрессивного движения немыслимо, пока не будет заполнена пропасть между интеллигенцией и народом. Даже такой умеренно настроенный человек, как Куоко, в своем знаменитом «Очерке Неаполитанской революции» настойчиво возвращается к констатации этого порока, именно в нем видя один из главных мотивов необходимости пересмотра прошлого. Нельзя сказать, чтобы во время Партенопейской республики не делалось попыток искоренить этот порок. Часть неаполитанского духовенства стремилась подкрепить демократию авторитетом священного писания: предпринимались переводы Евангелия на неаполитанский диалект, с тем чтобы внушить лаццарони, что Христос был апостолом свободы. Это были первые шаги той практики, которая получит в дальнейшем широкое и всестороннее развитие именно благодаря обществу карбонариев. Однако сделанного оказалось недостаточно [1].

Как бы то ни было, урок 1799 года не был полностью предан забвению: организаторы общества карбонариев, без всякого сомнения, использовали положения «Катехизиса добрых кузенов-угольщиков» («Chatechisme des bons cousins charbonniers»), который принадлежал обществу, распространенному в французской провинции Франш-Конте, переведя кое-как (то переиначивая итальянские выражения на французский лад, то прибегая к неаполитанскому диалекту) описание сложного ритуала этого общества. Но этот факт не так уж важен; главное состоит в том, что они стремились наполнить эти формы новым социальным и политическим содержанием, которое подсказал им печальный опыт недавнего прошлого и которое вытекало из существа социально-экономических отношений Неаполитанского королевства; а все это имело мало общего с положением во Франш-Конте.

Вот почему не имеет смысла говорить о карбонарском движении вообще. Например, карбонарская организация во Франции носила свой особый характер (и на самой заре своего возникновения, и после своего возрождения — в связи с той популярностью, которую она приобрела благодаря движению карбонариев в Италии), и совершенно особыми чертами было наделено общество карбонариев в Пьемонте, которое зависело от другого движущего центра и придерживалось других принципов, хотя, разумеется, делались попытки перенести опыт карбонарского движения из Неаполя на Север и наоборот [2].

---

[1] См. B. Musolino, La rivoluzione del 1848 nelle Calabrie, Napoli, 1903, p. 13.

[2] См. A. Saitta, op. cit., vol. II, p. 95, в „Mondo: quaderno del grado", Museo del Risorgimento di Genova (MRG), n. 3306.

[1] В ряде якобинских газет, выходивших в Милане в начале 1797 года, также указывалось на необходимость подобных мер: см., например, «Проспект новой периодической газеты под названием «Газета патриотов Италии»» («Prospetto di un nuovo foglio periodico intitolato «Giornale de'Patrioti d'Italia»») и номер 13 этой газеты, в котором, между прочим, говорилось: «В Милане стала выходить новая газета. Мы дадим о ней более подробный отчет, ибо считаем, что она заслуживает особого внимания. «Республикано эванджелико» («Республиканец-евангелист») следует широко распространять среди народа, и особенно среди деревенского населения. Легкий язык газеты делает ее доступной для этой важной части народа, которая в силу привычки и чувства привержена к религии наших предков...»

[2] Archivio di Stato di Torino (AST), 1820, Carte del R. Consolato Generale di S. M. Sarda in Roma, 14 agosto 1820, n. 15238—C. Comunicazione segreta (Бумаги Генерального Консула Е. В. короля Сардинии в Риме, 14 августа 1820 года, № 15238—С. Секретное донесение). В документе сообщается об отъезде из Неаполя в Геную маркиза Франческо Грилли «с поручением от «Общества» подготовить такую же революцию во владениях Е. В. нашего Августейшего Монарха, а затем направиться

Но что представляло собой карбонарское движение в Королевстве обеих Сицилий с точки зрения его принципов, его социального состава, его организационных форм и программных целей?

Не было ли тех ростков, что впоследствии развились в программу общества карбонариев, уже в катехизисах неаполитанских якобинцев, с помощью которых они пытались просветить народ? Возьмем, например, «Республиканский катехизис для наставления народа и сокрушения тиранов» («Catechismo Repubblicano per l'istruzione del Popolo e la rovina de'Tiranni»)[1]. Конечно, в этом катехизисе отсутствовала идея конституции. Однако конституционные требования, как известно, не были характерны для карбонарского движения на начальных ступенях его развития. Только после 1812 года, после событий в Испании, стала популярна испанская конституция. Однако если оставить в стороне конституционные требования, то мы находим в этом катехизисе основные идеи, которыми с самого начала вдохновлялось общество карбонариев. Прежде всего здесь фигурирует мысль о том, что нация есть народ и что народ един во всех странах на земле.

---

на свою родину, в Милан, для проведения аналогичной операции. Это то же самое лицо, к услугам которого прибегли испанцы для создания своих тайных кортесов и которое направляло революцию в Неаполе».

[1] Этот катехизис был впервые опубликован в Венеции «в первый год итальянской свободы, 1797-й», затем был перепечатан (без указания времени и места издания) в Неаполитанском королевстве в 1799 году (BSM, Roma). Вероятно, появление катехизиса связано с деятельностью масонско-иллюминатских кругов. Тогда становится понятным место его первого издания: в те годы в Северной Италии деятельность иллюминатов распространилась прежде всего на Трентино, Ломбардию и Венето Поэтому окончательное установление происхождения катехизиса помогло бы также объяснить родственные связи своеобразных идей, развиваемых в катехизисе 1797—1799 годов, с теми ключевыми идеями, на основе которых выросло затем карбонарское движение По понятным причинам мы не можем здесь разбирать весьма спорный вопрос о социальном содержании и возможных политических перспективах развития якобинского движения в Италии или рассматривать различные мнения по поводу самого использования термина «якобинизм». По этим вопросам высказаны различные точки зрения. См. в этой связи R. De Felice, Studi recenti di storia del triennio rivoluzionario in Italia (1796—1799), в „Società", 1955, № 3, p. 505, и „Giacobini italiani", в „Società", 1956, № 5, p. 883—896; „Giacobini italiani", a cura di D. Cantimori, Bari, 1956, vol. I, p. 412; A. Saitta, Struttura sociale e realtà politica nel progetto costituzionale dei giacobini piemontesi, в „Società", 1949, № 3, p. 436—455, и сам „Epilogo provvisorio" в „Movimento Operaio", 1955, № 5; и уравновешенное предисловие V. E. Giuntella в его „Bibliografia della Repubblica Romana del 1798—1799", Roma, 1957.

«Вопрос· Что такое народ? Ответ: Это союз всех граждан, образующих общество. Вопрос: Сколько существует народов? Ответ: Народ един, он обнимает всех людей на земле, но из-за огромной протяженности земного пространства он подразделяется на различные группы, которые отделены друг от друга либо большими горами, либо морями, либо реками и которые называются нациями. Вопрос: Имеют ли эти нации одно и то же Правление? Ответ: Им следует иметь его, ибо, обладая одинаковыми потребностями и одинаковыми правами, эти нации должны управляться одинаковым образом. Вопрос: Почему же существуют различные Правления? Ответ: Потому что правители вместо заботы о нуждах народа пекутся о собственных интересах, всячески угнетают народы и стремятся представить различные формы угнетения как различные формы правления».

Далее мы встречаем идею, что *народ-нация должен управлять сам собой и что это народное самоуправление и есть демократическое правление.* «Когда народ управляет сам собой, он не допустит, чтобы те, кто наживается на его муках, произвольно облагали пошлинами хлеб, он не позволит угнетателям помыкать собой, как вьючным животным. Словом, когда народ управляет сам собой, он не может не быть счастливым. Вопрос: Как называется правление, при котором народ зависит от самого себя? Ответ: Оно называется Демократическим правлением. Вопрос: Древнее ли это правление? Ответ: Первые сыны Адама жили единой семьей. Следовательно, у них было демократическое правление, и Всевышний благословил их. Затем, когда честолюбцы подорвали это братство и разрушили демократическое правление, несправедливость воцарилась на земле и Всевышний ниспослал на нее потоп. Сыновья Ноя также жили одной семьей; честолюбие вновь разрушило демократическое правление, и войны, побоища и смерть явились результатом этого нового честолюбия».

Согласно третьей, главной идее карбонарского толка, которая проводится в катехизисе, *демократическое правление восстановит изначальный закон равенства, естественный и божественный закон, попранный злобой и честолюбием людей.* Поэтому в новом обществе *единственным критерием отличия будет добродетель и труд.*

«Вопрос: Итак, все будут довольны демократическим правлением? Ответ: Всем, кто жаждет доброго порядка, спокойствия и счастья народа, должно нравиться такое правление. Тот же, кто жаждет господства над другими, кто стремится обогатиться за счет другого, конечно, не будет доволен де-

мократическим правлением Вопрос: Нравится ли дворянам демократическое правление? Ответ: Все те люди, которые хотят главенствовать над другими в силу своего рождения или богатства, не являются друзьями республиканского равенства. Но те дворяне, которые сожгли акты, подтверждающие их привилегии (то есть отреклись от своих узурпаций в отношении народа), которые заинтересованы в общественном благе и не желают ничем отличаться от остальных граждан,— такие дворяне любят народное правление и заслуживают тем большего уважения, чем большую жертву они принесли ради общего блага. Вопрос: Значит, дворяне не являются уже больше дворянами, благородными? Ответ: При народном правлении благородными считаются лишь те, кто отличается своими патриотическими добродетелями, то есть своим служением народу. Значит, истинно благородные — это Земледельцы, Ремесленники, Защитники Отечества, а не бездельники и тираны, которые являются их врагами Вопрос: А могут ли священники любить это правление? Ответ: Все священники, следующие духу Евангелия, должны любить его. В самом деле, религия тем более чиста, чем ближе она к своему источнику. У первых учеников Христа была полная общность имущества — значит, демократическое правление самое чистое. Поэтому оно может не нравиться только тем священникам, которые жаждут богатых бенефициев, не заботясь о спасении душ, тем, которые хотят окружить себя слугами и владычествовать над другими, уподобляясь тиранам и попирая дух Евангелия, кое учит нас, что Христос сказал своим ученикам: «Кто возвышает себя, тот унижен будет».

В-четвертых, катехизис (не имеющий ничего общего с аристократическим деизмом масонства или с якобинской рационалистической религией Высшего существа) *превращает Христа в символ социального освобождения народа на основе равенства* (по тому же пути пойдет впоследствии и общество карбонариев), открыто обращаясь к низшему духовенству и народным массам. Катехизис нападает также на принцип повиновения, присущий церковной и теологической дисциплине и являющийся основой авторитета установленной государственной власти.

«Вопрос: Но христианская религия предписывает повиноваться властям, как бы разнузданно они ни вели себя? Ответ: Когда религия говорит о власти, она имеет в виду законную власть, избранную народом, а не узурпированную тиранами, которые поэтому должны быть осуждены и наказаны законом как преступники, совершившие самые тяжкие преступления против народа. Вопрос: Почему демократы стали называть себя гражданами? Ответ: Звание гражданина — единственное звание, подобающее достоинству свободного человека, ибо оно свидетельствует о том, что этот человек участвует в свободном правлении и является одним из носителей суверенитета. Титул господина возможен лишь в устах раба, а претендовать на него может лишь тиран».

Наконец, в заключение катехизис утверждает, что *демократическое правление есть правление народа, осуществляемое посредством добродетельных людей,* — идея, которая станет ключевой идеей карбонариев. Добродетель должна стать опорой демократии. И ритуал *выжигания угля* (карбонизации, carbonizzazione) станет символизировать очистительное возрождение общества, которое, сжигая (карбонизируя) коросту самовластия, честолюбия, скупости и сребролюбия, *стремится сделать людей добродетельными, свободными и равными.*

«Вопрос: Итак, при народном правлении не будет никаких различий? Ответ: При этом правлении не спрашивают о человеке, благородный ли он, буржуа или плебей, а только — добродетелен ли он... Вопрос: Значит, республиканцы должны быть добродетельными? Ответ: Добродетель — основа Демократии. Королям и тиранам выгодны пороки, ибо это позволяет им держать людей в невежестве и сеять среди них непрерывные раздоры: ведь тогда можно спокойно угнетать и тиранить их. Но при народном правлении все люди должны быть добродетельными и объединиться для отпора общим врагам. Вопрос: Будут ли все виновные равны перед законом независимо от рождения или положения? Ответ: Мы уже сказали, что не будет иного отличия, кроме добродетели. Поэтому все будут равны перед судом. Богачу не удастся больше безнаказанно оскорблять бедняка, и не будет больше деспотов, которым будет дозволено не платить тем, кто занят изнурительным трудом, и поносить их. Вопрос: Все ли граждане будут иметь равные права при занятии должностей? Ответ: Все. Должности не будут предоставляться больше дворянам и толстосумам. Народ выбирает своих представителей и назначает, конечно, тех, кто заслуживает его доверия как с точки зрения происхождения, так и с точки зрения добродетели. Вопрос: Но имущества не будут общими при демократическом правлении? Ответ: Равенство имуществ противоречило бы подлинному равенству, ибо в таком случае деятельному и предприимчивому человеку пришлось бы делить плоды своих усилий с бездельником и расточителем. Поэтому при системе равенства должно уважать собственность каж-

дого индивидуума, но не до́лжно допускать, чтобы богач угнетал бедняка».

Могут сказать, что в социально-экономическом плане выводы катехизиса не носят эгалитарного характера в отличие от радикальных концепций Вейсгаупта. Однако, не говоря уже о том, что первые степени системы Вейсгаупта также открыто не провозглашали эгалитаризма, а тем более это невозможно было сделать в легально опубликованном катехизисе, рассчитанном на самые широкие круги, надо учесть, что в 1797 году, то есть спустя столько времени после своего основания, общество дало различные ответвления, отличавшиеся разнообразием форм и содержания, хотя и сохранило верность принципам, к которым оно восходило своими корнями.

Что касается споров о происхождении общества карбонариев, то, на наш взгляд, самого пристального внимания заслуживает гипотеза, выдвинутая недавно Франковичем в одной из самых интересных и содержательных работ, посвященных тайным обществам эпохи Рисорджименто. В основе этой работы [1] лежит ставший ныне знаменитым карбонарский катехизис, обнаруженный австрийской полицией среди бумаг Оробони. Как известно, впервые его опубликовал Сорига [2], усмотревший в нем следы влияния идей Буонарроти и потому решивший, что этот катехизис происходит из Северной Италии; к этому выводу впоследствии присоединились Кантимори и Саитта. «Но эта гипотеза, — пишет Франкович, — кажется, не была подкреплена ни одним доказательством... Нам известно, что вента во Фратта Полезине была связана с карбонарской иерархией в Романье, которой она подчинялась; романьольская же организация карбонариев в свою очередь вела свое происхождение от неаполитанской Высшей венты» [3]. В этой связи Франкович справедливо отмечает, что сведениями об этом катехизисе австрийскую полицию снабдила папская полиция, почерпнувшая их в документах, найденных в Веллетри, а кроме того, сам катехизис оказался в «коллекции Вальтанколи», составленной этим полицейским осведомителем в ноябре 1818 года после его

[1] См. C. Francovich, Gli illuminati di Weishaupt e l'idea ugualitaria in alcune società segrete del Risorgimento, в „Movimento operaio", luglio—agosto, 1952.

[2] См. R. Soriga, Le società segrete, l'emigrazione politica e i primi moti per l'indipendenza, p. 97 sgg.

[3] C. Francovich, op. cit., p. 581.

поездки с разведывательными целями в Южную Италию как раз в первые месяцы того же года [1].

«Все это, — пишет в заключение Франкович, — заставляет думать, что данный катехизис имеет южное происхождение: на наш взгляд, в нем нашел отражение тот комплекс естественно-правовых идей (присущих также Буонарроти), который от иллюминатов во главе с Вейсгауптом перешел к шотландским иллюминатским ложам, а от них — к «Обществу филадельфов», от которого его унаследовали в равной мере общество карбонариев и «Общество адельфов» [2].

Однако, усвоив эти идеи, карбонарии и адельфы сделали из них совершенно различные выводы, которые настолько глубоко разделяют эти две организации, что их можно уподобить двум водным потокам, которые, беря начало из одного источника, устремляются затем по разным руслам. В свое время мы также высказали мнение, что иллюминатство Вейсгаупта оказало существенное влияние на тайные общества до и после Французской революции. Мы уже писали, что об этом влиянии отчетливо говорят не только документы и воспоминания, относящиеся к деятельности этих обществ, но и донесения дипломатов, аккредитованных при правительствах великих держав, причем они приписывают баварским иллюминатам, по-видимому, даже чрезмерное влияние на радикальное крыло тайных обществ на протяжении длительного отрезка времени — от двух последних десятилетий XVIII века до 1830 года [3].

Франкович в упоминавшейся нами статье как будто бы разделяет выводы Дольче и Вита о том, что неаполитанские ложи «находились в руках *иллюминатов,* которым удалось чрезвычайно быстро преобразовать их в якобинские *клубы*... На наш взгляд,— пишет далее Франкович,— именно эти ложи создали в дальнейшем тайные общества, которые в наполеоновский период и в период Реставрации станут глашатаями эгалитарных идей,— «Общество филадельфов», «Тугендбунд», «Общество адельфов» и общество карбонариев» [4]. Вероятно, это обоснованный вывод, хотя и слишком категоричный. Что же касается неаполитанских лож, то, насколько

[1] См. C. Francovich, op. cit. Сведения почерпнуты из Государственного архива во Флоренции (ASF, Archivio segreto del Buon Governo, anno 1816—1818, filza 15)

[2] C. Francovich, op. cit.

[3] См. Дж. Берти, Россия и итальянские государства, М., ИЛ, 1959.

[4] C. Francovich, op. cit., p. 576.

известно, не все они были «в руках иллюминатов». Однако несомненно, что до Французской революции иллюминаты вызвали тайный раскол в неаполитанском масонстве: либо они создали наряду с официальным масонством особый ритуал, который приобрел важное значение, поскольку он получил распространение среди высших степеней; либо, что кажется более вероятным, замаскировавшись в разрешенных и пользовавшихся известным покровительством ложах, повели дело так, что им удалось захватить в свои руки руководство этими ложами и шаг за шагом изменить их характер. Во всяком случае, иллюминаты немало содействовали тому, что наиболее передовая часть неаполитанской интеллигенции заняла крайние позиции.

Это не значит, что есть основания поставить знак равенства между иллюминатами и якобинцами. Ле Форестье утверждает, например, что Мирабо во время пребывания в Берлине установил связь с прусскими иллюминатами и привез с собой во Францию их доктрину [1]. Эти идеи проникли даже в жирондистский кружок Кондорсе. Что же касается Италии, то мы уже имели случай отметить влияние иллюмината Пилати на Романьози, который не был, конечно, якобинцем. Влияние этих идей испытала на себе и такая выдающаяся личность, как Доломье, долго обсуждавший их в Неаполе с Мюнтером. Доломье длительное время находился в Южной Италии и оказался замешанным при драматических обстоятельствах в политические события на полуострове [2]. Доломье

[1] См. L. Le Forestier, Les Illuminés de Bavière et la Franc-Maçonnerie allemande, Paris, 1915, p. 662. Об иллюминатах Вейсгаупта, с которыми Мирабо познакомился во время своей миссии в Пруссию (Николаи и др.), он говорит в последнем томе своей «Monarchie Prussienne», vol. IV, Paris, 1788.

[2] Об этом пишет Вит фон Дорринг, автор анонимных «Memorie sulle Società segrete dell'Italia meridionale e specialmente sui Carbonari» (trad. ital., Roma — Milano, 1904, p. 20). «Франкмасоны в Италии проникли во все классы общества. Среди примкнувших к иллюминатам Вейсгаупта насчитывалось несколько рыцарей мальтийского ордена во главе со знаменитым Доломье. Но те, кто вновь организовал современное общество карбонариев, отдали предпочтение этой организации, как наиболее способной приобрести большое число приверженцев среди средних классов и низших слоев народа...»

Как известно, «Memorie» представляют собой буквальный перевод брошюры «Denkwürdigkeiten der geheimen Geselleschaften in Unteritalien, insbesondere der Carbonari» (Weimar, 1822), принадлежащей перу самого Вита фон Дорринга. Не вызывает никакого сомнения факт проникновения идей Вейсгаупта в ложу «Филатети», к которой принадлежал Мирабо, в «Ложу объединенных друзей» и особенно в знаменитую «Ложу девяти муз», в которой главенствовали Кондорсе и Ларошфуко и к которой поддерживал также непосредственную связь с кружком Кондорсе и Ларошфуко. Следовательно, не все иллюминаты стали якобинцами, с другой стороны, следует предположить, что многим наиболее видным якобинцам даже не были известны имя и факт существования Вейсгаупта и баварских иллюминатов.

Нам представляются справедливыми соображения, высказанные Саитта, об идейной связи между концепциями Вейсгаупта и Буонарроти; однако Саитта мог лишь бегло коснуться этого вопроса. «Нет необходимости доказывать,— пишет он,— что это, пожалуй, самая интересная и самая важная из проблем, встающих при исследовании мира тайных обществ в Европе в период от Французской революции 1789 года до революции 1830 года. Речь идет не о том, чтобы вернуться к известному спорному тезису Баррюеля; скорее, речь идет о том, чтобы выяснить все факторы, которые могли оказать воздействие на эволюцию Буонарроти,— от участия в самом настоящем политическом заговоре, каким был заговор Бабефа, до деятельности иного характера — непрерывной и последовательной деятельности тайных обществ, которая временами... превращается в политическую цель в силу четкого различия, которое Буонарроти проводил между гражданским обществом, на которое надо воздействовать, и тайным обществом, свободным от разложения и невежества». Однако Саитта полагает, что эту связь между Вейсгауптом и Буонарроти «следует усматривать лишь в наличии общей туманной концепции, сводившейся к замене метода насильственного переворота (которому отдавали предпочтение филадельфы) и подготовки народных выступлений, свойственного периоду бабувизма, методом медленного подтачивания, подрыва существующего строя посредством разветвленной, кро-

принадлежал также Доломье. Однако эти идеи, первоначально, возможно, не проявившиеся во всей своей полноте, подверглись в этой среде разработке, которая изменила их характер. Во всяком случае, самый факт влияния идей иллюминатов неоспорим, и если на этот счет возникают сомнения, то объясняется это тем, что наиболее распространенные сведения по этому вопросу принадлежат такому известному своей тенденциозностью автору, как Баррюель.

В конечном счете концепция Баррюеля породила недоверие даже к фактам, опираясь на которые он делал свои пресловутые выводы. В действительности известное влияние баварских иллюминатов сказалось во Франции не только среди самых левых кругов. Благодаря Мирабо и миссии баварских иллюминатов во Франции их влияние распространилось прежде всего именно среди жирондистов. Ответвление — «Социальный кружок» Бонвиля — могло возникнуть позже или же на первых порах могло казаться малозначительным.

потливой деятельности тайного общества, или «ордена» (если придерживаться терминологии, используемой в данном случае и Буонарроти, и Вейсгауптом). Сама структура этого ордена призвана олицетворять ту реформу нравов, то очищение человеческого общества, которые должны лечь в основу политической и социальной программы» [1].

Итак, по поводу идейной связи между Вейсгауптом и Буонарроти могут быть выдвинуты две гипотезы. Согласно первой из них, к которой, по-видимому, склоняется Саитта, Буонарроти воспринял некоторые основополагающие идеи тайного ордена Вейсгаупта только *после* провала бабувистского заговора. Вторая же гипотеза сводится к тому, что Буонарроти усвоил идею эгалитаризма еще *до* Французской революции, познакомившись с ней *впервые* благодаря иллюминатским идеям Вейсгаупта, получившим распространение в шотландских иллюминатских ложах. Саитта приводит знаменательное заявление Буонарроти, торжественно сделанное им перед Вандомским трибуналом Из этого заявления следует, что революция 1789 года не явилась неожиданностью для Буонарроти. «Я давно ожидал сигнала, и его подали»,— сказал он судьям [2]

Во всяком случае, в политических воззрениях Буонарроти, отводившего столь важную роль деятельности подпольных организаций, своеобразно сочетались иллюминатская идеология Вейсгаупта (с его приверженностью к тайным обществам) и руссоистско-робеспьеровская и якобинская идеология Французской революции. Однако если влияние Руссо и Робеспьера на Буонарроти никогда не ослабевало и оставалось неизменно действенным, то влияние Вейсгаупта, по-видимому, в значительной мере утратило свою силу. Возможно даже (ведь время берет свое), речь идет здесь о первоначальном воздействии, которое было ослаблено, но не вытеснено окончательно значительно более широким и определяющим политическим влиянием бурных событий Французской революции. Впоследствии же в новый исторический период, когда насильственные перевороты казались уже невозможными и когда представлялось необходимым заняться медленным, методическим подтачиванием существующего строя с помощью кропотливых усилий тайных обществ,— в этот период влияние Вейсгаупта, возможно, возродилось в новой форме, уже на робеспьеровско-бабувистской основе

Общепризнано также, что ставка на подпольную деятельность как Буонарроти, так и общества карбонариев в Королевстве обеих Сицилий обусловливалась главным принципом иллюминатской идеологии Вейсгаупта, а именно признанием необходимости (в целях реформы, преобразования общества) основать «орден», тайное общество, «*сама структура*» которого (говоря словами Саитта) «олицетворяет ту реформу нравов, то очищение человеческого общества, которые должны лечь в основу политической и социальной программы» [1]. Именно поэтому главным ритуалом общества карбонариев было *выжигание угля (carbonizzazione)*. На первых двух ступенях общества «*язычник*» с душой, изуродованной деспотизмом, и в то же время гонимый им, постепенно обретает сознание того, кем он должен быть — свободным человеком Чтобы преуспеть в этом, он собирает *в лесу* бесформенный *материал* и *обращает его в уголь* Таким образом, процесс *выжигания угля* (carbonizzazione) не только олицетворяет процесс собственного перевоспитания и перевоспитания других в лоне тайного общества, в результате которого «язычник» превращается в карбонария (carbonaro), то есть в неподкупного, чистого человека, подобного горящему углю, но и символически выражает вместе с тем руссоистскую в своей основе концепцию Вейсгаупта, согласно которой нужно выжечь коросту фальшивой и испорченной цивилизации, дабы вернуться к законам природы, к свободе и равенству [2].

Однако Вейсгаупт сделал важный шаг вперед по сравнению с Руссо. Последний считал, что возврат к первозданному счастью и чистоте уже невозможен, поэтому речь может идти лишь об утверждении такого общественного строя, который только приближается к этим идеальным условиям. Напротив, по мнению Вейсгаупта, такой возврат не только возможен, но и разумен, ибо это будет переход к более высокой ступени человечества, обогащенного опытом прошлого и осознавшего свою судьбу. Существенное значение имеет тот факт, что в символике, присущей иллюминатскому «ордену» Вейсгаупта, уже заключалась идея, получившая затем столь широкое развитие в обществе карбонариев и позволившая ему завоевать себе приверженцев среди бедноты и сельских масс, —

---

[1] A. Saitta, Filippo Bounarroti, Roma, 1950, vol. I, p. 115—116.

[2] A. Saitta, op. cit, p I. Саитта цитирует заявление Буонарроти по „Debats du proces instruit par la Haute-Cour de Justice, séante à Vendôme, contre Drouet, Baboeuf et autres; recueillis par des sténographes," vol. III, Paris, 1797, p. 212.

[1] Курсив наш — *Д. Б.*

[2] См. O. Dito, Massoneria, Carboneria ed altre Società nella storia del Risorgimento italiano, Torino, 1905, p. 160—181 sgg.

идея, согласно которой Иисус Христос был основателем естественной религии, а посему возврат к принципам природы означает также возврат к принципам равенства и братства, которые проповедовали ранние христиане. Независимо от того, пытались или нет Вейсгаупт и его последователи использовать эту идею в практических целях, она имела огромное значение и обеспечила движению, которое само по себе носило крайне радикальный характер, сравнительно широкую социальную базу в его борьбе против основ существующего общественного устройства, против самого права собственности.

В пользу гипотезы о первоначальном влиянии идей Вейсгаупта на Буонарроти говорит ряд соображений, которые, конечно, имели бы больший вес, если бы удалось доказать наличие иллюминатских лож во Флоренции до 1786 года. Однако сам Франкович, отмечающий этот факт, предупреждает, что он почерпнул соответствующие сведения из весьма сомнительных источников [1].

Изучение бумаг молодого Пьяттоли могло бы подкрепить эту пока еще шаткую гипотезу. Пьяттоли эмигрировал из Италии в 1782 году, но еще до отъезда его идейное развитие шло, по-видимому, в таком направлении, которое дает достаточно оснований считать вероятным знакомство Пьяттоли по крайней мере с идеями немецких иллюминатов, не говоря уже о том, что впоследствии он и его друг Филиппо Маццеи примкнули в Париже к кружку Кондорсе. К тому же, как известно, Пьяттоли был флорентийцем и, даже живя в Модене, поддерживал тесные связи с Флоренцией [2].

[1] См. G. Robinson, Proofs of a conspiracy against all the Religions and Governements of Europe carried on the secret Meetings of the Freemasons, illuminati and Reading Societies, Edinburg, 1798, v. I, p. 274

[2] Как следует из бумаг Пьяттоли, он поддерживал дружеские отношения и был связан общими научными и политическими интересами с Христофом Фредериком Николаи (известным среди иллюминатов группы Вейсгаупта под псевдонимом Лучано). Имя Николаи очень часто встречается в бумагах Пьяттоли, однако из тех же документов вытекает, что он встретился *лично* с Николаи только в 1802 году До этого он был знаком с работами Николаи, особенно с «Essai sur les accusations portées contre l'ordre des Templiers, avec une dissertation sur l'origine de la franc-maçonnerie» (1784). С другой стороны, из переписки между Де Бассю и Пилати следует, что до 1786 года во Флоренции не существовало иллюминатских лож (см. M Rigatti, Un illuminista trentino del secolo XVIII, C A. Pilati, p. 233). («Что слышно нового о масонстве в тосканских владениях? Одно время оно было очень модно во Флоренции».) Однако (не говоря уже о том, что сама форма вопроса, поставленного уроженцем Граубюндена Де Бассю перед Пилати, заставляет думать, что

Но как бы ни был сложен вопрос о формировании идейно-политического мировоззрения Буонарроти, бесспорно одно — между иллюминатами и обществом карбонариев существовала чрезвычайно тесная связь.

Напротив, Буонарроти всегда держался обособленно от общества карбонариев. В опубликованном Саитта документе, относящемся к 1828 году, Буонарроти, имея в виду общество карбонариев, писал «Эта организация заслуживает нашего уважения, она имеет с «Миром» много общего с точки зрения происхождения, доктрины и политической цели». Далее он продолжал: «Но C· : S: : предупредил нас, что, всецело одобряя намерения общества карбонариев в том виде, как оно было учреждено в Неаполе, или в том искаженном виде, какой оно приобрело впоследствии во Франции, он вместе с тем не находит у общества ни четкой и последовательной доктрины, ни достаточно ясной цели, ни сильной организации; оно лишено необходимой секретности и высоконравственных кадров» [1]. Буонарроти отмечает в этом документе, что от масонства, с одной стороны, происходит общество карбонариев, а с другой — «Адельфы» и «Филадельфы» и, наконец, «Мир». Признавая поэтому за этими тайными организациями известную общность происхождения, теории и политических целей, Буонарроти высказывает, однако, в отношении общества карбонариев критические замечания: карбонариям присущи, по его мнению, «расплывчатая доктрина, легкомыслие в выборе кандидатов, чрезмерно большое число членов, недостаточная секретность, отсутствие власти, которая определяет законы общества, пользуется исключи-

он наметил Флоренцию объектом своей деятельности и, следовательно, в самые ближайшие годы в этом городе, возможно, были основаны ложи иллюминатов) следует предположить, что, придерживаясь строгих правил «ордена», Де Бассю, являвшийся одним из его главных руководителей, не хотел быть вполне откровенным с неофитом, каким был Пилати, и, напротив, пытался выяснить, насколько Пилати осведомлен о тайной деятельности «ареопагитов». В самом деле, Де Бассю осведомляется у Пилати даже о том, нет ли у него возможности сноситься с Неаполем Но разве в 1786 году иллюминатство Вейсгаупта не проникло уже в Неаполитанское королевство? Во всяком случае, странно, что Де Бассю просит трентинца Пилати о налаживании связи с Неаполем, когда у него под боком был один из самых близких приверженцев Вейсгаупта и одно из самых высокопоставленных лиц в «ордене» — ареопагит, маркиз Ди Констанцо, выходец из Абруцц и подданный Неаполитанского королевства

[1] A. Saitta, op. cit., vol. II, p. 95, в „Mondo: quaderno del grado".

тельными правами в руководстве организацией и которой беспрекословно повинуются» [1].

На самом деле эти организации возникли на основе совершенно различного исторического опыта. Те организации, которые были основаны Буонарроти или на которые он оказывал значительное влияние, отправлялись от робеспьеризма, якобинизма и движения эпохи Террора. Буонарроти считал, что интересы народных масс первоначально надлежит защищать не самому народу — который еще недостаточно подготовлен и не вполне созрел для их понимания,— а революционной организации, даже ее верхушке, директории, хранящей в чистоте и неприкосновенности основные принципы и осуществляющей воспитательную диктатуру с целью возрождения народа и развития в нем способности к самоуправлению. Таким образом, согласно Буонарроти, вначале развитие революции зависит в большей степени от руководящих организаций, чем от низов. «По-моему,— писал Буонарроти,— чтобы создать тайное общество, действительно полезное для человечества, следует с самого начала сплотить немногочисленную группу людей, обладающих ясными и четкими принципами, общими для всех ее членов; определить единственного руководителя и абсолютного законодателя общества, он установит правила, согласно которым будут последовательно назначаться в качестве его помощников люди, достойные разделить его труды... По своим принципам и конечной цели тайное общество, о котором идет речь, представляет собой демократический организм, однако его формы и организация не могут носить демократического характера [2]. Следовательно, речь идет об узкой группе просвещенных и добродетельных людей, которым не только предстоит организовать и довести до победного

[1] A. Saitta, op. cit., p 106. Любопытно отметить, что полиция герцогства Модена также проводила различие между двумя организациями. См. «Estratti delle istruzioni e degli statuti della setta dei Sublimi Maestri Perfetti» и «Estratto storico e giuridico delle procedure di Milano», опубликованные в 1825 году сначала в Модене, а затем в Милане в «Miscellanea Storica e politica» (Bibl. Stor. Mod. Roma). В последнем на стр. 19, между прочим, говорится: «Двумя тайными обществами, которые уже в 1816 году играли первостепенную роль в Италии, были общество карбонариев и «Общество адельфов» Для обоих была характерна демократическая тенденция: одно призывало к введению аграрного закона, другое — к цареубийству; отличались они между собой только ритуалом. Центр первого был в Неаполитанском королевстве, второго — во Франции». На самом деле различия между двумя организациями были более существенными, чем различия в ритуале, как это казалось моденской полиции.

[2] A. Saitta, op. cit., vol. II. p. 106—107.

кончца революционное движение, но которые после победы революции должны образовать директорию с диктаторскими полномочиями и повести общество к достижению конечных демократических целей, к коммунизму. Когда Буонарроти занялся впоследствии созданием «Реформированного карбонарского общества», он руководствовался именно этими принципами, то есть создал организацию, имевшую мало общего с карбонарской организацией в Королевстве обеих Сицилий. Разумеется, однако, что как для Буонарроти, так и для неаполитанских карбонариев «золотой век» означал такое положение вещей, при котором «человеческие законы совершенно не будут противоречить незыблемым законам природы» [1].

Однако средства, с помощью которых Буонарроти и карбонарии намеревались достичь этой конечной цели, были совершенно различными. Буонарроти делал ставку на узкую авторитарную организацию, состоящую из ограниченного числа лиц — хранителей «истинных принципов». Общество карбонариев в Королевстве обеих Сицилий, напротив, стремилось стать широкой массовой организацией, разумеется тайного характера, но с более демократической структурой. Такая широкая организация, конечно, не могла быть однородной: сторонники ее умеренного крыла добивались попросту либеральной конституции, тогда как левое крыло стремилось к переустройству общества на демократических и эгалитарных началах. Но общей для тех и других была доктрина естественного права с ее центральной идеей возврата к справедливым законам природы; при этом в катехизисах второй и третьей степеней в отличие от катехизисов для посвящаемых все более отчетливо вырисовывались республиканские и демократические цели.

Буонарроти, исходя из исторического опыта робеспьеризма и эпохи Террора, полагал, что нужно вновь встать на тот же путь и использовать те же методы, но усовершенствовать их, добиваясь постепенно однородности и очищения рядов той узкой группы, которая идет в авангарде борьбы за великое социальное переустройство общества. Буонарроти полагал, что монолитность и чистота рядов этой группы явятся гарантией успеха революции, ее силы и могущества.

Напротив, при создании общества карбонариев (в Королевстве обеих Сицилий) были учтены уроки, которые извлекли неаполитанские якобинцы в 1799 году из крушения Партенопейской республики и которые сводились к следую-

[1] A. Saitta, op. cit., p. 142.

щему: основной слабостью якобинского движения было отсутствие поддержки со стороны городских народных масс и особенно деревенских низов. Поэтому, возобновляя борьбу в новых исторических условиях, неаполитанские якобинцы хотели наладить контакт с этими массами, с тем чтобы либо нейтрализовать их (как того хотели умеренные карбонарии), либо сделать их своей опорой (к чему стремились наиболее передовые элементы среди карбонариев). И те и другие старались сблизиться с низами и вовлечь их (факт, новый в истории Королевства обеих Сицилий) в очень широкую тайную организацию [1], которая должна была в такой степени просветить и подготовить народ, чтобы можно было осуществить мирное или насильственное преобразование общества. Вопрос о том, какой характер должно носить это преобразование и до каких пределов следует довести его, был предметом частых споров среди карбонариев, разделившихся в этой связи на умеренных и сторонников самых крайних мер.

Следовательно, Буонарроти отделяла от общества карбонариев в Королевстве обеих Сицилий не дальность расстояния, а глубокое различие в политических взглядах, в понимании того, какими должны быть цели и организационные формы революционного общества. Поэтому, несмотря на общую идейную базу, от которой отправлялись обе тайные организации, между ними существовало явное и глубокое расхождение.

Нельзя понять самой сущности карбонарского движения, если не уяснить себе исторического значения и важности одной из самых интересных сторон санфедистского движения — его *массовости*. Среди демократов Юга Пизакане глубже других понял историческую роль и значение *массового* движения низов, важность начавшегося пробуждения широких народных масс в Королевстве обеих Сицилий, пусть даже в какой-то момент эти низы выступили под знаменами санфедизма и реакции. И действительно, урок 1799 года пошел на пользу не только карбонариям, политическим наследникам якобинцев, которые отныне стали сознавать, что никакая революция, более того, никакая радикальная реформа общества невозможны в Королевстве обеих Сицилий вопреки воле *масс*. Этот урок не прошел даром и для самой «массы», у которой накопилось столько разочарований, что это породило «глубокое недоверие народа к престолу» [1]. В самом деле, когда в 1806 году правительство Бурбонов, уверенное в поддержке масс, решило снова прибегнуть к их помощи и обнародовало 11 января королевский указ о рекрутском наборе в целях борьбы с наполеоновскими войсками, оно вынуждено было с изумлением констатировать, что среди народных масс уже нет того энтузиазма, с которым семь лет назад они откликнулись на призыв кардинала Руффо. На этот раз удалось кое-как собрать ничтожное количество людей, которые «в решающий момент не приняли никакого

---

[1] Дито, ссылаясь на Пальма, указывает, что «так называемая *карбонарская толпа*, состоявшая из простолюдинов, которые были связаны с карбонарскими вентами» (op. cit., p. 244), достигала нескольких сот тысяч человек. Во всяком случае, даже если считать эту, конечно, весьма приблизительную цифру явно завышенной, данные, приводимые некоторыми историками и мемуаристами (а среди них есть такие, которые говорят о двухстах тысячах членов вент и более чем о шестистах тысячах, принадлежащих к *карбонарской толпе*), не оставляют сомнения, что число непосредственных сторонников общества карбонариев среди крестьянства в период наибольшего распространения этой организации было очень велико. Причины превращения общества в такую массовую организацию верно объясняет Сорига в уже цитировавшейся нами работе: «Южная буржуазия, поддерживаемая низшим духовенством... стремилась придать конкретную форму своему политическому недовольству господствующим феодальным сословием, вовлекая в карбонарское движение низы и надеясь использовать их для насильственного переворота.. Когда же ей сверх всяких ожиданий удалось достичь своей цели, конституционное движение стало быстро утрачивать свой демократический характер...» (p. 89). Далее он пишет: «Что касается народных масс, то (учитывая, что в большинстве своем это были крестьяне) их присоединение к обществу карбонариев не следует истолковывать как результат приверженности к принципам общества — причиной тому был, конечно, отказ от претворения в жизнь закона против феодов». В этом смысле был прав английский посол в Неаполе, когда сообщал своему правительству, что карбонарское движение было «войной бедности против собственности» (op. cit. p. 90), даже если руководители карбонариев во время восстания 1820 года принадлежали к имущим и потому не были заинтересованы в том, чтобы движение приняло подобный характер. Конечно, эта цифра — шестьсот тысяч человек, принадлежащих к «карбонарской толпе», — может показаться преувеличенной или попросту фантастической, однако следует напомнить, что Б. Клавель, который работал над уже упоминавшейся нами «Historie de la Franc-Maçonnerie» приблизительно в 1840 году, имея в своем распоряжении богатые архивные материалы «Великого Востока» во Франции, указывал: «В марте 1820 года число лиц, значившихся (в обществе карбонариев) на территории, составлявшей менее половины Италии, достигало шестисот сорока двух тысяч..» (p. 379). Однако наиболее достоверной является, пожалуй, цифра в двести тысяч человек, входивших в венты (в период наибольшего подъема карбонарского движения венты существовали почти в каждом селении королевства). Что же касается указываемых размеров «карбонарской толпы», то их следует, вероятно, понимать как количество крестьян, которые находились под влиянием карбонариев и которых можно было поднять в случае необходимости.

[1] U. Caldora, Calabria Napoleonica (1806—1815), Napoli, 1960, p. 19.

участия в борьбе» [1]. И это несмотря на то, что был по обыкновению мобилизован весь аппарат церкви: обращение к народу должны были зачитать «священники или правительственные чиновники на центральной площади, а там, где ее не окажется,— у распятия. Сигналом к восстанию должен послужить звон колоколов, вооруженному народу следует поднять знамя, на одной стороне которого будет крест и девиз «In hoc signo vinces» [2], а на другой — образ их святого заступника» [3].

Но на этот раз не помогли ни Христос, ни святые. Народные массы, кровавые жертвы которых в 1799 году оказались напрасными и положение которых после реставрации неаполитанских Бурбонов даже ухудшилось, в 1806 году остались безучастными. Не помогли ни передача командования снова в руки кардинала Руффо, ни оповещение о том, что монахи и священники будут вступать в добровольческие отряды, ни известия о том, что сильная армия царя должна вскоре высадиться в Калабрии и оказать мощную поддержку новому воинству святой веры. Якобинцы и *народные массы,* трагически противостоявшие друг другу во время революции 1799 года, учли кровавый опыт прошлого. Впрочем, у того же кардинала Руффо хватило здравого смысла понять, что в новых исторических условиях обращение с призывом к *массам* может оказаться не только тщетным, но и опасным. Отсюда его признание, что «некоторые безумства случаются только раз» [4]. Таким образом, после 1806 года сложились все условия для возникновения общества карбонариев. Последнее родилось именно тогда, когда политические наследники неаполитанских якобинцев убедились в возможности сдвига в настроениях масс, более того, в возможности перехода народных масс на совершенно противоположные позиции. Разумеется, чтобы произошел такой радикальный сдвиг, необходимо было отбросить некоторые заумные рационалистические построения якобинизма, чуждые и непонятные народным массам Юга. Отсюда возникала необходимость создать на новой основе широкую народную организацию, которая взывала бы к Христу, к святому Убальдо и к христианской проповеди равенства и опиралась бы главным образом на то низшее духовенство, которое составляло на местах руководящие кадры массового движения. Конечно, бывшим якобинцам, в памяти которых еще не изгладилось воспоминание о ярости народа, нелегко было за короткий промежуток времени после побоища 1799 года, о котором неустанно напоминали еще не зажившие раны, так круто изменить отношение к народным массам. Впрочем, столь же нелегко было отказаться от своих прежних позиций и крестьянству, еще не обретшему политического сознания; голодающее, недовольное, оно было, однако, совершенно дезориентировано. Жаждая лишь удовлетворения собственных материальных потребностей, разочарованное, обескураженное, утратившее веру в престол, который цинично воспользовался плебсом только для достижения своих корыстных целей, оно в то же время относилось с неизменным недоверием к «господам», к интеллигенции и буржуазии, в которых народ видел чуждую, враждебную ему силу.

Тем не менее мы не считаем возможным категорически утверждать — как это делает Кальдора,— что для «пролетариата, особенно сельского типа», была естественной «реакционная позиция» [1]. История пятнадцати лет, последовавших за событиями 1799 года, изобилует доказательствами того, что это утверждение не вполне обосновано. Естественная позиция масс — если вообще хотят говорить о такой позиции — состояла в поддержке той политической силы (будь то абсолютистский престол, настроенная в пользу реформ буржуазия или даже сам дьявол), которая была в их глазах — по крайней мере в данный момент — если и не защитником их собственных интересов (сказать так было бы преувеличением), то по крайней мере силой, склонной временно облегчить их нищету. «Возможно,— пишет Кальдора,— буржуазии, новому руководящему классу, следовало бы предпринять более эффективные меры, с тем чтобы перетянуть на свою сторону народные массы. Однако применительно к Калабрии такая ограниченность усилий буржуазии вполне понятна: люди, которые тяжело пострадали в 1799 году или в памяти которых запечатлелись картины ужасов, творимых тогда плебсом, в конце концов не могли поступить иначе, как занять решительно отрицательную позицию (независимо от каких бы то ни было соображений экономического порядка) в отношении класса, который почти целиком оказался причастен к пагубному, реакционному бандитизму, класса, способного повторить, и притом с еще большей жестокостью —

---

[1] U. Caldora, op. cit.

[2] „Сим победиша" (*лат.*). — *Прим. ред.*

[3] U. Caldora, op. cit., p. 21.

[4] B. Croce, Uomini e cose della vecchia Italia, II, Bari, 1943, p. 318.

[1] U. Caldora, op. cit., p. 103.

если б он только сумел или смог,— страшную санфедистскую трагедию»[1] Это утверждение также неверно.

В действительности, создавая общество карбонариев, калабрийская буржуазия попыталась — впервые в Королевстве обеих Сицилий — перетянуть народные массы на свою сторону, хотя это делалось, понятно, не без колебаний, противоречий и страха Карбонарское движение носило сложный характер, так что в известном смысле легче выделить и проанализировать разнородные элементы, из которых оно складывалось в последующие исторические периоды, нежели дать ему синтетическую характеристику, которая неизбежно оказалась бы неполной и упрощенной Но в той мере, в какой возможна подобная характеристика, не вызывает никаких сомнений тот факт, что общество карбонариев представляло собой, по существу, попытку бывших якобинцев, передовой и прогрессивно настроенной интеллигенции, привлечь на свою сторону народные массы, а заодно низшие чины армии и низшее духовенство, которые, естественно, играли роль руководящих кадров массового движения 1799 года и большинству которых спустя некоторое время предстояло выполнить роль местных руководящих кадров общества карбонариев Безусловно, эта попытка увенчалась успехом, вызвав глубокий политический сдвиг в истории Королевства обеих Сицилий· результаты этого сдвига дали себя знать не только в революции 1820—1821 годов, но и в развитии демократического движения в течение всего последующего тридцатилетия

Быть может, немалую роль в таком повороте интеллигенции сыграло влияние людей, прибывших из Франции и принесших с собой опыт Французской революции, в ходе которой как раз и сложился в борьбе за землю союз интеллигентов-якобинцев и крестьян, опыт, которого, напротив, было лишено якобинское движение в Неаполитанском королевстве. Возможно, именно в этом и состояла, по существу, обновительная и стимулирующая роль таких людей, как Брио в Калабрии,— Брио, чья знаменитая фраза — «рубите баронов» — заключала в себе целую программу. Брио, Мио и другие бывшие якобинские офицеры постарались сообщить начальный толчок (трудно сказать точно, насколько он был сильным) такому повороту в Королевстве обеих Сицилий. Однако развитие в этом направлении уже началось в самой Италии, где созрели соответствующие условия. В противном случае

[1] U. Caldora, op. cit.



внешнее влияние вызвало бы лишь незначительный и поверхностный отклик, а отнюдь не такое широкое и глубокое движение, каким было движение карбонариев в Неаполитанском королевстве Вот почему, по нашему мнению, историческая связь между *массовым характером движения* 1799 года и *карбонарской толпой* является значительно более тесной и прочной, чем это может показаться на первый взгляд *Карбонарская толпа* была формой революционного или, во всяком случае, прогрессивного *массового движения,* представляя собой специфическое явление, характерное для истории Королевства обеих Сицилий. Такой карбонарской толпы не было (да и не могло быть) ни в Пьемонте, ни в Ломбардии, где общество карбонариев носило совершенно иной характер именно потому, что эти области не знали ни массового движения, ни санфедизма в их неаполитанской форме и где ни якобинцы, ни народные массы не приобрели того печального опыта, какой познало в 1799 году Королевство обеих Сицилий

Все сказанное освещает лишь некоторые стороны вопроса о происхождении общества карбонариев, но, конечно, не дает полного ответа Более трудно выяснить идеологические корни карбонаризма, даже если для исследования в этой области уже намечен ряд ориентиров. Франкович, как нам кажется, достаточно ясно показал тот путь, который ведет от масонских лож храмовников и иллюминатов к обществу карбонариев Причем этот процесс носил особенно отчетливый характер в Неаполе и Калабрии. На родине Телезио и Кампанеллы никогда не угасали идеи радикальной социальной реформы, а под влиянием идей энциклопедистов, и особенно Руссо и Мабли, а также под влиянием неаполитанских реформаторов Пагано и Филанджери они обрели новую силу[1] Не случайно в последние десятилетия XVIII века в Калабрии сформировались такие люди, как Грегорио Аракри, Антонио Иерокадес, Франческо Саверио Сальфи Аракри. отказавшийся в Неаполе от священного сана, в 1783 году стал учеником иллюмината Баффи (последователя Вейсгаупта) и Иерокадеса, и именно ему было доверено в 1808 году ректорство в колледже в Катандзаро. Впрочем, повсюду в Калабрии — а на первых порах особенно в районе Козенцы — шел быстрый процесс сближения старых якобинцев и низшего духовенства, постепенно перехо-

[1] См. S. Rota Ghibaudi, La 'fortuna di Rousseau in Calabria, в „Almanacco Calabrese", Roma, 1959; см. также G. Berti, Nuove ricerche su Benedetto Musolino, в „Studi Storici", anno II, № 1, p. 29 sgg.

дившего на радикальные позиции или уже проникшегося радикальным духом в соответствии с новыми карбонарскими идеалами, созвучными христианской вере Например, к венте в Альтилиа (которая была, по-видимому, первой карбонарской вентой в Калабрии) наряду со старыми якобинцами, вроде Клаузи, принадлежали такие церковные деятели, как Гримальди или Ле Пьяне, который перевел впоследствии на калабрийский диалект карбонарский катехизис, с тем чтобы сделать его доступным народу.

Существуют также другие причины, побуждающие нас отнестись с должным вниманием к идее происхождения общества карбонариев от иллюминатов (идее, столь упорно отстаиваемой Франковичем). Прежде всего, на наш взгляд, нельзя пренебрегать тем фактом, что историки и мемуаристы как того времени, так и принадлежавшие к следующему поколению неизменно утверждают, что первоначально общество карбонариев представляло собой попросту иллюминатскую организацию, причем некоторые из них особо останавливаются на его религиозном характере, доказывая, что среди членов общества была распространена вера в пришествие царства Христова, в учреждение религиозной республики, в освобождение Италии и возрождение церкви. Другие, говоря об иллюминатском происхождении общества карбонариев, вместе с тем утверждали, имея на то серьезные основания, что католический или попросту христианский облик общества карбонариев (масонская символика и фразеология были заменены евангельскими) был вызван необходимостью придать этой организации народный характер, учитывая религиозные верования низов [1]. Поэтому карбонарии искали поддержки низшего духовенства, используя его для мобилизации сельских масс, которых оскорблял грубый антиклерикализм наполеоновской партии. Так возникла широкая база для сближения, которая была отчасти приемлема для всех. для бывших якобинцев и для низшего духовенства, для городских низов и для крестьян, которые испытывали экономический гнет, становившийся все более невыносимым, а также для тех, кто, подобно министру мюратистской полиции Магелла, полагал, что будущее мюратизма — в проведении независимой от Наполеона политики, и даже для эмиссаров изгнанных Бурбонов, также считавших Наполеона главным противником, для борьбы с которым следовало объединить все силы.

Это, однако, не меняет того факта, что предпосылками карбонарской идеологии — в том виде, как она изложена в катехизисах и уставах,— оставались, несомненно, идеи естественного права и эгалитаризма. Франкович, широко используя источники, показал, что «идиллический эгалитаризм естественного состояния, которым вдохновлялся Вейсгаупт, превратился в последующем в ложах шотландских храмовников в программу «аграрного закона»». Опубликованные им некоторые отрывки из описания ритуала шотландских храмовников (найденного в Государственном архиве Флоренции в так называемой «Коллекции Вальтанколи») служат лучшим подтверждением связи между иллюминатами и масонами этого ритуала. Де Аттеллис, игравший значительную роль в неаполитанском мире тайных обществ той эпохи, в работе «Восемь месяцев конституционного правления в Королевстве обеих Сицилий» («L'Ottimestre Costituzionale delle Due Sicilie») приписывает обществу карбонариев идентичные истоки, когда утверждает, что в «1810 году вольные каменщики древнего шотландского ритуала из упраздненного общества *литейщиков* (Fondeurs) образовали общество *угольщиков* (Charbonniers)».

Мы уже говорили, что большинство неаполитанских историков и мемуаристов, живших в период карбонарского движения или вскоре после него, сходятся в том, что общество карбонариев ведет свое происхождение от иллюминатов Да и участники патриотического движения, занимавшиеся этим вопросом лишь мимоходом (не претендуя на исчерпывающую полноту, назовем только Петруччелли делла Гаттина, Винченцо Мортилларо и Карло Джемелли), настаивают на влиянии иллюминатской идеологии Вейсгаупта на радикальное крыло тайных обществ в Королевстве обеих Сицилий, подтверждая тем самым мнение современных им историков самых различных политических направлений, как, например, Коллетта или пробурбонски настроенного Джачинто Де Сиво. В работе Джачинто Де Сиво «История Королевства обеих Сицилий с 1847 по 1861 год» есть строки

[1] Моденская газета «Voce della Ragione» в рецензии на «Мои темницы» С. Пеллико (опубликованной 28 февраля 1834 года) нападала на пьемонтского карбонария, являющегося «главой той философско-политической секты, которая к бесплодному и искусственному религиозному энтузиазму примешивает якобинские принципы». Правительственная газета ссылается в этой связи на признание «одного из видных членов этой секты, согласно которому следует прежде всего примирить доктрину свободы с религиозной доктриной и возбудить фанатизм среди темных масс, проповедуя восстание во имя Христа». Автор статьи, правда, замечает, что в данном случае речь идет не о Пеллико, который оказался, быть может сам того не желая, «в столь неблаговидной роли».

об обществе карбонариев, которые, если не говорить о тоне (а он и не мог быть иным в сочинении легитимиста), заслуживают быть процитированными. «Общество карбонариев было иллюминатско-масонской организацией, приспособленной к Италии; это было приложение общих форм к определенному народу. Посему общество вдохновлялось идеей национальности, старалось разжечь благородное чувство независимости, учитывая потребности, стремления и предполагаемые нужды недовольных итальянцев; оно стремилось к тому, чтобы занять этим умы и пробудить горячее желание немедля принести стране ощутимую практическую пользу. Однако в своих уставах общество не скрывает того, что оно выражает дух Французской революции, одобряет принципы 1789 года и терроризм. В инструкциях приверженцам общества восхваляется золотой век, когда *подчинялись одним лишь законам природы, а земля не имела особых владельцев. Прикрыв свои тела шкурами*,— говорилось в них,— *люди впервые сбились с пути.* Далее выражается сожаление, что принято *выбирать руководителей для людей, предписывать человеческие законы и набирать вооруженные силы, ибо тем самым исконное равенство подменяется деспотизмом. Италия должна очиститься*... Они имели своей целью учредить в Италии языческую по своим формам и идеям республику под названием *Аузония,* сделать из папы состоящего на службе пастыря и изгнать из страны не только иноземцев, но и государей, священников, дворян и собственников» [1].

На иллюминатские истоки общества карбонариев в Королевстве обеих Сицилий ясно указывал также неаполитанский историк, находившийся в самой гуще событий тех лет, а именно Пьетро Коллетта. «Некоторые итальянцы,— писал он,— отправившиеся в изгнание в 1799 году, *были посвящены в Швейцарии и Германии, где общество носило иное название.* Вернувшись на родину, они и здесь организовали его, но оно оставалось слабым и незаметным» [2]. Что же касается

[1] G. De Sivo, op. cit., vol I, p. 38. Курсив Де Сиво, который цитирует документы карбонариев.

[2] P. Colletta, Storia del Reame di Napoli, I, VIII, p 50 [Курсив наш. — *Д. Б.*] Дж. Ла Чечилья также пишет в своих «Memorie Storico-Politiche»: «Деятельность приверженцев Партенопейской республики знаменовала собой апогей борьбы за возрождение родины; члены же тайных обществ 1820 года спускаются с этой величавой высоты. » (p. 16). Кроме того, Ла Чечилья утверждает в своих мемуарах, что общество карбонариев было привнесено в королевство неаполитанскими изгнанниками 1799 года, вернувшимися на Юг в 1806 году.

вопроса о том, почему общество карбонариев оставалось вначале слабым и незаметным и получило широкое распространение только спустя несколько лет, то ответ на этот вопрос мы уже дали выше. Следовательно, прав Луцио, когда в своей книге «Масонство и итальянское Рисорджименто» («La Massoneria e il Risorgimento italiano») он пишет, что общество карбонариев родилось на Юге Италии... и считало своими основателями неаполитанских *иллюминатов*».

Заслуживает также упоминания свидетельство полицейского комиссара Джованни Айелло, с 1805 года секретного агента Марии Каролины, оставшегося в период французского господства в Неаполитанском королевстве, где он вел тайную деятельность в интересах бурбонского двора. В эти годы, отмеченные кипучей заговорщической деятельностью, задача Айелло состояла как будто в том, чтобы организовать тайное легитимистское движение, которое, когда представится благоприятный случай, подготовило бы возвращение Бурбонов с помощью созданных в случае необходимости тайных военных отрядов. Таким образом, Айелло с самого начала следил за развитием карбонарского движения в собственных целях как бурбонский агент. Поэтому его брошюра 1821 года под названием «Представление Его Священному Величеству Фердинанду I» («Rappresentanza a Sua Sacra Maestà Ferdinando I»), в которой он ссылается, в частности, на свой непосредственный доклад королю (датированный 30 июля 1814 года) о деятельности карбонариев, не лишена интереса. Согласно Айелло, конечная цель общества карбонариев состояла в том, чтобы «вернуть людей к естественному состоянию, уничтожив всякую религию, всякое правительство, всякую собственность» [1]. Но, писал он, люди не могли вдруг порвать общественные связи и перейти от упорядоченного управления к естественному состоянию. Поэтому карбонарии установили некую лестницу, которую люди могли бы одолеть ступень за ступенью. Карбонарии полагали, что самой короткой и удобной была бы такая последовательность: *демократическая республика, анархия, естественное состояние* [2]. И в «Монологах в Казафредда» [3] Айелло

[1] Società Napoletana di Storia Patria (SNSP), opuscoli 520, op. cit., p 8

[2] SNSP, opuscoli 520, op. cit., p. 40.

[3] „I soliloqui di Casafredda piccolo villaggio nelle montagne di Teano in Provincia di Terra di Lavoro" scritti da Giovanni Ajello nell'anno 1813 e dedicati a suoi concittadini comunque pensino; diviso in due tomi, Napoli, 1827.

восклицает по этому поводу: «О Джованни Висаупт (sic!). Сколько стоило и сколько еще будет стоить всему человеческому роду то первенство, которое, по твоему мнению, ты завоевал, когда, бросив в тигель все тайные секты, ты создал из них одну-единственную, которую тебе взбрело на ум назвать сектой иллюминатов! О, какие только ужасные последствия не повлекут за собой твои общие и частные установления...» [1] Если верить Айелло, иллюминаты ставили целью упразднить правительство и собственность; он утверждает даже, что Неаполитанскую республику 1799 года возглавляли иллюминаты. Его «Монологи» представляют собой беспорядочные автобиографические записки полицейского; они не лишены интереса, хотя к ним, разумеется, нужно подходить критически и осторожно [2].

Существование в Неаполе до 1789 года иллюминатских групп, тайно отколовшихся от аристократического масонства и преследовавших более радикальные цели, подтверждает, помимо Баррюеля, также бывший масон граф Пьетро Дольче, перешедший после Реставрации на службу австрийской полиции. Петруччелли делла Гаттина (он принадлежит к тому революционному поколению, которое пришло на смену карбонариям) писал, что «неаполитанец Костанцо Ди Костанцо занес из Германии иллюминатство, начало коему положил Вейсгаупт» [3]. Действительно, Ди Костанцо был одним из наиболее близких к Вейсгаупту ареопагитов и вместе с Де Бассю и графом Савиоли должен был доставить в центр иллюминатов в Баварии итальянские книги и материалы, обнаруженные при обыске в 1786 году. Поэтому нам представляются обоснованными замечания Джоаккино Вольпе [4] о серьезном влиянии на итальянские тайные общества общественного движения в габсбургской империи, и прежде всего движения баварских иллюминатов. Но в какой мере движение иллюминатов во главе с Вейсгауптом можно считать явлением, присущим габсбургской империи или даже Баварии? Первоначально союз иллюминатов возглавлялся как бы триумвиратом: Вейсгаупт — Де Бассю — Ди Костанцо, и его деятельность распространялась на Италию в гораздо большей степени, чем на какую-либо другую страну, за исключением той, где возникла эта организация. Де Бассю был швейцарец, но родом из ретороманского кантона Граубюндена, тесно связанного, особенно в то время, через Вальтеллину с Италией. Он писал и говорил по-итальянски, и его деятельность в Коира, Поскьяво и Тирано была рассчитана в основном на Италию. Типография в Поскьяво, основанная Де Бассю и руководимая им как издателем, играла в конце XVIII века чрезвычайно важную роль — аналогичную той, которую спустя несколько десятилетий в иных исторических условиях играла типография в Каполаго (в кантоне Тичино). Барон Де Бассю хотел (как он писал об этом Пилати) «дать немцам газету, посвященную итальянской литературе, а итальянцам — газету, посвященную зарубежной, европейской литературе» [1]. Де Бассю старался создать ответвления ордена иллюминатов, помимо Швейцарии и Тироля, в Милане, Павии и Венето и пытался даже через посредство Пилати распространить деятельность ордена на Тоскану и Неаполитанское королевство

Согласно материалам, конфискованным при обыске в 1786 году, первыми двумя иллюминатами, которых Вейсгаупт посвятил в свои самые секретные намерения, были именно барон Де Бассю и маркиз Ди Костанцо [2]. Де Бассю отвечал главным образом за печать и пропаганду идей иллюминатов, тогда как Ди Костанцо был своего рода главным «вербовщиком», то есть занимался привлечением новых членов, чему устав ордена придавал очень большое значение Именно Ди Костанцо вовлек в орден известного барона Книгге, которому в будущем предстояло выполнять самые деликатные поручения Вейсгаупта, доверявшиеся до того Ди Костанцо В сущности, даже на основании тенденциозной работы Баррюеля можно сделать вывод, что с самого начала иллюминаты ставили перед собой задачу объединить всю Германию под властью одного правительства, причем поборником этой идеи, если верить Баррюелю, выступал именно

---

[1] Op. cit, p. 58—59

[2] Недавно Джон Росселли (John Rosselli, Lord William Bentinck and the British Occupation of Sicily 1811—1814, Cambridge, 1956), опираясь на документы, высказал сомнение в эффективности действий агентов Марии Каролины в континентальной части Юга. Поэтому следует пересмотреть мнение, получившее широкое хождение среди некоторых историков, согласно которому общество карбонариев находилось под сильным воздействием Бурбонов, стремившихся придать его деятельности антимюратистское направление.

[3] F. Petruccelli della Gattina, Storia della Idea Italiana, Napoli, 1882, p. 367.

[4] См. M. Rigatti, op. cit., p. 10 sgg. (предисловие Д. Вольпе).

[1] M. Rigatti, op. cit.

[2] См. „Einige Originalschriften des Illuminatenordens welche bei dem gewesenen Regierungsrath Zwack durch forgenommene hausvisitation zu Landshut den 11 und12 Oktob. 1786—forgefunden worden", Munchen, Johann Baptist Strobl, 1787.

маркиз Ди Костанцо[1]. Было бы интересно установить, считали ли иллюминаты необходимым добиваться политического и государственного единства также для Италии[2].

Нужно отметить, что и в Неаполе (где масонство зародилось при королевском дворе и носило типично аристократический характер, пользуясь покровительством королевы), «наряду с традиционным шотландским ритуалом», носившим, как правильно отмечает Франкович, «примирительный и приспособленческий характер, существовал другой шотландский ритуал, сторонники которого, усвоив символику масонов-храмовников, проповедовали в ложах эгалитарную идею». Кто принадлежал к этому последнему ритуалу, установить чрезвычайно трудно, ибо естественно, что эти посвящения были окружены еще более непроницаемой тайной, чем посвящения в обычные ложи масонов. Поэтому сохранилось лишь ничтожное количество документов (носящих к тому же случайный, косвенный и фрагментарный характер), которые позволяют судить о том, кто из масонов был причастен к этим иллюминатским ложам. С полной уверенностью здесь могут быть названы имена Пагано и Баффи. Далее, как утверждает Луиджи Мария Греко (друг Сальфи, который смог около 1830 года ознакомиться с его бумагами), к ордену иллюминатов был близок один из тех, кто наряду с Буонарроти и Анджелони занимал очень видное место в мире итальянских тайных обществ,— Франческо Саверио Сальфи. «Желание опубликовать свою работу,— писал Греко,— привело Сальфи в столицу, где иллюминаты имели немало возможностей узнать и оценить его»[3]. Не следует, однако, полагать, что иллюминаты представляли собой лишь узкую группу крайне радикального направления. Конечно, их идеология носила в известном смысле крайне радикальный характер, но сами они принадлежали к чрезвычайно влиятельной социальной элите. К иллюминатским кругам был, по-видимому, близок даже князь Караманико. Поэтому, по-видимому, вместо того, чтобы вызвать раскол в масонском мире, пользовавшемся покровительством Марии Каролины, иллюминаты весьма искусно подчинили его своему руководству в соответствии с «уставными правилами», начало которым положил Вейсгаупт и которые были затем проведены в жизнь в иных формах другими деятелями итальянского подпольного мира, например Анджелони и Буонарроти. Впрочем, влияние иллюминатов ширилось не только благодаря тайной деятельности ордена, но и благодаря открытым печатным изданиям, оказавшим решающее воздействие на идейное формирование

[1] См. часть II, том IV итальянского перевода работы Баррюеля (стр. 109 и след.): «В Германии, как говорил маркиз Ди Костанцо, должен быть лишь один, самое большее — два государя».

[2] Впрочем, из работы Ригатти (M Rigatti, op. cit., p. 186 sgg.) вытекает, что позиция иллюмината Пилати носила уже не исключительно космополитический характер, а национальный. Если «Тугендбунд» в Германии был основан иллюминатами или бывшими иллюминатами (как утверждает Баррюель и как свидетельствуют другие источники) и если общество карбонариев имело аналогичное происхождение, то в таком случае следует признать, что позиция ордена не была преимущественно или даже исключительно космополитической и что он преследовал национальные цели

[3] L. M Greco, Vita letteraria ossia analisi delle opere di Francesco Saverio Salfi, Cosenza, 1839, p. 11 Небольшая поэма Ф. С. Сальфи «Ирамо», изданная в 1807 году и хранившаяся в библиотеке Брера в Милане, содержит идею возвращения человеческого рода к состоянию первоначальной чистоты и равенства путем возврата к законам природы. Эта идея (нашедшая уже яркое отражение в масонской поэзии Иерокадеса) по своему смыслу очень близка к идеологии иллюминатов. Связь, которую Сальфи устанавливает между возвратом к законам природы и человеком-государем, или человеком богом, аналогична той, которую устанавливал Вейсгаупт:

«Придет время — время радости для обретшего полную свободу человека,

Когда ни слепое заблуждение, ни низменное желание не смутят его духа;

Он не будет бояться ни тиранической силы, ни преступного обмана,

Став бессмертным, он будет править, подобно богу».

Для Сальфи люди — это «ужасные дети темной ночи», и, чтобы человек «не оказался во власти слепой ошибки», он должен следовать «природе как норме и образцу; кто верен ее законам, тот достигнет вершины, где раскинулось царство неба...»

«Но мудрая природа скрывает свои сокровенные тайны, И тому, кто не ищет и не трудится без устали в холод и в зной, не откроются ее чудные и благостные черты Они скрыты от низкого плебса, и узреть их дано немногим избранным

Природа то сбрасывает покровы, то вновь облекается в них;

Она благоволит лишь к тому, кто добивается настойчивее других и тем заслуживает наконец быть удостоенным ею какой-то милости.

Так правит эта волшебница, искусно пробуждая желание человека, которое становится все сильнее

И человек, жаждущий прозреть веления природы, все настойчивее стремится познать их..

Но когда тщеславие изгнало обычай изначального Равенства, немногие друзья истины собрались в уединенном и надежном месте,

Исполненные презрения к плебсу, чуждому добродетели.

И здесь их отцы и пастыри, отделенные от плебса и почти никому не ведомые,

Ревностно блюдут память о прошлом, соревнуясь в верности обычаям золотого времени,

Надеясь, что трудом и проповедью они приблизят час.

Когда добродетель возродится.. озаряя светом мир», и вернется «Равенство, столь гордо царившее среди древних народов Ныне оно нашло приют среди нас, и мы должны вернуть его миру — униженному и жалкому».

неаполитанской патриотической молодежи (это относится, например, к работам Марио Пагано и к последней, четвертой части «Науки законодательства» Филанджери). Конечно, Марио Пагано и Паскуале Баффи связывали тесные узы дружбы [1]. В подтверждение сказанного нами можно привести не вызывающее никакого сомнения свидетельство князя Каноза, который писал: «В один прекрасный день масоны и иллюминаты сыграли с ней (Марией Каролиной) шутку, как и с некоторыми другими государями Впрочем, она извлекла из опыта полезный урок, чего, к несчастью, не смогли сделать многие другие» [2].

Можно утверждать, далее, что некоторая часть неаполитанских масонов унаследовала (по мнению Франковича) не только «политические принципы и задачи иллюминатства Вейсгаупта, но и организационные методы, и ступенчатую систему раскрытия целей» [3]; впоследствии, когда созрели новые исторические условия, эти специфические черты перешли в новой форме к обществу карбонариев.

Теперь вновь обратимся к выводам Сольми (отчасти поддержанным Сорига), который, опираясь на «Историю» Ботта (а также на исторические заметки Пизакане), утверждал, что «Черная лига» возникла в Италии вскоре после вторжения французских войск (1796 год) и что двумя годами позже (в 1798 году) на ее основе было создано «Общество лучей». Сольми предполагал также, что аналогичная связь существовала между «Черной лигой» и обществом карбонариев. Со своей стороны мы не можем не отметить, что из двух итальянцев, близких к Вейсгаупту, один, Савиоли, возвратившись из Мюнхена, обосновался в Болонье, где как раз возникли «Черная лига» и «Общество лучей», а другой, маркиз Ди Костанцо, оставался некоторое время в Неаполитанском королевстве, откуда впоследствии отправился в Россию

Впрочем, нет ничего удивительного в том, что попытки разрешить этот вопрос приводят лишь к приблизительным, а порой и противоречивым выводам. Важно другое — окончательно установить факт существования вполне определенного направления и вероятные последствия его деятельности. Не нужно забывать о том, что два таких человека, как Анджелони и Буонарроти, занимавшие руководящее положение во франко-итальянском мире тайных обществ и знавшие его лучше, чем кто-либо другой, дали, например, полковнику Уде (который был, по-видимому, одним из основателей «Общества филадельфов») совершенно противоположную оценку; по мнению Анджелони, Уде был приверженцем Бурбонов, а по мнению Буонарроти — якобинцем и искренним республиканцем. Поэтому нас не должно смущать, что ученые, чья добросовестность не вызывает никаких сомнений, придерживаются различных взглядов в вопросе о происхождении общества карбонариев, а также в вопросе связей последнего с Буонарроти. Романо Катания, например, полагает, что деятельность этого революционера протекала в рамках карбонарской организации, тогда как Дито (великолепно знающий источники) и Саитта (недавно высказавший аналогичную точку зрения) считают, что Буонарроти действовал вне общества карбонариев Исследования Франковича окончательно подтвердили, на наш взгляд, справедливость этого последнего мнения.

Итак, П. Коллетта был лишь отчасти прав, когда утверждал, что неаполитанские изгнанники, эмигрировавшие в 1799 году и посвященные в орден иллюминатов в Швейцарии и Германии, в 1806 году занесли с собой его принципы и организационные формы в Королевство обеих Сицилий, создав здесь новое тайное общество. На самом деле иллюминаты проникли в среду масонов Неаполитанского королевства еще до Французской революции.

В действительности проникновение иллюминатско-эгалитарного направления в Южную Италию прошло три этапа. На первом этапе, который следует отнести к периоду до Французской революции, произошли уже отмеченные нами преобразования в масонском мире. На втором этапе (именно о нем говорит Коллетта) была создана новая тайная организация, остававшаяся некоторое время «слабой и незаметной». И лишь третий этап — не должно забывать об этом —

[1] Пагано ссылается на Баффи в своих «Considerazioni sul processo criminale», называя его «дражайшим господином Баффи», вместе с ним он искал убежища в Риме в 1798 году Последователи Вейсгаупта, иллюминаты Мюнтер и Баффи поддерживали (в Неаполе) тесные дружеские отношения с Филанджери и особенно с Пагано; это вытекает также из переписки Мюнтера с Дельфико. См. «Opere Complete» di M. Delfico, Teramo, 1902—1905, vol. IV. Особый интерес представляет в этой связи приведенное на стр. 155 письмо от ноября 1789 года, в котором Мюнтер сообщает, что занят переводом написанного Филанджери похвального слова в честь Томмази, и заканчивает следующим образом: «Прощай, дорогой и любимый Мелькиорре, шлю привет моим друзьям, коих я горячо люблю, особенно Баффи, который передаст это письмо тебе, а также Пагано и Караско Пачифико» Об активной роли, которую Пагано играл в ордене иллюминатов и в деятельности этого ордена в Королевстве обеих Сицилии, см F. C. C. H. Münter, F. Münter et Mindeskrift, Copenaghen, P. Haase og Sön, Leipzig, O. Harrassowitz, 1925—1944, 7 voll, in 8 t.

[2] „I Piffari di Montagna", Faenza, 1822, p. 70—71.

[3] C. Francovich, op. cit., p. 575.

имел решающее значение, ибо только тогда сторонникам иллюминатско-эгалитарного направления удалось опереться на *массы* и одновременно связать это широкое движение с антинаполеоновской борьбой в Европе, в которую оказались глубоко вовлеченными великие державы.

В общем, в мучительном вопросе о происхождении общества карбонариев самые различные мнения содержат, на наш взгляд, известную долю истины, ибо, желая установить некую определенную дату, следует точно уяснить, о чем, собственно, идет речь. Если об идеях и практическом опыте, на основе которых было создано общество карбонариев, тогда эту дату следует отодвинуть далеко назад; если о времени слияния этих идей и этого опыта с италофильскими настроениями некоторых оказавшихся в Италии французских офицеров (бывших якобинцев, примкнувших затем к братству угольщиков во Франш-Конте), то в таком случае дату возникновения общества карбонариев следует действительно отнести примерно к 1807 году; если о первых практических шагах общества карбонариев, то тогда Де Аттеллис, Музолино, Де Сиво и Дито, возможно, правы, считая, что впервые карбонарии дали о себе знать в Калабрии в 1808 году[1]; если, наконец, о его широком распространении во всем Королевстве обеих Сицилий, то тогда дата, приводимая Буонарроти,— 1812 год — также не лишена основания[2].

[1] Сорига приводит несколько выдержек из работы Де Аттеллиса «L'Ottimestre Costituzionale» (опубликованной в Барселоне в 1821 году), рукопись которой хранится в фонде «Miscellanea De Attellis», находящемся в Отделе рукописей Национальной библиотеки в Неаполе. Сорига не использует, однако, более поздних автобиографических заметок Де Аттеллиса «I miei casi di Roma», которые представляют известный интерес, поскольку содержат сведения о деятельности общества карбонариев в Неаполитанском королевстве. В «L'Ottimestre Costituzionale» Де Аттеллис пишет, что общество карбонариев было создано в Неаполе в 1810 году, а затем с быстротой молнии распространилось по всему королевству, однако в его автобиографическом дневнике мы находим следующую запись, относящуюся к 1808 году «Король Жозеф вступил на испанский престол. Его не любили в Неаполе. Он правил, как деспот. Возникает и развивается в труднейших условиях .. общество карбонариев, добивающееся конституции, которое будоражит умы». В 1809 году Де Аттеллис записывает: «стал карбонарием»,— и прибавляет даже, что в «1809 году он противопоставил «Великому Востоку» с его французским ритуалом «Высший Шотландский Совет» и привлек в него самых решительных карбонариев». О Де Аттеллисе см. Nino Cortese, Le avventure italiane e americane di un Giacobino molisano Orazio De Attelis, в „Annali dell'Istituto Superiore di Magistero", Messina, 1934—1935.

[2] Самый факт, что Буонарроти назвал в качестве даты возникновения общества карбонариев 1812 год, служит еще одним доказательством (если только в нем есть необходимость) непричастности Буонарроти к организации и деятельности общества, о происхождении которого он был столь слабо осведомлен. Разве что только хотят предположить, что Буонарроти отвергал связь общества карбонариев (к которому он относился как к еретической тайной организации, опирающейся на ошибочные принципы) с масонской организацией иллюминатского толка, то есть с тем же самым источником, от которого вели свое происхождение и ортодоксальные организации — «Общество адельфов» и «Общество филадельфов». Во всяком случае, такое предположение нужно принять во внимание в качестве гипотезы, учитывая, сколь важное значение всегда имели бесконечные споры о правоверности той или иной тайной организации, возникшей по тем или иным причинам на общей масонской базе. Бесспорно, конечно, что, в то время как общество карбонариев и «Тугендбунд» выглядят как весьма близкие друг другу организации (с точки зрения их иллюминатского происхождения и того преобразования в антинаполеоновском и национально-патриотическом духе, которое оба они претерпели около 1807 года), «Общество филадельфов», напротив, носит обособленный, самостоятельный характер с точки зрения его организационной структуры, программы и идеологических принципов. Это общество носило на себе совершенно явный отпечаток влияния Буонарроти.

Но что, на наш взгляд, важно подчеркнуть, так это то, что соприкосновение антинаполеоновской военной оппозиции (Уде, Мале) и радикально настроенных представителей итальянских тайных обществ якобинского происхождения (Анджелони, Буонарроти) привело во Франции и в Пьемонте к организации «Общества адельфов», тогда как в Королевстве обеих Сицилий сближение якобинских и масонских элементов, участвовавших в движении во Франш-Конте, с неаполитанскими якобинцами, отправившимися в 1799 году в изгнание и вернувшимися на родину в 1806 году (после того как они сблизились с иллюминатами Швейцарии и Германии), привело к возникновению весьма отличной по своему характеру организации. И не потому, что человек, благодаря которому произошло это сближение,— Пьер Жозеф Брио, придерживался иных взглядов, а потому, что иными были социально-политические условия в Королевстве обеих Сицилий. Разумеется, мы не собираемся преуменьшать значение влияния Жозефа Брио на итальянских патриотов. Известно, что, еще находясь в Безансоне, Брио интересовался французской политикой в Италии, а с 1799 года он стал выразителем патриотических требований итальянцев в Совете пятисот. Бесспорный интерес представляют исследования Матьеза[1] и Годешо[2], которые, изучая вопрос происхождения

[1] A. Mathiez, L'origine franc-comtoise de la Charbonnerie italienne, в „Annales historiques de la Révolution française", 1928, p. 551—561

[2] См. J. Godechot, P. J. Briot et la „Carboneria" dans le Royaume de Naples, в „Calabria Nobilissima", 1958, № 35, p. 1—14.

общества карбонариев в Италии, привлекли внимание итальянских ученых к личности Брио [1]. В своей недавней работе Годешо использовал много убедительных материалов, и все же мы воздержимся от признания Брио основателем неаполитанского общества карбонариев. По-видимому, Брио был не «основателем» карбонарской организации в Неаполе, а как бы важным связующим звеном между французским и итальянским опытом; возможно, что он был даже решающим связующим звеном, однако это не исключает существования в Королевстве обеих Сицилий других точек соприкосновения между членами французских и итальянских тайных обществ. В этой связи, помимо указанных уже течений в мире тайных обществ, особого внимания заслуживают, бесспорно, многочисленные свидетельства о деятельности на Юге другого французского офицера — Жака Франсуа Мио [2].

---

[1] Еще до Матьеза и Годешо Б. Клавель указывал на Брио как на основателя неополитанской организации карбонариев (B. Clavel, op. cit., p. 379) В самом деле, он писал, что общество карбонариев .. «было основано около 1807 года в Неаполе государственным советником Брио, по образцу компаньонажа угольщиков, о котором мы говорили в предыдущей главе. Первоначально эта организация преследовала чисто филантропические цели, однако королеве Каролине (из Австрийского королевского дома), свергнутой с неаполитанского престола и нашедшей убежище в Сицилии под покровительством англичан, удалось побудить многих приверженцев карбонары (sic!) принять исключительно политическую цель, состоявшую в восстановлении на троне ее династии... Мюрат узнал об этом заговоре и, не имея возможности схватить подлинных виновников, решил разогнать все общество. Между тем в Калабрии объявилось несколько разбойников, и генералу Мене было поручено усмирить их, однако его истичной целью было расправиться с карбонариями. Сей жестокий человек, сообразуясь лишь со своими кровавыми инстинктами, далеко превысил данный ему точный приказ. Он пригласил к своему столу карбонариев, подозреваемых в приверженности к старому порядку вещей, и за десертом приказал их перестрелять... Мюрат имел в их лице самых непримиримых противников. Тщетно пытался он впоследствии привлечь их на свою сторону громкими обещаниями покровительства; они были слишком оскорблены и использовали полученную от него помощь лишь для того, чтобы энергично содействовать его падению. Фердинанд вернулся на неаполитанский трон в 1815 году, но будучи далек от намерения удовлетворить требования свободы, которую обещала карбонариям Каролина, он стал с невероятным ожесточением преследовать это общество, как носителя и пропагандиста революционных принципов Все венты или ложи были закрыты, их бумаги и книги преданы огню, и многие их члены исчезли за стенами тюрем Но вместо исчезновения карбонары эти суровые меры короля вызвали, напротив, новый подъем ее деятельности; ряды ее стали расти за счет всех недовольных, число которых вследствие действий правительства увеличивалось с каждым днем».

[2] См. P. Palumbo, Risorgimento Salentino, Lecce, 1911, p 164. Палумбо, ознакомившийся с богатыми материалами об обществе карбонариев, хранящимися в Государственном архиве Лечче, писал. «Общество карбонариев. было занесено в неаполитанский край генералом Мио в 1807 году или около этого времени и тотчас же невероятно разрослось, чему содействовала французская армия, офицеры которой стали самыми рьяными проводниками влияния общества. Один капитан из гарнизона в Капуе проповедовал в ложе франкмасонов необходимость воспитания низов в духе принципов свободы, утверждая, что эта задача должна быть поручена карбонариям, поскольку масоны уже неспособны выполнить ее. В 1811 году, по словам графа Марулли, из Милана в Неаполь прибыли два офицера, миссия которых состояла в том, чтобы добиться от правительства признания общества карбонариев. Они утверждали, что представляемое ими общество является лишь низшей ступенью франкмасонства, имеющей целью просвещать наиболее темные массы народа...»

Возможно, что один из первых очагов новой организации возник в 1807 году в Калабрии. Дито утверждает, что в провинциальном архиве Козенцы хранится писанная от руки книга, содержащая все протоколы военно-полевого суда, созданного с целью пресечения попытки реакционного восстания в 1806 году и порожденного ею бандитизма. Подписи некоторых офицеров — членов этого суда содержат три масонские точки (.·.), рядом с другими подписями поставлены знаки карбонарского ученика (...) или учителя (...) [1].

Калабрия, имевшая в то время большое стратегическое значение, стала объектом столкновения противоречивых интересов великих держав: Англии, которая совместно с неаполитанскими Бурбонами старалась преградить наполеоновской державе (роль аванпоста которой выполняло управляемое Мюратом Неаполитанское королевство) путь в Сицилию через пролив, и самой наполеоновской Франции, не только, разумеется, не желавшей допустить ослабления своих позиций в континентальной части Италии, но и энергично действовавшей в районе Мессинского пролива, стремясь по возможности прорвать линию дипломатических и военных заграждений Англии.

Только в таком, очень узком смысле надо понимать утверждение, что Англия стимулировала деятельность общества карбонариев в Неаполитанском королевстве, а в Сицилии попросту создала его с согласия Бурбонов и в соот-

---

[1] O. Dito, Massoneria, Carboneria ed altre società segrete nella storia del Risorgimento italiano, p. 67; см. также U. Caldora, Calabria napoleonica (1806—1815), Napoli, 1960. Кальдора, напротив, оспаривает наблюдения Диго и утверждает, что, внимательно изучив эти протоколы в Государственном архиве Козенцы, он пришел к выводу, что эти знаменитые точки представляют собой всего-навсего «искусственные графические знаки, предназначенные для украшения подписи» (p. 438). Однако нам это кажется сомнительным. Вряд ли Дито, специалист по истории масонства, мог ошибиться в определении этих знаков.

ветствии со своими политическими планами в Италии и Европе[1]. Однако нет такой силы в мире, которая могла бы стимулировать то, чего не существует в традициях и в самой структуре общества, нации, народа. Все дело в том, что, когда общество карбонариев развернуло борьбу против наполеоновских властей, действуя более или менее сообща со всем подпольным радикальным движением в Европе, Англия попыталась, соблюдая осторожность, использовать эти силы в собственных целях[2].

Попытку подчинить общество карбонариев своему влиянию и использовать его в собственных интересах предпринял также Мюрат. Но эта попытка могла увенчаться успехом лишь в том случае, если бы Мюрат, лелеявший мечту о независимости, выступил бы против наполеоновского владычества. В противном случае он должен был бы вскоре повернуть назад и постараться подавить это движение, которое намеревался поддержать в первый момент. Именно так все и случилось в действительности. Во всяком случае, влияние международной политики на развитие общества карбонариев носило второстепенный и изменчивый характер, хотя в известные моменты карбонарии использовали международную ситуацию в своих интересах (в определенных обстоятельствах в эту сложную игру вступила также Россия, о чем мы уже говорили в другой работе[1]).

Но ведь между таким положением дел и утверждением (которое кое-кто отстаивал), будто общество карбонариев создали и поддерживали либо Англия, либо министр полиции Мюрата, либо Мария Каролина, существует огромная разница!

Если общество карбонариев зародилось именно в Королевстве обеих Сицилий и, пережив здесь бурное развитие, распространилось, можно сказать, в мгновение ока почти по всей Южной Италии, вплоть до самых отдаленных деревушек Чиленто и Калабрии,— то только потому, что оно было органически связано с историей Италии и отвечало назревшим социальным потребностям, причем не итальянского общества вообще, а именно Королевства обеих Сицилий. В силу этого нам представляется неверным мнение — его придерживается известный исследователь тайных организаций Р. Сорига,— согласно которому деятельность общества карбонариев была эффективной только в той мере, в какой «оно попеременно становилось longa manus[2] англичан и Бурбонов, членов династии Габсбургов — д'Эсте и римских католиков в их настойчивых попытках взбунтовать полуостров против наполеоновской Франции»[3].

Конечно, такие попытки и такое влияние имели место, но не в этом главное. Карбонарскому движению потому удалось приобрести огромное значение, что оно отвечало историческим и социальным потребностям, выявившимся в результате более чем тридцатилетней борьбы в Неаполитанском королевстве, потому, что оно было связано с ними своими корнями и черпало в них свои жизненные силы. Когда же карбонарское движение окрепло и усилилось, великим державам пришлось, понятно, считаться с ним в своей политике и они попытались тем или иным образом вмешаться (как это всегда случается) скорее для того, чтобы увести его в сторону, если вообще не подавить, нежели для того, чтобы уси-

---

[1] См. в этой связи B. Cappelli, Moti carbonari in Calabria dal 1808 al 1815, в «Bollettino della Società di Storia Patria per le Calabrie», anno I, № 3—4, 1944. Каппелли утверждает, что в 1812 году, когда Мюрат был занят русской кампанией, карбонарии сочли, что наступил благоприятный момент продемонстрировать силу. «К тому же,— пишет Каппелли,— появился еще один мощный стимул к действию. Речь идет о дарованной сицилийцам новой, менее аристократической конституции вместо их стародавней — акт, на который король Фердинанд пошел неохотно, под нажимом Англии, не одобряя его в глубине души. Влияние этих двух одновременных, или почти одновременных, событий на демократическое крыло карбонариев Калабрии проявилось в том, что они отказались от всякой поддержки французского правительства и начали действовать в интересах Бурбонов и во имя тех демократических и либеральных институтов, которые уже были у сицилийцев и о которых они также мечтали. Эти причины привели, таким образом, к изменению направления деятельности общества карбонариев в Калабрии; вместе с тем количество вент и численность их рядов стали быстро расти» (p. 10).

[2] Rosselli, op. cit. (см. примечания к стр. 54 и 102). Росселли показал, насколько более умеренным, чем это принято считать, был интерес, проявленный Англией к обществу карбонариев. В самом деле, свидетельства о шагах, предпринятых лордом Бентинком в этом направлении, относятся к более позднему времени и говорят скорее о желании собрать информацию, чем о конкретных практических мерах. Бумаги лорда Бентинка, изученные Росселли, отнюдь не подтверждают тезиса о том, что общество карбонариев возникло непосредственно в результате усилий англичан или, во всяком случае, опиралось на активную поддержку Англии. Среди карбонариев были люди, рассчитывавшие на помощь Англии, так же как некоторые из них надеялись на помощь России, но эти державы, хотя они, конечно, никогда открыто не заявляли о беспочвенности таких надежд, по существу, ничего не сделали для того, чтобы оправдать их.

---

[1] См. Дж. Берти, Россия и итальянские государства в период Рисорджименто, М., 1959.

[2] Буквально — длинная рука (*лат.*); здесь — в смысле орудия, — *Прим. ред.*

[3] R. Soriga, op. cit., p. 69.

лить подлинные тенденции его развития Не следует также преувеличивать степень влияния того или иного иностранного конспиратора. Хотя Годешо привел веские доказательства того, что деятельность П. Ж. Брио в Кьети и в Калабрии сыграла известную роль (вероятно, не меньшее влияние оказали также Мио и другие французские офицеры, действовавшие в те годы на общественно-политической арене Королевства обеих Сицилий), все же брошенные ими семена не дали бы всходов, если бы почва не была уже подготовлена.

Более проницательные карбонарии отчетливо сознавали, что их движение имело глубокие исторические и социальные предпосылки. Вот, например, что говорилось в карбонарском кодексе (Carboneria Codice), датированном 1820 годом, Лондон (?), который сохранился среди бумаг Неаполитанского общества отечественной истории: «Наше политическое возрождение началось в 1799 году — в году знаменательном и в то же время роковом для неаполитанской нации Он знаменателен, ибо именно тогда были заложены подлинные и прочные основы свободы отечества, и если бы не смешали святого имени свободы с распущенностью, то, быть может, в этот час... Во время того ужасного исступления мы потеряли самый цвет людей. Наше великое конституционное здание зиждется, несомненно, на невосполнимой потере Чирилло, Пагано, Руссо .. доблестных героев с кристально чистой душой, с христианским сердцем». Далее кодекс призывал никогда не забывать об их примере и «не дать обольстить себя тем, кто в случае войны попытался бы с помощью обещаний помилования или прощения и тому подобных посулов» уготовить патриотам «ту же участь, которая постигла мучеников республики в 1799 году» [1].

Вполне понятно, что историк, изучающий первые шаги общества карбонариев в округе Нола, вновь обращается к 1799 году, утверждая, что «...развернувшиеся в 1799 году события породили раскол среди жителей этого округа и оставили после себя ненависть и жажду мести И как мы увидим, первыми из вступивших в общество карбонариев были два старых якобинца времен 1799 года: врач Антонио Меркольяно (он был приговорен к 15 годам изгнания и вернулся в Королевство обеих Сицилий после заключения мира во Флоренции в 1801 году) и мясник Винченцо Д'Алессандро, который возмущал народ «крамольными речами» Позже в общество вступили и другие якобинцы, например Паскуале Мундо и Дженнаро Граньяно (последний родом из Турина), которых генеральный инспектор провинций Терра ди Лаворо и Салерно — советник Маррано исключил из числа первых амнистированных 23 апреля 1800 года...» [1].

Достаточно было появиться одному энергичному человеку вроде аббата Луиджи Миникини, который возвратился в Нолу после нескольких лет скитаний по Неаполитанскому королевству и за его пределами, чтобы новая революционная организация окончательно оформилась, а ее деятельность приобрела широкий размах Подобная картина с небольшими отличиями наблюдалась повсюду — в Калабрии, Лукании, Терра д'Отранто, Терра ди Лаворо, в Чиленто.

Но, пожалуй, с наибольшей убедительностью, проницательностью и полнотой историческая связь общества карбонариев с демократическим движением 1799 года очерчена в первом номере «Аннали дель патриоттисмо» — политической и литературной газеты, которая стала выходить в Неаполе с 28 июля 1820 года «Идеи демократов 1799 года,— читаем мы в ней,— взбудоражили наших студентов и мыслящих людей Народу же пришлась не по вкусу та свобода, о которой толковали *эмпирики:* они ценили свободу не потому, что она обеспечивает благо наций, а как средство устроить жизнь на манер греков или римлян, с консулами и трибунами, с ареопагитами и номотетами; стало быть, их желания были скорее плодом воображения, нежели серьезного расчета. Цицерон, Тит Ливий, Фукидид, Ксенофонт, у которых были почерпнуты химерические идеи свободы, никогда не поверили бы, что они стали причиной наших безумий Роковая судьба нашей демократии заставила осознать необходимость сближения с народом. Это привело к тому, что число либералов возросло, а их идеи выправились. Всякому ясно, что земледельцу незачем толковать об эдилах, квесторах, сенате, совершенных правах, общественных договорах и т д ; чтобы он понял вас, с ним нужно говорить о том, что его волнует. В результате, как это обычно часто случается, те, кто обучает, сами приобретают знания. И вот, говоря о практических вещах, пришли к правильным мыслям и, не замечая того, усовершенствовали политические идеи. Потребности, нужды — вот источник всех замыслов. Уже давно вольные каменщики смутили разум большей части Европы, скрытно сплотив воедино великое

---

1 SNSP, S. V. XIII, D, 36 (2).

1 M Manfredi, Diffusione della Carboneria nel Regno di Napoli e suoi primi sintomi di vita nel circondario di Nola, в „Studi di storia napoletana in onore di Michelangelo Schipa", p. 720—721.

множество воль посредством дисциплины, литургий и тайны. Итак, необходимо было упростить символику этого братства, сделав ее более доходчивой Ее сократили, придали ей более доступную форму, и так возникло общество карбонариев».

Автор статьи (очевидно, участник революционных событий 1799 и 1820 годов) утверждает, что сильной стороной общества карбонариев был отнюдь не его тайный характер, ибо это невозможно для широкой народной организации; сила карбонариев состояла в «стремлении к новшествам» Зарождение общества карбонариев автор статьи относит, по-видимому, к более раннему времени, если, с его точки зрения, в 1813 году начался уже период упадка карбонарской организации «Тогдашнее правительство — не известно, по какой причине,— решило запретить это общество»; однако запрет лишь придал этой организации, после 1813 года, новые силы и стимулировал ее деятельность.

Во втором номере (от 5 августа 1820 года) та же газета вскрывает самую суть карбонарского движения, когда утверждает, что его сила заключалась не в тайне и не в заговорщической деятельности, а в стремлении учесть потребности народных масс: «Подлинно народные революции могут совершаться не иначе, как в результате гармонического слияния потребностей, поскольку целые нации не могут вступить в заговор.»

Небезынтересно отметить, что эта потребность в поддержке народных масс столь остро ощущалась в 20-х годах бывшими свидетелями событий 1799 года, что они даже чисто философские проблемы трактовали не в теоретическом плане, как проблемы поисков истины, а с практической точки зрения, как средства осуществления социальной реформы. Так, например, немецкую классическую философию отвергали не потому, что сомневались в ее истинности, а потому, что считали ее непонятной для народа «Нам кажется, — писала эта газета в номере от 2 сентября 1820 года,— что германские философы и системы могли бы скорее привести к религиозной реформе, чем к политической, ибо эти умозрительные построения совершенно оторваны от действительности Поэтому если они и имеют известный успех у тех, кто настроен мистически, то подобное невозможно среди народных масс, которые никогда не смогут подняться столь высоко, чтобы узреть те прекрасные призраки, коими довольствуются последователи Канта, Фихте и Шеллинга ..»

Но каковы же были те социально-экономические причины, которые придали карбонарскому движению жизненность и силу? О них говорит Де Аттеллис на нескольких страницах своей работы «Восемь месяцев конституционного правления в Королевстве обеих Сицилий» («L'Ottimestre Costituzionale delle Due Sicilie»), рукопись которой Сорига не счел нужным опубликовать «Граждане, выступая в первом своем качестве, то есть колонов на баронских землях, вносили собственникам довольно умеренную плату, добиваясь то ее отстрочки, то ссуды семенами, а то и уменьшения арендных платежей в случае неурожая Начав обрабатывать эти же земли, распределенные между ними в качестве общинных земель, они оказались в самом плачевном положении из-за тяжести поземельных налогов, неумолимости сборщиков и невозможности добиться каких бы то ни было льгот при недороде. Немногие земли, оставшиеся в руках баронов, а также все деревенские или городские строения любого собственника оказались в запущенном состоянии из-за невозможности выплачивать налог с недвижимости Много виноградников и оливковых насаждений, плантаций и производственных построек было заброшено, и часто даже в самых плодородных районах плуг больше не взрыхлял борозды Мелкие землевладельцы в конце концов стали спешно сбывать свои участки или же подвергались насильственной экспроприации ввиду непомерной задолженности. В результате вся земля постепенно переходила в руки немногих богачей, так что та самая система, которая считалась верхом мудрости, поскольку с ее помощью намеревались сделать всех граждан государства собственниками, привела к самому непомерному и чудовищному неравенству собственности.. »[1]

---

[1] Miscellanea De Attellis, Fondo Manoscritti della Biblioteca Nationale di Napoli, V A 48, p 23 Де Аттеллис, отличавшийся весьма оригинальным умом, принадлежал к самым высоким степеням в мире масонских и тайных обществ Неаполя Он прожил долгую жизнь, и еще успел в 1849 году (прибыв по приглашению Чиккарелли в Рим) предоставить себя в распоряжение Мадзини и триумвиров Любопытно, что на стр 28—29 уже цитировавшейся нами рукописи он доказывает, что общество карбонариев ведет происхождение от старого шотландского ритуала и представляет собой «масонскую организацию с двумя степенями и упрощенным ритуалом, приспособленную к уровню понимания последнего из крестьян, оно целиком основано на евангельской доктрине и разделено на венты, по двенадцать членов в каждой» Далее Де Аттеллис пишет «Эта народная организация мгновенно распространилась от Тронто до Лилибео Легко представить себе все последствия ее существования и принесенное ею благо, особенно тем простым людям, населяющим дикие склоны Апеннин, которые тем более были восприимчивы к свету и жаждали его, что их, наделенных от природы живым умом, неизменно старались обречь на прозябание в самом страшном невежестве».

Социальное противоречие, наложившее отпечаток и на общество карбонариев, вызывалось следующим фактом: в то время как положение бедных слоев крестьянства в годы французского владычества не изменилось к лучшему — по причинам, отмеченным также Де Аттеллисом (при Мюрате, писал он, «хотели, чтобы человек был одновременно просвещенным и рабом, что равносильно желанию заставить солнце светить в полночь»),— руководящая группа карбонарской организации (каковы бы ни были ее катехизисы и те конечные цели социального равенства, которые она преследовала) состояла как раз из новых, наиболее состоятельных землевладельцев, то есть именно из тех, кто концентрировал в своих руках всю ту мелкую земельную собственность, которая возникла в результате раздела общинных земель, а затем была продана за бесценок. Это значит, что полуфеодальная и латифундистская земельная собственность все больше обнаруживала тенденцию к превращению в собственность буржуазную, причем этот процесс шел не только за счет перехода капиталов из рук дворян и духовенства в руки нового класса землевладельцев, но и в результате концентрации многих тысяч мелких наделов, мелкой собственности, появившейся благодаря разделу общинных земель, которая не имела шансов на продолжительное существование.

Так складывался слой новых собственников, который, с одной стороны, вытеснял дворянство из его традиционного землевладения и, следовательно, боролся не только за экономическое господство, но и за политическую гегемонию в государстве, а с другой — грабил и притеснял крестьянскую бедноту и батраков. И все-таки, угнетая и разоряя крестьянские массы, этот новый слой землевладельцев ясно сознавал, что необходимым условием победы в борьбе с абсолютистским государством является если и не прямая поддержка народных масс, то по крайней мере их нейтрализация, дабы события не приняли снова такого оборота, как в 1799 году, когда абсолютизм нашел опору у низов, которые считали своим прямым врагом в гораздо большей мере якобинцев, чем бурбонскую монархию.

Эти обстоятельства обусловили классовую неоднородность общества карбонариев, неопределенность и колебания его общей линии, противоречие между его философскими и идеологическими принципами естественно-правового толка, носившими крайне радикальный характер и предполагавшими возврат к законам природы и утверждение равенства, и крайне осторожной и тяготевшей к компромиссу конкретной политикой этой организации, которая (если отвлечься от катехизисов и обратиться к фактам) на деле не шла дальше борьбы за конституционные реформы, которые позволили бы новым собственникам, то есть буржуазии, занять подобающее им отныне место в государстве путем компромисса со старыми правящими классами, которых они хотели не отрешить от власти, а лишь оттеснить на задний план. Таковы причины внутренних противоречий общества карбонариев, которые, несмотря на крайне радикальные декларации, парализовали его деятельность [1].

---

[1] См. N. Cortese, La prima rivoluzione separatista siciliana, 1820—1821, Napoli, 1951. По поводу разногласий, разделявших мюратистов и карбонариев, и отсутствия подлинной политической программы у общества карбонариев Н. Кортезе пишет: «Вряд ли может вызвать сомнение тот факт, что у карбонариев не было органической программы, лишенные традиций (ибо общество карбонариев в том виде, как оно возникло до 1815 года, будучи враждебно настроено по отношению к мюратизму, являлось скорее орудием, используемым Бурбонами и англичанами в борьбе против французов, чем организацией, нацеленной на создание нового общественного устройства) они не умели или не могли создать ее». Отметив, что общество имело больше приверженцев в провинции, чем в столице, и в большей мере среди мелкой буржуазии и ремесленников, чем среди высших сословий, Кортезе пишет: «Оно добивалось проведения в жизнь уже провозглашенных реформ, прежде всего — упразднения феодализма и нового распределения земельной собственности; однако все эти идеи не нашли ясного и органического выражения в политической программе, оставаясь, скорее всего, устремлениями, которые менялись в зависимости от людей, а не под влиянием обстановки в отдельных центрах. Программа так и не была выработана, ни когда общество значительно умножило численность своих рядов, ни даже после одержанной победы» (р. 45—47). Выводы Кортезе, безусловно, имеют под собой основание: истина заключается в том, что общество карбонариев не столько *не умело,* сколько *не могло* выдвинуть последовательной и единой политической программы, ибо оно опиралось на классы, которые добивались различных, даже противоположных целей. Руководящее ядро карбонариев стремилось отстоять и расширить главенствующие позиции новых буржуазных собственников в политической и экономической сфере в ущерб дворянству и абсолютистской власти, но для того, чтобы добиться в этом деле успеха, оно нуждалось в поддержке мелкой ремесленной буржуазии и крестьянских масс, то есть речь шла о том, чтобы лишить абсолютизм и санфедистскую организацию их традиционной опоры. Но одновременно эта руководящая группа старалась не допустить того, чтобы требования беднейших слоев, примыкавших к обществу, превысили определенный предел, не допустить того, чтобы бедное крестьянство захватило доменальные земли и наложило руку на крупную земельную собственность. Отсюда вытекало противоречие между карбонарскими катехизисами с их крайними требованиями равенства (во всяком случае, они вдохновлялись идеями христианской добродетели и братства) и конкретной практической деятельностью общества карбонариев, которую определяли на деле иные принципы и иные интересы.

И все же общество карбонариев было новым явлением в истории Королевства обеих Сицилий, и не только благодаря высоким идеалам, утвержденным еще ранее его предшественниками,— идеалам, которые впоследствии эта организация восприняла и включила в свои катехизисы, опиравшиеся на принципы эгалитаризма и естественного права. Оно было новым явлением и потому, что это была первая в истории Южной Италии прогрессивная по своему характеру политическая организация, которая широко открыла двери перед народными массами и, как бы то ни было, вывела их на политическую арену. Тем самым был сделан шаг огромного значения, несравненно более важный, чем это кажется тем, кто замечает лишь слабые стороны общества карбонариев.

Иностранные наблюдатели поражались столь широкому союзу интеллигенции и народа в такой отсталой и отягощенной предрассудками стране [1] И даже некоторые демократы на Юге, в том числе и такие, которые слыли радикалами, как, например, Джузеппе Риччарди, не смогли до конца понять политическую значимость этого явления. Тот же Риччарди считал, что общество карбонариев «принесло большую пользу делу Италии тем, что собрало и заново перестроило силы либералов, а также внедрило революционные идеи в армию и народ»; оно заслуживало похвалы, ибо участие в этой организации «оказало весьма благотворное влияние на нравственное чувство народа .. было покончено со многими скверными обычаями, и простолюдины научились сознавать некоторые из своих самых благородных и высоких желаний и стремлений» [2]. Но что сделали руководители карбонарского движения, чтобы удовлетворить эти стремления и желания, выражавшие самые насущные и реальные потребности масс?

Итак, это конституционалистское движение, казалось, добилось в первый момент легкого успеха, но когда против него ополчились реакционные силы Европы, оно обнаружило свою внутреннюю слабость, ибо старые правящие слои, первоначально парализованные страхом, получив надежную поддержку, вновь обрели смелость и силу; что же касается городских и сельских народных низов, то они не вступили в борьбу, ибо практически не получили ничего, что стоило бы защищать.

Наиболее проницательные замечания высказывает по поводу неаполитанской революции 1820—1821 годов Гульельмо Пепе: «В течение пяти дней без всякого кровопролития, без малейших беспорядков пала абсолютистская власть многовековой давности, низвергнутая руками тех самых простолюдинов, которые были ей главной опорой». «Как свидетельствует история Южной Италии, — продолжает Пепе, — это был первый случай, когда ее народы, столь чуждые друг другу, слились воедино, выступив в поддержку великого дела их возрождения». «Полет фантазии так увлек меня,— признается Пепе,— что я разговаривал, как с живым, с Винченцо Руссо...» [1] Все это так, но какие конкретные перспективы открылись перед этими простолюдинами, которые в 1799 году выступили совместно с санфедистскими войсками, а теперь присоединились к революции?

От того же Пепе ускользнула, по существу, причина неожиданного поражения революции, получившей вначале столь широкую поддержку. В самом деле, революция потерпела поражение не только потому, что ее подавлению содействовали два конгресса самых могущественных государей Европы, подлые действия некоторых иностранных послов, поправших право народов, французские и английские эскадры, угрожавшие с неаполитанского рейда, и, наконец, австрийская армия, которую готовы были поддержать русские и прусские войска [2]. Конечно, силы, выступившие против неаполитанской революции, были могущественными, но она могла погибнуть сражаясь. На деле же революция окончилась без борьбы, потому что задача общества карбонариев в представлении буржуазии должна была состоять только в нейтрализации масс, дабы помешать им оказаться среди отчаянных санфедистов, а не в том, чтобы повести массы на борьбу за их интересы.

Если бы дело обстояло иначе, нельзя было бы объяснить, почему движение, столь сильное вначале, обнаружило затем такую поразительную слабость. Эта, казалось бы, единодушная мирная и повсюду торжествовавшая революция при первых же трудностях потерпела полный провал.

---

[1] См. „Mémoires sur le Royaume de Naples par le Comte Grégoire Orloff", avec des notes et additions par Amary Duval, Paris, 1819, vol. II, p. 421.

[2] G. Ricciardi, Conforti all'Italia ovvero preparamenti all'insurrezione, Parigi, 1846, p. 42.

[1] G. Pepe, Memorie, vol. I, p. 401.

[2] См. G. Pepe, op. cit., p. 411; M. Carrascosa, Mémoires historiques, politiques et militaires sur la Révolution du Royaume de Naples en 1820 et 1821, Londres, 1825; о классовых отношениях см. также L. Blanch, Scritti storici, Bari, 1945, vol. II, p. 115—116.

И это случилось, конечно, не потому, что массы были еще слишком темными (как полагали некоторые политики из буржуа) и не поняли, что представляла собой конституция и почему за нее нужно бороться. «Карраскоза и Коллетта,— говорит Г. Пепе в своих «Мемуарах»,— пишут, что простолюдины, как карбонарии, так и не принадлежавшие к ним, не понимали, что́ она [конституция] представляет собой. К сожалению, они понимали это, ибо повсюду кричали: «Долой произвольные налоги!», «Долой незаконные аресты!» — и даже женщины громко подхватывали этот клич»[1]. Но буржуазия не решилась удовлетворить требования народных масс ни в 1820—1821 годах, ни в 1831, ни в 1848 году, ни даже позже, полагая, что в борьбе с абсолютизмом народ обязан оказать ей бесплатную поддержку,— именно это и обусловило внутреннюю слабость демократического движения.

Кто среди карбонариев принадлежал к *крайним элементам,* а кто — к *умеренным?* Принято проводить различие между карбонарской организацией в Салерно, занимавшей более передовые позиции, и более умеренной Центральной вентой в Неаполе. Подобное разделение в общем правильно, хотя не все крайние элементы находились в провинции Салерно и в Лукании (Франческо Мариа Гальярди, Доменико и Габриэле Абатемарко, Розарио Маккьяроли); такие люди, как аббат Миникини, Джероламо Арковито, маркиз Де Ателлис, священник Маттео Ферри, должны равным образом рассматриваться как крайне левые. Соларо делла Маргарита (в то время пьемонтский посол в Неаполе) в донесениях туринскому правительству не только настойчиво говорит о существовании таких более радикальных вент, вент «демагогов», но и упоминает об их планах перевезти королевскую семью в Мельфи, дабы она находилась там под надзором вооруженного народа. Соларо указывал также на трудности, с которыми столкнулось правительство при попытке разоружить эти венты, стоявшие на более передовых социально-политических позициях, чем венты умеренных либералов, сплотившихся вокруг бывших мюратистских офицеров и наместника. Словом, эти донесения подтверждают, насколько глубоким и серьезным был внутренний раскол, наметившийся в недрах карбонарского движения. Впрочем, Сорига также придает большое значение этим внутренним противоречиям, утверждая в заключение своей работы о революции 1820 года в Неаполитанском королевстве, что ей «неизбежно было суждено потерпеть поражение, ибо она была подорвана внутренней братоубийственной борьбой отдельных фракций»[1]. Весьма знаменательна аналогия, которую Сорига проводит в этой связи между внутренними расхождениями в обществе карбонариев и борьбой группировок в испанской революции (умеренных различных оттенков и комунэрос). Одним словом, сфера действий крайних элементов, даже если их наиболее активный центр находился в провинции Салерно, не была ограничена географическими рамками, поскольку эти элементы были рассеяны в какой-то степени по всему королевству. Недавно Франкович обратил внимание историков на радикально настроенных неаполитанских карбонариев Гульельмо Паладини, Сальваторе Веккьярелли и Паскуале Маэнца, арестованных при попытке осуществить те планы, о которых с тревогой говорил Соларо делла Маргарита в своих депешах пьемонтскому правительству. «Арестованные,— пишет Франкович,— принадлежавшие к высшим степеням общества карбонариев, впоследствии приняли участие в гражданской войне в Испании, а затем эмигрировали и обосновались в Лондоне, где основали знаменитую венту, развернувшую активнейшую деятельность. Симптоматично, что один из них, Сальваторе Веккьярелли, после 1830 года стал в Париже правой рукой Филиппо Буонарроти в его новой тайной организации»[2].

Конечно, позиции крайних элементов были, по-видимому, более сильны в провинции, чем в самом Неаполе. Но поскольку речь идет о различиях между крайними и умеренными, нужно учитывать одно обстоятельство, отмеченное автором «Воспоминаний о тайных обществах Южной Италии и особенно об обществе карбонариев» («Memorie sulle società segrete dell'Italia meridionale e specialmente sui Carbonari»), который писал: «Старые члены начали относиться с презрением к новым; их обманула и разочаровала действительность, весьма отличавшаяся от тех надежд, которые они так долго лелеяли» (p. 117). Это расхождение подтверждают также донесения такого проницательного наблюдателя, каким был, бесспорно, Соларо делла Маргарита. Он также от-

---

[1] G. Pepe, op. cit., p. 390.

[1] R. Soriga, Le Società segrete, l'emigrazione politica e i primi moti per l'indipendenza, p. 92.

[2] C. Francovich, Idee sociali e organizzazione operaia nella prima metà dell'Ottocento, Milano — Roma, 1959, p. 43—44. Франкович цитирует „Memoria dell'avvocato D. Carlo Quarto nella causa dei tre arrestati Guglielmo Paladini, Salvatore Vecchiarelli, e Pasquale Maenza", s. d. (Napoli, 1820).

мечал, что «необходимо проводить различие между карбонариями, которые были уже таковыми к июлю, и теми, кто примкнул к ним после этого месяца. К последним нужно отнести немало людей, вступивших в общество под влиянием страха, моды, настроения или побуждаемых соображениями выгоды; среди них были дворяне и лица, выделяющиеся своим происхождением и культурой. Что же касается первых, которые суть истинные революционеры, то в оказавшихся у меня в руках различных списках, я встретил мало знакомых имен. Среди прочих карбонарских бумаг в моем распоряжении находятся протоколы заседания Великого собрания Республики Восточной Лукании; среди 182 подписавшихся депутатов от множества вент провинции Принчипато Читра нет ни одного, который принадлежал бы к знатной фамилии» [1]. В другом донесении от 11 ноября Соларо указывает, что священники (речь идет о низшем духовенстве, сохранявшем тесные связи с массами и в известном смысле представлявшем низы) принадлежали к самым радикальным элементам; будучи поставлены перед альтернативой либо пойти на войну, либо подчиниться диктату иностранных держав, они «единодушно высказали мнение, что следует сохранить в целостности испанскую конституцию, либо погибнуть под руинами отечества» [2].

Исходя из классового характера общества карбонариев, есть все основания полагать, что даже среди карбонариев, вступивших в общество *до* июля, также не было единства в отношении его целей. Кроме того, и многие карбонарии из числа старой гвардии склонны были рассматривать призыв к крестьянским массам лишь как тактическое средство. В упомянутом донесении в Турин Соларо писал: «Внутри Королевства их (карбонариев) самоуправство стало совершенно невыносимым. Я получил от некоторых корреспондентов из провинции Отранто и Бари сообщения, совпадающие с тем, о чем мне говорят все первые люди страны, а именно что члены тайных обществ хозяйничают в городах и селах и угнетают население. То, что я говорю о спокойствии, может быть сказано и об энтузиазме по поводу новой конституционной системы и готовности защищать ее. Хотя без конца восхваляют национальный дух, остается фактом, что большинство с самого начала относилось враждебно к этой системе, а многие, разочаровавшись в утвердившемся порядке вещей, который не соответствует ожиданиям, охвачены теперь безразличием. Мужики, единственные, кто встал под знамена, сделали это под давлением угроз, и они готовы разбежаться в первом же бою. Не лишено вероятности, что в случае кризиса они повернут оружие против тех, кто вложил его им в руки...» [1]

Далее Соларо доносил, что, «имея возможность читать в оригинале некоторые наиболее секретные документы... главных вент», он пришел к выводу, что общество карбонариев не имеет «почти никакого отношения к другим обществам и к вольным каменщикам, символы и ритуалы которых оно весьма неудачно скопировало; печать глупости и невежества лежит на этом поистине народном обществе, стремящемся развратить самые низшие классы и обмануть их, ибо, хотя имя добродетели поминается на каждом шагу, не вызывает никакого сомнения, что в своей основе карбонарская доктрина лишена какой бы то ни было добродетельной и филантропической цели. Члены общества карбонариев всегда останутся презренными бунтовщиками, ниспровергателями всякого морального и общественного начала» [2].

Хотя воззрения Соларо в молодые годы были не столь предвзятыми, все же ему не дано было увидеть связь между этими «мужиками», между этим «поистине народным обществом», опиравшимся на «самые низшие классы», между этими «презренными бунтовщиками, ниспровергателями всякого морального и общественного начала» и тем фактом, что возглавляемое карбонариями движение всерьез поставило проблему национального единства, причем в такой политической форме, которая могла представлять интерес также и для отсталого, дворянско-аристократического Пьемонта. В самом деле, 17 ноября 1820 года он писал в донесении: «Те, кто питают надежду, что они смогут долго вершить делами, обнаруживают твердое намерение распространить революцию на все другие части Италии, дабы максимально гарантировать длительное существование нового режима, а также тешат себя надеждой, что им удастся вырвать итальянские провинции Ломбардии и Венецию из-под австрийского господства. В их расчеты входит установление в будущем союза с нашим правительством, которое они считают наиболее заинтересованным и наиболее способным содействовать осуществлению великого итальянского предприятия — создания двух

[1] Archivio di Stato di Torino (AST), corrispondenza Ministri, m. 44, n. 377.
[2] AST, corrispondenza Ministri, m. 44, n. 394.

[1] AST, corrispondenza Ministri, m. 44, n. 394.
[2] AST, corrispondenza Ministri, m. 44, n. 394.

королевств — северного и южного. Менее сдержанные среди этих новаторов уже говорят об этом, как о деле, не представляющем особых трудностей. Если последующие события приведут к упрочению нынешней системы, она, несомненно, ревностно займется этим предприятием и ни за что не откажется от намерения убедить наш Двор действовать сообща с этим королевством и при первой же благоприятной возможности объединить усилия против австрийской державы» [1].

Но довольно об этом. Необходимо только подчеркнуть, что опыт революции 1820 года также не помог демократам Юга занять более радикальные позиции в самых существенных вопросах, не заставил их ни в 1831, ни в 1847—1848 годах отнестись принципиально по-иному к насущным проблемам революционной борьбы.

Так, например, Риччарди, которого считают представителем крайнего крыла демократов, в уже упомянутой нами работе (относящейся к 1844—1845 годам) писал: «В нашей стране простолюдины очень послушны голосу просвещенных классов, и у нас, конечно, невозможно то, что мы наблюдали недавно в Испании и Португалии, где отнюдь не малая часть народа, главным образом сельское население, выступила на стороне либо дон Карлоса, либо дон Мигела. Напротив, на полуострове как в 1821, так и в 1831 году ни один человек, не то что среди народа, но и среди черни, не взялся за оружие, чтобы поддержать тиранию. У нас, повторяю, люди из наиболее просвещенных слоев крайне легко ведут за собой простолюдинов» [2].

Руководствуясь подобной теорией, как мог проявить себя Риччарди во время революции 1848 года в Калабрии? К чему могла привести в Калабрии эта революция, если не к угасанию народного энтузиазма и к поражению, аналогичному тому, которое имело место в 1820 году? [3]

[1] AST, corrispondenza Ministri, m. 44, n. 399.

[2] G. Ricciardi, op. cit., p. 18.

[3] То, о чем умалчивает, однако, Риччарди и что имеет важнейшее значение для понимания позиции народных масс до 1848 года, состоит в следующем: если не вызывает никаких сомнений, что «как в 1821, так и в 1831 году ни один человек, не то что среди народа, но и среди черни, не взялся за оружие, чтобы поддержать тиранию», то столь же неоспоримо, что в 1837 и 1844 годах позиция народных масс в Калабрии изменилась, причем именно потому, что их заставил разочароваться опыт прошлого. В этой связи О. Дито (O. Dito, La rivoluzione calabrese del 1848, Catanzaro, 1895, p. 53) пишет: «Выступления в Калабрии в 1837 и 1844 годах ограничились узким кругом немногих энтузиастов, чересчур уверовавших в поддержку народа. Ничего не сделав в интересах народа, они зато преуспели в том, чтобы восстановить его против себя. Народ, который даже после 1820 года принимал столь активное участие в деятельности общества карбонариев и в революционной борьбе, отныне стал отождествлять карбонариев с бесноватыми, с убийцами, ему мерещились таинственные сборища, и он приписывал им причины всяческих несчастий...» В 1848 году народные массы вновь поднялись в надежде на раздел домениальных земель, и снова им пришлось разочароваться в политике демократических руководителей — в Калабрии, в частности, в политике Риччарди.

Историческое значение новой ориентации народных масс в Королевстве обеих Сицилий не было понято ни в 1820, ни в 1848 году даже теми, кто, собственно, и старался вызвать ее к жизни, хотя в период с 1830 по 1848 год некоторые демократы обнаружили уже первые признаки нового подхода к низам, который уживался со старыми взглядами, хотя и противоречил им. В этом отношении решающий шаг вперед был сделан благодаря мадзинизму (несмотря на отмеченную нами ограниченность этой теории). Но не менее важный шаг в том же направлении сделали также левые демократы Юга, те самые, которые рано или поздно выступят против мадзинистской доктрины. Одним из первых, кто выдвинул в Калабрии передовую народно-демократическую теорию, был Бенедетто Музолино, приступивший к ее разработке в 1830—1833 годы, но аналогичные попытки были предприняты также в Чиленто и в Сицилии. После Музолино на Юге выкристаллизовалось левое демократическое направление, самым передовым представителем которого стал в 1850 году Карло Пизакане; однако уже раньше к нему принадлежало немало патриотов — достаточо назвать Миньонья, Дзуппетта, Альбини, Доменико Мауро, Джованни Мошаро, протоиерея Ангера́, Томмазо Ланди, Саверио Фриша, Паскуале Кальви, Франческо Мило Гуджино, Вито Рагона. Впрочем, демократическое направление на Юге, носившее отнюдь не мадзинистский характер, не было монолитным. В Калабрии и Сицилии демократов крайне левого и умеренного толка разделяли глубокие разногласия. В Калабрии они достигли такой остроты, что Музолино, Мошаро, Мауро и Федеричи (сын Федеричи Белой головы, который считается основателем общества карбонариев в Калабрии), раздраженные неспособностью Риччарди и его уступчивостью в отношении имущих слоев, стали даже вынашивать планы насильственного отстранения Риччарди от руководства Временным правительством Калабрии [1]. Сицилийские демократы также строили далеко идущие планы в отношении их правительства, но ни в Сицилии, ни в Калабрии этим планам не суждено было сбыться. Медленно,

[1] Carte Musolino, Pizzo Calabro.

постепенно, преодолевая многочисленные трудности, рождалась новая концепция национальной и социальной революции.

Впрочем, ничто не проходило бесследно в реальной действительности. Поэтому даже те философские и социальные идеи, содержавшиеся в карбонарских катехизисах, которые многим казались либо весьма далеким делом, либо просто тактическим средством, либо же беспочвенными измышлениями небольших групп более передовых, радикальных членов тайных обществ, — даже эти идеи сыграли какую-то роль в развитии демократического направления на Юге и наложили на него определенный отпечаток.

Конечная цель общества карбонариев в ее теоретическом выражении носила передовой характер, однако, захватив власть, карбонарии обнаружили чрезмерную осторожность в своей политике. Рассмотрим, например, «Органический статут второго года Западной Лукании» («Statuto Organico dell'anno Secondo della Lucania Occidentale»). Крестьянам посвящен лишь параграф 21, причем бросается в глаза, насколько сдержанно относились к ним карбонарии Западной Лукании, которые, по общему мнению, представляли самое радикальное крыло карбонарского движения на Юге: «Для поощрения почетного занятия сельским трудом, который, применительно к условиям нашей страны, приносит наибольшую пользу обществу и является тем средством (легче всего обеспечивающим существование), которое делает людей независимыми и свободными и потому достойными быть С. С. [кузенами-карбонариями], — будет оказана поддержка предпочтительно тем, кто нуждается в ней» [1].

Или рассмотрим составленный в высокопарных выражениях документ о нравственных устоях карбонариев, в котором говорится, что «Природа начертала в сердцах... великую аксиому: не делай другим того, чего не хотел бы испытать сам»; эта аксиома «объемлет массу законов, продиктованных нам той же Природой. Найдется ли кто-нибудь, кто бы не понимал и не признавал справедливости этого начального естественного принципа? Даже темный человек, даже неотесанный крестьянин, мало размышляющий об этом предмете, реально осязает силу этого закона» [2]. Но разве «неотесанный крестьянин» не предпочел бы вместо силы такого закона осязать нечто более реальное — кусок хлеба в руке?

Все три номера «Джорнале патриоттико делла Лукания ориентале» («Патриотическая газета Восточной Лукании») — карбонарской газеты, выходившей в Потенце с 10 по 30 июля 1820 года, также крайне неопределенны с социальной точки зрения Конечно, мы находим здесь массу сентенций о естественном равенстве, изобилие цитат из Гоббса, Мабли и Руссо наряду с достаточно ясными республиканскими декларациями. Но единственное высказывание социального характера, которое встречаешь в этой газете, сводится к следующему: богатство граждан должно быть «ограничено таким образом, чтобы никто из них не был настолько богат, чтобы иметь возможность покупать другого, и настолько беден, чтобы быть вынужденным продавать себя» [1].

Однако общество карбонариев — такое, каким оно было, с его идеологией, с его политической практикой, со всеми его противоречиями, — сыграло весьма важную историческую роль: оно связало (через революцию 1820—1821 годов, через неокарбонарские организации, чья деятельность охватывала период от выступлений 1822 года и вплоть до кануна революции 1848 года) передовые идеи южных реформаторов XVIII века с передовыми теориями южной демократии, теориями 1848—1849 годов и последующего периода.

А. Саитта справедливо отмечал, что при оценке общества карбонариев нельзя слепо принимать на веру «резкие суждения Мадзини» [2], ибо они принадлежат политическому противнику общества карбонариев и неокарбонарских организаций (выдержавших конкуренцию с «Молодой Италией»), который вел с ними беспощадную политическую борьбу, а поэтому его оценка не могла быть беспристрастной. Причем Мадзини не делал разницы между карбонариями Пьемонта и Королевства обеих Сицилий. Обе организации были для него «широкой либеральной ассоциацией», «обреченной из-за отсутствия позитивной веры». Эта ассоциация, утверждал он, «не имела иного оружия, кроме голого отрицания; призывая людей к разрушению, она не могла объяснить, как на развалинах старого будет воздвигнуто новое здание». Нельзя сказать, чтобы это утверждение было верным как в отношении тех, кто выступал за конституционные преобразования, которые все же были преобразованиями (политическими,

---

[1] Archivio di Stato di Salerno (ASS), Gran Corte Criminale (GCCr), Processi Politici (P. P.), p. 75.

[2] ASS, GCCr, P. P., b. 84, p. 20. Протоколы заседаний вент «Школа обычаев» в Марсико и «Торжествующая добродетель» в Бриенце.

[1] ASS, GCCr, P. P., b. 79.

[2] A. Saitta, op. cit., vol. I, p. 173.

а в сущности и социально-экономическими), так и тех, кто проповедовал общественное равенство, которого предполагали достичь путем возврата к естественным законам.

Что же касается критических замечаний Мадзини, укорявшего общество карбонариев за «гибельную тенденцию искать себе руководителей в высших социальных сферах и рассматривать возрождение Италии скорее как дело высших сословий, чем народа», то что можно сказать по этому поводу? Разве Буонарроти не бросал точно такого же обвинения Мадзини? Разве в определенный момент с этим обвинением не выступил против Мадзини также Пизакане? Мадзини пытался критиковать общество карбонариев слева, когда писал: «Они не сделали равенства своим девизом; когда же их спрашивали о нем, они говорили столь неопределенно, что каждый мог толковать его по-своему — как политическое, гражданское или же попросту христианское равенство» [1]. Однако утверждение, что карбонарии не сделали равенство своим девизом, не соответствовало истине. Правда, они говорили о нем действительно «неопределенно», так же как это делал сам Мадзини, советовавший своим эмиссарам-уполномоченным, ведя переговоры со сторонниками Буонарроти, говорить с ними о равенстве «с пылом» [2], то есть продемонстрировать, что они идут навстречу этой их глубочайшей вере. На самом деле Мадзини не мог допустить, чтобы кто-либо мог в политическом или социальном отношении занимать более левые, чем он, позиции. И поэтому пытался критиковать слева и Буонарроти, и Пизакане, и Бакунина. Мы, однако, не хотим сказать, что, стремясь представить свою социальную концепцию более смелой и передовой по сравнению с другими, Мадзини был неискренним. Речь идет лишь о том, что на деле эти его утверждения не соответствовали действительности, а когда в пылу полемики противники припирали его к стене, он, стараясь защититься, называл их «макиавеллистами» и «материалистами» и полагал, что этим все сказано.

Вожаки карбонариев, писал Мадзини, «плохо знали и боялись простолюдинов» [3]. Это суждение, как мы видели, отчасти справедливо. Но всегда ли и везде карбонарская организация была такой, какой ее узнал Мадзини на рубеже 30-х годов? В самом деле, можно ли сказать, что авторы катехизиса, найденного в бумагах Оробони, отстаивавшие необходимость аграрного закона, «боялись простолюдинов»? Подобные утверждения могли вырваться лишь в пылу полемики! Мадзини подчеркивает отрицательные стороны общества карбонариев, что вполне понятно с политической точки зрения: он хотел заставить общество покончить с конспиративными методами прошлого, хотел проложить путь новым формам демократического движения. Но и сам Мадзини не рассматривал простолюдинов (боялся он их или нет) как фундамент своего демократического здания, которое покоилось на *доктрине гения-пророка и предтечи,* раскрывающего низам закон прогресса, закон бога на земле.

Конечно, Мадзини первый в Италии сблизился с рабочими и приступил к их организации, и эта сторона его деятельности была в социальном отношении наиболее прогрессивной и важной, наиболее значительной по своим последствиям. Но в какой мере знал Мадзини сельские массы (которые составляли тогда в Италии подавляющее большинство населения и с которыми, несмотря на всю свою ограниченность, было в известной мере связано общество карбонариев) и добился ли он сближения с ними? Ведь нельзя отрицать, что массовый характер общества и его влияние среди так называемой карбонарской толпы явились результатом работы его членов среди сельских низов и тех социальных слоев (ремесленников, низших чинов армии и низшего духовенства), которые были особенно тесно связаны с карбонариями. Именно эта связь с массами обеспечила карбонариям, как писал сам Мадзини, «могущество, неведомое другим ассоциациям, пришедшим впоследствии им на смену» [1], и это потому, что «общество поощряло то чувство равенства, которое является у нас врожденным», и приобщало к «великим начинаниям путем одного только посвящения людей всех провинций и всех сословий — священников, литераторов, патрициев, солдат и сынов народа, даруя всем единое благословение» [2].

Трагедия тайных революционных организаций в Королевстве обеих Сицилий в 1830—1848 годах состояла, как правильно указал Дито, в следующем: в то время как «карбонарская традиция утратила свой первоначальный престиж после неудачной экспедиции Пепе в Калабрию в 1830 году и по-

[1] G. Mazzini, Note autobiografiche, в «Scritti editi ed inediti», vol. LXXVII. В этих «Заметках», давая обобщенную характеристику общества карбонариев, Мадзини утверждал, что он использовал несколько страниц, написанных «для англичан в 1839 году, поскольку они вкратце содержали идеи, которые владели мной в то время и которые подвигли меня к основанию «Молодой Италии»».

[2] G. Mazzini, vol. V, p. 277.

[3] G. Mazzini, op. cit.

[1] G. Mazzini, op. cit.

[2] G. Mazzini, op. cit.

пыток Розаролла в Мессине и Моричи в Ариано », эти организации не сумели и не смогли заменить карбонарскую традицию новыми идеалами, ибо последние противоречили историческим особенностям населения Юга. Мадзинистская идея совершенно не привилась здесь и не могла привиться» [1].

В самом деле, разные общества, которые возникли после 1830 года в Королевстве обеих Сицилий, независимо от их названия опирались на старые принципы. Поэтому, когда Дито попытался, например, выяснить, что представляло собой общество «Сыны Молодой Италии», он вынужден был обратиться к событиям революции 1820 года, и утверждал, что «тот, кто помнит о роли, которую просвещенные офицеры сыграли в этой революции, должен также признать, что возглавляемое Музолино общество «Сыны Молодой Италии», как это на первый взгляд ни кажется странным, было естественным порождением той среды, в которой оно должно было существовать, и естественным следствием революции 1820 года, получившей отклик по всей Италии» [2]. То же самое можно сказать о других тайных организациях, возникших в Королевстве обеих Сицилий как до 1848 года, так и после него. В Терра д'Отранто, Чиленто, Калабрии и Сицилии можно было проследить год за годом возобновление деятельности этих очагов неокарбонарского движения Подобное же положение, с небольшими отклонениями, имело место и в других неаполитанских провинциях. Первые попытки возродить движение были предприняты в 1822—1825 годах и привели к арестам, судебным процессам и принятию специального закона, направленного против воссоздания общества карбонариев. 1828 год стал годом общего подъема движения Особенно значительные размеры приняла заговорщическая деятельность в провинции Чиленто, где репрессии носили крайне жестокий характер. Правда, организация называлась уже не обществом карбонариев, а «Обществом филадельфов», однако изменилось только название, существо же движения осталось почти тем же. «Общество филадельфов» в Калабрии, Ирпинии и Чиленто было движением неокарбонарского типа, с ярко выраженным аграрным характером Правда, в документах полиции, хранящихся в Государственном архиве Салерно, всегда проводится различие между филадельфами и «старыми карбонариями» [1]. Например, на стр. 29 сборника протоколов процесса говорится о «Никола Кардоне, колоне из Искья ди Сан Бьязе, старом карбонарии и, возможно, также филадельфе, который скомпрометировал себя также принадлежностью к вооруженной группе». На стр. 80 говорится о некоем Джузеппе Коппола из Валле Чиленто, что он, «возможно, не карбонарий, а филадельф». И все же на деле речь идет не только об одной и той же идеологии и одном и том же типе организации, но очень часто об одних и тех же людях, так что два разных наименования попросту свидетельствовали о разных этапах движения. в одном случае имеется в виду движение, существовавшее до 1821 года, в другом — после 1821 года и вплоть до 1828 года. И когда о ком-то говорили, что он «старый карбонарий и, возможно, также филадельф», то тем самым просто хотели сказать, что он примыкал к старому обществу карбонариев и, быть может, принадлежит также к новому. Как известно, из провинции Салерно движение перекинулось в Базиликату, в провинцию Авеллино [2], в Калабрию и охватило все Королевство обеих Сицилий.

---

[1] O. Dito, La rivoluzione calabrese dell'48, p. 37.

[2] O Dito, op. cit, p. 39 Действительно, главные очаги карбонарского движения в 1810—1820 годах стали неистощимыми источниками революционных кадров и руководителей подпольного движения последующих десятилетий вплоть до кануна революции 1848 года. Например, выходцем из Альтилии, маленькой калабрийской деревушки, в которой в 1808 году возникла первая из известных нам карбонарских вент, был Луиджи Карузо, который в 1834 году в Неаполе, совместно с группой бывших карбонариев из Авеллино, задумал внезапно захватить короля, перевезти его в провинцию Авеллино (где предполагалось одновременно поднять восстание) и держать там заложником до тех пор, пока революция не вспыхнула бы повсюду в Королевстве обеих Сицилий. См B Musolino, La rivoluzione dell'48, p 55

[1] ASS, Compendio del processo sulle trame del Cilento, 1828—1829 GCCr, P. P., b. 24.

[2] См V Cannaviello, Gli Irpini nella Rivoluzione del'20 e nella reazione, Avellino, 1940. В 1820 году венты существовали в 89 коммунах Ирпинии, они объединяли преимущественно простой люд и некоторых священнослужителей и учителей Характерны названия некоторых вент «Бедные друзья», «Последователи Платона», «Враги тирании», «Непреклонные республиканцы», «Храбрые спартанцы», «Суровые спартанцы» Каннавьелло также считает, что общество карбонариев отражало «начавшееся пробуждение народных масс.» (p 49). В Ирпинии общество карбонариев носило обычный характер, во главе его стояли некоторые старые якобинцы, участники революции 1799 года и представители низшего духовенства, а рядовые кадры составляли простолюдины, ремесленники и батраки Картина образования новых неокарбонарских организаций в Ирпинии также почти аналогична той, которую мы наблюдали в Чиленто, Калабрии и Сицилии. Начиная с 1823 года, пишет Каннавьелло, «на сломанном стволе общества карбонариев стали постепенно появляться ростки новых организаций, которые хотя и отличались по названию и внешним признакам от своего родоначальника, преследовали, однако, почти те же самые цели» (p. 382) Таковы были, например, возникшие в 1823 году общества «Эскамисьядос» и «Непреклонные либералы» (по-

В катехизисах и уставах этих новых тайных обществ повторяются с небольшими изменениями старые клятвы восстать против тиранов во имя закона божьего, во имя освобождения от «стольких варварских поборов». Однако непосредственные требования и задачи борьбы выражены, пожалуй, в этих катехизисах более отчетливо, нежели в старых карбонарских документах.

Так, например, статья 5 «законов» «Общества филадельфов» Салерно устанавливала, что «все налоги должны быть сокращены наполовину, соль следует продавать не более чем по 6 гранов... разрешается сажать табак, а употребление гербовой бумаги отменяется» (спустя некоторое время будет опубликован декрет, согласно которому того, кто станет пользоваться ею, будут штрафовать). Далее в статье говорилось, что «подушную подать не следует платить, ибо душа должна вернуться к богу, создавшему ее»[1]. Эти законы содержали пространную аргументацию, с помощью которой отстаивались интересы мелких землевладельцев и колонов в вопросах, связанных с экспроприацией, секвестрами, векселями, займами, оформленными в нотариальном порядке, и т. п.

Интересно отметить, что в 1836—1837 годах, когда подпольное движение оживилось в некоторых провинциях Королевства обеих Сицилий, оно активизировалось также в Чиленто (возможно, не без влияния калабрийского общества «Сыны Молодой Италии»), причем в тайные общества пытались вовлечь все те же социальные слои — деревенский люд, колонов и батраков. Общество называлось теперь «Республиканская пропаганда» или «Новое общество карбонариев», и весьма показательно то, что рассказал о нем полиции Салерно один из обвиняемых, заявивший на допросе, что, отклонив предложение вступить в это общество, он спросил: «Что хорошего мы получили в 1820 и 1828 годах, чтобы начинать сызнова в 1837 году?» Тогда ему сказали: «А что ты получил от нынешнего правительства?» На это, по утверждению обвиняемого, он ответил, что «кое-что да получил» и, во всяком случае, предпочитает жить «без треволнений»[1].

Характерно, что новых членов в эти тайные организации вербовали почти всегда в деревне (как вытекает из документов, хранящихся в Государственном архиве Салерно), когда крестьяне трудились в поле. Впрочем, еще раньше, в 1833 году, в округе Валло состоялся судебный процесс в связи с деятельностью тайных обществ, и среди обвиняемых были батраки (bracciali) и представители интеллигенции, как, например, фармацевт Филадельфо Содано (чье имя Филадельфо было именем собственным, и поскольку в 1833 году Содано было 34 года, можно предположить, что оно было дано ему в 1799 году). Оправданный на этом процессе, Содано был впоследствии в 1852 году приговорен к смертной казни[2].

В 1843 году в той же провинции Чиленто была создана вновь с небольшими изменениями тайная организация: появилось новое общество «Братья», или «Братство», которое распространило свое влияние на некоторые селения в Чиленто; в 1847—1848 годах оно вновь активизировало свою деятельность. В судебных актах обществу вменяли в вину стремление к коммунизму и намерение «лишить честных граждан их собственности»[3]. В действительности же из протоколов следствия видно, что «принципы, которых придерживалось общество, были взаимная любовь, обещание взаимной помощи и поддержки в том, что касается жизни, чести и имущества; никогда не замышлялось посягательство на жизнь и имущество других, однако на деле все... было по-иному, ибо члены этого тайного общества или большая часть их руководили разбойничьими налетами, имевшими место в наших краях...»[4]. Принципы, символы и клятвы в этом обществе также были карбонарского типа, что же касается царившего в нем духа, то об этом можно судить на основании того, что в об-

---

следнее, по-видимому, брало свои истоки в провинции Беневенто) и в 1827 году организация под названием «Реформированное карбонарское общество, или угнетенные, но не побежденные», основателями которой были как будто бы два ремесленника сапожник Джованни Приско и портной Фердинандо Вассалло. В 1828 году в Ирпинии появилось «Общество филадельфов», которое, возможно, было ответвлением аналогичного общества, широко распространенного в Чиленто.

[1] ASS, doc. cit., p. 19.

[1] Речь идет о процессе против членов нового общества «Республиканская пропаганда», распространившего свое влияние на различные коммуны округа Валло (1836—1837 годы) ASS, GCCr, P P, b. 100.

[2] См Обвинительный акт генерального прокурора против батраков Кармине Вольпе из Поллики, Дженнаро Гуаррачино из Челсо и фармацевта Филадельфо Содано в связи с организацией ими общества «Либералы» в 1832 году в ASS, GCCr, P P, b 68, а также смертный приговор Филадельфо Содано (он был осужден на смертную казнь третьей степени за совершенное им в 1848 году) (14 октября 1852 года), ASS GCCr, P. P., b 271.

[3] ASS, Processi Politici, b. 311.

[4] ASS, P. P., b. 311.

ществе состоял Гаэтано Капоццоли, брат бежавшего из тюрьмы Валло Луиджи Капоццоли.

Конечно, в Чиленто брожение было особенно сильным, а деятельность тайных обществ особенно оживленной, но и в других провинциях Королевства обеих Сицилий картина подпольного движения, хотя оно и носило более эпизодический характер, была приблизительно такой же.

Однако в течение всего этого периода Калабрия была все же в большой степени, чем Чиленто, одним из главных центров деятельности тайных обществ на Юге: с самого начала здесь скрещивались основные течения подпольного движения в Королевстве обеих Сицилий [1]. «Идеи политической и гуманистической реформы, которые Кампанелла заронил своей книгой «Город солнца»,— писал Музолино,— всегда находили в этом древнем крае неутомимых и смелых поборников» [2]. Избегая повторения того, что уже было сказано нами об этом патриоте [3], укажем лишь на тот бесспорный факт, что Бенедетто Музолино уже в юности испытал влияние философско-политических взглядов Кампанеллы и его концепции социальной реформы. Этот случай не был исключением. Идеи Кампанеллы содействовали подготовке в Калабрии благоприятной почвы, на которой в конце XVIII века пустило корни иллюминатское ответвление масонства, а затем, в начале XIX века, общество карбонариев. Какими бы причинами ни объясняли бурный расцвет деятельности тайных организаций в Калабрии, остается бесспорным, что с самого начала одна из характерных черт общества карбонариев состояла в том, что оно придавало серьезное значение социально-экономическому устройству общества и его философско-моральным проблемам. То же самое относится и к основанной Музолино неокарбонарской организации «Сыны Молодой Италии», деятельность которой охватывает период с 1833—1834 годов по 1839 год и от которой ведут свое происхождение ряд других тайных обществ, возникших в 1840—1851 годах в Королевстве обеих Сицилий. По словам самого Музолино, «вопрос о новом общественном строе играл в организации столь важную роль, что определял все ее устройство» [1].

Как известно, в руководимой Музолино организации было две степени: посвященным в первую раскрывали цель объединения Италии и установления республики; посвященным во вторую — проведение радикальной социальной реформы, о которой не считали возможным говорить посвященным в первую степень, чтобы, как писал Музолино, «не создавать фатальных препятствий для первой политической цели, поскольку общественное мнение еще не подготовлено к разрешению великих проблем социальной реформы» [2]. Катехизис общества гласил, что в революционный и послереволюционный период должен существовать диктатор, который будет выполнять роль командующего и *единственного* законодателя нового государства. Диктатура в лице этого командующего и *единственного* законодателя позволила бы приступить к «великим реформам, которые следует осуществлять последовательно, не вызывая разногласий и столкновений между партиями» [3].

Сам Музолино рассказывал о том, что идея создания нового общества возникла у него после неудачного исхода заговора в Романье в 1831 году, показавшего, что попытка восстания, «предпринимаемая горсткой смелых и благородных людей, приводит неизбежно лишь к бесполезным жертвам» [4]. Отсюда вывод о необходимости добиться «поддержки активных элементов всей нации» [5]. Но эта идея возникла также в результате размышлений молодого Музолино над теориями Руссо, Мабли, Монтескье, Фенелона, аббата Сен-Пьера, в результате знакомства (спустя несколько лет, в Неаполе) с тео-

---

[1] Мы долго были в нерешительности говорить ли о Б. Музолино и его обществе в этой главе или в следующей. Возможно, что хронологически этот материал следовало бы поместить дальше, а здесь рассмотреть вопрос о группе, которую возглавлял в 1832 году Джузеппе Риччарди, и о его газете «Прогрессо» («Il Progresso») Это была новая форма патриотической деятельности, в известном смысле открытая и легальная, поскольку предполагалось сплотить либерально настроенных патриотов с помощью газет и журналов, а также путем организации конгрессов. Музолино, напротив, пытался реформировать старые формы заговорщической деятельности и искал пути, чтобы сделать их еще более тайными и строгими В отличие от Риччарди Музолино делал упор на подпольную организацию

Таким образом, хронологически Музолино стоит после Риччарди (хотя он сформулировал свои более передовые идеи раньше Риччарди, но его организация, замысел которой возник в 1832 году, начала свою практическую деятельность лишь в 1834 году), однако с точки зрения методов действия он не внес много нового Поэтому мы сочли правомерным поместить раздел о Музолино в данной главе.

[2] B. Musolino, La rivoluzione del'48 nelle Calabrie, Napoli, 1903, p. 14—15.

[3] G. Berti, Benedetto Musolino, в „Studi Storici", № 4, p. 716 sgg, а также „Nuove ricerche su B. Musolino", в „Studi Storici", № 6, p. 29 sgg.

[1] B. Musolino, op. cit, p. 14—15
[2] B. Musolino, op. cit.
[3] B. Musolino, op. cit.
[4] B. Musolino, op. cit., p. 14.
[5] B. Musolino, op cit.

риями Джоя и Романьози, а также благодаря глубокому предварительному овладению философскими идеями калабрийской натуральной школы и знакомству с сочинениями тех европейских философов, которые развивали идеи натуральной философии,— от Бэкона до представителей материалистического и атеистического крыла французских энциклопедистов. Следовательно, эта идея возникла на базе четких определенных философских принципов, и это с самого начала сделало организацию Музолино решительным противником мадзинистских религиозных идей. Ближайшей целью общества было объединение Италии и создание социальной республики. Конечной целью — радикальная социальная реформа, которая упразднила бы «неравенство экономическое» и «неравенство политическое» и посредством нового «общественного договора» и новой «конституции» привела бы к созданию нового общественного строя, покоящегося на «принципе справедливого распределения богатства» и равенстве. Италию предполагалось разделить на 24 провинции (возможно, здесь имело место подражание первоначальному плану «Аузонии» периода 1813—1814 годов). Впрочем, проект такого устройства Италии выдвигал не только Музолино; как будет показано далее, он являлся составной частью программы других неокарбонарских обществ, возникших в Южной Италии еще до 1830 года — в период 1822—1828 годов.

Не было ли между «Сынами Молодой Италии» Музолино и «Молодой Италией» Мадзини по крайней мере точки соприкосновения? Дать точный ответ на этот вопрос нелегко. На первых порах связи мадзинистов с подпольным движением в Королевстве обеих Сицилий были весьма незначительными. Конечно, вначале, когда Мадзини не порвал еще бесповоротно с карбонарским движением (и еще открыто не противопоставил себя ему), он проявлял интерес к Югу и хотел послать туда некоторых своих эмиссаров[1]. В 1833 году Элиа Бенца удалось, как известно, создать провинциальную секцию «Молодой Италии» в Неаполе, главной задачей которой было добиться соглашения между уже существовавшими на Юге обществами и организацией Мадзини. Это было время, когда Джованни Ла Чечилья предоставил «Молодой Италии» поддержку южных карбонариев, отягощенную, однако, недоверием и оговорками. Но миссия Элиа Бенца в Неаполь не принесла тех результатов, на которые рассчитывал Мадзини. Знал ли Музолино о поездке Бенца в Неаполь? Среди бумаг Музолино тех лет мы не нашли никаких указаний на этот счет. И все же мы склоняемся к тому, что Музолино был осведомлен о миссии Бенца. Музолино, принадлежавший к семье, которая стала образцом беззаветного патриотизма, был одним из самых энергичных и деятельных патриотов Неаполя (в первый раз его арестовали еще совсем молодым, 13 мая 1830 года), и его имя было, конечно, известно неаполитанским заговорщикам. Ныне мы знаем, что во время своего краткого пребывания в Неаполе Бенца имел встречу с калабрийским адвокатом Джузеппе Маури из Мангоны (район Козенцы), а также с маркизом Луиджи Драгонетти (из Абруцц), который в те годы был одной из главных опор мадзинистов в Королевстве обеих Сицилий. Маури почти наверняка был хорошо известен Музолино; вместе с тем Музолино — это следует с полной очевидностью из его бумаг — знал и уважал Драгонетти[1]. Поэтому, надо полагать, Музолино рано или поздно узнал о миссии Бенца в Неаполь и о ее целях. Как бы то ни было, Бенца, с поездкой которого Мадзини связывал столько надежд, не только не удалось подготовить восстание, о котором мечтал генуэзский заговорщик, но он не смог даже добиться присоединения неокарбонарских организаций (или того, что оставалось от них) к «Молодой Италии». Возможно даже, что миссия Бенца привела к противоположным результатам, породив у Музолино мысль о создании такой организации, которая, приняв мадзинистский лозунг единой Италии, в идеологическом и организационном отношении противопоставила бы себя Мадзини и мадзинизму, развернув борьбу с его принципами и методами и сохраняя верность старому карбонарскому духу. Таким образом, усилия Мадзини, предпринятые в 1832—1833 годах в отношении Неаполитанского королевства, вместо того чтобы устранить разногласия и противодействие неаполитанского неокарбонарского движения мистико-романтическим идеалам «Молодой Италии», привели, напротив, к обострению противоречий. Тем не менее был достигнут и положительный результат, ибо, несмотря на категорический отказ определенной части конспираторов Юга

---

[1] См. S. Mastellone, Mazzini e la Giovine Italia, vol. I, p 269 G. Paladino, Una congiura mazziniana a Napoli nel 1833, Arch.. Stor. Province napoletane, 1924, p. 288 sgg.

[1] Тесные дружеские отношения между Музолино и Драгонетти установились именно в 1830—1831 годы, в период жизни в Неаполе, и остались такими в годы эмиграции Драгонетти и Риччарди были в числе тех немногих, кого Музолино познакомил со своей так и оставшейся неопубликованной работой «Мадзини или итальянские революционеры» («Mazzini o i rivoluzionari italiani»).

принять идеи и руководство Мадзини, они теперь также начали решительно отстаивать политическую концепцию, до сих пор тонувшую в космополитической, масонско-иллюминатской идеологии общества карбонариев, — республиканско-унитаристскую концепцию, концепцию *объединения Италии и учреждения республики* Вероятно, под влиянием (хотя и косвенным) мадзинистской идеи итальянского единства «Сыны Молодой Италии» и другие впоследствии ответвившиеся от этого общества тайные организации стали настойчиво пропагандировать эту концепцию в Королевстве обеих Сицилий, стараясь придать ей преобладающее, исключительное влияние, которого она не имела в карбонарских и неокарбонарских организациях. Но сам факт, что эти организации и общества никогда не хотели признать этого влияния Мадзини и стремились сохранить свое положение как самостоятельных организаций, не связанных с мадзинизмом (против которого они всегда вели острую полемику), красноречиво свидетельствует о том, как решительно отвергали они то *новое,* что Мадзини внес в мир старого конспиративного движения. Правда, члены тайных обществ на Юге, причислявшие себя к карбонариям, также выступали за *реформу,* за *обновление* общества карбонариев (наиболее решительно на этом настаивал Музолино), однако их главное требование сводилось к тому, чтобы, вводя новшества, не сворачивали с традиционного пути. Они считали, что, обновляя карбонарскую традицию, нужно вместе с тем сохранить и отстоять ее основные принципы и продолжить то, что было достигнуто в последние десятилетия XVIII века и в два первых десятилетия XIX века, *не противопоставляя себя этому наследию, не отрекаясь и не отвергая его, как это сделал Мадзини.* Товарищи Мадзини по борьбе (являвшиеся в то же время его противниками внутри демократического движения) сочли это его отношение к масонской и карбонарской традиции и вообще к наиболее передовой традиции итальянской философской мысли, начиная с Телезио, Кампанеллы и Бруно и кончая Романьози, кощунственным. В самом деле, для Музолино Мадзини был не только человеком, принесшим в Италию смутные идеи с севера Европы, но и прямым последователем немецкого философского мистицизма.

Впрочем, сам Музолино, отмечая те моменты, которые разделяли его организацию и мадзинистскую, писал: «Как ясно каждому, существует глубокое различие между «Молодой Италией» Мадзини и «Сынами Молодой Италии». Конечно, обе они ставили своей задачей создание единой республиканской Италии, общими были и военные принципы, но в целом направление развития было весьма различным. Мадзини никогда не высказывался вполне определенно, причем не только по важнейшим социальным проблемам, но даже по вопросам практической организации истинной республики, с точки зрения образования, экономики, политики, администрации» [1]. Действительно, глубокие расхождения между взглядами членов калабрийского общества и сторонниками Мадзини касались не только идеологии, они проистекали также из принципиального несогласия Мадзини с классической системой степеней — наследием XVIII века, когда членам первых степеней не только не сообщали о конечных целях, но, напротив, старались скрыть их. Разногласия были очень значительны, и Мадзини не ошибался, когда в письме к Мелегари от 21 ноября 1838 года высказал мнение, что организация Музолино стремится преградить ему путь в Неаполитанское королевство, и, обнаруживая немалую осведомленность, утверждал, что конечной целью этой организации было «упразднение всякой собственности и всякой религии» [2]. Хотя письмо Мадзини было очень едким по тону, а его высказывания о калабрийских патриотах носили полемический характер и были чрезмерно суровы [3], у нас нет, однако, оснований сомневаться в обоснованности его утверждений [4]. Так же как у нас нет достаточных причин подвергать сомнению утверждение Музолино (быть может, излишне запальчивое, но верное по существу), согласно которому «Сыны Молодой Италии» никогда не поддерживали никаких связей с Мадзини, который до 1848 года не имел даже корреспондентов или по крайней мере деятельных и энергичных приверженцев в южных провинциях полуострова,— там было известно только имя Мадзини [5].

Таким образом, Монтанелли был только отчасти прав, когда назвал общество «Сыны Молодой Италии» «сокровенным символом карбонаризма, ставшего доступным для всех» [6].

---

[1] B. Musolino, op. cit, p. 16.

[2] G. Mazzini, vol. XV, p. 267—268.

[3] G Mazzini, op. cit «Глупцы и злодеи!. Если бы план их организации составлял сам Меттерних, то и он бы не смог придумать ничего лучше».

[4] D. Di Giorgio, Benedetto Musolino e il Risorgimento in Calabria, в „Historica", 1953.

[5] B. Musolino, op cit, p. 18.

[6] G. Montanelli, Memorie sull'Italia specialmente sulla Toscana dal 1814 al 1850, Firenze, 1853, vol. II, p. 171.

По существу, Монтанелли также смешивал цели Мадзини (то есть стремление придать политической борьбе открытый, публичный и современный характер) и цели, преследуемые приверженцами различных неокарбонарских организаций («Реформированного карбонарского общества», южного «Общества филадельфов» и организации того же Музолино). Эти последние состояли в том, чтобы продолжить, хотя и в новых формах, старую традицию, сохраняя при этом *верность тайной системе степеней, присущей всем организациям, которые вели свое происхождение от масонства;* эти организации не только не доводили до общего сведения свою конечную цель, но, напротив, намеренно старались скрыть ее. Однако Монтанелли прав, утверждая, что еще до того, как Фабрици развернул свою деятельность в Сицилии (1838 год), в душе сицилийской молодежи начало расти благодаря усилиям организации Музолино «чувство итальянской национальности» [1], а вместе с ним — идея радикальной социальной реформы. Именно это сочетание и являлось характерной чертой демократического движения на Юге.

В 1839 году вследствие доносов Музолино был снова арестован и на этот раз находился в заключении до 1843 года. В феврале 1840 года в Ливорно был арестован некий веронец Джованни Де Винченти, возвратившийся из Франции [2]. Де Винченти много поездил за границей и по Италии, был в Сицилии и Неаполе (откуда уехал 29 апреля 1839 года). При аресте у него обнаружили записку, в которой он поручал какому-то Джованни Баттиста Гандольфи в Женеве «задерживать на почте все письма, вскрывать их, прочитывать» и т. д. Оказалось, что тайные удостоверения «Сынов Молодой Италии» делались за пределами полуострова; в этой связи неаполитанские дипломаты в Ливорно и во Флоренции направили министру полиции в Неаполе панические депеши; в них утверждалось, что общество имеет широкие связи в Ливорно, Флоренции, Неаполе, Генуе, Марселе, Лионе, Милане, Венеции, Вероне и Вилланове. Поскольку Де Винченти действовал в основном за пределами Королевства обеих Сицилий, информация о деятельности «Сынов Молодой Италии» на Юге, где общество имело довольно многочисленные ответвления (особенно в Сицилии и Калабрии), была более скудной. Освобожденный в 1843 году Музолино был сослан в Пиццо, где за ним был установлен строгий надзор. В начале 1846 года его снова арестовали и продержали в заключении четыре месяца; в общем в период с 1843 года по 1847 год Музолино был обречен на бездействие в Пиццо.

Однако уже в 1842 году подпольная деятельность в Калабрии, прерванная вследствие ареста Музолино, снова возобновилась благодаря усилиям одного из тех, с кем был дружен Пизакане до революции 1848 года,— а именно Мариано д'Айала. В 1842 году участникам подпольного движения Палермо и Мессины удалось через Раффаэле, сицилийского патриота из Назо (провинция Мессина), установить связь с тайными обществами Неаполя. Мацциотти в своей книге «Костабиле Кардуччи и движение в Чиленто в 1848 году» писал: «В конце 1842 года удалось наконец созвать заседание Центрального комитета и делегатов от провинций и острова в доме братьев Ассанти в Неаполе, в районе Сан Сеполькро. Помимо братьев Ассанти, присутствовали Боццелли, который вел заседание, Де Аугустинис, Микеле Примичерио, Дель Ре, Луиджи Сеттембрини, Антонио Плутино, Никола Ле Пьяне, Оттавиано Грациози ди Борбона, Алессандро Марини, Карло Поэрио, Джованни Мошаро. В заседании принял участие также юноша, известный уже тогда своей ученостью и благородством души, Мариано д'Айала, который, ненавидя современный ему деспотизм, подал в отставку с военной службы и отказался от преподавания в военном колледже «Аннунциателла» [1]. Как утверждает в своих «Воспоминаниях» Монтанелли, «братство, подготовлявшее движение, не именовалось ни «Обществом карбонариев», ни «Молодой Италией», ни «Италийским легионом» [2]; но было своего рода единым фронтом этих организаций, чья политическая программа сводилась к следующему: «Временные правительства в каждой восставшей стране, война с внутренними и внешними врагами во имя общей цели — Италии и свободы» [3].

О том, что после арестов членов общества «Сыны Молодой Италии» задачу восстановления подпольной организации в Реджо-ди-Калабрии взял на себя д'Айала, пишет также калабрийский историк Оресте Дито. Он утверждает, что это была именно та организация, которая «позднее так распространила свое влияние благодаря стараниям Д. Доменико

---

[1] G. Montanelli, op. cit.
[2] ASN, Ministero di Polizia, Gab. 140, vol. 24, f. 3.

[1] M. Mazziotti, Costabile Carducci ed i moti del Cilento nel 1848, Milano, 1909, p. 18.
[2] G. Montanelli, Memorie sull'Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814 al 1850, p. 57.
[3] G. Montanelli, op. cit.

Ромео»[1] В дальнейшем мы покажем, какое значение придавал этой организации Карло Пизакане

О политическом направлении этого подпольного движения в Калабрии мы узнаем из книги Дито, указывающего, что еще до революции 1848 года «имели место раздоры между участниками движения — выходцами из народа и дворянами; последние упрекали их в праздности и в том, что они проникались духом анархии и коммунизма, намекая тем самым на «Евангелическое общество» («Società Evangelica»), которое состояло в большинстве из демократических элементов и неизменным руководителем которого был протоиерей Ангерà»[2]. Став карбонарием в 1824 году, Ангерá вступил затем в организацию Музолино и, наконец, в вышеупомянутую тайную организацию, действовавшую до революции 1848 года. Как пишет Дито, Ангерá, пользуясь «своим саном и знакомствами», вел пропаганду среди всех социальных слоев провинции»[3].

Каков же итог деятельности калабрийской тайной организации во время революции 1848 года? Музолино попытался рассмотреть этот вопрос в неоднократно цитировавшейся нами небольшой работе. Было ошибкой, утверждает он, поставить во главе революции в Калабрии неаполитанца, графа Джузеппе Риччарди. Его не знали достаточно хорошо, но так как у него было громкое имя и ему сопутствовала слава социального республиканца, то решили, что он может быть руководителем. На деле же Риччарди показал, что в социальных вопросах он разделял радикальные взгляды калабрийских демократов только до известной степени. Он ограничился изданием бюллетеней и прокламаций. это была подлинная мания прокламаций, столь характерная для мадзинизма, хотя Риччарди и принадлежал к числу наиболее резких критиков Мадзини. Он не принял никаких энергичных мер против реакционных слоев. «Ни богатейшие епископы,— писал Музолино,— ни различные религиозные конгрегации и учреждения не были подвергнуты чрезвычайному обложению; наконец, не был введен принудительный налог на крупных собственников, между тем как в Калабрии находятся богатейшие землевладельцы и капиталисты королевства. Главный аргумент, который Риччарди приводил в оправдание своего противодействия любой принудительной мере финансового характера, состоял в том, что он не хочет насилия над собственностью»[1]. Правительство ограничивалось нравоучениями, но «первая обязанность слабого правительства состоит в том, чтобы стать сильным, что позволило бы продолжить моральные реформы; но смешно заниматься морализированием, когда почва уходит из-под ног»[2]. А что можно сказать о состоянии революционных войск? «Молодежь из бедноты,— писал Музолино,— стекалась со всех сторон, но, не получая даже скромных средств, необходимых для повседневного пропитания, возвращалась к полевым работам»[3]. «Народ был за революцию, и ни высшее духовенство, ни крупные собственники не осмелились бы уклониться от выполнения обязательств, навязанных им требованиями момента. Что касается высшего духовенства, то не было такого края, где бы епископат пользовался столь ничтожным влиянием, как в Калабрии; здесь все священники и монахи поддерживали движение — первые командовали различными вооруженными отрядами, вторые были знаменосцами почти во всех ротах, подчиняясь соответствующему порядку. Люди считали, что заставить епископат раскошелиться было бы в высшей степени похвальным, ибо большинство епископов только и делало, что обирало епархии, потворствуя расцвету *непотизма*.»[4]

Поэтому решительное противодействие Риччарди проведению всяких принудительных мер завоевало ему вскоре «расположение и признательность всех крупных собственников». А между тем существовала группа калабрийских революцио-

---

[1] О Dito, La rivoluzione calabrese del'48, p. 53. Тот факт, что д'Айала возглавлял Центральный комитет в Неаполе, который поддерживал связи с Сицилией, подтверждает также Ла Маза См G La Masa, Aggiunta ai documenti della rivoluzione siciliana del 1847—1849, Torino, 1851, p. 34.

[2] O. Dito, op. cit,, p. 94.

[3] О Dito, op cit, p 67 Доменико Ангерá родился в первые годы XIX века в Потенциони близ Бриатико В течение ряда лет он был протоиереем в Сан Вито Ионико Вместе с аббатом Акаччи из Сталетти он стал продолжателем масонской традиции Иерокадеса, а затем вел активную деятельность в обществе карбонариев и в неокарбонарских организациях Калабрии, основав «Евангелическое общество». Он сам себя избрал «возродителем», или «первосвященником», этого общества, которым он руководил вместе с одним рабочим из Катандзаро В 1848 году он отправился по селениям Калабрии, призывая простой народ к восстанию Ему удалось собрать оружие и завербовать бойцов. Ангерá был заочно приговорен к смертной казни, после поражения революции он эмигрировал на Мальту Посвятив себя занятиям математикой, он опубликовал после 1860 года несколько брошюр, содержавших результаты его исследований. См «La persecuzione dell'arciprete di San Vito don Domenico Angherà, giuridicamente acclarata», Napoli, Stamperia del Fibreno, 1841.

[1] B. Musolino, op. cit., p. 32.
[2] B. Musolino, op. cit, p. 33
[3] B. Musolino, op. cit.
[4] B. Musolino, op. cit.

неров, которые, напротив, были «сторонниками применения действительно революционных методов, причем среди них были люди, желавшие прибегнуть и к *самым крайним мерам*» [1].

Итак, во время революции 1848 года в демократическом лагере Калабрии было три направления· умеренно-демократическое, которое вскоре сплотилось вокруг Риччарди, демократическое, самым видным представителем которого был Бенедетто Музолино [2], и *крайнее направление.*

Политическая линия, избранная Риччарди, была самой роковой, какую только можно было принять в подобных обстоятельствах С одной стороны, правительство не приняло никаких радикальных мер в социальной области, которые побудили бы бедное крестьянство выступить в поддержку революционной власти. С другой стороны, Риччарди позволял *крайним элементам* вести ничем не ограниченную пропаганду аграрного закона и коммунизма. Не имея возможности предпринять какие-либо практические шаги, эти элементы, во всяком случае, во всеуслышание говорили о своих намерениях, что вызывало страх у всякого, кто владел хоть каким-нибудь имуществом, и толкало мелких и средних землевладельцев, боявшихся потерять то немногое, что они имели, в объятия высшего духовенства и крупных собственников.

Выводы, к которым приходит Музолино, рассматривая развитие революции 1848 года в Калабрии, аналогичны тем, к которым пришел К. Пизакане в своей «Войне в Италии». «Во всех провинциях полуострова, — писал Музолино, — власть захватили люди, у которых (не говоря уже о тех, кто был явно недобросовестен) не было четких идей, концепции и цели, которые не знали, из чего следует исходить и к чему нужно стремиться» [1]. Пизакане, как известно, тоже считал, что у калабрийской революции было многообещающее начало, но затем обнаружилось, что она (так же как и революции в других областях страны) не имела «концепции», ясной программы действий.

Кто принадлежал в Калабрии к *крайним элементам* и что нам известно о них? Одна из наиболее передовых групп была связана как раз с «Евангелическим обществом», возглавляемым протоиереем Доменико Ангера́. Наши попытки разыскать в Государственном архиве Катандзаро какие-либо сведения об этой организации оказались безрезультатными

Зато некоторые данные об Ангера́ удалось найти в Сицилии, поскольку после революции 1848 года он продолжал поддерживать отношения с сицилийскими поборниками социалистических идей — Мило Гуджино и Саверио Фриша. Среди бумаг Оддо Бароне, хранящихся в архиве Сицилийского общества отечественной истории в Палермо, имеется письмо Ангера́ от 28 сентября 1857 года, в котором он просит Оддо прислать «с нетерпением ожидаемый экземпляр революционной программы» Франческо Мило Гуджино. Однако еще раньше (по всей вероятности, начиная с 1848 года) Ангера́ был связан с группой социальных республиканцев Сицилии, которые открыто исповедовали социализм.

В июле 1852 года, находясь в Марселе, Ангера́ поддерживал тесные отношения с аббатом Вито Рагона из Партинико, правой рукой Мило Гуджино, о котором речь пойдет ниже.

Вито Рагона писал Оддо. «Восстань Сицилия одна, мы никогда больше не увидим родной земли, если только там не поднимут республиканское знамя с девизом «Да здравствует Италия и народ!» и «Да здравствует социализм!»; в противном случае я первый выступлю против моей родины, ибо мой символ веры — видеть Италию под единым знаменем» [2].

Цель нашего исследования требует хотя бы вкратце остановиться на организации революционного движения в городе Неаполе после подавления революции 1848 года. По этому вопросу существует весьма авторитетная работа Паладино, посвященная обществу «Итальянское единство» («Unità ita-

---

[1] B. Musolino, op. cit., p. 41.

[2] Бенедетто Музолино, не одобряя крайних требований о ликвидации всех без различия форм собственности, занимал, в сущности, передовые позиции В самом деле, он требовал упразднения крупной собственности, «крупных владений» «Подавляющее большинство богатых собственников,— писал Музолино,— стало обладателями своего состояния с помощью узурпаций, ростовщичества и всякого рода притеснений несчастных крестьян, а также посредством других постыдных методов, поэтому они вызывают к себе всеобщую ненависть Наложить руку на имущество этих собственников—значит заслужить всеобщее одобрение И это нужно было осуществить с тем большей строгостью, что многие из них, корча из себя либералов, спокойно взирали на пустую казну, их ничто не тревожило — ни невозможность содержать даже те немногие вооруженные отряды, которые удалось создать, ни робость и пассивность правительства И они не только не содействовали (что, казалось бы, могли и должны были сделать) восстанию, но, напротив, когда к ним обратились с просьбой о займах, которые были бы возвращены с обычными процентами (едва лишь положение в той же Калабрии немного бы нормализовалось), они отказались предоставить их, сославшись на отсутствие денег!.» (B. Musolino, op. cit., p. 36).

[1] B. Musolino, op. cit., p. 79.

[2] SSSP, carte Oddo Barone.

liana») [1]. Согласно Паладино, в создании этого общества принимали участие две группы: «..одна, возглавляемая Филиппо Агрести, ратовала за восстановление старого общества карбонариев, вторая, руководимая Луиджи Сеттембрини,— за создание «Молодой Италии», реформированной им и Музолино. Сильвио Спавента подал им новую мысль — слить оба старых общества в новое, под названием «Итальянское единство». Но речь идет именно об идее и ни о чем больше, ибо документы не дают основания считать Спавента главой рассматриваемого нами общества...» [2]. Мы просмотрели в Государственном архиве Неаполя материалы, на основе которых Паладино написал свою книгу. В общем он старательно следует этим источникам, но не всегда достаточно обоснованно истолковывает их. «Когда перечитываешь эти объемистые судебные материалы, — писали мы в другой работе, — создается впечатление, что Паладино в своей книге о вышеупомянутой тайной организации хотя и осветил достаточно ясно это ее происхождение, все же отдал дань тому преувеличенному представлению о роли мадзинизма, которое было присуще послерисорджиментальной историографии. На самом деле, «Молодая Италия» Мадзини не имела никакого отношения к организации как общества Музолино (который использовал лишь ее название, переделав его в «Сыны Молодой Италии»), так и «Итальянского единства». Паладино утверждает, что последнее ведет свое начало от «Сынов Молодой Италии». В основном это верно, но практически на создание общества «Итальянское единство» оказали влияние идеология и организационные принципы влившихся в него трех или четырех течений, в той или иной форме существовавших еще в мире тайных патриотических обществ Юга: собственно карбонарского течения, возглавляемого старым карбонарием Филиппо Агрести, который участвовал в 1832 году в попытке восстания под условным обозначением «Монах»; течения, руководимого Сеттембрини, который стремился возродить общество Музолино «Сыны Молодой Италии». Наконец, третье, а быть может, даже и четвертое течение вело свое начало от «Общества филадельфов», возникшего в Чиленто в 1828 году, и от «Христианского общества» (неокарбонарской организации в Терра д'Отранто), поддерживавшего связь с тайной организацией, которую Мариано д'Айала основал в 1842 году в Реджо-ди-Калабрии, возобновив работу, прерванную арестом Музолино, и которая впоследствии приобрела большое влияние в Королевстве обеих Сицилий. Если какая-либо тайная организация и была непричастна к созданию общества «Итальянское единство», так это именно «Молодая Италия» Мадзини Поэтому совершенно не обоснованно утверждение Луцио, видевшего в «Итальянском единстве» quid medium [1] между обществом карбонариев и «Молодой Италией». Но нельзя признать и вполне убедительной поправку Паладино, который считал, что с этим выводом Луцио можно согласиться, «если речь идет не о самой «Молодой Италии», а о «Молодой Италии», реформированной Музолино и Сеттембрини». Как мы видели, общество Музолино отнюдь не было «реформированной» мадзинистской «Молодой Италией», с которой оно не имело ничего общего» [2].

Напротив, Паладино прав, когда утверждает, что «Итальянское единство», так же как и общество «Сыны Молодой Италии», от которого оно вело свое происхождение, было лишь потенциально итальянской организацией, фактически же оно оставалось исключительно неаполитанским.

Словом, даже став на точку зрения Паладино, приходится признать, что возникшее в 1849 году неаполитанское общество «Итальянское единство» в основе своей было неокарбонарской организацией. Основная черта этой организации состояла в том, что она старалась опереться главным образом на военных, ремесленников и простолюдинов. Целью организации было проникнуть в армию и привлечь ее на свою сторону, сблизиться с народными массами и поднять их на восстание [3]. Аналогичные цели преследовали организации, которые после арестов 1849 года заняли место «Итальянского

---

[1] См. G. Paladino, Il processo per la setta dell'„Unita Italiana" e la reazione borbonica dopo il'48, Firenze, 1928.

[2] G. Paladino, op. cit., p. 2—3.

[1] Нечто среднее (*лат.*).— *Прим. ред.*

[2] G. Berti, op. cit., p. 722—723.

[3] Характерные черты «Итальянского единства» можно свести к следующим: 1. Строго определенное организационное устройство по образцу неокарбонарских тайных обществ, аналогичное внутренней структуре общества «Сыны Молодой Италии» 2 Особое внимание уделялось вербовке в члены общества военных, ремесленников и простолюдинов Участие военных в движении рассматривали как дело первостепенной важности, но не меньшее значение придавали организации низов, стремясь привлечь их с помощью так называемых народных вожаков. 3. Общество предусматривало *дифференцированный подход* к народным массам. Если самые низшие слои народа считались недостаточно развитыми, чтобы можно было надеяться вырвать их из-под влияния Бурбонов, то по-иному относились к простолюдинам тех кварталов (Монте Кальварио, Аввоката), которые населяли ремесленники, плотники, красильщики, кустари, рабочие,

единства»: «Военно-карбонарское общество», созданное в 1851 году, и тайная организация, которую после распада «Итальянского единства» возглавил Миньонья и которая слилась затем с Тайным комитетом Неаполя, руководимым Джузеппе Фанелли и Луиджи Драгоне. Другими словами, «Итальянское единство» было непосредственно связано, с одной стороны, со старыми организациями неокарбонарского типа на Юге, а с другой — с возникшими позднее революционными объединениями. Аресты вырывали из их рядов руководителей, однако рядовые кадры, состоявшие из военных и представителей низов, оставались в известной мере неизменными для всех трех организаций.

Если мадзинизм встретил серьезные трудности на пути проникновения и утверждения своего влияния в Королевстве обеих Сицилий, то можно представить, с какими препятствиями столкнулись другие идеи и организации, возникшие на еще более чуждой почве. Хотя принято считать, что свидетельства Ла Чечилья не заслуживают большого доверия, все же нельзя усомниться в справедливости его утверждения, согласно которому мадзинизм на первых порах (когда в нем видели просто одно из ответвлений общества карбонариев) был встречен в Королевстве обеих Сицилий без предвзятости и недоброжелательства. Он столкнулся с упорным противодействием главным образом впоследствии, когда выявились его характерные черты. Ла Чечилья истолковывает по-своему историю этих трудностей и разногласий, из-за которых неаполитанским демократам казалось, что Мадзини не придерживается «основ доктрины». «Что ты подразумеваешь под законно приобретенными правами, — писал около 1833 года Ла Чечилья Мадзини,— как ты предполагаешь принести

получавшие поденную и сдельную оплату, «весь тот люд,— как правильно отмечает Паладино,— который вступил в Национальную гвардию, лишь только она была создана, и который ушел из нее лишь после декрета о роспуске»; таким образом, эти слои уже обладали богатым политическим опытом. Народные вожаки, связанные с обществом «Итальянское единство», в значительной степени уже выступали в этой роли во время революции 1848 года; после арестов среди членов этого общества они примкнули к вновь образовавшимся тайным организациям и к той, которую позже возглавил Фанелли (Фиттипальди, Кьярини). 4. К «Итальянскому единству» наряду с демократами неокарбонарского толка примыкали либералы новой, умеренной ориентации, как, например, Спавента и Ниско. Именно в этом обществе умеренные элементы впервые соприкоснулись с представителями низов, и события последующих лет показали, что умеренным удалось приобрести среди народных вожаков, среди ремесленников и рабочих Неаполя не меньшее влияние, чем демократам.

пользу народу без упразднения?» [1] Мадзини отвечал на это: «Я исправил другую фразу, не ту, которую ты отмечаешь; я не понимаю, что значит не придерживаться основ доктрины, когда говоришь о намерении не упразднять *законно* приобретенных прав. *Конечно, мы должны упразднить их,* но весь вопрос в том, чтобы решить, какие из них приобретены *законно.* Впрочем, я с умыслом подчеркнул эти слова, и для меня важно, чтобы было именно так. Если хочешь принести благо народу, то это вовсе не значит, что в первый же день следует провозгласить аграрный закон. Прогрессивного налога (не подрывал бы только он доходы) было бы достаточно, чтобы, не попирая законно приобретенных прав, уравнять в течение пяти лет состояния, если, конечно, этот налог будет правильно взиматься. Не знаю, черт возьми, что ты имеешь в виду под доктриной» [2].

[1] G. La Cecilia, Memorie storico-politiche, vol. II, p. 47.

[2] Ла Чечилья, однако, прекрасно знал, что́ он имел в виду, когда утверждал, что Мадзини не придерживается «основ доктрины»: очевидно, он намекал на карбонарскую доктрину. Уверяя же Мадзини в том, что тайное общество в Южной Италии пользуется большим влиянием, он имел в виду, конечно, общество карбонариев, а уж никак не тех приверженцев, которых Мадзини хотел каким-то чудом, в мгновение ока приобрести с помощью Ла Чечилья в Неаполитанском королевстве. Напротив, Мадзини не понял — или делал вид, что не понимает,— сути дела; поэтому, когда он оказался припертым к стене и когда пришлось говорить начистоту, Мадзини наконец осознал, что обеспечить подлинную и прочную поддержку своей организации и теории в Королевстве обеих Сицилий — дело значительно более трудное, чем он думал вначале. Но на первых порах он тешил себя надеждой, что может рассчитывать на Юге на 50 или 60 тысяч сторонников Вероятно, эти цифры были названы Ла Чечилья, имевшим в виду тех, кто еще сохранял верность карбонарским идеям. См. G. Paladino, Gli antecedenti ideali della rivoluzione del'48 nell' Italia meridionale, в «Rassegna Storica del Risorgimento», 1923, p. 64 sgg. Но была эта цифра верной или ее значительно преувеличил Ла Чечилья (что весьма вероятно) — важно не это; когда Мадзини понял, что большинство его предполагаемых сторонников не приемлет его концепции и даже враждебно ей, он изменил свое отношение к демократам Неаполитанского королевства. С этого времени, как правильно отмечает Паладино, Юг уже не занимает «в замыслах Мадзини того места, что прежде». Время от времени апостол еще обращал свой взор и мысль к южным провинциям, поддерживал переписку с жившими там людьми, но никогда уже не питал надежд, что ему удастся поднять здесь (в континентальной части королевства) «восстание, о котором он мечтал» (p. 69). Как мы увидим, Мадзини длительное время проявлял недоверие и безразличие и к островной части королевства — Сицилии, к которой постоянно обращалась мысль многих демократов. Недоверие, впрочем, было взаимным. См. F. Crispi, La Sicilia e la Rivoluzione, в «La vita italiana nel Risorgimento (1846—1849)», III serie, Firenze, 1900, p. 125. ««Молодая Италия» не пользовалась успехом на нашем острове. У Мадзини здесь были друзья, но не последователи. Его работы, его газета «Апосто-

Если мадзинизм встретил в Королевстве обеих Сицилий враждебное отношение, то еще меньше возможностей для проникновения на Юг имели те организации и идейные направления левого толка, чьи руководящие центры находились за границей и были оторваны от реальной действительности Королевства обеих Сицилий 13 марта 1837 года неаполитанский представитель в Париже в шифрованной депеше предупреждал бурбонское правительство, что «местная полиция, стремясь обнаружить нити заговора после недавнего покушения, нашла подтверждение того, что он охватывает всю Европу и целью его является республика, для чего первое средство — гибель государей Не удалось ни найти достаточных доказательств чьей-либо виновности, ни обнаружить средства связи, которые постоянно меняются Все сводится к подозрениям, а местные законы не позволяют в таком случае принять превентивных мер, чему мешает также страх. Установлено, что здесь существует Руководящий комитет, так называемый Центр общества, именуемого «Мир» Он состоит из двадцати пяти человек, из которых двадцать находятся в этом государстве, трое — с поручениями в Испании, один — в Вене и один — в Петербурге» [1].

Но никаких следов тайного общества «Мир» (которое, как известно, возглавлял Буонарроти) неаполитанская полиция не обнаружила, несмотря на тщательные поиски во всех провинциях королевства. Значительно большую тревогу вызвала обширная и насыщенная фактами статья под названием «Общество коммунистов», которую «Гадзетта привиледжата ди Милано» опубликовала в номерах от 26 и 27 октября 1841 года (перепечатав ее из «Прусской государственной газеты») Автор статьи показывал, что восстание, вспыхнувшее в Париже в мае 1839 года, было подготовлено так называемым «Обществом времен года», которое после его подавления было реорганизовано в «Общество коммунистов»; целью этого последнего является равенство и всеобщий раздел имуществ В статье отмечалось, что начиная с 1835 года по распоряжениям судебных властей конфисковывались коммунистические сочинения и что в четвертом номере газеты «Ом либр» можно было даже прочесть следующее: «Мы добиваемся общности имуществ в том или почти в том виде, как это понимал Бабеф. Мы выполним свой долг, если разрушим до основания общественный строй и создадим его заново, на новой базе

лато» читались с жадностью, как и вся запрещенная литература, но не завоевывали ему последователей»

[1] ASN, Ministero di Polizia, f 140.

Близится час, когда народ с оружием в руках потребует возвращения своего имущества, ибо большая часть того, чем владеет богач, есть лишь результат грабежа» Газета приводила длинный список коммунистических изданий — от «Заговора равных» Буонарроти до работы аббата Пийо [1], от брошюр, опубликованных Паньером — типографом революционеров, до «Истории заговора генерала Мале». Автор статьи указывал, что эти теории находят отклик у французских рабочих, известная часть которых уже организована в союз «Равные труженики», и приводил уставы этой организации, а также обращение, направленное парижским комитетом французскому демократическому обществу в Лондоне «Страшным ударом для коммунистов, — писал в заключение автор статьи, — был факт публичного разрыва с аббатом Ламенне, авторитет которого ставился столь высоко и который в своей работе «Страна и правительство», казалось бы, солидаризировался с ними»

После получения известия о создании в Париже общества коммунистов министерство полиции в Неаполе немедленно разослало во все провинции королевства циркуляр с требованием усилить надзор за рабочими и своевременно информировать правительство, если этим принципам удалось проникнуть в Неаполитанское королевство На этот циркуляр ответили полицейские власти всех провинций (в неаполитанском архиве хранятся ответы из Капитанаты, Сицилии и Терра ди Лаворо), сообщая, что у них нет никаких сведений о проникновении коммунистических идей в их края Вот что пишет, например, капитан Мастробуоно в донесении из Казерты от 9 декабря 1841 года о положении в Терра ди Лаворо: « . Сообщаю, что люди 1820 года и «обломки» поколения 1799 года уже состарились или на пороге старости, а для действий в пользу реформ требуется молодежь, особенно в нашем крае, где нужен пример, а не наставления. Сторонники же «Энциклопедии» не годятся больше даже для того, чтобы действовать из-за кулис, и не столько из-за отсутствия желания, сколько из-за слабости духа Так что старое проповедничество не пользуется больше ни влиянием, ни доверием . Сообщаю, что в Терра ди Лаворо было бы чревычайно трудно организовать ткачей и работников, однако сейчас здесь необходимо удвоить надзор, ибо по тому, как обстоит дело с продуктами, и поскольку нельзя произвести посев так, чтобы урожая хватило хотя бы на одну часть области, может

[1] Пийо, Жан Жак (р 1809 — год смерти неизвестен) — французский революционер, коммунист утопист — *Прим ред*

случится, что какое-нибудь злонамеренное лицо сумеет завлечь в свои сети простодушных . Нужна величайшая бдительность в Арпино, Изола ди Сора и его окрестностях, а также в Пьедимонте и Сант-Элия. В этих местностях есть предприятия, стройки и много иностранцев; здесь полиции следует быть начеку и проявить величайшую бдительность, взяв под наблюдение всех рабочих и иноземцев. На бумажную фабрику синьора Лефевра не может быть принят ни один человек без разрешения владельца и полиции» [1].

Еще большая тревога охватила министра неаполитанской полиции, когда в 1843 году были получены новые сведения о распространении влияния общества коммунистов в Швейцарии. Всем провинциальным властям был разослан новый обстоятельный циркуляр, в котором излагалась история этого общества и содержалась самая подробная информация о его принципах и формах организации. « ..Это общество коммунистов ведет свое происхождение от некоего Бабефа, одного из последователей Робеспьера. Французская революция провозгласила *свободу* и *равенство* безусловной нормой всякого политического устройства. Робеспьер установил принцип равенства политических прав, но Бабеф, пойдя значительно дальше, установил, что *все люди равны*, что все они от природы наделены *равными правами,* а посему имеют *равное право пользоваться всеми благами,* это равенство должно соблюдаться даже в одежде, которой пользуются люди. Поскольку в 1796 году французская революция в значительной мере утратила свою силу, план Бабефа провалился, а сам он был арестован и предан казни. После этой эпохи общество впервые дало знать о себе в 1839 году, когда 12 мая вооруженные коммунисты осадили Ратушу, выставили караулы и всполошили весь Париж, но правительство оказало энергичное сопротивление и порядок был восстановлен. Под влиянием Парижа это общество возникло среди ремесленников Германии, и они придерживаются тех же ошибочных принципов, что и парижские. Ибо одним из самых рьяных инициаторов этого общества стал некий Вильгельм Вейтлинг из Магдебурга, молодой портной, арестованный в Швейцарии как автор книг, содержавших самые ужасные оскорбления господа нашего Иисуса Христа .» [2]

Далее следовал перечень книг Вейтлинга, обширное и подробное изложение его взглядов, а также целей и средств основанного им коммунистического общества, правил приема, организации, пропаганды, порядка заседаний и т. д. Однако отовсюду — из Казерты, Авеллино, Кьети, Кампобассо, Акуилы, Козенцы, Потенцы, Фоджи, Терамо, Салерно, Лечче, Мессины, Ното, Трапани, Агридженто, Кальтаниссетты и Палермо — пришли ответы, что при самых тщательных поисках не удалось обнаружить никаких следов этого общества коммунистов в королевстве

Тем не менее интендант Капитанаты в циркуляре от 20 октября 1843 года давал следующие инструкции «Не считая нужным повторять распоряжения, отданные при различных обстоятельствах по поводу надзора, особенно над иностранцами, которые разъезжают по провинции, добавлю только, что необходимо учредить тщательный и неусыпный надзор над сословием ремесленников в связи с возможными контактами между ними и иностранцами Ремесленники принадлежат к сословию, занимающему промежуточное положение между другими классами общества, и среди них легче всего могут пустить корни популярные гутопии (sic!). Действительно, проникшись некоторыми разрушительными политическими принципами, они могли бы легко занести в самые низшие классы идеи обновления, подкрепленные надеждами на улучшение их судьбы Высказав эти общие соображения, выражаю надежду, что Вы немедля известите меня в специальном докладе, предназначенном лично мне, о любых Ваших действиях и решениях в случае малейших волнений, особенно среди ремесленников, а также среди самых низших сословий . » [1]

Словом, правительство Королевства обеих Сицилий пыталось, воздвигнув полицейскую «китайскую стену», обезопасить себя от разрушительных иностранных идей и заговорщических организаций, оно также ввело строжайший полицейский надзор, дабы воспрепятствовать проникновению в королевство идей и изданий «Молодой Италии» и Мадзини, помешать поездкам мадзинистских эмиссаров и т д Правда, по вполне понятным причинам помешать проникновению

[1] ASN, Ministero di Polizia, f 140.
[2] ASN, Ministero di Polizia, f. 140.

[1] ASN, Ministero di Polizia, f 140 М Гаудиозо в статье «Отклики в Сицилии на бланкистское выступление 1839 года» («Movimento operaio», anno II, p 241—296) попытался на основе документов Государственного архива Катании выяснить, какой отклик нашли в Сицилии бланкистское движение и идеи Вейтлинга Совершенно очевидно, что они не получили никакого отклика Интендант Катании, обнаруживший особое рвение (был введен надзор над иностранцами, над теми, в ком подозревали эмиссаров, то есть над возвращавшимися на родину эмигрантами), не смог сообщить в Неаполь хоть что нибудь конкретное.

мадзинизма было труднее, и в какой-то мере такое проникновение имело место, начиная с 1838—1840 годов оно стало принимать все большие масштабы. Тем не менее даже в последующий период проникновение идей, печатных материалов и агентов «Молодой Италии» в Королевство обеих Сицилий было значительно более скромным, чем это принято думать, и патриотическое движение как либерального, так и демократического толка отправлялось от идей и организационных форм, возникших на самом Юге; лишь в некоторых случаях оно испытало на себе влияние новых теорий и революционных устремлений Мадзини.

В общем в том, что касается Королевства обеих Сицилий, нам представляется обоснованным вывод Бульферетти, писавшего: «...Сеть тайных обществ, сохранившихся после репрессий и процессов 1830—1834 годов, была... значительно более сложной и жизнедеятельной, чем это обычно считают те, кто ограничивается рамками «Молодой Италии»» [1].

Такова в основных чертах картина развития демократического движения в Королевстве обеих Сицилий в период между 1810—1820 годами и 1840 годом. Что же касается тех социальных или социалистических позиций, к которым сторонники этого направления пришли в 40-х годах, то есть в десятилетие, имеющее более непосредственное отношение к целям нашего исследования, то этот вопрос будет рассмотрен в следующем разделе.

[1] L. Bulferetti, Il socialismo risorgimentale, Torino, 1949, p. 56.

## II ДЕМОКРАТИЗМ И УТОПИЧЕСКИЙ СОЦИАЛИЗМ

После событий 1830—1831 годов патриоты Королевства обеих Сицилий попытались создать новые формы организации. Не ограничиваясь более исключительно подпольной деятельностью, они предприняли попытку добиться сплочения сил с помощью печати. Конечно, приходилось действовать в условиях строжайшей цензуры и неусыпного полицейского надзора. И все же, несмотря на все эти препоны, удалось провести больше идей и установить больше плодотворных контактов между теоретиками и практиками (и даже политических связей, имея в виду конкретную практическую деятельность), чем это принято обычно считать.

И если в 1832 году Мадзини со своей «Молодой Италией», с ее изданиями и манифестами, действуя извне, открыто попытался создать демократическую партию современного типа с целью преодоления старой карбонарской символики, то патриоты Королевства обеих Сицилий предприняли аналогичную попытку, действуя не из Марселя, Лозанны или Лондона, а в Неаполе, Калабрии и Сицилии, на глазах у абсолютистского правительства.

Не следует забывать о том, что патриоты Королевства обеих Сицилий, действуя в условиях абсолютизма, должны были соблюдать крайнюю осторожность. Они вынуждены были посвящать свои статьи истории наук, истории философии, археологии, истории военного искусства, политической экономии, праву и даже медицине и естественным наукам — математике, физике, химии. Разумеется, идеологической платформе патриотов, избравших эту форму борьбы, какие бы замыслы они ни лелеяли в глубине души, неизбежно не хватало той определенности и решительности, которые отличали позицию Мадзини. Однако окончательный итог не становился от этого пассивным. В самом деле, то, что теряли из-за вынужденной осторожности, из-за невозможности касаться собственно политических проблем, о которых или вообще умалчивали, или говорили только намеками, выигрывали (и это был огромный и ценный выигрыш) за счет тех прочных и надежных связей, которые удавалось установить благодаря сотрудничеству между людьми, известными всей стране, между самыми выдающимися патриотами, получив-

шими (под тем или иным предлогом) возможность поддерживать постоянные контакты, встречаться, переписываться, вообще объединиться вокруг печатного органа.

Ныне мы легко даем ослепить себя теми действиями, которые мадзинисты развернули в Италии из-за рубежа Но та деятельность, которую литературно-патриотическим центрам удалось организовать в период с 1832 по 1847—1848 годы, отнюдь не уступала по своему значению деятельности «Молодой Италии» из-за границы.

Так, например, самое важное, что совершил за свою долгую жизнь патриота, публициста и демократа-борца Джузеппе Риччарди, было (если судить по конкретным результатам) основание журнала «Прогрессо», первый номер которого вышел в свет в Неаполе в марте 1832 года. Этот журнал издавался непрерывно на протяжении многих лет — сначала под руководством Дж. Р. (Джузеппе Риччарди), а затем — Л. Б. (Лодовико Бьянкини). Среди его сотрудников были, в частности, Алессандро и Карло Поэрио, Базилио Пуоти, Карло Троя, Габриэле Пепе, Джузеппе Монтанелли, Паоло Эмилио Имбриани, Луиджи Драгонетти, Луиджи Бланк, Луиджи Галанти, Микеле Милано, Гаэтано Коста, Николо Томмазео, Маттео Де Аугустинис, Лука Каньяцци, Леопольдо Пилла и Джузеппе Де Чезаре. «Прогрессо» начал выходить в то время, когда вследствие вмешательства Меттерниха было прекращено издание журнала «Антолоджиа» во Флоренции. Даже когда Риччарди был арестован и заключен в тюрьму Сант-Эльмо и руководство журналом перешло к Бьянкини (то был человек, которому, по мнению бурбонского правительства, можно было доверять), дело, начатое журналом, не заглохло — в том смысле, что его сотрудники продолжали поддерживать между собой связь и инициатива, проявленная Риччарди, не пропала втуне. Впрочем, дух, царивший в «Прогрессо», стал в какой-то мере проникать повсюду, даже в «Аннали чивили» — основанный министром Сантаджело двухмесячный журнал, в котором сотрудничали Мариано д'Айала, Оронцио Коста, Эрнесто Капоччи.

Со своей стороны д'Айала совместно с Джузеппе Дель Ре приступил 1 мая 1833 года к изданию «Топо леттерато» — газеты, освещавшей архивные изыскания, преследовавшие не только чисто научные, но и популяризаторские цели. На страницах этой газеты впервые в Италии были напечатаны переводы некоторых произведений Пушкина. Наряду с безобидной историко-литературной информацией газета помещала сведения, которые, конечно, было бы трудно обнаружить в официальных газетах. Так, например, в номере пятом газеты от 20 февраля 1834 года было помещено сообщение об основании в Париже «Рабочего общества» — того самого, президентом которого был Дюпон де л'Эр, вице-президентами — Араго и Корменэн, а генеральным секретарем — коммунист Кабе[1].

«Прогрессо» же под руководством Риччарди не боялся в самых тяжелых условиях бурбонского режима цитировать Джоя и Романьози и публиковать статьи Милано «Заметки о первом периоде экспериментальной философии»[2], в которых отстаивалась мысль о прогрессивных истоках итальянской спекулятивной философии, статьи Луиджи Драгонетти «О промышленности с точки зрения ее связей с общественной администрацией»[3], статьи Луиджи Бланка «О военной науке и о ее связи с другими науками и с социальной системой»[4], «Замечания об истории Ботта» Гаэтано Коста[5] или статью Паоло Эмилио Имбриани, посвященную Базилио Пуоти,— «О Витторино да Фельтре и об обязанности главы школы»[6]. В одном из первых номеров «Прогрессо» Луиджи Галанти (которому Мюрат предложил кафедру истории и риторики в Политехнической школе и который был устранен от преподавания в связи с событиями 1820 года) в статье «О цивилизации» позволил себе написать следующее: «Нужно проникнуться убеждением, что одна лишь добродетель делает человека сильным и счастливым... Не нужно поэтому позволить запугать себя порокам, кои сопутствуют цивилизации европейских народов. Несомненно, что распространение добродетели не только намного отстает по сравнению с прогрессом науки, но очень часто их даже нагло противопоставляют друг другу. Несомненно, что почти все нации еще отвергают правильные экономические принципы, а политика все еще плохо следует своим истинным интересам; но промышленность все более следует общим правилам, а пример и выгода все более приобщают ее к здоровой экономике, жестокие же кары будут служить все более действенным уроком для неразумных политических страстей. Все это предвещает (в частности, даже путем кровопролитной борьбы) медленное и *постепенное движение к наилучшей социальной общно-*

---

1 См. „Il Topo Letterato", anno secondo, № 5, 20 febbraio 1834.
2 „Il Progresso", vol. I, II.
3 „Il Progresso", vol. II, p. 120.
4 „Il Progresso", vol. I, p. 70.
5 „Il Progresso", vol. VI, p. 46.
6 „Il Progresso", vol. III, p. 277.

*сти,* к той цивилизации, которая, как говорил Романьози, явится результатом морального, экономического и политического совершенствования»[1].

Словом, после 1832 года даже для тех, кто не примкнул к мадзинистской «Молодой Италии», конспиративная деятельность уже не была больше сопряжена с молчанием и не ограничивалась только деятельностью «лож» или «вент», скрытой завесой тайны. И подобно тому как многие газеты и научные конгрессы (находившиеся под надзором и подвергавшиеся преследованиям со стороны различных полицейских ведомств) были центрами объединения интеллигенции, так и некоторые неаполитанские салоны (например, салон Лючии Гомес Палома, вдовы Джузеппе Де Томазиса, министра конституционного правительства в 1821 году, или салон Каролины Саличети) служили центрами притяжения и ориентации; даже строгие заседания Академии наук, президентом которой был отец Джузеппе Риччарди, Франческо, были идейными ориентирами для либерально настроенных умов.

В чем состояло основное различие между идеями Мадзини и «Молодой Италии» и идеями того круга патриотов Королевства обеих Сицилий, которые в Неаполе и Апулии объединялись вокруг Риччарди, а в Калабрии и Сицилии тяготели к иным политическим и духовным руководителям? Это различие состояло не только в верности рационалистическим и просветительским традициям XVIII века (которую хранила большая часть этих патриотов) или карбонарской традиции (которая, впрочем, была продолжением первой). Это различие заключалось в том, что после 1830—1831 годов в глубоком соответствии с этим идейным направлением те патриоты Юга, которые намерены были открыто перейти к новым формам деятельности с целью разоблачения пагубных последствий бурбонского владычества, избрали путь, глубоко отличный от того пути, по которому шел Мадзини. Независимо от того, выдвигали они или нет на первый план идею национального единства (некоторые из них, как, например, Риччарди, стали придавать ей с 1826 года первостепенное значение), избранный ими путь состоял в изучении и тщательном документальном подтверждении крайней отсталости Неаполитанского королевства по сравнению с более развитыми государствами Италии и Европы, в частности в изучении экономических условий королевства — сельского хозяйства, промышленности, торговли, путей сообщения, образования и т. д. Вследствие этого вокруг журнала «Прогрессо» объединились такие люди, как Маттео Де Аугустинис и Лука Каньяцци, внесшие важный вклад в конкретное исследование экономического положения королевства и причин пауперизма трудящихся масс[1].

Не лишен значения тот факт, что некоторые из этих людей, в частности тот же Маттео Де Аугустинис, участвовали также в тайных заседаниях и были причастны к конспиративной деятельности в подлинном смысле этого слова. Разумеется, подобное направление могло скорее побудить — и действительно побуждало — некоторых патриотов добиваться от бурбонского правительства проведения реформ, нежели внезапно превратить их решительно и безоговорочно в поборников восстания и революции. Однако по мере того, как становилось очевидным, что бурбонский режим не намерен встать на путь коренных реформ, даже эти люди — одни в большей, другие в меньшей степени — стали склоняться к радикальным взглядам. Вероятно учитывая этот сдвиг, Риччарди и начал свою работу по объединению патриотов Юга, сплачивая их вокруг журнала «Прогрессо», первоначально независимо от того, были они умеренными или радикалами. Во всяком случае, таков был избранный ими путь, и потому всем им была совершенно чужда мадзинистская идея божественной миссии, вверенной гению-пророку, который через очищающую бурю революции повел бы единую Италию по пути свободы и демократии.

Одним словом, «Прогрессо» (основанный в 1832 году) был неаполитанским подобием «Политекнико» (который стал выходить семью годами позже, в 1839 году). Во всяком случае, журнал Риччарди по своим философским, политическим и социально-экономическим тенденциям был значительно ближе к той платформе, которую впоследствии избрал жур-

---

[1] „Il Progresso", vol. III, p. 82—84.

[1] M. De Augustinis, Della condizione economica del Regno di Napoli, Napoli, 1833; „Sulla riforma de'pesi e delle misure", в „Il Progresso" anno VI, 1837, p. 55—56; „La ricchezza degli stati dipende non tanto dal produrre tutto e molto, quanto dal produrre con criterio e previdenza", в "Il Progresso", anno VII, p. 67; "Del gelso e della seta fra gli italiani", s. l., 1838; „D'un singolar modo di conservare le granaglie e le biade in Foggia e del governo di quel deposito", в "Il Progresso", anno VII, 1838, p. 134; „De'saggi delle manifatture napolitane esposti nella solenne mostra del 1838", в "Progresso", anno VII, 1839, p. 155 — 156; „Pensieri sulle tariffe doganali", Napoli, 1843; L. De Samuele Cagnazzi, Saggio sulla popolazione del Regno di Puglia ne'passati tempi e nel presente", Napoli, 1839; „Intorno agli abitanti della città di Napoli", в „Il Progresso", anno II, 1833, p. 60.

нал Каттанео, чем к ориентации мадзинистской «Молодой Италии».

В подчеркивании экономических и рационалистических моментов, в постоянном обращении обоих журналов к теориям Дженовези, Джоя и Романьози, к определенной философской традиции, к определенным воззрениям на мир и общество следует, несомненно, усматривать глубокую общую черту. Однако Риччарди всегда оставался унитарием и неизменно отвергал федерализм. Он постоянно резко критиковал федералистские тенденции, которые (по его мнению) привели бы, в частности, на Юге к отделению Сицилии от Неаполя, и сверх того — к изоляции Неаполитанского королевства от прогрессивных течений Италии и Европы В самом деле, с момента своего возникновения федералистское направление обнаружило в период Рисорджименто серьезную ограниченность, оказавшуюся почти непреодолимой даже для тех патриотов, которые были солидарны со многими из идей Каттанео Поэтому тот, кто по своим философским, политическим или социально-экономическим взглядам счел бы для себя более приемлемым примкнуть к Каттанео и Феррари, не мог сделать это и в конечном счете неизбежно вынужден был либо создавать самостоятельную группировку, либо вопреки своему желанию сблизиться с основным унитаристским направлением Рисорджименто — с мадзинизмом

В 1832 году Риччарди едва исполнилось 24 года Как удалось столь молодому человеку организовать издание журнала, пользовавшегося таким авторитетом и влиянием и сумевшего с самого начала заручиться сотрудничеством самых выдающихся умов королевства? Возможно, задача Риччарди облегчалась тем, что он был сыном президента Академии наук, того самого Франческо Риччарди, которому в 1814 году Иоахим Мюрат присвоил титул графа Камальдоли и который, хотя и отошел на тыловые позиции, занявшись научными исследованиями, навсегда остался верен либеральным и конституционалистским идеалам своей молодости и сформировал в духе этих идеалов беспокойный и рано созревший ум своего сына Уже в юности воображение Риччарди было захвачено политическими событиями, к которым был причастен его отец Так, например, он восторгался обществом карбонариев, а также греческими гетериями, которых он воспел в своих юношеских стихах В восемнадцать лет он уже отстаивал идею национального объединения Италии. Следовательно, когда Риччарди, совсем еще молодой человек, основал «Прогрессо», он уже обладал известным опытом, а журнал, едва увидев свет, помог ему завоевать престиж и уважение интеллигенции Королевства обеих Сицилий.

Впрочем, как мы уже говорили, эти периодические издания, эти научные конгрессы, академии и салоны не были отделены глухой стеной от конспиративной деятельности тайных обществ прямо или косвенно они были связаны с подпольными центрами, разбросанными по всему королевству — в Чиленто, в Терра д'Отранто, в Калабрии и Сицилии Арестованный 13 сентября 1834 года по обвинению в руководстве республиканским заговором, Риччарди спустя несколько месяцев был переведен по приказу Дель Карретто из тюрьмы в дом умалишенных, выйдя из которого он отправился в Испанию сражаться за торжество либеральных идей. То ли для того, чтобы преуменьшить значение антибурбонского заговора, то ли по иным соображениям, но в полицейских докладах королю Дель Карретто изображал многих либеральных деятелей — Риччарди, Музолино и того же д'Айала — как душевно неуравновешенных, выживших из ума людей. После ареста Риччарди в Королевстве обеих Сицилий утвердилось общество Музолино «Сыны Молодой Италии» Впрочем, в 1848 году Музолино пригласил Риччарди в Калабрию, помня о его прежней славе И хотя Музолино пришлось затем глубоко разочароваться, ибо способности Риччарди как человека мысли, которым он восхищался в молодости, явно не соответствовали его способностям как практика, все же он не утратил полностью былого уважения к Риччарди.

Не следует думать, что все то, что волновало ум и сердце Риччарди и других сотрудников журнала, находило отражение на страницах «Прогрессо» Много лет спустя в своих воспоминаниях под названием «Собственноручные мемуары мятежника или пролегомены изгнанника»[1] сам Риччарди рассказывал, что, когда ему было немногим более двадцати лет (между 1830 и 1834 годами), в его голове бродили мысли о реформах, которые «следует провести в общественном устройстве», поэтому он изучал в эти годы *«доктрины социалистов,* и прежде всего Сен-Симона и Бабуэфа (sic!), а также Оуэна и Шарля Фурье» Риччарди писал, что больше всего его поразила доктрина Бабефа, с которой он познакомился по работе Буонарроти «Заговор во имя равенства».

---

[1] G. Ricciardi, Memorie autografe di un ribelle ovvero prolegomeni d'un fuoruscito (Париж 1857). Мы цитируем миланское издание 1873 года.

Вместе с тем Риччарди (и это, безусловно, следует признать характерной чертой передовой общественной мысли Юга) критикует во всех социалистических доктринах, и прежде всего в доктринах Буонарроти и Бабефа, не столько коллективистские устремления, сколько метод их претворения в жизнь, который «вместо того, чтобы вести людей к желанной цели, еще более ухудшил бы их положение, урезав, в сущности, самое великое благо, о котором они могут только мечтать, а именно свободу» [1]. По сути дела, он считал, подобно Музолино и многим другим демократам Юга, что все сводится к свержению бурбонского абсолютистского режима, к завоеванию свободы и национального единства, а затем уж Италия сможет стать образцом разрешения социального вопроса, поскольку в ней нет тех прискорбных классовых различий, которые, напротив, существуют во Франции и Англии, находящихся на мануфактурной стадии развития. Поэтому, сделав этот первый шаг, Италия значительно легче сможет совершить последующие — иллюзия, от которой не был вполне свободен тот же Пизакане. Во всяком случае, присущее всем патриотам Юга отрицательное отношение к «французской инициативе» (так же как и ненависть к офранцуживанию Феррари) имело один и тот же источник. Равным образом все они питали откровенную антипатию к мадзинизму, к этому романтизму на немецкий лад, к чужеземному мистицизму, отвергавшему великие завоевания XVIII века, эпохи Просвещения и реформ, наследниками которой считали себя демократы Юга.

Действительно, какую бы прогрессивную литературу ни читал молодой Риччарди, в социальном вопросе он придерживался тогда осторожных патерналистских позиций, далеких от идей радикальной реформы, которые отстаивали до и после 1848 года наиболее передовые демократы Королевства обеих Сицилий. Можно поэтому согласиться с выводами Бульферетти, который пишет, что Риччарди «...проповедовал идеал солидаристской демократии, покоящейся на таком *самоуправлении* (self-governement), при котором интересы государства совпадают с интересами отдельных граждан, а право собственности может почитаться священным лишь при одном условии — если каждый гражданин обеспечен необходимым» [1]. Риччарди выступал за введение единого налога на чистый доход, но лишь «слегка прогрессивного» [2]. Подобно поборникам банкократической системы, он признавал необходимость создания «национального банка... для оказания помощи наиболее нуждающемуся сословию — не только торговцам, но и земледельцам и рабочим всех категорий» [3]. Эти идеи, скорее социально-филантропические, чем социалистические, идеи просветительские и буржуазно-патерналистские, разделяли некоторые сотрудники «Прогрессо», как, например, Лука Самуэле Каньяцци, специалист по вопросам пауперизма и социально-экономическим проблемам Апулии. Понятно поэтому, что в 1848 году, когда социальные противоречия выявились со всей остротой, Риччарди показался Музолино и Ангера не только *умеренным* демократом, но даже орудием крупных калабрийских собственников, несмотря на его личную честность и благородство.

Впрочем, все демократы, связанные с «Прогрессо», прошли одну идейную школу. Поэтому, когда в 1833 году Мадзини через Ла Чечилья и некоторых своих специальных эмиссаров вступил в контакт с группой демократов, объединившихся вокруг Риччарди (Джеремия Мацца и Луиджи Драгонетти из Абруцц, Джузеппе Маури из Калабрии, Джузеппе Романо из Лечче), немедленно выявились разногласия, хотя конспираторы не могли не проявить интереса к революционному движению, которое столь настойчиво добивалось из-за границы сближения с ними.

Как уже говорилось, после ареста Риччарди, а затем Музолино подпольная деятельность возобновилась с 1842 года под руководством д'Айала. Уроженца Мессины, д'Айала еще мальчиком привезли в Неаполь, где он был определен в колледж «Нунциателла»; в Неаполе же он примкнул к демократическому движению, которое столь настойчиво добивалось среди тех молодых людей, которые 8 сентября 1823 года зарядили ружья, чтобы «примкнуть к отрядам карбонариев

---

[1] G. Ricciardi, op. cit., p. 135—136. См. L. Bulferetti, Sul progressismo sociale della borghesia nel Risorgimento, Antonio Scialoja, в „Miscellanea del centenario", serie I, № 1, a cura del Comitato di Torino dell, Istituto per la Storia del Risorgimento italiano, 1949, p. 13—16.

Бульферетти ссылается на переписку Риччарди, хранящуюся в SNSP, и на его рукописи, которые находятся в Центральном музее Рисорджименто в Риме. Однако большая часть бумаг Риччарди хранится в рукописном фонде Национальной библиотеки Неаполя. Толстая пачка писем Риччарди хранится также в бумагах Музолино в Пиццо Калабро.

[1] L. Bulferetti, op. cit., p. 16.
[2] G. Ricciardi, op. cit., p. 315.
[3] G. Ricciardi, op. cit., p. 316.

и бросить клич свободы на параде в Пьедигротта»[1]. И в дальнейшем этот юноша еще не раз недвусмысленно обнаруживал в колледже свои мятежные настроения, но благодаря заступничеству начальника «Нунциателлы» Карло Филанджери, считавшего его одним из самых способных учеников неаполитанского военного заведения, для д'Айала все оканчивалось благополучно Филанджери постоянно покровительствовал д'Айала; когда же д'Айала стал профессором «Нунциателлы», он оказывал такое же покровительство своим любимым ученикам — Карло Пизакане и Энрико Козенцу[2].

В двадцать лет д'Айала закончил обучение и первого ноября 1829 года был зачислен знаменосцем в полк «Королевская артиллерия». Совсем еще юный офицер принадлежал к числу самых горячих почитателей «Прогрессо»; энтузиазм, порожденный чтением этого журнала, был столь велик, что в 1833 году д'Айала вместе со своим любимым другом Джузеппе Дель Ре, разделявшим его либеральные настроения, решил основать уже упоминавшуюся нами небольшую газету, в которой предполагалось, между прочим, оживить славные патриотические традиции неаполитанского оружия. В 1835 году в газете были опубликованы, как результат архивных изысканий, «Историко-военные мемуары, 1734—1815 годы»[3], посвященные именно Карло Филанджери. В 1840 году д'Айала женился на дочери карбонария Гаэтано Коста, до 1826 года находившегося в заключении в Сант-Эльмо, одного из тех, кто подвергался бесконечным преследованиям за участие в событиях 1821 года, но «предпочел жить в нищете, чем склониться перед королем-клятвопреступником»[1].

Однако лишь в 1842 году д'Айала приступил к конспиративной деятельности в подлинном смысле этого слова, то есть к налаживанию конкретных организационных связей в Сицилии, Калабрии и Неаполе, к созыву собраний патриотов и либералов, к выработке согласованной программы политических действий. Колоссальное впечатление произвела на д'Айала поездка в 1842 году в Калабрию. Об этой поездке он писал дважды: в книге, изданной в виде подарочного издания к новому, 1843 году, — «Поездка из Неаполя в Пиццо», которая вызвала гнев Фердинанда II и имела следствием отстранение д'Айала от преподавания и его увольнение из неаполитанской армии; и в 1847 году в статье «Поездка в Калабрию», опубликованной в газете Филиппо Де Бони «Мондо иллюстрато». Находясь в Пиццо, д'Айала отправился засвидетельствовать свое уважение оставшимся в живых членам семьи моряка Паскуале Греко, этого простолюдина, который имел смелость защищать Иоахима Мюрата от оскорблений толпы. Возможно также, что, соблюдая необходимую осторожность (Бенедетто Музолино находился тогда еще в заключении в Неаполе), он попытался встретиться в этом городке с оставшимися в живых членами и этой героической и несчастной семьи патриотов. Во всяком случае, как пишет сын д'Айала, Микеланджело, «Дель Карретто, выдавая ему *проездной лист* в Пиццо, не забыл, конечно, поставить на нем тот особый знак, который означал — *подозрительная личность,* и ему, конечно, доносили со всеми подробностями о каждом слове и каждом шаге его «подопечного» в Пиццо»[2]. На этот раз Карло Филанджери не смог спасти его. В большей степени, чем статья, судьбу д'Айала решила тайная информация о его встречах в Сицилии и Калабрии, полученная Дель Карретто. Филанджери удалось лишь добиться того, чтобы вместо немедленного увольнения со службы д'Айала был предложен выбор: либо удалиться из Неаполя, отказавшись от кафедры и всяких иных служебных обязанностей, и отправиться в Монджану, в Калабрии, в качестве управляющего железорудных копей и военного предприятия,

---

[1] Michelangelo d'Ayala, Memorie di Mariano d'Ayala e del suo tempo, Torino, 1886, p. 9.

[2] См. M. d'Ayala, op. cit., p. 24—25. «Невозможно передать, с какой любовью и благоговением относились эти юноши к их учителю, который, трактуя о весьма сухих предметах, находил способ привить юным душам святую любовь к родине и ее славе. Его искренняя и вдохновенная речь, его умение возвысить самую простую обязанность, самые нудные правила дисциплины до уровня выполнения гражданского долга, естественно, должны были взволновать и очаровать чистые юношеские души. И это не замедлило принести свои плоды, ибо из класса Мариано д'Айала вышли Карло Пизакане и Энрико Козенц, Джузеппе Вирджили и Сальваторе Медина, ставшие борцами за свободу. В первый год обучения они захотели засвидетельствовать свою благодарность, преподнеся ему по случаю именин шпагу вместе с адресом и следующим посвящением: «Синьору Мариано д'Айала эту шпагу — как нетленный и священный знак — нежной и вечной дружбы — ученики его класса артиллерии — преподносят в дар — 1838». Но подобное изъявление горячих чувств и пробуждение в юношах неких новых либеральных идей очень скоро дали пищу для подозрений. И полковник Ночерино, начальник колледжа, поспешил доложить королю, что профессор д'Айала выражает с кафедры революционные чувства, развращая души учеников».

[3] „Memorie storico-militari dal 1734 al 1815", Napoli, 1835.

[1] M. d'Ayala, op. cit., p. 36.

[2] M. d'Ayala, op. cit., p. 43—44.

которые он как раз только что инспектировал, либо получить полную отставку. Д'Айала отказался принять эту должность, и декретом от 3 августа 1843 года его имя было вычеркнуто из воинских списков. Еще и ныне невозможно без волнения перечитывать рассказ д'Айала о его поездке в Калабрию, опубликованный в газете Де Бони.

В течение тех пяти или шести месяцев, когда судьба д'Айала оставалась нерешенной, была предпринята попытка открыть перед ним иной путь, чем военная служба. После кончины отца Джузеппе Риччарди именно д'Айала получил предложение занять пост президента Академии наук королевства и был избран им. Однако Фердинанд II, у которого уже сложилось твердое мнение о д'Айала, на глазах у министра разорвал указ о назначении. В уже цитировавшейся нами книге сын д'Айала Микеланджело, рассказывая о конспиративной деятельности отца, использовал не столько его документы, сколько хранящиеся в неаполитанском архиве донесения префекта полиции министру Дель Карретто. Одно из этих донесений от 29 октября 1843 года гласило: «Собрание состоялось вчера утром. На нем присутствовали Франческо Паоло Боццелли, Карло Поэрио, бывший лейтенант д'Айала, Маттео Де Аугустинис, Микеле Примичерио, Козимо и Дамиано Ассанти, Феличе Пьерри, Оттавио Грациози и Чезаре Марини. Говорили, что в Молизе все готово к восстанию, которому будет оказана мощная поддержка в провинции Салерно. Представители Калабрии сказали, что Козенца и Реджо равным образом склоняются к восстанию; они утверждали, что Мессина так жаждет выступить, что предложила послать заложников в Калабрию... Уверяли, что многие молодые офицеры — товарищи д'Айала примут участие в деле»[1]. Были ли среди этих «молодых офицеров — товарищей д'Айала» также Пизакане и Козенц? Несомненно, что письмо, которое Пизакане направил д'Айала несколько лет спустя, 4 декабря 1848 года, когда его бывший наставник по «Нунциателле» стал военным министром Великого герцогства Тосканского, выдержано в таком тоне, что дает основание предполагать это. В самом деле, Пизакане писал тогда д'Айала: «Дражайший друг, адресуя настоящее письмо моему старому товарищу, ныне министру, я оказался в затруднении, не ведая, какого тона держаться. Но зная человека, к которому пишу, я отбросил всякие колебания и избрал простой и дружеский тон, к коему я прибег бы при совсем иных обстоятельствах. Я издавна питаю глубокое почтение к тебе, и оно, конечно, много выше того, которого заслуживает столь высокое звание...»[1]

Не следует забывать, что организацию выступлений 1847 года и заговора в Палермо, подготовившего восстание 12 января 1848 года, Пизакане в своей книге «Война в Италии 1848—1849 годов» непосредственно связывает с заговорщической деятельностью, начало которой положил д'Айала и которая благодаря усилиям Доменико Ромео вылилась в восстание[2]. Да и теория восстания, которую горячо отстаивал д'Айала, была близка к той, которую впоследствии сформулировал Пизакане: осуждение частичных и изолированных выступлений, необходимость массовых действий внушительного числа «вооруженных, организованных» людей[3].

Стало быть, картина, нарисованная Микеланджело д'Айала в упоминавшейся книге, весьма близка к истине.

Дж. Раффаэле в своих «Исторических откровениях о революции с 1848 по 1860 год» почти полностью подтверждает (лишь с небольшими отклонениями) и iter[4] этого заговора, и имена заговорщиков, и даты, и особый характер подпольных связей. Согласно Раффаэле, после ударов, нанесенных в 1828 году по остаткам карбонарских организаций в Чиленто, и ужасной жестокой резни, учиненной Дель Карретто (в Боско в числе убитых были женщины, старики и даже дети, а само селение сровняли с землей), неаполитанские и сицилийские заговорщики убедились в необходимости установления прочных связей между Неаполем и Сицилией и решили постоянно придерживаться общего плана действий.

---

[1] M. d'Ayala, op. cit., p. 65.

[1] C. Pisacane, Epistolario, a cura Aldo Romano, p. 521.

[2] См. C. Pisacane, Guerra combattuta in Italia negli anni 1848—1849, Roma—Milano, 1906, p. 24.

[3] M. d'Ayala, op. cit., p. 89. См. также стр. 62: «Мариано д'Айала не считал полезными дальнейшие изолированные и ограниченные выступления, которые привели бы только к новым жертвам. Вместо этого, действуя совместно с Карло Поэрио, он пытался достичь согласия между различными итальянскими провинциями, особенно с Сицилией, чтобы обеспечить мощное одновременное выступление в различных частях полуострова. Благодаря своим друзьям в Риме, прежде всего Луиджи Мази, он был в курсе того, что происходило в Романье; Джованни Мошаро и Дамиано Ассанти информировали его о положении дел в Калабрии, а Джованни Раффаэле — в Сицилии. Имена многих корреспондентов ныне неизвестны, так как все бумаги, оставшиеся в Неаполе после событий 1848 года, были уничтожены, а многие сразу же сжигались, поскольку постоянно можно было ожидать налетов полиции».

[4] Путь развития (*лат.*).

Как известно, в 1837 году Сицилия должна была поднять восстание, но Неаполь не поддержал ее. История этих связей изложена Раффаэле достаточно точно (вопреки тому, что об этом думают), несмотря на то что, впадая в преувеличение, он пытается выдвинуть на первый план собственную личность.

Достичь согласия даже тогда было нелегким делом. Начиная с 1830 года Раффаэле действует совместно с Казимиро Альтьери, Франческо Саверио Барбаризи и Маттео Де Аугустинисом. Позднее, согласно его утверждению, он действовал в союзе с Карло Поэрио, Джузеппе Дель Ре, Мариано д'Айала и Джакомо Лонго (и это заставляет предполагать, что д'Айала, вместе со своим близким другом Дель Ре, приступил к налаживанию конспиративных связей до 1842 года), а еще позже — также с Франческо Боццелли, Дамиано Ассанти, Примичерио, Доменико Ромео, Мальвито герцогом ди Сан Донато и другими. «Но условия союза,— пишет Раффаэле,— которые предлагали неаполитанские либералы, были неприемлемы. Они хотели, чтобы Сицилия начала восстание, а Неаполь последовал бы за ней; что же касается политического устройства, то после окончания войны, говорили они, мы все уладим между собой» [1]. Раффаэле же, напротив, требовал точных гарантий, обеспечивающих автономию Сицилии. «Несколько лет,— пишет Раффаэле,— прошло в этих переговорах» [2]; в конечном счете было, по-видимому, достигнуто соглашение об одновременном восстании в Неаполе и Сицилии и об административной автономии Сицилии. Вслед за тем Раффаэле отправился в Палермо и Мессину; в первом из этих городов он сблизился с князем Гранателли, Эмерико и Микеле Амари и другими, а во втором — с Доменико Пираино и братьями Ланди. «Следует, однако, признать,— пишет Дж. Раффаэле,— что, несмотря на все это, организация восстания мало продвигалась вперед. Унитаристские идеи Мадзини, получившие распространение благодаря «Молодой Италии», нашли особенно широкий отклик среди ломбардцев и в Романье, которая должна была восстать одновременно с Неаполем и Сицилией. Однако либералы этих областей не одобряли условия отделения Сицилии от Неаполя, а неаполитанцы со своей стороны не поддержали это требование, отстаиваемое большинством комитета, что они могли и должны были сделать. Странно, но это так! Хотели, чтобы все жертвы принесла Сицилия; хотели, чтобы она начала революцию и отреклась от всех своих прав ради весьма отдаленной тогда надежды на объединение» [1].

Прогресса в достижении соглашения между Сицилией и Неаполем удалось добиться тогда, когда Габриэле Карнацца, бывшему карбонарию, демократу из Катании, осужденному за участие в событиях 1837 года на принудительное проживание в Неаполе, было разрешено покинуть Неаполь и он переехал в тот же самый палаццо, где проживал Маттео Де Аугустинис. Так постепенно дело подошло к знаменитому собранию 1842 года (высказывания о котором д'Айала, Раффаэле, Дито, Ниско и Мацциотти более или менее сходны) — к общему собранию представителей различных комитетов королевства, в Неаполе в доме братьев Ассанти, в районе Сан Сеполькро. «На этом памятном заседании,— пишет Раффаэле,— было установлено все, кроме дня восстания, и комиссары разъехались по своим провинциям, чтобы подготовить все необходимое в ожидании, когда Центральный комитет в Неаполе сообщит о дне выступления» [2].

После Раффаэле и Карнацца роль «связующего звена между комитетами Неаполя и Палермо» стал выполнять Криспи, который «в ноябре и декабре 1847 года совершил несколько поездок из Палермо в Неаполь с целью подготовки революции 12 января» [3].

В период между 1842 и 1844 годами заговор принял более широкие масштабы. Заговорщики прежде всего установили связь с заграничным центром, которым руководил на Мальте

---

[1] G. Raffaele, Rivelazioni storiche della Rivoluzione dal 1848 al 1860, Palermo, 1883, p. 38—39.

[2] G. Raffaele, op. cit.

[1] G. Raffaele, op. cit., p. 41.

[2] G. Raffaele, op. cit, p 42. См. также Vittorio Visalli, Lotta e martirio del popolo calabrese (1847—1848), Catanzaro, 1923, p. 65—66. «В это время то в Неаполе, то на вилле маркиза Руффо, то в Кастелламаре часто собирались делегаты сицилийской и калабрийской либеральной партии, чтобы договориться об общих действиях. От Сицилии были Карло Джемелли, Доменико Пираино, Онофрио Джулиани, от континентальных провинций королевства — Микеле Примичерио, Мариано д'Айала, Франческо Тринкера, Костабиле Кардуччи, помимо калабрийцев Ромео, Стокко, Гуццолини, Марсико, Ассанти, Латтари, Мауро Де Симоне... Все были согласны в том, что движение должно начаться в одном из более южных районов и, нарастая и ширясь, охватить затем Неаполь и Палермо, однако время начала восстания и его точное место вызвали разногласия. Обе столицы объявили себя неподготовленными Мессина и Реджо настаивали на том, что нельзя медлить. И поскольку Мессина устами Джемелли и Пираино обязалась поддержать выступление, но не начать его, Доменико Ромео обещал, что сигнал будет подан в Калабрии!..»

[3] G. Raffaele, op. cit., p. 64.

Никола Фабрици, а затем создали многочисленные ответвления своей организации. Как обычно, особую активность проявили Калабрия и Сицилия, причем в первых рядах шли те, кто сыграл затем главную роль в событиях 1847—1848 годов. О том, что движение 1844 года мыслилось, по крайней мере в планах этих заговорщиков, как движение широкое и мощное, говорит также Монтанелли в своих «Воспоминаниях об Италии и особенно о Тоскане 1814—1850 годов» («Memorie sull' Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814 al 1850»). С этого времени в Королевстве обеих Сицилий неустанно добиваются того, чтобы восстание началось одновременно в Неаполе и Сицилии. Как известно, восстание 1844 года было намечено на 15 марта, но из-за двусмысленного положения, возникшего в результате требования комитета Романьи об отсрочке, оно вспыхнуло только в Козенце, где без труда было подавлено. Но хватит об этом.

Наряду с этой заговорщической деятельностью группа неаполитанских патриотов, сплотившихся вокруг д'Айала, продолжала по мере возможности начатую Риччарди легальную деятельность в печати и с октября 1846 года приступила к распространению в Королевстве обеих Сицилий газеты Филиппо Де Бони «Мондо иллюстрато». О том, что представляла собой эта газета и какие цели она преследовала, говорят имена ее редактора и сотрудников: Джузеппе Массари, Мариано д'Айала, Джузеппе Де Симоне, Джузеппе Дель Ре, Руджеро Бонги, Коста д'Айала, Джакомо Дина, Аурелио Саффи, Доменико Карутти, Франческо Далль'Онгаро. О том же говорят и книги, которые эта газета рекомендовала для чтения: сочинения Каттанео, «История Неаполитанского королевства» Коллетта, «Философское введение к изучению коммерческого права» Джузеппе Монтанелли, работы Шалоя, Мамиани, Мингетти, Петруччелли делла Гаттина, Далль'Онгаро. Вскоре газета, издававшаяся у Помба, в Турине, была запрещена в Неаполитанском королевстве, но она уже сделала свое дело. О том, каково было оказанное ею влияние, свидетельствует рапорт главы венецианской полиции Калля, датированный 1 марта 1847 года (Венеция) и направленный правительству Вены (этот рапорт был воспроизведен впоследствии в 1861 году, уже после объединения Италии, на страницах газеты, которая снова стала издаваться под тем же названием у того же Помба в Турине). Рапорт гласил: «Графу Палфи. Глава полиции в соответствии с предложением, полученным от Его превосходительства Губернатора, излагает собственное мнение о вышеназванной газете, на распространение которой во владениях Его Величества испросил разрешение издатель Помба, указав в качестве основания для своего прошения умеренность, коей отмечены первые номера вышедшей газеты и каковая будет сохранена и в дальнейшем. Докладчик сообщает о том, что заговоры, тайные общества, подпольные секты, как бы они там ни назывались, отныне рассматриваются партией, стремящейся к ниспровержению австрийского господства в Италии, как средства, не отвечающие цели, ибо их раскрывают еще до того, как они успеют окрепнуть, либо подавляют силой. Поэтому обратились к иному средству, воздействие оного сказывается, разумеется, более медленно, но зато оно более надежно и, можно сказать, неотвратимо. *Борьба за прогресс* переносится из области насилия в моральную область мирных и последовательных усилий. Последние состоят в разжигании национального тщеславия, в подстрекательстве против иностранного господства, в обольщении умов перспективой итальянского единства, словом, в деморализации общественного мнения с помощью печати, чему в огромной степени способствовала бы деятельность среди низших классов общества различных ассоциаций, в особенности аграрных обществ и сельских собраний. Была развернута пропаганда в печати. Ею занимается, вне всякого сомнения, газета «Мондо иллюстрато», издающаяся в Турине. Пусть Ваше превосходительство соблаговолит взглянуть на первой странице названной газеты на предпоследний абзац во втором столбце. Здесь ясно и недвусмысленно излагается символ веры научных конгрессов Италии. Первый конгресс в Пизе 1839 года рассматривается здесь как твердая и исполненная достоинства *новая понтидская клятва*[1], отвечающая требованиям времени и условиям новой цивилизации. Таким образом, хотя она [газета] и не подразумевает насильственных устремлений Ломбардской лиги, но молчаливо преследует ту же цель — изгнание нас из Ломбардо-Венецианского королевства. При сем прилагаются портреты всех президентов как бы для того, чтобы показать людей, кои должны возглавить выполнение этой клятвы. Примечательна, кроме того, тенденция каждой статьи, каков бы ни был ее предмет, выпячивать всегда политическую сторону в интересах принятого

---

[1] В апреле 1167 года представители Кремоны, Бергамо, Мантуи, Брешии и Феррары собрались в одной из коммун провинции Бергамо — в Понтиде — и дали клятву объединить усилия в борьбе против императора «Священной Римской империи» Фридриха Барбароссы.— *Прим. ред.*

плана. Все они нацелены на революцию и именно против Австрии . Впечатление, производимое названной газетой в провинции, таково, что только в Падуе и Пьяченце она приобрела, как мне сообщили, около 300 подписчиков. Ее распространение приведет в конце концов к полному совращению умов (состояние коих и без того вызывает тревогу) студентов Падуи и молодежи вообще. Цель газеты состоит в *освещении* (illustrare) положения *не в мире,* а в Италии, и именно с точки зрения *подлинного прогресса.* Соответствующие инструкции были тайно даны всем сотрудникам... Задерживать отдельные номера газеты представляется неосторожным, ибо это разожжет лишь еще большее любопытство и побудит приобретать эти номера тайком. Было бы лучше вообще запретить газету... «Контемпоранео» в Риме и «Аузонио» в Париже были запрещены, и еще не ясно, не придется ли поступить аналогичным образом и с «Фельсинео» в Болонье. Те же мотивы, кои побудили закрыть указанные газеты, наличествуют и в случае с «Мондо иллюстрато», коя обнаруживает лишь бо́льшую ловкость в распространении своих злонамеренных теорий. Помимо этого, запрещение газеты в Италии, на побережье и в итальянском Тироле лишит редакцию большого числа подписчиков; к тому же не трудно было бы найти повод, который сделал бы невозможным дальнейшее издание этой газеты».

В Сицилии после 1830—1831 годов и особенно после подавления выступления 1837 года либеральные круги также обратились к новым формам деятельности. И впрямь, отныне они делают упор не только на подпольную организацию, но и пытаются действовать легально посредством печати. Во всяком случае, после 1837 года антибурбонское движение в Сицилии, оправившись от временного замешательства, вновь приняло широкий размах. До 1836 года патриотические печатные издания в Сицилии выходили еще подпольно и носили неокарбонарскую окраску. Именно в 1836 году святой престол осудил (а иезуиты призвали с амвонов предать огню) ряд небольших брошюр, распространявшихся как раз в тех районах, которые считались самыми активными в политическом отношении, в районе Трапани и в западной части провинции Агридженто. В государственных архивах Палермо и Агридженто сохранилась часть переписки по этому вопросу между интендантом этой провинции и наместником в Палермо, хотя эта переписка и датируется более поздним временем (ноябрь 1840 года) по сравнению с тем, когда впервые было отмечено появление этих брошюр.

Розарио Ромео обратил внимание на одного из главных вдохновителей этого нового идейного движения — Вито д'Ондес Реджо и справедливо отметил, что в работах д'Ондеса заметен новый акцент — благожелательная оценка «принципов всеобщей любви, проповедуемых социалистами» [1]. Ромео отмечает также влияние Романьози на д'Ондеса и, следовало бы добавить, на Эмерико Амари, Феррара и Кальви. На самом деле д'Ондес занимал не просто моралистическую позицию: на наш взгляд, он вполне сознательно воспринял критику, которой Романьози и Сисмонди подвергли принцип свободной конкуренции, присущий промышленной эпохе, и дух необузданной спекуляции. Действительно, д'Ондес (как указывает сам же Ромео) мечет стрелы против тех, кто, видно, «...жаждет лишь материальных благ, денег, накопления капиталов, кто пренебрегает иными благами, доставляющими радость возвышенным душам, утешение несчастным и являющимися гарантией самих материальных благ; кто желает, чтобы мерилом для науки и общественного устройства служил лишь банк, и кого не заботит, что, в то время как немногие, погрязшие в пороках и обуреваемые дерзостью, предаются разгулу, большинство страдает от голода и унижения. Все это пагубные ошибки, из-за которых приносится в жертву бо́льшая часть человеческого рода» [2].

Начиная с 1833 года д'Ондес вместе с Эмерико Амари и Сальваторе Костанцо основал (несмотря на враждебное отношение властей, которое привело вскоре к крушению их инициативы) читальные залы и «вечерние школы для обучения рабочего искусству чтения и письма», «школы технического обучения» [3] и т. д. Иной позиции придерживался Франческо Феррара. Хотя как исследователь экономических проблем Феррара и придавал значение такого рода социальным тенденциям, однако он не встал на критическую позицию Романьози и Сисмонди. Иначе говоря, если взгляды д'Ондеса представляли собой в Сицилии демократическое направление, которое перед лицом отрицательных последствий свободы капиталистической конкуренции пришло к оправданию «взглядов фурьеристов и сен-симонистов и предсказывало наступление эпохи ассоциаций», то Феррара (хотя он и испытал в молодости влияние радикальных веяний) всегда твердо

---

[1] R. Romeo, Il Risorgimento in Sicilia, p. 242. См. V. d'Ondes Reggio, Memorie legislative ed economiche, Palermo, 1844, p. 24.
[2] R. Romeo, Il Risorgimento in Sicilia, p. 246.
[3] R. Romeo, op. cit., p. 251.

придерживался принципов либеральной, классической политэкономии. Напротив, д'Ондес Реджо повернул к умеренной идеологии (подобно Массари, Ла Фарина и другим) лишь после того, как эмигрировал в Сардинское государство. Следовательно, речь должна идти не только о «моралистических» позициях и даже не о «колебаниях» [1], которые разрешались в пользу либеральных воззрений, но о трудном процессе дифференциации демократии и либерализма, который имел место в Сицилии, как и в остальной Италии. Однако именно в Сицилии эта дифференциация приняла более рельефные формы, чем в других областях. Здесь, а также в Калабрии обнаружилась более тесная связь между демократическими и социалистическими идеями Именно Ромео впервые сообщил (не придавая, однако, этому факту особенно серьезного значения) об издании в 1839 году в Палермо анонимной брошюры под названием «Социальная система Шарля Фурье» («Sistema sociale di Carlo Fourier») [2].

Серьезная озабоченность, проявленная Дель Карретто в его официальной переписке с главным наместником в Сицилии, по поводу того, что издания, появление которых в Неаполе было бы немыслимо (либо по причине недостаточной их ортодоксальности, либо из-за откровенной направленности против существующего порядка вещей), смогли, однако, выйти в свет в Сицилии,— эта озабоченность заставляет предполагать, что Дель Карретто подозревал о существовании в Сицилии организованного идейного движения и о распространении отныне определенных взглядов отнюдь не тайным, а легальным путем, посредством публикаций, и притом регулярно — то ли из-за недомыслия или подкупности цензоров, то ли из-за скрытого сообщничества, ставшего тогда в Сицилии широко распространенным явлением, которое давало о себе знать всякий раз, когда возникала возможность причинить беспокойство Неаполю. Эта озабоченность усилилась в 1842 году, когда появилась в свет «Сицилийская вечерня» Микеле Амари («Guerra del Vespro Siciliano»), вышедшая тогда под названием «Период из сицилийской истории XIII века» («Un periodo delle istorie siciliane del sec. XIII»). Бурбонская полиция разглядела в Анджоино Бурбона, во французах — неаполитанцев, в Эстендарте — министра Дель Карретто, в августовской бойне — избиение карбонариев, учи-

[1] R. Romeo, op. cit., p. 246.

[2] Presso Francesco Stampinato, strada Schioppettari, n. 26, Palermo, in Biblioteca Comunale di Palermo.

ненное в 1828 году Дель Карретто в Чиленто. И, быть может, она не ошибалась, ибо в этом духе ее информировали секретные осведомители. Впрочем, сразу же после опубликования книги сам Амари писал одному из своих корреспондентов: «Моя книга, у которой невинная физиономия послушника из монастыря св. Франциска, скрывающая бесчисленные беззакония, свободно проходит через руки сбирров...» [1]

Возвращаясь к анонимной брошюре о Фурье, отметим, что она не была простой перепечаткой работы, опубликованной за границей, хотя и подобный факт, имей он место в 1839 году в Королевстве обеих Сицилий, представлял бы значительный интерес. В самом деле, эта брошюра содержала не только изложение речи, произнесенной Филиппом Анже над могилой коммуниста-утописта, но и ряд рассуждений анонимного автора, утверждавшего, что «идеи фурьеристов, хотя они, в сущности, чрезвычайно просты, настолько далеки от общепринятых, что нелегко дать о них представление тем, кто знакомится с ними впервые» [2]. Это и являлось целью данной брошюры: изложить социальную систему Фурье и намеченный им путь преодоления противоречий общественного развития.

Автор — это следует подчеркнуть — не дает критического изложения учения Фурье, а прямо становится на его сторону. «Мы вовсе не думаем,— пишет он,— что наши читатели настолько мало знакомы с политическими и социальными науками, что по нашему несовершенному очерку не смогут составить себе представления обо всех преимуществах, которые сулит проведение в жизнь идей Фурье. Это изобилие продуктов, обусловленное простотой и слаженностью отношений между трудящимися, участием в труде богатых и средних классов, избавленных от пагубного безделья, а также множеством привлекательных свойств труда, каковыми будут участие в нем их детей и жен, краткость рабочих сеансов, благоустроенность и простота рабочих помещений, радость, которую дает жизнь в деревне среди многочисленных любящих свой труд земледельцев.

Это доведенное до совершенства качество продуктов, обусловленное этими же причинами, а также состязанием трудящихся, принадлежащих к одной ассоциации, и состязанием между ассоциациями и, наконец, чувством прекрасного, которое станет естественным для человека с исчезновением

[1] A. D'Ancona, Carteggio di Michele Amari, Torino, 1896, p. 44.

[2] „Sistema sociale di Carlo Fourier", p. 6.

гнета, нищеты и страха перед завтрашним днем»[1]. И далее автор восклицает: «А какого развития достигнут механические ремесла (сделавшие такие успехи уже в наши дни), когда умы будут работать над их совершенствованием? В той же мере, в какой изобретение машин в наши дни представляется роковым событием, лишающим рабочих куска хлеба и, можно сказать, обрекающим на смерть тысячи людей, оно окажется полезным тогда, когда выгодами, которые несет с собой применение машин, воспользуются, в частности, те, кого они вытесняют, и когда многообразие знаний каждого — плод короткого рабочего времени — избавит человека от страха перед неожиданными переворотами в какой-либо отрасли промышленности»[2]. Отсюда заключение: «Придите же к нам... придите к Фурье, и мы покажем вам, какое будущее ждет человека, вы увидите, что способности человека тоже имеют свои законы, свой удивительный порядок, что они представляют собой *венец творения*»[3].

Выяснить точно, кто именно является автором этой брошюры, будет очень трудно, разве что удастся обнаружить в архивах неаполитанских местных властей и министерства неаполитанской полиции какие-либо точные указания. Известно, правда, что в 1839 году в Париж отправился один из наиболее передовых деятелей палермской группы патриотов Франческо Мило Гуджино, объявивший себя в 1848 году социалистом. Но в своих политико-социальных сочинениях Мило, как мы увидим, критически отзывался о французских утопистах Фурье и Сен-Симоне. Известно также, что проживший много лет во Франции, в Париже, уроженец Джирдженти Микеле Фодерà в 1831 году вернулся в Сицилию; его утопическая система, изложенная им в 1844—1845 годах (сочинение это было опубликовано в Палермо в 1846 году), имела, по существу, много точек соприкосновения с системой Фурье. Однако, по крайней мере в 1846 году, Фодерà, несмотря на свое восхищение Фурье и Сен-Симоном, считал их недостаточно радикальными и критиковал их.

Оживленные споры о Фурье и Сен-Симоне вел с Мило барон Корвайа[4], но и он не разделял взглядов Фурье и выдвигал собственную банкократическую утопию.

---

[1] Op. cit., p. 17—18.
[2] Op. cit. p. 19.
[3] Op. cit. p. 23.
[4] О бароне Корвайа см. D. Cantimori, Utopisti e riformatori italiani, Firenze, 1943, p. 203, 229.

Итак, кто же мог быть автором этой анонимной брошюры? Им, очевидно, был тот, кто в январе 1839 года предпринял в Палермо попытку издания фурьеристской газеты «Аттрационе» («L'Attrazione»). В государственном архиве Палермо в делах подчиненного наместнику министерства полиции[1] хранится записка, датированная 21 января 1839 года[2]. В ней префект полиции Палермо информирует генерального наместника, герцога Лауренциана об официальной бумаге, поданной неким доктором Самуэле Каландра из Палермо с просьбой разрешить ему издавать периодический орган под названием «Аттрационе», которую он, префект полиции, направил министру статс-секретарю главной полиции, выразив свое благосклонное отношение к данному вопросу. Префект просил поручить рассмотрение прошения королевскому ревизору. Однако он не приводил никаких сведений о характере газеты. Нам же не удалось обнаружить в архиве ни одного номера этой газеты. Но в архивах фурьеристов, собранных в Национальном архиве в Париже, хранится письмо Б. Ж. Мюра из Палермо к Виктору Консидерану от 15 апреля 1839 года, в котором Мюр сообщает о начале издания в этом городе фурьеристской газеты «Аттрационе». Конечно, речь идет о том же самом Б. Ж. Мюре, который спустя несколько лет основал в Бразилии при участии Мишеля Дерриона и других фурьеристов «Промышленный союз»[3].

Как, когда и почему Бенуа Жюль Мюр оказался в Палермо? Какую деятельность развернул он в этом городе? Мюр происходил из Лиона — города, в котором в 1808 году Фурье впервые сделал достоянием гласности свои социалистические теории[4]. Именно в Лионе родилась и получила развитие фурьеристская школа. Заболев туберкулезом, лионец Мюр по состоянию здоровья перебрался с матерью в 1834—1835 годах в Палермо. Это был период наивысшей активно-

---

[1] ASP, b. 269, n. 677.
[2] ASP, carico I, n. 207.
[3] См. Hubert Bourgin, Fourier, Paris, 1905, p. 474, 502; A. de Bonnard, Organisation du travail. Organisation d'une commune societaire d'après la théorie de Ch. Fourier, Paris, 1845, p. XVII—XXII, 32—33. J. Gaumont, Le commerce véridique et social et son fondateur Michel Derrion, Amiens, 1935, p. 100 et suiv. В библиографической работе Дель Бо (G. Del Bo, Charles Fourier e la scuola societaria, Milano, 1957) нет ссылок ни на Мюра, ни на Каландра.
[4] «Theorie des quatre mouvements et des destinées générales. Prospectus et annonce de la decouverte», Leipzig (Лион), 1808. Первое издание было анонимным, и лишь второе (Париж, 1841) вышло под именем Фурье.

сти фурьеристской школы, находившейся тогда под прямым влиянием Фурье, а после его смерти (в 1837 году) — под влиянием Виктора Консидерана. В Палермо в руки Мюра, искавшего средств исцеления от своей болезни, впервые попал «Органон медицины» («Organon de la Medecine») Ханеманна во французском переводе Журдана (1832 год). Б. Ж. Мюр, хотя и не был медиком, прочтя книгу Ханеманна и испробовав на себе — по-видимому, с успехом — содержавшиеся в ней рецепты, стал горячим приверженцем гомеопатии. Связавшись с большой группой сицилийских медиков, он основал на острове гомеопатическую школу и журнал «Аннали ди медичина омиопатика», который начал выходить в Палермо с 1837 года под редакцией Антонино Де Блази. Каким целям должен был служить этот журнал и широкое движение, росту которого Мюр содействовал в Сицилии, объясняет сам Мюр в уже упоминавшемся письме к Виктору Консидерану [1]. Лионский фурьерист полагал, что журнал и распространение принципов гомеопатии подготовили бы благоприятную почву для знакомства с идеями Фурье и их распространения; при этом предполагалось перенести принцип «similia similibus» [2] из медицины на социальные отношения. Журнал содействовал бы между тем установлению тесных связей с людьми, склонными воспринять новые и смелые идеи, что и произошло на самом деле. Однако «Аннали», хотя первые же номера журнала были окрашены в социетарные тона, не мог открыто обнаружить своих целей — как потому, вероятно, что не все приверженцы гомеопатической школы были склонны принять фурьеристские социальные идеи, так и потому, что не следовало вызывать подозрений у бурбонской полиции. Вследствие этого Мюр, действуя через вторых лиц (он, как иностранец, не мог, между прочим, выступать от своего имени), попытался наладить в 1837 году издание в Палермо газеты с четко выраженной фурьеристской программой. В соответствии с этим в 1837 году он побудил одну группу своих соратников запросить у министра полиции разрешение на издание в Палермо газеты под названием «Армониа» («L'Armonia»). В разрешении было отказано, и два года ушли на различного рода попытки и практические начинания. Наконец, в 1839 году один из медиков, приобщенных

[1] Archives Sociétaires, 10, 40 Dossier 3. Lettera di B. Mure del 15 aprile 1839. См. также F. Della Peruta. Note e documenti per la storia delle idee sociali in Italia", в „Annali dell'Istituto Feltrinelli", Milano, 1960, p. 531—560.

[2] Подобное (лечат) подобным (*лат.*).— *Прим. ред.*

Мюром к фурьеризму,— Самуэле Каландра, запросил разрешение издавать газету под названием «Аттрационе». На этот раз просьба была удовлетворена. По крайней мер один номер газеты должен был увидеть свет, если Мюр писал Виктору Консидерану: «Выход нашей газеты и опубликование вашего превосходного очерка об идеях фаланстера уже произвели большое впечатление на здешние умы, не столь пресыщенные, как во Франции, и подготовленные, впрочем, к самым необычайным вещам благодаря великой медицинской революции, которую я осуществил на их глазах. Рождается экономическая школа, но у нее нет необходимой силы, чтобы оказать нам противодействие...»

После 1830 года полиция стала относиться с крайней враждебностью к научной и литературной деятельности в Палермо, осознав, что деятельность таких ученых, как Шина́, Амари, д'Ондес Реджо, Феррара, и даже астрономов, как, например, Каччаторе, идет во многом вразрез с официальными нормами. Полиция относилась с подозрением и к медицинской школе, в которой преподавал Фодера́ — ученый, отличавшийся особенно оригинальными и смелыми взглядами. Поэтому Мюр и столкнулся с серьезными трудностями. «Наши правители,— пишет он Консидерану,— одно время были встревожены, и мне здесь отказали в разрешении издавать «Armonie»; наконец они успокоились и позволили издавать «Аттрационе». Таким образом, дело пошло на лад, и вы можете рассчитывать на то, что в течение года идеи фаланстера получат широкую известность в Сицилии. Вам ведомо, что здесь нет недостатка в больших и прекрасных имениях. Создав образцовый фаланстер, вы найдете здесь много подражателей». Словом, не может быть сомнения, что Мюр, являвшийся иностранцем и на первых порах никого не знавший в Палермо, не смог бы добиться столь широкой поддержки (а ему это удалось довольно быстро), основать новую медицинскую школу, в течение нескольких лет получившую широкое распространение на острове и завоевавшую многих приверженцев, учредить и распространять научный журнал и газету, опубликовать брошюру, открыто пропагандировавшую фурьеристские идеи, и добиться разрешения местных цензоров, если бы он не нашел в Палермо уже подготовленной почвы.

Совершенно очевидно, что Медицинская академия в Палермо находилась в эти годы под влиянием сицилийского ученого, также недавно (в 1831 году) вернувшегося из Франции и также придерживавшегося, как уже указывалось, от-

нюдь не конформистских взглядов,— а именно Микеле Фодерá. Нельзя утверждать с уверенностью, что Фодерá в то время или раньше, когда находился во Франции, примыкал к фурьеристской школе. Можно даже сказать, что в Париже, где он был целиком поглощен научной деятельностью, ему вряд ли пришлось услышать о Фурье. Возможно, что впервые Фодерá довелось узнать о французском утописте именно в Палермо. Во всяком случае, сформировавшийся идейно в атмосфере либеральных и карбонарских идей — так же как и его брат Филиппо (который в 1827 году выступил в защиту доминиканского монаха Саверио Фриша на процессе по делу о восстановлении карбонарского общества),— Фодерá, как человек самых передовых политических и социальных взглядов, должен был содействовать, а не препятствовать деятельности Мюра и его школы даже в том случае, если сам он, возможно, и не являлся приверженцем какой-либо французской социетарной школы.

Кто примкнул в Палермо в 1837—1839 годах к основанной Мюром фурьеристской группе? Прежде всего, видимо, Фердинандо Мальвика, один из учеников Шинá, даже если впоследствии он отошел от нее (Мальвика пообещал статью для первого номера «Аттрационе», но не дал ее, и Мюр решил исключить его из списка палермских фурьеристов. «Я вычеркнул Мальвика, это лентяй...»). Далее, «...знаменитый астроном Каччаторе (ученик и коллега Пиацци), чья пылкая душа с восторгом обращается ко всем новым идеям, которые становятся ему известны». Назовем также Ачето (не Джованни д'Ачето, находившегося тогда в эмиграции в Лондоне, а Франческо Ачето, одного из членов многочисленного семейства Ачето), Мальенти, Каландра, барона Салина, доктора Паоло Морелло и других. К гомеопатической школе примкнул также священник Филиппо Эвола из Балестрате, впоследствии, в 1848 году, депутат парламента, однако его имя не упомянуто в письме Мюра. Впрочем, можно предполагать, что Мюр назвал Консидерану только имена самых видных участников движения. Так, например, в письме не названо имя (тогда ничего не говорившее) молодого студента-медика, незадолго до того прибывшего из Шакка в Палермо, который в те годы также принадлежал к палермской гомеопатической школе, увлекаясь одновременно идеями Ханеманна и Фурье,— а именно Саверио Фриша *младшего,* ставшего также *врачом-гомеопатом* и горячим приверженцем этих доктрин. Когда в 1837 году вспыхнула холера, сея горе и траур в Сицилии, члены гомеопатической школы целиком отдались борьбе с ней в качестве врачей (среди тех, кто называл себя врачами, многие были профанами) и вместе с тем в качестве приверженцев новой гуманистической школы; почти все они отправились в те места, где родились, чтобы возглавить борьбу с эпидемией. Учение Ханеманна предлагало, между прочим, новые методы борьбы с холерой с помощью мышьяковых препаратов. Так же поступил и молодой Саверио Фриша, тотчас же отправившийся в Шакка, где он повел мужественную борьбу с эпидемией, хотя и не имел еще тогда звания врача. Своей исключительной самоотверженностью он оставил по себе в этом городе неизгладимую память; к этому же году относится и начало его политической и общественной деятельности.

Между тем в 1846 году в том же Палермо в типографии Микеланджело Консоле была напечатана небольшая книга, которая не могла не вызвать новой вспышки гнева Дель Карретто. Речь идет о сочинении Микеле Фодерá «Привычки, объясняемые согласно теории истины Микеле Фодерá» («Le abitudini dichiarate secondo la teoria della verità di Michele Foderà»).

О Фодерá мы располагаем лишь приблизительными биографическими сведениями. Сын Антонио Фодерá из Карини (Палермо) и Паолы Вулло из Джирдженти, Микеле родился в Джирдженти 30 апреля 1792 года [1]. Предполагают, что семья отца Фодерá была родом из Кастелламаре дель Гольфо (Трапани), откуда она сначала переехала в Карини, а затем в Джирдженти, где основала фабрику по изготовлению мыла. Получив образование в Катании и добившись стипендии для продолжения занятий, Микеле поехал в Париж, где остался надолго — на целых пятнадцать лет, как утверждает один из его любимых учеников, Антонино Мендола [2]. Эти данные приблизительны, ибо, отправившись в Париж в 1818 году, Фодерá вернулся на родину в 1831 году. В книге, которую он издал в Париже в 1822 году и посвятил кавалеру де Бровалю [3], мы

---

[1] А не в Катании в 1793 году, как указано в «Enciclopedia Italiana».

[2] См. „Sulla scientifico medica istruzione. Pensieri del Professor Michele Foderà esposti da Giuseppe Mendola", Palermo, 1863.

[3] „Recherches sur les sympathies", par Michel Foderà, docteur en medecine et en philosophie, pensionnaire de S. M. le roi des Deux Siciles, correspondant de la Société Linneenne de Paris, Paris, 1822.

Но годом раньше он уже опубликовал сочинение «Histoire de quelques doctrines médicales comparées à celles du docteur Broussais» (Paris, 1821), которое вызвало острую полемику. Бруссе выступил с ответом, Фодерá в свою очередь опубликовал новую брошюру, и на страницах научных и медицинских журналов развернулась широкая полемика.

находим указания на то, что Фодерá уже некоторое время жил в этом городе и нашел здесь прибежище во время волнений 1820 года, происходивших в Королевстве обеих Сицилий. «Мне приятно вспомнить,— писал он в этой книге,— что во время несчастий, обрушившихся на мою родину, которые отдавались болью в моем сердце, я находил утешение в вашей благородной дружбе» [1].

Предисловие к его книге было выдержано в духе идей масонов-карбонариев: «Ничто не может сравниться с любовью к человечеству»,— пишет он де Бровалю.

Основная идея этой работы — единство живого мира. Он считал, что в мире растительном, животном и человеческом наблюдается прогрессивная последовательность усовершенствования функций. Но нельзя говорить об абсолютном различии, ибо количественный момент не обусловливает абсолютного различия.

Можно отметить только градацию совершенствования явлений чувствительности, и для изучения этих явлений следует оставить метафизические изыскания и опираться лишь на наблюдения, на непосредственный опыт. Уже в этих первых своих трудах Фодерá выступает перед нами как убежденный материалист. Будучи ассистентом физиолога Мажанди, он был связан с самыми знаменитыми французскими учеными: Порталем, Жюссьё, Кювье. В годы, когда Франсуа Жозеф Бруссе пользовался в научном и медицинском мире Франции почти безграничным авторитетом, Фодерá оказался среди тех немногих, которые критиковали его учение и взгляды как недостаточно научные. И если вначале критика Фодерá была встречена весьма недоброжелательно, то с течением времени убедились в ее обоснованности.

В 1828 году, после смерти знаменитого неаполитанского врача Доменико Котуньо, Фодерá был избран вместо него членом Французского института. По данным некоторых биографов, в 1831 году [2] Фодерá был приглашен в Италию бурбонским двором, ему была предложена кафедра профессора физиологии в палермском университете. Во всяком случае, в 1840 году в Палермо был издан труд Ришерана «Новые элементы физиологии» в переводе Мендола и с добавлениями из лекций Фодерá; отсюда ясно, что еще до 1840 года Фодерà уже преподавал в палермском университете. В 1846 году вышел в свет его главный труд «Привычки, объясняемые согласно теории истины».

Занимался ли Фодерá в период между 1831—1832 и 1846 годами социально-политической деятельностью? Несомненно, его утопическая система не родилась внезапно. Она была плодом долгих размышлений, и нет никаких оснований доверять утверждениям министра Дель Карретто, который в 1848 году в своих депешах главному наместнику писал, что Фодерà будто бы стал революционером внезапно, в 1848 году.

У министров полиции хорошая память, когда это им выгодно. В 1848 году бурбонское правительство могло бы призвать министра полиции к ответу за недостаточное усердие в предотвращении и подавлении революционного движения, а посему Дель Карретто, пожалуй, не был заинтересован вспоминать как о подозрениях, возникших ранее в отношении Фодерá, так и о конфискации его сочинения «Привычки, объясняемые согласно теории истины»,— конфискации, произведенной в 1847 году по приказу самого Дель Карретто, который в специальном послании возмущался тем скандальным фактом, что сочинения, открыто направленные против существующего порядка вещей, без всякого труда получают от цензуры в Палермо разрешение на публикацию.

Был ли Фодерá со времени своего пребывания во Франции связан с фурьеристами и сен-симонистами? Биографы Фодерá отвечают на этот вопрос утвердительно, нам же это кажется сомнительным. Более правдоподобно, что Фодерá, воспитанный вместе с братом Филиппо на карбонарских идеях, обратился к проблемам экономического и социального характера именно в период пребывания в Палермо, когда он вступил в контакт с Мюром и членами его группы и когда в свинцовой атмосфере полицейского режима Королевства обеих Сицилий он оказался лишенным научных связей и возможностей, которыми пользовался в Париже. Его система утопического коммунизма предполагает, конечно, с одной стороны, знакомство с фурьеризмом, а с другой — с гегельянской философией, которая именно в эти годы (1835—1840) оживленно обсуждалась в Палермо. Во всяком случае, во

[1] Op. cit.

[2] Эта дата (1831 год) уже встречалась в приводившихся выше биографических данных, сообщаемых Мендола, который пишет, что при дворе в Неаполе «Фодерá встретили любезно, но без искренней доброжелательности» и, «поскольку Фодерá был непоколебим в своих принципах», он не пользовался в Королевстве обеих Сицилий таким почетом, как во Франции. См. также данные, приведенные в «Grand Dictionnaire Universel» Ларусса (дополнительный, XVII том). О. Фодерá см. также G. Fubini, в «Annuario della Università di Palermo», 1887—1888, и G. Licata Lopez, Della vita e delle opere di M. Foderà. Но ни Фубини, ни Лопес не уделяют никакого внимания утопическому социализму Фодерá и не сообщают по этому вопросу никаких данных

Франции нет никаких следов его политической деятельности. Помимо уже упомянутых сочинений, Фодерá опубликовал много монографий, но все они посвящены научным вопросам, в особенности физиологии нервной системы. Если верить «Большому Энциклопедическому словарю» Ларусса, для Фодерá, когда он обосновался в Палермо, «началось тяжелое существование: лишенный лаборатории и возможности проводить эксперименты, он обратился к философским дискуссиям; его либеральные убеждения и протесты против тирани-ческой власти, угнетавшей его страну, и опубликование сочинения о «Привычках» сделали его положение весьма опасным. В 1848 году он бежит в Париж; он возвращается в Сицилию в момент революции в Палермо и умирает, отравленный ядом... Обнаружить его рукописи не удалось». За исключением неверной даты возвращения Фодерá во Францию (куда он бежал в действительности не в 1848, а в 1847 году, после конфискации его книги «Привычки»), сведения, содержащиеся в «Большом словаре», отличаются большей точностью, нежели те, которые приводят его итальянские биографы. Возможно поэтому, что Фодерá познакомился с утопическими системами Фурье и Сен-Симона не в Париже (где он длительное время был с головой погружен в научную работу), а именно в Палермо, где он поддерживал связи с патриотическими кругами города, в которых тогда горячо обсуждались политические и социальные проблемы. Возможно, что, когда Б. Ж. Мюр и Самуэле Каландра намеревались в 1836—1839 годах основать в Палермо фурьеристские газеты «Армония» и «Аттрационе», они уже поддерживали связь с Фодерá. Среда, в которой тогда в сицилийской столице имели хождение подобные идеи, была очень активной и боевой, но ограничивалась узким кругом культурных людей, которые, конечно, знали друг друга. Несомненно, что в Неаполе были не вполне спокойны в отношении Фодерá, и еще в июне 1846 года между министром полиции в Неаполе Дель Карретто и палермским префектом возникла переписка относительно возможности назначения Фодерá на ставший вакантным пост президента Медицинской академии.

Из Палермо поступила благоприятная информация, но Неаполь не доверял Фодерá. Несколько месяцев спустя вышла книга Фодерá, и немедленно последовало послание министра полиции Дель Карретто наместнику в Палермо. Вскоре книга была запрещена. Впрочем, судя по тому, какие страницы книги вызвали недовольство министра полиции, ясно, что Дель Карретто поразили только некоторые малопочтительные высказывания о монархическом образе правления и что от него полностью ускользнул крайне радикальный смысл книги вообще [1]. Тем не менее Фодерá был арестован и около двух месяцев пробыл в заключении вместе со своим учеником Мендола.

Почему мы придаем такое большое значение книге «Привычки, объясняемые согласно теории истины», станет ясным, если учесть, что в Италии не существовало какой-либо утопической системы, подобной системам Сен-Симона и Фурье. Книга Фодерá заполнила этот пробел.

Правда, в этом труде встречаются несуразности и противоречия, но их не больше, чем, например, в таких работах, как «Теория четырех движений и всеобщих судеб» Шарля Фурье [2]. Изданное в Сицилии сочинение Фодерá попало на неблагоприятную почву и не встретило одобрения. Будь оно издано во Франции, оно, естественно, влилось бы в общий поток французской утопической мысли. Фурье, как известно, пытался применить к нравственному миру закон *всемирного тяготения,* открытый Ньютоном для мира природы. Отсюда формулы и математический стиль его произведений, отсюда *теория притяжения страстей* и фурьеристская космология. Несмотря на то что из некоторых, правда не очень точных, указаний биографов явствует, что Фодерá был знаком во Франции с Пьером Леру и сен-симонистами, не подлежит, однако, сомнению, что он ничего не унаследовал от сен-симонизма. Между его системой и системой Фурье имеются некоторые точки соприкосновения, но система Фодерá совершенно оригинальна, она содержит элементы полемики с другими

---

[1] «Неаполь, 17 ноября 1846 года. Главному наместнику Палермо. Ваше превосходительство! В Палермо, с одобрения Управления по делам народного просвещения, была издана в типографии Микеланджело Консоле книга доктора Микеле Фодерá «Привычки, объясняемые согласно теории истины». Я захотел ознакомиться с этой книгой и, просматривая ее, не мог не поразиться тому, как Управление по делам народного просвещения разрешает печатать и распространять идеи, столь противоположные нашим правительственным принципам.

Прошу Ваше превосходительство просмотреть страницы 86, 87, 101 и 102, дабы убедиться в справедливости моих слов; после сего прошу Вас авторитетно поставить это на вид цензору, одобрившему данное сочинение, и сообщить о случившемся председателю Управления по делам народного просвещения. Подпись: министр Дель Карретто» (ASP, b. 514). Но со временем полиция поняла, что в книге заключается нечто более серьезное, и 13 февраля 1847 года был дан приказ об ее изъятии (были изъяты из продажи оставшиеся 249 экземпляров).

[2] „Thiorie des quatres mouvements et des destinées gênérales"

утопическими учениями, в том числе с учениями Сен-Симона и Фурье.

Но такого рода позиция была характерна для многих авторов социальных утопий, считавших правильным лишь свое учение и ложными все прочие. Укажем хотя бы на сочинение Фурье «Ловушки и шарлатанство обеих сект: Сен-Симона и Оуэна» [1] И все же, если мы захотим провести аналогию между утопическим социализмом Фодерá и системами французских утопистов, то целесообразнее сравнивать взгляды итальянского мыслителя со взглядами Фурье.

У обоих утопистов имеется общая исходная точка; оба они пытаются применить к социальному миру те новые учения, которые осветили ярким светом мир природы. Фурье исходит из открытий Ньютона и ищет принцип единства в мире материальном и духовном. Фодерá исходит из биологических открытий и, установив принцип единства в природе, пытается найти научный закон для упорядочения человеческого общества. По мнению Фодерá, порок социального мира состоит в том, что он покоится не на научных законах, а на привычном поведении людей, которое является иррациональным результатом предрассудков и варварских суеверий. Разве есть что-либо рациональное, человечное, научно обоснованное, спрашивает он, в религиозных обрядах, согласно которым матери приносили своих детей в дар Молоху, обрекая их на сожжение на жертвеннике, или в аналогичных религиозных обычаях и суевериях, коими изобилует история рода человеческого? Причем, по мнению Фодерá, не только в области религии, но во всех областях жизни люди в своем поведении в обществе связаны отжившими, иррациональными и антиобщественными обычаями.

Поэтому, заявляет Фодерá, необходимо реформировать человеческие обычаи. Иррациональный фанатизм проявляется в обычаях людей не только в области религии, но и в области социально-юридической; Фодерá отмечает абсурдность существующих форм управления, при которых несправедливость стала «привычной для тех, кто управляет», а «заблуждения стали уделом народа» [2]. Если общество желает двигаться вперед, оно должно освободиться от ошибок, порождаемых устарелыми обычаями. Привычки сделали мир

---

[1] „Pièges et charlatanisme des deux sectes de Saint Simon et d'Owen", Paris, 1831.

[2] M. Foderà, Le Abitudini dichiarate secondo la teoria della verità, Palermo, 1846, p. 3.

иррациональным; наука сделает его рациональным. Фодерá считает, что если люди хотят выйти из периода предыстории, если они действительно стремятся идти вперед, они не должны больше следовать устаревшим привычкам, но руководствоваться подлинной истиной, истиной, которая, по мнению Фодерá, заключается в науке; справедливая социальная система — не что иное, как общество, устроенное согласно законам науки. Если верно, что высшее существо является высшей истиной, то возражение, что подобное общественное устройство противоречит религии, теряет всякую силу. «Deus est Veritas» [1],— говорит святой Фома Аквинский [2]. Поэтому нас нельзя назвать атеистами,— атеисты это те, которые используют религию, чтобы угнетать народ. Человеческий род достигнет счастья, когда овладеет теорией истины (Фодерá называет ее aletia) и применит ее на практике. Эта теория должна охватывать не только математические и естественные науки, но и науки общественные.

Уже по одним этим сведениям об утопической системе Фодерá можно судить о его идейной близости с Фурье; в то же время нетрудно уловить в системе Фодерá то общее, что присуще всему утопическому социализму, в частности системам Фурье и Сен-Симона, то, что впоследствии нашло выражение в позитивизме. Не говоря уже о Сен-Симоне, которого можно рассматривать как родоначальника позитивистского направления, даже у Фурье критика так называемых неточных наук и попытки подойти к изучению человека и общества на основе позитивной науки, опирающейся на основополагающие законы природы, являются признаками сложившегося впоследствии позитивизма.

Будучи биологом, физиологом, Фодерá в своей утопической системе исходит из тех же отправных идей позитивизма, хотя он и отправляется от тех наук, в области которых он был специалистом. В его учении, предусматривающем применение законов математики и естественных наук к рациональному устройству общества, наблюдается аналогичная позитивистская тенденция: идея о динамике нравственного и социального мира, аналогичной динамике мира природы.

Однако Фодерá вкладывает в эту идею весьма оригинальный смысл. У него динамика становится подлинной диалектикой: утверждение, отрицание и отрицание отрицания, процесс развития действительности, осуществляющийся посредством

---

[1] „Бог есть истина" *(лат.).— Прим. ред.*

[2] См. M. Foderà, op. cit., p. 164—165.

триады, нередко путаной и сложной, но все же сходной с триадой Гегеля (Винченцо Мортилларо сообщает, что около 1840 года в передовых кружках Палермо, объединявших людей прогрессивной мысли, изучали и обсуждали труды Гегеля, и среди тех, кто изучал Гегеля, упоминает д'Ондеса Реджо [1]).

Другой точкой соприкосновения с фурьеризмом в утопической системе Фодерá является значение, придаваемое им космологии, теории о том, что «космические флюиды — это самые мощные возбудители в природе» [2], теории диалектической связи, существующей между миром космическим, звездным, и земным; именно здесь проявляется идейная близость с Фурье. Однако в отличие от Фурье Фодерá получил основательное научное образование и был признанным ученым — физиологом и биологом, благодаря чему молодой сицилианец из далекого Джирдженти, попав в Париж, приобрел здесь вскоре настолько широкую известность, что в 1828 году его избрали членом Французского института — честь, которой в те годы удостоился среди итальянцев лишь Джан Доменико Романьози. Но в его труде, как во многих других утопических системах, наряду с гениальными научными предвидениями встречаются и *априорные* произвольные утверждения.

Когда люди «однажды согласились признать ложное мнение и запечатлели его в своем мозгу как истинное, то внушить им истину столь же невозможно, как писать разборчиво на бумаге, *покрытой каракулями*» [3], — говорил Фодерá, цитируя Гоббса. И все же, если мы хотим выйти из эпохи иррационального фанатизма, избавиться от ошибок, вытекающих из вековых обычаев, в корне изменить привычки людей, то первый шаг к этому заключается в том, чтобы сформулировать и познать теорию истины.

Прежде чем углубиться в суть основной темы, Фодерá на первых 47 страницах своего труда рассматривает привычки в растительном и животном мире; эти страницы относятся скорее к истории физиологии и биологических учений, чем к занимающему нас вопросу. Его учение о привычках предвосхищает в примитивной форме учение Павлова об условных рефлексах. Впрочем, нелегко установить, каков был подлинный замысел автора: то ли это своеобразное введение, трактующее физиологические и естественнонаучные темы, должно было скрыть от цензуры бурбонской полиции социалистическо-коммунистическую направленность сочинения, то ли оно составляло неотъемлемую органическую часть самой доктрины. Так или иначе, такое построение книги оказалось благоразумным, ибо первая ее часть производила впечатление обычного трактата по физиологии и лишь тогда, когда Фодерá приступал к рассмотрению «значения моральных чувств в связи с проблемой справедливости», он переходил от вопросов физиологии к привычкам людей в обществе. Фодерá устанавливает «идеальное уравнение» между истиной и справедливостью; однако речь идет не о соответствии некоего тождества-противоречия, свойственного относительной истине, но об «абсолютном тождестве, *которое и есть абсолютная истина!*» [1] Это, собственно, и есть ключ к учению Фодерá: то, что в учении о мире природы является теорией об истине, в мире социальном есть ее абсолютное тождество, то есть абсолютная истина; иначе говоря — естественным и нравственным состоянием людей является состояние справедливости-равенства.

Устранив из текста Фодерá запутанные формулировки философско-научного характера, мы снова сталкиваемся с мыслью Руссо, карбонариев, а также Фурье: люди рождаются свободными и равными, и только с того момента, как какая-нибудь каста начинает господствовать над другими, возникает несправедливость, неистинность; следовательно, возвращение к справедливому общественному строю произойдет тогда, когда общество вновь будет основываться на естественных законах.

Установив тождество между истиной и справедливостью в качестве закона природы (ибо естественный закон представляет собой научную истину как таковую), Фодерá утверждает, что научным, естественным законом социального мира является справедливость, а для него справедливость идентифицируется с равенством: «*принцип справедливости* означает равенство, или *уравнение*» [2]. Стесненный бурбонской цензурой, Фодерá играет словами, но его мысль ясна: социальный закон справедливости есть закон равенства. Поэтому нас не должно вводить в заблуждение весьма частое употребление выражения «справедливость», ибо речь идет о справедливости-равенстве, о равенстве социальном. «Справедли-

[1] V. Mortillaro, Leggende storiche siciliane dal XIII al XIX secolo, Palermo, 1866, p. 347.
[2] M. Foderà, op. cit., p. 202.
[3] M. Foderà, op. cit., p. 96.

[1] M. Foderà, op. cit., p. 48—49.
[2] M. Foderà, op. cit., p. 268.

вость — пишет Фодерá,— является абсолютной основой нравственности и всех человеческих отношений; если ее нет, всякий общественный строй порочен, если ее нет, добродетель не будет добродетелью, и столь хваленая античная добродетель греков, римлян, карфагенян и других народов, о которых рассказывают изумительные вещи, по-видимому, является героизмом, а отнюдь не добродетелью, в отношении которой решающим критерием является равенство. В порочных общественных отношениях главной пружиной является выгода, заинтересованность, причем выгода была нормой в античном мире и является таковой и поныне. Выгода разделяет мир. До тех пор пока мир будет руководствоваться выгодой, пока будет господствовать эгоизм, миром будет править *варварство*» [1]. По мысли Фодерá, «мир станет цивилизованным тогда, когда интересы отдельного человека уступят место интересам все более и более широких общественных групп, а в конце концов интересам всего человечества», «когда осуществится идеал католического сенобизма» [2]. Католический сенобизм понадобился Фодерá, дабы зашифровать свою мысль, а подразумевал он под ним *всемирный коммунизм*. Нужна была изрядная ловкость, чтобы получить одобрение цензуры и открыто опубликовать при Бурбонах сочинение, в котором излагались основы социалистического учения. Употребляя термин «сенобизм», Фодерá имел в виду фаланстерский коммунизм, а термину «католический» он придавал его первоначальное значение «всемирный».

Фодерá полагал, что эти идеи не являются ни новыми, ни необычными. Их проповедовал еще персидский пророк Зороастр, который, как полагал Фодерá, также стремился к всемирному сообществу; другого значения не могла иметь описанная им борьба между богом добра Ормуздом и богом зла Ариманом, которая завершилась поражением бога зла. «И тогда на земле воцарится равенство, будет единое общество, лишь один образ жизни, один общий язык и люди обретут счастье» [3].

В настоящее время, отмечает Фодерá, экономические доктрины и право не опираются на научные основы, это не науки, а отражения привычек людей, поэтому они являются простой совокупностью эмпирических норм. Как же превратить их в подлинные общественные науки?

[1] M. Foderà, op. cit., p. 49.
[2] M. Foderà, op. cit., p. 50. (Сенобизм — монастырский коммунизм.—*(Прим. ред.)*
[3] M. Foderà, op. cit.

«Посмотрите,— пишет Фодерá,— в какую пучину погрузилась социально-экономическая доктрина, поскольку в силу обычая она придерживается эмпирических норм» [1]. Даже мы, «хотя наш ум и просветлен теорией истины, вынуждены придавать нашему изложению характер эмпирический» [2], поскольку такая теория еще неведома миру. Каковы могут быть суждения экономиста, который руководствуется эмпирическими нормами? Он рассматривает, с одной стороны, внутренние отношения в странах, с другой — отношения международные; подмечает внешнюю сторону трудовых процессов, производимых продуктов, знакомится с различными отраслями торговли, системой налогов, таможенными тарифами — все это в той или иной степени связано с самым тяжелым трудом. «Чем обильнее льется пот со лба, тем радужнее внешняя сторона явлений, тем роскошнее воздвигаемые дворцы, тем больше жизненных благ обеспечивают себе отдельные слои общества, тем пышнее и более кричаща роскошь и повелительнее раздается крик: «Трудитесь, трудитесь!»

Поэтому задыхающиеся от усталости бедняки лишены отдыха, поэтому дети, подгоняемые бичом, работают безостановочно по 14 часов в сутки. Но этого богачам мало, они покупают людей, словно скот, и затем с помощью бича, палки и тяжелых наказаний заставляют их трудиться до тех пор, пока их лоб не оросит кровавый пот. Даже тогда, когда бедняки умирают, изнуренные лишениями и доведенные до крайнего отчаяния, богачей волнует лишь одно — стоимость рабочего и выручка от продукта его труда. Какая возмутительная безнравственность! Какая жестокость! Какая подлая корысть! Но, возможно, скажут, что так было, но теперь этого уж нет. Допустим. Но разве то, что происходит в настоящее время, соответствует расчетам и, быть может, желаниям экономистов? Разве это является результатом сознательного выбора? Без истины не существует справедливости, без справедливости не может быть науки о нравственности, науки об обществе, экономической науки» [3]. И здесь Фодерá задает вопрос: для чего работают люди? Не ради богатства как такового, а для того, чтобы принести людям таким образом благополучие и счастье. Однако богатство приводит к счастью только в том случае, если им пользуется все население. И вот здесь «экономист оказывается в затруднитель-

[1] M. Foderà, op. cit., p. 67.
[2] M. Foderà, op. cit., p. 65.
[3] M. Foderà, op. cit., p. 68.

ном положении и отвечает: им пользуются не все люди». «Разве к такому результату должна привести наука о нравственности? Если бы речь шла о результате науки о нравственности, то он должен был бы находиться в полном согласии со справедливостью. Разве справедливость допустит, чтобы нашелся хоть один несчастный, когда все остальные счастливы?!.. Разве общественные отношения действительно основаны на справедливости? Нет. Ибо экономические отношения порочны, насквозь порочны» [1]. Затем Фодерá переходит к рассмотрению вопроса о деньгах и капитале. Он пишет: «Посмотрим, какое значение придают деньгам порочные общественные отношения. Сами по себе деньги представляют собой металл, и стоимость его определяется трудом, затраченным на извлечение его из недр земли. До тех пор пока эта стоимость остается неизменной, ничего порочного во всем этом нет» [2]. На деле же «деньги, пущенные в обращение, приносят доход» [3]. Фодерá продолжает: «Представьте себе банк, который дает взаймы из расчета пяти процентов и фонд которого составляет миллион; предположим, что банк этот добросовестно обслуживается, деньги из него не похищаются и вместе с доходами на них разумно используются. Что же тогда получится? Вот что. Каждые пятнадцать лет капитал удваивается и за сто с лишним лет увеличится... в сто раз.

Таким образом, неодушевленный банк, который не работает, не трудится в поте лица, который по самой своей сути не способен ничего производить и который при частом обращении его капитала должен был бы терять ценности, ибо монеты уменьшаются в весе, когда трутся друг о друга, этот банк в конце концов поглотит все имеющиеся в обращении деньги и вместе с этими деньгами все, что существует на земном шаре, все здания, земли и рудники и все, что только можно вообразить, все мирское и все святое, и даже самую жизнь людей, что приведет, следовательно, к уничтожению человеческого рода. Вот самый безнравственный акт, доведенный до своего абсолюта, вот конечный результат экономических отношений» [4]. По мнению Фодерá, принцип свободы, приложенный к области экономики, означает свободную конкуренцию, то есть необузданную спекуляцию. Можно ли избежать этого, не нарушая при этом принципа свободы? И соответствует ли это науке, раз исчезает справедливость? [1] Разве согласуются с наукой таможенные и торговые системы, которые приводят к контрабанде и беззакониям, какие допускают англичане в Китае? Разве согласуются с наукой банки, биржи, сберегательные кассы, ломбарды, «страховые общества, акционерные общества, спекулятивные операции, ради которых навязывается производство продуктов на землях и в климатических условиях, для этого непригодных? Согласуется ли с наукой чрезмерное производство и доставка продуктов в изобилии в те места, где в этом нет нужды? Это приводит, как правило, к бесполезному расходованию рабочей силы и средств. А разве согласуются с наукой следствия введения машин и других полезнейших изобретений, которые в момент своего применения повергают в нищету и отчаяние громадное число трудящихся? Чтобы не продолжать далее разговор о тысячах других последствий порочных общественных отношений, заметим в заключение: разве согласуется с наукой предоставление будущего человечества на волю судьбы?» [2] В конечном счете Фодерá приходит к следующему выводу: там, где нет справедливости-равенства, нет истины и науки, «следовательно, современная мнимая политическая экономия является не чем иным, как сплошной путаницей» [3].

Фодера считает, что для обеспечения справедливого социального порядка недостаточно философии, просвещающей людей и делающей их более совершенными, и даже всеобщей морали, основанной на законах природы и вечном порядке, «но необходим план управления, составленный согласно принципам абсолютной справедливости», то есть абсолютного равенства.

По мнению Фодерá, движение мира природы, движение мира общественно-экономического, а также мира идей определяется единой динамикой, но эта динамика не является результатом эмпирической механики. Он рассматривает в связи с этим мысли Биша, Ришерана, Дестюта де Траси, опровергая и критикуя их: «Что может означать,— пишет он,— механическая или химическая связь органических движений, создающих наши идеи?» [4] Фодерá полагает, что органические движения, создающие наши идеи, вызываются внутренней диалектической связью, и этот же закон управляет явлениями мира природы и явлениями общественно-экономическими. По

[1] M. Foderà, op. cit., p. 69.
[2] M. Foderà, op. cit., p. 70.
[3] M. Foderà, op. cit., p. 71.
[4] M. Foderà, op. cit., p. 72.

[1] См. M. Foderà, op. cit.
[2] M. Foderà, op. cit., p. 73.
[3] M. Foderà, op. cit., p. 74.
[4] M. Foderà, op. cit., p. 134.

его мнению, «тождественное, рассматриваемое как абсолютное тождество, *не способно к самопроявлению;* абсолютно тождественное представляет собой абсолютный принцип», ибо совершенно невозможно, чтобы абсолютно тождественная вещь могла действовать и реагировать в отношении самой себя. Тождественное становится *генетическим,* «если рассматривать его как относительное тождество... во взаимоотношении с отличным; из отношений тождественного с отличным возникает взаимосвязь, противоположность и прогресс» [1]. Этим законом противоположности является прогресс (алеция — aletia), «закон истины», единственный закон, управляющий как явлениями природы, так и явлениями общественной жизни

Каким же образом по этому закону складываются общественные отношения? *«Без жизни не может существовать никакого общества,*— пишет Фодерá,— *без пищи жить невозможно, следовательно, питание — основа жизни.* Для того чтобы жить, человек должен получать пищу от природы, следовательно, отношение человека к природе в том, что касается питания, является основой общежития. Когда все люди, добывая себе пищу, находятся в одинаковом положении перед лицом природы, тогда отношения... складываются гармонично и в том, что касается природы, и в том, что касается взаимоотношений людей» [2]

«Отсюда ясно, что общественная цель касается не только отношения людей к природе, но и отношения человека ко всему человечеству.. упрощенное представление об обществе, о социальном устройстве является, если его сопоставить с истиной, неполноценным представлением, представлением, порожденным эмпиризмом, то есть всеобщим варварством; идея, соответствующая истине, — это идея о *сообществе.* Сообщество влечет за собой отношения тождества, то есть истины Там, где нет сообщества, не может быть подлинного объединения, а есть лишь объединение ложное, а посему варварство, а не прогресс. Поэтому все *социалисты,* не осененные светом истины, не поняли, что сообщество является основой общественного устройства, следовательно, никто из них при самых добрых и наилучших намерениях не понял сущности общественного сожительства. Ибо проекты социалистов имеют в виду не *общественное тождество,* не *человеческое сообщество,* но *частичное решение,* которое вовсе не устраняет несогласий, враждебных отношений и войн между людьми, несмотря на то что авторы этих проектов в душе стремились именно к этой *священной цели»* [1]. По мнению Фодерá, хотя социалисты исходят из превосходных и святых намерений, все же их взгляды не настолько радикальны, чтобы на их основе преобразовать общество в коммунистическом духе. «Социалисты,— пишет он дальше,— вместо того чтобы вырастить из плодородного семени прекрасное дерево, повели себя, как тот неблагоразумный садовник, который, желая сохранить старый, изъеденный, трухлявый ствол, прививает к нему в нескольких местах новые ветви» [2], которые кажутся красивыми и цветущими, но в конце концов поражаются той же болезнью, которая губит ствол Применяя диалектику для анализа отношений человека с природой и обществом, Фодерá объясняет, почему общество неизбежно придет к всемирному коммунизму: «Либо пища получается без труда в том виде, в каком ее дает земля, и это обусловливает тождество, характерное для двух первых фаз, или же человек трудится не покладая рук, чтобы ее получить, и это обусловливает *различие.* Получение пищи без труда порождает две фазы *абсолютного тождества* и *относительного тождества,* а получение пищи путем труда порождает две другие фазы *относительного различия* и *абсолютного различия»* [3]. Способ добывания пищи на примитивной стадии развития одинаков не только для всех людей, но и для животных, которые, однако, и впредь будут тем же способом добывать себе пищу. На этой примитивной, первобытной стадии развития наблюдается, по мнению Фодерá, «абсолютное тождество в общественных отношениях» [4].

«Когда люди подчинили себе мирных животных и стали их пасти, чтобы питаться молоком и мясом, появилось пастушество. Это уже прогресс, ибо по условиям существования они уже отличаются от всех животных; тем самым состояние абсолютного тождества исчезает, но поскольку люди еще не трудятся на земле, а лишь следят за пасущимися животными, то появление *пастушества* порождает *относительное тождество.* Чтобы могли возникнуть две последующие фазы — *относительного различия* и *абсолютного различия,* труд должен стать *трудом разобщенным,* что в ходе прогресса и создает

---

[1] M. Foderà, op. cit., p. 135.
[2] M. Foderà, op. cit., p. 251—252

[1] M. Foderà, op. cit., p. 252.
[2] M. Foderà, op. cit., p. 253.
[3] M. Foderà, op. cit., p. 253—254.
[4] M. Foderà, op. cit.

*относительное различие,* и должен стать *объединенным трудом,* что создает *абсолютное различие*» [1].

Иначе говоря, отрицание первобытной стадии общественного развития приводит, по мнению Фодерá, к возникновению частной собственности (по его терминологии — к *относительному различию* и *разобщенному труду*), а отрицание частной собственности приводит к *абсолютному различию*, то есть к *объединенному труду* и *всемирному коммунизму.*

«*Относительное различие* или *разобщенный труд* создают разобщенность в самом труде на земле, поскольку каждый возделывает свой участок, земля разделена и подразделена на участки, обрабатывается по личной прихоти, без всяких норм и учета общих потребностей, следовательно, несогласованно, без заранее обдуманной совершенной цели; поскольку индивидуальные интересы направляют работу часто вопреки интересам человечества, вследствие чего труд всегда расходуется с избытком и подчас напрасно, время тратится неэкономно и человечеству в массе своей не остается времени на нравственное совершенствование, на то, чтобы выйти из состояния одичания, и еще меньше его остается на отдых и развлечения» [2]. Но разобщен не только труд, «разобщены государства, разобщены касты, разобщены сословия, разобщены семьи, разобщены интересы всех людей...»

«Войны, восстания, массовые избиения, ненависть, вражда, распри, ссоры, тяжбы, притеснения, обманы, мошенничества, предательства, кражи, преступления; отсюда торжество невежества, фантазерства, отсюда ошибки, вечные предрассудки и противоречия... отсюда в результате обманов родители становятся врагами своих детей; надеясь принести пользу собственному потомству, они своим воспитанием наносят ему вред, угнетают его, обрекают на заблуждения, вместо того чтобы руководить его движением по правильному пути; отсюда злоупотребление умственными способностями, в результате чего люди становятся обманщиками и лицемерами; злоупотребление скрытой силой, принуждающее к пассивному послушанию, злоупотребление грубой силой, являющееся источником всякого рода деспотизма, причиной падения империй, созданных якобы в интересах общества в форме мнимых республик; отсюда закрепощение, рабство, праздность и принудительный труд; отсюда передача мер по предупреждению преступлений в руки недостойных; отсюда казуистические и двусмысленные формулы, порождающие интриги и вечные тяжбы; отсюда необходимость в договорах и законах, которые часто вовсе не служат справедливости, при этом правосудием нередко торгуют с аукциона, а обещанная кодексом законов безопасность сводится на нет тайным и произвольным его толкованием; отсюда столкновение справедливости с несправедливостью, вознаграждение преступления, попрание добродетели, преследование заслуг; отсюда тысячи злодеяний, оскверняющих и позорящих человечество. История является вселяющим ужас памятником этой третьей, страшной фазы общественного развития... Таковы характерные черты *относительного различия* и *разобщенного труда* [то есть строя частной собственности.— *Д. Б.*]. Характерные черты *объединенного труда* и *абсолютного различия* [то есть коммунистического строя.— *Д. Б.*] неизбежно должны быть противоположны чертам разобщенного труда и относительного различия; они должны достигнуть гармонии... поскольку станут формой выражения последней части истины, подлинной и существенной формой *самой истины, проявлением Бога,* который и есть *Высшая истина*» [1].

По мнению Фодерá, золото — это демиург *«эпохи разобщенного труда»* [то есть эпохи частной собственности.— *Д. Б.*]. «Необходимое — это основа жизни, но стремление обеспечить себе необходимое превращается в эгоистическое обеспечение, это обеспечение получает внешнее выражение — и вот перед нами денежное богатство. Золото становится средством достижения любой цели, и часто цели преступной... оно ведет к роковым потрясениям. Подлинные интересы, необходимость обеспечения пищей и удовлетворения всех потребностей превращается в потребность обладания деньгами, которые становятся самоцелью и тем самым злодейской причиной всех распрей, всякой несправедливости» [2]. Для того чтобы судить о том, хороша ли эта политическая организация, говорит Фодерá, «недостаточно сказать, что это правление деспотическое или республиканское, утверждать, что первое отвратительно, а второе превосходно, ибо они мало чем отличаются друг от друга в том, что касается подлинной человечности, подлинного человеколюбия, соблюдения священного принципа *спасения,* по которому люди объявляются братьями *Спасителя.* Как при деспотическом, так и при республиканском образе правления бедняк ищет работу и не находит ее. Голод толка-

---

[1] M. Foderà, op. cit., p. 254—255.
[2] M. Foderà, op. cit.

[1] M. Foderà, op. cit., p. 256.
[2] M. Foderà, op cit., p. 260.

ет его на воровство, и тот, кто попался, идет на каторгу. Если же он при совершении своего проступка встречает сопротивление и, не имея возможности бежать, защищается и убивает, его ждет смертная казнь. Но это еще не все. Если деспот или партия, правящая республикой, замышляют несправедливую войну, то они хватают бедняка и заставляют его убивать себе подобных и самого идти на смерть. Ради оправдания своих честолюбивых замыслов они измышляют тысячи сказок и требуют, чтобы этим *выдумкам* поклонялись как *высшей истине.* В эпоху *объединенного труда* [то есть коммунизма.— *Д. Б.*], когда будет властвовать разум, а мудрость и высшая истина будут определять форму общественного строя, тогда расцветет подлинная культура, сила будет направляться разумом и, поскольку разум станет общим разумом, сила — общей силой, человечество будет пребывать в совершенном благоденствии, жить в мире и всеобщем согласии, правосудие станет синонимом безупречной справедливости, а люди — настоящими братьями *Спасителя,* они создадут подлинное сообщество и на земле воцарится рай в форме, исполненной мудрости, заключающей в себе истинную *непорочность,* вечную и неизменную» [1].

По мнению Фодера́, *первобытный образ жизни,* состояние дикости и невежества являются противоположностью последней стадии *подлинного сообщества,* в которой господствуют культура и мудрость, однако, «несмотря на противоположность, эти две стадии все же сходны в силу тождественной черты, ибо и при первобытном обществе и при объединении людей в сообщество все *одинаково ведут одинаковый образ жизни*» [2]. Другими словами, человеческое сообщество, возникшее в форме первобытного коммунизма (форме, от которой люди отказались в эпоху частной собственности), в результате нового отказа снова становится коммунистическим сообществом, но только на более высокой ступени развития, на последней и заключительной стадии человеческого совершенствования. Для Фодера́ — следует это отметить — отказ от первобытного коммунизма, наступление эпохи *разобщенного труда* (то есть частной собственности) является несомненным прогрессом, но прогресс этот все более и более превращается в регресс, если в свою очередь не последует новое отрицание, которое и приведет к последней стадии «подлинного сообщества», то есть к всемирному коммунизму.

[1] M. Foderà, op. cit., p. 262.
[2] M. Foderà, op. cit., p. 265.

Эпоха объединенного труда характеризуется, пишет Фодера́, общей участью всех людей, эпоха разобщенного труда — тем, что *«участь всех людей неодинакова;* достаточно отметить, что если часть человечества владеет собственностью, то другая не владеет ею, и если одни ведут обеспеченное существование, то другие лишены уверенности в завтрашнем дне и обречены на горестное ожидание всяческих бед» [1].

Как видно из вышеизложенного, Фодера́ обращается с диалектикой по-своему, но с бесспорным знанием дела. Достаточно обратиться, например, к главе о Бэконе Веруламском и «об априорном определении необходимости опыта» [2] или к главе о рационализме и эмпиризме как *фазах истины.* «Рационализм и эмпиризм,— говорит Фодера́,— это средства для достижения цели, каковой является истина; в некоторых случаях человек стремится к ней с уверенностью, а в других — он пребывает во власти неуверенности; это и есть *догматизм* и *скептицизм*» [3]. Лишь научная мысль «может понять и оценить значение абсолютной и относительной форм уверенности, так же как абсолютное сомнение может родиться лишь в мозгу человека, лишенного принципов, знаний, полного заблуждений и непреодолимых предрассудков. Если вследствие известной живости ума он решается избавиться от заблуждений, то он погружается в предельную неуверенность, в *неуверенность абсолютную.* Если же его ум ленив, то он с беспримерным легковерием принимает заблуждения за достоверное и предпочитает дремать, мирясь с ложью, вместо того чтобы бодрствовать, пребывая в неуверенности; качества эти присущи подлинному плебсу нации, независимо от касты, одежды, благосостояния и уважения, которым он пользуется благодаря им; он во всем уверен, само заблуждение представляется ему истиной. Следует заметить, что невежественный и обездоленный народ, *народ, настроенный скептически,* является *великим философом,* в то время как образованный человек, обладающий эрудицией, *ученый скептик* представляет собой существо *ничтожное,* которое, подобно слепому кроту, живет в абсолютной темноте; вот кто является подлинным *плебсом*» [4].

По мнению Фодера́, все находится в процессе становления и прогресс достигается путем развития противоречий; путь

[1] M. Foderà, op. cit.
[2] M. Foderà, op. cit., p. 282.
[3] M. Foderà, op. cit., p. 284—285.
[4] M. Foderà, op. cit., p. 285—286.

к истине также проходит ряд фаз истины, причем значение и польза этих фаз чрезвычайно велики, ибо они раскрывают закон прогресса и закон противоположности и ведут к познанию процесса развития каждой вещи. Таким образом, познание из относительного становится абсолютным *«Принцип внутренней связи вещей является принципом теории истины, является нормой для определения аспектов вещей...* Когда действительно выявлена связь, то тем самым раскрывается сущность факта» [1] или явления. Не считаться с этим нельзя, ибо абсолютное тождество внешне себя совершенно *не проявляет* и невозможно найти причинность там, где она отсутствует, ибо причинность означает *отношение,* а там, где нет отношения, нет причинности и нельзя найти ни свойств, ни объяснения явлений

Фодерá полагает, что новый общественный порядок объединит «сердца и умы людей» и приведет к *общественной гармонии* (заглавие одной из его работ, оставшейся неопубликованной и ненайденной после его трагической смерти). Новый общественный строй «устанавливается с *утверждением мудрости,* когда торжествует разум, а умственная жизнь принимает единую форму, форму истины, когда язык принимает универсальную общечеловеческую, интеллектуальную и мудрую форму (единый, рациональный и универсальный язык)». Книги будут носить на себе печать единого научного метода, и творения человеческого ума будут отличаться единой чертой — они станут отражением истины, причем руководством будет служить ведущая формула познания; тогда утвердится экономическое планирование, что приведет к уничтожению праздности, дороговизны, всякого рода нищеты, к раскрепощению труда, который станет свободным от любых форм принуждения, а также приведет к сокращению неудобств до минимума и к максимальной экономии усилий и времени, причем работа будет производиться с точным учетом общих человеческих потребностей и, следовательно, с соблюдением гармонического соответствия различных видов труда. «Тогда высвободится время для образования, для отдыха и развлечений, и подверженность болезням максимально уменьшится. С утверждением *единства, тождества, справедливости, правосудия, нравственности, подлинного всемирного сообщества между людьми* установится совершенный образ жизни, присущий *католическому сенобизму.* И, наконец, с утверждением *всемирных и абсолютных форм выражения сущности бога* будет основано подлинное общество — вот характерные черты последней фазы развития общества, подлинного *человеческого сообщества,* вот вершина прогресса цивилизации *в соответствии с фазами развития истины;* вот фаза абсолютного различия» [1]. По мысли Фодерá, «последняя фаза социального прогресса» (коммунизм) будет *«формой выражения сущности бога».* Но бог, о котором говорит Фодерá, не есть бог какой-либо из существующих религий.

Научная истина — вот единственный бог Фодерá По мнению Фодерá, «друзья заблуждений являются подлинными и абсолютными атеистами» [2] и, следовательно, теисты являются друзьями истины Правосудие и равенство суть нравственность и истина и, следовательно, составляют сущность теизма. Неравенство, жестокость, несправедливость суть заблуждения и, следовательно, составляют сущность атеизма. Не важно, что атеист уверяет, будто он религиозен или весьма набожен, ибо он «опасается быть разоблаченным» и поэтому «притворяется преданным богу, прикрывая мнимой приверженностью богу свои гнусные дела». Обман, фальшивая проповедь милосердия «не может считаться заслугой перед богом, который является высшей истиной» [3] Для Фодерá не существует религии откровения и не существует иного мира, кроме мира материального. Комментируя третье письмо Ньютона к Бентли, в котором Ньютон утверждает, что непостижимо, чтобы «грубая и неодушевленная материя могла без посредства чего-либо нематериального воздействовать на другую материю и перенести на нее какие-либо свои качества без взаимного контакта» [4], Фодерá действительно заявляет· «Когда речь идет о мире природы или о научных суждениях, читатель будет крайне удивлен, услышав такие слова, как материальный и нематериальный». Впрочем, продолжает он, «слово «материя» происходит от слова «mater», поэтому этимологически оно означает *порождающая,* а слово нематериальная означает *непорождающая»* [5]. И он видит сущность материального мира не в материи, понимаемой как нечто статическое, а в энергии, находящеися в движении согласно собственным законам. «В природе,— пишет он,— все — абсолютное движение» [6].

---

[1] M. Fodera, op cit, p. 257—259.
[2] M. Foderà, op cit, p. 164.
[3] M. Foderà, op cit, p. 165.
[4] M. Foderà, op. cit, p 231.
[5] M. Foderà, op cit.
[6] M. Fodera, op cit, p. 307.

---

[1] M. Foderà, op. cit., p. 323.

Установив в качестве абсолютной социальной истины принцип справедливости-равенства и подвергнув критике эмпирические доктрины экономистов, Фодерá критикует и учения о происхождении права, которые он считает ложными, мотивируя это, как обычно, «влиянием привычек». «Сила, которую приобрел материальный интерес, такова, что вследствие привычек, вопреки разуму люди провозгласили кажущиеся невероятными принципы и доктрины. Так стали говорить о *праве де-факто, о праве, основанном на завоевании, о праве, основанном на силе, о праве, возникшем вслед за позитивным законом, о воле как источнике права,* откуда и возникает право собственности и т. п.» [1]. В действительности, по мысли Фодерá, «в этих юридических учениях господствует не теория истины, но теория материального интереса» [2], попирающая естественные законы, подводящая под право фальшивую основу и ложно объясняющая его генезис. Поэтому Фодерá намечает новый генезис, «генезис справедливости, обязанностей, правосудия, права, долга и добродетели согласно теории истины», то есть согласно принципу справедливости-равенства, управляющему миром общественных отношений. Справедливость-равенство является также принципом нравственности, «из которого проистекает обязанность, правосудие, закон, право, долг и добродетель» [3].

По мнению Фодерá, обязанность, то есть принуждение, следует ставить в связь со справедливостью-равенством. Действительно, всякий раз, когда устанавливаются отношения, не основанные на справедливости, возникает юридическое обстоятельство, которое должно вернуть их к статусу справедливости. Когда же, напротив, отношения основываются на справедливости-равенстве, тогда господствует естественный закон, нравственность и никаким обязательствам уже не может быть места. Другими словами, право, как полагает Фодерá, имеет и может иметь своим источником только равенство или стремление восстановить равенство там, где оно было нарушено. «Следовательно, обязательство,— пишет Фодерá,— это необходимость установления справедливости, и не может быть, по существу, обязательства в том, что ведет к установлению несправедливости» [4] (несправедливость-неравенство). Отсюда непреложный характер обязательства. Другими словами, правосудие должно быть не чем иным, как «заповедью о гуманных поступках согласно справедливости» [1]. Следовательно, закон — не что иное, как «норма, которой должны руководствоваться в своих поступках люди в соответствии со справедливостью». Итак, справедливость-равенство является в общественной жизни мерилом всех вещей. Цель права в этих условиях — «осуществление справедливости, причем средством для этого является обязательство, а из выполнения обязательства снова возникает справедливость». Существование права только в той мере является оправданным и обоснованным, в какой оно является системой норм, препятствующих нарушению равенства-справедливости и возвращению к неравенству. «Поскольку справедливость абсолютна и необходима, она может быть адекватна абсолютным и необходимым отношениям, и поэтому люди, живущие в условиях справедливости, имеют абсолютно все необходимое для благоденствия. И там, где торжествует справедливость, нет более физических и моральных различий между людьми. Из наличия у них всего необходимого вытекает, что никто не может уступить другому человеку часть этого необходимого, не совершая при этом несправедливости по отношению к самому себе, ибо остальные пользуются необходимым в такой же мере, как и он. Такая уступка не может быть продиктована разумом, так как *разум,* в сущности, и есть *справедливость.* Следовательно, может произойти только обратное: тот, у кого имеется необходимое, желая воспользоваться излишком, отнимет у другого необходимое» [2] И лишь после того, как произойдет это нарушение равенства, вступит в силу право, проистекающее из эгалитарного долга. Горячее, ревностное выполнение этого долга является добродетелью, и добродетелен тот, кто не просто приемлет эгалитарную социальную систему (ибо эта система общепринята), но горячо поддерживает ее. «Там, где существуют отношения подлинного равенства, где существует подлинное сообщество, там не может быть безразличных и все несут обязательства, но тот, кто трудится с подлинным усердием, совершает добродетельный поступок ... добродетель приравнивается к усердию в осуществлении справедливости», то есть равенства [3] (когда эти два элемента между собой равны, возникает справедливость).

«Управление обществом согласно истине, справедливости, правосудию и добродетели создает подлинное человеческое

---

1 M. Foderà, op. cit., p. 50.
2 M. Foderà, op. cit.
3 M. Foderà, op. cit., p. 51.
4 M. Foderà, op. cit.

1 M. Foderà, op. cit.
2 M. Foderà, op. cit, p 53—54.
3 M. Foderà, op. cit., p. 55.

сообщество». Из сформулированной подобным образом проблемы справедливости-равенства возникает проблема *свободы.*

Небезынтересно в этой связи напомнить, как ставят эту проблему Маркс и Энгельс в «Манифесте Коммунистической партии». Решению ее они предпослали анализ социальной структуры общества, разделенного на классы, и освещение экономических и исторических законов, которые приводят к переходу от капиталистического общества к социалистическому. На этой именно стадии, отмечали они, свободное развитие каждого индивидуума будет условием свободного развития всех.

Фодерá критикует тех, кто характеризует право как «совокупность условий, при которых свобода каждого отдельного человека может сосуществовать со свободой всех» [1]. «Слово *свобода,*— пишет он,— магическое слово софистов и основа всякой софистики, ибо истинное значение этого слова по самой своей сути противоположно разуму; этого софисты никогда не понимали и на эту тему фантазировали и продолжают бесконечно фантазировать» [2]. Фодерá не приходит в восторг от «скакуна, который без узды и цели мчится по открытому полю», ему по душе «быстрое движение к заранее намеченной цели» [3]. По его мнению, новое общество будет создано не в результате обеспечения и защиты свободы отдельного человека, а благодаря тому, что в основу планового развития общественной структуры будут положены научные и эгалитарные принципы.

Фодерá считал Руссо и Макиавелли величайшими мыслителями в области политических и общественных наук; правда, в отношении Руссо он делал известные оговорки («писатель, непревзойденный по стилю, исполненный добрых намерений, но ненастоящий философ»). Что же касается Макиавелли, то его «Государь» — «самая замечательная книга, какая когда-либо существовала» [4], хотя она «сама по себе безнравственна, как безнравственно поведение честолюбивого государя... в то время как подлинная слава, подлинное торжество состоят в том, чтобы творить добро людям, в том, чтобы сделать человечество счастливым» [5]. Те самые правители, которые следовали принципам «Государя», «яростно обрушивались на книгу и запрещали ее печатать», ибо, применяя на практике проповедуемые ею принципы, они не хотели, чтобы принципы эти были преданы гласности. Руссо пытался оправдать Макиавелли, «утверждая, что его высказываниям следует придать смысл, обратный тому, какой содержится в книге «Государь»» [1], ибо, по его мнению, Макиавелли в этом произведении «предупреждает народы о коварных действиях честолюбцев и о порочной политике, которой они руководствуются, управляя народом» [2]. Фодерá сомневается в правильности интерпретации Руссо концепции Макиавелли. Он полагает, что Макиавелли при исследовании человеческого общества пользовался методом, получившим впоследствии наименование метода Бэкона, то есть использовал для анализа социальных явлений научные приемы, которыми пользуются для анализа явлений природы. «При эмпирическом подходе факт определяет ход рассуждения о явлениях природы, то есть в основе рассуждения лежат факт и индукция,— таков путь научного прогресса. Придерживаясь этих правил, Никколо [Макиавелли.— *Д.Б.*] написал свой труд» [3]. Можно ли заявлять, что какое-либо «произведение написано с дурной целью, лишь потому, что в нем толкуется о дурных и пагубных предметах» [4]? Фодерá считает — и это весьма тонкое и разумное соображение,— что Макиавелли написал «Государя» не для того, чтобы вложить орудия угнетения в руки угнетателей, как полагают моралисты, или орудия защиты в руки угнетенных, как полагает Руссо; в своей книге он дает *объективную научную картину* «эмпирических результатов, предлагаемых нам историей» [5], подлинную картину того, какую конкретную роль играют социальные и политические силы. Поэтому, по мнению Фодерá, Макиавелли не заслуживает ни похвал, ни порицаний, и в его труде нет никакой преднамеренности. «Всякий проницательный человек восхищается позитивными историческими познаниями этого выдающегося писателя, но для того чтобы Макиавелли мог писать книги, отличные от тех, какие он писал, то есть не в духе «Государя» или же «Рассуждений на первую декаду Тита Ливия», а в духе истинных, достойных человека принципов, для этого следовало бы, чтобы он руководствовался высокими идеями, которые, возобладав над эмпиризмом, придали бы возвышенный смысл

---

1 M. Foderà, op. cit., p. 58.
2 M. Foderà, op cit.
3 M. Foderà, op cit.
4 M. Foderà, op. cit., p. 59.
5 M. Foderà, op. cit., p. 61.

1 M. Foderà, op. cit.
2 M. Foderà, op. cit., p. 61—62.
3 M. Foderà, op. cit., p. 63.
4 M. Foderà, op. cit.
5 M. Foderà, op. cit., p. 64.

механической связи фактов»[1]. Впрочем, «если «Государь» Макиавелли честолюбив, а римская республика, стремясь к мировому господству, обращала в рабство народы, то разница между *государем* и этой *республикой,* бывшей для писателей образцом всех античных добродетелей, состоит лишь в том, что при господстве государя обращается в рабство один народ, а при республике — многие народы, священные же права человечества попираются как государем, так и римской республикой Разве мог Макиавелли, точно следуя эмпирическим нормам, которых он придерживался, иначе развить свои воззрения?»[2]

Фодера́ придает большое значение воспитанию как средству освобождения людей от порочных привычек, он ратует за систему обучения, которая будила бы мысль и поощряла бы поиски истины, выступает за «изучение предметов, которые насыщены идеями и которые обогащают ум истинами»[3]. В основе образования должно лежать то, что пробуждает, а не то, что притупляет ум, поэтому Фодера́ враждебно относится к чрезмерному увлечению древними языками, а в сущности, также и языками современными, которые «произошли от древних языков и являются в то же время порождением привычки» и поэтому могут лишь «засорять умы»[4] Нужен рациональный и универсальный язык, благодаря чему «философия языка сомкнулась бы с философией разума, подобно тому как эта последняя сомкнулась бы с философией природы, так что в философии языка отражалась бы философия природы. А поскольку природа абсолютна и одинакова всюду, это соотношение составило бы, следовательно, универсальную основу языка»[5], что помогло бы объединить людей в единую семью. Фодера́ считает «неправильным засорять память бессмысленными словами, как это делается при изучении древних языков, или загружать ее туманными и не основанными на истине идеями... Кроме того, не следует обременять память энциклопедическими познаниями, чужими мыслями, заполнять ее мелкими, бессвязными фактами и событиями или же возбуждать ее чтением стихов, проповедей... Напротив, привычка к подлинно интеллектуальному мышлению возникает из творческой, самостоятельной деятельности человека, когда ум старается сознательно разработать элементы познания, накопленные памятью. А элементы эти неизменно направлены к усилению возвышенной связи между человеком, мирозданием и всем человечеством во имя самой высокой и благородной цели, с тем чтобы великие законы природы и человечества, которые учитывает ум, внушали бы душе и сердцу человека благородные чувства и высокие добродетели и служили бы ему руководством на пути достижения нравственного и физического счастья»[1].

Математика, которая считается самой совершенной из всех наук, на деле основывается, по мнению Фодера́, на чистейшем эмпиризме, хотя она сама по себе предельно гармонична. Между тем физика, химия, биология представляются ему «областями науки, в которых свет теории озаряет многообразие фактов»[2]. Велико значение образования: оно ведет к развитию интеллекта, а когда «деятельность ума достигнет столь высокого уровня, что ему легко будет познать природу и находить удовлетворение в созерцании мира вещей, тогда и сердце возрадуется, поскольку ум будет стремиться к справедливости — основе абсолютного правосудия и абсолютной нравственности, основе совершенного человеческого сообщества, истинной цивилизации, основе подлинного человеческого счастья»[3].

Таким образом, труд Фодера́ «Привычки, объясняемые согласно теории истины» является весьма значительным вкладом, внесенным итальянцами в утопический социализм, классическими представителями которого во Франции были Фурье и Сен-Симон, а в Англии — Оуэн. Как и во всякой другой утопической системе, в системе Фодера́ решающая действующая сила, призванная осуществить социальные преобразования, возникает не из определенных социальных или политических условий (и не однозначна революционной деятельности партии или масс). Такой силой является единственно *идея.* Именно одной этой особой идеи, если она будет понятна и применена к жизни, окажется достаточно, чтобы изменить лицо мира «Идея, достойная Марка Аврелия, философа, и Антонина Пия, изменила бы лицо мира, земля давала бы обильный урожай, люди стали бы жить лучше, цивилизация достигла бы высоких вершин, человечество образовало бы ничем не запятнанное сообщество, достигло бы подлинного и всеобщего счастья»[4].

---

1 M. Foderà, op cit.
2 M. Fodera, op. cit., p 65
3 M Fodera, op cit, p 97
4 M. Fodera, op. cit., p. 99.
5 M. Foderà, op. cit., p. 99—100.

---

1 M. Foderà, op. cit, p 105—106.
2 M Foderà, op cit, p. 116.
3 M. Fodera, op cit, p 118.
4 M. Fodera, op. cit., p. 117.

Но к середине XIX века время чистого утопизма уже прошло. И к 1846 году Фодерá ушел с головой в конспиративную деятельность, о которой хотелось бы иметь более подробные сведения, чем те, какие удалось извлечь из найденных нами немногих полицейских донесений. После конфискации его книги Фодерá отправился во Францию, где жил в качестве политического эмигранта.

Едва только 12 января 1848 года в Палермо вспыхнула революция, Фодерá вернулся на родину и приступил к изданию газеты «Сентинелла дель пополо», которая отражала настроения крайне левого крыла демократического движения.

Если верить доносу, который мы обнаружили среди полицейских бумаг, хранящихся в Государственном архиве Палермо, то Фодерá, закончив свою книгу, занялся активной политической деятельностью [1]. Следовательно, Дель Карретто был плохо информирован, когда в своем «совершенно секретном» послании от 9 ноября 1847 года, направленном генеральному наместнику Сицилии, писал: «Вашему превосходительству, наверное, известно, что доктор Микеле Фодерá, профессор философии в Королевском университете Палермо, воспользовавшись каникулами, отправился в прошлом году в Париж для научных занятий; при возобновлении учебного года он попросил и получил продление отпуска еще на один месяц; по истечении этого срока он, несмотря на законность его пребывания в Париже, был тут же уволен в отставку приказом Его Величества.

Теперь же королевский посол во Франции сообщает, что этот Фодерá, казавшийся в прошлом человеком почтенным и мирным, разоблачил себя в связи с последними событиями в королевстве. Он хвастался, будто является в Палермо одним из главарей секты «Молодая Италия», в ряды которой, по его словам, он привлек множество людей из народа, представителей духовенства и монахов, утверждал, что вскоре там должно вспыхнуть восстание, и распространялся весьма самоуверенно по поводу переговоров, которые он ведет с одним поляком по имени Совлиньский, дабы завербовать его земляков и вместе с ними произвести высадку в Сицилии и тем самым дать сигнал к всеобщему восстанию. Наконец, он говорит, что в целях получения необходимых для этого денег он продаст английскому правительству одно свое важное изобретение, позволяющее уничтожить в военное время лагерь противника химическими веществами [1]. Сообщаю все эти сведения Вашему превосходительству, дабы Вы могли воспользоваться ими по Вашему усмотрению; покорнейше прошу Вас сообщить мне, если сочтете целесообразным, сведения, которыми Вы, возможно, будете располагать о данном субъекте» [2].

Но распространение этих утопических идей не ограничивалось рамками узкой группы и, еще менее того, кругом немногих изолированных лиц. Значительная часть интеллигентов-демократов Сицилии тяготела к этим идеям, в том числе и люди, которые впоследствии обнаружили себя кем угодно, но только не утопистами, например Франческо Криспи. О бароне Корвайа — видной и характерной фигуре сицилийского утопизма,— на наш взгляд, мало что можно добавить к тому, что уже написал о нем Делио Кантимори в приложении к своему труду «Итальянские утописты и реформаторы» («Utopisti e riformatori italiani»). Корвайа также принадлежал к этой группе. В молодости он был глубоко потрясен событиями 1812—1815 годов и, возможно, в еще большей степени революцией 1820—1821 годов, которая не только привела в движение социальные и политические интересы, но и пробудила новые идеи. Как бы то ни было, размышления Корвайа о реформе общества, по его собственным утверждениям, восходят к далекому 1810 году. Однако его появление на общественной арене относится к более позднему времени, как и открытая проповедь его идей. Подобно другим, Корвайа также отправлялся от системы Фурье (Кантимори уже отмечал это), иначе говоря, он следовал тем же путем, что и все социалисты и утописты Королевства обеих Сицилий. Лишь когда он заметил, что его проекты встречают не очень-то во-

---

[1] Текст доноса гласит: «Палермо, 18 марта 1846 года. Ваше Превосходительство Министр полиции! Послушайте правду, которую я вам открою ради общественного спокойствия. Врач Фодерá раздавал яд множеству молодых людей, в числе которых находились сыновья его брата Д. Д. Раффаэле и другие друзья, являющиеся руководителями политических сект. Они стремятся погубить многих верных престолу подданных и хотят, чтобы в народе распространился слух, будто этот яд исходит от короля. Когда же в королевстве разгорится восстание, тогда в Сицилию явится некто другой, который сейчас находится на Мальте, и главари бунтовщиков получат огромное вознаграждение. Подпись: Кармело Рандаццо» (ASP, Polizia, b. 514).

[1] Из цитированного выше произведения Мендола, ученика Фодерá, мы знаем, что Фодерá работал над рядом смелых научных проблем, например над применением электрической энергии в двигателях с целью замены паровых двигателей электрическими, над созданием системы управления воздушных кораблей, и утверждал, как пишет Мендола, что «добился разрешения этих проблем».

[2] ASP, Polizia, b. 514.

сторженный прием в этом приходе, он постучался в другую дверь и вместе с Франческо Криспи отправился в Лондон, чтобы услышать Роберта Оуэна. В бумагах юного Криспи эти частые встречи втроем (Оуэн—Криспи—Корвайа) оставили заметный след, но они не принесли, однако, никаких конкретных плодов, ибо каждый из трех держался собственной веры и испытывал неприязнь к любой другой. Значит, Криспи тоже прошел через период, пусть даже краткий, юношеского увлечения утопическим социализмом? На наш взгляд, навряд ли. Криспи находился тогда в крайне плачевном финансовом положении и сводить концы с концами ему позволяло лишь жалованье секретаря у барона Корвайа. К Оуэну его привело, по всей вероятности, не столько родство замыслов, сколько отнюдь не утопические 100 франков, которые барон Корвайа платил ему каждый месяц. Корвайа, как все утописты, был человеком со странностями, способным на бог весть какие начинания, которые могли породить у других подозрения на его счет. Мы тем не менее не склонны верить в подхваченные кое-кем слухи, будто Корвайа был австрийским агентом. В Сицилии — стране, в революционном движении которой даже малейшая тень разрасталась до гигантских размеров,— Корвайа никогда не вызывал серьезных подозрений, хотя он принимал энергичное участие в самых жарких и шумных спорах. В дни революции 1848 года он находился среди крайне левых демократов, и они считали его своим.

Но, пожалуй, следует вернуться на несколько лет назад. В 1839—1840 годах в публицистике Палермо наблюдается необычное оживление: множатся попытки изданий новых газет и журналов. Любопытно, что редакторы этих новых газет и журналов открыто выступят в 1848 году на крайне левом фланге демократического движения. Уже в 1842 году Дель Карретто вынужден был приостановить предписанием от 13 октября издание «Джорнале ди шьенце, леттере эд арти пер ла Сичилиа», выходившей под редакцией барона Мортилларо, из-за опубликования «Истории» («Storia») Амари. Однако Мортилларо, Вито д'Ондес Реджо, Феррара, Эмерико и Микеле Амари — все они принадлежали к поколению людей, которым уже перевалило в большей или меньшей степени за 30 лет. Но с 1840 года особенно поражает бурный рост попыток и начинаний еще совсем молодых. Возьмем для примера газету «Конкордиа», публикация которой была разрешена Дель Карретто по представлению полицейской префектуры Палермо в конце 1840 года. Главному редактору газеты Джачинто Карини едва исполнилось 19 лет, 17 лет было заместителю редактора Изидоро Ла Лумиа, столь же молоды были Гаэтано Де Паскуале и Антонио Онофрио — патриоты, которым суждено было впоследствии сыграть немалую роль в сицилийских политических событиях. В декабре 1841 года Микеле Фодера́ испросил разрешение на издание журнала «Шьенце физике э морали, леттере эд арти» и почти одновременно на издание газеты «Универсале». Аналогичное прошение подал в том же декабре 1841 года Франческо Мило Гуджино по поводу своей «Галлериа дель бон тон», которая в сентябре 1844 года сменила название на «Галлериа иструттива». О том, что правительство вовсе не было уверено в благонадежности издателей и авторов этих публикаций, свидетельствует следующий факт: Дель Карретто без всяких околичностей потребовал от Мило «молчания о политических событиях» [1] и лишь после этого выдал разрешение на издание. Такое же разрешение Дель Карретто выдал в 1844 году Вито Бельтрами и Гаэтано Даита на издание газеты «Фальче», которую впоследствии он сам запретил (мотивировка дана нами в примечании) [2].

В 1845 году Франческо Мило Гуджино издал в типографии Карини роман «Семья Луна и семья Перолло», фабула кото-

---

[1] ASP, Prefettura di Polizia, b 422.

[2] ASP, Polizia, 1846, b. 422. «Господин префект полиции Палермо Имея обыкновение просматривать все, что печатается в Сицилии, я прочел номера 40 и 41, год издания 2-й, газеты «Фальче», издающейся в вашем городе. Что до статьи, касающейся истории Консульства и Империи, то трудно сказать, что больше: дерзость литератора, представляющего на одобрение надзирающего критику самого надзора, или глупость надзирающего, который одобрил ее Автор статьи прославляет свободу печати, поелико от нее великое благо во всяком деле и она облегчает различение истины от лжи, добра от зла, добродетели от порока. Затем автор ополчается на того, кто ущемляет эту свободу, за то лишь, что он осмелился подвергнуть цензуре историю Тиера (sic!), объявляет недостойными XIX века литераторов, не признающих опыт революции 1789 года и поносящих представительную систему, восхваляет преимущества, кои из этих превратностей проистекли и кои-де представляют цивилизацию общества. Наконец, он говорит, что прогресс ненавистен лишь тем, кто страшится современности по той уже одной причине, что нынешнее время предоставляет больше свободы во всяком деле, и т. д и т. п. Проявление подобных принципов, диаметрально противоположных существующим в нашем государстве порядкам, исключает, ежели говорить о нравственной стороне дела, всякую мысль о снисхождении к пишущему и о сомнениях в душе одобрившего их, по каковой причине литератор и надзирающий в равной мере заслуживают порицания. Вследствие оного предписываю, дабы надзирающий, аббат Гарайо, был отстранен от должности вашим, господин префект, приказом и заменен другим лицом вплоть до нового распоряжения, а газета «Фальче» — запрещена. Министр статс-секретарь Дель Карретто».

рого построена на так называемых событиях в Шакке, послуживших материалом для многих сицилийских писателей. Кем же был автор этой книги? «На фигуре Франческо Мило Гуджино, маркизе Кампобьянко, действительно «экзальтированном революционере», как его описал Манискалько, мы остановимся более обстоятельно в ходе дальнейшего изложения,— пишет Уго Де Мариа в своей книге «Сицилия в итальянском Рисорджименто» («La Sicilia nel Risorgimento italiano»),— поскольку он фигурирует среди тех немногих, кто исповедовал социалистические и коммунистические идеи». В газете Криспи «Апостолато» в номере от 23 марта 1848 года о Мило говорится в весьма хвалебных тонах: «...Он во многом способствовал восстанию как до начала его, так и в ходе самого восстания. Сначала он способствовал ему словом, деньгами и своим пером: он оплатил из собственного кармана и вдохновил часть тех статей, которые приурочили нашу революцию к 12 января и наполнили пылом и решимостью сердце каждого доброго сицилийца». Когда же вспыхнула революция, «он взялся за оружие, воодушевлял словом и не щадил своей жизни, как мало кто другой» [1].

Как пишет Де Мариа, именно Криспи в газете «Апостолато» указывал, что роман в аллегорической форме пропагандировал политические идеи. Иначе говоря, роман принадлежал к тем революционным произведениям, написанным эзоповским языком, которые были рассчитаны на то, чтобы обойти цензуру, и подготавливали души к революции. Но что касается статьи в «Апостолато» (по мнению автора, она была написана самим Криспи), то здесь Де Мариа впадает в ошибку. Статья, по всей видимости, была посвящена другому произведению Мило, а не упомянутому роману: внимательно прочтя оба тома, мы не нашли в них ничего из того, что Криспи приписывает Мило в своей статье, то есть драку Этны с Везувием в балагане марионеток,— драку, в которую вмешиваются семиглавая гидра и шут в колпаке с бубенчиками — Фердинанд II. Следовательно, Криспи, должно быть, имел в виду не этот роман, а другое произведение Мило. Что было политического в том романе? Мило, по-видимому, хотел показать, что если сицилийское общество середины XIX века и не осталось таким же, каким оно было в XVI столетии, то все же оно по-прежнему является обществом, разделенным на *угнетенных* и *угнетателей,* несмотря на прогресс цивилизации, который был бы более быстрым, «если бы некоторые весьма важные и неблагоприятные обстоятельства не замедляли зачастую его хода» [1]. Впрочем, едва ему представляется повод, Мило отбрасывает прозрачные покровы исторической аллегории и призывает сицилийцев к действию. Отныне, пишет он, разум начинает брать верх «над жестокой властью силы и над предрассудками минувших дней — нелегкими препятствиями на пути к лучшему социальному устройству общества» [2].

«В наш век открылась новая эра: эра чувства и разума. Благодаря этому,— пишет он,— цивилизация как бы стремительно движется к совершенству. И нашему затянувшемуся бездействию не может служить извинением то, что живем мы в суровое и коварное время. Твердое и единодушное желание— и любая преграда падет, любое предприятие свершится. Когда сицилийцы хотят... они могут» [3].

Самые трогательные страницы романа Мило посвящены описанию жизни бедняков, тружеников, которые изнывают от голода в безысходной нищете в своих лачугах, когда рыдания голодных детишек «сопровождают слова утренней молитвы» и порою «слова эти камнем ложатся на сердце». «Нет работы, не на что купить хлеба», так что безработному рабочему не остается ничего иного, как просить милостыню и возвращаться «в свою лачугу после наступления ночи, благо темнота скроет от семьи тягостное зрелище отцовского лица, искаженного беспредельным отчаянием. А назавтра все начинается для него сызнова,— пишет Мило и заключает: — Наслаждайся же, богатый Эпулон! [4] Бог все видит, и час расплаты грядет!» [5] Даже летняя поездка за город дает Мило повод для описания рынка рабочей силы: «На городском рынке группы застывших в безмолвии безработных труже-

---

[1] Ромео не упоминает труда Де Мариа «Сицилия в итальянском Рисорджименто» (несмотря на то, что эта книга содержит множество фактов и дат, которые трудно найти где-либо еще) и не упоминает о Мило. Книга Де Мариа не была закончена и не поступила в продажу. было отпечатано только 464 страницы, которые находятся в библиотеках Палермо и могут быть представлены в распоряжение исследователей. Из книги Манго ди Кастельджерардо «Сицилийская знать» (A. Mango di Castelgerardo, Nobiliario di Sicilia, 1912, vol. II, p. 445) мы узнаем, что Мило, маркизы Кампобьянко, владели «родовыми имениями в Трапани, Марсале и Мадзаре» и «солеварней Мило» и т. д.

[1] Milo Guggino, I Luna e i Perollo, p. VIII.
[2] Milo Guggino, op. cit., p. 130.
[3] Milo Guggino, op. cit., p. 57—58.
[4] Эпулон — библейский персонаж, богач, накрывающий к праздникам пышный стол. — *Прим. ред.*
[5] Milo Guggino, op. cit., vol. II, p. 7—8.

ников; на их лицах печать страданий от голода и накипевшего гнева» [1]

Эти темы вновь и вновь возникают в книге Мило — кстати и некстати — посреди пересказа средневековой хроники XVI века. Мило, едва ему представляется повод, напоминает о «гневе угнетенных», который поражает угнетателей «словно гром средь ясного неба», и осуждает «злоупотребление осторожностью», порождающее «робость»

В условиях бурбонского цензурного режима трудно было сказать больше; странно даже, что эта книга вышла в свет и не навлекла на голову автора громы и молнии неаполитанской полиции.

Роман был написан в 1843—1844 годах, после конфискации книги Амари, и опубликован год спустя. Он продолжал, таким образом, линию литературно-публицистического заговора, подготовлявшего в Сицилии 1848 год. Велась, впрочем, и самая настоящая организационная подготовка. Не следует доверять тому, что пишет Ла Фарина, будто манифест 12 января был «делом рук только одного молодого человека (Баньяско); ни *вождей,* ни *средств* не было» [2]

Музолино рассматривает восстание 12 января таким же образом [3]. «Это было,— пишет он,— стихийным взрывом всеобщего недовольства, сдерживать которое далее было невозможно. Ибо не было никакого предварительного сговора. Правда, несколькими днями ранее в Палермо появилась прокламация, которая, бросая перчатку вызова правительству, призывала граждан к оружию и предупреждала, что начало восстания намечено на 12 января. В последующие дни разные люди получали из рук неизвестных лиц для дальнейшего распространения множество печатных листков, в которых также можно было прочесть краткий призыв к народу, убеждающий его не уклоняться от последней схватки. Но не только правительство не придавало большого значения всему этому; сами сицилийцы смотрели на прокламации как на шутовскую выходку какого-нибудь свихнувшегося. Наиболее знатные люди, всегда державшиеся в стороне от всех заговоров, спрашивали друг у друга — скорее с любопытством, чем с изумлением,— откуда бы могли исходить эти тайные воззвания. Поговаривали о существовании руководящего комитета, но в весьма туманных выражениях; никто не знал о нем, да его в действительности и не существовало. Искра, вызвавшая великую вспышку, охватившую затем пламенем весь остров, была брошена двумя людьми, никак не связанными между собой и никому до того не известными. Прокламация была делом рук Розарио Баньяско, листки — Гардзилло, умнейшего молодого человека и страстного поборника свободы. Между тем занималась заря 12 января, и тайная магнетическая сила влекла наиболее смелых людей на площадь Фьеравеккья, место сборища простонародья, ибо только простой народ мог и должен был стать материальным орудием восстания В этот утренний час сильное брожение царило в толпе, куда более многочисленной, чем обычно Однако никто не решался раскрыть рот первым Те, кто позже выявились как главные действующие лица, даже не были знакомы друг с другом. Каждый был охвачен волнением и с тревогой всматривался в лица других, вопрошая на немом языке взглядов, то были мучительные мгновения для нетерпеливых энтузиастов. Но сильные страсти обнаруживают себя столь явно, особенно на лице сицилийца, что вскоре стало ясно все одного мнения и готовы идти на крайний риск. Тогда священник *Вито Рагона* в святом порыве бросил первый клич свободы, призывая народ восстать Его слова, как эхо, подхватили первыми Порчелли, Ламаза, Бивона и Якона Позже к ним присоединились и начали деятельно помогать им также Оддо, Кортеджани, Локашо, Энеа, Палиццоло, Амодеи, Бруно, Мелоро, Баньяско Розарио, братья Чанчоло, Леонардо Декарло, Розалино Пило Капече, братья Карини, Назелли Флорес, Филиппо Наполи, Угдулена, Виллафьорита, братья Ондес, Энрико Фарделла, Антонио Яйа. Народ, затопивший площадь, отвечает как один человек, гром рукоплесканий долго возносится к небу В знак полного согласия все в мгновение ока вооружаются кинжалами, ножами мясников, вилами, кухонными вертелами, заступами и другими орудиями труда, а если нет ничего лучшего, то и просто здоровыми узловатыми дубинами. В первые минуты не было видно ни одного ружья. Лишь несколько часов спустя девушка, спустившаяся из примыкающего к площади дома, вручила одно ружье Рагона, да еще три ружья принесли ему молодые люди, раздобывшие их на ближайшем посту таможенной стражи. Таким образом, сицилийское восстание началось лишь с четырьмя ружьями, да и те были без пороха и пуль » [1]

Но тезис Ла Фарина и Музолино не выдерживает критики. Не говоря уже о том, что, как мы видели, организационные

---

[1] Milo Guggino, op cit, p. 10.

[2] La Farina, Istoria documentata della Rivoluzione siciliana (1848—1849), Capolago, 1850, p 25

[3] „Mazzini o i rivoluzionari italiani", Carte Musolino, Pizzo Calabro.

[1] „Mazzini o i rivoluzionari italiani", Carte Musolino, Pizzo Calabro

связи между патриотами Сицилии, Калабрии и Неаполя всегда существовали (особенно после 1842 года), еще за полтора месяца до восстания, 30 ноября 1847 года, аббат Вито Рагона из Партинико сделал попытку поднять народ. Рагона был как раз правой рукой Мило и был связан со многими другими палермскими патриотами. 30 ноября 1847 года он обратился с речью к толпе, насчитывавшей примерно тысячу человек и собравшейся на соборной площади в Палермо перед статуей святой Розалии, в руку которои был вложен трехцветный флаг, призывая народ к восстанию. Поэтому отнюдь не случайно утром 12 января тот же аббат Рагона явился в священническом облачении и с распятием в руках на площадь Фьеравеккья и встал во главе восставших [1]. Отметим, с другой стороны, что начиная с 1845 и даже более того, с 1843—1844 годов, когда он писал книгу, о которой мы только что говорили, Мило был уже знаком с тогда еще совсем юным «высокочтимым Филиппо Де Бони». А мы уже знаем, что

[1] См U De Maria, op cit., p 48 А вот что писал, например, Франческо Криспи в номере газеты «Апостолато» от 23 марта 1848 года « полезно будет раскрыть одну тайну Все листовки, указывавшие точный день начала нашего славного восстания, были распространены благодаря стараниям выдающегося скульптора Розарио Баньяско и отпечатаны в типографии на деньги достойных граждан Джузеппе Оддо, Франческо Чаччо, Паскуале Бруно, Франческо Д'Онофрио, Франческо Паоло Переса, Джузеппе Бурджо, а также выдающегося патриота Мило Гуджино» С другой стороны, вместе с Мило Гуджино в заговоре участвовал Вито Рагона, который пытался поднять на восстание жителей Палермо в ноябре предыдущего года Таким образом, существовал ли один руководящий комитет или несколько организационных центров, что более вероятно, но в подготовке восстания деятельно участвовало много людей См также G Romano-Catania, Rosalino Pilo a la rivoluzione siciliana del 1848—1849, p 279 sgg Правда, Романо Катаниа повторяет мнение Кальви, который в «Историко критических воспоминаниях о сицилийской революции 1848 года» (P Calvi, Memorie storiche e critiche della Rivoluzione siciliana del 1848, vol I, p 52) утверждает, что такого комитета «никогда не существовало» Но если комитета как такового не существовало, то было создано, как пишет Романо Катаниа, цитируя слова Пило, множество тайных клубов, причем во всех классах населения «В этих клубах,— продолжает Романо Катаниа,— не бросали слов на ветер, а думали о том, как подготовить революцию, дабы с оружием в руках достигнуть много больше того, чего безрезультатно добивались мирные демонстрации» (p 282) До этого было еще знаменитое «Письмо с Мальты» Феррара, распространялись разного рода публикации и листовки организовывались многочисленные тайные клубы по подготовке восстания, а руководители палермского патриотического движения в течение нескольких месяцев беспрерывно разъезжали между Палермо и Неаполем Подготовка, следовательно, велась очень широко, независимо от того, доходило дело до создания единого руководящего революционного комитета или нет

в 1846 году неаполитанские патриоты были связаны с Де Бони через д'Айала

Истина, по-видимому, где-то посередине. Восстанию предшествовал длительный период литературно-публицистической деятельности, а также определенная организационная подготовка. Либерально настроенных аристократов действительно держали в неведении, зная их как противников выступления (опрометчивого, с их точки зрения), поэтому люди более молодые, более крайних взглядов захватили инициативу в свои руки. Ла Маза рисует более близкую к действительной картину событий 1848 года в Палермо (даже если он преувеличивает свою роль в них). Он рассказывает, что еще 24 сентября 1847 года — то есть еще до 30 ноября 1847 года и до 12 января 1848 года — в Палермо был раскрыт первый заговор, вследствие чего он вынужден был, спасаясь от полиции, покинуть Сицилию и вернуться в Тоскану. В Неаполе он встретился с Руффо и Беллелла «На этом совещании,— пишет он,— которое должно было положить конец периоду ожидания и определить средства восстания, было положено избегать участия д'Айала, ибо хотя он и был патриотом, но нередко поддавался умеренным настроениям, сдерживавшим его порывы ..» [1] Иными словами, в Неаполе были озабочены тем же, чем и в Палермо· не допустить к организации выступления тех, кого считали противниками восстания. Неаполитанцы полагали, что в их городе нельзя рассчитывать на народные массы Следовательно, первым должен восстать Палермо; Неаполь же поддержит его мирной демонстрацией, а затем восставшие провинции должны двинуться на Неаполь Позже, однако, с этим замыслом был ознакомлен и д'Айала, который «пришел в восторг от плана и революционной цели комиссии... и согласился принять в ней активнейшее участие» [2]. Мнение д'Айала сводилось к тому, что, если в этот решительный момент Бурбон не пойдет на уступки, «час восстания действительно пробьет» [3]. 12 января, кстати, было выбрано в качестве даты восстания не случайно — это был день рождения короля Фердинанда. Предусмотренная для Неаполя мирная демонстрация состоялась 14 декабря 1847 года под лозунгами: «Да здравствует Пий IX!» и «Да здравствует Италия!» и оказалась не совсем мирной· были убитые и раненые. Ла Маза рассказывает даже, как, вернувшись из Палермо,

[1] G. La Masa, Aggiunta ai documenti della rivoluzione siciliana del 47—48, Torino, 1851, p. 35.
[2] G. La Masa, op cit
[3] G. La Masa, op cit.

Криспи и Кастилья предупредили его, что «все готово для восстания». Затем, отправляясь в Палермо, Ла Маза спросил у Криспи, к кому следует обратиться, дабы легче найти «тайный комитет». Существовал такой комитет или нет, но Криспи назвал ему имя Розалино Пило, и 3 января Ла Маза отплыл в Сицилию.

Но вернемся к Мило. Республиканец и социалист, он не был коммунистом, подобно Фодера́. После смерти Фодера́ [1] Мило стал среди демократов Палермо выразителем наиболее передовых социальных взглядов. Сам Де Мариа рассказывает о нем немногое. Он упоминает о его дружбе с Джузеппе Оддо Бароне и с аббатом Вито Рагона, пишет, что Оддо отпечатал «Популярное наставление для итальянцев в Сицилии» — своеобразный катехизис, излагающий на нескольких страничках в форме вопросов и ответов основные идеи, содержащиеся в более обширной революционной программе, составленной Мило Гуджино. Де Мариа пишет, что Мило, по-видимому, является автором «других произведений, кои ныне редко встретишь», но что это за произведения — не уточняет. Он утверждает только, что без следа исчезло главное произведение Мило — то, на основе которого Оддо составил свое «Популярное наставление». Де Мариа называет его «Сицилийской революционной программой» [1]. С. Ф. Романо [2] также цитирует Мило, но не сообщает о нем ничего нового по сравнению с Де Мариа, хотя он и приводит то место у Кальви, где Мило назван «беллетристом, шутом, трусливым хвастуном, играющим именем республики, и ханжой коммунизма» [3]. Кальви также приводит цитаты из главного произведения Мило, которое он именует «Революционной программой для Сицилии». Но до сегодняшнего дня это произведение не удавалось обнаружить. Между тем его держали в своих руках Розалино Пило и Джузеппе Мадзини [4]. Наконец нам удалось разыскать его: один экземпляр, принадлежавший Микеле Амари, уцелел среди его книг, которые ныне входят в «фонд Амари» Сицилийского общества отечественной истории (еще один экземпляр — правда, не вся книга, а лишь интересное «Приложение» к ней — находится в Королевском бурбонском архиве, недавно приобретенном Государственным архивом Неаполя). Точное название книги — «Революционная программа для сицилийского народа» («Programma Rivoluzionario pel popolo siciliano», Italia, 1850). «Программа» была отпечатана на Мальте (предположительно в конце 1849 года) и состоит из 8 вводных страниц, 114 страниц основного текста и 255 страниц «Приложения». Как же могло случиться, что этот любопытный документ совершенно исчез из обращения, так что исследователи утратили даже надежду найти его? Вскоре после того, как тираж был отпечатан, Мило Гуджино покинул Мальту и отправился в Марсель с драгоценным грузом своей «Программы». Прибыв в Марсель, он отправил все экземпляры Розалино Пило в Геную для распространения среди сицилийских патриотов [5].

---

[1] Он умер при таинственных обстоятельствах в результате отравления 30 августа 1848 года. От яда умер несколькими месяцами позже также и другой из народных трибунов палермской демократии, священник Ло Чичеро. Газета «Гуерра» (год изд. 1-й, № 2, от 7 сентября 1848 года) опубликовала некролог, прославляющий Фодера́, за подписью д-ра Алессандро Паче. Последний превозносит «божественную теорию истины» Фодера́ и его «непостижимое величие». В некрологе, в частности, говорится: «О горе! Безмерна скорбь наша! Соотечественник Эмпедокла, несравненный Микеле Фодера́, пред именем которого любая похвала ничтожна, ушел от нас: дня 30 истекшего августа невыразимо жестокий удар неведомо как отнял его у нас в мгновенье ока!.. И что же? Быть может, смерть восторжествовала над ним, быть может, могила погребла его навеки? Ничуть, ибо, пока существует мир, слава его будет жить вечно. Но Боже! Отечество потеряло самого пылкого поборника истинной и святой свободы, и те, кто знал его, горестно скорбят о нем. Горе друзьям его, которые до последнего часа ухаживали за ним: они лишились образца всех общественных добродетелей в борьбе за естественные святые права, те же, кто знал его, будут вечно чтить его память и славить имя его. Жители Сицилии — увы! — потеряли своего человеколюбца, те, кто познал его внимание и заботу, будут всегда оплакивать его и вздыхать о нем А ученики его, какое это несчастье для них! Они ведь знали, сколь высокообразованным и учтивым профессором он был. Убедившись в крушении лучших надежд своих, кои они связывали с кафедрой терапевтической клиники (до того занимаемой человеком недостойным, а затем предложенной их славному усопшему учителю), они проклянут коварство судьбы... О, как будут оплакивать потомки этот прерванный на полпути прогресс биологической науки, на том пути, который был намечен его гением в задуманном им великом труде! И сколь будут скорбеть о нем Италия и чужеземные страны, где столь прославилось имя Фодера́, члена Французского института ..»

[1] U. De Maria, La Sicilia nel Risorgimento italiano, p. 74 sgg.

[2] S. F. Romano, Momenti del Risorgimento in Sicilia, Messina, 1952, p. 178 sgg.

[3] P. Calvi, Memorie storiche e critiche della Rivoluzione siciliana del 1848, vol. III, p. 106—108, 312—315.

[4] SSSP, Carte Oddo Barone; ACS, Carte Pilo.

[5] ACS, Carte Pilo, 3, XXI, n. 954. Письмо от 6 ноября 1850 года. «Здесь со мною 960 экземпляров «Революционной программы для Сицилии»... [далее следует кусок текста, не поддающийся прочтению]. средство надежной доставки, и я тебе их пришлю». Экземпляр, найденный нами в «фонде Амари», еще один экземпляр, хранящийся в «фонде Лоди» Сицилийского общества отечественной истории, и «Приложение», которое находится в Государственном архиве Неаполя,— это должно быть, все, что осталось от первых 40 экземпляров книги, которые Мило послал, вероятно, в подарок своим друзьям Остальные же 960 экземпляров исчезли.

Но то ли корабль потерпел крушение, то ли в силу каких-то других обстоятельств, но только книга так и не была доставлена в Геную и не была распространена. В библиотеках континентальной Италии нет ни одного экземпляра этой книги, и до недавнего времени казалось, что их не существует в библиотеках Сицилии.

Книжка открывается обращением к «достославному сицилийскому народу», к «возлюбленным соотечественникам» в надежде, что «принципы и установления», изложенные в книге, смогут «при *благоприятных обстоятельствах* охранить вас от коварных происков, если вы сочтете эти принципы и установления полезными и осуществимыми, или же подвигнут вас на изыскание и принятие других, кои вы найдете лучшими». Автор предлагает «наиболее отважным и благородным либералам», которые отныне должны готовиться к «новому восстанию, но лучше организованному и более продуманному», руководствоваться «Уставом» (своего рода военным уставом повстанцев), включенным в текст книги, и призывает по возможности перепечатывать и распространять книгу «среди ваших искренних товарищей, дабы, будучи согласными в мыслях, вы были единодушны и в действии». Далее следует список опечаток, оглавление и, наконец, последнее и весьма любопытное примечание, в котором говорится, что «из-за бесчисленных притеснений тирании, зачастую вынуждающих изгнанников менять местожительство, мы не могли отослать в типографию всю рукопись... в ней отсутствуют: введение, трактующее об *Идее* и *Прогрессе* революции, обращенной на благо человечества, а также часть третьей главы, повествующая о социальных и гражданских институтах, кои надлежит установить». Иными словами, отсутствует собственно социальная часть программы, и это рождает подозрение, что не одни лишь «бесчисленные притеснения тирании», но и иные соображения (боязнь, как бы некоторые чересчур передовые идеи не оттолкнули кое-кого) побудили автора прибегнуть к определенной осторожности, немало затрудняющей ныне работу исследователя, ибо на протяжении книги автор часто ссылается на отсутствующее введение. Затем помещена часть, которая озаглавлена «Устав сицилийского восстания», и, наконец, объемистое «Приложение», представляющее, пожалуй, наибольший интерес из всего этого примечательного издания.

«Устав восстания» исследует образ действий, благодаря которому восстание в Сицилии могло бы увенчаться успехом: 1) всенародное выступление в назначенный день во всех коммунах (как в 1848 году); 2) одновременное выступление в административных центрах всех семи долин острова; 3) самостоятельное выступление в одном из главных городов или в какой-либо из коммун, где размещены незначительные силы противника. Первый вариант был бы самым лучшим, но самым трудным; второй — более осуществимым; третий — всегда выполним. Автор рассматривает восстание как массовое движение, которым руководят «решительно и смело несколько безупречных людей, внушающих безграничное доверие и связанных общей клятвой, и в котором принимают энергичное участие все граждане» [1]. В восстании Мило Гуджино различает три фазы: начало, ход восстания и конец. Лишь в конце, после того как будет одержана военная победа и установится «надлежащее спокойствие, можно будет заняться наиболее неотложными социальными и гражданскими реформами, провозгласить собственную независимость и, установив с другими государствами-соотечественниками отношения взаимной помощи, консультаций и делового сотрудничества, способствовать избавлению их от их собственных тираний» [2]. Но «сицилийское восстание лишь тогда может считаться завершенным, когда Италия — наша общая мать-отчизна — будет единой нацией, то есть когда она будет политически независимой от чужеземцев, объединит все свои государства и свободно учредит ту окончательную форму правления, которая ей наиболее подходит» [3]

На странице 10 и последующих Мило излагает революционное кредо и присягу верности ему: «Мы, итальянцы государства Сицилии, клянемся именем Бога и человечества... спасти Сицилию, нашу родную землю, от нынешней тирании, от любых возможных попыток чужеземного владычества или умереть за нее; освободить и обеспечить ее свободу, объединить ее с Италией — нацией, к которой в силу естественных и общественных прав мы единственно принадлежим и всегда хотим принадлежать». Что касается социального уклада, то надо «глубоко уважать как в ходе настоящего восстания, так и всегда собственность, освященную действующими законами» [4], но в то же время «начать социальные и гражданские реформы, жертвуя ради малейшего общественного блага любыми частными интересами... и, наконец, не складывать оружия и не помышлять об окончательной форме государственного устрой-

---

[1] Milo Guggino, Programma Rivoluzionario pel popolo siciliano, p. 6.
[2] Milo Guggino, op. cit., p. 7.
[3] Milo Guggino, op. cit., p. 7—8.
[4] Milo Guggino, op. cit., p. 12.

ства до тех пор, пока Италия, сбросившая тиранию во всех своих государствах, независимая от чужеземца и свободная на своей земле, не установит на торжественном конгрессе, где будут законно представлены в лице избранных делегатов все ее народы, тот политический строй, который определит наш общественный и национальный правопорядок» [1].

По мнению Мило, при создании временного управления нужно опираться на коммуну. В каждой коммуне народ должен открытым голосованием избрать трех народных трибунов; три трибуна должны избрать «с согласия народа» депутатов «из числа самых честных и разумных жителей» [2]. Муниципальный совет должен будет затем образовать шесть комиссий. Военную комиссию, которая должна будет «формировать, расформировывать и направлять туда, где в том есть неотложная нужда, так называемые партизанские отряды» [3]. Финансовую комиссию, которая, помимо множества других экономических мероприятий, должна немедленно призвать граждан к уплате чрезвычайного «патриотического налога» [4]. Комиссию правосудия, комиссию общественной морали, которая должна будет, помимо всего прочего, «призвать служителей алтаря к свершению тех дел и акций, кои более всего пробуждают в населении революционный энтузиазм, наставлять невежд в правах и обязанностях гражданина, воспитывать подлинные чувства свободы, равенства и братства — главные основы нового общественного порядка», предавая на суд «трибунов священников, монахов и любых служителей церкви, если они обнаружат леность, злобу или окажутся *ретроградами*» [5]. Затем комиссию по торговле, которая должна, помимо прочего, «раскрыть крупные тайные склады зерна и других продовольственных припасов и принудить их владельцев пустить все это в продажу по рыночной цене» [6], и, наконец, генеральный секретариат. После всего этого коммуна должна поднять «красный флаг» [7], а каждый гражданин должен прикрепить «красную кокарду к груди — символы, объявляющие войну тирании не на жизнь, а на смерть» [8]. Далее излагаются необходимые военные и продовольственные меры. Должна быть вновь сформирована национальная гвардия, но на этот раз из «людей честных, руководимых достойными и уважаемыми в народе лицами; подчиненная высшему разуму народа, она никогда больше не будет подлой и гнусной когортой янычар на службе тирании», но «несокрушимым и надежным оплотом установленного закона Свободы, Равенства и Братства» [1]. Далее следует весь комплекс административных мер, среди которых, на наш взгляд, наибольший интерес представляет специальное упоминание о Мессине — в те времена самом демократическом, самом передовом городе Сицилии («наша героическая, наша божественная Мессина — прообраз всех гражданских добродетелей») [2]; предписания по вербовке армии, предписания по «свободному и бесплатному» обучению и отправлению правосудия, которое должно осуществляться выборным народным судом присяжных — формой, «наиболее подобающей гражданской свободе вольного народа и представляющей единственный в своем роде институт, в высшей степени созвучный демократическим и социальным устремлениям, к которым уже склоняется цивилизованный мир» [3]. Чтобы быть судьей, по мнению Мило Гуджино, гражданам не надобно «обширного и премудрого специального образования и в заключение — диплома, который до сих пор чаще служит признаком ослиной тупости, чем высокой учености... Истина, этот образ божий, не нуждается (особенно при условии существования определенных положительных норм человеческой жизни) в пышном научном одеянии, чтобы ее мог познать и уяснить всякий человек в здравом разуме и с неиспорченным сердцем» [4]. Следовательно, каждый гражданин, даже не имея соответствующего образования, может быть судьей и членом суда, если его изберут на эту должность. Тем самым будут расстроены «козни и маневры врагов свободы — привилегированных аристократов, денежной и чиновной знати!» [5] Поэтому «пусть при избрании должностных лиц [судей] единственным руководством будет служить нам не *собственность,* как того требуют глупые предрассудки, а *добродетель* и *способность*». Порядок должен существовать, но порядок демократический — «законное детище и благородный защитник Истинной Свободы», а не «лживое, осквернение в устах князей и их прислужников слово, кое то ли из-за трусости, то ли из-за лености все еще тешит слух поборников

1 Milo Guggino, op. cit., p. 17.
2 Milo Guggino, op. cit., p. 20.
3 Milo Guggino, op. cit., p. 30.
4 Milo Guggino, op. cit., p. 31.
5 Milo Guggino, op, cit., p. 33.
6 Milo Guggino, op. cit., p. 34.
7 Milo Guggino, op. cit., p. 38.
8 Milo Guggino, op. cit.

1 Milo Guggino, op. cit., p. 41—42.
2 Milo Guggino, op. cit., p. 55.
3 Milo Guggino, op. cit., p. 63.
4 Milo Guggino, op. cit., p. 63—64.
5 Milo Guggino, op. cit., p. 65.

политической умеренности... гробовое молчание, порожденное кощунственным насилием над беззащитными угнетенными» [1]. Того, кто совершает ошибку, следует осудить, но с теплотой и пониманием, как того, кто «оскорбляет брата своего в его достоинстве свободного человека и члена общества».

Весьма сложен, в отличие от предыдущих, последний раздел — «важнейший предмет устава сицилийского восстания»,— посвященный денежно-финансовым вопросам.

Здесь Мило вспоминает системы Сен-Симона и Фурье, которые, на его взгляд, «сводятся лишь к одному — сделать достоянием общества любую собственность. Иначе говоря, они намерены шаг за шагом вырвать у монополистов капиталы и пустить их в обращение, выпустив по декрету правительства новые банковские билеты. Поскольку их номинальная стоимость будет невелика, а учетный процент минимален, даже бедный человек сможет получать от этого выгоду и доход. Цель благородна — искоренение нищеты. Но теория ложна, а ее практическое осуществление, следовательно, пагубно». Здесь Мило полемизирует со взглядами «неисправимого барона Корвайа», с которым, по его словам, он вел незабываемые шумные споры. Мило считает, что пресловутая банкократия (как у барона Корвайа, так и у экономистов Ческовского, Воловского (Cieszkowski, Wolowski), Давида Рикардо и других) — это, в сущности, не что иное, как «демократически организованное ростовщичество». Источником богатства, говорит он, является труд. Однако и он тоже предлагает «единственное в своем роде средство», а именно введение в обращение «ассигнаций, совершенно лишенных ростовщического процента, с номинальной стоимостью, равной действительной стоимости самих предметов, и подлежащих непосредственному обмену к обоюдной пользе». Таким образом, «угнетенные смогут окончательно возродиться к новой жизни и без братоубийственной борьбы насладиться всеми теми благами, кои, как по волшебству, порождают мир и свобода».

Тем не менее, говорит он, «в необычной ситуации народного восстания, при острой нужде в деньгах и почти полной невозможности раздобыть их быстро и в достаточном количестве из-за возросшего страха капиталистов... а также, с другой стороны, не решаясь по указанным выше причинам необдуманно и сразу ввести новые ассигнации», необходимо воспользоваться обычными бумажными деньгами, воздерживаясь от создания новых денег «ввиду отсутствия условий, которые должны придать им вес и повысить доверие к ним».

Государство тем временем могло бы обеспечить себе весьма крупные капиталы, конфисковав некоторые владения. «Сицилия сверх меры богата доменциальными землями; она также изобилует епископствами, аббатствами, монастырями и церквами и многими другими учреждениями, несправедливо именуемыми богоугодными. Если бы их огромные богатства, в виде ли недвижимого имущества или в виде соответствующих канонов, цензов и рент, будь то в деньгах либо в форме продуктов, вместо того чтобы служить предметом купли-продажи, как это неразумно практикуется, были с твердой решимостью присовокуплены — по крайней мере бо́льшая часть их — к государственному фонду, они составили бы очень крупные капиталы» [1]. Конфискацию этих богатств Мило предлагает дополнить конфискацией «движимого и недвижимого имущества богачей—предателей 1848 года, которые, быть может, даже спасут свою шкуру благодаря великодушию свободного народа», но должны, однако, по меньшей мере расстаться со своим имуществом, какое надлежит присоединить к государственному фонду. На основе этих огромных капиталов и должны быть «с осмотрительностью» выпущены новые бумажные деньги.

Но третьим и самым трудным периодом восстания является строительство нового общества. По убеждению Мило, общественная экономика должна «спасти нас от коварства *индивидуализма* и от несуразностей *коммунизма!* Оба эти принципа пагубны, ибо, хотя они и противоположны друг другу, оба несут с собой тиранию и вместе с тем рабство» (в этом месте Мило специальным примечанием отсылает читателя к ненапечатанному «Введению», и потому мы не знаем, что именно он имел в виду). Новое общество должно утвердить «торжественный и вечный *Пакт ассоциации,* принципом которой является *Свобода,* средством — *Равенство,* а целью — *Братство*».

Итак, коммуна как основа государственной экономики; полемика против фурьеристского или сен-симонистского коммунизма (как формы этатизма и рабства); стремление к такому социализму, который гарантировал бы «Пактом ассоциации» свободу и равенство граждан; конфискация государством всех церковных владений и собственности реакционеров.

[1] Milo Guggino, op. cit., p. 73—74.

[1] Milo Guggino, op. cit., p. 83—92.

«Если Сицилия,— заключает Мило,— уже вступив в отношения взаимной помощи, консультаций и делового сотрудничества со своими собратьями в Италии, ..вместо того чтобы приумножать энтузиазм, осуществляя свою миссию путем проведения необходимых радикальных социальных и гражданских реформ, более всего созвучных современному социализму, заколеблется... Если она робко и нерешительно остановится в страхе между старым правительственным строем и новым или, хуже того, из-за обычной политической трусости умеренных отступит с прекрасной тропы революции, то она снова будет *потеряна* для нас, на этот раз навсегда» [1].

По мысли Мило Гуджино, нужно отбросить «продажные софизмы судейских крючкотворов и коварных законоведов... Все установленные прежде формы законности фактически упраздняются .. к жизни рождается новая и необходимая законность, освященная единодушным голосованием всех граждан, созвучная здравому смыслу, иначе говоря, законность, предписываемая естественным и позитивным законом наибольшей пользы народа».

Мило считает, что подлинное представительство свободного народа существует лишь тогда, когда весь народ участвует в управлении делами общества. Поэтому он считает нелепыми и несправедливыми действовавшие в ту эпоху избирательные системы, лишающие права голоса часть граждан или основанные на имущественном цензе. Выборы, по замыслу Мило, должны быть всеобщими и прямыми. Первоосновой государства должна быть коммуна, но представители народа должны избираться не по территориальному признаку, а на основе их принадлежности к той или иной форме производительной деятельности, которая может быть подразделена на шесть крупных производственных категорий. умозрительного толка — науки, литература и искусства — и практического — сельское хозяйство, промышленность и торговля. Из кого состоят эти категории? Например, «в категорию промышленности входят все те труженики, рабочие, прислуга и другие сходные с ними классы (прежде плебеи, а ныне народ), которые, существуя трудом своих рук, получают взамен ежедневное, ежемесячное или ежегодное вознаграждение В категорию сельского хозяйства входят· все колоны (или габеллотти), то есть все, кто арендует землю; землевладельцы в собственном смысле слова, ибо они сами возделывают крупные участки земли; владельцы сыроварен, ферм, имений и иных хозяйств и другие классы, которые, проживая в деревне, существуют возделыванием полей».

Таков «Устав сицилийского восстания».

На первых страницах своего длинного приложения Мило старается объяснить, что всякая диктатура есть рабство и угроза угнетения народа, идет ли речь о диктатуре государя или президента государства. Он утверждает, что и в Сицилии революционное правительство 1848 года также стало жертвой диктатуры, жертвой диктатора, «скорее безмозглого, чем коварного» Вот почему в организации революционного государства нужно идти снизу, с «организации коммуны. *Организация коммуны*, следовательно, есть основополагающий элемент правления свободного чарода Итак, если первый неверный шаг состоит в том, чтобы начать восстание, не организовав должным образом коммуны (на что мы указывали выше), то вторым ложным шагом, непосредственно вытекающим из первого, неизбежно будет слепое преклонение народа перед наиболее дерзким и ловким демагогом, который первым попадется ему на глаза; открытое или скрытое наделение его широкими полномочиями и привилегиями диктатора — пагубнейшая ошибка» [1]. По мнению Мило, после восстания не должно быть не только никакой диктатуры, но и никаких «неуместных парламентских ассамблей». *Единственное средство* спасти отечество — это «Революционные комитеты народа» [2]. «Все дело в том, что в Революционных комитетах, на которых мы настаиваем, слуги Народа будут постоянно находиться на глазах его августейшего величества — единственного законного государя истинно божьей милостью,— и тот из них, кто замыслит измену, не осмелится да убоится ее совершить... Там же, где народ перестает быть господином своих дел и доверяет другим свое непременное право управлять делами общества, всегда получается наоборот» [3].

Далее следует обширная глава о политике умеренных, осуждение «скандального династического торга». Обвинения, которые выдвигаются в этой главе против умеренных, являются более или менее общими для всех итальянских демократов. В частности, Мило, как добрый сицилийский демократ, обвиняет умеренных в том, что своим лозунгом *слияния* они затруднили желанное *объединение* Сицилии с Италией, ибо боязнь утратить всякую форму автономии подстегнула, по его мнению, «тупиц, погрязших в своих нелепых муниципальных

[1] Milo Guggino, op. cit, p 100 sgg.

[1] Milo Guggino, op. cit., „Appendice", p. 27.
[2] Milo Guggino, op. cit, p. 28.
[3] Milo Guggino, op. cit., p. 28—29.

притязаниях и спекуляциях». Мило считает, что не следует церемониться с «ненавистной монархией... Бог и Народ — вот два слова, столь ужасные для деспотов и их прислужников.. грозный приговор, который во всеуслышанье провозглашает: *отныне нет государей и подданных,* приговор, который торжественно запрещает господство человека над человеком и который, вернув человеку сознание его божественного происхождения, охраняет его от злобных и коварных посягательств двух *милостью божьей* верховных самодержцев — священника и государя» [1]. По мнению Мило, в 1848 году ошиблись все: как сицилийцы, которые провозгласили нового короля вместо прежнего, так и другие итальянские государства, которые приветствовали «меч Италии» — палача Карла Альберта. Виновниками политически умеренных решений были аристократы и «в еще большей мере новая знать — ростовщики и разбогатевшие плебеи,— готовая по приказу совершить любую подлость или мерзость». Мило считает, что поражение революции было вызвано также страхом перед коммунизмом и тем, что смешивали коммунизм и социализм — «коварное недоразумение, которым воспользовались, особенно во время последних событий, недоброжелатели всех видов, чтобы задушить ростки нового, в высшей степени необходимого общественного устройства». По мысли Мило, социализм — это не что иное, как «сегодняшнее научное выражение чистых и изначальных заветов Христова Евангелия», в то время как коммунизм — и здесь он прямо ссылается на утопические системы Фурье и Сен-Симона— «хотя и пригоден на практике для конгрегаций монахов, связанных обетом послушания, никогда, однако, не может быть претворен в жизнь в широких гражданских обществах» [2].

Если умеренные взывали к государям, то они делали это «из страха перед поступательным развитием требований социальной демократии среди народа». «О богачи, эгоисты,— восклицает Мило,— вы, как свиньи в грязи, купаетесь в роскоши и довольстве, меж тем как бедняк — лишенный всего, даже возможности вымолить работу, чтобы раздобыть заплесневелую корку хлеба,— с сердцем, исполненным гнева, умирает от холода и голода на пороге ваших великолепных дворцов... О простаки Эпулоны, оставьте надежды! Ваш конституционный монархизм не спасет ваших богатств от ненасытной утробы королей; не спасет он вас и ваших королей от гнева народного, когда пробьет час — и знайте, что ждать его осталось мгновенья!» «Вы, сторонники конституционного монархизма,— продолжает Мило,— вы все известны; вас ждут не рыцарские цепи, разукрашенные драгоценными каменьями, не перевязь и ключ, не герб — одним словом, не титулы и привилегии новой касты патрициев, которой вы все же мечтаете положить начало... но острый *кинжал* преданного вами простолюдина! Будьте благодарны, что вас предупредили об этом, и спасайтесь, пока не поздно, бегством: час близок!» [1]

Все приложение написано в таком же пламенном, апокалипсическом духе; в нем встречается несколько упоминаний Мадзини, причем Мило показывает, что он разделяет некоторые его идеи. Упоминания касаются прежде всего известной статьи Мадзини, опубликованной в «Италиа дель пополо» под названием «Заметки и документы касательно ломбардского восстания и королевской войны 1848 года» («Cenni e documenti intorno all'insurrezione lombarda e alla guerra regia del 1848»). Но у Мило Гуджино есть кое-что, чего нет у Мадзини. Правда, он, как и Мадзини, говорит: монархия или республика, но тотчас же добавляет: «то есть феодализм или социализм — выбирайте!» Как говорит Мило, «единственное, что может примирить угнетателей и угнетенных,— это смерть... Реакция государей сегодня на первый взгляд торжествует, но в действительности это не так. Не в человеческих силах остановить поступательное продвижение человека к умственному, материальному и нравственному совершенству, ибо справедливы и неизменны законы вечной Природы» [2]. По мнению Мило, «бóльшая часть сделана. революция в умах свершилась и обрекла на моральную смерть омерзительное папство! Осталось выполнить меньшую часть; это будет достигнуто с материальным уничтожением ненавистной монархии и полным упразднением отверженного пролетариата» [3]. В заключение *религиозная реформа,* которой противятся папы, будет осуществлена! *Политическая реформа,* на пути которой стоят привилегии королевской власти, будет осуществлена! Социальная реформа, которой препятствует индивидуализм аристократов и ростовщиков, также будет осуществлена! Обещанное царство божье придет на землю.

Конечно, на пути демократических сил высятся два главных оплота самодержавия, олицетворение деспотизма, душители свободы — «английская аристократия и русский царь».

---

[1] Milo Guggino, op cit., p. 40.
[2] Milo Guggino, op. cit, p. 47.

[1] Milo Guggino, op. cit, p. 49—54.
[2] Milo Guggino, op. cit., p. 77.
[3] Milo Guggino, op. cit., p. 79.

Но, по мнению Мило Гуджино, английская аристократия «настолько разорила порабощенные ею народы, что никогда уже не сможет найти в них необходимых потребителей бесчисленных товаров своих мануфактур», а следовательно, банкротство неизбежно Что касается царя, «чудовищного Голиафа с сотнями тысяч вооруженных каннибалов, то против него не только прогресс и крестовый поход европейских народов, но и его собственный Давид в лице честного, мудрого и непокоренного русского крестьянина, в глубине души *социалиста* с незапамятных времен (см. «Введение»); следовательно, царь — это колосс на глиняных ногах» [1]

Гнев Мило Гуджино направлен в особенности против Англии, и это понятно: сицилийские умеренные, и в первую очередь Стабиле, придерживались проанглийской ориентации до такой степени, что даже обсуждали возможность установления английского протектората над Сицилией. Если для Мило Россия олицетворяет собой «тиранию меча», то Англия — «тиранию золота» [2]. Одна стремится подчинить своей власти земли, другая — моря и мировую торговлю; «у них общность цели — *вечное рабство народов*» [3]. Как и все демократы, Мило ненавидит Луи Наполеона, ибо, помимо прочих грехов, этот человек — «жалкий английский приспешник» [4]. Мило Гуджино не щадит даже Швейцарскую республику, которая для Катанео была образцом политического устройства. «Швейцарская республика, — пишет он, — жертва собственного *национального чванства* и гнусной *торговли* своими сынами, коих вербуют тираны, дабы бросить в случае нужды этих дисциплинированных палачей против народов, Швейцарская республика взлетит на воздух от взрывов бомб» [5]. Но враг — это прежде всего Англия: «гости-посредники 1812 и 1848 годов...» с их «наблюдательным военным кораблем, вечно торчащим в порту Палермо», вплоть до кануна восстания... «Но как они могли знать? Они знают все, предвидят все: они — полиция-Аргус Европы» [6] Если бы завтра в Сицилии восторжествовала революция, мы увидели бы «привычную эскадру *политических* и *дипломатических* пиратов, бросающую якорь на рейде столицы острова» [7].

---

[1] Milo Guggino, op. cit., p 91—92.
[2] Milo Guggino, op cit, p 171.
[3] Milo Guggino, op cit, p. 169.
[4] Milo Guggino, op cit, p 186.
[5] Milo Guggino, op. cit.
[6] Milo Guggino, op cit, p. 111—112.
[7] Milo Guggino, op cit, p. 112.

И вот мы подошли к концу «Революционной программы для сицилийского народа». Тот, кто пишет эти строки, говорит Мило, «с ранней юности... жертвовал всем — состоянием, репутацией, жизнью ради малейшего блага родины». Когда другие «блеяли гимны во славу Пия IX, ваш покорный слуга сказал: этот поп — это сохранение религиозно-политической тирании. Этот поп распнет Италию на кресте!» Когда другие ожидали «процветания и прогресса от конституционной монархии, я говорил и писал: «Целью нашей является республика — единственная справедливая форма правления» . Когда превозносили Карла Альберта... я говорил и писал· «Этот человек вновь предаст народы Италии». Когда я увидел зловещее вмешательство английского кабинета в дела Сицилии, то говорил и писал, что наше восстание 1848 года будет проиграно, а Сицилия предана и продана За это меня обозвали безответственным демагогом, утопистом, фантазером, глупцом и тому подобное; лишь чудом я избежал смерти» [1].

Предсказания Мило полностью оправдались, и вот он резюмирует для сицилийцев накануне нового восстания уроки революции 1848 года: «Диктатура — смерть восстания. Политика умеренных — могила подлинной свободы... Никогда не доверяйте английскому кабинету... Каждое его слово — ловушка, каждое его обещание — новое вероломство. У ростовщика нет сердца, а если б и было, то тверже стен ада. Англия торгует народами». Единственное спасение для Сицилии и для Италии, если они хотят быть независимой, свободной и единой нацией,— это республика, «окончательное освобождение угнетенных от их угнетателей». Этим заканчивается длинное «Приложение». Но за ним еще следуют «Примечания» немалого объема, и именно в них Мило Гуджино, тщательно избегавший в тексте каких бы то ни было упоминаний о личной ответственности руководителей различных политических групп в революции 1848 года в Сицилии, ставит точки над «i». Главным организатором диктатуры, проводником политики умеренных и виновником рабского подчинения английскому влиянию был Мариано Стабиле — человек «не дурной по природе, как во что бы то ни стало хотят уверить некоторые злонамеренные люди», но «без гения, без исторических и политических познаний, без революционной смелости»; он принимал «робость за осторожность, трусость — за умеренность... он не был предателем родины: он всегда любил ее .. подлинными предателями были другие, и народ записал их имена кровавыми

---

[1] Milo Guggino, op. cit., p 158 sgg

буквами. . Но если, принимая во внимание слабости человека как такового, мы можем отнестись к нему снисходительно, то мы не вправе смягчать наказание человеку — государственному деятелю, если он действительно заслуживает его. Когда создается свободное правительство, то вначале нужна суровость. Если от жизни одного виновного индивидуума может зависеть благо народа. пусть эта жизнь оборвется! Это будет спасительным примером». Мариано Стабиле, по мнению Мило Гуджино, повинен в «нарушении суверенных прав народа». Противником Стабиле в правительстве был Кальви, утверждает Гуджино. Он был главой демократической оппозиции, и «он действительно обладал блистательными умственными и нравственными достоинствами Народ любил его и, испытывая столько бед и будучи так беден настоящими людьми, видел в нем якорь спасения. Видный юрист, человек острого ума, обширных познаний, безукоризненной честности, свободных и радикальных мыслей, несомненный, испытанный патриот». Если бы Кальви повел себя твердо и решительно в момент, когда беда уже надвигалась, после падения Мессины и Катании, он еще мог бы спасти отечество, и его умоляли об этом. «Кальви обязан был без промедления взять власть в свои руки, сразу же окружить себя честными либералами и патриотами, исполненными решимости победить или умереть, которые вместе с ним помогли бы народу создать революционный комитет . если бы только он осмелился! Сицилия, когда уже ничто другое не могло вернуть ей достоинства и чести, по крайней мере пала бы в сиянии славы, подобно Риму и Венеции». Но «он не обладал даже тенью гражданского мужества: он жаждал только ничтожных ораторских побед и ничего более. Он был гигантом на словах — пигмеем на деле. Мы друзья с Паскуале Кальви, как и с семьей Стабиле. Но эти строки пишутся для народа... а посему любые личные симпатии должны умолкнуть... Сицилия возродится, и притом скоро, под знаком подлинной свободы. Однако для *новых дел — новые люди*» (к этому же выводу пришел после событий 1848 года и Пизакане: политические и военные руководители революции 1848 года обанкротились и, следовательно, должны быть заменены другими). Когда речь заходит о Мадзини, то Мило Гуджино проявляет почтительность и даже преданность, но в конце он и его упрекает за отсутствие «конкретной программы, которая бы отчетливо ясно и точно установила, каким должно быть революционное движение в условиях Италии». Он должен был отвергнуть как «абсурдную систему *слияния*, так и из рук вон плохую систему *федерации*». Отстаивая «унитарный принцип» — единственное средство основать нацию, он должен был в то же время обеспечить автономию Сицилии и всех других итальянских государств, которые потребовали бы ее

Как Кальви воспринял суровую критику от человека, принадлежавшего к той же партии, что и он сам (правда, к ее крайне левому крылу), мы увидим в дальнейшем Как бы то ни было, «Революционная программа для сицилийского народа» не лишена интереса хотя бы потому, что это была первая попытка анализа событий 1848 года, и потому, что она предшествовала по времени всем последующим оценкам революции 1848 года в Сицилии и всем радикальным выступлениям послереволюционного периода, в том числе «Республиканской федерации» Феррари и «Войне в Италии» Пизакане. Что касается Мадзини (уже через несколько месяцев после окончания своей «Программы» Мило покинул сицилийскую провинцию и, отправившись на Мальту, а затем в Марсель и Париж, смог в непосредственной близости наблюдать за деятельностью Мадзини и его партии), то уже в начале 1850 года Мило стал изменять свое мнение и о нем. Имеется его письмо к Джузеппе Оддо Бароне, написанное в середине 1850 года, в котором он говорит об «Италиа дель пополо» — газете, «в которой никогда не увидишь передовой статьи по важнейшему социально-экономическому вопросу нового общества, с тем чтобы народы могли раз навсегда избавиться от всякой тирании. Тирании, которая, сохраняя нищету большинства и огромное богатство немногих, восстанавливает, хотя и в иной форме, прежний феодализм и варварство, если только угнетенные и просвещенные не подрежут ей крылья с помощью соответствующих институтов, основанных на заповедях социальной экономики! Но Мадзини *политик,* а не социалист» [1]

«Революционная программа для сицилийского народа» датирована: «Италия, 1850 год», но из текста ее с очевидностью явствует, что первая часть (то есть «Устав сицилийского восстания») была написана в большой спешке (настолько большой, что оказалось невозможным включить в нее «Введение» и главу III), до попытки восстания, предпринятой Николо Гардзилли 27 января 1850 года. «Устав» должен был послужить руководством к осуществлению этой попытки, на которую возлагалось столько надежд. «Устав» не был закончен (об этом пишет сам Мило), так как обстоятельства торопили:

---

SSSP, Carte Oddo.

его ожидали с крайним нетерпением на острове [1]. Устав пришлось отправить на остров в очень незначительном числе экземпляров,— не случайно одновременно была отдана директива перепечатывать и распространять документ среди «искренних товарищей». Приложение было написано, по всей вероятности, позднее. Об этом свидетельствует уже тот факт, что в самом тексте его сказано: «Большое число экземпляров настоящего «Приложения» не следует присоединять к ней» (то есть к «Программе»). Впрочем, мы выдвигаем даже гипотезу, что «Устав сицилийского восстания» существовал в двух различных изданиях: одно — отпечатанное в спешке для подпольных организаций, действовавших в Сицилии, без «Введения» и главы III (именно это издание мы и рассмотрели), и другое — отпечатанное в более спокойной обстановке, в которое были включены «Введение» и глава III. Возможно, такое более полное издание существует, но нам не удалось пока найти его. Иначе трудно объяснить точные ссылки на «Введение» в только что рассмотренном нами тексте «Приложения». То, что «Устав» и «Приложение» были отпечатаны в разное время и даже, возможно, в двух различных типографиях, доказывается различиями не только в шрифте и качестве бумаги, но, как нам кажется, в нумерации страниц. «Устав сицилийского восстания» насчитывает I—VIII плюс 114 страниц, а «Приложение» с дополнительными примечаниями (снабженное, кстати, многозначительным подзаголовком: «Приложение к революционной программе, новейшие замечания») пронумеровано с 1 по 255 страницу.

Революция в Сицилии была не только первой из революций 1848 года, но именно здесь была предпринята первая попытка политического переосмысливания этих событий, исходя из задач социального и демократического переустройства общества. Могут возразить, что у этих попыток в Сицилии был странный провинциальный, утопический привкус. Так оно и было, но эти идеи тем временем породили там широкое брожение и даже вызвали к жизни определенную организацию левого крыла в демократической партии и привели к установлению определенных отношений с народными массами. Книги Пизакане и Феррари, без сомнения, имели куда большее значение, куда более широкий отклик — они стали фактором итальянской национальной политики. Но на

[1] ACS, Carte Pilo 2. XII. 463 Письмо Мило Гуджино и Пило от 28 декабря 1849 года: «...если дело, на которое мы надеемся, провалится, тогда конец!.. Момент ближе, чем ты думаешь, если судьба будет благосклонной к Сицилии.. »

скольких последователей мог рассчитывать Пизакане в период создания «Войны в Италии»? Королевства обеих Сицилий его книга не достигла. Даже о тех его соотечественниках, с которыми несколько лет спустя он попытался установить контакт и которые примыкали к левому крылу демократического движения, нельзя было сказать, что они разделяли его социалистические воззрения. В отличие от других калабрийско-сицилийская группа, несмотря на внутренние разногласия (которые в один прекрасный день обострились до того, что привели к разрыву демократов, не чуждых социалистических тенденций, с Кальви), являлась тогда настолько сплоченной, что, когда сицилийская эмиграция должна была избрать свой руководящий комитет с местопребыванием в Париже [1], именно группа социальных демократов одержала верх над всеми другими, получив значительное большинство голосов. В этой группе, помимо Мило, пользовались влиянием Томмазо Ланди и Саверио Фриша. Сам Мило в письме к Розалино Пило, отправленном 20 января 1851 года из Марселя, писал: «Я, как ты знаешь, исповедую те же убеждения, что и Саверио Фриша, которого прошу тебя сердечно обнять от моего имени» [2].

Подводя итоги, можно, на наш взгляд, отметить следующие моменты: 1. Тенденции карбонарского толка, тяготевшие к определенным формам эгалитаризма, существовали в Королевстве обеих Сицилий более или менее повсюду, особенно в Чиленто, Калабрии и Сицилии, еще до 1848 года. 2. Примерно в 1830 году или вскоре после этого повсюду в Королевстве обеих Сицилий демократы начинают серьезно интересоваться социалистическими учениями: Риччарди — бабувизмом, сенсимонизмом, фурьеризмом; Музолино — социетарными экспериментами Остина в Техасе (1820—1821 годов) [3]; все или почти все сицилийские демократы увлекаются в большей или меньшей степени учениями Сен-Симона, Оуэна, Фурье. Но, как правило, наибольшим успехом пользовался именно Фурье, и причину этого нетрудно понять. Взор Сен-Симона был обращен к промышленности и к индустриалам как элите общества; его доктрина к тому же являлась мистико-романтической: ее положения были совершенно чужды экономической действительности и идейным традициям Южной Италии. Социализм же Фурье, напротив, представлял собой новую попытку применить законы природы к общественным отношениям, и пото-

[1] SSSP, Carte Pilo, f. III, 487. Результат голосования в Генуе, Турине, Марселе, Париже и на Мальте.

[2] ACS, Carte Pilo, 3. XXIII. 1063.

[3] G. Berti, Nuove ricerche su Benedetto Musolino, p. 48—49.

му был более приемлем для тех, кто вырос на идеях карбонариев, масонов, просветителей и рационалистов.

Таким образом, еще до 1848 года в Королевстве обеих Сицилий существовала группа демократов, не только тяготевших к идеям социального переустройства, но и с отчетливо выраженными социалистическими тенденциями. После 1848 года эта группа старается уточнить, насколько возможно, собственные позиции и после поражения революции остается если и не сплоченной, то по крайней мере связанной особыми узами; она пыталась проводить собственную политику еще до того, как увидели свет «Война в Италии» Пизакане и «Республиканская федерация» Феррари. Следовательно, на Юге Италии эти книги не столько положили начало социализму — который уже существовал как проблема, подлежащая изучению, как стремление к радикальной реформе общества, как тенденция,— сколько придали этому широкому, многообразному, но все еще эмбриональному брожению характер общенационального течения, окончательную форму, точные очертания.

Тем не менее зарождение этих эгалитарных тенденций и идей социального переустройства следует отнести к более раннему периоду — к периоду влияния просветителей. Следует помнить также, что независимо от влияния французского утопического социализма (которое стало ощущаться почти повсеместно после 1830 года) более или менее смутные эгалитарные идеи получили распространение уже в карбонарском и неокарбонарском движениях Неаполитанского королевства. Эгалитарное карбонарское течение обнаружило себя достаточно широко, например, в революции 1848 года в Сицилии; в Калабрии же оно дало о себе знать значительно раньше, главным образом в деятельности Музолино и Ангера́.

Что касается Сицилии, то мы уже упоминали отца Ло Чичеро, провинциала ордена св. Анны. Ло Чичеро публиковал множество своих статей в демократических газетах. То же самое можно сказать об аббате Дж. Фьоренца, который объявил своим наставником дона Джованни Крими и превозносил его героическое самопожертвование. Ло Чичеро писал, например, в газете «Читтадино», что истинная идея свободы — это идея естественной свободы: «Гражданская и политическая свобода ничего не добавляет к естественной свободе; она лишь подтверждает и гарантирует ее от злоупотреблений силы. Ибо общество было создано для того, чтобы человек наслаждался в мире той свободой, коя проистекает из самой природы» [1]. А в другой статье, опубликованной в той же газете

[1] „Il Cittadino", 2 maggio 1848, № 88.

и госвященной духовному наследию XVIII и XIX веков, он утверждал, что Французская революция при всех своих ошибках была первым практическим проявлением суверенности человеческого духа и философии, которая ранее выдвигалась лишь в теоретическом плане. «Это было время разрушения и уничтожения: человек ничего не может создать, не разрушив прежде» [1]. Тем не менее он полагал, что воздействие этой философии «благородно и великодушно; она принесла, приносит и принесет человечеству неисчислимые блага». Он считал, что из-за политических превратностей Реставрации это духовное наследие оставалось окруженным «тайной и невидимым глазу до середины XIX века» и, «пребывая в тени и тайне, обогатилось опытом и очистилось от своих пороков». В завершение Ло Чичеро писал: «Проявление человеческого духа в 1848 году, как и в прошлом веке, нашло выражение в трех возвышеннейших словах: *Свобода, Равенство, Братство*». Но, отмечал он, свобода тогда обернулась безудержным вольнодумством и отказом от веры, особенно же недоставало подлинного равенства, которого нужно добиться теперь; «тогда равенство не могло быть утверждено с должной твердостью и повсеместно распространено, ибо, сколько бы ни проповедовали равенство в правах, необходимо, чтобы оно покоилось на фактическом равенстве», к тому же «среднее сословие хотело править в одиночку и, чтобы отвлечь низкий люд, ввергло его в войну». Теперь же идея свободы, на взгляд Ло Чичеро, сделалась «космополитической», и дело идет к «универсальному миру». Разумеется, этот дух еще не распространился «повсюду, но вскоре во всех уголках земли люди почувствуют его благотворное воздействие. Я предвижу, что Россия еще до конца этого века увидит, как реет стяг свободы на ее обширных просторах» [2].

[1] „Il Cittadino", 24 aprile 1848, № 81.

[2] „Il Cittadino", 24 aprile 1848, № 81. В неокарбонарском духе было выдержано «Кредо», опубликованное в № 8 республиканской газеты «Джоване Сичилиа» (Палермо, 10 декабря 1848 года). Написано оно было в Трапани и датировано 30 сентября 1848 года. *«К Народу. Кредо и молитва, или Истинное и честное изложение политических принципов»*. «Во имя Отца, Сына и Святого духа Аминь. Я верую в Бога, всемогущего Господа, сотворившего небо и землю Верую, что Бог сотворил человека по образу и подобию своему, а значит для того, чтобы блуждал он свободно по земле, подобно тому как Господь парит свободно на небесах. Верую, что свобода есть возлюбленная дочь Бога, как и в то воистину верую, что короли, князья и все великие мира сего есть Ироды рода человеческого, исчадия ада, проклятые Господом нашим, ибо это они жаждут держать народы в угнетении, дабы тучнеть на их достоянии, терзать плоть их и порабощать мысль и слово. Верую, что народы суть законные

Ло Чичеро ссылался в поддержку своих взглядов на Марио Пагано и утверждал, что «нынешние великие общества... определенно должны будут в конце концов прийти к всеобщей ассоциации всех людей». «Умолкните, умолкните, о ядовитые языки! — восклицал он, обращаясь к ревнителям старого порядка.— Вы, кто утверждает, что свобода никогда не восторжествует, равенство — и того менее, а братство — химера филантропов». «Как будет выглядеть общество,— спрашивает себя Ло Чичеро,— когда, изгнав дух эгоизма, люди возлюбят друг друга, как подлинные братья?» И, не ответив на свой вопрос, заключает: пока мы сражаемся «за слабого, дабы избавить его от гнета сильного... за бедного, дабы он не проливал пот и кровь ради утех того, кто опутал его цепями...» И далее: «Привилегированные касты рождаются из варварства и исчезают под мощными лучами цивилизации! Конституция 1812 года вовсе не казалась людям 1848 года таким совершенным творением, каким она была в глазах людей своей поры... аристократия властвовала тогда повсюду... время лишило ее силы... Да здравствует равенство... я не признаю иных различий, кроме тех, что создает сама природа; те же, что порождены прихотью человека, либо деньгами, либо насилием... да будут осуждены или истреблены» [1].

Можно представить себе, какое впечатление производили эти слова на людей из народа! Вот как газета «Костанца» в № 3 от 14 сентября 1848 года в статье «Баррикады» описывала непосредственных участников революционной борьбы: «...Куда ни кинешь взор, повсюду увешанные оружием люди; их бронзовые лица, их грубые и сильные руки напоминают тебе, что они принадлежат к социальному классу, огрубевшему от тяжкого труда. Это и есть наши сицилийские горцы, не раз громившие наемников деспота...» Таким же пламенным, апокалипсическим языком выражалась и газета «Сентинелла дель пополо». «Народ, поднимайся, ты верховный суверен,— писала эта газета в номере от 1 июля 1848 года.— Но твой суверенитет — отнюдь не тот, который был предоставлен тебе 12 июня решением парламента, нет, поверь мне... ведь я — тоже народ. Твоя суверенная власть — это та, которую ты сам сумел отважно завоевать 12 января с оружием в руках». Процитировав затем Макиавелли, дабы доказать, насколько порочна идея монархической республики или республиканской монархии, и побудить отвергнуть конституционное правление, пусть даже подкрепленное парламентским режимом, газета заключает: «Народ, если ты можешь смириться с мыслью о том, что после столь могучей и славной революции, какую ты совершил в 1848 году, с тобой произойдет то же, что произошло с французским народом в 1830 году, ну что ж, выжидай, пока у тебя не похитят плоды твоих побед; выжидай, пока тебя не закуют снова в оковы. Сменив хозяина, ты не изменишь своего положения. Должен ли ты уже сейчас готовить новую революцию?.. Подумай, о народ!.. Дерзай, о народ! Опыт конституционного правления, накопленный другими свободными народами, достаточно велик. Умей же по крайней мере извлечь урок из примера других. И если Сицилия вправе гордиться, ибо она опередила Францию в свершении революции, то пусть ее не терзают угрызения совести, что она не сумела последовать за Францией и в деле основания своей республики...»

Республиканского социального направления придерживались также «Армаменто» и «Ассемблеа коституенте», выходившие под редакцией Саверио Фриша, и «Джорнале дель чирколо пополаре», в редакцию которой вместе с Аньетта, Д'Онофрио, Трапани и многими другими передовыми демократами входил и Франческо Мило Гуджино. Все эти газеты опирались на народные клубы. Эти последние в специальном катехизисе, получившем широкое распространение благодаря печати и озаглавленном «Катехизис подлинной демократии», объясняли, что́ они собой представляют и для какой цели созданы [1]. В этих газетах мы находим высказывания в поддержку направления, представленного Филиппо Де Бони в правительстве Римской республики и флорентийским Центральным комитетом, который под руководством Дж. Никколини выдвинул проект единого Учредительного собрания Италии, руководствуясь крайне демократическими идеями. Газеты

правители земли, ибо земля была создана Господом для народов, и не дал он им никакого господина, дабы повелевать ими. Отныне же и во веки веков должно народам жить на земле по закону Божьему, никто не должен чинить другому того, чего себе не пожелает... И так же как верую, что Бог сотворил всех людей равными, не отличая одних пред другими, так же воистину верую я, что совершенное равенство, завещанное нам Господом, страстно желаемое ныне всеми людьми и самой природой, согласное с Божьей и человеческой справедливостью, приидет лишь с Республикой...»

[1] „La Sovranità del popolo", № 46, 48 del 27 e 29 ottobre 1848.

[1] «Giornale del Circolo popolare», № 3, Palermo, 4 gennaio 1849. «Вопрос. Что такое народные клубы? Ответ. *Это стражи народа...* Вопрос. Но когда на страже стоит национальная гвардия, тогда, значит, народные клубы не нужны? Ответ. ...национальная гвардия призывает зажиточных на службу нации, а народные клубы призывают весь народ, мужчин и женщин, отстаивать свои права, полученные от Бога...» Под катехизисом стоит подпись Дж. Корвайа.

народных клубов рекомендовали даже распространять брошюру Никколини об Учредительном собрании [1].

Ромео убедительно показал, что начиная с 1848 года демократы были наиболее активной частью патриотического движения в Сицилии и в эмиграции. Однако он замечает, что интерес к социализму и к новым социальным идеям пробудился после 1849 года в результате идейных контактов между подпольными организациями внутри Италии и итальянскими эмигрантами за границей, по-видимому ознакомившимися в Париже и Лондоне с этими учениями уже после революции 1848 года. «Этой любознательностью,— пишет Ромео,— но в еще большей степени событиями 1848 года и объясняется некоторый успех социализма в последующие годы»; но, добавляет он, «речь идет о весьма скромном успехе» [2].

И действительно, Ромео ссылается на позицию Тайного комитета Палермо от 1851 года, который в своем послании, направленном сицилийскому комитету, перебравшемуся за границу, утверждает, что социализм «для наших народов означает и до поры до времени будет означать коммунизм не только в отношении имущества и денег, но даже женщин» [3], вызывая поэтому неприязнь к себе. Значит ли это, что Тайный комитет Палермо был враждебен социализму? И как объяснить, что во время эмиграции в руководство движением

[1] «Giornale del Circolo popolare», № 2, Palermo, 26 dicembre 1848. «Дабы клуб мог по зрелом размышлении дать обещанный ответ Центральному комитету Флоренции, полагаем полезным предложить вашему вниманию диалог, опубликованный синьором Дж. Б. Никколини из Рима». Речь идет о «Диалоге между медиком и ремесленником по поводу Учредительного собрания», напечатанном во Флоренции 28 ноября 1848 года и уже в конце декабря обсуждавшемся в палермском клубе. Саитта задается вопросом (Saitta, op. cit., vol. I, p. 241), являлся ли Никколини бывшим сторонником Буонарроти или же хвастуном, который просто хвалялся, будто он был вице-председателем общества «Истинных итальянцев». Но, как бы то ни было, остается фактом, что флорентийский Центральный комитет и лично Никколини вместе с Де Бони (текст проекта единого итальянского Учредительного собрания был составлен Никколини) служили в тот момент ориентиром для народных клубов даже в далекой Сицилии. Справедливы или ложны были обвинения в безнравственности, выдвигавшиеся против Никколини, но в течение длительного времени он занимал руководящие позиции в мире тайных обществ Италии. В частности, на принадлежащем нам экземпляре «Отеческих увещеваний» («Esortazioni patrie») Анджелони (Лондон, 1837) можно прочесть следующее посвящение, написанное рукой автора: «Прекрасному и доблестному моему соотечественнику и моему дорогому сотоварищу Джованни Баттиста Никколини — автор Анджелони» (Никколини и Анджелони оба были родом из Фрозиноне).

[2] R. Romeo, op. cit., p. 320—321.

[3] R. Romeo, op. cit.

были избраны в большинстве именно демократы, отличавшиеся наиболее радикальными взглядами в социальных вопросах, такие, как Ланди, Фриша, Мило?

Ромео, возможно, был введен в заблуждение известным исследованием о сицилийской демократии 1848—1853 годов, принадлежащим перу Э. Казанова, которому мы обязаны всем хорошим и всем плохим, что написано до сих пор на эту тему. Казанова был выдающимся знатоком архивов и можно предположить, что он хорошо использовал материал, имевшийся в его распоряжении. Поэтому его суждения по поводу антисоциализма и антикоммунизма сицилийского Тайного комитета были приняты Ромео, а также С. Ф. Романо [1].

Как же в действительности обстояло дело? С 1849 по 1856 год, вплоть до выступления Бентивенья, сицилийский Тайный комитет (который вначале именовался Центральным комитетом Сицилии) претерпел многочисленные изменения из-за преследований и арестов; члены этого комитета менялись не один раз. Направленность и содержание программных документов комитета с конца 1849 и вплоть до 1856 года отражают эти изменения. Речь, вполне очевидно, идет о документах, обязанных своим появлением разным людям, а порою и разным комитетам, придерживавшимся различных социально-политических направлений. Взять *один* какой-либо документ и вырвать из него одну фразу — вовсе не значит получить веское свидетельство. Огромный интерес, напротив, представляло бы углубленное исследование их в точной хронологической последовательности и установление по возможности в каждом отдельном случае личности автора или групп авторов. Казанова такого исследования не проделал, да и никто после него. Если бы подобная работа была выполнена, то в глаза сразу же бросилось бы, что в идеологической и программной дея-

[1] S. F. Romano, Momenti del Risorgimento in Sicilia. Впрочем, Романо проявил большую осторожность в принятии этого тезиса. У того же Казанова Ромео заимствовал сведения, согласно которым среди местных последователей социализма был и Розарио Баньяско. Действительно, Баньяско вместе с Пило примыкал к демократам, к чистым мадзинистам, но он отнюдь не был социалистом и в эмиграции полемизировал с Мило, Фриша, с группой наиболее отчетливо выраженных социалистов. Столь же неверно утверждение, будто «подавляющая часть эмигрантов» была настроена против социализма. На выборах в руководящие органы наибольшее число голосов было отдано Ланди — явному социалисту, Фриша и Мило. Социалисты, таким образом, составляли большинство в избранном комитете. Что же касается Баньяско, то следует сказать, что он и после 1860 года оставался на позициях полемики против социализма. См. G. Cerrito, Radicalismo e socialismo in Sicilia (1860—1862), Messina, p. 133.

тельности сицилийского Тайного комитета было по крайней мере три различных фазы. Первая следует непосредственно за падением революционного правительства и характеризуется преобладанием самого левого демократического, социалистического направления. Во второй фазе в отличие от первой превалирует тезис: единство всех искренних демократов; будущую социальную политику можно обсудить потом. Третья и последняя фаза связана с руководством Центральным комитетом Сицилии Вергара Крако и отмечена принятием доводов полемики Мадзини 1851—1852 годов против социалистической школы.

Во всяком случае, первая программа-манифест Центрального комитета Сицилии, несомненно, была написана социалистом. Кем — мы не знаем, но на основании письма, которое Франческо Мило Гуджино послал Розалино Пило тотчас по прибытии в Марсель и в котором он говорит о своем решающем (по его собственному признанию) влиянии среди тех, кто остался для продолжения подпольной борьбы [1], можно предположить, что эта первая программа была написана группой, к которой принадлежал он сам и в которой выделялся Савério Фриша; последний как раз не эмигрировал, остался в Сицилии и был арестован за свою подпольную деятельность лишь в октябре 1849 года.

В этой первой программе Центрального комитета Сицилии история человечества «на протяжении долгого бега веков» выглядит как история «угнетателей и угнетенных», несмотря на «все видоизменения» форм рабства, которые все проистекают из «неравенства людей». Если нищета давала знать о себе во все времена — это значит, что причина всех этих бедствий одна; когда человеческий разум познáет эту причину, тогда можно быть уверенным, что мир и счастье рода человеческого будут достигнуты. Главный закон Природы — это закон добра, «гармонии многочисленных и разнообразных отношений бесконечной череды существ, кои в ней обитают». «Главная основа как нынешнего, так и древнего общества суть полнейшее отрицание всех законов Природы; они отнюдь не стремятся направить разнообразные отношения между отдельными индивидами к гармонии общественного порядка, но прямо толкают одного против другого, толкают их на войну, которая приводит в конечном счете к истреблению индивидуума и общества». Следовательно, согласно мнению Центрального комитета Сицилии, необходимо «низвергнуть принцип, порождающий столько зол, от коих страдает нынешнее общество, и заложить основу подлинной общественной организации», которая не должна более противоречить «основным законам Природы» и должна устранить эту постоянную причину всех форм рабства и неравенства между людьми. В заключение программы Центрального комитета Сицилии, составленной в конце 1849 года, утверждается: «Такова цель, к достижению которой должны быть направлены усилия и совокупный труд всех народов; и поскольку угнетатели сплачивают великую лигу, дабы сообща задушить и истребить их, единственное средство облегчить достижение столь трудной задачи есть ассоциация, солидарность народов, которым, объединись они от одного края света до другого, пришлось бы сражаться лишь со своими внутренними врагами, очищая общество от праздных эксплуататоров плодов человеческого труда... Такова программа, представленная Центральным комитетом в изгнании... внося свой вклад в великое дело всемирного восстания, мы руководствуемся настоящей программой, и, будучи далеки от мысли отступить от подобного принципа, мы объявляем бесполезным всякое другое движение, которое стремилось бы к иной цели и не способствовало бы ассоциации всех народов. Ассоциация! Союз и братство народов! Спасение и братство!» [1]

Совсем иного рода была программа сицилийского Исполнительного комитета от 5 ноября 1850 года. Она гласит: «Перед лицом угнетателя нет классов: буржуазия, как и простой люд, богатый, как и бедный, отстаивают одно дело, защищают одно знамя... пусть будут далеки они от всякой политической розни. Ни одна партия не вправе навязывать обществу те или иные социальные установления: это право принадлежит нации, и после победы народа она сумеет найти правильную форму, дабы у нее не похитили этой победы» [2]. Как можно видеть, в этом втором программном документе, хотя он и вступает в спор с первым, утверждается, что никто не вправе предрешать, каковы должны быть эти будущие формы общественного устройства. Этим правом обладает лишь нация, народ сумеет избрать правильную форму после победы. Третий же программный документ (программа Центрального комитета Сицилии от 1 мая 1851 года) идет еще дальше вправо и отрекается не только от первой, социалистической постановки вопроса, но и от второй. Он носит чисто национальный, патриотический характер и в то же время ставит своей целью защиту существующего социального порядка: «Возлюби Отечество

[1] ACS, Carte Pilo, 3. XXI. 954.

[1] ACS, Carte Pilo, 2.XII. 492.
[2] ACS, Carte Pilo, 3.XXI. 953.

без корысти и не требуй от свободы иной награды, кроме счастья наших братьев; чти Евангелие — кодекс любви и веры, уважай собственность, честь, святость семейного очага, ограждаемые законом» [1]. По сравнению с позицией 1849 года это поворот на 180 градусов. Но Казанова взял свою знаменитую (и столь незаслуженно пользующуюся успехом) цитату даже не из этого документа, а из другого, более позднего, от сентября 1851 года, весь текст которого пронизан антикоммунизмом, более или менее созвучным духу открытой полемики против социалистических и коммунистических идей, которую вели мадзинисты в 1851—1852 годах. От Казанова эта цитата пошла путешествовать по многим исследованиям, о чем мы уже упоминали; в итоге сложилось мнение, которое следует по меньшей мере признать однобоким и пересмотреть.

На деле же не только в тайных комитетах, действовавших в Сицилии, но и в эмиграции период 1850—1852 годов отмечен сложным и интересным процессом, на котором мы намерены остановиться далее более подробно. Явление это не ограничивалось Сицилией, но было присуще в большей или меньшей степени всем демократическим организациям королевства. Пизакане, возможно, лучше, чем кто-либо другой, олицетворяет собой этот процесс сближения местного демократического движения неаполитанских провинций с мадзинизмом в 1848—1849 годы и постепенного отхода от мадзинизма в последующие годы. Для некоторых этот разрыв длился до 1852—1853 годов, для других — вплоть до 1855 года и дальше, а были и такие (мы уже видели это на примере Музолино), кто вообще никогда не сближался с Мадзини. Одним словом, кто раньше, кто позже — здесь мы не собираемся выяснять, правильно или нет,— но те демократы Обеих Сицилий, которые придерживались наиболее радикальных взглядов в социальных вопросах, пришли к выводу, что Мадзини был только республиканцем, чуждым социализму. В результате они выступили против него. То, что сложное переплетение тогдашних обстоятельств (особенно начиная с 1855—1856 годов): растущая угроза мюратизма, усиление умеренных, трудности обстановки,— вынудило многих из них вновь прийти к соглашению с Мадзини и сражаться бок о бок с ним,— это уже совсем другой разговор.

Контакты буонарротиста Дж. Б. Никколини и флорентийского народного клуба с сицилийскими радикально настроенными демократами побудили нас предпринять исследование, дабы выяснить, можно ли обнаружить прямые или косвенные следы влияния Буонарроти в Италии 1840—1850 годов и особенно в Королевстве обеих Сицилий. Можно было заранее предполагать, что в отношении Обеих Сицилий результат будет отрицательным. Если эти связи отсутствовали в 1810—1830 годах, в период наиболее интенсивной подпольной деятельности Буонарроти и наибольшей популярности неаполитанских карбонариев, то тем больше оснований предполагать, что они отсутствовали и в последующий период. Поиски тем не менее оказались не совсем бесполезными, хотя бы потому, что к нам в руки попало интересное, никогда ранее не публиковавшееся письмо Шарля Теста, который был правой рукой Буонарроти в последние годы его жизни и деятельности. Письмо Теста неизвестному лицу помечено 20 декабря 1846 года и может рассматриваться как последний имеющийся в нашем распоряжении документ, касающийся попыток распространения в Италии методов и взглядов Буонарроти. Этот документ, как нам кажется, относится не столько к Обеим Сицилиям и, возможно, даже не столько к тайным обществам в Италии вообще [1], сколько к итальянской эмиграции в Бельгии (письмо, возможно, было адресовано Феликсу Делассу), через которую Тест думал возобновить в Италии определенную деятельность в предвидении великих революционных потрясений, о близости которых он пророчески говорил уже в декабре 1846 года. Из письма Теста с очевидностью явствует, что последние приверженцы Буонарроти действительно предпринимали попытку развернуть в Италии организационную работу накануне 1848 года. Но если эта попытка и затронула Италию, то она, по-видимому, возымела действие преимущественно на людей старых и утративших былой престиж, вроде Дж. Б. Никколини, который, однако, как мы видели, сыграл значительную роль в движении народных клубов,— движении, в известной степени отмежевавшемся от мадзинизма и противопоставившем себя ему не только во время существования Римской республики, не только во Флоренции и в Риме, но и в ходе сицилийской революции. Особую активность в отношении Обеих Сицилий проявлял один из самых близких соратников Буонарроти после 1830 года Гаэтано Чиккарелли [2], который

[1] ACS, Carte Pilo, 3. XXV. 1188.

[1] В письме, впрочем, упоминается «шурин» адресата, который «находится здесь проездом из Рима». Последний, навестив самого адресата (возможно, речь идет о Феликсе Делассе в Брюсселе), направился в Париж к Тесту. Это доказывает, что существовали также контакты между буонарротистами Флоренции и Рима, с одной стороны, и Парижа и Брюсселя — с другой.

[2] См. A. Saitta, op. cit., vol. I, p. 238 sgg.

поддерживал переписку с Казимиро Де Льето и даже со старым маркизом Де Аттеллисом. И, однако же, самыми интересными фигурами в движении народных клубов были не столько эти старые конспираторы, отжившие свой век, сколько смыкавшаяся с ними молодежь, принадлежавшая к новому поколению радикально настроенных демократов. Среди них в особенности выделялся Филиппо Де Бони (в Турине, Флоренции, а затем в Риме) и группа сицилийских демократов и социалистов из народных клубов, о которой мы уже упоминали. Каким образом и в какой мере старое поколение революционеров отстало от событий, показывает неизданное сочинение Де Аттеллиса «Мои римские дела» («I miei casi di Roma»). Де Аттеллис жалуется, что в Риме его оттеснил в сторону «краснобай Мадзини», и называет себя Нестором итальянского революционного движения. Это сравнение и впрямь подходило ему, ибо, когда он направился в Рим, ему было 75 лет, он участвовал еще в заговоре неаполитанских якобинцев 1792—1793 годов, одним из первых призывал в 1797 году в Патриотическом клубе к созданию единой республиканской Италии, был приговорен к смерти в 1799 году, в 1801—1804 годах вместе с Пино, Леки и Домбровским он находился в самом центре тайных военных организаций и, наконец, одним из самых первых примкнул к неаполитанским карбонариям в 1808—1809 годах.

Каково было отношение людей, вроде Дж. Б. Никколини, Г. Чиккарелли, да и самого Де Аттеллиса к политике, проводимой Мадзини и триумвирами Римской республики, с наглядностью показывает эта рукопись Де Аттеллиса, в которой он пишет, что Чиккарелли (по-видимому, чтобы заставить его приехать в Рим в столь преклонном возрасте) нарисовал ему «черную картину» «положения вещей в этом городе». Тем не менее тот факт, что еще в 1848 году существовали последние поклонники бабувистско-буонарротистского направления и что они были связаны с группами молодых демократов, критиковавших Мадзини слева,— этот факт не лишен интереса. Но каким влиянием они пользовались? Характерно, например, что накануне 1847 года, когда политическая и социальная действительность привела к возникновению в демократическом движении совсем иных идей и целей, Тест продолжал полемизировать с фурьеристами, отстаивавшими системы фаланстеров, с последователями Сен-Симона, с поборниками икарийского коммунизма. Столь же характерно отсутствие у него каких бы то ни было упоминаний о Прудоне — новой силе в рабочем движении, не говоря уже о марксистах, которые как политическая сила еще не проявили себя и о которых он, естественно, не мог писать, но которые вот-вот должны были появиться на исторической сцене. Во всяком случае, этих старых революционеров вовсе нельзя отнести к разряду ископаемых: секрет их долгой молодости заключался, по-видимому, в том, что они сохраняли контакты с рабочими кругами и чувствовали приближение бури. Поэтому они оказывали влияние и на некоторые группы молодежи, которые извлекли из их многолетнего опыта борьбы то, что соответствовало требованиям нового времени.

Вот письмо Теста:

**«Париж, 20 декабря 1846 года.**

Мой дорогой и любезный друг,

наконец-то я получил письмо от тебя! И вот я держу его в руках, это столь желанное письмо! Оно помечено 17 числом этого месяца, и благодаря чрезвычайной любезности твоего кузена Поля я получил его вчера. Он сообщил мне при этом, что твой чудесный шурин находится здесь проездом из Рима и что я доставлю им удовольствие, если вместе с сыном без церемоний отужинаю с ними в тот же день, поскольку г-н Жан должен без промедлений ехать в Брюссель. Посуди сам, с какой готовностью я принял это любезное приглашение. Провести несколько мгновений в кругу твоих близких было для меня неким вознаграждением за долгое молчание, которое ты заставил вытерпеть меня.

Я знал, что рано или поздно прерву это молчание и стану упрекать тебя в нем, объясняя его причинами, в которые сам не верил. И впрямь, после того верного портрета г-д фурьеристов-фаланстерианцев, который я тебе нарисовал, с моей стороны было бы нелепо поверить в то, чтобы два моих лучших друга, которых я чту более всего на свете, встали под их знамена. Я даже не вправе был предполагать, что вы примкнули к тем, кто, обзывая вас «радикалами», как вас именовали тогда, писали и говорили буквально следующее: *что следовало бы вас пощадить еще некоторое время, чтобы легче было разбить вас потом.* Я сам читал это, своими собственными глазами.

Заправилы этой секты слывут здесь за первостатейных интриганов. Злоупотребив доверием публики, они сумели раздобыть огромные суммы, выдав себя за изобретателей машины, которая якобы явится фантастическим «вечным двигателем» и произведет революцию в мире промышленности.

И вот для этого им понадобились деньги, и притом много, дабы купить патенты на изобретение у всех правительств земного шара. Как тебе нравится этот трюк?

Не знаю, отличаются ли брюссельские адепты от здешних хозяев, но так как эта доктрина покоится главным образом на *неравенстве* и на принципе *иерархии,* я не думаю, чтобы среди ее приверженцев можно было когда-нибудь найти *подлинных друзей равенства.* Их критика нынешнего положения вещей может быть очень верной, такой же, как была критика сен-симонистов, но их цель далеко не так честна, как у этих последних, и вы увидите, что при малейшем изменении политической системы они окажутся среди новых угнетателей. Я в этом внутренне убежден и пришел к этой мысли после того, что узнал на их тайных сборищах. Пойдите же послушать их из чистого любопытства, как высокочтимый Буонарроти и я ходили слушать проповеди сен-симонистов в зале Тэтбу; но поверьте мне, не доверяйте этим краснобаям.

Но фурьеристы не единственные, свидетелями чьих подвигов мы здесь являемся. Под какой бы личиной они ни представали перед нами, в какие бы одежды ни рядились, нам удается разгадать их намерения: ревнители свободы обмена суть интриганы; коммунисты на манер Пийо — глубоко безнравственные безбожники; коммунисты-икарийцы, коих спесивому глупцу Кабе удалось увлечь за собой, — сумасшедшие или тупицы, которые покрывают самую прекрасную из социальных теорий лаком *сенсуализма,* а это делает ее смешной; социалисты поэта Ламартина — сентиментальные реформаторы. Вот что вкратце я могу тебе сказать. При первой же нашей встрече я сообщу тебе другие подробности, которые подкрепят эти суждения Ты, может быть, найдешь их суровыми, но события докажут тебе, что они лишь предваряли их

Я передам это письмо твоему дорогому шурину вместе с двумя экземплярами труда Алексиса Дюмениля, вышедшего в 1819 году и только что появившегося в новом издании. Это замечательная книга; автор не смог бы сегодня написать столь же хорошо. Передай один из экземпляров от моего имени славному Франчинетти, а второй оставь себе. Если бы этот друг смог перевести ее на итальянский и переслать мне, возможно, нашлись бы средства распространить ее в этой стране. Во всяком случае, я полагаю, что вы бы хорошо поступили, переиздав эту книгу в Брюсселе, напечатав ее на обычной бумаге и по возможно более низкой цене, чтобы распространить ее среди народа. Это значило бы вести воину с *попами* их же оружием. Посмотрите, подумайте над этим; и если вам понравится мой совет и вы последуете ему, позаботьтесь о том, чтобы доставить мне некоторое количество экземпляров для наших бедных пролетариев, которые не могут позволить себе заплатить 1,5 франка за книгу — столько стоит этот том, хотя на обложке его и указано 1 франк.

Я весьма *одобряю* то, что вы делаете и что вы предлагаете сделать для морального воспитания народа и облегчения его участи. Все наши усилия должны быть устремлены к этой двойной цели; но следовало бы возобновить и продолжить дело нашего достойного патриарха Буонарроти, дабы сохранить в чистоте и святости пламя нашего здорового учения. На мой взгляд, в ближайшие два-три года в Европе произойдут великие события Гнусная аннексия Кракова — лишь прелюдия к установлению заранее намеченной системы насилия и узурпации. Деспоты станут и далее развивать ее; они преумножат свою наглость до того, что их безумные деяния пробудят наконец заснувшие народы. Нужно, следовательно, заранее готовиться к великой борьбе.

Мой сын в августе следующего года закончит учебу и получит, надеюсь, свой диплом инженера. Опасаясь повредить ему и из соображений осмотрительности, я решил пока повременить с публикацией тех двух переводов, которые я подготовил и о которых извещал тебя.

Прощай, мой дорогой и любезный друг, сохрани ко мне свою привязанность, которая столь дорога моему сердцу. Обними за меня нашего доброго Франчинетти. Передай мой поклон всей твоей семье. Я и мой сын сердечно обнимаем тебя.

Твой всем сердцем и душой

Ш. Тест» [1].

По-видимому, значение тех, кто действовал за границей, заключалось не столько в поддержании организационных связей (вероятно, крайне нерегулярных — во всяком случае, их было трудно координировать из-за границы) или в революционном руководстве, которое было тяжело осуществлять извне, сколько в сохранении определенных идей, с жадностью воспринимавшихся революционной средой, пусть даже только в той их части, которая, по-видимому, соответствовала духу новых времен. В общем после 1830 года новое все более жадно впитывает и поглощает старое; старые эгалитарные идеи Руссо и Бабефа выживали лишь постольку, поскольку они находили в жизни новое экономико-политическое, философ-

[1] Miscellanea dell'Archivio Feltrinelli, Milano.

ское и историческое оправдание. Эгалитарные идеи Буонарроти или эгалитарные идеи карбонариев и неокарбонариев Королевства обеих Сицилий после 1830 года порой вытесняются, порой переплетаются в странном симбиозе с идеями утопического социализма Фурье и Сен-Симона. Потом возникает убеждение, что из этого утопического социализма можно извлечь лишь некоторые элементы для создания новой социальной программы (но отнюдь не нового фаланстера), которая послужила бы основой новой партии социальной демократии. Одни понимают под этим левое крыло мадзинистского движения, но не формально левое, а подлинно социалистическое, другие — антимадзинистскую партию левых социальных демократов, поборников объединения Италии; третьи — партию социальных республиканцев, сторонников итальянской федерации.

Правильно оценить, что представляла собой в Италии 1830—1860 годов социальная демократия, означает, по существу, не только определить, насколько велико было в ней влияние этих старых традиций, но и как по-разному развивались новые силы, порожденные этой старой действительностью и стремившиеся изменить и преобразовать ее в соответствии с новыми требованиями. У всех видных представителей нашей демократии старое и новое переплеталось самым тесным образом.

Мы не можем поставить точку под этими заметками о социальных идеях 1848 года и последующих лет, не рассказав хотя бы вкратце еще об одном из сицилийских социалистов, о котором мы уже говорили,— Гоммазо Ланди из Мессины. Из его произведений до нас дошли пока лишь «Воспоминания об экспедиции сицилийцев в Калабрию в 1848 году» («Ricordi sulla spedizione dei Siciliani in Calabria nel 1848») (эта неиздававшаяся рукопись хранится в Мессине, в частной библиотеке Доменико Пуццоло Сиджилло), из текста которых явствует, что они были написаны после экспедиции, дабы сохранить в памяти ее перипетии. Автор рукописи не указан, но в единственном посвященном ей исследовании уже было доказано, что ее авторство следует приписать полковнику Томмазо Ланди, мессинскому демократу, федералисту, социалисту, одному из инициаторов мессинского восстания 1847 года [1].

Почему потерпела крах экспедиция в Калабрию? Эта экспедиция представляет огромный исторический интерес для изучения того, как ставился конкретно в движении Рисорджименто аграрный вопрос. Сохранилось сообщение командовавшего сицилийской экспедицией Иньацио Риботти, уроженца Ниццы и близкого друга Никола Фабрици, в котором он оценивает состояние умов в Калабрии как «пассивное и робкое». Иными словами, по наблюдениям Риботти, между энтузиазмом, царившим в то время в Сицилии, и настроениями в Калабрии существовала пропасть. Возможно, это мнение разделяли также Ланди, Костабиле Кардуччи и Фердинандо Петруччелли делла Гаттина, которые были наиболее видными людьми в экспедиции. Этого мнения придерживается и В. Визалли: «Эти бедные юноши и эти суровые люди, целиком погруженные в героические утопии, совершенно не знали своей страны. Окруженные равнодушием плебса и подозрением богатых... они могли рассчитывать лишь на немногих сторонников из среднего сословия да на несколько отрядов ремесленников и крестьян, привлеченных не чем иным, как небывалой платой — 2—3 карлино в день» [1]. Естественно, когда положение осложнилось, эти войска растаяли, как снег под лучами солнца. Среди бумаг, относящихся к этим событиям (они хранятся в архиве провинции Потенца), есть один анонимный, но чрезвычайно знаменательный документ. В этом документе говорится, что «землевладельцы не решаются вносить деньги на дело свободы», чиновники «опасаются скомпрометировать себя и потерять свою должность» и даже низшее сословие, «которое до 29 января готово было действовать с нами заодно, то низкое сословие, которое после 15 мая говорило: вы, благородные, вперед, а мы вслед за вами,— теперь хочет дезертировать! Как могло случиться все это? В добавление к вышесказанному отмечу, что многие землевладельцы беспокоятся, как бы простой люд не поднялся всей громадой и не потребовал раздела домениальных земель, принадлежащих немногим семьям. Они беспокоятся, как бы повышение арендной платы за пользование общинными землями в целях снижения самих коммунальных налогов не вынудило их сократить свое производство. Между тем лишь немногим ведомо, какая интрига плетется ради того, чтобы аренда оставалась в руках тех, кого именуют *нотаблями;* они не помышляют о том, что все это будет разоблачено в соответствии с законом, когда возникнет в том нужда. Они опасаются, наконец, не говоря уже о других вещах, как бы простой люд, поднявшись ради общего дела, не занялся затем частными владениями».

[1] См. F. Giannetto, La spedizione dei Siciliani in Calabria nel 1848, Messina.

[1] V. Visalli, Lotte e martirio del popolo calabrese nel 1847—1848, Catanzaro, 1928.

Ланди, который был социалистом еще до 1848 года и вместе с Саверио Фриша и Франческо Мило Гуджино всегда занимал место на крайне левом фланге сицилийских демократов (в 1870 году он был коммунаром и сражался за Парижскую коммуну), в своей неизданной рукописи дает действительно очень проницательный анализ калабрийских событий. Он также подмечает значительную разницу между «накалом» сицилийской революции и калабрийской революции, которая, на его взгляд, родилась ущербной, точно так же как революция в Неаполе: лишенная поддержки народа, она носила на себе печать «недоверия, скованности, инертности, нерешительности, осторожности, неверия в успех, страха перед будущим».

«Откуда проистекало это неверие? — пишет Ланди в своей рукописи.— Было ли оно вызвано подозрением, что народ и сама революция скрыто таят в себе некую враждебную тенденцию. Или оно было вызвано страхом перед вторжением королевских войск и неуверенностью в том, что удастся отразить его? Было ли, наконец, это вызвано политическими условиями в Италии и в остальной Европе, которые внушали наиболее дальновидным неверие в полный и окончательный триумф?»

По мнению Ланди, первой причиной этой пассивности было «плохое умонастроение» населения. Ланди высказывает одно чрезвычайно проницательное суждение. Если бы речь шла, говорит он, только о занятии баронских земель, то есть о разделе латифундий, мы должны были бы поддержать крестьян; конечно, в этом случае против нас были бы «бароны и многие землевладельцы», но зато революция имела бы на своей стороне весь народ, и притом «тот народ, который действительно сражается». Но беда была в том, замечает Ланди, что вожди калабрийской революции были «латифундистами, землевладельцами, о которых (по крайней мере о большинстве из них) трудно было сказать, участвуют ли они в ней, чтобы свергнуть Бурбона или чтобы гарантировать свои владения и сохранение существующего порядка». Поэтому, заключает он, «без помощи сицилийцев предоставленная сама себе (калабрийская революция) не продержалась бы и нескольких дней».

Ланди, следовательно, соглашался с разделом земель баронов и других феодальных собственников между крестьянами. Более того, он считал такую меру необходимой как в Сицилии, так и в Калабрии для свершения подлинно радикальной и демократической революции. Но он отмечает (и это еще одно весьма справедливое наблюдение), что те, кто настаивал на разделе земель, имели в виду не только крупных землевладельцев, но всех собственников, и притом чуть ли не в форме прямого разграбления, а это привело к тому, что все, кто хоть чем-нибудь владел,— то есть средние слои — примкнули к баронам и крупным помещикам. Эти примитивные, наивные воззрения народных масс, замечает Ланди, являлись плодом плохой пропаганды. Книжки с изложением социалистических принципов, пишет он, читались кем попало, плохо разъяснялись и еще хуже понимались; особенно это касалось раздела имущества и земли, который каждый истолковывал по-своему. Обстановка, следовательно, была такова, что «люди, стоявшие у руководства и бывшие воплощением законности и Евангелия, терпимости и умеренности», не испытывали никакого желания опереться на народ, и народ, таким образом, был отстранен от дел «классом, в чьих руках были бразды правления». В итоге «революционный комитет, лишенный силы народа, оказался неспособным вдохнуть жизнь в революцию, которая зачахла и угасла у него на руках от упадка сил». «Сколь бы благородна ни была цель,— заключает Томмазо Ланди,— но если не применить соответствующих средств,— это не более чем греза». Этот точный и проницательный анализ сицилийской экспедиции в Калабрию, а также социально-политических условий, в которых происходила калабрийская революция, достоин пера современного социалиста. Надо сказать, что с социалистической точки зрения этот анализ сицилийско-калабрийских событий даже глубже того, который попытался сделать Пизакане.

Эти заметки, на наш взгляд, нельзя закончить, не упомянув и о человеке, который был наиболее авторитетным представителем оппозиции социальных демократов в сицилийском правительстве и парламенте в ходе революции 1848 года, не упомянув в первую очередь о его идеях, которые в особенности интересуют нас в связи с рассматриваемым вопросом. Мы уже говорили, что до революции ни Фодера́, ни Мило Гуджино, ни Фриша, ни Ланди не испытали на себе влияния Прудона. По крайней мере оно не ощущается в их произведениях. Социализм, о котором они ведут дискуссии,— это социализм французских утопистов, Фурье и Сен-Симона. Первым сицилийским демократом, на котором отчетливо сказалось влияние Прудона, был, по-видимому, Паскуале Кальви. Он часто цитирует Прудона в своих вызвавших столько споров «Историко-критических воспоминаниях о сицилийской революции». Вслед за тремя томами «Воспоминаний», опубликованных на Мальте в 1851 году, он издал в 1856 году весьма объемистое «Приложение» — по сути дела, четвертый том, в котором еще

более явно ощущается его восхищение Прудоном Том этот представляет значительный интерес и потому, что Кальви пытается в нем ответить на многочисленные возражения, которые вызвал его труд,— ведь его появление произвело такой эффект, как если бы палкой разворотили осиное гнездо

В «Приложении» Кальви полемизирует, в частности, с Джордано Орсини, в те времена доверенным человеком Фабрици и Мадзини в Константинополе, «республиканцем и рабом Великого турка», и его формальному республиканизму противопоставляет прудонизм

Впрочем, Кальви чрезвычайно часто цитирует Прудона и в трех томах «Воспоминаний» Прудон был подлинным духовным вождем для Кальви, но интересно отметить, что наряду с Прудоном властителем его дум был Корменэн, которого время от времени цитирует и Мило Гуджино Чем объясняется это влияние Корменэна на социальных демократов, на социалистов Сицилии? Луи-Мари де Лаэ, виконт де Корменэн, был в период между 1820 и 1848 годами одним из самых ядовитых и популярных французских памфлетистов Он был также незаурядным юристом, и его трактат по административному праву [1] и по сей день остается одним из классических трудов Однако славу ему принесли его памфлеты, период его наивысшей популярности во Франции приходится на 1831—1846 годы. В 1846 году он высказался в одной из своих статей за независимость Италии Затем его затмил, заняв его место в памфлетной публицистике, Прудон.

---

[1] L. M. Cormenin, Questions de droit administratif, Paris, 1822

ГЛАВА III

# Идейное формирование Карло Пизакане и его теория социальной революции

Если на Юге Италии развитие и превращение демократических идей в идеи социального переустройства и социализма шло именно по тому пути, как это было показано нами выше, то возникает вопрос каким образом пришел к социализму Карло Пизакане — патриот-южанин, внесший наиболее существенный вклад в разработку этих идей? Представляла ли собой его доктрина перенесение опыта французской революции 1848 года на итальянскую действительность, как это утверждал А Омодео? Стал ли он социалистом за несколько месяцев, проведенных им в Лондоне в 1850 году, как это полагают другие? Или же, будучи в 1847 году «рядовым неаполитанцем», он затем обратился в социалистическую веру (как предполагал Н Росселли) скорее благодаря воздействию пьемонтских радикальных кругов, группировавшихся вокруг газеты «Раджоне», чем иностранному влиянию? Или же отправной точкой развития социалистических воззрений Пизакане послужили — как это пытались доказать недавно — идеи Дж Феррари и, следовательно, Феррари стоит в известном смысле как бы у истоков итальянского социализма? Иными словами, есть ли основание полагать, что идейное формирование Пизакане шло совершенно иным путем по сравнению с остальными демократами Юга Италии?

Мы не находим этого Во-первых, уже ранние работы Пизакане говорят о том, что он еще юношей испытал на себе сильное влияние идей неаполитанских просветителей, особенно Филанджери и М Пагано Это влияние сказывается даже в его школьных сочинениях Во-вторых, на Пизакане произвели большое впечатление движение карбонариев и их идеи, которые были широко распространены среди воспитанников «Нунциателлы», будущих офицеров В-третьих, глубокий след

в душе Пизакане оставили наставления одного из его учителей в этом военном училище — капитана Мариано д'Айала. В 1842 году д'Айала, принадлежавший в молодости к карбонариям, взял на себя инициативу реорганизации патриотических обществ, которые вели заговорщическую деятельность против бурбонского режима, добиваясь свободы и единства Италии. Поэтому, на наш взгляд, Пизакане был настроен радикально еще до своего бегства за границу в 1847 году. Полюбив замужнюю женщину Энрикетту Ди Лоренцо и столкнувшись с невозможностью — из-за существовавших тогда законов и обычаев — соединиться со своей возлюбленной, Пизакане бежал с нею за границу, бросив военную службу. В 1848—1849 годах он еще как бы колебался между своими старыми взглядами и новыми мадзинистскими идеями. Но в 1850 году, после революции 1848 года, после своей поездки в Англию, которая должна была приобщить его к социалистическим доктринам и сблизить с социалистическими кругами, Пизакане сделал выбор в пользу социализма и приступил к работе над «Войной в Италии 1848—1849 годов».

В этой книге, как в зеркале, отразившей путь развития идей социальной реформы в Королевстве обеих Сицилий и в остальной стране, нашла выражение степень зрелости политической и социальной мысли Италии. С этой точки зрения книга Пизакане имела более важное значение, чем «Республиканская федерация» Дж. Феррари, который, напротив, опирался, по существу, на французские идеи и опыт и пытался применить их к действительности, резко отличной от французской.

С написанием «Войны в Италии» жребий был брошен. Пизакане положил начало итальянской социалистической школе. В его понимании доктрина этой школы должна была отличаться от тех социальных тенденций, которые были распространены до той поры, от идей социального переустроиства Мадзини и от «социализма» Феррари.

«В «Войне в Италии»,— пишет Делла Перута,— мы обнаруживаем настойчивое и самобытное утверждение народного характера революции, роли народа в социальной революции, решающего участия масс в революционной борьбе — тезис, который придавал социалистическим взглядам Пизакане конкретный характер, обусловливал их соответствие реальным условиям итальянского общества, чего как раз не хватало Феррари, чьи социалистические воззрения носили порой книжный характер. В Пизакане чувствовался человек, лучше знающий мир, лучше знакомый с чувствами, чаяниями и нуждами народных масс, которые прежде всего суть «материальные нужды», человек, осознавший, что массы в состоянии проявить громадную энергию, если они вступают в борьбу, которую считают своим собственным делом. Следовательно, для Пизакане социализм — это та пружина, которая должна вызвать к жизни глубинную, затаенную энергию низов, то «революционное семя», та «объединяющая концепция», без которой тщетны все усилия, ибо «восстания, организованные немногими, стремящимися поднять народ с целью завоевания такого строя, о котором они сами не имеют ясного представления,— такие восстания неизбежно будут обречены на поражение». Напротив, если «движущая идея стала народной», как говорится в эпиграфе к «Войне в Италии», тогда революция побеждает, преодолевая все ошибки и препятствия. Кроме того, уже в этой первой книге Пизакане сквозит классовый характер его социализма, его отчетливая антибуржуазная направленность, которая либо отсутствует в воззрениях других представителей «рисорджиментального социализма», либо же носит более туманный и расплывчатый характер, как, например, у Феррари» [1].

«Война в Италии» — это, конечно, самая непосредственная, наиболее живо написанная работа Пизакане. В ней уже содержатся почти все основные идеи, развитые Пизакане в «Очерках», и притом эти идеи лучше сформулированы, без историко-философских отступлений, под влиянием непосредственных впечатлений борьбы 1848 года. Именно на страницах этой книги нашел отражение современный характер идей Пизакане. «Народ», о котором идет речь в «Войне в Италии»,— это народ, уже сражавшийся на баррикадах и проявивший себя достаточно зрелым для проведения глубоких социальных преобразований. Вместе с тем создается впечатление (хотя это может показаться невероятным и абсурдным), что «народ», который Пизакане столь часто упоминает в «Историко-политико-военных очерках об Италии»,— это уже иной народ. В «Очерках» историко-философская постановка проблем, более усердное использование источников (Филанджери, Беккариа, Пагано, Романьози), от которых Пизакане отправляется при разработке своей доктрины, приводит к сложному историческому разграничению (присущему общественной мысли XVIII века) между «плебсом», «тупым плебсом» и «народом» в современном смысле слова. Напротив, в первой книге народ не только доминирует, но и стоит как бы на более передовых позициях, чем сами руководители демократов, у которых, по

[1] F Della Peruta, I democratici e la rivoluzione italiana, p. 107—108.

выражению Пизакане, нет «концепции» социальной революции. В «Войне в Италии» Пизакане никогда не употребляет выражений «темные массы», «презренный народ», «тупой плебс», с которыми приходится сталкиваться в «Очерках»; народ в первой книге — это единственный великий герой этих исторических событий [1].

Нельзя сказать, чтобы в «Очерках» была сохранена та же концепция, выраженная столь последовательно и категорически. В «Очерках» мысль о плебсе, «тупом плебсе» чаще обращена к прошлому, но иногда также и к настоящему. Вопрос этот имеет немалое значение, поскольку различие в формулировках касается не только терминологической, формальной стороны дела, а — как мы покажем выше — самого его существа, касается главной проблемы революции; иначе говоря, вопрос сводится к тому, в какой мере народ, которого долгое рабство обрекло на невежество, способен не только восстать, но и осуществлять самоуправление *после* восстания.

В «Войне в Италии» «материальная революция» (то есть революция, движущей силой которой являются материальные потребности масс) совершается тогда, «когда движущая идея становится народной», то есть когда пропаганда социализма, завоевав массы, превращается в революционную силу. Это центральная, основополагающая мысль Пизакане, он даже сделал ее эпиграфом к своей небольшой книжке. Вся «Война в Италии» — это грозное «я обвиняю!». Обвинение, которое Пизакане бросает руководителям итальянской демократии 1848 года (и притом всем без исключения), состоит в том, что они не имели революционной «концепции», не выдвинули перед народными массами конкретной социально-экономической цели, для достижения которой массы продолжали бы бороться вплоть до победы; в том, что они сдерживали (пусть даже не желая того, *объективно*) революционный порыв масс и оказались — с точки зрения задач революции — неподготовленными, неспособными справиться с задачей, поставленной перед ними историей, позволив тем самым силам прошлого вновь взять верх. Народ был готов к борьбе, был готов идти дальше достигнутого им рубежа. Но руководители демократии, лишенные современной социалистической революционной «концепции», продемонстрировали свою неспособность повести народ к разрешению радикальных задач.

Итак, концепция революции, изложенная в «Войне в Италии» и разработанная на основе опыта революции 1848 года, может быть резюмирована достаточно просто: нужно вновь начать революцию, но уже с помощью иных методов. Нужно подготовить материальную революцию, опираясь на насущные потребности масс, нужно заняться пропагандой социализма и добиться того, чтобы он стал активной, действенной силой; нужно создать новую, третью партию, поскольку две партии, выступавшие в 1848—1849 годах,— умеренные и республиканцы — обнаружили свою неспособность разрешить задачи, поставленные революцией. Необходимо создать социалистическую партию, а коль скоро такая партия будет налицо, то, поскольку массы сами по себе готовы к социальной революции, добиться победы в ней не будет представлять особых трудностей.

«Война в Италии» написана, собственно, в целях развенчания этих трудностей. *Влияние папства и священников?* Но оно совсем не так велико, как полагает Феррари. Враждебное отношение к радикальному движению не только старых реакционных классов, но и самой буржуазии? Но именно здесь заключена сильная сторона итальянского революционного движения: буржуазия в Италии развита слабее и не имеет еще такой прочной экономической и политической опоры, как во Франции, а потому будет легче устранить ее [1]. Единственное

---

[1] Лишь один единственный раз, имея в виду исключительно несовершенство наемных войск, Пизакане пишет в «Войне в Италии» следующее «Батальоны, сколоченные за несколько месяцев из людей, которые встали под ружье либо вследствие принуждения, либо соблазненные платой, состоят из отбросов плебса»; однако и в этом случае Пизакане противопоставляет плебсу «народ», которому следует обещать изменение положения, дабы «побудить его по собственной воле вступить в борьбу и объединить свои усилия». C Pisacane, Guerra combattuta in Italia negli anni 1848—1849, Roma, 1906, p. 318—319

[1] Франко Делла Перута в упомянутой книге недостаточно подчеркивает, что критические замечания Пизакане по адресу «Республиканской федерации» Феррари, высказанные им в приложении к «Войне в Италии», носят принципиальный характер, ибо критика Пизакане касается не частных вопросов, а самого существа проблемы. Действительно, вопрос, который вызывает противоречия между Пизакане и Феррари,— это, по существу, вопрос о *характере* и *движущих силах* революции во Франции и Италии. При этом Пизакане намечает политическую линию (значительно более четкую и определенную, чем туманная доктрина «итальянской инициативы» Мадзини) и решительно противопоставляет ее анализу *характера* и *движущих сил* революции в двух странах, сделанному Феррари В Италии,— писал Пизакане,— «буржуазия не смогла стать могущественной, и в момент, когда народ в свою очередь потребует власти, перед ним окажется противник, менее сильный, чем во Франции» (p. 328) Более того, Пизакане указывает, что сама буржуазия вынуждена во имя защиты своих классовых интересов бороться вместе с народом против абсолютистских правительств Этот факт сам по себе, утверждает Пизакане, вызывает переход части духовенства на ее сторону и определяет стратегическую расстановку классовых сил в Италии, несравненно более

серьезное препятствие — австрийские штыки. Вот почему Пизакане придает огромное значение военно-технической стороне революции: дело не в том, что он был военным по профессии и, следовательно, испытывал склонность к рассмотрению этих проблем, а в том, что, по его мнению, военная организация составляла слабую сторону итальянской революции. Вот почему Пизакане придавал огромное значение организации народной армии, «военному статуту», критике ведения боевых действий с помощью нерегулярных отрядов, гарибальдизма.

Нельзя, однако, сказать, чтобы подобный же оптимизм и твердая уверенность в революционной зрелости и решимости народных масс доминировали также в «Очерках». Теория революции становится в «Очерках» более сложной, более изощренной; и еще более усложняется она, как мы увидим ниже, в одной из последних работ Пизакане — «Основных принципах». Каковы же причины этих изменений?

«Война в Италии» была написана в 1850 году. Спрашивается: какие основания для оптимизма могли быть после поражения революции 1848—1849 годов? Дело в том, что в 1850 году были настроены оптимистически все руководители итальянской демократии, а не только один Пизакане. Боевой дух, проявленный широкими массами в 1848 году, оказался для всех подлинным откровением, и, должно быть, прежде всего для тех демократов, которые в общем тщетно взывали к массам на протяжении стольких лет. Долгое время патриотическое движение в Италии ограничивалось борьбой и жертвами небольшой героической *элиты*. Но 1848 год показал, что народные массы наконец пришли в движение и что в Италии и Европе произошли глубокие изменения. Десятилетия ужасного прошлого, десятилетия гнета, реакции, террора, казалось, сгинули, и сгинули навсегда. Поэтому демократы, несмотря на поражение революции 1848—1849 годов (*и несмотря на* начавшуюся между ними полемику и взаимные обвинения), были настроены если и не радужно, то, во всяком случае, оптимистически, были полны надежд и совершенно не предполагали — даже самые опытные, самые проницательные среди них,— что в 1850 году происходил спад революционной волны. В 1850 и в течение всего 1851 года, вплоть до государственного переворота 2 декабря[1], все итальянские демократы, как ведущие деятели, так и рядовые, жили в нетерпеливом ожидании — кто в большей, кто в меньшей степени (как о том свидетельствует их переписка) — новой революции, нового 1848 года. Им казалось, что чудо должно повториться, что оно не может долее медлить, и они в нетерпении оглядывали горизонт: где поднимется новая революционная волна — во Франции или в Италии? Некоторые отчаянные попытки поднять восстание в эти годы (например, попытки Николо Гардзилли и Тайного комитета в Палермо) были вызваны широко распространенным тогда убеждением, что инициативы горстки людей окажется достаточно, чтобы по мановению руки возродить ситуацию, подобную той, которая создалась 12 января 1848 года. Только после государственного переворота Луи Бонапарта (и в еще большей степени после провала миланского восстания 6 февраля 1853 года) для всех становится очевидным, что наступил период оглива революции и возникла новая ситуация как на международной арене, так и в самой Италии,— ситуация, довольно трудная и сложная, не позволяющая надеяться на легкое повторение революции 1848 года.

В «Очерках» (написанных Пизакане в 1852—1856 годах) нашла отражение теория революции, сложившаяся в этой новой ситуации. Возможно, как мы увидим, претерпели известную эволюцию и сами взгляды Пизакане, его взгляды на то, как следует рассматривать и ставить главные проблемы революционной борьбы. Однако различие в тоне и формулировках «Войны в Италии» и «Очерков» обусловлено главным образом тем, что эти две работы явились плодом глубоко различных политических ситуаций.

Было бы неверно рассматривать доктрину Пизакане как нечто единое, всегда остающееся неизменным. Этого не было в действительности, и такой подход помешал бы пониманию взглядов Пизакане. Разумеется, через все его работы проходят некоторые главные нити, и все же в различные моменты Пизакане занимал весьма отличные позиции — и не только в практической, но и в теоретической области. Социалистическая теория, сформулированная в «Войне в Италии», не совпадает полностью с социалистической теорией, изложенной в «Очерках», и, как мы увидим ниже, в еще большей степени отличается от социалистических идей Пизакане, нашедших отражение в одной из его последних работ — «Основные принципы», где в концепцию революции внесены многочисленные и существенные изменения.

Если воззрения Пизакане изучать не в хронологической последовательности, без учета бурного развития тех лет, то понять его теоретические идеи и его политические позиции,

---

благоприятную для революции, чем во Франции; вот почему «Италия могла бы нарушить равновесие с бо́льшей легкостью» (op. cit.).

[1] Речь идет о государственном перевороте 2 декабря 1851 года во Франции, совершенном Луи Бонапартом.— *Прим. ред.*

как человека действия, чрезвычайно трудно, и это приводит в конечном счете к поверхностному и ошибочному заключению, что в Пизакане было всего понемногу: что он был аристократом и социалистом, кадровым офицером и демократом, сторонником экономического детерминизма и анархического волюнтаризма, другом и противником Мадзини и т. д. и т. п. Иначе говоря, в конечном счете принимают в большей или меньшей степени точку зрения Кроче и Омодео, видевших в Пизакане причудливую, сентиментальную, романтическую личность. Это — искажение истины, которого нужно тщательно избегать и которое тем не менее допускают даже почтенные ученые, хотя такая трактовка не соответствует фактам и обнаруживает свою несостоятельность перед лицом действительности, если взгляды и деятельность этого патриота проанализировать в свете быстрого развития событий и того тяжелого, мучительного кризиса, который переживала итальянская демократия. Рассмотренная с этой точки зрения, идейная эволюция Пизакане может иногда показаться противоречивой, но ни в коем случае — не необоснованной или произвольной.

К этому следует добавить, что невозможно выяснить мотивы политической ориентации Пизакане (как и Мадзини), оставляя без внимания идеологические предпосылки, определяющие эту ориентацию. Не следует преуменьшать того значения, которое для таких личностей, как Пизакане и Мадзини, имела их доктрина, их вера в новый мир (как бы различно они ни понимали его). Оба они были идеологами, теоретиками, и именно в их идеологии заключены те побудительные мотивы, которые толкали их к действию (к действию определенного типа) и которые в конце концов заставили их выступить единым фронтом.

*Именно в этом основной недостаток превосходной книги* Н. Росселли о Пизакане: Росселли не видит необходимости в глубоком и серьезном анализе идей этого патриота. Даже главная работа Пизакане — его «Очерки» — не становится объектом всестороннего и углубленного анализа Росселли. Он ограничивается общей характеристикой и некоторыми комментариями, полагаясь на интуицию, которая подчас ведет его по правильному пути; но этого явно недостаточно, чтобы выявить некоторые характерные черты этой сложной личности, которые в конечном счете остаются незамеченными Росселли. И не свидетельствует ли эта недооценка Пизакане как теоретика о том, что Росселли молчаливо склонялся к тем взглядам, которые мы выше подвергли критике?

Вернемся, однако, к тем различиям в выражениях, в политических формулировках, с которыми сталкиваешься при сравнении «Войны в Италии» и «Очерков». Как уже говорилось, это различие не означает, что в период «Очерков» Пизакане утратил веру в революционные способности масс. И в этой работе, и в «Основных принципах», и в «Завещании» Пизакане исполнен убеждения, что после 1848 года «моральная революция» уже осуществилась по крайней мере на Юге Италии, где глубже пропасть между неимущими низами и привилегированными сословиями. Однако вместе с тем Пизакане констатирует, что низы уже вышли из того состояния подъема, которым они были охвачены в 1848 году; произошли некоторые изменения, которые направили бурный, грозивший опрокинуть все на своем пути поток в его извечное, привычное русло. Именно признание этого нового положения породило в 1852—1855 годах полемику между так называемым «комитетом военных», к которому принадлежал Пизакане (в него входили также Медичи, Козенц, Медзакапо и др.), и Мадзини; аналогичными соображениями объясняется также осуждение Пизакане миланского восстания 6 февраля 1853 года.

В период 1852—1855 годов Пизакане переходит постепенно с политической платформы, сформулированной в «Войне в Италии», на новые позиции, обусловленные отнюдь не тем, что Пизакане стал склоняться (как полагал Росселли) к мадзинистской теории революции, а изменениями в обстановке, происшедшими в Италии. Чем дальше, тем больше революционеров, не желающих сидеть сложа руки, приходит к убеждению (которое в 1856 году определило действия Пизакане), что если кто-нибудь среди них не возьмет на себя инициативу, если не будут предприняты, пусть даже немногими, конкретные действия и не будет подан пример, то зряд ли сама по себе сложится ситуация, аналогичная ситуации 1848 года. Поэтому необходим толчок, необходима искра, которая разожжет пламя.

Поэтому тот чрезвычайно оптимистический дух революционного энтузиазма, который сквозит в «Войне в Италии», уступает в «Очерках» место если не пессимизму, то большей осторожности, а на страницах «Завещания» сменяется трагическими признаниями, в которых слышится глубокая горечь. Для «Войны в Италии», пронизанной духом народной революционной борьбы, совершенно немыслимо, например, восхваление изолированного выступления, акта героического отчаяния («сверкнувшего штыка Аджезилао Милано»[1]); равным обра-

[1] Аджезилао Милано — итальянский патриот, совершивший в 1856 году неудачное покушение на короля Неаполя. По приговору суда А. Милано был казнен — *Прим. ред.*

зом совершенно немыслимой и неожиданной, если исходить из духа этой книги, является экспедиция в Сапри. «Война в Италии» рисует народ, вышедший на политическую арену Италии и Европы, порвавший все путы, готовый ко всему, страстно стремящийся только к революции; поэтому партизанская война, «война отрядами» рассматривается как абсурд [1] а об актах индивидуального террора не может быть и речи.

Все партии — умеренные и республиканцы всех оттенков — оказались не на уровне революционного порыва народных масс, не смогли подняться до их «революционного пыла». Умеренные хотели бы установить в Италии вместо абсолютизма тиранию буржуазии, подобную той, которая существует во Франции или Англии. «Другую часть итальянской революционной партии— пишет Пизакане,— составляют республиканцы. Они говорят о неприятии формализма, но нападают на коммунизм, боятся назвать себя социалистами, проповедуя Евангелие; словом, они отрицают революцию и стремятся к ней. Каковы те реформы, которые они хотели бы осуществить? Они не знают сами и требуют, чтобы народ ради утверждения этого неизвестного будущего свершил революцию...» [2] Но нужно проводить различие между «восстаниями, организованными немногими, стремящимися поднять народ с целью завоевания такого строя, о котором они сами не имеют ясного представления», и народными «революциями», которые носят совсем иной характер, «они всегда пробуждают новые силы и рождают героев»; эти революции «никогда не бывают напрасны, каковы бы ни были совершенные ошибки» [3].

В общем главная мысль «Войны в Италии» такова: «народ движется вперед самостоятельно, он уже опередил партии» [4], и именно партии, руководители демократов и республиканцев, лишенные подлинно революционной «концепции», плетутся *в хвосте*. А поэтому, чтобы в Италии восторжествовала революция, нужно, прежде чем вступать в бой с вражескими полчищами, победить в одном предварительном сражении — в сражении не с иноземцами, абсолютизмом или умеренными, а *с несостоятельностью демократической партии в социально-политических вопросах*. «Война в Италии» содержит резкую и недвусмысленную критику Мадзини, Гарибальди, Манина, руководителей неаполитанской и сицилийской революции 1848 года. Не столь определенной и не столь заостренной против отдельных личностей (но, по существу, столь же резкой и затрагивавшей наиболее важные вопросы) была критика по адресу демократов — руководителей восстания 1848 года в Ломбардии и Каттанео — того самого Каттанео, который был рецензентом книги Пизакане; впрочем, это был человек высокого интеллекта, сознававший, что суд, который Пизакане учинил руководителям демократии 1848 года, носит политический, а не личный характер; поэтому он не был склонен обижаться.

Утверждение Росселли о том, что «Война в Италии» написана будто бы под влиянием Каттанео, представляется, таким образом, поверхностным и необоснованным. Влияние Каттанео можно было бы допустить в том случае, если бы Пизакане, критикуя Мадзини и Гарибальди, использовал бы те положения, которые выдвигал Каттанео, но он не прибегает к ним. Критика Пизакане носит совершенно иную направленность: он критикует демократическую партию в целом за то, что в 1848 году она не имела передовой социальной программы, и хотя формально острие этой критики направлено против Мадзини и Гарибальди, она затрагивает, конечно, и Каттанео. Более того, если исходить не из формальных признаков, а из существа дела, эта критика относится в полной мере именно к Каттанео, который в большей степени, чем кто-либо иной из руководителей демократии, противился тому, чтобы перед революцией были поставлены социалистические задачи; к Каттанео она относится даже в большей степени, чем к Мадзини, который, как бы ни оценивали его доктрину, отводил в ней доминирующее место «социальному вопросу».

Взгляды Пизакане и Каттанео совпадали по таким частным вопросам, как критика некоторых методов Мадзини, некоторых его централизаторских тенденций, его деистического пророчества, окрашенного в мистические тона идеализма, напыщенного и декламаторского стиля. Конечно, эти вопросы имели известное значение, однако они носили все же второстепенный характер по сравнению с теми важнейшими проблемами, которые были поставлены в «Войне в Италии».

Следовало бы, скорее, задать вопрос, не вынужден ли был сам Каттанео, либо уже зная о взглядах Пизакане, либо будучи принужденным к тому самим ходом вещей (и даже не прочтя еще рукописи «Война в Италии», которую он получил только 23 января 1851 года), прийти к критическому пересмотру своих позиций в революции 1848 года, следуя по пути, аналогичному пути Пизакане.

---

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 306.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 322.
[3] C. Pisacane, op. cit., p. 308.
[4] C. Pisacane, op. cit., p. 323.

В самом деле, 26 сентября 1850 года он писал Чернуски: «Революция является осуществлением идеи. Если нет идеи, не может быть и революции. У нашего народа была единственная идея: «Долой австрийцев!», и он осуществил то, о чем думал. После этого никто не смог пойти далее, ибо ни у кого, понимаешь, ни у кого, *включая и нас обоих,* не было никакой другой *идеи.* И в этом все мы были неправы. Нужно поэтому подумать о том, чтобы не совершить той же ошибки в другой раз» [1].

Как бы то ни было, тогда Каттанео и Пизакане сходились в том, что все без исключения руководители демократии не имели «идеи», «концепции». Эти руководители оказались, таким образом, во главе широкого революционного движения, не имея точного плана действий, не зная, куда вести восставшие массы (исключая, разумеется, лозунг «Долой австрийцев!»).

Но то, что для Пизакане было *критикой,* для Каттанео было *самокритикой* (Пизакане был военным руководителем на службе революции, а не политическим руководителем). Кроме того, Пизакане полагал, что «идеей», «концепцией» должен быть социализм, а Каттанео, конечно, не думал об этом.

Пизакане подвергает острому анализу восстания 1848 года в Италии и революционные действия, которые предшествовали им. «Все движения в Италии после 1815 года,— пишет он,— движения, носившие более или менее широкий характер, потерпели провал, ибо они были направлены против формы деспотизма, а не против него самого. Слово «демократия», к которому они прибегали, означало для них царство буржуазии, а последняя, хотя и была бесправна политически, господствовала в социальной области; следовательно, речь шла о компромиссе или о смене отдельных лиц. Но многочисленные тираны Италии, опекаемые Австрией, были слишком сильны, чтобы их можно было свергнуть с помощью движения, в которое не были бы вовлечены народные массы.

Таким образом, средний класс, который во Франции подавляет и унижает нацию, в Италии, напротив, принес благороднейшие жертвы» [2].

В этих строках верно схвачена классовая природа итальянской буржуазии, бывшей революционной в отличие от французской буржуазии (которая уже была у власти), но противившейся в силу своей классовой природы организации движения, «в которое были бы вовлечены народные массы».

[1] F. Della Peruta, op. cit., p. 426.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 9.

Пизакане считает «естественным, что итальянское движение было начато сицилийским народом, самым боевым в Италии, самым угнетенным и находящимся дальше всего от тех мест, откуда альбертисты, эти сторонники умеренных и паллиативных мер, распространяют свое влияние» [1]. Весьма примечательно замечание, что, в то время как в Неаполе дело ограничилось «безоружными демонстрациями», в Калабрии и Сицилии вспыхнуло движение, аналогичное тому, которое имело место в Чиленто: здесь начались восстания беднейшего крестьянства, которое и в Чиленто, и в Калабрии, и в Сицилии находилось в одинаковых социальных условиях. Сельские массы Юга пришли в движение, «и доктринеры в одно мгновенье оказались вопреки своим намерениям на том рубеже, какого они думали достигнуть после долгих блужданий и какой они оценивали как предел вольности, на который может претендовать народ» [2].

О движении в Ломбардии Пизакане высказывает взгляды, которые почти дословно совпадают с тем, что писал Каттанео в выше цитировавшемся нами послании к Чернуски: «Но материальной силы недостаточно для того, чтобы довести до конца революцию. Необходимо, чтобы существовала единая, направляющая концепция, которой не было у народа, ибо, освободившись от австрийцев, он не знал, что делать дальше. Народ не проявлял никакого интереса к будущему политическому и общественному устройству, поэтому его можно было легко обмануть и направить по неправильному пути...» [3].

По мнению Пизакане, сочетание революционной инициативы, подкрепленной «мощным порывом» народа, с выучкой и мобильностью регулярной армии — то есть армии Пьемонта — сделало бы революцию «непобедимой» [4], но Карл Альберт заботился прежде всего о защите «своего трона от народа» [5], заботился о том, чтобы «обуздать растущее волнение низов» [6]. Однако, обнаруживая широту взглядов, Пизакане видит тем не менее и положительную сторону этих событий: «Эти братания солдат и граждан, пьемонтцев и ломбардцев; зрелище этих солдат, которым всю жизнь внушали только одно: «Да здравствует король!» и которые стихийно восклицали «Да здравствует Италия!»; каски, поднятые на ост-

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 25.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 31.
[3] C. Pisacane, op. cit., p. 48.
[4] C. Pisacane, op. cit., p. 56.
[5] C. Pisacane, op. cit., p. 58.
[6] C. Pisacane, op. cit, p. 59.

рие штыков,— все это делало пьемонтскую армию прекрасной, блестящей, итальянской, и именно этому обязан был Карл Альберт первыми народными рукоплесканиями... Но при этом забывали, что у монархии в Италии нет подлинной славной традиции и что все — от поэзии до торговли — пришло в упадок под ее влиянием В течение 3000 лет клич «Да здравствует король!» срывался в Италии лишь с подкупленных уст; следовательно, немалое значение имел уже тот факт, что стали стихийно приветствовать короля Сардинии» [1]. Пизакане отмечает также чрезвычайно поверхностный, чуждый устремлениям народных масс характер революции 1848 года в Неаполе: «В Неаполе, как и повсюду в Италии, новый порядок вещей привел лишь к господству среднего класса; народ ничего или почти ничего не получил и ничего или почти ничего не понял, и проблема, которая ныне стала столь острой, совершенно не затронула интеллигенцию» [2]; напротив, движение в Чиленто, по его мнению, обнаружило силу сопротивления и боеспособность.

Описание Пизакане революции 1848 года в Сицилии точно соответствует фактам. Новое правительство, отмечает Пизакане, «было наименее революционным из всех итальянских правительств, возникших в результате восстания». В сицилиискоm парламенте были люди, которые с удовольствием восстановили бы феодализм. Как бы то ни было, «буржуазия организовалась в национальную гвардию, исключив из своих рядов плебеев...[3] А что же получили эти плебеи, которые совершили восстание и которым предстояло образовать армию и защитить своей грудью буржуазию? Свободу печати для тех, кто не умеет читать... И вот власть, вдохновляемая подобными антиреволюционными тенденциями и лишенная реальных сил, должна управлять довольно трудным народом, который, восстав, свергнул старую тиранию и дал волю страстям, кои, будь они направлены на достижение этой цели — радикальной социальной реформы,— могли бы спасти Сицилию...» [4]. Так «ударами штыка вновь загнан в свою хижину человек из народа, который завоевал свободу» [5]. В Риме, пишет далее Пизакане, где «клерикальная власть возбудила против себя невероятную ненависть... ни у народа, ни у людей, которые руководили им, не было правильных идей... Правительству следовало по крайней мере ликвидировать старые власти и позволить народу избрать в каждой провинции новых чиновников; однако в Риме восстание привело лишь к тому, что фанатичный священник был заменен достойными и известными гражданами, которые не только не содействовали развитию революции, но, напротив, препятствовали ей как только могли, превратившись в защитников католицизма, в инициаторов религиозных праздников. Влияние римского триумвирата покоилось на личном уважении, которое внушали к себе и заслужили его члены, однако порядок, твердость и радикальные реформы, которых требовал народ, так и не были осуществлены» [1].

Таким образом, если в Неаполе народные массы слабо участвовали в революции, то «в Риме и Венеции большинство народа рукоплескало, но не действовало» [2]; в Милане же и Палермо народ, напротив, был в первых рядах борьбы, но в Милане никто не указал ему цели, которой следует добиваться, а в Палермо правительство, возникшее в результате революции, сделало все, чтобы оттолкнуть от нее народ. В Милане, пишет Пизакане, «республиканская партия могла бы поднять знамя, но ее не существовало; те, кто придерживался подобных взглядов, не искали себе сторонников среди народа отчасти потому, что не надеялись найти их, а отчасти потому, что сами, пребывая в заблуждении, поддались соблазну компромиссной сделки в виде общенациональной партии, или итальянской ассоциации, которая хотела пожертвовать свободой ради независимости и единства... Отсутствовала движущая сила (концепция), и народ остался без руководства. У него была только одна-единственная цель — изгнание австрийцев. Регулярная армия была побеждена, как же надеялись победить с помощью народа? Лишь материальные интересы могли бы бросить его в бой, даже без руководителей; факты — вот единственное, что могло бы его убедить в своих силах; но в чем состояли эти интересы? Кто бы ни стоял во главе правительства — король, президент, триумвират,— народ по-прежнему будет пребывать в рабстве, если не изменить социальной конституции» [3]. О каком уж тут влиянии Каттанео может идти речь!

Итак, к каким политическим выводам приходит Пизакане в «Войне в Италии»? Средства, которыми обладают правительства, таковы: «сила, подкуп и наука, то есть армия, ору-

---

1 C. Pisacane, op. cit., p. 59.
2 C. Pisacane, op. cit., p. 98.
3 C. Pisacane, op. cit., p. 211.
4 C. Pisacane, op cit., p. 212.
5 C. Pisacane, op. cit.

1 C. Pisacane, op. cit , p. 279—280.
2 C. Pisacane, op. cit , p. 299.
3 C. Pisacane, op. cit., p. 311—312.

дия труда и образование. К какой цели будет стремиться будущая революция? К демократизации этих сил. Военное искусство должно перестать быть монополией немногих — необходимо вооружить всю нацию; орудия труда должны стать общими; образование — универсальным, всеобщим, бесплатным, обязательным. Пусть все системы, разработанные до сих пор выдающимися умами, называют утопическими — это нисколько не меняет дела. Программа будущей революции четко сформулирована. У бесчисленных легионов народа не может быть иного знамени, кроме этого. Эти идеи будут осуществлены в вихре самой революции. Революционная партия отрицает эти истины; и после долгих лет пропаганды, после многих бесполезных попыток поднять восстание,— попыток, стоивших крови многих жертв, после быстрого всеобщего и победоносного итальянского восстания, после утверждения республик в Риме и Венеции все еще не существует идеи, все еще нельзя назвать дел или декрета, которые бы предвещали будущую судьбу Италии, которые бы выражали принцип; если бы судьбы нации зависели от вдохновения подобных индивидуумов, Италия, отставшая на полвека, вынуждена была бы познать социализм в результате европейской революции, так же как она познала революцию 1789 года. Но народ движется вперед самостоятельно, он уже опередил партии. Корабль летит на всех парусах, в то время как люди, мнящие себя его кормчими, следуют за ним не спеша, на утлой лодчонке» [1].

«Массы,— продолжает далее Пизакане,— приближаются к овладению истиной тем быстрее, чем больше такое движение обусловлено их страданиями. Нельзя сказать, однако, что в Италии существует социалистическая партия, готовая действовать в этом духе. Но зародыш ее уже существует» [2]. Таким образом, речь идет о том, чтобы превратить этот «зародыш» в функционирующий организм, в социалистическую партию — руководителя революции. Но кто бы мог образовать эту партию в 1851—1852 годах? Эмиграция была разобщена территориально и, главное, политически, расколота на многочисленные группы, находившиеся в трудных материальных и моральных условиях и постоянно менявшие свое местонахождение. Авторитет самого Мадзини, еще несколько лет назад признававшийся почти безоговорочно, был теперь сильно поколеблен. С другой стороны, каков был политический вес отколовшихся от мадзинизма? Объединяла ли их определенная платформа?

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 322—323.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 324.

Наиболее авторитетной и яркой личностью среди них был Каттанео. Но среди демократов он был наиболее далек от социализма; более того, его социальные воззрения с точки зрения демократии носили наиболее умеренный, ограниченный характер. В политическом плане это был демократ и убежденный федералист, но в социально-экономических вопросах он склонялся к либеральным доктринам и доктринам свободной торговли. Конечно, он был связан с демократами в силу традиции, своего идейного формирования, вследствие враждебного отношения к реакционному бюрократическому централизму пьемонтской монархии и симпатии к демократическому федерализму швейцарского и американского типа, в силу своих позитивистских воззрений, своего великодушного и благородного характера, а также дружеских уз, которым он никогда не изменял. Но социалистическая партия никогда бы не могла рассчитывать на него. Впрочем, он намеревался всецело отдаться научным занятиям и отказывался принять на себя политические обязательства.

Макки, Чернуски были людьми более передовых социальных взглядов, но и они склонялись в общем к позициям Каттанео. Феррари, который был одним из тех, кто больше всех ратовал за создание третьей партии, не принадлежал к людям действия; доктринер, глубоко связанный с французской действительностью, он отстаивал французскую инициативу, доказывая невозможность самостоятельных выступлений итальянского революционного движения, а в социальном отношении занимал значительно более ограниченные позиции, чем это можно было судить по его фразам.

Монтанелли, как и Феррари, был сторонником гегемонии Франции. И вскоре стал даже склоняться к мюратизму. Остальные (Пизакане, Де Бони и немногие другие) не обладали необходимыми возможностями и авторитетом для создания партии. Не следует забывать, впрочем, что, несмотря на твердый и уверенный тон, в котором выдержана «Война в Италии», социализм Пизакане — и более того, даже его демократизм — носили еще незрелый, интуитивный характер; хотя они были давно и глубоко прочувствованы Пизакане, но не были должным образом осмыслены и разработаны.

Сама дата завершения «Войны в Италии» (осень 1850 года) не должна рассматриваться как окончательная дата сформирования социалистических убеждений Пизакане. Из его переписки (прежде всего из знаменитого письма к Далль'Онгаро) ясно вытекает, что даже в 1850 году он ушел еще не так далеко в изучении работ социалистов. Пизакане

был энтузиастом, решительно вставшим на социалистические позиции, но его энтузиазм был энтузиазмом неофита. Он стал социалистом совсем недавно, если счел необходимым заявить в письме к Каттанео от 22 мая 1851 года, «что полностью разделяет убеждение Феррари, согласно которому Италия может найти спасение не иначе, как в *социализме*» [1]. Но каким образом социализм мог бы спасти Италию? Имел ли в виду Пизакане новую партию? По существу, он ставил вопрос еще очень туманно и неуверенно: «Я полагаю, что если бы была создана социалистическая партия, Италии не пришлось бы подчиняться военной диктатуре Франции и, возможно, удалось бы даже взять инициативу в свои руки» [2]. В октябре 1851 года Пизакане все еще изучал «с большим усердием» сочинения социалистов, и, как он писал, «еще не было видно конца» [3].

1851—1852 годы были в известном смысле кульминационным периодом в идейном формировании Пизакане. Мадзини, обнаружив зарождение итальянского социализма, проявлявшего тенденцию к созданию новой партии, яростно атаковал эти первые проявления политики, отличной от его собственной и грозившей стать противовесом ей, стараясь снова перетянуть представителей левого демократического крыла, на которое Пизакане мог бы оказывать влияние, на свою сторону. В ответ на атаки Мадзини Пизакане стремился лучше овладеть теорией, более глубоко изучить социалистические доктрины. Это ощущается и в его письме к Далль'Онгаро от октября 1851 года: «Я получил последнее воззвание комитета [мадзинистского.— *Д.Б.*] Если хочешь знать мое мнение, то оно заслуживает осуждения в одном пункте — в том, что касается религии: зачем говорить о ней, зачем постоянно впадать в мистику? Призыв же к *более справедливым отношениям между крестьянином и землевладельцем, между капиталистом и рабочим* означает одно из двух — или П. [Дж. Мадзини.— *Д.Б.*] считает возможным разрешить социальную проблему, не ликвидируя собственность,— и в таком случае он недостаточно глубоко изучил современное общество, или П. говорит так, чтобы не отпугнуть землевладельцев,— и тогда он *фальшивит*, что недостойно революционера. Остальное — превосходно, и, заглядывая вперед, я уверяю тебя, что для достижения того, чего хочет П., нет среднего пути; орудия труда должны стать общими. К чему этот страх говорить открыто, почему не вести среди масс пропаганду в этом духе, которая не составляет никакого труда?» [1]

Но чем более Пизакане настаивал на этом, тем более яростно нападал Мадзини на тех, кто намеревался идти по такому пути. Более всего раздражал Мадзини не столько материализм Пизакане, рассматривавшего религию в качестве «первой опоры деспотов», не столько его идея о том, что революция, дабы стать подлинно демократической, должна быть одновременно национальной и социальной,— идея, которая не помешала им достичь соглашения в 1857 году, сколько открытое осуждение со стороны Пизакане *обеих* партий, на которые делилось тогда итальянское патриотическое движение,— *умеренных* и *республиканцев*, осуждение, которое таило в себе признание глубокого раскола в среде республиканской партии и необходимости создания новой, социалистической партии. Более всего вызывал негодование Мадзини отказ Пизакане признать за республиканской партией характер революционной партии.

В «Войне в Италии» Пизакане пишет, что, с его точки зрения, низвергнуть правительство «не такое трудное дело — для этого достаточно накопившегося против него гнева». Но «что нас ожидает в будущем? Мы пойдем в таком случае прямой дорогой к единству и к разложению, которое имеет место во Франции и Англии. Если не реформировать общество, правительство никогда не будет выражать чаяния итальянского народа — оно будет выражать интересы тех немногих, кто держит его в своих руках. Богатство, увеличившееся со свободой и сконцентрировавшееся в руках немногих, разрушит честность и достоинство, которыми мы гордимся, и в Италии появятся свои Фаллу, Тьеры, Леоны Фоше, Монталамберы и т. д. Какая радость — принадлежать к подобной нации? Не лучше ли похваляться сковавшими нас цепями, чем золотом, которое нас развращает? К чему столько усилий, чтобы подготовить такое печальное будущее?» [2]

Общий вывод Пизакане сводится к следующему: «буржуазия в Италии владеет землями, капиталами, ей принадлежит монополия в торговле, в науках, в промышленности и на государственные должности; она правит в Италии, как и в Америке, Англии и Франции; ей не хватает только некоторых вольностей, которыми она пользуется в других государствах...» [3] Но имеет ли смысл совершать революцию только ради дости-

[1] C. Pisacane, Epistolario, p. 120.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 120—121.
[3] E. Del Cerro, Tra le quinte della storia, Torino, 1903, p. 209.

[1] E. Del Cerro, op. cit.
[2] C. Pisacane, Guerra combattuta, p. 319—320.
[3] C. Pisacane, op. cit., p. 318.

жения этих вольностей? Скорее, необходимо сражаться за то, чтобы национальное единство привело бы также к глубокому преобразованию общества. Разве не так? Но именно для достижения этой цели необходимо создать в Италии революционную партию, а в Италии «не существует партии, которая вправе была бы называться революционной». Такой партией нельзя, конечно, считать умеренных, чья цель состоит, по существу, в том, чтобы посредством национального единства сделать более органическим и полным господство буржуазии. Такой партией нельзя считать и республиканцев (в 1850 году Пизакане, как мы уже указывали, рассматривал их всех вместе — и *федералистов* и *унитариев*) Следовательно, необходима новая партия, но на какой базе организовать ее?

15 декабря 1851 года Пизакане писал Каттанео: «Мы приближаемся к единственно справедливой и надежной форме правления — к анархии Прудона... Мне бы очень хотелось знать, что вы думаете о ней и что думает об этом Феррари» [1]. Можно себе представить, каково было Каттанео слышать об анархии! Конечно, Каттанео был согласен с Пизакане, когда несколькими месяцами ранее последний писал ему, что «среди мыслящих людей престиж Мадзини совершенно пал», и когда он насмехался над «вдохновенным» и «пророком». Но от Прудона и от анархистского социализма Каттанео был несравненно дальше, чем от Мадзини. Поэтому сближение Пизакане и Каттанео было чисто поверхностным, обусловленным неприятием ими некоторых методов, некоторых положений Мадзини, но оно ни в коем случае не могло привести к идеологическому или политическому согласию и тем более к единству взглядов на конкретные действия

Среди всех руководителей итальянской демократии эпохи Рисорджименто Каттанео был человеком, с которым Пизакане менее всего мог прийти к соглашению — если только речь идет о существе дела, а не о личной симпатии, которая, несомненно, между ними существовала,— ибо Каттанео был глубоко чужд заговорам, восстаниям, насильственным переворотам Даже Романьози, целиком ушедший в свои научные занятия, участвовал в заговоре, был карбонарием, Каттанео же всегда отказывался от участия в каком бы то ни было подпольном движении и решительно восставал именно в своей переписке с Пизакане (4 августа 1852 года) против «глупой и мерзкой доктрины мученичества».

[1] C Pisacane, Epistolario, p. 134

В Милане во время «Пяти дней» Чернуски и Бертани насильно привлекли Каттанео к политическому руководству восстанием (тем, кто был озабочен нежеланием и противодействием Каттанео, Бертани отвечал «это неважно, Каттанео придет в решающий момент»); но Каттанео по своему темпераменту, по своим убеждениям был знаменосцем ломбардских демократов, поборников реформ. Тот факт, что расхождение с Мадзини и резкое столкновение с Гарибальди толкнули Пизакане к Каттанео, вполне понятен Но к каким политическим результатам могла бы привести их дружеская переписка? Могли ли они прийти к согласованной политической линии? Стержнем революционной теории Пизакане была идея народного, крестьянского восстания, которое должно начаться благодаря смелой инициативе небольшой группы лиц. Каттанео же был человеком, который в июле 1860 года в ответ на слова Криспи, говорившего ему о перераспределении земель в пользу крестьян, сказал: «раздать землю без капитала — это все равно что дать бутылку без вина Нужно передать землю тем, у кого есть деньги» [1].

[1] См L Cafagna, Agricoltura e accumulazione negli scritti economici di Cattaneo, в «Società», 1956, anno XII, p 623—648 Кафанья замечает, что «экономический прогресс заключался для Каттанео в своего рода «супружеском союзе» капитала, образовавшегося в торговле, с сельским хозяйством», и справедливо указывает, что «эта программа развития» предполагает законодательные меры, направленные «на освобождение земли и всякого богатства от каких бы то ни было пут», борьбу против несовершенных форм собственности Следовательно, здесь Кафанья цитирует Каттанео «абсолютная форма собственности, предполагающая наличие огромных капиталов и предпринимательский дух, который мы замечаем в людях, недавно обогатившихся, является самым желательным условием, ибо это дает возможность земле проявить все свое плодородие» Следовательно, Каттанео был решительным противником не только всякой идеи *аграрного закона,* но и всякого ограничения собственности на землю и полагал (в связи с тем весьма ограниченным интересом, который он проявлял к социальному вопросу), что нищенские условия сельских масс могут быть улучшены не с помощью неосуществимых аграрных законов, ни тем более с помощью социалистических или коммунистических преобразований в сельском хозяйстве, но исключительно в результате проникновения капитала в деревню Экономические воззрения Каттанео, представлявшие, несомненно, основу его доктрины, резко расходились с экономическими взглядами не только Пизакане, но также Мадзини и Феррари, чья аграрная программа (в той мере, в какой удается освободить ее от туманных построений и сформулировать в четких экономических терминах) сводилась к своего рода перераспределению богатств, что привело бы к утверждению царства мелкой или мелкой и средней собственности в сельском хозяйстве и промышленности Но, как справедливо замечает Кафанья, «Каттанео не являлся поборником мелкой собственности или мелкого производства Накопление капитала в сельском хозяйстве, развитие расширенного воспроизводства в земледелии были для

Конечно, Каттанео был борцом за свободу, так же как остальные демократы, но он полагал, что если свобода мысли является основой всякой свободы, то свобода торговли имеет не менее важное значение и даже является «необходимой опорой». Философско-экономические идеи своего учителя Романьози Каттанео развивал не в социалистическом, а в буржуазно-реформаторском направлении. Для всех других итальянских демократов (признавали они или нет классовую борьбу, склоняясь, скорее всего, к утопическим идеям ассоциации в сен-симонистском или прудонистском духе) классы тем не менее были реальностью: реальностью был пролетариат с его нищетой, его непримиримое экономическое противоречие с капитализмом, реальностью была нищета и земельный голод крестьян, их ожесточенность и даже одичание и их инстинктивное стремление к восстанию. Но Каттанео растворял подчиненные классы в четвертом, пятом и шестом сословиях, а затем все сплавлял в социальном и социологическом синтезе, охватывавшем общество целиком, в котором все должно было опираться на «естественные процессы социального развития», дабы избежать «конфликтов, порождающих нищету, преступления и насилие». Впрочем, сам Каттанео первый соглашался с тем, что он не является человеком действия, и говорил о своем «отвращении» к «ненавистной политике». Он видел свое призвание в занятиях наукой, а не политикой и менее всего — в заговорах и восстаниях. Что касается национального единства и его социальной базы, то он рассматривал их по-иному, чем другие демократы. Он видел прогрессивную силу прежде всего в современной промышленной буржуазии и выступал против централизованного единства, поскольку, писал он, «централизованное единство носит якобинский характер, а полицентрическое единство, то есть гармония между множественностью и единичным, носит характер жирондистский». Каттанео отстаивал именно эту жирондистскую форму государственного устройства, его идеалом государства были Швейцария и Соединенные Штаты; он хотел видеть Европу «целиком походящей на Швейцарию, целиком походящей на Америку». Он отказывался даже отнести к североамериканской демократии резкую критику Конфалоньери, который отмечал, что в этой стране избирательное право не является всеобщим, а демократия весьма далека от идеала. Для Каттанео «гармоническое сочетание единства и свободы может быть достигнуто только по способу Швейцарии и Соединенных Штатов». Федералистский принцип, доминировавший над всеми остальными соображениями, мешал Каттанео констатировать то, что было ясно даже заурядному человеку: наемные швейцарские войска были и все еще оставались в Италии прочной военной опорой абсолютизма. Может быть, Каттанео не знал, что именно против швейцарских капиталистов — владельцев всех прядилен в районе Салерно было направлено восстание рабочих и что на подавление этого восстания и бунта голодных крестьян в Чиленто были брошены именно наемные швейцарские войска?

Следовательно, на деле Пизакане был более близок к Мадзини, Фабрици, Куадрио, Пило, к любому другому демократу, готовому к действию и убежденному в существовании «социального вопроса», чем к Каттанео. Вот почему во всех сочинениях Пизакане скрыто ведется острая полемика против тех доктрин, которые отстаивал Каттанео. Буржуазную демократию, которую превозносил Каттанео, Пизакане рассматривал как зло, еще худшее, чем абсолютизм. Он восхищался ученостью и эрудицией Каттанео, уважал его как человека и ученого, непосредственного ученика великого Романьози, и это ощущается в его переписке с миланским демократом. Но в остальном переписка между Пизакане и Каттанео скорее является монологом, чем диалогом. Каттанео повторял, что он не видит в Италии какой-либо революционной идеи или концепции, а Пизакане упорствовал в своей вере в то, что выступления плебса являются «элементом, который может с минуты на минуту принять громадные размеры»[1]. По-человечески можно понять, что, порвав с Мадзини и Гарибальди, Пизакане начал этот диалог с Каттанео. Но к чему он мог привести? И сколько он мог продолжаться?

Отношения Пизакане с итальянскими демократами были с самого начала очень нелегкими. Он пришел в резкое столкновение с Мадзини, с Гарибальди и с многими из окружавших их людей, о которых отозвался в своей книге с высокомерным презрением. Это вызвало возмущение демократов, которые — впрочем, справедливо — видели в Пизакане одного из тех, кто позже всех примкнул к республиканско-демократическому фронту и одним из последних (среди выдающихся деятелей) встал в ряды патриотов, столько лет боровшихся и страдавших за итальянскую свободу. Суждения, высказанные Пизакане в этой книге, известны. Гарибальди — конечно, человек исключительной храбрости, бескорыстный, великодуш-

него связаны с крупным хозяйством», то есть, разумеется, с крупным капиталистическим хозяйством.

[1] Письмо к Каттанео от 31 июля 1851 года (C Pisacane, op. cit., p. 129).

ный, но он не только лишен «способностей и подготовки, необходимых для генерала», но даже «способностей партизана» [1]; это «человек, который ничего не смыслит в военном искусстве», чей отряд мог бы быть обращен в бегство «кавалерийским взводом». Что касается гарибальдийских офицеров, то это «итальянцы по духу, но люди не слишком большого ума». Его отношения с Гарибальди были напряженными, но «особенно трудными», как он вынужден признать, были «контакты с некоторыми из его приближенных» [2]. Гарибальди (в характерной для него манере) потребовал предоставления ему диктаторских полномочий, заявив, что в противном случае он готов быть простым бойцом,— Пизакане без всякого колебания заявляет (и не в случайной записке, не в наспех написанном письме, но в той самой книге, которую он, разумеется, обдумал, перечитал и исправил), что в случае установления гарибальдийской демократической диктатуры Италия стала бы республикой, управляемой по образцу «диктаторских правительств Росаса и Орибе» (правительства военной хунты в Южной Америке); тогда, по мнению Пизакане, было бы «лучше удовольствоваться настоящим» [3]. Это *настоящее* летом и осенью 1850 года, когда Пизакане писал свою книгу, было представлено самыми худшими из возможных правительств: за исключением Пьемонта, в Италии господствовали иностранные захватчики и бурбонские и абсолютистские правительства. И гарибальдийская народная демократия, народная диктатура была бы хуже этих правительств? В 1850 году Пизакане придерживался подобного мнения. Было ли это следствием полемического преувеличения? Как бы то ни было, эта позиция Пизакане глубоко задела Гарибальди и гарибальдийцев и показалась в высшей степени абсурдной.

Даже допуская, что в 1849 году Гарибальди был не таким, каким он стал в 1859—1860 годах, даже признавая, что его легионеры были еще в значительной степени во власти южноамериканских привычек, позиция Пиказане в политическом отношении неоправданна. Спустя несколько лет некоторые из его критических замечаний были повторены в «Очерках», но в более мягкой форме, с большей сдержанностью и объективностью. И в самом деле, после экспедиции в Сапри, после героической гибели Пизакане эти критические замечания в «Очерках» получили иное звучание. Напротив, вполне понятно, как и почему его беспощадная критика в 1850 году вызвала раздражение и возмущение у многих и была расценена как претенциозная и сумасбродная. Однако (если отвлечься от парадоксальной, преувеличенной формы, подчас свойственной Пизакане) следует сказать, что даже эта критика не была лишена смысла.

Несправедливой и парадоксальной была, несомненно, отрицательная оценка Гарибальди и народного и революционного содержания гарибальдийской демократии. Часто Пизакане именно таков: его критика не знает границ, становится полным отрицанием, превращается в политический и социальный экстремизм. Но если внимательно разобраться в этой критике, в существе его неприятия гарибальдийского «легиона» и «волонтерства», то у Пизакане (если рассматривать его в данном случае не как начальника генерального штаба Римской республики, а как социалиста, автора «Войны в Италии» и «Очерков») обнаруживается не всегда ясно выраженная, но достаточно обоснованная идея.

По существу, Пизакане был принципиальным противником идеи «легиона» и «волонтерства», ибо в военном и политическом отношении «волонтерство» означало, что революционная партия не в состоянии сама полностью разрешить военные проблемы революции, не в состоянии сама создать национально-революционную армию со своим, как выражался Пизакане, «военным статутом» (которому он придавал огромное значение), то есть не в состоянии создать национальную революционную армию таким образом, как это сделали, например, якобинцы во время Французской революции. «Волонтерство» носило совсем иной характер, ибо означало, что военные меры демократов рассматриваются как «вспомогательные» в отношении регулярной армии, то есть армии монархического Пьемонта; означало подчинение деятельности демократической партии руководству умеренных. Настойчивое внимание Пизакане к внутренней связи, объединявшей социально-политическую проблему с военной, объяснялось не столько тем, что, как профессиональный военный, он проявлял особый интерес к этой проблеме, сколько тем, что в конкретных условиях Италии (оккупированной сильной иностранной армией) революция, по мнению Пизакане, не смогла бы обрести глубокий и независимый характер без широкого и революционного разрешения военной проблемы. Хотя его суждения о Гарибальди были несправедливы и чрезмерно резки, однако критика, которой он подверг саму идею гарибальдийского легиона и «волонтерства», обнаруживала глубокую политическую проницательность.

[1] C. Pisacane, Guerra combattuta, p. 144.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 273.
[3] C. Pisacane, op. cit, p. 272.

В «Войне в Италии» впервые в туманной форме намечено также то, что мы назвали бы завуалированной утопией Пизакане, ибо Пизакане был, без сомнения, творцом утопической системы, хотя и стыдился этого. Конечно, вторая половина XIX века была уже неподходящим временем для утопических систем, и утопические взгляды Пизакане резко отличались от утопического социализма начала XIX века, с которым, однако, он был связан, так же как и с естественно-правовыми теориями XVIII века. С этой точки зрения его социализм носит менее современный характер, чем это можно было ожидать, судя по формулировкам, которые скрупулезно цитируются; именно его утопия обусловила историческую ограниченность социализма Пизакане.

Перечитаем «Войну в Италии»: после утверждения, что буржуазные революции (английская, американская, французская) установили новую тиранию вместо прежней, поскольку тиранией стали буржуазная свобода и свобода конкуренции, Пизакане говорит, что «средний класс, обладающий огромными средствами и людьми высокого ума, угнетает народ, лишенный всего»; но, продолжает он, «новая эпоха, к которой мы приближаемся гигантскими шагами, сведет громадную и прогнившую машину управления к ее самому простому выражению; народ больше не будет передоверять ни своей власти, ни своей воли; назначение гения — послужить народу своими прозрениями, а единственной наградой ему будет лишь признание его идей» [1].

Здесь мне представляется необходимым остановиться и попросить читателя напрячь свое внимание. Что означает утверждение, что в новую эпоху, к которой мы приближаемся, «громадная и прогнившая машина управления» будет сведена «к ее самому простому выражению»? Что означает утверждение: «народ не будет больше передоверять ни своей власти, ни своей воли», и особенно утверждение, что «назначение гения — послужить народу своими прозрениями, а единственной наградой ему будет лишь признание его идей»?

Мы подошли к ключевому положению теории революции, сформулированной Пизакане в 1850 году. Он всегда проявлял некоторую сдержанность, избегая высказывать его в четкой и ясной форме. Пизакане вновь и вновь возвращается к этому вопросу, но всегда говорит о нем туманно, недостаточно определенно. На той же самой странице, где он осуждает культы индивидуумов, народы, которые доверяют отдельным личностям, а также диктаторские правительства, даже если они носят народный и якобинский характер, Пизакане высказывает следующее странное утверждение: «Не может случиться, что сам народ передаст всю полноту власти одному человеку для осуществления идеи; но идеи, изложенной перед всеми людьми и принятой ими» [1]. Какова же эта идея? И почему народ должен передать эти полномочия, даже «всю полноту власти» именно *одному* человеку, если Пизакане сам в «Войне в Италии» и в «Очерках» настойчиво повторяет, что «народ не будет передоверять ни своей власти, ни своей воли» не только *одному* человеку, но даже депутатам конвента или парламента, которых избиратели будут иметь право в любой момент лишить мандата? Или в данном случае речь идет об исключительных полномочиях? Как мы увидим ниже, дело обстоит именно так.

Пизакане стыдился своей утопии и в ключевой, XI главе третьего «Очерка», в которой он провозглашает «принципы общественного договора» — своего утопического договора, — он возвращается к этому вопросу, утверждая, что общественный договор должен быть составлен «одним-единственным человеком», не уточняя, однако, когда и как это должно произойти. Теоретическая разработка всего комплекса принципов носит в «Очерках» достаточно детальный характер, но практическо-утопические меры, с помощью которых «договор» должен быть преобразован в вечный и неизменный закон социализма, все еще не намечены. Однако эта утопическая конструкция имеет важнейшее значение для понимания социальной доктрины Пизакане. Она была намечена в 1850 году, обрела более четкую форму в 1854—1855 годах, когда Пизакане завершил свой третий «Очерк», и получила вполне конкретное выражение в рукописи, найденной недавно в Генуе, в «Основных принципах нового общественного договора» [2].

Что эта идея родилась у Пизакане уже в 1850 году, подтверждают только что приведенные цитаты, но с годами он должен был еще более уверовать в эту идею и стал придавать ей все большее значение, по мере того как приходил к выводу, что революция 1848 года, конечно, была благоприятным фактором, но таким фактором, который неизвестно когда снова повторится; и особенно по мере того, как в нем крепло убеждение, что если народ созрел для восстания, то он тем не менее еще не созрел для самоуправления. В «Очерках» это убеж-

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 280.

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 272.

[2] G. Falco, Un autografo di Carlo Pisacane, в „Miscellanea di storia ligure", 1958, p. 481 sgg.

дение проявится в четкой и категорической форме. Следовательно, необходимо было изобрести *систему,* которая сделала бы возможным совершение революции на основе насущных материальных нужд и интересов народных масс, но которая, после того как революция совершена, помогла бы сохранить силу и неприкосновенность Закона социализма, сделав его неуязвимым для отсталости, косности, которую все еще мог обнаружить плебс, неуязвимым для колебаний, которым подвержено поведение низов. Конечно, в 1848 году плебейские массы проявили себя как *народ,* но, поскольку значительная часть их была темной, необразованной, эти массы все же еще оставались в большой степени «плебсом», «тупым плебсом», «темными массами», неспособными видеть дальше своей непосредственной выгоды и которым, следовательно, нельзя было доверить судьбы нового общества.

Могут сказать, что существует глубокое противоречие между подобным утверждением и основным тезисом, который Пизакане проводит в «Войне в Италии» (а именно: народ опережает руководителей демократии и в большей степени, чем они, в состоянии бороться за собственные материальные интересы, за глубокие радикальные преобразования).

На самом деле противоречие и существует и не существует. Глубокое и явное противоречие существовало бы, если бы пропаганда социализма уже сделала огромные успехи среди низов, если бы массы были уже просвещены, если бы социалистическая партия уже стала фактом и превратилась бы в руководителя народных масс в революционной борьбе. В таком случае не было бы, конечно, необходимости изыскивать меры, гарантирующие социалистический характер национальной революции, не было бы необходимости в сложном утопическом механизме, который Пизакане изобрел, дабы направить Рисорджименто по социалистическому пути, несмотря на все трудности. Но в той ситуации, которая стала вырисовываться начиная с государственного переворота 2 декабря 1851 года,— ситуации, все более неблагоприятной для радикальной партии ввиду явного спада революции (что лишний раз подтвердили трагические события 6 февраля 1853 года), когда возможность организации социалистической партии исчезла, а социалистическая пропаганда среди плебейских масс, находившихся под влиянием абсолютизма, была совершенно ничтожной,— в подобной ситуации система, которую Пизакане изобрел, чтобы привести национальную революцию к социалистической цели, его утопия — ибо иначе ее и нельзя назвать — не противоречила тому, что он утверждал ранее. Мы отложим пока последовательное изложение «Очерков» и займемся рассмотрением этого важнейшего вопроса.

Итак, Пизакане принимал избирательную систему лишь при условии признания непосредственного права отзыва со стороны избирателей. В другом месте он указывает, по каким причинам нельзя питать безграничной веры во всеобщее избирательное право. Согласно Пизакане, нельзя прийти к демократии, а тем более к социализму, лишь с помощью избирательной системы. Равным образом — об этом мы уже хорошо знаем — он отвергает любую форму диктатуры. Каким же образом в таком случае будет установлено новое общество? К нему придут с помощью «общественного договора», не подлежащего никакому обсуждению, никакому исправлению и который не подвластен какой бы то ни было ассамблее, а в известном смысле даже самому народу. Общественный договор должен быть написан «гением», назначение которого «послужить народу своими прозрениями, а единственной наградой ему будет лишь признание его идей». Именно с помощью общественного договора народ сможет вернуться к *законам природы,* то есть к строю, основанному на равенстве и свободе. Этот общественный договор для Пизакане подобен святым, нетленным мощам: народ может лишь признать или отвергнуть его, но он не может улучшить или изменить его, и притом *никогда.* Интересно отметить, что эта идея впервые была высказана уже в 1850 году в «Войне в Италии» и стала с тех пор путеводной звездой политической и социальной системы Пизакане, его теории революции. Он уточнит эту идею, сделает ее более четкой, но никогда не откажется от нее и в конце концов в своей работе «Основные принципы нового общественного договора — Временная конституция Италии» сформулирует ее в наиболее ясной и четкой форме.

В этой связи невольно возникает вопрос: почему же тогда Пизакане осуждал Гарибальди, а также Мадзини за «культ индивидуума»? Почему он даже говорил о «низменных и опасных культах индивидуума»? Может быть, он не считал Гарибальди и Мадзини гениями, не признавал в каждом из них нового Моисея, призванного даровать народу скрижали с законом социализма?

Необходимо подчеркнуть следующее: было бы ошибкой предполагать, что за этим анализом скрываются недоброжелательность или низкие чувства. Пизакане никогда не относился к числу тех людей, для которых имеет значение лишь собственное Я, которых сжигает непомерное честолюбие и которые подчиняют все достижению собственного успеха, удачи.

Пизакане был совсем иным человеком. Ему была присуща глубокая непосредственность и прямота, вытекавшие из самого существа его натуры, безграничная искренность, глубокое и острое чувство природы и общества в духе Руссо и ранних социалистов-утопистов; Пизакане был поистине одной из самых романтических и поэтических фигур итальянского Рисорджименто. Он мог впадать в противоречия, и порой с ним действительно случалось это, но никогда не был неискренним — ни с самим собой, ни с кем-либо другим [1]. Предположение, высказанное Альдо Романо, будто в известный момент Пизакане вел «двойную игру» с Мадзини и Каттанео, следует поэтому решительно отвергнуть, о чем правильно говорит Делла Перута [2]. Пизакане был человеком, не способным вести «двойную игру», патриотом с чистой душой, непоколебимым и честным революционером. Мы уже говорили о причинах, обусловливавших его согласие и расхождение во взглядах с Каттанео; далее мы укажем, в чем совпадали и в чем расходились его взгляды со взглядами Мадзини. Во всяком случае, и Мадзини, и Каттанео были людьми, которых Пизакане глубоко уважал: это был мир патриотов, мыслителей, борцов, в котором возможны были разногласия, разрыв, и даже резкий, но совершенно немыслима была «двойная игра» с чьей бы то ни было стороны; впрочем, тот, кто попытался бы вести подобную игру, заслужил бы только всеобщее презрение.

Итак, Пизакане искренне выступал против «культа индивидуума», действительно считал «низменными и опасными культы индивидуума», но он столь же искренне полагал, что не переоценивает своих возможностей, принимая на себя ответственную задачу (коль скоро за ее осуществление не взялись другие) разработки неизменного общественного договора, который должен лечь в основу нового общества, покоящегося на принципах равенства, того общественного договора, идеи, «концепции», которых недоставало революции 1848 года, о чем Пизакане столь часто говорит в «Войне в Италии». При этом речь должна идти об «идее», «концепции» исключительной важности, единственной в своем роде, если она оправдывала передачу «всей полноты власти» целым народом *«одному* человеку» с целью ее осуществления. В «Войне в Италии» Пизакане объясняет, что речь идет не о форме правления — республике, монархии или триумвирате; форма не имеет значения; «народ по-прежнему будет пребывать в рабстве, если не изменить социальной конституции» [1]. Вся полнота власти, переданная *одному* человеку, послужила бы именно *цели изменения «социальной конституции»,* послужила бы тому, чтобы даровать народу скрижали социализма. Этому «гению» надлежало бы раз навсегда, подчеркиваем — *навсегда и бесповоротно,* разработать конституцию общества. Он возвращается к этой идее и в «Войне в Италии» и в «Очерках», она становится навязчивой идеей Пизакане, так что, на наш взгляд, тщательный анализ и сопоставление обеих работ позволили бы четко выявить эту идею, даже если бы не были найдены ранее не изданные «Основные принципы», которые устранили бы всякое сомнение, если бы последнее имело место.

Но Росселли — он сам говорит об этом в своей книге — не подверг тщательному анализу эти работы, его более всего интересовала активная деятельность Пизакане в период Рисорджименто. Однако Пизакане — весь в этой «идее», в этой «концепции», в этом проекте революции, социального возрождения, и если из поля зрения ускользают основные положения его утопии, то в конечном счете ускользают и основные мотивы его действий.

«Договор», согласно Пизакане, должен быть положен в основу не только нового общества, но, очевидно, и новой социалистической партии в том случае, если она будет создана. Во всяком случае, надо отметить следующее: либо ввиду явной практической невозможности создания такой партии в той идейной атмосфере и тех конкретных условиях, в которых оказалась итальянская демократия, либо ввиду того (а это более вероятно), что он придавал большее значение окончательной и полной разработке своей утопии, чем созданию политической партии, но факт остается фактом (а мы исходим из фактов): Пизакане, если исключить некоторые письма, некоторые ту-

---

[1] Напомним правдивый и яркий портрет Карло Пизакане, нарисованный Мадзини «За него сразу же говорили лоб и глаза, лоб обнаруживал гений, глаза искрились энергией, смягчаемой выражением душевной теплоты. В выражении его лица, в быстрых, но не резких движениях, в жестах, которые не были ни торопливыми, ни вялыми, во всем его облике проявлялся открытый, честный, твердый характер. Его улыбка, подчас удивительно ясная, выдавала скромное достоинство и душу, исполненную веры, непоколебимой ни в жизни, ни в смерти . потеряв Пизакане, мы понесли тяжелую утрату мы потеряли офицера, который в один прекрасный день повел бы наших людей на борьбу за дело народа, мы потеряли гражданина, которому могли бы доверить этот высокий пост, ни минуты не сомневаясь в том, что он никогда не злоупотребит им, побуждаемый к тому честолюбием или низким эгоизмом, мы потеряли человека, который, как никто из многих известных мне людей, олицетворял собой мысль и действие..» (G. Mazzini, vol LIX)

[2] См. Della Peruta, op. cit., p. 102.

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 312.

манные и неопределенные высказывания, не приложил особых усилий для создания третьей партии, социально-республиканской или социалистической. Несомненно, бо́льшую настойчивость в этом отношении проявил Феррари, но и он не добился результатов [1].

В период 1851—1856 годов Пизакане всецело занялся работой над «Очерками», хотя он и не отказывался от практической деятельности заговорщика и живо интересовался всем, что происходило вокруг. «Очерки» представляют собой прежде всего попытку найти в истории Италии, в итальянском опыте классовой борьбы, в идейном наследии итальянских философов тот строительный материал, который позволил бы ему разработать *общественный договор* — конституцию нового общества, наметить социалистический путь итальянской национальной революции. Карло Пизакане работал не покладая рук до тех пор, пока в 1856 году не придал этому договору окончательную форму, и когда эта работа была завершена, он почувствовал настоятельную необходимость посвятить себя действию.

Объективное изложение фактов, к которому мы стремились все время, может в какой-то мере породить впечатление, что глубокая вера Пизакане в революционную энергию масс постепенно ослабевала или что его социалистическая теория революции утрачивала свой современный и боевой характер. Мы бы не хотели быть неправильно понятыми. Конечно, Пизакане был поборником народного суверенитета. Но массы для Пизакане были и оставались «плебсом», «тупым плебсом», во всяком случае, плебсом, который подчиняется только велениям материальных интересов; и так как Пизакане отвергает диктатуру революционной партии, даже в ее умеренной форме — диктатуры, воспитывающей новое общество, и так как он считает всеобщее избирательное право опасным ввиду незрелости масс, то чем же заменить диктатуру революционной партии или суверенитет, базирующийся на всеобщем избирательном праве? Их заменяет (восходящая к идеологии Просвещения) вера в гения-законодателя (или в мудрого законодателя, как говорили в XVIII веке), который просвещает плебс и определяет новое устройство общества, новый общественный договор, причем, подчеркиваем это, последний является не простой конституцией, не простым человеческим актом, который, как бы ни был он важен и величествен, все же может быть (исключая некоторые соответствующие гарантии) всегда улучшен или изменен людьми. Нет, общественный договор никогда не может быть изменен или усовершенствован, поскольку он начертан на единственных в своем роде скрижалях законов, *вечных законов природы,* неизменных и всегда справедливых.

[1] См. F. Della Peruta, op. cit., p. 207 sgg.

В этой концепции Пизакане есть одно отступление, правда не существенное. Настойчиво утверждая, что неизменный договор должен быть разработан «одним-единственным», Пизакане в одном месте указывает, что этот договор должен быть составлен «конгрессом ученых». Во всяком случае, речь идет о *гении,* индивидуальном или коллективном, который должен установить новые основы общества, а не о народе, осуществляющем это на своих демократических ассамблеях. В народ можно верить как в решающую силу восстания, в силу, разрушающую прошлое, поскольку им движут непосредственные интересы, но этому народу присуще еще слишком много черт плебса, чтобы он мог осознать социалистические идеалы. Следовательно, только в этих пределах ему и можно доверять.

Где почерпнул Пизакане эту конституционную теорию, действительно довольно оригинальную? Он говорит об этом в третьем «Очерке», когда открыто ссылается на мнение Романьози, согласно которому мудрый законодатель является «одним-единственным» и в соответствии с «единым модулем» намечает новое устройство общества. Доктрина мудрого законодателя, героя, который борется «со всей силой своего незаурядного духа» «во имя осуществления великих начинаний в интересах себе подобных», идея героя с присущей ему печатью «рокового величия» [1] была заимствована Пизакане у Романьози. Обретя у Пизакане новую, более современную форму, она содействовала формированию наиболее оригинальной и в то же время наиболее утопической части его социалистической доктрины.

Подведем некоторые итоги: массы должны примкнуть к революции, побуждаемые материальными интересами, но после того, как революция совершена, именно «общественный договор», сформулированный гением (а отнюдь не интересы того или иного класса и даже не интересы или воля большинства), определяет общественное устройство.

Действительно, непосредственные материальные интересы неимущих сельских масс Италии — громадной маневренной массы в глазах Пизакане — целиком состояли тогда в *разделе*

[1] Из речи Дж. Д. Романьози в масонской ложе; см. R. Soriga, Le Società segrete, l'emigrazione politica e i primi moti per l'indipendenza, p. 52—53.

земель и в создании новой парцеллярной земельной собственности. Но именно Пизакане безоговорочно осудил в «Очерках» всякую форму собственности. В будущем обществе земля не должна находиться в частном владении, ею должны коллективно распоряжаться коммуны, то есть она подлежит обобществлению. (Здесь возникает аналогия с народничеством. Какая, в сущности, разница между коллективным владением землею общиной и коммуной?) Но каким образом без демократической гегемонии собирался Пизакане побудить неимущих крестьян не совершать естественного, инстинктивного акта захвата в собственность домениальных земель, или крупной церковной собственности, или земель латифундистов? Кто и что должно было сдержать крестьян в борьбе как раз за осуществление их непосредственных материальных интересов? Кто и что придаст бурному, ничем не сдерживаемому потоку новое упорядоченное движение? У Пизакане это не вызывает сомнения: *общественный договор*. Он или объединит тотчас же крестьян в сельскохозяйственные коммуны, которым будет передана вся национализированная земля, поделенная между коммунами, или, если крестьяне уже завладели землей, побудит их вступить на равных правах в коммуну и отказаться, следовательно, от захваченной земли. Следовательно, неизменный договор (принятый раз и навсегда), договор, который никто, даже всеобщая народная воля, не может более изменить, привел бы без диктатуры, без демократической гегемонии к новому коммунистическому устройству общества.

Таким образом, анархическая доктрина Пизакане, исходившая из факта существования мудрого законодателя, который просвещает плебс и руководит им, носила, несомненно, утопический характер.

В другом месте, именно в «Войне в Италии», Пизакане утверждает, что «ни герои и ни сильные мира сего изменяют судьбы наций», но скорее «потребности наций порождают героев», так что, выйдя однажды на арену, эти герои «являются всегда олицетворением принципа, во имя осуществления которого они захватывают власть». Казалось бы, здесь содержится решительное отрицание культа индивидуума, гения, героя. Но это не так. Из дальнейшего чтения книги смысл этой фразы становится более ясным. Итак, продолжает Пизакане, «голос гениев-созидателей, опередивших время, заглушается тираническим коллективным мнением и находит отклик лишь у будущих поколений» [1]. Конечно, этот отрывок не отличается ясностью, но в нем видно то глубокое различие, которое Пизакане проводит между героем, вызванным к жизни нуждами класса или нации (который, олицетворяя собой непосредственные нужды, захватывает власть и т. д.), и «гением-созидателем», который «опережает время», чей голос может быть заглушен «тираническим коллективным мнением» (странное презрение к коллективному мнению у демократа!), но который тем не менее должен найти отклик у «будущих поколений». Как бы ни истолковывали эту мысль, во всяком случае, ясно, что если «потребности наций порождают героев» (а не герои изменяют судьбы народов), то, коль скоро герой вышел на арену (пусть даже порожденный потребностями), *именно он* — в этом доктрина Пизакане не оставляет никакого сомнения — призван разработать общественный договор, установить, каким образом люди могут возвратиться к законам природы, вновь обретя свободу и равенство.

Словом, уже в «Войне в Италии» выступают две движущие силы истории: с одной стороны — деятельность масс, которые, побуждаемые своими непосредственными, экономическими, материальными интересами, разрушают существующий порядок вещей, а с другой — поскольку массы созрели для восстания, но не для самоуправления,— герои, гении, которые просвещают их и побуждают не ограничиваться непосредственными интересами, которые играют преходящую роль в достижении их конечных целей.

Из этих двух движущих сил революции интеллигенты, мыслители (которые, впрочем, олицетворяют гений) представляют для Пизакане движущую революционную силу, столь же важную и необходимую, как и массы. «Так как для освобождения Италии потребуются чрезвычайные усилия, то необходимо, чтобы идеи, которые должны подготовить революцию, стали народными и чтобы массы осознали, что в их интересах сменить заступ на ружье; но в Италии нет мыслителей, и некоторые намерены вести войну с папой под знаменем креста, освобождать народ, покровительствуя узурпациям буржуазии, ниспровергать троны с помощью меча государей. Это замедление прогресса, этот интеллектуальный застой, который наблюдается в Италии, и иностранные штыки — вот ее истинные палачи» [1].

Следовательно, надо побудить «мыслителей» преодолеть «интеллектуальный застой», иначе социалистическая революция окажется невозможной: снова, как и в 1848 году, массы

[1] C. Pisacane, Guerra combattuta, p. 314.

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 329.

останутся без руководства и не будут знать, куда идти. Кому же надлежит пробудить мысль, кто положит конец «интеллектуальному застою»? Конечно, не руководители демократов 1848 года, против которых направлен весь огонь критики в «Войне в Италии» Все они рассматриваются как более или менее ответственные за этот «интеллектуальный застой». «Италия — раба,— пишет Пизакане,— поскольку народ не пережил революции идей, которая должна всегда предшествовать материальной революции, и не было мыслителей, которые в тиши кабинета нашли бы средство исцеления от стольких страданий народа» [1]

Итак, мы видим противоречие между этим высказыванием Пизакане и его известным тезисом, подтвержденным в «Завещании», согласно которому «факты порождают идеи, а не наоборот». Но это противоречие, так же как и культ гения, героя, присуще не только Пизакане — оно характерно вообще для анархизма Вспомним программное утверждение Прудона «Всякий, кто проповедует всеобщее избирательное право как единственный принцип порядка и устойчивости, является лгуном и шарлатаном: он обманывает народ. Суверенитет без знания слеп». Еще более характерное утверждение содержится в письме Грюна к Прудону: «Народ не вправе похитить у нас, у нас, истинных мыслителей, у нас, которые знают все и которые единственные могут требовать всего, инициативу будущей революции» [2].

А теперь послушаем Пизакане «Плебс вовсе не наделен теми героическими качествами, кои некоторые приписывают ему; весь во власти предрассудков и невежества, плебс часто колеблется между безрассудством и низостью. Подвластный материальным нуждам, его разум не в силах подняться до возвышенных идей». И далее: «Несомненно, мысль разрушает предрассудки, но это никогда не случается с плебсом, а лишь в узком кругу свободных мыслителей, способных потрясти, но не изменить общественные порядки» [3]. Из этого следует, очевидно, сделать вывод, что плебс действует исключительно под влиянием материальных интересов, но не способен на самом деле осуществлять народный суверенитет. Из этого следует также, что только деятельность мыслителей и плебса (связанных между собой определенным образом) способна привести к социальной революции

[1] C. Pisacane, op. cit., p 316

[2] Письмо Грюна Прудону от 22 января 1848 года (Центральный партийный архив Института марксизма ленинизма при ЦК КПСС)

[3] C. Pisacane, Saggi, vol. IV, p. 50

Что касается политической незрелости масс в послереволюционный период (а для Пизакане это бесспорная догма), то, если бы Пизакане принял якобинскую идею диктатуры с воспитательными функциями, он бы мог прийти к выводу, что в период такой диктатуры невежественное простонародье было бы просвещено, пережитки прошлого преодолены и подобное положение вещей изменено Но поскольку Пизакане не принимает концепции перевоспитания народных масс в период революционной диктатуры, то для него плебс остается плебсом также и после совершения революции. Кто же в таком случае будет составлять законы? Пизакане ясно отвечает на этот вопрос на странице 130 третьего «Очерка», и это место является решающим для понимания его социальной доктрины: *«Один-единственный должен быть объявлен законодателем* Кроме того, существует истина, убедительно доказанная Романьози, что суждение всех мудрецов мира может быть ошибочным при оценке работы, осуществленной одним-единственным человеком; следовательно, конгресс народных представителей должен был бы принять на себя задачу *не развивать, не усложнять поправками и добавлениями предложенные законы,* но лишь тщательно удостовериться в том, не нарушают ли эти законы неизменные принципы, провозглашенные в качестве основы общественного договора» [1]. Следовательно, в этой последней, наиболее зрелой формулировке Пизакане не принимает во внимание даже конгресс ученых «один-единственный» должен быть законодателем. Поэтому в конечном счете анархический социализм Пизакане при отсутствии государства и правительства опирается на социальную систему, изобретенную в тиши кабинета «одним-единственным», на систему, для которой достаточно раз навсегда быть одобренной народом. Но народ — отметим это — не имеет учредительной, *законодательной власти; он не предлагает основного закона и* даже не обсуждает и не участвует в его усовершенствовании; он просто поднимает или опускает руку, одобряет или не одобряет. Почему же народ не вырабатывает законов, почему их не вырабатывают по крайней мере его представители, в том случае когда возникает необходимость составления конституции, основного закона, общественного договора? Потому что, согласно Пизакане, народ, с одной стороны, *не должен* передоверять кому бы то ни было собственную власть, не должен отчуждать ее, а с другой стороны, он *не может* осуществлять ее сам, ибо еще не способен к этому. Здесь своеобразное утвер-

[1] C. Pisacane, Saggi, vol III, p 130 (Курсив наш —*Д. Б.*)

ждение-отрицание народного суверенитета. Правда, эта оригинальная законодательная система в духе Моисея или Солона касается только общественного договора, но для Пизакане общественный договор имеет куда большее значение, чем конституция (которая может быть исправлена большинством, хотя и квалифицированным),— он является неизменным первоисточником всех законов, всего устройства нового общества.

Заметим, что утверждение «один-единственный должен быть объявлен законодателем» находится именно в том XI параграфе третьего «Очерка», который (воспроизведенный почти целиком, или пересказанный) образует главную часть «Основных принципов», то есть ранее не изданной рукописи Пизакане, недавно найденной в Генуе. В параграфе XI третьего «Очерка» утверждается необходимость этого факта, а в «Основных принципах» этот факт налицо: Пизакане объявляет себя единственным законодателем общественного договора.

Следовательно, то место «Очерка» о революции, которому мы уделили так много места, является действительно главным для понимания всей политической и социальной концепции Пизакане, и ныне, в свете найденной рукописи «Основные принципы нового общественного договора — Временная конституция Италии», оно приобретает свое истинное и глубокое значение. Ныне мы знаем, кто был этим *одним-единственным* — им был Пизакане, автор «Основных принципов нового общественного договора» и «Временной конституции Италии».

Мы склонны, таким образом, придавать недавно найденным в Генуе рукописям Пизакане чрезвычайно большое значение с точки зрения понимания социально-политических идей Пизакане. Следует отказаться от мысли, будто речь идет о простой переделке третьего и четвертого «Очерков», если даже Пизакане при написании этого своего важнейшего документа использовал данные работы. Равным образом следует отбросить мысль, будто речь идет о пропагандистском экстракте идей, уже выдвинутых в «Очерках». Совершенно очевидно — и об этом ясно говорят названия и содержание этих рукописей,— что речь идет *о новом общественном договоре, о временной конституции Италии,* которые Пизакане с момента работы над третьим «Очерком» рассматривал в качестве основы нового политического и социального устройства «Единой и неделимой Италии», учрежденной в форме демократической республики.

Впрочем, сам Фалько (в конце своего сообщения об этих документах) в известной мере сомневается, чтобы можно было рассматривать эти работы в качестве варианта старых текстов, отмечая сугубую конкретность некоторых мест при сопоставлении их с соответствующими местами третьего «Очерка». Взять, например, то место, где Пизакане призывает бросить «с первых же мгновений клич: «Да здравствует итальянская республика!», или другое место, где содержится указание о конкретных действиях («честно исполняйте свой долг и уничтожайте все препятствия», «ныне, когда заколдованное здание предрассудков рушится под напором вашего ужасного гнева»), или, наконец, особую торжественность провозглашаемых принципов: «Эти принципы выше самого национального суверенитета; провозгласите их как норму вашего будущего общественного договора, и революция будет совершена, вы станете свободными и счастливыми, клянусь вам в этом»; наконец, статья, определяющая конституционный принцип: «Весь народ каждой коммуны соберется в избирательных ассамблеях и провозгласит в качестве основного закона нового общественного строя приведенные здесь принципы».

Таким образом, «эти принципы и идеи, быстро сформулированные, но являвшиеся плодом долгих лет занятий», Пизакане изложил, по всей вероятности, незадолго до отплытия в Сапри или, во всяком случае, в тот момент, когда началась подготовка широкого революционного выступления (одновременного восстания в Неаполе и южных провинциях, а также в Ливорно и Генуе). Весьма возможно, что этот документ был написан в самый разгар подготовки экспедиции, когда организационная лихорадка (которая действует возбуждающе и превращает самого сдержанного и трезвого революционера в самого пылкого мечтателя) порождала самые смелые надежды на успех. После этого отказаться от предприятия было трудно, невозможно. И даже после поездки в Неаполь, когда Пизакане сам убедился, насколько реальная действительность отличается от его предположений, было трудно, невозможно отложить это предприятие или отказаться от него. Напротив, после поездки в Неаполь он написал свой последний документ, сказал свое последнее слово — «Завещание», которое выдержано совсем в ином, полном горечи тоне, что отнюдь не свойственно «Новому общественному договору» и «Временной конституции Италии». Тот факт, что в ходе подготовки экспедиции, до своей поездки в Неаполь, Пизакане лелеял надежду на легкую победу революции, подтверждается также источником, не вызывающим никаких сомнений: перепиской Энрикетты Ди Лоренцо с Розалино Пило (укрывшимся после Сапри в Лондоне). Энрикетта писала Пило: «сколько иллюзий во всем питал мой Карло!» [1]

[1] SSSP, Carte Pilo.

Впрочем, проблемы революции имеют свою железную, неумолимую логику. Либо исходят из того, что революция совершается в условиях, когда народные массы созрели с точки зрения демократии,— и тогда революционный демократ может безгранично, беспредельно доверять народному суверенитету; либо же по различным причинам считают, что народ не достиг еще такой зрелости,— и в таком случае это соображение неизбежно приводит к концепции революционной диктатуры или диктатуры с воспитательными функциями, которая была присуща якобинцам, бабувистам, Буонарроти, карбонариям, бланкистам, и даже Мадзини в конце концов включил ее, хотя и в смягченной форме, в свою политическую доктрину (за что Пизакане упрекал его). Но, утверждая в «Очерках», что плебс — это «простонародье», созревшее для восстания (но не для управления обществом), Пизакане в то же самое время не признавал никакой формы диктатуры, так же как он не признавал никакой формы демократии, при которой вся власть была бы передана простонародью, не способному осуществлять ее.

Согласно Пизакане, волеизъявление многих, даже большинства, не позволяет еще судить о степени сознательности народа. («Неверно судить о сознании народа на основании волеизъявления некоторых и даже многих, часто порожденного или соображениями личной выгоды, или желанием уменьшить зло, от которого они непосредственно страдают», и т. д.[1]; таким образом, даже всеобщее избирательное право или республика не в состоянии что-нибудь изменить. «И вот мы видим, как республика у наших соседей идет по тому же пути, прибегая к тем же методам деспотизма, как по приказу ассамблеи, избранной на основе всеобщего избирательного права, расстреливают народ, попирая, таким образом, сам республиканский принцип» [2].)

В чем же в таком случае должны состоять гарантии свободы? «Гарантии свободы,— пишет Пизакане в своих «Основных принципах»,— состоят не в названии и не в форме правительства, но в учреждениях, в законах, которые может установить народ...» Что касается старых законов, то «наиболее важным решением является уничтожение всех их, их полное и окончательное искоренение... Нужно думать не о форме вещей, а об их существе. Какое бы название ни было дано будущему правительству, нужно позаботиться о том, чтобы оно покоилось на прочных принципах,— вот что во имя вашей собственной пользы, во имя родины я предлагаю вам». Следовательно, именно принципы и идеи Пизакане составляют общественный договор, обдуманный и написанный «одним-единственным», «быстро сформулированный», но достойный лечь в основу нового общественного устройства, которое «во имя вашей собственной пользы, во имя родины я предлагаю вам».

Читатель, сравнивающий текст «Основных принципов» с параграфом XI третьего «Очерка», может заметить, в чем совпадают и в чем расходятся эти два сочинения Пизакане. В самом деле, вся вступительная часть «Основных принципов» написана заново. Ее значение определяется не только общими политическими соображениями, не только полемикой против идей французского социализма и против «презренной кучки офранцузившихся доктринеров»-итальянцев (даже в том случае, если они развивали идеи, отстаивавшиеся прежде самим Пизакане); ее значение определяется прежде всего тем, что именно в этой вступительной части Пизакане провозглашает «эти принципы выше самого национального суверенитета», то есть народного суверенитета.

Напротив, главная часть документа более или менее соответствует главной части параграфа XI третьего «Очерка» и содержит много дополнительных объяснений. В предыдущем, X параграфе третьего «Очерка» Пизакане говорит об источниках его идей, легших в основу «Основных принципов». Это очень важно, поэтому мы приведем данное место: «Эти магистральные законы Природы, сформулированные Вико, Беккариа, Пагано, Филанджери, Романьози и другими итальянскими философами, не испорченными иностранным эклектизмом, являются основой, с коей должны согласовываться все социальные порядки, являются истинами, кои должны служить мерилом для всех учреждений, и в своих последующих рассуждениях мы исходим из этих принципов...» [1] Следующие далее рассуждения (после соответствующей ссылки на Романьози, писавшего, что человек должен служить не человеку, а «исключительно требованиям Природы и собственному благу» [2], и на Филанджери, для которого «человек не может быть счастлив, не будучи *свободным*», и после замечания, что «эти принципы наших отцов *ныне стали обсуждаться даже во Франции,* где Прудон провозгласил: «Всякий, кто принуждает меня, дабы управлять мною, является узурпатором, тираном,

[1] „Principi fondamentali", опубликованные Дж. Фалько в „Miscellanea di storia ligure".
[2] Op. cit.

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 122—123.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 124.

и я объявляю его своим врагом»[1]) завершаются выводом о том, что «ужасными источниками зла, препятствием для человеческого счастья, причинами неминуемого краха», согласно законам Природы, «*являются право собственности и правительство*»[2]. Вслед за этим Пизакане переходит к параграфу XI, который с небольшими изменениями в его основной части воспроизводится в «Основных принципах».

В заключительной части «Основных принципов» содержится, однако, как мы увидим, чрезвычайно важный новый момент, который мы напрасно пытались бы искать в других работах Пизакане и который явно противоречит только что цитировавшимся нами выводам из параграфа X третьего «Очерка», то есть тому отрывку, где говорится о необходимости ликвидировать *право собственности и правительство*. Мысль о необходимости ликвидации права собственности в «Основных принципах» сохранена и даже усилена, но *вопрос о правительстве поставлен по-иному*.

Формулировки «Основных принципов» более категоричны и императивны, как, очевидно, и должно быть в конституции, в торжественном договоре. Но при внимательном рассмотрении оказывается, что в основе всего этого лежит, с одной стороны, мадзинистская концепция «моральной революции» (которая определяет преамбулу документа), а с другой стороны, попытка дать принципиальное обоснование социально-политическим формам анархистского коллективизма и подвести под них оригинальную конституционную базу. То, что имеет значение для Пизакане (в итоге четырех веков рабства),— это самопожертвование, мученичество тех, кто «великодушно пожертвовал собой ради идеи нашего возрождения». Это те, кто, «хотя и не смогли улучшить наше положение, свершили такие дела, на которых учится народ и которые разом переносят его с одной ступени прогресса на другую; именно эти дела, а не доктрины и многословные и изощренные теории, известные лишь единицам, а всеми остальными преданные забвению, и являются теми делами, что пробуждают национальное сознание, что вызывают, словом, моральную революцию». Но ведь это не что иное, как мадзинистская доктрина мученичества, самопожертвования. После того как моральная революция совершена, достаточно одной блистательной битвы, и «народ, который ныне гнетет преобладающая сила, сломив эту силу, *в течение одного дня* переходит от рабства к свободе» — и, как нам известно, возвращается к «законам Природы», «становится свободным и счастливым».

Какой вывод можно из этого сделать? Что Пизакане отстаивает в «Основных принципах» правление гения-законодателя, опирающегося на одобрение, носящее ограниченный и общий характер, хотя и выраженное народно-демократическим путем? Мы не считаем возможным утверждать это. Конечно, общественный договор имел для Пизакане важнейшее значение и строжайшим образом обусловливал всякую другую законодательную и политическую деятельность. Он устанавливал границы, в которых должно развиваться новое общество, границы твердые и неизменные. Однако эти границы оставляли широкий простор для законодательной деятельности народа.

Конституционная схема нового общества, как его рисует Пизакане, оказывается довольно сложной. Попытаемся изложить ее в простой и ясной форме.

Прежде всего нужно ясно представлять, что для Пизакане общественный договор (patto sociale) не является новым общественным договором (Contratto sociale) Руссо: в самом деле, люди (даже более того, отдельные индивидуумы), чтобы прийти к этому договору, не отказываются (как это имеет место у Руссо) от части своей свободы, от части своего суверенитета, полностью сохраняя их. Отправные идеи Пизакане строго выдержаны в духе естественно-правовых теорий, а не в духе общественного договора Руссо.

Поэтому договор составляется в известном смысле вне всякого социально-политического влияния, проистекающего из согласия людей. В самом деле, народный суверенитет — в том, что касается договора Пизакане,— не является суверенным, так же как не является суверенным большинство, а тем более парламент или правительство как эманация большинства. *Единственным сувереном* является Природа: «законы Природы» — вот невидимый демиург договора. Но так как Природа сама не обнаруживает своих законов и не запечатлевает их на пергаменте или на камне, то важнейшей и необходимой становится роль *гения,* постигающего эти законы или их проявления и фиксирующего их в общественном договоре, который, следовательно, не является договором между людьми, в духе Руссо, а носит естественно-правовой характер. Цель его — возврат к законам Природы. Следовательно, законы Природы есть prius[1] общественного договора, опира-

[1] C. Pisacane, op. cit, p. 124—125
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 127.

[1] Прежде (*лат*), здесь в смысле — первоисточник — *Прим. ред.*

ющегося на *их* авторитет, а не на суверенитет народа. Вот почему договор должен быть написан одним-единственным человеком, а народ может лишь *подтвердить,* соответствует или нет этот договор законам Природы, то есть он может отвергнуть его или принять, но никогда не может изменить его.

Далее, вместе с общественным договором Пизакане предлагает «Временную конституцию» (соответствующую или в известном смысле зависящую от этих высших принципов), которая, впрочем, в рукописи, найденной в Генуе, представляет собой составную часть самого договора. Очевидно, и «Временная конституция» написана им. Как говорит название, она не является окончательной. Кто же должен был придать ей окончательный вид? Может быть, народ? Может быть, конгресс народных делегатов или депутатов, представителей коммунальных собраний? Нет, «конгресс ученых».

В данном случае Пизакане изменяет точку зрения, изложенную им в «Войне в Италии» в 1850 году. Он не доверяет составление общественного договора конгрессу ученых. В 1857 году он подтверждает точку зрения, высказанную в «Очерках», вероятно, приблизительно в 1854—1855 годах, согласно которой договор должен быть делом «одного-единственного» (он должен быть в то же время составителем «Временной конституции»). Напротив, *окончательную конституцию* предстоит разработать «конгрессу ученых», который определит — в сущности, его задача весьма скромна — техническую и юридическую стороны конституции, но не по собственному усмотрению, а в рамках железных границ, установленных общественным договором.

Далее речь идет о законодательной власти народа. Власти, которая, однако, никогда не может быть целиком передана делегатам народа, депутатам, какому бы то ни было парламенту, даже временным делегатам, избранным в конгресс. Народ, доверяя избраннику мандат, должен иметь право в любой момент потребовать его назад. В «Основных принципах» Пизакане следующим образом обосновывает это требование: «Рабство характеризуется не большей или меньшей свободой, предоставленной нации, а правом, кое закрепляют за собой государь, каста или часть граждан, ограничивать пределы свободы по собственному желанию . люди, какова бы ни была их цель, являются либо сильными, либо слабыми; последние не способны к управлению, первые же становятся угнетателями... Горе, если плебс, удовольствовавшись пустыми обещаниями, поставит свою судьбу в зависимость от воли других. Ему придется увидеть как многие из тех, кто выдают себя за либералов,— либералов, скупых на дела, но щедрых на обещания и сладкие речи, обманут его, как имеют обыкновение обманывать тираны, и, таким образом, вырвут у него согласие», но вырвут только для того, чтобы заковать его в цепи. «Природа наделила всех людей одними и теми же органами, одними и теми же чувствами, одними и теми же потребностями, она создала их *равными* и тем самым даровала им равные права на пользование произведенными ею благами». Но для того, чтобы естественные законы всегда оставались в силе, нужно не только закрепить их в общественном договоре, поставив их тем самым выше «самого национального суверенитета» (то есть суверенитета народа); нужно, чтобы народ никогда не отчуждал собственной власти и не передавал ее не только диктатору или королю, но даже депутатам парламента или делегатам конгресса. Утвердив эти принципы, народ выступает как законодательная власть, но выступает тогда, когда принципы общественного договора уже одобрены им (без права их изменения) и когда уже существует конституция (или временная, или преобразованная в окончательную конгрессом ученых). Но с какой целью выступает народ? После того как «условия общественного договора установлены», народ приступает к разрешению задачи, которую сам Пизакане охарактеризовал как «весьма легкую»,— а именно к определению условий «политического договора», иначе говоря, обычного управления обществом, основанным на этих принципах.

Только с этого момента, но никак не раньше, можно говорить о том, что «носителем суверенитета является вся нация». В чем же заключается этот суверенитет? «Суверенитет,— пишет Пизакане,— есть *общее сознание,* то есть, как говорит Джан Батиста Вико, это суждение, которое без всякого размышления разделяет сообща все общество, весь народ, все человечество. Передавать суверенитет так же абсурдно, как передать собственную способность чувствовать; суверенитет неотчуждаем, его носителем является вся нация, и никакая часть ее не может его законно представлять. Народ, который передает собственный суверенитет, чтобы облегчить свою жизнь, действует подобно тому, кто связывает себе ноги и руки, чтобы легче было бежать». Следовательно, народ обладает законодательной властью в этих административных границах, а применение законов не доверяется ни профессиональным чиновникам, ни избираемым. Каждый преступник может апеллировать к народу, и судить его будет народ его коммуны. Народ может избрать из своей среды несколько граждан

и сделать их судьями, но преступник всегда имеет право апеллировать к суверенитету всего народа своей коммуны «Писаные законы суть лишь норма и ничто другое, решение народа выше всех законов» Однако народ, разумеется, никогда не может вынести приговор, который противоречил бы принципам общественного договора Если бы так произошло, то «всякий гражданин счел бы себя свободным от всякого долга и имел бы право восстать и прибегнуть к оружию»

Власть на местах будет представлена коммунальным собранием и судебным советом, избранным на основе всеобщего избирательного права, при условии неизменного сохранения права отзыва депутатов Коммунальные собрания должны избрать из своей среды делегатов в провинциальное собрание, которое будет сноситься с национальной властью Национальный конгресс, или Конвент, избранный на основе всеобщего избирательного права, будет представлять Италию и управлять ею Этот Конвент доверит свою исполнительную власть Государственному совету из семи человек, избранных из его состава, а этот совет передаст власть избранному им из своей среды консулу Разумеется, народ имеет право отзывать и контролировать членов Конвента, а эти последние — членов Государственного совета, который имеет соответствующие права в отношении консула

Хотя Пизакане не упоминает в «Войне в Италии» и в «Очерках» Конвента или парламента и требует в параграфе X третьего «Очерка» ликвидации правительства, однако в конце концов он приходит (хотя и в границах, установленных принципами общественного договора, хотя и стремясь максимально обеспечить права индивидуума, хотя и утверждая право отзыва депутатов и закрепляя за коммунальными собраниями максимально децентрализованную власть) к утверждению необходимости Конвента, то есть формы организованного революционного парламента и, что особенно важно, к утверждению необходимости *организованного правительства* Следовательно, прудонистская формула («всякий, кто принуждает меня, дабы управлять мною, является узурпатором, тираном, и я объявляю его своим врагом») в конечном счете отвергается или, во всяком случае, существенным образом изменяется Пизакане А это единственный вопрос, где связь идей Пизакане и Прудона представляется несомненной, ибо в остальном соприкосновение их идей является совершенно незначительным Но даже в этом вопросе Пизакане, в сущности, очень далек от Прудона

Но если становым хребтом социальной доктрины Пизакане является возврат к законам Природы, а через них — к свободе и равенству, возврат, присущий идеологии Буонарроти, карбонарским катехизисам и т д, то и форма правления, изобретенная им в этом последнем документе, также обнаруживает удивительную близость с некоторыми формами республик военно-карбонарского типа (вроде упомянутой «Аузонии»), о каких мечтали в Италии, и с некоторыми проектами организации правления, выдвинутыми Буонарроти в 1813—1814 годах в той самой «Политической конституции любой итальянской республики» [1], в какой наряду с народными собраниями фигурирует сенат, состоящий из народных советников, созываемый и возглавляемый консулом, и с многими другими политическими, социальными и конституционными проектами, которые получили распространение среди карбонариев и в других тайных обществах,— проектами, которым (оставляя в стороне основной факт — обращение к законам Природы, о чем мы уже говорили много раз) всегда были присущи определенные формы военной и гражданской организации — декурионата, трибуната, вылившиеся в конце концов в такую форму правительства, как триумвират или септинат (предложенный Пизакане), либо состоящий из консулов, либо возглавляемый консулом Мы ограничимся здесь этими замечаниями, тем более что будем иметь случай еще вернуться к рассмотрению данного вопроса Но здесь нельзя, по-видимому, не отметить следующего самый факт того, что социальная система Пизакане не была ясно и недвусмысленно сформулирована в «Войне в Италии» и в «Очерках», самый факт того, что, за исключением неизданного документа (и документа такой важности, содержавшего принципы общественного договора и конституцию нового государства), который разъясняет кое что, что в его работах было всегда лишь намечено, но в то же время весьма туманно (во всяком случае, никогда не было высказано полностью),— самый факт этот приобретает определенную окраску Мы далеки от желания устанавливать несуществующие или произвольные связи, но, во всяком случае, идеям Пизакане присуща определенная окраска, которая сближает их в гораздо большей степени с идеями социальной революции и социальных реформ радикальных мыслителей эпохи Просвещения и членов тайных обществ первых десятилетий XIX века, чем с кредитной и банковско-экономической утопией Прудона Идея общественного

---

1 Опубликована Д Кантимори в „Utopisti e riformatori italiani", p 137—140, и А Саитта в „Filippo Buonarroti", vol II, p 189—193

договора и навязанной кем-то извне коммунистической конституции в духе Моисея или Солона так же характерна для той исторической эпохи и ее социально-политических представлений. Например, Джоаккино Прати писал Де Меестеру: «Мой генерал, народ нужно создать, нужно сделать его свободным и равным. Короче говоря, нужно сделать то, что сделали Ликург, Солон, Моисей и все те, кто радел о возрождении народов, то, что сделали основатели колоний [1] или новых гражданских ассоциаций,— выработать план разумного правления и претворить его в жизнь открытым, диктаторским путем» [2].

Конечно, Пизакане отвергал идею диктатуры, но что тогда означает эта передача всей полноты власти одному лицу (призванному разработать основной закон, определяющий все законы и весь общественный порядок), если не своего рода диктатуру — не политическую, не правительственную, а идейную? Именно в принятии этого важнейшего момента, связанного с системой социальной организации анархистского типа, и состоит оригинальность социальных и политических воззрений Пизакане. Впрочем, если рассматривать не слова, а существо вещей, то трудно сказать, в какой из концепций принцип народного суверенитета в большей степени попирается — то ли в концепции диктатуры с воспитательными функциями, которую Мадзини принял в крайне смягченной форме, сопроводив ее множеством оговорок, то ли в концепции «диктатуры, возрождающей» массы. Буонарроти [3], то ли в концепции Пизакане, который практически доверяет основную законодательную власть одной-единственной личности (пусть даже он ничего не говорит о том, что ей принадлежит также и исполнительная власть, хотя этот вопрос еще очень неясен), оставляя за народным суверенитетом подчиненные и второстепенные законодательные функции.

Но если взгляды Пизакане обнаруживают тесную связь с доктринами социального возрождения, характерными для реформаторского движения XVIII века, и с идеями тайных обществ первых десятилетий XIX века, то в не меньшей степени они внутренне связаны и с мадзинистской теорией революции. Приводя одно из наиболее характерных высказываний

[1] Речь идет о начинаниях утопистов.—*Прим. ред.*

[2] A. Saitta, op. cit., vol. II, p. 180.

[3] A. Saitta, op. cit., p. 189—190. «Но у Буонарроти своя, совершенно особая точка зрения на народный суверенитет, согласно которой народный суверенитет теоретически никогда не отрицается, но на практике он может стать эффективной реальностью только после того, как произойдет «возрождение» народа».

Мадзини, Сальвемини пишет: «После того как благодаря деятельности гениев-провозвестников новый принцип полностью выработан в «сфере духовной деятельности», разражается всеобщий «великий кризис», восстание, стихийное, коллективное, необычное движение простолюдинов», поскольку «тайна Эпохи, подобно закону, дарованному на Синае, может обнаружить себя не иначе, как среди бурь» [1]. Для Мадзини, как и для Пизакане, гений является открывателем (для Мадзини — закона Бога, для Пизакане — законов Природы). Тем не менее для Пизакане открытие происходит *один-единственный раз* на синайской горе истории; затем, после того как общественный договор провозглашен и принят, восстанавливается естественный закон и народ становится суверенным. Мадзини, напротив, считает, что гений-провозвестник и открыватель должен осуществлять свои функции постоянно и непрерывно. Согласно Мадзини, гений не только открывает закон прогресса, но после его открытия остается руководителем народа, новым Моисеем, который ведет его к земле обетованной. Но для Мадзини, подчеркнем это, революция является «моральной революцией», а для Пизакане — «материальной». На самом деле противопоставление не столь резко и его нельзя выразить столь четким образом. Двуединая формула «моральной революции» — «материальной революции» является, бесспорно, мадзинистской, и Пизакане, по существу, усваивает ее. Скорее, можно сказать, что Пизакане акцентирует внимание на одной из частей этой формулы, на «материальной революции», а Мадзини с еще большей силой — на другой. Можно также сказать, что для Пизакане потребности порождают идеи, а не наоборот, и можно уверенно добавить, что весь Пизакане в этой попытке освободиться от мадзинистской доктрины революции, изменить ее, перевернуть, но на самом деле ему удалось освободиться от нее лишь частично, несмотря на то что он максимально постарался развить свою материалистическую концепцию мира и свою детерминистическую экономическую доктрину. Мадзини пишет: «Миром правит разум. Но, говоря так, мы не намерены выводить отсюда *право*. Мы не стремимся установить привилегию, аристократию, источник власти, основанной на интеллекте. Мы не говорим о материальном правлении, мы констатируем лишь один факт, а не другой. *Идея* правит сегодня, как суверен; сила идеи порождает революции, и в нашу эпоху явно стремящуюся к социальному переустройству, в господстве идеи состоит секрет движения.

[1] G. Salvemini, Mazzini, Catania, 1915, p. 57.

Моральная инициатива предшествует инициативе материальной. Эта последняя исходит от народа; первая же — от интеллекта...» [1]

Кое-что от этой доктрины осталось и у Пизакане. Конечно, в 1850 году в «Войне в Италии», когда ему казалось, что массы жаждут лишь революции, он делал главную ставку на материальную инициативу народа, но в период спада революционной волны, стремясь пробудить скрытую революционную энергию масс, он также в конце концов принял идею моральной инициативы, инициативы немногих, которые открывают путь.

И тем не менее при определении исторического места идей Пизакане главное значение должно иметь решительное утверждение априорности естественного права — этого станового хребта всей доктрины Пизакане. Тщетно пытались бы мы найти в воззрениях какого-либо итальянского политического деятеля второй половины XIX века формулировки, в которых эта априорность проводилась бы если не с такой непреклонной настойчивостью, как у Пизакане, то хотя бы в систематической форме. Она нашла запоздалый и бледный отклик лишь в идеологии анархистов-бакунистов, которые обращались именно к этой доктрине Пизакане. Эта априорность является в действительности идеей XVIII века, идеей радикальной просветительной мысли той эпохи, и как таковая нашла отражение также в бабувистской и буонарротистской концепциях, испытавших на себе влияние этих идей. В самом деле, априорность последний раз проявилась в качестве политического фактора в среде итальянской демократии в полемической переписке между Буонарроти (отстаивавшим априорность естественного права) и Анджелони (отрицавшим ее) незадолго до 1830 года. Лишь в Южной Италии, у членов неокарбонарских организаций, можно обнаружить в более позднюю эпоху аналогичные формулировки.

Однако эта априорность спустя много лет вновь оживет среди представителей нашего южного анархизма, что даст основание Грамши справедливо заметить, что анархистская «доктрина» сохраняет силу всегда и везде, что она исходит из человеческой «природы», которая должна подчиняться неизменным законам, какими являются как раз «законы природы» [2].

[1] Mazzini, vol. VII, p. 302.

[2] A. Gramsci, L'Ordine Nuovo, 1919—1920, Torino, 1954, p. 457—458. („L'Ordine Nuovo", 20—27 settembre 1919, I, № 19, без подписи.)

Вико, Романьози, Пагано — это божества, к которым Пизакане взывает в своем общественном договоре, пронизанном духом естественно-правовых и просветительных идей. Пизакане (вся деятельность которого была процессом постепенной разработки и вынашивания «Основных принципов», то есть его утопии) писал во введении к «Очеркам»: «Эти мои занятия, которые почти в течение пяти лет не давали мне оставаться праздным, не содержат, конечно, ничего исключительного: основополагающие принципы и наиболее смелые революционные идеи я обнаружил среди замечательных страниц наших философов; я лишь размышлял над ними, размышлял с душой, свободной от предрассудков...» [1] «Согласовать» свою доктрину — доктрину современного революционера с итальянскими просветительными идеями XVIII века и идеями Романьози (стоявшего на рубеже двух эпох) — вот чем больше всего озабочен Пизакане. Оригинальность его теории состоит именно в том, что, несмотря на этот отдаленный отправной пункт, он никогда не терял из виду современную ему социальную действительность. Он — человек второй половины XIX века, который чувствует всю важность социализма и новых проблем, связанных с крестьянскими и рабочими массами. Эти проблемы — он отлично понимает это и говорит об этом — это уже не проблемы 1789 года или 1793—1794 годов, не проблемы, волновавшие участников заговора Бабефа; но, как это ни странно, Пизакане ищет в основном разрешения этих новых проблем не в новой социальной или экономической теории, а в теориях итальянских реформаторов XVIII века. Но что он мог найти у них, кроме того, что Буонарроти нашел у Руссо, возврата к законам природы, к свободе и равенству?

Это не означает, что Пизакане был глух к новым социалистическим проблемам, возникшим в 1848 году и после него. Лишь немногие люди проявляли такой живой интерес, как он, к новым теориям. Он прочел все, что было возможно прочесть в те годы о социализме, рассмотрел самым тщательным образом итальянские социальные доктрины, изучил и понял, пожалуй, лучше, чем кто бы то ни было другой в эпоху Рисорджименто, социально-философское содержание мадзинизма, изучил сочинения французских утопистов, Сен-Симона и особенно Фурье, чьи отправные идеи естественно-правового характера он разделял. Пизакане познакомился с теорией Луи Блана и считал себя до определенного момента особенно близким идейно Прудону. Но все эти системы (и особенно прудонист-

[1] C. Pisacane, Saggi, vol. I, p. 11.

скую систему) он подверг раньше или позже, по существу, беспощадной критике; и если даже Пизакане (как правильно отметил Кантимори) оставался на деле в поле притяжения мадзинизма, то все же именно он положил начало в мадзинистском лагере решительному сдвигу в сторону социализма, именно он содействовал возникновению в итальянском демократическом и рабочем движении первых зародышей той партии, которая впоследствии стала именоваться интернационалистской.

Во всяком случае, определяющим в воззрениях Пизакане всегда оставалось влияние итальянских идей XVIII века, и в особенности идей Романьози, ибо это была относительно более современная итальянская мысль (а он *хотел* разработать свою доктрину именно на основе итальянской мысли). У Романьози он нашел позитивистско-рационалистическую концепцию мира (которая все же была шагом вперед по сравнению с чисто естественно-правовыми идеями XVIII века), материализм и бэконовский экспериментальный метод, который у Романьози был облечен в масонско-деистические формы (а у Пизакане, напротив, вновь обрел ясную форму); у Романьози (а также у Сисмонди) он нашел ту особую критику катастрофических сторон капиталистической экономики, которая положила начало в Европе всей социалистической литературе; он нашел социологию, поиски «единого модуля» социальной реформы, он нашел, наконец, уже ясно сформулированную доктрину, наиболее близкую к современному социализму, доктрину, которая подводила под общественно-идеологическую надстройку экономический субстрат, экономику, настойчиво утверждая, что экономические нужды определяют духовные и политические потребности [1].

Но вернемся к «Основным принципам». Лишь под *защитой* общественного договора плебс сможет избежать того, чтобы «его судьба зависела от воли других». Только тогда его требования *хлеба и работы* не будут встречены так, как их встретило французское собрание в 1848 году,— громом пушек. Вот почему, согласно Пизакане, общественный договор должен быть надежно гарантирован, должен оставаться неизменным и неприкосновенным и не может быть отдан на волю народа. В принципах этого договора — все существо революционной доктрины Пизакане: «Провозгласите их,— пишет он,— как норму вашего будущего общественного договора, и революция будет совершена». Каковы же основополагающие принципы этого нового договора?

«1. Каждый индивидуум имеет право пользоваться всеми материальными средствами, коими располагает общество, дабы обеспечить полное развитие своих физических и духовных способностей, обеспечить свое образование.

2. Абсолютная свобода, пределами которой является свобода других, должна быть неприкосновенна и гарантирована общественным договором.

3. Абсолютная независимость жизни, или возможность полностью располагать своим собственным Я, то есть:

а) полная отмена эксплуатации человека человеком;

б) отмена всякого договора, не предусматривающего полного согласия договаривающихся сторон;

в) пользование материальными средствами, необходимыми для труда, который обеспечивает собственное существование;

г) плоды собственного труда священны и неприкосновенны».

Таковы права каждого, и из них вытекает в равной мере священный долг:

«Каждый должен отдать все, до последней капли крови, до последнего гроша для защиты общества, которое гарантирует ему эти права».

Таков этот договор. Но что побудит массы начать революцию? Что разожжет пламя восстания: их ли зрелость, просвещение их, развитие промышленности или пропаганда современных теорий социализма? Ничего подобного. Тяжесть, жестокость нестерпимой эксплуатации — вот что толкнет их на революцию. Поэтому, по мнению Пизакане, революционная ситуация существует в большей мере в Южной Италии, чем на Севере (особенно в наиболее отсталых районах Юга — в Чиленто, Лукании, Калабрии и Сицилии, где тяжесть гнета была особенно невыносима). Чем более угнетены и задавлены массы, тем больше вероятности и уверенности в неизбежности восстания; следовательно, тем лучше, что в Италии буржуазия не развита в такой степени, как в Англии и во Франции. Чем меньше будет возможности вводить в заблуждение народные массы, тем легче будет совершить революцию,— именно поэтому у Италии, по мнению Пизакане, больше шансов на революционную инициативу, чем у Франции. К этому сводится в сущности мысль Пизакане: она связана не с современным социализмом или с прудонизмом,

[1] М. Пагано также пространно рассматривает в I и II томах своих «Очерков» — но в более общей форме — доктрину «потребностей», которую он считает первым фактором развития человеческого общества и, следовательно, главным фактором исторического и общественного развития.

она носит скорее народнический характер. Революцию вызовут страдания и муки оскорбленных, униженных и угнетенных масс. Если «народ, побуждаемый мучениями, разрушил социальный строй, при котором он жил, тем самым он уже осуществил свое обновление, подобно тому как Природа, находящаяся после землетрясения, казалось бы, в состоянии полного хаоса, применяется снова к своим магистральным законам; точно так же, повинуясь велениям необходимости, прекращается анархия [анархия абсолютистско-феодальная и капиталистическая.— *Д.Б.*], и общество, не зависимо от всякой доктрины, возрождается в соответствии с принципами, которые наиболее подобают ему...», то есть в соответствии с «законами Природы, которые являются единственно возможными», ибо, если эти законы подвергнутся ограничению, «общество вновь испортится, снова двинется к революции».

Как известно, социальная панацея Прудона состояла в реформе организации кредита [1]. Прудон проповедовал основанную на принципах равенства организацию кредита с целью прогрессивного сокращения процентов, прибыли, доходов, налогов и заработной платы (сокращения, которое в пропорциональном отношении было бы выше для банковских процентов, прибыли и доходов и ниже для заработной платы). По существу, речь шла об устранении отрицательных сторон капитализма и о сохранении его положительных сторон, сводящем к минимуму неравенство между капиталистами и пролетариями, примиряющем интересы, «улучшающем» капитализм. Фразеология Прудона была крайне радикальной, но сущность его идей была именно такова. Взгляды Пизакане были радикальными совсем по-другому, не по форме, а по существу; в них нет и тени этой прудонистской теории. Более того, вся доктрина Пизакане направлена именно против разрешения социальной проблемы реформистским путем. Для Пизакане речь идет о разрушении до основания старого строя и о возвращении к естественным законам. Разве можно найти у Пизакане хотя бы малейший намек на принцип взаимного и дарового кредита, как непременного условия для утверждения социальной независимости? Разве можно найти у Пизакане различие — основополагающее для Прудона — между владением и собственностью, из которого вытекает, что нужно ликвидировать собственность и сохранить владение и что достаточно одного этого изменения, чтобы все переделать коренным образом — «законы, правительства, экономику, учреждения»? [1] Разве истоки социальной доктрины Пизакане носят не естественно-правовой, а экономический характер, как у Прудона? Конечно, и у Пизакане, как и у всякого утописта, была своя панацея, но она состояла в полном и насильственном разрушении существующего общественного строя и в возврате к естественным законам (в духе идей XVIII века и карбонариев). Разве было что-либо похожее в доктринах Прудона?

Прудонистский принцип, который усвоил Пизакане, который он включил в свою систему, сводится к следующему: политика есть наука свободы, управление человека человеком — в какой бы то ни было форме — есть угнетение, а тот, кто принуждает меня, дабы управлять мною, является угнетателем; следовательно, возврат к естественным законам он связывает с утверждением анархистского социалистического общества. Несомненно, это главный элемент, заимствованный им у прудонизма, но этот элемент становится составной частью доктрины, резко отличающейся от прудонизма и предусматривающей разрешение социальной проблемы совершенно иным путем, чем тот, который так горячо отстаивал Прудон.

Словом, оригинальная социалистическая конституционная доктрина общественного договора не вмещается в рамки современного социализма, и ее невозможно найти в утопическом социализме начала XIX века, у Сен-Симона, Оуэна или Фурье; конечно, она не имеет ничего общего ни с прудонизмом, ни с народничеством (а о марксизме нечего и говорить).

На кого же опирался Пизакане, разрабатывая планы иерархически-анархистской, конституционной, социалистической организации? Мы уже называли Романьози, но, возможно, в зародыше Пизакане нашел эту систему в сочинениях Марио Пагано, в оригинальнейшей идее конституционного *эфората,* впервые сформулированной Пагано. Вспомним, как Куоко хвалил Пагано за идею эфората, который оберегает конституцию и, не имея ни законодательной, ни исполнительной власти, наблюдает за поведением всех. Куоко хотел бы только, чтобы эфорат функционировал не 15 дней в году (как это было предусмотрено в проекте конституции Марио Пагано), а постоянно [2]. Вполне вероятно, что эта идея Пагано, дополненная Куоко, слилась в уме Пизакане с принципами того, что Романьози называл «высшим законодательством», законодательством, разработанным «одним-единственным», мудр-

[1] См. P. J. Proudhon, La solution du problème sociale, Paris, 1848.

[1] P. J. Proudhon, Qu'est ce que la propriete, Paris, 1840.

[2] См. V. Cuoco, Frammenti di lettere a Vincenzio Russo, в „Saggio storico sulla Rivoluzione napoletana del 1799", Bari, 1913, p. 255.

рым законодателем; а также переплелась с современными социалистическими идеями (поскольку в договоре явно выступают передовые, даже самые передовые социалистические идеи своего времени) и вылилась в эту любопытную и оригинальную концепцию неизменных скрижалей социализма, не зависимых от народного суверенитета и стоящих над ним.

Из Основных принципов, провозглашенных в 1849 году в качестве введения к конституции Римской республики, Пизакане взял лишь одно выражение, а именно «основные причципы», и только. Больше того, его «Принципы», теоретические и социальные положения которых сформулированы в самой категорической форме, резко противостоят демократическим положениям конституции Римской республики, которую Пизакане рассматривал как совершенно неудовлетворительную и туманную. Он считал, что не может быть подлинной демократии без социализма. Но, как отмечал Демарко, когда в Риме в 1849 году говорили о чистой демократии, «то тем самым хотели сказать, что новый строй не является ни коммунистическим, ни социалистическим, что он не предполагает ни равенства имуществ, ни равенства оплаты, ни общественных форм жизни» [1]. Впрочем, что касается этого политического опыта, то Пизакане занимал настолько противоположную позицию, что никогда даже не упоминал о мерах социального характера (пусть даже ограниченных), которые провело или пыталось провести это правительство.

Однако было бы ошибкой делать из всего сказанного тот вывод, что доктрина революции Пизакане опирается исключительно на идеи XVIII века и полностью противоречит мадзинистской революционной теории. Дело обстоит не так. По сравнению с мадзинизмом доктрина Пизакане облечена в современные формы и внешне действительно резко противоречит ей, но не нужно забывать, что речь идет о диалектическом противоречии, которое, для того чтобы понять, следует рассматривать в становлении. Тогда картина изменится, и еще как! Тогда реальная действительность, которая не имеет ничего общего со схемой, которая есть сама жизнь, одержит верх и отвергнет не только мнимые, но и реальные противоречия.

Какая же картина предстанет перед нами? Первоначально теоретические позиции Пизакане были еще не особенно четкими (28 января 1847 года он писал: «Естественные законы являются самыми совершенными и единственно законными, ибо они созданы Богом и Природой — тем или другим, это, в сущности, ничего не меняет»); в 1849 году его теоретические взгляды приближаются к взглядам Мадзини (статьи в «Италиа дель пополо»); в 1850—1851 годах и в последующие годы Пизакане, все еще связанный, по существу, с идеями своих предшественников, идеологов XVIII века, знакомится с французскими, русскими и другими европейскими социалистическими теориями, что приводит его к резкому расхождению с идеями Мадзини, самому настоящему столкновению символов веры: идеализм — материализм, религия — атеизм, примирение классов — классовая борьба и радикальная социальная революция. Столкновение носило резкий, драматический характер: перед нами — в этом нет никакого сомнения — самый резкий внутренний разрыв в среде итальянских демократов.

Но Мефистофель неизменно присутствует при этом процессе развития, он всегда за работой, и дело не ограничивается этим.

Коротко резюмируем основные противоположные положения той и другой теории.

Для Мадзини носителем суверенитета является бог, для Пизакане — материя, природа, natura naturans, как сказал бы Спиноза. Бог Мадзини открывается людям исключительно через *закон прогресса,* это единственная форма его существования (в сущности, это единственная догма Мадзини, но является ли она религиозной?). Люди, осененные «гением и добродетелью», открывают этот закон прогресса другим людям, фиксируя в новом и вечном кодексе права и обязанности человека. Пизакане не знает ни бога, ни догм (но что такое «вечные законы Природы», лежащие в основе общественного развития?), ни законов бога, ни, подчеркнем это, законов людей, но лишь вечные, неизменные законы, созданные Природой. Следовательно — не бог и народ, а Природа и народ. Однако истолкователи закона бога или законов Природы на земле как для Мадзини, так и для Пизакане (а это главное) одни и те же, а именно интеллектуальная *элита* общества: таков сен-симонистский ключ к новому общественному строю, который Мадзини заимствовал непосредственно у Сен-Симона; Пизакане также заимствовал его у последнего, но, весьма возможно, косвенным путем, через работы Мадзини или Прудона, а быть может, и обоих.

Мадзини утверждает, что то, что называется *законом прогресса* (для всего сообщества людей), для индивидуумов является *моральным законом.* Пизакане возражает, что лишь

[1] D. Demarco, La rivoluzione sociale. La Repubblica romana del 1849, Napoli, 1944, p. 240.

материальные интересы движут людьми и что именно эти материальные интересы (соответствующие законам природы) и представляют собой единственный и истинный *моральный закон*. Рассматриваемые статически, эти две доктрины кажутся крайне различными и резко противостоящими друг другу; на самом же деле в процессе исторического становления на первый план выступали время от времени то противоречивые черты, то сходные. Но это происходило, конечно, не потому, что Пизакане в известный момент склонялся к доктрине Мадзини (как предполагал Росселли), или потому, что Мадзини в определенных обстоятельствах принимал, хотя бы в минимальной степени, идеи Пизакане, но потому, что эти две доктрины революции возникли на одной и той же почве и отражали две стороны одной и той же действительности, непрерывно сообразуясь с ней и подчиняясь, по существу, одним и тем же законам развития.

Иной была судьба политических доктрин, не имевших между собой никакой внутренней связи, обнаруживавших явное несходство, поборники которых не проявляли порой никакого интереса к доктринам друг друга.

Возьмем, к примеру, идеи Каттанео, которые, несомненно, и после 1848 года оставались демократическими, республиканскими. Каков же стержень политических воззрений Каттанео? Это мирное развитие промышленности и капитализма, которое призвано оживить своим благотворным влиянием самые отсталые области экономики, проникнуть в сельское захолустье, вдохнуть в него жизнь и поднять доходность сельского хозяйства, охватить и бедные слои населения, улучшить их положение и в конечном счете привести к сосуществованию экономической системы, базирующейся на капиталистической концентрации, с политической системой федералистской децентрализации по типу Швейцарии или Северной Америки. При этом возникает вопрос: существует ли реальная, глубокая внутренняя связь между этой доктриной и теориями Пизакане и Мадзини?

Комплекс идей Пизакане и Мадзини отличает в первую очередь безграничная вера в их утопию, вера почти религиозная (и Мадзини был совершенно прав, когда называл *религией* патриотическо-гуманистическую веру Пизакане — это была, если хотите, атеистическая религия, но все же, несомненно, *религия* в этимологическом смысле этого слова). Впрочем, если взять обратную сторону медали, то возникает вопрос: что же это была за религия у Мадзини, которая не предусматривала ни теологических догм, ни священников, ни церкви, ни культов, чье учение — духовная миссия человека и чья догма — именно догма, пусть и не религиозная,— «замена догмы грехопадения и искупления милостью божьей законом прогресса»? [1] Эта догма была *новым социальным законом, новым социальным порядком*.

Напротив, иконоборец Феррари стоял, несомненно, на самых демократических позициях, но у него не было никакой веры — ни идеалистической, ни материалистической, и исследование его доктрины доказывает, что в ней преобладало влияние анемичного и эклектического идеализма и что Феррари не обладал монистическим мировоззрением.

Конечно, *иррелигиозность* была у Феррари философским принципом, доведенным до крайности, но ее политическое значение состояло главным образом во враждебном отношении к папству. Заметим, однако, что и Пизакане и Мадзини относились к папству столь же враждебно, но они стояли на более реалистических позициях, ибо не проповедовали, подобно Феррари (и не более, не менее, как крестьянам!), «войну против Христа». Пизакане выдвигал на первый план борьбу за осуществление материальных интересов, что же касается. Мадзини, то его бог очень походил на специально сконструированный рычаг, с помощью которого, опираясь на народ, собирались вырвать почву из-под ног у католической церкви и папства, а вместе с этим — и у всякой другой законно установленной церкви, какой бы характер ни носило его мистико-романтическое и обожествляемое *социальное государство*.

Пизакане утверждал атеизм в теоретическом плане, но не включал его в свою конкретную политическую программу, которая была нацелена на самое существенное — утверждение социалистической власти, опирающейся на свою собственную военно-революционную организацию. Это было для него главным, и если эта программа будет осуществлена, ему не страшны даже сто папств, и не потому, что он думал о принуждении и насилии, нет, просто он глубоко верил в силу законов природы, которые, будучи освобождены от пут реакционного государства и церкви, быстро и легко опрокинут фальшивых и лживых богов.

Да и была ли *иррелигиозность* Феррари столь же революционной по существу, как это казалось внешне? Иррелигиозность не является тем принципом, который может внушить страх, когда он существует изолированно: он приобретает революционное значение только в том случае, если последова-

---

[1] Mazzini, vol. XCII, p. 152.

тельно и органически, внутренне связан со всей революционной философией и с революционной политикой. Но философская система Феррари была полуидеалистической, дуалистической, скептической, и в этой системе иррелигиозность не могла обрести ту силу, которую ей придало бы монистическое мировоззрение.

То же самое можно сказать о другом ките его доктрины — об *аграрном законе,* который имеет революционный смысл тогда, когда он является составной частью определенной социальной и экономической системы, четко очерченной политической доктрины и программы действия. У Феррари же он выступает в форме философской абстракции и, по существу, остается изолированным, туманным, связанным с очень условным тезисом о ликвидации права наследования и с общим направлением моралистическо-философского толка.

Ниже мы приводим сравнительную схему революционных социальных доктрин Пизакане и Мадзини в надежде, что это может принести хотя бы небольшую пользу.

| Мадзини | Пизакане |
|---|---|
| 1. Носителем суверенитета является Бог, не христианский, не какой-либо иной, но Бог, изобретенный Мадзини, дабы он мог проявлять себя на земле | 1. Носителем суверенитета является Природа. |
| 2. через *закон прогресса.* | 2. Суверенитет проявляется в общественном устройстве через вечные *законы природы,* |
| 3. Единственным истолкователем *закона прогресса* является народ, но „указующие путь, вожди — это добродетель и гений", поэтому гений устанавливает, в чем заключается *закон прогресса* и как он проявляется на земле. | 3 которые гений фиксирует в общественном договоре, подлежащем утверждению народа; однако народ не обладает по отношению к нему ни учредительной, ни законодательной властью и, следовательно, не может изменить договора — он имеет лишь право принять или отвергнуть его, а не предложить на своих собраниях новый договор. |
| 4. *Закон прогресса* воплощается в *новой общественной системе,* девизом которой является „Бог и народ, свобода и ассоциация". | 4. *Законы природы* воплощаются в *новой общественной системе,* чей девиз — „Свобода и ассоциация". |
| 5. Эта система не является для Мадзини ни социалистической, ни капиталистической: ее основой служит труд и ассоциация труда и капитала в рамках кооперативной системы производителей и мелких собственников; эта система является отправным пунктом на пути достижения общества свободных и равных людей, способных к совершенствованию. | 5. Эта система является социалистической и утверждается в результате народной революции, которая экспроприирует богатства и средства производства и устанавливает новое общество, являющееся анархистско-коммунистической ассоциацией, основанной на обобществлении этих богатств и этих средств производства. |

Итак, эти две доктрины имеют, несомненно, много общего, но в то же время они таят непримиримое противоречие, и как это сходство, так и противоречие время от времени, в соответствии с развитием событий, проявлялись со всей силой.

Только этим можно объяснить, почему эти два человека, искренне сотрудничавшие и благожелательно относившиеся друг к другу в 1849 году, с такой же искренностью выступали друг против друга в период с 1850 по 1855—1856 годы, а в 1856—1857 годах снова действовали сообща, обнаруживая взаимное уважение и преданность и сохраняя в то же время неизменную верность своим идейным убеждениям.

Это объясняет, почему уже после гибели Пизакане, после 1860 года, снова разгорелась борьба между этими двумя доктринами, и на этот раз — по очевидным причинам — уже непримиримая.

Подведем некоторые итоги. «Войну в Италии» нельзя целиком вписать в актив Пизакане. Эту книгу одобрил Каттанео, который уже отошел к тому времени навсегда от активной политической деятельности,— одобрил, быть может, именно за то, что не является ее достоинством,— за беспощадную критику мадзинизма и гарибальдизма. Каттанео вряд ли мог оценить политический ущерб, который причинил демократической партии этот новый болезненный и резкий разрыв с Мадзини и Гарибальди, тот вред, который принесли эти семена раздора, брошенные в среду «Партии действия».

Даже учитывая, что в 1849 году Гарибальди еще не был таким, каким он стал в 1860 году, нужно все же признать необоснованной парадоксальную и ожесточенную критику гарибальдизма со стороны Пизакане, необоснованной даже с точки зрения социального содержания, которое следовало

придать движению за национальное объединение, ибо гарибальдийское движение также имело социальное содержание, неопределенное и туманное, если хотите, но все же народное и даже плебейское, отличавшееся глубоким и широким демократизмом. Это доказывает тот факт, что в кульминационный момент воссоединения умеренные были озабочены именно тем, как бы устранить эти социальные тенденции гарибальдизма и самого Гарибальди с итальянской политической арены.

Сама огромная популярность Гарибальди в армии волонтеров не содержала в себе ничего «низкого», «ничего опасного», как это казалось Пизакане. Популярность Гарибальди была в период Рисорджименто, да и после него (вплоть до наших дней) прогрессивным фактором, была одним из тех демократических элементов, которые сохранились и в конституционно-монархической Италии после 1860 года. Антонио Лабриола, используя живой образ, справедливо отмечал, что если хотят понять Италию в период после Рисорджименто, то не должны забывать, что ее патриотическими гимнами были королевский марш, но вместе с тем и гимн Гарибальди и что гарибальдизм (поскольку «Партия действия» стала утрачивать свое значение) воплощал в себе, пожалуй, лучше, чем какая-либо другая тенденция, тот светский, народный, демократический дух, который остался жив после 1860 года. Гарибальди не был диктатором южноамериканского типа, он был совершенно чужд всяким попыткам теоретического обоснования (чего нельзя сказать о Пизакане) концепции выдающейся личности, гения, героя. Он обосновывал военную диктатуру достаточно разумно, как неизбежную необходимость демократической дисциплины и военной политической организации в борьбе против ретроградных сил.

А разве можно считать полностью демократической систему, с помощью которой, согласно Пизакане, должны избрать высшего военного руководителя в революционной войне? В «Войне в Италии» он утверждает, что ни народ, ни палата депутатов, ни правительство, избираемое народом или его представителями, а «самые способные военачальники государства после короткого обсуждения способа ведения войны» должны будут избрать «из своей среды руководителя, талант которого поставит его над всеми остальными». В «Основных принципах» Пизакане внесет в эту военную организацию изменение, но, по существу, незначительное: граждане-воины будут избирать офицеров, а эти последние в свою очередь будут избирать генералов. Таким образом, эта система выборов носит целиком военный характер, она независима от народной политической власти.

Пизакане, по-видимому, полагал, что подобным образом удастся преодолеть «индивидуальный культ» Гарибальди, который был распространен среди волонтеров. Во всяком случае, это соображение лежало в основе идеи, которой была подчинена военная система, предложенная им после 1849 года. На деле же если бы в 1849 году был применен принцип избрания, то Гарибальди, конечно, не получил бы голосов Розелли, Пизакане и Биксио (того самого Биксио, который впоследствии столь радикально изменил свое отношение к Гарибальди), но тем не менее он был бы все же избран. И разве в конечном счете не высказался в пользу Гарибальди и сам Пизакане в 1856 году, когда ему и Мадзини казалось, что настал момент для решительного революционного выступления?

Пизакане доказывал в «Войне в Италии», что Гарибальди следовало отодвинуть в сторону, по крайней мере как военного руководителя («те граждане, которые в прошлой кампании по своему желанию выступили с оружием в руках, заслужили репутацию храбрецов, но не полководцев; следовательно, сами дела вынесли им свой приговор» [1]); он доказывал также, что в момент будущего итальянского восстания во главе вооруженных сил должен встать не предводитель неорганизованной и разнузданной толпы людей, но подготовленный военный деятель, которого выберут из своей среды наиболее способные военачальники. Больше того, 19 июля 1855 года в письме в «Италиа э пополо» Пизакане косвенно подтвердил это свое мнение, направив острие критики скорее против Гарибальди, чем Мадзини: «в 1848 году мы были побеждены, поэтому следует сменить людей и принципы» [2].

Бедный Пизакане! Именно он вместе с Пило вынужден был писать 24 сентября 1856 года Бертани, как раз в тот момент, когда шла подготовка восстания, которое, как им казалось, должно было стать решающим: «Не нужны ни сила, ни советы; нужны мужественные люди, нужен Гарибальди, а также моряки и оружие. Ты можешь сам выбрать человека, но им может быть лишь Гарибальди, всякий другой вместо него будет отвергнут». Но тогда именно Гарибальди отклонил это предложение, а также и Бертани (и это не давало покоя Пизакане).

Каким разобщенным, раздробленным был лагерь итальянской демократии и какие противоречивые мучительные поли-

[1] C. Pisacane, Guerra combattuta, p. 307.
[2] C. Pisacane, Epistolario, p. 195.

тические отношения складывались в нем! Как глубоко был прав Мадзини, советуя Пизакане в 1850 году умерить свою резкую критику Гарибальди. Какой смысл, например, имело писать (как писал в «Войне в Италии» Пизакане), что «так же, как Карла Альберта объявили великим предводителем монархистов, поскольку у него была армия, так и Гарибальди, не имевшего армии и не сражавшегося, объявили предводителем республиканцев»? Не имевшего армии и не сражавшегося? Какой смысл имело дискредитировать героическую военную борьбу Римской республики, недоброжелательно толковать о событиях при Веллетри или легендарном отступлении гарибальдийцев в 1849 году, которые во сто крат приумножили популярность Гарибальди в Италии и во всем мире? Ведь это были не только военные эпизоды, но и политические факты огромного значения. Пизакане мог писать все что хотел, но именно после 1849 года Гарибальди стал не только итальянским народным героем, но и героем целой исторической эпохи. «Война в Италии» нисколько не поколебала этой популярности, а гневное молчание Гарибальди лишь усилило ее.

Нельзя, конечно, сказать, что совет, данный Мадзини Пизакане (каким бы он ни был справедливым), был совершенно бескорыстным. В самом деле, ведь полемика Пизакане была направлена также и против него, и обвинение «в низком и опасном культе индивидуума» касалось также и Мадзини. Но тем не менее он видел дальше Пизакане. Конечно, необходимо было придать итальянской демократии более глубокое социальное содержание, с тем чтобы сделать ее действия более эффективными. Но эту цель нельзя было достичь, внося раздоры и разлад в демократическую партию.

Именно это утверждал Мадзини, и именно этого не понял Пизакане в 1850—1851 годах, когда ему казалось, что народ опередил партии и готов на все и что вся проблема состоит в том, чтобы разработать правильную социальную программу и создать социалистическую партию, которая стала бы руководителем масс. Достаточно сделать лишь это, и национальная и социальная революция будет совершена. А посему — пусть демократическая партия расколется хоть на тысячу кусков — настолько она оказалась бесполезной в 1848 году. Пусть будут разбиты идолы, которым доселе напрасно поклонялись,— Мадзини, Гарибальди. Кризис демократической партии облегчил бы создание новой, революционной социалистической партии.

Но за годы, прошедшие после государственного переворота 2 декабря 1851 года, умеренное движение угрожающе усилилось, к тому же на опыте пятилетия 1852—1856 годов Пизакане убедился, что дело обстоит отнюдь не так, как это рисовало ему исполненное энтузиазма воображение борца 1848—1849 годов.

С одной стороны, попытка создать социалистическую партию на развалинах старой мадзинистской партии окончилась полной неудачей. Пизакане оказался изолированным. Он отошел от Мадзини и Гарибальди, но ему не удалось на деле сблизиться ни с Каттанео, ни с Макки, ни с Феррари, ни с Монтанелли. Весь лагерь демократии, охваченный шатаниями, оказался расколотым. С другой стороны, в обстановке явного спада революционной волны народные массы, казалось, вновь впали в пассивность и апатию. И федералисты не проявили намерения приступить к действию и преодолеть эту силу инерции. Что оставалось Пизакане, как не обратиться снова к своим вчерашним друзьям, к тем, кто всегда готов был к борьбе? Отсюда его новое сближение с Мадзини и его новые попытки установить контакт с Гарибальди и Бертани. Дело в том, что федералисты с их пассивным доктринерством вызвали у Пизакане глубокое политическое разочарование, гораздо более глубокое, чем это принято думать. Вот почему, хотя Пизакане нисколько не склонялся к мадзинистской доктрине, а Мадзини вовсе и не думал принимать материалистический социализм Пизакане, сама жизнь неизбежно свела их друг с другом

Итальянская демократия еще до того, как Пизакане опубликовал «Войну в Италии» и «Очерки», разделялась главным образом на две школы: рационалистическую и позитивистскую школу, отправлявшуюся от учения Романьози и сосредоточившую все свои усилия на теоретической деятельности (к ней принадлежал Каттанео, Макки, Феррари), и романтическо-идеалистическую школу, отправлявшуюся от идей Сен-Симона и целиком подчинившую себя задачам борьбы, школу, главой которой был Мадзини. Хотя Пизакане и был связан корнями с идеями Просвещения и Романьози, он никогда не принадлежал ни к той, ни к другой школе. Он склонялся то в одну, то в другую сторону, но всегда предупреждал, что как то, так и другое направление не указывают вполне правильного пути. Поэтому он попытался наметить свой собственный, третий путь и с помощью своей доктрины и в еще большей степени — собственной крови спаять эти два течения, но историческое значение этой попытки демократы осознали лишь после 1860 года.

ГЛАВА IV

# Пизакане. От работы над „Очерками“ к соглашению с Мадзини

Отказ Карло Каттанео от создания организации, которая походила бы на третью партию и противостояла бы как умеренным, так и мадзинистской партии, имел тяжелые, непоправимые последствия.

Каттанео был непоколебим. Впрочем, чем могла бы стать такая партия? Она могла бы иметь значение, если бы Каттанео принял социалистические воззрения своих друзей, однако он оставался чужд им. Общее философское направление рационалистического или позитивистского толка могло лечь в основу школы, кружка, но не партии, для которой необходима общая политическая программа, общий план действий, не существовавшие, поскольку исключались или отвергались задачи радикального социального переустройства.

Самый федерализм или не принимался некоторыми (Пизакане, Де Бони, Музолино), или по-разному истолковывался (Феррари, Каттанео). Эта группа, безусловно, вела свое происхождение в значительной степени от общей философской школы, но в политическом отношении она была более разнородной, чем мадзинистская группа Общими были отправные позиции, но затем каждый шел своим путем. И когда пытались действовать совместно, становилось ясно, как они расходятся между собой.

«Война в Италии» представляла собой книгу, в которой Пизакане (как он писал Каттанео 31 июля 1851 года)[1] «постарался показать, что республиканской партии не существовало». Но их группа также оказалась не в состоянии создать последовательно радикальную республиканскую партию, делающую упор преимущественно на социальные проблемы. Им не удалось прийти к согласию ни в одном элементарном вопросе, даже в вопросе о федерализме.

В тот момент, когда Пизакане начнет осознавать свой отход от группы, возглавлявшейся Каттанео, он ясно выскажет в письме от 17 января 1853 года свое мнение: «Я не нахожу, чтобы уязвимым местом Мадзини был его унитаризм . вопрос настолько запутан, что я не мог бы с полной уверенностью назвать себя федералистом или унитарием в том смысле, в каком до сих пор истолковываются эти понятия» [1]. Впрочем, федерализм сам по себе, как политическая тенденция к областной автономии и децентрализации, лишенный социального содержания, не только не был концепцией, которая могла стать платформой партии, но в борьбе, имевшей своей главной целью создание единого национального государства, играл роль опасной центробежной тенденции.

Среди сторонников этой группы Каттанео был наиболее трезво мыслящим деятелем, рассматривавшим децентрализацию прежде всего с точки зрения защиты буржуазных экономических завоеваний Ломбардии и Тосканы (тех итальянских районов, которые, по его мнению, сделали бы шаг назад, если бы были поглощены Пьемонтом с его отсталой социально-экономической структурой); Каттанео осознал опасность, которая таилась в анархическом профранцузском федерализме Феррари, и не поддержал его в этом отношении.

Когда Пизакане понял, что с «огшельником из Джинестрерии» (Каттанео) ему не добиться согласия даже в главных вопросах, что с тем же Феррари его разделяют глубокие разногласия, что ему будет трудно оказать решающее влияние на других,— он отказался от всяких попыток в этом направлении. Пизакане примкнул к генуэзскому Военному комитету (что позволяло ему быть осведомленным о любой возможной попытке практических действий) и стал участвовать в конспиративной деятельности эмигрантов-патриотов, обосновавшихся в этом городе, но эта деятельность была у него на втором плане, и все свое внимание и усилия он посвятил изучению литературы, которая должна была помочь ему приступить вскоре к написанию сочинения, принявшего затем форму его «Очерков».

Как шла работа над «Очерками»? Пизакане опирался на немногочисленные источники, его излюбленными философами были Вико, Кампанелла, Куоко, Филанджери, Пагано, Бек-

[1] См. C. Pisacane, Epistolario, p. 129.

[1] C. Pisacane, op cit., p. 156.

кариа, Романьози. Он познакомился с некоторыми работами современных ему французских социалистов (но отрывочно и всегда воспринимая их идеи критически); среди них следует назвать лишь Прудона и Фурье, ибо упоминания о Луи Блане, Кабе и Оуэне носят критический или чисто случайный характер. Среди политиков и теоретиков военного искусства он использовал главным образом работы любимого им Макиавелли, среди историков средних веков и нового времени он изучил, помимо Макиавелли («Государь» и «Рассуждения на первую декаду Тита Ливия», по-видимому, были его настольными книгами), Сисмонди, чьи идеи он использовал весьма широко в своих «Очерках», Джанноне, Коллетта и Ботта; что же касается военного дела, то он охотно обращался к своим смелым учителям по «Нунциателле», прежде всего к д'Айала, а также к работам великих полководцев всех времен — от Юлия Цезаря до Монтекукколи, от Фридриха II до Наполеона. В этой области он разбирался превосходно.

Пизакане мало интересовала политическая экономия; он был знаком с «Историей итальянских республик в средние века» Сисмонди, но не похоже, чтобы он глубоко знал его экономические теории. Конечно, общие воззрения Сисмонди на социально-экономические проблемы ему были известны (он ссылается на полемику Сисмонди с Мадзини), но что касается экономического субстрата общества и его определяющего влияния на социально-политические отношения, то Пизакане, по-видимому, в большей степени опирался на писателей XVIII века — Филанджери, Беккариа, Куоко, Пагано и особенно Романьози. Его замечания об экономистах в собственном смысле этого слова носят поверхностный характер (например, он бегло упоминает Тюрго и Бастиа), и если исключить более углубленное рассмотрение Мальтуса, «Очерки» не дают никакого основания предполагать, что Пизакане имел глубокое представление о современной ему политэкономии. Итальянскую философию он изучил как мог, во всяком случае с энтузиазмом, хотя и не беспристрастно. Как и многие другие, он не был непосредственно знаком с немецкой классической философией: приводимые им цитаты из Гегеля, Фихте и Канта носят случайный, второстепенный характер.

Но было бы ошибкой рассматривать это чтение, эти занятия как обычные занятия ученого, заботящегося о своей философской и научной подготовке. Нужно учитывать, чем руководствовался Пизакане в этих занятиях. У него уже была своя идея. В самом деле, научные занятия не были для него самоцелью: он стремился найти у итальянских философов, с которыми был уже знаком и у которых уже заимствовал некоторые важнейшие мысли, такие аргументы, которые позволили бы ему дать более прочное теоретическое обоснование этой своей «идеи», своей «концепции», своей социальной утопии. Вот почему изучение работ Пизакане, самое внимательное их сопоставление с теми источниками, которыми он пользовался (хотя бы это сопоставление было проведено самым тщательным образом, как того требуют подобного рода исследования), не привело бы к большим открытиям. Занявшись этим чтением, Пизакане уже знал, что он *хотел* найти в этих работах, причем нужно сказать, что теоретическая мысль XVIII века могла предоставить в изобилии аргументы для его концепции общества, преобразованного на основе естественных законов, после того как разрушен несправедливый общественный строй.

Уже слова Дж. Бруно, взятые в качестве эпиграфа к «Очеркам» («Не бойтесь плыть против течения; было бы низостью думать так, как чернь, только на том основании, что она образует большинство»), предвещают содержание этих четырех томов. Они предвещают критическое отношение Пизакане не только к «черни», рассматриваемой как инертная косная масса, цепляющаяся за прошлое, но и к плебсу, который (хотя, конечно, и не по своей вине) оставался невежественным на протяжении многих веков рабства. Этот эпиграф предвещает не очень-то высокое мнение Пизакане о большинстве, которое, если оно не просвещено идеей, не может двинуть вперед развитие общества. Предисловие дает представление об общем замысле работы. Для Пизакане «всякая нация имеет собственное *бытие*», собственное сознание, определяемое характером народа, его традициями, условиями, в которых он живет, надеждами на будущее, и «революция является не чем иным, как свободным проявлением этих национальных особенностей, которые — и это особенно важно — не могут быть переданы одной нацией другой» [1]. Следовательно, Пизакане хорошо усвоил урок Куоко, но особенно глубоко укоренилась в его сознании мысль, что было бы «грубейшей ошибкой» считать, будто революция в Италии может произойти таким же образом, как и во Франции.

Не вызывает никакого сомнения, что в этом отношении его позиция была значительно более реалистической и трезвой, чем позиция Феррари: в самом деле, исторические условия Италии и Франции были совершенно различны. Франция уже

[1] C. Pisacane, Saggi, vol. I, p. 5.

была единым национальным государством, а Италия — нет. Во Франции буржуазия уже стояла у власти, формирование современного пролетариата зашло уже далеко, чего не было в Италии. В Италии социальная революция могла лишь переплестись с национальным движением, тем основным движением, в котором участвовали все социальные слои нации. Проблема состояла в том, чтобы вовлечь в него народные массы, прежде всего крестьянство, превратив национальное движение в социальную революцию. Таким образом, идея (отстаиваемая Мадзини и Пизакане), согласно которой Италия была ближе к революции, чем Франция, и в Италии было больше возможностей для революционной инициативы, чем во Франции,— эта идея объективно опиралась на тот факт, что в Италии на повестке дня стояла национально-буржуазная революция. Поэтому надежда на то, что в ходе этой революции, возможно, удастся преодолеть ее классовые границы, как думал Пизакане, имела, бесспорно, определенные основания, хотя Италия в экономическом и промышленном отношении была более отсталой, чем Франция (и даже именно в силу этого).

Во всяком случае, это мнение было более обоснованным, чем точка зрения Феррари, Монтанелли и всех тех, кто полагал, будто инициатива должна исходить именно от Франции, поскольку во Франции на повестке дня стоит социалистическая революция. Подобная точка зрения была ошибочной, ибо, если общепризнанным было убеждение, что национально-буржуазная революция назрела в Италии (и в самом деле, она произошла спустя некоторое время), то столь же бесспорно иллюзорной была вера в то, будто Франция находится накануне социалистической революции. Пизакане был прав, утверждая, что буржуазия во Франции уже завладела властью и что будет нелегко отнять у нее эту власть.

Идеи Пизакане об итальянской инициативе и о возможности превращения национального движения в движение социалистическое были близки некоторым образом идее исторического скачка, присущей народничеству. Конечно, в России проблема стояла по-иному: здесь также было уже создано единое национальное государство. Но сходство все же было, ибо русские народники (здесь нет смысла углубляться в их доктрины) полагали, что именно в силу отсталости их страны в момент, когда в соответствии с велением времени разразится революция, в России будет легче «перепрыгнуть» ступень капиталистического развития, преобразовав патриархальную крестьянскую экономику в экономику коммунистического типа.

Из этого *первого* тезиса — то есть возможностей, которые представляло национальное движение для социальной революции,— вытекал *второй* тезис Пизакане, а именно, что в Италии буржуазия не является столь сильным и опасным противником, как во Франции, поскольку ее экономическая база не так прочна и обширна и она не обладает властью (ведь она должна была восстать, чтобы овладеть ею), что духовенство как социальная сила играет в Италии менее значительную роль, чем в родственной нации за Альпами, что главным противником остаются, следовательно, иностранные штыки. Отсюда вытекает необходимость, на которой он постоянно настаивает, связать «неразрывным образом военную конституцию с гражданской» [1] и, не довольствуясь волонтерством, разработать «военный статут», который дал бы всестороннее национальное разрешение военных проблем революции. Во всяком случае, для Пизакане (как мы уже хорошо знаем) материальная революция не может восторжествовать, если народ еще не прошел через «революцию идей, которая должна всегда предшествовать материальной революции», если отсутствуют «мыслители, которые в тиши кабинета изыскивают средство для исцеления страданий народа... народа, восставшего прежде, чем он узнал, какие средства способны исцелить его от мучения, и потому потерпевшего поражение» [2]. Отсюда следует самый главный из выводов: чтобы революция восторжествовала, необходимо открыть, сформулировать и установить еще *до* начала восстания новую военную и социальную конституцию. В этих двух тезисах и в этом главном выводе — существо всей теории Пизакане.

Впрочем, Пизакане был не единственным среди демократов Королевства обеих Сицилий, который подобным образом ставил вопрос о превращении революции за национальное объединение в революцию социальную. Музолино также полагал, что национальной революции должно сопутствовать (или за ней непосредственно должно последовать) утверждение новой конституции, которая, преодолев «нарушение экономического и политического равновесия», приведет к разрешению раз и навсегда социальной проблемы, положив конец революциям и классовой борьбе и окончательно установив мир между людьми. Музолино полагал, что социальный вопрос, возникший ранее в других странах, именно в Италии найдет своих законодателей, которые дадут ему окончательное разрешение. Мы уже видели, что идеи других южных демократов крайнего толка, таких, как Мило Гуджино, Кальви, Фри-

[1] C. Pisacane, Saggi, vol. I, p. 7.
[2] C. Pisacane, Guerra combattuta, p. 316.

ша, Ланди, Фодера́, хотя они и отправлялись от различных позиций, развивались если не в том же самом, то, во всяком случае, отчасти в аналогичном направлении.

Пизакане опасался, как бы его не обвинили в выдвижении утопической системы, таких идей, которые позволили бы рассматривать его работу как аналогичную сочинениям Сен-Симона или Фурье; поэтому он писал: «Я не предлагаю систем — они не что иное, как бесполезные усилия человеческого гения, ибо каждое общество в самом себе таит свою будущую судьбу» [1]. Он стремился подчеркнуть, что его «конституция», его «основные принципы» не являются утопической системой, ибо они опираются на опыт итальянской истории и философии и, следовательно, определяют судьбу, ожидающую итальянское общество в результате его внутреннего развития. Он не считает утопией призывать к разрушению существующего государственного устройства и к возврату к законам природы, дабы естественные силы упорядочили после переворота новое общество.

Конечно, это не была утопия сен-симонистского или фурьеристского типа, но тем не менее это была все же утопия, даже если она явно выходила за рамки эпохи ранних социалистическо-утопических систем, даже если конкретность взглядов Пизакане, его активное и героическое участие в революционной борьбе, его политическое соглашение с другими группами и течениями связывают эту утопию с социально-политической борьбой, с реальной, конкретной действительностью и, следовательно, не позволяют отнести ее к разряду обычных утопий. Отсюда сложность социальных и политических воззрений Пизакане, трудность истолкования его идей, понимания мотивов его действий. И все же было, несомненно, утопией ставить «некоторые афоризмы наших философов» относительно «законов природы» «выше прав самой нации» [2], то есть народного суверенитета.

Впрочем, Пизакане не принимал полностью идей этих философов или, во всяком случае, утверждал, что они, исповедуя их, «платили дань времени, блуждали в лабиринте предрассудков и различных мнений» [3]; поэтому из их работ Пизакане извлек лишь самую суть их учения, которая отвечала его воззрениям. Что именно — мы уже сказали.

Он утверждал, что не предлагает «систем», но его теория была в определенной степени именно системой, даже пророчеством — об этом свидетельствуют также заключительные строки предисловия к «Очеркам»: «Если я ошибся, найдется, конечно, тот, кто, обладая более ясной логикой и могучим духом, разрешит задачу, которая является отнюдь немаловажной: *определить будущее Италии, изучив ее прошлое и сохранив неприкосновенной нашу национальную сущность*» [1].

Стоит ли излагать содержание четырех очерков? Мы отметим только то, что необходимо. Исторический очерк развития Италии начинается не более, не менее, как с «появления человека». Вначале Пизакане старательно следует той своего рода исторической космогонии, которая занимает столь значительное место в «Очерках» Марио Пагано. Сопоставление обеих работ говорит о том, что первые страницы первого «Очерка» представляют собой самую настоящую переделку «Очерков» Пагано. Впрочем, Пизакане добросовестно цитирует свои источники и прямо ссылается на Пагано. И только когда речь заходит об Италии накануне римского господства, он начинает использовать Романьози, также постоянно цитируя его. Однако Пагано остается его главным источником до того момента, когда он переходит к римской истории и к классовой борьбе в Риме.

Говоря о римской истории, Пизакане не может удержаться от ряда замечаний, имевших актуальное значение. «Итак, какие же учреждения,— пишет он,— породили это неравенство состояний — причину разложения и краха? Вот естественный вопрос, вытекающий из вышеизложенного: была ли это чрезмерная власть сената, или плебса, или институт консулов?.. Ни то, ни другое, ни третье. Судьбы народов зависят в незначительной степени от политических учреждений. Тут дело в социально-экономических законах, которые все охватывают, все переворачивают в своем проявлении. *Неограниченное право собственности,* то есть *право обладать большим, чем необходимо, в то время как другие лишены необходимого,* было единственной причиной упадка римлян, и по этой же причине пришла в упадок Великая Греция. Это неоспоримый факт» [2].

Рассматривая классовую борьбу в Риме при Гракхах, Пизакане отмечает, следуя своим источникам, что плебс был жалким и слабым, «институт трибунов дал плебсу то, чего ему не хватало,— руководителей и единство» [3]. Но хотя трибуны выдвигали решительные требования («аграрный закон и ликвидация консулата»), «тупой плебс» позволил обмануть

[1] C. Pisacane, Saggi, vol. I, p. 9.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 10.
[3] C. Pisacane, op. cit.

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 11.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 41.
[3] C. Pisacane, op. cit., p. 41—42.

себя. Что же касается правящих классов, то, вместо того чтобы согласиться на введение в результате аграрного закона материального равенства, они предпочли отказаться от своих привилегий, признав только равенство перед законом. Из этих соображений Пизакане делает общие выводы актуального характера. Прежде всего «принцип, на котором базируется общественное устройство, преобразует и обращает себе на пользу все учреждения» [1].

Итак, угнетенные должны решиться отвергнуть этот ошибочный принцип, но необходимо также выдвинуть «принципы», которые гарантировали бы новое общественное устройство, сделать так, чтобы они не были подвержены тем колебаниям, которые могут охватить плебс: «ведь свобода,— пишет Пизакане,— состоит не в способе осуществления избирательного права и в его всеобщности, а в учреждениях, направленных на ограничение власти» [2], иначе «восстания будут бесполезными» и не удастся установить на прочной основе материальное равенство, без которого духовное равенство является «абсурдом, ложью». Словом, он использует римскую историю для подтверждения своей центральной идеи: гарантии свободы и социализма заключаются в социальной конституции, поставленной выше превратностей всеобщего избирательного права.

Из последующего изложения заслуживает, пожалуй, быть упомянутым истолкование Пизакане христианства. По его мнению, именно «трусливый, слабый, дрожащий от страха перед сильными народ» [3] придумал христианского бога, заменившего «историческим бессмертием *материальное* бессмертие *разума*... Эти верования представляли собой смутные устремления низкого плебса» [4], и «трусливый народ, приняв христианство, только плачет, молит и простирается ниц перед победителем» [5]. Если в определенный момент христианство было принято также сильными мира сего и потому восторжествовало, то только как доктрина, принижавшая народ и потому отвечавшая их интересам.

Весь исторический экскурс Пизакане имеет целью показать, что в истории человечества все зло проистекает из существования опасного — и, «быть может, бесполезного», как сказал Беккариа,— права собственности; все благо — из жажды экономического и общественного равенства. Согласно Пи-

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 43.
[2] C. Pisacane, op. cit.
[3] C. Pisacane, op. cit., p. 54.
[4] C. Pisacane, op. cit., p. 55.
[5] C. Pisacane, op. cit., p. 57.

закане, собственность всегда приводит к созданию формы организованного управления и, следовательно, к тирании, между тем как экономическое равенство приводит к свободе. Более того, поскольку именно свобода в ее самом широком, неограниченном значении заключает в самой себе экономическое и общественное равенство, для Пизакане является аксиомой, что любая форма привилегии и собственности есть отрицание человеческой свободы.

Следовательно, все исторические формы общественного устройства, которые допускают господство более или менее многочисленной группы или класса над остальной частью общества, должны быть отброшены, отвергнуты — от теократии, олигархии, абсолютизма и до конституционного либерализма, даже до якобинизма. Для Пизакане над всей историей человечества тяготеет одно и то же проклятие. Более того, чем современнее формы развития экономики и общества, разделенного на классы, чем более прогрессивными кажутся новые либеральные партии, тем более они опасны и тем более заслуживают они осуждения, ибо препятствуют благодаря своим либерально-буржуазным формам утверждению такого окончательного устройства общества, естественной формой которого является именно анархистская общность.

Как уже было сказано, Пизакане отвергает также Руссо. Конечно, он признает, что «его общественный договор есть уже шаг в сторону социализма» [1]. Но Пизакане верно понял, что признание Руссо за народом-сувереном неограниченных прав по отношению к индивидууму уже предвещало якобинизм, то есть форму народной диктатуры, которую Пизакане отвергал, как и всякую иную. Поэтому лучше опереться на Романьози, который утверждал, что «индивидуум в общественном договоре не отказывается от своих прав, как того требовал Руссо» [2].

В главе третьей и четвертой речь идет о средневековье. Пизакане широко использует Сисмонди и Ботта, принимая, в сущности, известный тезис Сисмонди об эпохе коммун. Интересно заключение, к которому приходит Пизакане в конце этих глав: «В средние века,— пишет Пизакане,— мы видим великих поэтов, ученых, художников, знаменитых генералов, но нам не известен ни один великий гражданин. Может быть, ими были кондотьеры? Или Петрарка и Данте?.. Самым великим гражданином эпохи был Макиавелли; это был человек широкого ума, любивший родину, Италию, свободу, незави-

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 103.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 104.

симость, но подчинявшийся велениям времени». Однако и в Макиавелли он видит «человека средневековья, восхищающегося всегда тем, кто побеждает», «Государь» — великая книга, но проявляющаяся «в этой книге сила гения — это сила гения Макиавелли, принципы же, высказанные в этой книге,— это принципы века... Он упоминает о фатальном законе, правящем судьбами народов, и, будучи человеком своей эпохи, ищет его в движении сфер, тот самый закон, который Вико и Марио Пагано нашли в человеческой природе» [1].

Глубоко прочувствованы страницы XXI параграфа первого «Очерка» (философы и итальянский народ в XVI столетии). «В XVI столетии,— пишет Пизакане,— брожение духа и разума, смутное желание улучшения, постоянная мысль о собственных бедах — симптомы, порожденные бесконечными ужасными страданиями народа, все более дают о себе знать в Италии по ту сторону Тибра. И в то время, как в Англии революции ведут народ к прогрессу, а мысль следует за фактами, в Италии мысль, стимулируемая скрытыми страданиями, но запрещенная тиранией, обнаруживает себя в абстрактной философии Бруно». «К середине XVI века, когда господствовавшие повсюду теории Аристотеля препятствовали, даже душили развитие мысли, возникла *козентинская* или *телезианская* академия, которая с удивительной смелостью провозгласила принципы, на которых величественно стала развиваться итальянская философия. Эта философия, разбив оковы абсурдных традиций, отвергнув заумный язык и бесполезные формы, открыла для мысли широчайший простор, признавая в качестве основы лишь факты, в качестве вожака — разум, в качестве цели — истину... «Надо наблюдать мир,— писал Бернардино Телезио,— который предстает перед нами в своих особенностях и связях, в своих взаимодействиях, во всем своем разнообразии; ибо человеческое познание поднимается на самую высокую вершину, какую можно только достичь, если оно учитывает то, о чем говорят чувства и что может быть выведено по аналогии из чувственных восприятий. Я следовал лишь наблюдению и природе,— природе, которая всегда находится в согласии с самой собой и проявляется всегда одним и тем же образом...» Быть может, иного мнения придерживался бы Романьози, который был самым современным из итальянских философов, подобно тому как Телезио — самым древним?» [2]

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 91—92.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 95—96.

Наконец, Пизакане находит удивительным тот факт, что Аузонио Франки, «преодолев громадный и запутанный лабиринт» философии, пришел (проявив чудесную мощь итальянского гения) к тем же выводам: «Они (речь идет о догматиках) под реальностью понимают собственно субстанцию или физическую сущность вещей; мы же, напротив,— комплекс их чувственных проявлений; они считают объективным элементом субстанцию, а мы — феномен, они называют субъективным элементом феномен, а мы — субстанцию» [1].

«Бруно, Ванини, Кампанелла следуют телезианским доктринам,— пишет Пизакане,— участвуя в острейших диспутах... они не исправляли нравов, подобно Арнальдо, Савонароле, Данте, а были реформаторами. Последние являются порождением пришедшего в упадок общества, они обнажают язвы и как бы воплощают конвульсии умирающего общества, в то время как реформаторы предвещают новую жизнь, свидетельствуют о том, что общество обновляется» [2]. «Реформаторами» были «неаполитанские философы», которые «потрясли принципы. Все они посвятили себя поискам высшего закона, регулирующего судьбы наций... Их усилия привели лишь к тому, что они указали цель, к которой должен стремиться человеческий гений, но не достигли ее. Люди действия, они жаждали претворить свои идеи в жизнь. Кампанелла, живший задолго до возрождения (которого мы все еще ожидаем), не мог предвидеть того, что социальная реформа станет в одну из эпох самым насущным вопросом. Кампанелла лишь предвидел очень отдаленное будущее и запечатлел свои чаяния в Городе Солнца» [3]. Кампанелла, пишет Пизакане, «назвал Макиавелли нечестивым, но сам отстаивал те же доктрины: это был лишь спор о средствах их осуществления».

Каковы источники, которыми пользовался Пизакане, когда писал эти страницы, когда характеризовал подобным образом историю развития итальянской философии,— принимая этот вопрос особенно близко к сердцу, возвращаясь к нему вновь и вновь? Наметки аналогичной мысли можно найти у итальянских реформаторов XVIII века, однако у них нет ни подобного развития этой мысли, ни подобного всеохватывающего взгляда, ни подобной настойчивости и проницательности. В дальнейшем Бернардо Спавента подхватит эту мысль. Де Санктис выскажет аналогичные мысли о Макиавелли и Кампанелле, но это уже в 70-е годы («Кампанелла не заме-

[1] C. Pisacane, op. cit.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 97.
[3] См. C. Pisacane, op. cit., p. 97—98.

чает, что он в еще большей степени Макиавелли, чем сам Макиавелли» [1]). Была ли эта мысль Пизакане оригинальной или она являлась, скорее, отражением того идейного направления, которое, возникнув в Королевстве обеих Сицилий в конце XVIII века, усилилось благодаря революциям 1820—1821 и 1830 годов (и тем идеям тайных обществ, под знаком которых прошли эти революции) и, получив на юге широкое распространение, нашло в 1832 году выражение в издании «Прогрессо»? Натуралистическая, материалистическая, атеистическая традиция пустила прочные корни в этом королевстве в среде сторонников оппозиции бурбонскому режиму; ссылки на имена Телезио, Кампанеллы, Бруно, Галилея, Макиавелли не были случайностью, они представляли собой идейные ориентиры. Полагали — правильно или ошибочно,— что итальянские реформаторы XVIII века и сам Вико были связаны с этими тенденциями, поэтому их идеи оставались живой и действенной силой. Перед Романьози и Джоя преклонялись и почитали их как продолжателей этой традиции. В Бэконе видели человека, который за пределами Италии сумел развить и поднять на более высокий уровень проблемы, выдвинутые итальянской философией. Идеи французского XVIII века рассматривали по-разному, но, во всяком случае, связывали их с этим течением. Гигантская тень Руссо, чьи идеи обсуждались всеми и многими отвергались, неизменно ощущалась в этих спорах по социальному вопросу. Поэтому не нужно удивляться, если люди, не являвшиеся профессиональными философами и учеными, высказывали еще раньше (быть может, без достаточного научного обоснования, но зато обнаруживая точность предвидения) тот же самый исторический взгляд на путь развития итальянской философии, что и Бертрандо Спавента и Франческо Де Санктис. Последний писал: «Отличительной особенностью этого века является то, что наука о духовном мире, наука об истории, намеченная Макиавелли, Бруно, Кампанеллой, подготовленная Вико и ставшая законом бесконечного прогресса в XVIII веке, приняла четкий характер науки о законах истории... Каким путем развивается история? — спрашивает Де Санктис.— Что, будучи применено, станет в Италии зародышем всех политических теорий? Прежде всего установите этот принцип: историю творит не случай и не сверхъестественные силы, она развивается на основании законов, столь же устойчивых, как и законы механики; более того, поскольку историю, как говорил Вико, творят люди, законы, регулирующие духовный мир, являются, по существу, законами, которые регулируют естественный мир — это природа, принимающая форму духа» [1]. Пизакане, подобно почитаемым им философам-просветителям, как, например, Пагано и Романьози, переворачивает эту формулу, ставя природу на место духа, так что процесс остается монистическим, принимая, однако, противоположное направление. «В XVII веке в Италии совершилась революция в умах,— писал Пизакане,— Италия стала мыслить так же, как впоследствии стали мыслить другие нации Европы; средневековые воззрения исчезли, все человеческое знание благодаря этой революции стало проявлением *умственной работы,* опирающейся на факты и законы природы» [2]. Быть может, было некоторой философской наивностью начинать историю итальянской философии с Телезио и завершать ее Аузонио Франки. Но разве сам Де Санктис не отправлялся от Макиавелли, Бруно и Кампанеллы и не пришел к Никола Марселли?

Наиболее оригинальной и выдающейся частью воззрений Пизакане было утверждение бесполезности прогресса мысли, если он не подкрепляется одновременно прогрессом в «характере народа». «После того, как намечены новые доктрины,— писал он,— перейдем к изучению характера народа и попытаемся выяснить, не пришел ли новый народ на смену народу средневековья» [3]. Пизакане переходит, таким образом, к изучению характера народных героев того времени — Алессио Баттилоро и Мазаньелло, находя, что они «были воплощением плебса — крайне умеренного в своих требованиях, необузданного в своих действиях, не способного к управлению» [4]. Он широко использует здесь идеи Джанноне и Коллетта и полагает, что, несмотря на «грубые концепции Алессио Баттилоро, на смену старому народу пришел новый» [5] народ, который «сражается сам и для себя, чтобы облегчить свои страдания и улучшить свое положение. Этот современный народ, чьи страдания заглушили в нем инстинкт своей обособленности, был призван претворить в жизнь эту философию, развитую еще столетие тому назад, был призван обеспечить триумф разума над авторитетом» [6].

---

[1] F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, vol. II, p. 783.

---

[1] F. De Sanctis, La scuola cattolico-liberale, p. 338.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 99.
[3] C. Pisacane, op. cit.
[4] C. Pisacane, op. cit, p. 100.
[5] C. Pisacane, op. cit.
[6] C. Pisacane, op. cit., p. 101.

Это одна из наиболее глубоких и характерных для Пизакане идей — народ является наследником философии, народ призван *претворить в жизнь* философию и обеспечить торжество разума над авторитетом. В данном случае Пизакане высказывает самые передовые для своего времени идеи, из которых он не смог, однако, сделать все необходимые выводы, ибо вопреки им оставался верен убеждению, что, хотя новый народ и пришел на смену старому, тем не менее подавляющая часть этого народа все еще является плебсом — «тупым плебсом», «темной массой» — и позволяет легко сбить себя с верного пути.

Правда, Пизакане отмечает, что если народу не удалось в Италии достигнуть своей цели, то потому, «что у него были могущественные противники, которые воздвигли непреодолимые преграды. С помощью костров инквизиции и иностранных штыков они подорвали материальную силу, а иезуитские конгрегации позаботились о том, чтобы подрезать самый нерв мысли, отвратить ее от свободолюбивых тенденций и подготовить умы к рабству». Говоря словами Ботта, они, «кажется, открыли искусство, как растоптать гордость человека, укротить его настолько, чтобы он лишился собственной воли... Подобно птицеловам, одурманивающим птиц тмином, они подавили всякую живую мысль; с одной стороны, настоящие колдуны, с другой стороны, совершенно околдованные люди». Поэтому, пишет Пизакане, «в нашей несчастной отчизне стало невозможно поднять — с помощью простого, доступного языка и примера — научные абстракции до уровня практики и распространить философию среди масс, установив скрытую связь между порывом вооруженного плебса и абстрактными теориями философа, замкнувшегося в своем кабинете» [1]. Следовательно, если даже в известном смысле новый народ сменил старый, это не дает еще основания утверждать, что его характерные черты темного, заблудшего плебса радикально изменились, ибо реакция и католическая контрреформация в Италии помешали его политическому и нравственному развитию.

Частично отрицательная оценка, которую Пизакане дает политическому состоянию народных масс, не выражает, однако, аристократического презрения к плебсу: она является лишь констатацией фактов. Эта оценка в значительной степени отражает то недоверие, которое реформаторы XVIII века испытывали к политическим способностям народных масс. Чисто плебейское правление является, например, для Пагано «исступлением большинства, а не общественным благом», ибо рабство сделало плебс невежественным и его необходимо прежде просветить и воспитать, дабы он мог управлять. Даже в отрицании Пизакане правительства и государства (что, несомненно, является той частью его доктрины, которая наиболее связана с современным ему анархизмом) ощущается порой отзвук идей XVIII века. Пагано, к примеру, осуждает всякое правительство, которое подавляет, которое осуществляет какую бы то ни было форму насилия. Но ведь не может быть правительства и государства без более или менее ясно выраженной формы принуждения. Для Пагано правительство, которое подавляет, есть свидетельство уже пришедшего в состояние разложения и упадка общества. Оно свидетельствует или о скором выздоровлении в результате политической катастрофы, или о неминуемой гибели государства. Насилие в гражданском и физическом мире придет к концу, говорит он. Насилие враждебно природе.

Дойдя до XVIII века и просвещенного абсолютизма, Пизакане пишет: «Народы, жаждавшие реформ, имели государей-реформаторов, оказывавших покровительство и поддержку тем возвышенным гениям, коих под давлением необходимости вызвало к жизни общество, стремящееся устранить ошибки. Таким образом, благодаря самим государям, а также силою вещей был открыт путь потоку, который в своем движении должен будет смести их» [1]. Далее, следует историческая параллель между французским и итальянским просветительным движением: итальянцы — «глубокие мыслители», французы — мыслители «блестящие, но поверхностные»; «французы гордятся победой, итальянцы — первенством, храбростью и ореолом мученичества; доктрины итальянцев чужды простонародью, ибо они еще далеки от возрождения; доктрины французов, родившиеся с возрождением нации, носят народный характер» [2].

Во всяком случае, все они боролись против предрассудков, за то, чтобы «очистить путь для законодателей». Мысль Руссо, и для Пизакане, была вершиной этого движения: «Руссо опередил свое время, он попытался связать в едином договоре разобщенные силы общества» [3].

Как бы то ни было, эти идеи всколыхнули всю Италию, «неподвижным остался один лишь Пьемонт; здесь находился

[1] C. Pisacane, op. cit.

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 102.
[2] C. Pisacane, op. cit.
[3] C. Pisacane, op. cit., p 103.

в заточении изгнанник Джанноне, отсюда были изгнаны Лагранж, Альфьери, Денина»[1]. «Но право собственности — главная опора старого общества — было лишь поколеблено, но не уничтожено, поэтому язвы общества, хотя и в другой форме, должны были вновь открыться»[2].

Итак, XIX веку надлежит осуществить то соединение философии и восстания масс, которое приведет к ликвидации права собственности и к утверждению нового общественного строя.

Для Пизакане «рождающуюся итальянскую нацию нужно искать в народе»[3], в народе, подчеркнем мы, независимо от того, идет ли речь о борцах за новые идеи или об «ужасных защитниках прошлого»[4], то есть о санфедистских плебейских массах, героической борьбой которых против французских захватчиков восхищался Пизакане. В этих массах он обнаруживает энергию, храбрость и волю к борьбе, которые, несмотря на временное заблуждение, не могут не повести эти массы по пути прогресса, нужно только, чтобы кто-то указал им их собственные материальные интересы, указал им путь. В этих плебейских массах Пизакане усматривает «зародыш будущего итальянского народа»[5].

Эта антифранцузская борьба, пишет он, воплощала в себе волю, концепцию независимой и свободной Италии, — волю итальянцев. Эта воля со временем «дала жизнь тайному обществу. Оно возникло в Болонье, среди его членов некоторые были федералистами, другие — унитариями, всех их объединяла вражда к чужеземцам; к первым французы относились благожелательно, вторых боялись. Общество приняло название «Черной лиги»; доносчики преувеличивали его значение, чему способствовали также страхи и подозрения. Поддерживать французов, чтобы изгнать австрийцев, а потом выступить против этих первых, — таков был его план. Святая цель, но дурные средства: нельзя завоевать независимость и свободу, используя других»[6]. От этого общества произошло другое — «Общество лучей», в котором выделялся Лаос, умерший «под стенами Анконы скорее как предатель французов, чем как борец за независимость»[7]. Чувствуется, что Пизакане испытывает глубокую симпатию к Лаосу, к «отчаянию человека,

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 104.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 105.
[3] C. Pisacane, op. cit., p. 107.
[4] C. Pisacane, op. cit.
[5] C. Pisacane, op. cit., p. 113.
[6] C. Pisacane, op. cit., p. 114.
[7] C. Pisacane, op. cit.

тщетно боровшегося с роком Италии»[1]. Он с горечью приводит его последние слова (заимствуя их у Ботта): «Нас слишком разделяет наше положение, законы, обычаи, мнения, — воскликнул он, умирая,— итальянцы, смирившиеся с многовековым игом, увы, не сохранили древней доблести. Они пылко сражаются ради предрассудка, а вяло — ради свободы; простолюдины стремятся к грабежу и мести, магнаты — к праздности и удовольствиям...»[2] Но, пишет Пизакане, «итальянское возрождение шло своим путем, постепенно набирая силы; множились тайные общества с различными ритуалами, формами, наименованиями, но с единой целью — достижение свободы и независимости. Наконец, знаменитое общество карбонариев... вобрало в себя множество других и покрыло Италию разветвленной сетью своих организаций. Концепция итальянского единства приобретала все большую силу и все больше сторонников»[3].

К обществу карбонариев Пизакане возвращается еще несколько раз; по его мнению, никогда в истории страны не было более широкого движения, чем революция 1820 года в Неаполитанском королевстве; это было, говорит он, «благородное движение», «мы были побеждены, ибо карбонарии, наиболее пылкие поборники итальянской идеи, на деле проявили себя как сторонники муниципализма»[4]. Здесь нет смысла освещать те страницы, которые посвящены 1848 году: об опыте этой революции Пизакане говорит значительно более подробно в «Войне в Италии», а мы останавливались на этой работе.

Последнее замечание Пизакане, которое, пожалуй, заслуживает быть отмеченным в первом «Очерке», касается политики Пьемонта, основанной на конституционных принципах. По его мнению, ее нельзя считать всецело заслугой правящего класса Пьемонта, так как она стала возможной прежде всего потому, что «положение, в котором находился весь полуостров, парализовало австрийские силы и помешало им начать войну. Патриоты, ежедневно приносившие жертвы повсюду — от Альп и до Лилибео, глухое брожение народа, чьи сверкающие кинжалы время от времени обрушивались на угнетателей,— таковы истинные опоры свобод Пьемонта. И если бы государственные деятели этого королевства не были столь близоруки, то в печальных событиях 6 февраля 1853 года в Милане они усмотрели бы не компрометацию, а гарантию

[1] C. Pisacane, op. cit.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 114—115.
[3] C. Pisacane, op. cit., p. 115.
[4] C. Pisacane, op. cit., p. 116.

их независимости. Горе Пьемонту, если остальная Италия смиренно и покорно склонит голову под ярмо угнетателей, не тревожа отныне сна своих тиранов!»[1] По мнению Пизакане, несомненно одно — «концепция единой и свободной Италии» теперь «распространилась повсюду, и колеблющееся простонародье ныне считает ее то причиной своих бед, то надеждой на лучшее будущее»[2]. Вот почему «борьба неминуема; но будем ли мы победителями или побежденными? Кто знает... Если мы решительно порвем всякую связь с прошлым и настоящим и последуем прямым, но трудным путем, наша победа неизбежна»[3].

Мы не считаем нужным останавливаться на втором «Очерке» (посвященном военному искусству в Италии). То, что нас интересует в этом очерке, — а именно связь, которую Пизакане устанавливает между социальной конституцией и военным статутом, — мы уже рассмотрели.

Единственная идея, которую, пожалуй, интересно отметить во втором «Очерке», следующая: в революционной войне необходимо «действовать массой». Эту идею Пизакане заимствовал у французских якобинцев, а также из лекций своих неаполитанских военных учителей. Так, он пишет: «В том же году (1793) Барер говорил с трибуны: «Комитет заметил зло, он велел генералам сражаться, *действуя массой,* они не сделали этого, и вот вы терпите поражение». Нужно сражаться *массой,* требовали солдаты на всех фронтах и якобинцы на своих собраниях. Кутон, прибыв в Лион, ответил на рассуждения Дюбуа-Крансе: «Нужно атаковать массой...» Бонапарт не был первооткрывателем, он был лишь тем, кто лучше понял и применил эту систему, использовавшуюся всеми французскими генералами и порожденную опытом, над которым размышляла вся нация»[4].

Мы подробно останавливались на историко-философских воззрениях Пизакане, и это освобождает нас от того, чтобы шаг за шагом рассматривать, как он развивает эти идеи в своем третьем «Очерке». Третий «Очерк» открывается высказыванием Руссо: «Сопоставляя настоящее с прошлым, мы приходим к мысли о том, что чудеса пресловутого прогресса таят в себе непрерывное ухудшение условий жизни рода человеческого»[5]. По мнению Пизакане, современную эпоху характеризует «растущая нищета, которая приковывает к себе внимание мыслителей, поэтому они не приносят больше индивидуума в жертву государству, а желают, чтобы его [то есть государства] конституция применялась к праву каждого, и стремятся к благоденствию человека»[1]. Он вновь утверждает абсурдность «концепции, согласно которой революции... совершаются сначала в умах, а потом в действительности, они являются следствием условий и отношений между людьми и начинают обнаруживать себя в идеях тогда, когда уже созрели в недрах общества... Точно так же в человеке обнаруживается сначала потребность, потом идея, а уже затем он переходит к действию, и часто действие следует непосредственно за потребностью, не получив предварительного выражения в мысли». Следовательно, Пизакане проводит глубокое различие между абстрактной философией, не связанной с нуждами общества, какой, к примеру, является философия «ученой и мирной Германии, где действие имеет ничтожное влияние на мысль»[2], и «истинной рациональной философией, то есть наукой, заслуживающей именоваться философией», каковой является итальянская философия от Телезио до Романьози. Абстрактная философия не служит обществу: «Общество восхищается абстрактными построениями мысли, как прыжками канатных плясунов, но не получает ничего... что могло бы улучшить его условия»[3]. Философия истинно рациональная является, напротив, одновременно социальной наукой. Основой этой материалистической доктрины является мир природы и практика («*дух* есть отрицание, это то, что не является материей, нечто непостижимое»; то, что не поддается чувственному восприятию, не может быть охвачено разумом; «*дух* — это слово, лишенное всякого смысла»[4]). Природа, согласно Пизакане, несет в самой себе свою цель и свое благо, «ошибка — в несоответствии законам природы, иначе не было бы ошибки»[5]. Побуждаемые инстинктом, который руководствуется непосредственной выгодой, мы можем отойти от этих законов, но «разум приближает нас к ним». «Поэтому между по-

---

1 C. Pisacane, op. cit., p. 119.
2 C. Pisacane, op. cit.
3 C. Pisacane, op. cit., p. 119—120.
4 C. Pisacane, op. cit., vol. II, p. 188—189.
5 C. Pisacane, op. cit., vol. III, p. 10.

---

1 C. Pisacene, op. cit., p. 11.
2 C. Pisacane, op. cit., p. 12.
3 C. Pisacane, op. cit.
4 C. Pisacane, op. cit., p. 13.
5 C. Pisacane, op cit., p. 19. Следует отметить, что идея, согласно которой то, что не является материей, есть «нечто непостижимое», отрицание, бессмыслица, а также тезис о том, что природа есть истина, а ошибка — «причудливое порождение» ума человека, лежат в основе мировоззрения многих демократов-южан крайнего толка, уже упомянутых нами,— Музолино, Фодера́, Фриша и др

буждениями инстинкта и законами природы существует такая же связь, как между буквой алфавита и наукой»[1].

Итак, взаимосвязь между философией и плебсом выступает как особое отношение, которое не следует неверно истолковывать: «Мысль рождается среди простонародья из фактов, из несчастий; она развивается благодаря им, но затем продолжает свой полет, независимо от простонародья поднимается до абстракции, в то время как простонародье, не мыслящее, непросвещенное, под воздействием одних лишь фактов перескакивает от одной мысли к другой»[2]. Итак, философия придает форму революционной доктрине, и деятельность философов и масс, связанная подобным образом, приводит к революции. Тем не менее массы приходят к революции отнюдь не под влиянием рассуждений доктринеров: массы прозревают в борьбе за материальные интересы, *действия — вот их просвещение.* Когда «народная идея оказывается связанной с абстракциями философов», совершается моральная революция. По мнению Пизакане, «в идеях Кампанеллы, Пагано, Филанджери, Романьози мы находим — либо в ясно выраженной, либо в скрытой форме, либо в виде выводов из их принципов — мысль о социальной революции»[3]. Таким образом, речь идет лишь о том, чтобы направить народ к этой цели, приспособив конституцию нового общества к «магистральным законам природы, которые издавна служат нормой для наших мыслителей»[4].

Здесь кончаются его рассуждения о прогрессе; что же касается «подтверждения», которое он ищет в истории,— об этом мы говорили. рассматривая первый очерк. Напротив, анализ, который Пизакане дает в третьем параграфе третьего «Очерка» тенденциям современного общества, содержит новые моменты, развивающие его мысль. «Бесспорно, — пишет он, — современное общество можно считать расколотым на два класса: с одной стороны, капиталисты и землевладельцы, с другой — рабочие и арендаторы. Между этими двумя классами существует явное и постоянное противоречие: первый процветает, высасывая соки из второго. «Тщетно, — говорит Филанджери,— пытались моралисты установить согласие между этими двумя условиями: первые всегда будут стараться купить труд последних за возможно более низкую цену, а последние всегда будут стремиться продать его как можно дороже. Какая из двух сторон проиграет в этой сделке? Ответ очевиден — более многочисленная». Эту истину могут отрицать либо из-за невежества, либо из-за недоброжелательства. капиталист стремится всегда увеличить чистую прибыль и, как следствие, снизить оплату, что ведет к гибельным последствиям для рабочего; землевладелец жаждет отнять как можно больше у арендатора ради своих прихотей, мало заботясь о нуждах последнего»[1].

Согласно Пизакане, прогресс привел к механизации, к распространению техники, к возникновению современной промышленности, но «жертвой этого прогресса оказался рабочий: машины и разделение труда вызвали увеличение чистого продукта и в то же время резко снизили оплату труда»[2]; более того, применение машин свело «труд человека к чисто механическому акту», а потому «нищета рабочего возрастает с ростом общественного богатства»[3]. Кроме того, при равных затратах труда чем больше капитал, тем больше продукт; поэтому мелкие капиталисты не выдерживают конкуренции крупного капитала. Вывод таков: общественное богатство возрастает, а численность тех, кто им владеет, сокращается.

Этот анализ тенденций развития современного Пизакане капиталистического общества подводит к выводу о приближении его краха. Однако, это не значит, что Пизакане был знаком с теорией «растущего обнищания» Маркса. В самом деле, многие из этих идей встречаются в анализе тенденций капиталистического общества Сисмонди и Прудона. Впрочем, своего рода доктрину растущего обнищания можно обнаружить также у Фурье, чьи сочинения Пизакане хорошо знал и изучил. Для Пизакане капиталистический строй хуже абсолютистского: «При абсолютистском правлении бедняк может иной раз добиться от монарха произвольных, но все же ограничительных мер против богача; при представительном же образе правления, прикрытом маской легальности, это невозможно: избирают те, кто владеет собственностью, избираются также те, кто владеет собственностью, неимущие же находятся вне закона»[4].

Ну а если избирательное право станет всеобщим? Всеобщее избирательное право, согласно Пизакане, также не что иное, как «горькая насмешка над бедностью. Рабочему, кресть-

---

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 20.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 23.
[3] C. Pisacane, op. cit., p. 25.
[4] C. Pisacane, op. cit.

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 46—47.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 47.
[3] C. Pisacane, op. cit., p. 47.
[4] C. Pisacane, op. cit., p. 51—52. В этом вопросе его взгляды сходны со взглядами Музолино. См. G. Berti, Nuove ricerche su B. Musolino. Музолино высказывался в том же духе начиная с 1830—1831 годов.

янину, которые не голосуют за капиталиста, за землевладельца, последние угрожают голодом. Капиталисты обладают такой же монополией на голоса, как и на продовольствие»[1]. В заключение Пизакане указывает: «До тех пор, пока существуют люди, которых нужда заставляет продавать себя, правительство будет в руках самых крупных собственников»[2]. Куда же движется общество? «Будет ли управлять голодным человечеством низкая олигархия банкиров?.. Банкиры! Монополисты! Пользуйтесь настоящим, ибо будущее принадлежит не вам: народ не сможет добиться победы иначе, как ниспровергнув и полностью уничтожив существующее общественное здание, в этом случае вы погибнете под его руинами!»[3]

Любопытно, что, по мнению Пизакане, даже если народ окажется побежденным в борьбе, капитализм не восторжествует, ибо вместо него утвердится военный деспотизм, который, говорит Пизакане, обращаясь к капиталистам, опустошит «вашу мошну, и вы умрете нищими». Пизакане, следовательно, не верит в перспективы развития капитализма: «*или свободная ассоциация, или военный деспотизм*»[4].

Это очень важный момент социалистической теории Пизакане, который надо учитывать, чтобы правильно охарактеризовать его доктрину. По существу, Пизакане не верит в возможность развития капитализма не только в Италии, но и вообще. Отсюда дилемма: либо *свободная ассоциация* (то есть анархистский социализм), либо *военный деспотизм*. Отсюда революционный пессимизм Пизакане, ибо революционный оптимизм присущ тем, кто считает, что новое социалистическое общество утвердится в силу самих законов развития и упадка капитализма.

Пизакане придерживался иного взгляда. Капитализм казался ему скорее вырождением, неестественным наростом на теле общества, чем исторической фазой развития общества, и в этом отношении идеология Пизакане аналогична идеологии Музолино и других крайних демократов Юга. Отсюда его историческое aut aut[5], отсюда также его неуверенность в конечном исходе борьбы. В самом деле, он повторяет на разные лады один и тот же вопрос: победим ли мы или будем побежденными? И никогда не дает категорического ответа. Для победы в Италии необходимо, например, чтобы сформировалась зрелая революционная философская мысль и явился гений-законодатель, который просветил бы массы и открыл конституционные формы нового общества. Необходимо также, чтобы между этим гением и «бурным порывом вооруженного плебса» установилась та политическая связь, которая до этого момента, как полагал Пизакане, совершенно отсутствовала в итальянской истории. Наконец, необходимы инициатива и героизм, причем исключительный героизм. Герою Пизакане присущи, следовательно, неистовость, пессимистические и трагические черты *народнического* героя, для которого предпосылки социализма также возникают не при капитализме (последний, напротив, нужно перепрыгнуть, миновать); социализм же явится непосредственным результатом слияния интеллигенции и народа и результатом героической борьбы.

Это герой-народник, скажем мы, и, быть может, даже следует добавить — герой-бланкист, ибо, хотя Пизакане никогда открыто не цитирует Бланки в своих сочинениях, есть основание усматривать в его взглядах запоздалое влияние бланкизма, которое должно было, вероятно, сказаться именно в 1855—1856 годах, когда он заканчивал свои «Очерки». Это влияние помогло бы объяснить некоторые особенности его позиции, например тот факт, что именно в эти годы он преодолевает свое прежнее отрицательное отношение к заговорам и к насильственным переворотам. Возможно, это объяснило бы также смягчение его непримиримого отношения к мадзинистским методам действий. Не то чтобы его взгляды претерпели в этой связи глубокие или тем более радикальные изменения, но все же влияние бланкизма могло бы объяснить, каким образом критика и неприятие теории Мадзини и его отчаянных попыток уживались у Пизакане в последние два года жизни с взаимопониманием с Мадзини, не существовавшим в прошлом. К совместным действиям с Мадзини Пизакане побудили уже указанные нами причины, к которым нам еще придется вернуться в ходе нашего изложения: его побудила к тому главным образом новая ситуация, сложившаяся в 1856 году, новая позиция самого Мадзини; возможно также, смягчению его полемики с Мадзини, столь резкой в прошлом, содействовало знакомство с тем, что ему казалось последним и, быть может, самым убедительным, словом социализма,— бланкизмом. В самом деле, «Очерки» были уже почти закончены, когда в 1856 году он добавил к ним те свои заметки о «Марианне» (к ним мы еще вернемся ниже) — тайном бланкистском обществе, с помощью которого, как полагал в 1856 году Пизакане, социализм смог бы стать партией

---

[1] C. Pisacane, Saggi., vol. III, pp. 51—52.
[2] C. Pisacane, op. cit.
[3] C. Pisacane, op. cit., p. 53—54.
[4] C. Pisacane, op. cit., p. 63.
[5] Или — или (*лат.*).— *Прим. ред.*

и был бы претворен в жизнь. Впрочем, вполне понятно, почему Пизакане интересовал бланкизм: его должны были привлечь ставка на вооруженное восстание, строгая конспирация, тяготение к внезапным и насильственным действиям и, быть может, также тот факт, что истоки бланкизма, через Буонарроти и Бабефа, вели к эгалитаризму XVIII века (вспомним уже цитировавшуюся мысль Антонио Лабриола о переходе от естественно-правового эгалитаризма к коммунизму).

Но, анализируя идейные истоки воззрений Пизакане, мы не должны забывать о том, к чему он пришел, — о современной форме его социалистической доктрины. Предвосхитил ли Пизакане самые передовые современные социалистические теории? Была ли его доктрина, попросту говоря, сродни анализу капиталистического общества, данному Марксом? Мы как раз не считаем этого. В социально-экономической области Пизакане недалеко ушел от экономических идей Сисмонди и Прудона, хотя, бесспорно, попытался переосмыслить их и выработать собственную оригинальную позицию.

Подход Пизакане к экономическому анализу капитализма характерен для всей его манеры мышления. Взять, например, то, что можно было бы назвать его теорией накопления капитала и теорией растущего обнищания пролетариата. Казалось бы, современная теория. Но разве он исходит из историко-экономического анализа возникновения капитализма, процесса его формирования, тенденций его развития и т. д. и т. д.? Нет, конечно. Пизакане видит зло в собственности, в *праве собственности* вообще (а не именно в капиталистической собственности). Собственность приводит людей и нации к краху; так было во все исторические эпохи — идет ли речь об экономике античного мира, феодализма или капитализма, картина, по существу, остается неизменной, даже если Пизакане с большой проницательностью отмечает, что более широкий обмен и более легкое накопление богатств обусловливают в современном мире еще более быстрый процесс концентрации богатств и обнищания масс.

Накопление богатств представляется ему следующим образом. «Мы замечаем, что один из самых важных фактов, а именно закон политической экономии, проявляется во всех прежних обществах, приводя к одним и тем же последствиям, и поскольку он присущ и нашему времени, то, несомненно, приведет к тем же результатам» [1]. Здесь нет даже отдаленного намека на то, что процесс накопления богатств при рабовладении, феодализме и капиталистическом производстве глубоко различается в социально-экономическом плане. Здесь нет также намека на то, что в рамках самого капитализма этот процесс протекает в различных формах на разных ступенях развития капиталистического способа производства.

Он подходит к этой проблеме не с исторической и не с экономической точки зрения, а как бы sub specie aeternitatis [1]: накопление богатств всегда коверкало и коверкает человеческую природу, попирает законы природы, создавшие людей свободными и равными. Это фатум, который торжествует в современном обществе, но он царил также в средние века и в древнем мире. С этой точки зрения экономические взгляды Пизакане более примитивны, чем взгляды Сисмонди или Прудона. Но это не означает, что там, где Пизакане более подробно исследует структуру современного капиталистического общества, он не замечает некоторых законов развития, присущих именно *этому* обществу. Именно эти замечания говорят о современности его воззрений, о его принадлежности ко второй половине XIX века. Это явствует, например, из следующего утверждения: «...чем больше размеры капитала при равных затратах труда, тем больше продукт — такова аксиома экономики; однако, поскольку крупный капитал производит всегда дешевле, чем мелкий, отсюда вытекает, что последний должен, несомненно, погибнуть в конкурентной борьбе; отсюда вытекает и другой факт, который экономисты не могут не видеть, но который они не желают признать, а именно — *в непрерывной борьбе между различными продуктами и различными капиталами общественное богатство возрастает, а число тех, кто владеет им, сокращается*» [2].

От взгляда Пизакане не ускользает также, что этот закон накопления богатств не только приводит к разрушению мелкой собственности и гибели мелких капиталистов, но и к уничтожению или к ограничению самой свободы конкуренции, ведя неизбежно к монополии.

В этом отношении его экономическая доктрина носит более передовой и современный характер, чем доктрина Мадзини или Феррари, мечтавших — в эпоху бурной промышленной революции, в эпоху расцвета капитализма — об утопической экономике, опирающейся на мелкую собственность и на ассоциацию. С экономической точки зрения было наивно полагать (как думал Феррари), будто ликвидация права наследования (скорее даже его ограничение, ибо ликвидация этого права

---

[1] C. Pisacane, Saggi, vol. I, p. 9.

[1] С точки зрения вечности (*лат.*) — *Прим. ред.*

[2] C. Pisacane, op. cit., vol. III, p. 47—48.

казалась Феррари, пожалуй, слишком радикальной мерой) воспрепятствует концентрации капитала. Столь же наивно было предполагать (как это делал Мадзини), что ассоциация и провозглашение этико-религиозного принципа общественной жизни изменят характер законов капиталистической экономики и помешают им проявляться со всей неумолимостью.

Пизакане не впадает в эту инфантильность: он отдает себе отчет, что альтернативой системе прогрессирующего накопления богатства может быть только ликвидация собственности, ликвидация эксплуатации человека и человеческого труда, запрещение использовать богатства в целях получения новых богатств с помощью наемной рабочей силы. Тем не менее современность его взглядов в большинстве случаев не идет дальше тех выводов, которые сделал уже Сисмонди в «Новых началах политической экономии», и в конце концов сводится на нет из-за того, что Пизакане придерживается не исторической, а натуралистической концепции мира и общества. В результате этого даже тогда, когда его критика (идущая по следам прежде всего Сисмонди, а иногда Прудона и Луи Блана) нацелена именно на капиталистическое производство, она всегда сводится к общему выводу о злополучных последствиях отрицания законов природы, — отрицания, которое является своего рода первородным грехом, приведшим уже в самые отдаленные времена к разделению человечества на богатых и бедных, угнетенных и угнетателей и помешавшим установлению справедливого и естественного общественного строя, который мог бы тогда регулироваться — так же как он мог бы регулироваться и в настоящее время — на основе принципов свободы и равенства.

Это не означает, что идеи Пизакане представляют собой переиздание идей Винченцо Руссо и Гракха Бабефа в XIX веке. В его работах ясно подчеркивается громадное значение современной промышленной революции: он не думает об аграрном коммунизме архаического типа. Пизакане ясно, отчетливо сознает, как много нового внес современный способ производства в жизнь людей. Но наряду с этим положением и в противоречии с ним он утверждает, что прогресс, технические завоевания, промышленная революция, сколь бы удивительны они ни были и какие бы новшества ни несли с собой, не изменили и не отменили закона природы, который продолжает оставаться тем, что он есть.

В самом деле, разве имеет какое-либо значение увеличение общественного продукта, если ему не сопутствует рост потребления, если немногие обогащаются, а массы остаются нищими и неимущими? Чего стоит технический прогресс, если его достижения монополизируются главным образом привилегированными классами? И что произойдет, по существу, с такой аграрной страной, какой является Италия (отсюда следует, что Пизакане имел в виду, собственно, Южную Италию), если она не сможет выдержать промышленной конкуренции стран, богатых сырьем и опередивших Италию в техническом прогрессе и, следовательно, более мощных в промышленном отношении? Не предназначено ли ей стать рабой иностранного капитала?

Право собственности, полагает Пизакане, есть и всегда было источником всех зол, но капиталистическое общество — и это, несомненно, самая современная сторона доктрины Пизакане — сделало концентрацию богатств более быстрой и всеобъемлющей, экспроприировало мелких собственников, столкнув их в ряды нищих и неимущих, иными словами, сделало более острым и непримиримым противоречие, которое было всегда ему присуще. Таким образом, ликвидация права собственности, всегда стоявшая в порядке дня, отныне стала *неизбежной*. Следовательно, Пизакане сознавал, что человечество подошло наконец к эпохе, когда должен совершиться исторический скачок от системы, покоящейся на частной собственности, к коммунистическому строю.

Несомненно, с этой концепцией, что частная собственность стала совершенно неприемлемой в современную эпоху, в эпоху капитализма, связана и догадка Пизакане о законе прибавочной стоимости, которого не знала ни одна форма частной собственности и который присущ именно капиталистической частной собственности на данной стадии развития. «Капиталист,— пишет Пизакане,— который оплачивает трудящемуся, работающему десять часов, лишь восемь часов его труда, не только обкрадывает каждого на два часа труда, но и присваивает также их коллективную силу, ту силу, благодаря которой одновременное усилие ста человек превосходит последовательные усилия всех людей на земле, силу, благодаря которой возрастает безгранично продукт, силу, создающую капитал» [1].

Несомненно, анализ, которому Прудон подверг капиталистическую экономику с точки зрения отношений капитала и наемного труда, послужил в данном случае ориентиром для Пизакане, его формулировки кажутся даже более яркими, более четкими, чем формулировки Прудона, так что некоторые подозревают, не был ли Пизакане знаком с марксистской

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 59.

критикой капиталистической системы производства. Но это предположение оказывается несостоятельным при углубленном изучении доктрины и всего строя мыслей Пизакане, даже если принимать во внимание самые проницательные формулировки, отражающие наиболее передовые аспекты его теории и говорящие о том, как далеко смотрел вперед Пизакане. Пизакане остается в границах домарксистской экономической критики капитализма, которая, впрочем, шагнула уже достаточно далеко вперед к тому времени, когда Маркс систематически переработал ее и поставил на всем известную теоретическую основу. Впрочем, в работах Пизакане, всегда указывавшего (и притом с особой тщательностью) источники своей теории, даже если речь шла о случайных или не особенно важных, нет никакого, ни прямого, ни косвенного, указания, позволяющего думать, что он был знаком с работами Маркса.

Пизакане констатирует, что современное общество благодаря промышленному и техническому прогрессу не только сблизило людей, не только преодолело их извечную изоляцию и распыленность, но благодаря ассоциированному труду, не говоря уже о более прогрессивной технике, создало огромные производственные возможности. И именно этот прогресс неизбежно несет с собой ликвидацию частной собственности и, следовательно, утверждение социалистического общества. Человек, — пишет Пизакане, — «в одиночку не может создать необходимого; в обществе же благодаря коллективному труду он быстро добивается изобилия продуктов, вследствие чего начинается накопление, создается капитал; а поскольку труд, как утверждает тот же Пеллегрино Росси, не может быть передан или использован другими, то отсюда вытекает, что накопление, то есть капитал, следствие коллективного труда, не может быть ничем иным, как коллективной собственностью» [1]. Сама структура нового общества, о которой говорит Пизакане (ей посвящена основная часть третьего «Очерка» и «Принципов»), не имеет никаких черт, роднящих ее с утопическими системами Оуэна, Сен-Симона, Фурье. Речь идет о новой форме социализма, являющейся, вне всякого сомнения, отражением тех экономических рубежей, которых уже достигло капиталистическое развитие.

В самом деле, разве возможно было бы в древнем мире или в средние века выдвинуть теорию организации общества на кооперативных началах, выдвинуть план создания громадных государственных кооперативов в промышленности, сельском хозяйстве, на транспорте, связанных между собой посредством государственного банка, имеющего филиалы во всех коммунах и гарантирующего обмен между этими экономическими единицами; выдвинуть план национальной и коммунальной системы управления недвижимой экспроприированной собственностью на базе демократии. ассоциации и кооперирования? Не все ясно, не все вполне определенно в структуре нового общества, которую в общих чертах намечает Пизакане. Но эта недоговоренность является как раз положительной стороной, современным аспектом концепции социализма Пизакане, в этом смысле она значительно выше утопических систем XVIII века или первых десятилетий XIX века, в которых все предусмотрено, все установлено, все упорядочено вплоть до мельчайших подробностей. В этой картине есть кое-что не вполне ясное и даже противоречивое (например, налоговая система: «Не будет никакого другого налога, кроме единого налога на имущество, распределяемого итальянским конгрессом среди коммун, а коммунальными советами — среди граждан» [1]). Но именно эта неопределенность больше всего приближает его социалистическую концепцию к реальной жизни и отличает ее от «системы», в которой все предусмотрено.

Может быть, между его идеей Конвента и правительства в форме септината во главе с консулом и утверждением в третьем «Очерке», согласно которому «...общество, образованное в своих реальных и необходимых связях, исключает всякую идею правительства и, подобно хорошо уравновешенному строению, держится само собой, не нуждаясь в креплениях и подпорках» [2], нет никакого противоречия? Конечно, такое противоречие существует, и именно это противоречие свидетельствует о том, что, несмотря на его идею априорности природы, мысль Пизакане не увязала в дебрях вечных принципов, она находилась *в постоянном развитии*. Мы уже говорили, что с политической точки зрения огромную важность имела более поздняя формулировка Пизакане по вопросу парламентской системы и представительного образа правления, как отдающая меньшую дань анархизму и априорности природы, чем формулировка в «Очерках».

Именно это придает сочинениям Пизакане жизненность, превращает их в непрестанный поиск, наполняет их несокрушимой верой в основополагающие принципы, которая сочетается, однако, с острой восприимчивостью, желанием и готов-

[1] C. Pisacane, op. cit.

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 226.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 124—125.

ностью понять современный мир, примениться к конкретным социальным и политическим условиям Италии. Отсюда поиски (в рамках этих коммунистических принципов) возможных новых социальных форм, а в политической борьбе — более широких союзов Отсюда соглашение с Мадзини и принятие даже политической платформы «нейтрального знамени», на которой возможен был временный союз с умеренными, или по крайней мере с частью из них, в целях ликвидации существующего порядка вещей.

Лишь в одном вопросе, касающемся формы правительства, Пизакане непоколебим — в отрицании диктатуры, террора Для него неважно, идет ли речь о диктатуре передовой, революционной партии, имеет ли эта диктатура воспитательные цели, носит ли она временный характер или передана в руки достойных, добродетельных людей; для него неважно, даже если революционный террор направлен против контратак реакционных сил. Пизакане полагает, что посредством его утопической социальной конституции удастся обойти это препятствие, сделать общественный договор (коль скоро он утвержден) обязательным для всех и, таким образом, лишить реакционные силы возможности причинять вред. Ему казалось, что раз законы природы снова стали доминирующей силой, они совершат чудо возрождения и переустройства общества. Он считал террор в Италии «бесполезным, неэффективным, пагубным». Альтернатива, которую он выдвигает («*рабство или социализм* — другой альтернативы не существует»), сводится не только к альтернативе — гнет и рабство при абсолютистском правлении или социализм, но и противопоставляет все формы правительства, даже либеральные, даже буржуазно-демократические, даже народно-демократические, анархистскому социализму. Могут сказать, что и его септинат, возглавляемый консулом, есть, по существу, правительство, так же как его Конвент, или конгресс, является революционным парламентом. По существу, это так — ведь только анархистский индивидуализм внутренне последователен (даже если в общественной жизни он является абсурдом); *анархистский* же социализм всегда сталкивается с противоречием, коренящимся в принципе *ассоциации, которая* всегда предполагает некоторое отчуждение индивидуальной свободы в интересах общества.

Но Пизакане, верно или нет, предполагал с помощью «политического договора» свести это противоречие к минимуму, подчинив его общественному договору. Он утверждал, что «суверенитет не может быть делегирован», что «если все люди должны быть независимыми и свободными, то в государстве никогда не будет существовать правового различия между гражданами, никто не сможет быть привилегированным по сравнению с другими»; следовательно, все должны стать плебеями, и, «так же как ни один итальянец не может не быть свободным и независимым, так же не может не быть свободной и независимой каждая коммуна... каждая коммуна должна представлять собой лишь свободную ассоциацию индивидуумов, а нация — свободную ассоциацию коммун», в которой «законы не могут *навязываться,* но должны *предлагаться*» и не могут быть введены в действие «без санкции народа».

Во всяком случае, несомненно одно: если Пизакане, формулируя свою анархистскую доктрину, и исходит из идей Прудона, то он идет значительно дальше него. Он видит и критикует реформистский характер эклектических идей Прудона. Когда в первом «Очерке» он доказывает глубину и справедливость идей итальянских социальных реформаторов в отличие от доктрин «современных социалистов, сбившихся на путь эклектизма», он целит прямо в Прудона, а в третьем «Очерке» Пизакане подвергает Прудона беспощадной, радикальной критике, превосходно раскрывая не только утопический, но в сущности капитулянтский, реакционный характер прудонистского реформизма.

В параграфе третьем третьего «Очерка», в котором он обращается к тенденциям современного общества, Пизакане рисует в общих чертах картину полемики и борьбы между «экономистами» (последователями классической политической экономии) и «реформаторами» (то есть сторонниками различных школ французского социализма) и пишет: «Реформаторы в этой последней схватке обнаружили недостаток характера, проявили свою слабость; они, веря в искренность предложений своих противников, стали испрашивать у собственников средств, дабы построить в виде эксперимента общество без собственности, стали добиваться от них содействия в ее ликвидации. Удивительная наивность!! они хотели бы заново построить, не разрушая, одеть бедняка, не раздевая богача. Тщетная надежда! Сам Прудон претендует на реформу общества с помощью некоторых учреждений, которые все должны принять. Их противники отвечали им с язвительной усмешкой, затаив яд до лучших времен. Мы должны будем разрубить этот узел, ибо нет никакой необходимости развязывать его».

«Разве можно разыскать в анналах человеческой истории случаи, когда революции совершались путем дискуссий или

экспериментов, когда противоположные интересы, порождающие столкновения, примирялись?» И он заключает: «*«Когда народу нечего есть, он съедает богача»*. Так представлял себе и так определил Руссо революцию, и так произошло на деле» [1].

В том же третьем «Очерке», в тринадцатом параграфе, объясняя с большой проницательностью причины, по каким революционную инициативу легче проявить Италии, чем Франции, Пизакане пишет: «Единственное внешнее преимущество Франции состоит в том, что там идеи социальной реформы получили более широкое распространение и уже начертаны на знамени партии. Но эта партия не проявляет решимости ни в своих концепциях, ни в пропаганде, сам Прудон надеется примирить благо пролетариата и благо буржуазии; все они на деле обнаруживают колебания и страх» [2]. Следовательно, Пизакане не полусоциалист, как Прудон, который от мелкобуржуазного социализма переходит непосредственно к поискам политических форм поддержки Наполеона III. Социализм Пизакане — это последовательный, целостный анархистский социализм. Социальные принципы Пизакане не заставляют его замкнуться в кабинете ученого, среди книг и брошюр (как это произойдет с Макки и Феррари), они не отрывают его от борьбы, от действия. Свежесть и оригинальность его теории обусловлены не только тем, что он отправлялся от итальянской теоретической мысли XVIII века и карбонарских идей, но и констатацией необходимости социалистической революции, чьи цели неразрывно связаны с задачами народно-национальной революции в великой общей борьбе за единство и независимость Италии.

Огромная роль, сыгранная Пизакане в национально-освободительном движении со времени Римской республики и до трагической экспедиции в Сапри, побуждала рассматривать его главным образом как итальянского патриота-демократа, как руководителя итальянской демократии (впрочем, эта сторона преобладала в его *практической деятельности*). На самом деле он был одним из самых последовательных и ярких теоретиков анархистского социализма. Поэтому следует считать обоснованной точку зрения Альдо Романо, который в своей «Истории социализма в Италии» придает первостепенное значение в формировании интернационалистского движения на Юге в период после Рисорджименто именно итальянским источникам, подчеркивая, на наш взгляд справедливо, что в основных чертах это направление теоретически и практически сформировалось еще до того, как Бакунин прибыл в Италию.

Конечно, анархистский социализм Пизакане — особого типа, он отражает историческую ситуацию, породившую его: он носит остро выраженный национальный характер, опирается не только на особую военно-революционную доктрину, но и на особую военно-гражданскую организацию; ничего подобного не существует в анархистском социализме или в народнических теориях какой-либо другой страны. Доктрина *одного-единственного законодателя,* а также *верховного военного руководителя* (пусть даже избираемого собранием генералов, в свою очередь также избранных), доктрина септината и консулата несет на себе определенный налет социалистического наполеонизма и отличается чрезвычайным своеобразием. Но таков Пизакане: для него военная организация не может быть отодвинута на второй план, ибо доктрина Пизакане создавалась в Италии, а не во Франции, как, например, доктрина Прудона, и не в России, как, например, теории народников, — то есть в странах, которые уже добились единства и независимости. Пизакане же приходится исходить из констатации того, что иностранные захватчики и абсолютистские правительства имеют в своем распоряжении многочисленные войска. Поэтому, утверждал он, «необходимо, чтобы, несмотря на недостатки в кадрах и в вооружении, итальянская армия возникла в единое мгновение, многочисленная и сплоченная»; «полной реформы социального устройства» будет достаточно, чтобы создать армию и бросить ее в борьбу. Но если требование выдвинуть перед массами в ходе революционной войны социальные задачи имело свое основание, то было утопизмом предполагать, что этого будет совершенно достаточно и можно будет без всякого государственного принуждения, с помощью чисто анархистского устройства общества организовать и осуществить в Италии в трудной и сложной внутренней и международной ситуации 1850—1857 годов революционную войну.

Нельзя, впрочем, сказать, чтобы эти страницы (которые вместе с параграфом XI — «Провозглашение принципов» — представляют самую замечательную часть третьего «Очерка») были пронизаны оптимизмом, который характерен для «Войны в Италии». Плебеи, которые сражаются «под черным ветхим знаменем нищеты», могут победить, но могут и потерпеть поражение.

---

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 60—61.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 144—145.

Анализ экономики капитализма у Пизакане носит также суммарный характер по сравнению с анализом Сисмонди и Прудона Его выводы поспешны и носят отпечаток военной прямолинейности Словом, для него путь, который ведет к социализму, не является процессом, обусловленным тенденциями экономического развития общества Почему же? Да потому, что законы природы существовали до возникновения капиталистической экономики, до того, как родилась феодальная экономика, даже до рождения всякой экономики вообще И если секрет социализма состоит в возврате к этим законам (и тем самым к рациональному устройству общества), то вполне понятно, что анализ тенденций, присущих капиталистическому обществу, становится второстепенным фактом В таком случае важен не столько анализ экономических и социальных тенденций существующего общественного строя, сколько гений мудрого законодателя, который нашел бы способ, восстановив справедливые принципы и разработав кодекс социализма, вернуть человечество к его естественному состоянию

Для Пизакане «национальность есть бытие нации», но «национальность может быть обретена лишь в том случае, если устранены препятствия для свободного проявления коллективной воли и если никакой интерес не превалирует над общим интересом следовательно, нельзя отказываться от полной и абсолютной свободы, нельзя допускать существование привилегированных классов, династий или отдельных индивидуумов, чья воля при наличии определенных общественных порядков абсолютно преобладала бы» [1]

Это чрезвычайно важный момент в воззрениях Пизакане Он полагает, что Италия не сможет стать *нацией,* если она будет объединена под эгидой абсолютной монархии, и даже в том случае, если она *будет объединена под главенством конституционной монархии,* предполагающей буржуазно демократическое правление Пизакане полагает, что Италия не станет *нацией (как бы она ни была объединена),* если в стране будет господствовать привилегированный класс Другими словами (Пизакане говорит это совершенно ясно), он считает национальным то, что является коллективным («все то, что является коллективным, то есть национальным») [2], то есть национальное для него — это народное Следовательно, объединение страны на монархической или буржуазно-республиканской основе не приведет, по мнению Пизакане, к созданию национальности.

[1] C Pisacane, op cit, p 79
[2] C Pisacane, op cit

Это значит, что Пизакане был единственным итальянским политическим писателем, который настойчиво проводил концепцию *народности,* присущей именно народничеству, то есть концепцию, означающую именно утверждение народно-национального элемента, причем без всякого различия между этими двумя понятиями Если между ними проводится различие, если, говоря словами Пизакане, возникает какое-либо препятствие для «свободного проявления коллективной воли», если интересы привилегированного класса или династии доминируют над народно-национальными интересами и коллективной волей, то тогда не может быть ни нации, ни национальности

Следовательно, либо национальность будет народной, коллективной, социалистической, так что «свобода, а не сила сможет объединить Италию» [1], либо «нам предстоит угнетение и тирания, и в таком случае предпочтительнее, чтобы сателлитами деспота, теми, кто поддерживает деспотизм, были бы иностранцы Тогда нам не придется страдать, видя, как наши соплеменники восстанут друг против друга, чем большим будет разрыв между правительством и народом, тем сильнее будет вскипать гнев и тем быстрее и ужаснее будет месть» [2] Словом, «в случае объединения под эгидой деспотической или конституционной монархии итальянская национальность не будет существовать как таковая» [3] «Деспот правит с помощью сабли, конституционный монарх — с помощью золота, так что ведва порядки абсолютистского государства сменятся конституционными, как тяготы возрастут непомерным образом Деспотизм сковывает тело, конституционализм развращает дух» [4] Народное представительное правление, которое возникло бы в одном из государств, на которые разделена Италия, не может и не должно идти на соглашение с какой-либо из итальянских монархий ради изгнания иноземцев Считать, что свобода должна последовать за независимостью, — это значит впадать в пагубнейшую ошибку, ту самую, которая в 1848 году снова ввергла нас в рабство» [5]

Пизакане объявляет себя также противником федерации Сторонников федерации было немного, но это были «люди живого ума, жаждавшие свободы» [6] Для Пизакане вопрос

[1] C Pisacane, op cit, p 81
[2] C Pisacane, op cit, p 81—82
[3] C Pisacane, op cit, p 85—86
[4] C Pisacane, op cit
[5] C Pisacane, op cit, p 97
[6] C Pisacane, op cit, p 108

сводится не к форме, а к социальному содержанию: если в отдельных государствах утвердится «тирания правительства», то она будет мало отличаться от «тирании, которая гнетет великую нацию, — она подчас даже хуже и более ужасна, ибо избежать ее цепких когтей труднее» [1]. Но если возможно с помощью «мудрой конституции» — этой панацеи Пизакане — дать свободу и справедливое социальное устройство всей Италии, то почему бы не сделать этого? Чтобы гарантировать свободу, Италию можно было бы подразделить «на столько государств, сколько в ней коммун, а результатом этого явилось бы фактическое единство, жертвы же, которых потребует введение общего договора, будут невелики» [2].

«Федерация итальянских государств является абсурдом, — утверждал Пизакане, — это государство переходного типа на пути к достижению единства, ибо, когда нация является действительно таковой, единство становится силой, превыше всяких расчетов, силой, которую нельзя не признать, не отступив от законов Природы» [3]. В то же время федерация — здесь Пизакане цитирует Мадзини — являлась бы «видимостью родины, а не родиной, объектом мелочных расчетов аристократии или партий».

В параграфе XIII третьего «Очерка» Пизакане объясняет, впрочем, что единство может и должно сочетаться с самой широкой коммунальной автономией. Это рассуждение заслуживает быть приведенным, так как оно свидетельствует о том, что концепция народно-национальной революции Пизакане, опиравшейся на социализацию средств производства (осуществляемую коммунами самостоятельно, не по декрету сверху, но, разумеется, в духе «принципов», общих для всей нации), была революционно-унитарной концепцией. Кроме того, это рассуждение, пожалуй, лучше всякого другого раскрывает те причины, которые, по мнению Пизакане, делали возможным «исторический скачок» от абсолютизма к социализму.

«Все, за исключением Прудона, совершают грубую ошибку, намереваясь начать проведение реформ сверху, навязать их народу, вместо того чтобы повести дело так, дабы эти реформы стали стихийно осуществляться снизу. И так как каждый капрал партии считает себя единственным, способным осуществить его идеи, которые он рассматривает как единственно истинные и справедливые, то все становятся приверженцами диктатуры, так как каждый жаждет ее для себя не ради честолюбивых помыслов, но pour faire le bien [1], как говорят французы, или во имя просвещения народа, как говорят итальянцы. Однако, хотя современный социализм родился во Франции, эта страна не опередила Италию в осуществлении на практике подобных доктрин. Кроме того, осуществление социальной реформы во Франции должно натолкнуться на значительно более серьезные препятствия, чем в Италии, так как мощное развитие промышленности, приведя к накоплению огромных капиталов, создало могучие и многочисленные силы, способные оказать противодействие; к тому же во Франции пришлось бы возродить жизнь в коммунах, угасшую как раз в связи с объединением Франции, тогда как в Италии она хотя и носит скрытый характер, но по-прежнему сильна и способна к новому развитию. Поэтому Италия не только обладает большими возможностями для выступления, чем Франция, но и разрешение социальной проблемы представляет в ней значительно более легкую и простую задачу, чем во Франции» [2].

Но достаточно о доктрине Пизакане.

«Очерки» были не только изложением доктрины — они представляли собой политический факт, свидетельство энергичной, самостоятельной позиции в отношении двух групп, на которые делилось итальянское демократическое движение.

Пизакане, как мы уже говорили об этом, никогда не разделял идей федерализма; в письме к Каттанео в январе 1853 года, уже приводившемся нами, он уточнил свою позицию на этот счет. Он лишь попытался в 1851—1852 годах (в момент, когда он отмежевался от «формальной» и «умеренно-республиканской» программы Мадзини) найти среди федералистов опору для создания подлинной республиканской партии, которая придала бы радикальное, социалистическое содержание своей доктрине. После того как по указанным выше причинам эта попытка провалилась, что оставалось ему делать, как не попытаться четко сформулировать свою доктрину народно-национальной революции, постаравшись в то же время связаться с теми элементами, которые занимали более левые позиции в демократическом лагере и были наиболее склонны к борьбе? Доминирующее положение среди этих элементов продолжал занимать Джузеппе Мадзини. После рабочего восстания в Милане 6 февраля 1853 года от Мадзини, как от экстремиста, отошли многие из его приверженцев, с другой стороны, он уже не придерживался «умеренно-республикан-

---

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 109.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 110.
[3] C. Pisacane, op. cit.

[1] Во имя блага *(франц.) — Прим. ред.*
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 146.

ской» программы 8 сентября 1850 года. Какое замешательство внес в ряды демократии, сколько вреда причинил ее прямым и последовательным действиям этот манифест Итальянского национального комитета от 8 сентября, выдержанный в мадзинистском духе, но содержавший многочисленные и разнообразные дополнения!

Но с 1851 по 1853 год произошло столько изменений в деятельности и в окружении Мадзини! С того времени, с момента выхода двух сентябрьских манифестов-программ, и до участия Мадзини в организации восстания миланских рабочих 6 февраля 1853 года утекло столько воды! В самом демократическом лагере, в лагере мадзинистов, подавляющее большинство тех, кто был согласен с его политической программой 1850—1851 годов, в 1853 году покинули его, и притом навсегда. И это был длинный и печальный список! После 6 февраля 1853 года Мадзини имел возможность убедиться, что его нападки на социализм стоили ему потери многих ценных сил на левом фланге, на правом же фланге ему не удалось приобрести ни одного союзника. После восстания в Милане он почувствовал себя изолированным. Даже Пизакане критиковал это выступление как несвоевременное.

Словом, в 1853—1854 годы в лагере итальянской демократии сложилась в результате этих событий новая ситуация. И именно в свете этой новой ситуации следует рассматривать новую позицию, занятую Пизакане в «Очерках» по отношению к Мадзини. «Очерки» были написаны именно с целью придать окончательную форму его социалистической доктрине, и он еще работал над ними в 1856 году, когда соглашение с Мадзини стало уже свершившимся фактом. В то же самое время или, возможно, позднее, как мы уже говорили, он написал свои «Основные принципы нового общественного договора», которые придали будущему социалистическому устройству конституционную и нормативную форму.

Но Пизакане был не только теоретиком, он был патриотом-борцом, поэтому он отдавал себе отчет в том, что эти его идеи могут найти соответствующую почву для своего развития лишь среди сторонников левого крыла демократического лагеря. Поэтому Пизакане не мог не учитывать новой ситуации, в которой оказался Мадзини, хотел он того или нет. Впрочем, зачем ограничиваться лишь предположениями? Пизакане сам с предельной ясностью уточнил свою позицию по этому вопросу в параграфе XIV третьего «Очерка». Быстро разделавшись с умеренными (он их называет «роялистами»), среди которых, как он пишет, «имеются банкиры и коммерсанты, чьи дела процветают, а посему они боятся любого потрясения, которое подорвало бы их ход»[1], Пизакане переходит к республиканской партии, «которая собрала под своим знаменем самых пылких и благородных молодых людей... Наученные горьким опытом прошлого, они не верят ни на йоту государям и возрождение Италии, изгнание чужеземцев надеются осуществить собственными силами, путем революции... Несколько в стороне от них стоит горстка индивидуумов, называющих себя федералистами; для унитариев основной целью является национальность, для федералистов — свобода; первые исключают всякое иностранное вмешательство, последние согласились бы принять свободу из рук Франции, как будто бы свободу можно получить в дар. Как федералисты, так и унитарии из-за чрезмерной исключительности своих систем впадают в ошибку, ибо не может существовать, как это было показано нами в предыдущих главах, как национальности без свободы, так и свободы без национальности. Федералисты обладают более четкими и ясными политическими концепциями, они республиканцы по своим принципам; унитарии более остро ощущают национальное достоинство, но они республиканцы лишь по форме...»[2]

Следовательно, согласно Пизакане, ни республиканцы-*федералисты,* ни республиканцы-*унитарии* не занимают вполне правильной позиции — ни группа, возглавляемая Каттанео, Феррари и Макки, ни группа, возглавляемая Джузеппе Мадзини. Именно поэтому он написал свои «Очерки»: чтобы попытаться дать республиканской партии последовательную социально-республиканскую доктрину. Следует отметить, что Пизакане рассматривает в данном случае главным образом *доктрины* как тех, так и других, но для него самого доктрина мало что значила без *действия.* Какую же оценку дает Пизакане федералистам и унитариям с точки зрения *действия?*

«Республиканцы-унитарии, федералисты и роялисты, — пишет он, — это три партии [обратим внимание — *три,* а уже не *две.* — *Д. Б.*], которые выступают в Италии, но последние две ожидают толчка извне, и в них очень редки люди действия, большинство же — доктринеры; у первых же, напротив, плеяда благороднейших мучеников и за их плечами четыре десятилетия активнейшей деятельности... И если не хотят пренебречь истиной, то следует признать, что республиканцы-

---

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 158.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 159.

унитарии являются единственными, кому присущ четко выраженный характер итальянской партии»[1].

Следовательно, Каттанео, Феррари, Монтанелли, Макки — «доктринеры», принадлежащие к партии, в которой «очень редки люди действия» (намек на демократов, ожидающих импульса извне, относится прежде всего к Монтанелли и Феррари). Из-за своей пассивности и несостоятельности Каттанео и его друзья если не попросту сомкнулись с «роялистами», то по крайней мере сблизились с ними. *Единственные,* кому, по мнению Пизакане, присущ «четко выраженный характер итальянской партии», — это мадзинисты, республиканцы-унитарии с их четырьмя десятилетиями борьбы и заговоров. Суждение Пизакане о федералистах сводится, следовательно, к судовому осуждению.

Не было ли, между прочим, адресовано именно Пизакане письмо Мадзини к неизвестному от 15 октября 1852 года, в котором Мадзини говорит, что фракция федералистов «в лице ее влиятельных людей была враждебна действиям, ставя их в полную, абсолютную зависимость от Франции?.. Итак, какой Вам прок от таких людей, как Феррари, Каттанео или Брофферио, при подготовке действия? Для подготовки, повторяю, ибо само действие всегда захватит таких людей, как Каттанео...»[2]

Для того чтобы уяснить себе, чем было наше Рисорджименто, необходимо помнить следующее: сколь бы велико ни было число партий (и группировок, претерпевавших постоянные изменения), в решающие моменты размежевание происходило по одному-единственному вопросу и, таким образом, автоматически делило все партии на две: на тех, кто выступал за итальянскую инициативу и решительные действия, и тех, кто (пусть даже по уважительным мотивам) были против этого. Речь шла не только о стремлении бороться или, во всяком случае, делать что-то полезное. Речь шла совсем о другом — о том, чтобы вырезать язву, в течение веков отравлявшую жизнь итальянского общества, унижавшую и порочившую итальянцев в глазах целого света, помешавшую Италии стать нацией даже тогда, когда для этого существовало множество благоприятных условий. Речь шла о том, чтобы покончить с испорченностью нравов в Италии, которую обличал Макиавелли, с «итальянским злом», на которое беспощадно обрушивались лучшие умы Италии. Теорию «одно дело говорить, другое — действовать» следовало потопить в крови, следовало уничтожить вековую практику компромиссов, приспособленчества, подлости.

В Италии Рисорджименто началось тогда, когда не единицы, а многие стали испытывать чувство ужаса и отвращения к этому прошлому, когда от подобного векового унижения перешли к «Первенству итальянцев», к восхвалению (кое у кого даже чрезмерному, преувеличенному) национальных добродетелей. Но восхвалялись не добродетели культуры, эрудиции, утонченного интеллекта: эти черты всегда были присущи итальянцам и уживались с рабством. Речь шла о добродетелях моральных и вместе с тем о военной доблести, которой долгое время недоставало, о доблести самопожертвования, героизма, решимости принести собственную жизнь в жертву идеалу, решимости объединить мысль и действие, политику и нравственные устремления. Патриотов самого умеренного толка или социалистов-анархистов, вроде Пизакане, — всех их охватывал один и тот же трепет, когда речь заходила о «блеске оружия Сципионов, Марцеллов, Сфорца, Пиччинино». Таким образом, те, кто был действительно за разрыв с этим прошлым, кто был за создание новой Италии и нового характера итальянцев, в конечном счете становились плечом к плечу, независимо от того, к какой партии они принадлежали. Понятно поэтому, что расхождения, разделявшие Мадзини и Пизакане, оказывались второстепенными, ибо и тот и другой принадлежали к авангарду партии действия, партии итальянской инициативы, которую они утверждали с отчаянной решимостью как единственную, высшую потребность вопреки всем соображениям политического реализма, вопреки всем трудностям.

28 февраля 1853 года Мадзини писал Каролине Стенсфельд: «...Господствующей идеей моей жизни была идея не итальянской *революции,* а итальянской инициативы... В *этом направлении* я постоянно развивал, насколько это было в моих силах, идейное воспитание итальянцев. Начиная с государственного переворота [Луи Бонапарта. — *Д. Б.*] я видел, как эта возможность постоянно возрастала, и в соответствии с ней направлял всю мою деятельность. Я остаюсь при глубоком убеждении, что революция в Италии есть дело сравнительно легкое, поскольку ее идея уже широко распространилась среди простолюдинов. Горько видеть, что лучшие мои друзья, именно те люди, которые, как я полагал, обрели в Венеции, в Риме и других местах сознание итальянской силы, выступают против их [простолюдинов] участия... Без них народ, трудящиеся

---

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 159—160.
[2] G. Mazzini, vol. XXVI, p 29.

не могут успешно действовать... Поэтому я обескуражен, у меня нет цели, я бессилен. Пишите, скажете вы мне. Но для кого? Народ умеет читать лишь в живой книге действия...» [1]

Пизакане, как он откровенно заявил Мадзини в 1855 году в своем письме в «Италиа э пополо», не хотел, чтобы его относили к числу этих лучших друзей, потерявших веру в силу итальянцев. Он-то был готов ко всему. Он также думал, что народ может читать лишь в живой книге действия, и вынужден был написать в «Завещании»: «Пропаганда идеи — химера... воспитание народа — абсурд»; только ценой пролитой крови можно или победить в настоящем, или подготовить будущую победу. Вот почему он писал, что «достижение места высадки, каким будет Сапри в провинции Салерно, явится для меня победой, даже если мне придется погибнуть на эшафоте». Вот почему он писал в бортовом журнале «Кальяри»: «Презирая клевету простонародья... мы объявляем себя инициаторами итальянской революции. Если страна не откликнется на наш призыв, мы сумеем умереть, никого не проклиная... Пусть попытаются найти другую нацию в мире, чьи сыны, подобно нам, приносили бы себя в жертву ее свободе, и лишь тогда ее можно будет сравнить с Италией».

Единственное, что Мадзини и Пизакане склонны были принять от Франции, это слова Эдгара Кине: «Ни небо, ни земля не могут спасти вас, если вы сами не добьетесь своего искупления в будущем крещением огнем. Остерегайтесь слов, эту язву нужно выжечь железом» [2]. Уже в 1831 году Мадзини писал Ипполито Бенелли в Париж: «Мы полностью согласны в том, что касается роли Франции в наших делах. До сих пор вера в иноземца имела для нас гибельные последствия; теперь мы должны избавиться от иллюзий, мы должны знать, что свобода может быть прочной и полной только тогда, когда она завоевана ценою крови, крови гражданина; мы должны знать, что 20 миллионов людей могут нуждаться в друзьях и союзниках, но отнюдь не в освободителях; и мы должны понимать, что над нами будет тяготеть позор и дурная слава, которую мы сможем опровергнуть, лишь умирая на поле сражения, и притом одни» [3]. Спустя 25 лет после этого письма Пизакане занимал аналогичную позицию.

Вот почему в тот момент, когда Мадзини перешел от «примиренческой» позиции 1850—1851 годов к восстанию 1853 года, а после его провала — к подготовке нового восстания, которое должно было бы подтвердить итальянскую демократическую инициативу, Пизакане, как бы ни были серьезны его расхождения с Мадзини, не мог не прийти к соглашению с ним.

Следует подчеркнуть, что сама критика восстания 6 февраля не затрагивала принципа революционной инициативы: по мнению Пизакане, следовало избрать другое место, наиболее благоприятное для проявления такой инициативы, а именно Юг; а если уж избирать Милан, то следовало действовать иначе: Мадзини, «вероятно, должен был отнестись с большей осторожностью к некоторым проектам, не сулившим успеха, или отвергнуть их, но между этой ничтожной ошибкой и глупым обвинением в том, что людей посылали на убой, лежит пропасть. Ему следовало, на мой взгляд, выбрать только один район Италии, а именно Юг, и сконцентрировать здесь все средства, какими он располагал. Вместо этого он предпочел стать всеобщим центром, к которому стекались все, кто хотел претворить в действие благородные замыслы...» Действуя более осторожно, Мадзини «избежал бы некоторых жертв, но отсюда вовсе не следует, что можно отрицать доброе дело, совершенное им» [1].

Что касается действий, то Пизакане и таких людей, как Феррари, Монтанелли, Макки, Каттанео, разделяла глубокая пропасть. Чтобы понять происходившее. Каттанео понадобилось дождаться 1860 года. После Сапри, 1 сентября 1857 года, он писал Чернуски: Пизакане позволил «увлечь себя и принести в жертву, подобно наивному пастушку» [2].

Конечно, Пизакане долго колебался, прежде чем снова обратиться к Мадзини. Он не только сначала попытался сблизиться с федералистами (увы, сближение не принесло никаких результатов с точки зрения конкретных действий), но и установил затем связь с республиканцами-унитариями, не являвшимися сторонниками Мадзини, с теми демократами, которые, подобно Де Бони, Музолино и Фабрици, были настроены или откровенно враждебно к мадзинистскому руководству, или, во всяком случае, не принимали его слепо. В другой работе [3] мы уже опубликовали неизданное письмо Пизакане к Музолино, которое свидетельствует о том, что еще в сентябре 1854 года Пизакане попытался создать группу, объединив леводемократические элементы, не связанные с Мадзини, по-

[1] G. Mazzini, vol. XXVI, p. 313—316.
[2] E. Quinet, L'Ultramontanismo, Paris, 1844, p. 250.
[3] G. Mazzini, vol. V, p. 53.

[1] C. Pisacane, Saggi, p. 197.
[2] C. Cattaneo, Epistolario, a cura di R. Caddeo, Firenze, 1954, vol. III, p. 38.
[3] G. Berti, Benedetto Musolino, в „Studi Storici", p. 734.

пытался действовать независимо от Мадзини и по возможности в согласии с Фабрици (всегда занимавшим по отношению к Мадзини полунезависимую позицию), Музолино и с его племянником Никотера и прежде всего с военными из Генуэзского комитета. Не говоря уже об организационных трудностях, об отсутствии средств — которыми обладал, хотя и в ограниченных размерах, один Мадзини, — этот план можно было бы реализовать лишь в том случае, если бы с ним согласилась группа военных в Генуе, прежде всего если бы Бертани и Гарибальди согласились принять участие в движении. Во всяком случае, с сентября 1854 года Пизакане полагал, что «самого небольшого толчка, если он согласуется с внутренними импульсами, в настоящий момент было бы, по-моему, достаточно, и если наша партия предпримет инициативу, победа неизбежна» [1]. Музолино не только был согласен с этим планом, но и выдвинул свое особое предложение: умножить силы патриотов за счет англо-итальянского легиона, сформированного в Пьемонте для участия в Крымской войне. С этой целью во время его переброски из Генуи на Мальту следует овладеть *судами и, высадив легион в Калабрии или в Сицилии, начать* здесь, на Юге, восстание. Но едва этот и другие планы были намечены, выяснилась невозможность их реализации, и Пизакане убедился, что для организации восстания необходимо соглашение с Мадзини. Когда это стало очевидным, Музолино отошел в сторону; столь же упорное нежелание последовать за Пизакане обнаружили и другие руководителя демократов. они решительно отказались принять мадзинистское руководство. Впрочем, само сближение между Мадзини и Пизакане весной и летом 1855 года было совсем не простым и не легким делом. Речь шла в известном смысле о *крайнем средстве,* и когда Пизакане решился на это сближение, он открыто выложил перед Мадзини все свои карты.

В том же письме Пизакане от 19 июля 1855 года в «Италиа э пополо» критика по адресу Мадзини не только не устранена, но местами носит крайне резкий характер. Конечно, это письмо ни в коей мере не похоже на письмо человека, решившего без всяких условий принять мадзинистские установки Пизакане ставит, притом довольно твердо и решительно, условия, на которых возможно соглашение. Спустя приблизительно месяц, 22 августа 1855 года, Пизакане напишет из Генуи другу, опечаленному «огромной неприятностью» — арестом Миньонья: «Мадзини, следует признать это, хотел выступить, когда не было возможности для выступления, а ныне, когда она существует, он растерялся; он причинил нашей партии столько вреда, сколько может причинить человек. Тяжело говорить так, но я всегда говорю о вещах, не искажая их, и в том же духе пишу ему самому. Хватит, оставим прошлое, ибо это ни к чему» [1]. Суждение, несомненно, суровое, но ведь в этом письме Пизакане снова рассматривает Мадзини как главу «нашей партии», который должен исправить свои ошибки и которого следует снова подтолкнуть к действиям теперь, когда «он растерялся». Нужно не ворошить прошлое, а стремиться действовать более правильно вместе с ним в будущем — таков вывод Пизакане.

Что касается федералистов, то начиная с 1855 года Пизакане больше не принимает их в расчет, когда речь идет о революционных действиях. Если он и обращается к ним, то лишь для того, чтобы резко осудить их доктринерство, их пассивность, их революционное бессилие. Впрочем, и в «Очерках» он рассматривал их как стоящих вне итальянской действительности: «федералисты принадлежат почти целиком Северной Италии или Сицилии; одних вполне устраивает [сицилийское. — *Д. Б.*] *королевство, других — Цизальпинская республика*» [2]. Безжалостно обнажая в «Очерках» слабости мадзинистов, Пизакане, однако, неустанно повторяет, что унитарная республиканская партия остается единственной итальянской революционной партией. «Противники, — пишет он, — обвиняют эту партию в том, что якобы она гонится за химерами, но следует признать, что она единственная прилагает усилия к тому, чтобы эта химера стала реальностью, не дожидаясь, пока посыплется манна небесная» [3].

Пизакане понимал необходимость создания широкого демократического фронта. Вот почему он сближается с Мадзини и старается добиться поддержки их плана со стороны Гарибальди и Бертани. Существовала глубокая пропасть между его позицией и позицией Феррари, рассматривавшего Мадзини как реакционера, а также позицией Музолино, который судил о нем еще хуже. Несмотря на свои крайние взгляды, Пизакане видел прогрессивную сторону даже в деятельности умеренных. «Среди этих трех партий [республиканцев-федералистов, республиканцев-унитариев и умеренных. — *Д. Б.*], которые внешне как будто исключают друг друга, — пишет Пизакане, — также существует точка соприкосновения — нена-

[1] G. Berti, op. cit., p. 736.

[1] C. Pisacane, Epistolario, p. 523.
[2] C. Pisacane, Saggi, vol. III, p. 160.
[3] C. Pisacane, op. cit.

висть к чужеземцам. «благодаря которой, если исключить некоторых», королевская партия в Италии по своему характеру резко отличается от подобной партии по ту сторону Альп» В Италии сторонники короля являются монархистами не из симпатии к монархии, а потому, что они испытывают потребность опереться на нее, «ибо боятся довериться народным движениям» Однако, пишет Пизакане, «и роялисты и республиканцы — все они встанут под знамена тех, кто первый смело и *честно* поднимет их против иноземцев» Он даже утверждает, что «действие, несомненно, заставит исчезнуть партии и сплотит их все под одним и тем же знаменем» [1].

Противоречат ли эти утверждения Пизакане тому, что он постоянно повторял в своих работах? На наш взгляд — нет. Как мы уже указывали, в те годы в Италии расхождения на теоретической почве были бесконечными, но в сфере действия патриоты всегда вынуждены были примыкать к одному из двух лагерей: либо к тем, кто был сторонником действия, либо к тем, кто был его противником

Противник, иностранный абсолютизм, был настолько сильным, а различные группы патриотов настолько слабыми, что даже те, кто отстаивал противоположные политические и социальные концепции, не могли не подчиниться этой необходимости, не могли не подчиниться, ибо каждый раз, когда сами начинали подсчитывать силы своих сторонников в стране, обнаруживали, что они совершенно ничтожны Вот почему в этих формулировках (и в письме в «Италиа э пополо» от 19 июля 1855 года, уже цитировавшемся нами) уже было намечено в общих чертах то, что впоследствии станет политической платформой совместных действий Мадзини, Пизакане и Фабрици в 1856—1857 годах: «нейтральное знамя» и Итальянское учредительное собрание, которое должно будет затем решить вопрос о политической форме и социальном устройстве независимой Италии

Конечно, Пиказане, а также Мадзини принимали эту платформу с arrière pensée [2], и вполне понятно какой. Кто окажется более сильным? — задавал вопрос Пизакане. Тот, у кого будет «бо́льшая возможность инициативы»; затем материальные *«интересы масс* уподобятся потоку, который вовлечет в битву итальянцев самых различных взглядов» [3]. Словом, платформа так называемого нейтрального знамени должна была обеспечить объединение в борьбе сил умеренных, республиканцев-унитариев и социалистов, но в ходе этой борьбы материальные *«интересы масс»* должны будут гарантировать, по мнению Пизакане, гегемонию демократов.

Почему этот блок возник в 1855—1856 годах? Почему он не сложился раньше, в 1850—1851 годах? Пизакане хорошо объясняет причины этого в своих «Очерках», а о тех причинах, которые он не указывает, легко догадаться.

Наличие трех партий, каждая из которых обладала своими идеями и своей программой, не собираясь отказываться от них, — трех партий, которые тем не менее заключали соглашение для достижения определенной цели путем совместных *действий,* было политическим фактом, обнаруживавшим себя таким образом, что даже социалист, каким был Пизакане, мог принять его. Но программа Национального комитета, в той форме, как он был создан Мадзини в 1850 году, представляла собой смешение туманных и противоречивых идей; в целях расширения своей базы он все более сползал вправо, принимая открытую антисоциалистическую ориентацию, и это также было фактом, который не склонен был принять не только Пизакане, но и многие из республиканцев-унитариев и федералистов, сохранивших бо́льшую верность основным принципам

В «Очерках» Пизакане также не смягчает своей критики по адресу мадзинистского Национального комитета. На этих страницах Пизакане заостряет внимание на главной проблеме в сущности, утверждает он, Мадзини в 1850 и 1851 годах продолжал выступать как представитель итальянской буржуазии («он ведет себя как защитник богатых», — пишет Пизакане, но затем зачеркивает эту фразу) [1] Если бы он в большей степени опирался на народные массы, «многие бы не примкнули к комитету, но его ряды не только не поредели бы, но расширились бы еще больше за счет громадной массы простолюдинов, которые страдают и которые одни лишь борются. Мадзини следовало бы быть тем, кем он был, когда основал «Молодую Италию», — противником правительств, тайных обществ, всякого рода диктатуры; он должен был требовать всего для народных масс и вести среди них открытую пропаганду прав бедняка, вести беспощадную войну против узурпаций богача. Но он не предчувствовал тогда гибели буржуазии и возвышения плебса, он обращался к первой, а она фактически его не поддержала, и вот он, считавший себя изолирован-

---

[1] C. Pisacane, op cit.
[2] С задней мыслью *(франц.)* — *Прим. ред.*
[3] C. Pisacane, op cit, p. 161.

[1] C. Pisacane, op cit, p. 182

ным, увидел, как стихийно поднимается плебс и занимает место буржуазии» [1].

Но теперь, в 1855—1856 годах, рассуждает Пизакане, Мадзини понял, что на буржуазию при всем желании нельзя опереться, ибо буржуазия не поддерживает его программу восстания и радикальных преобразований; кроме того, «он увидел, как стихийно поднимается плебс и занимает место буржуазии». Следовательно, ситуация резко изменилась по сравнению с 1850—1851 годами. Четко определились позиции, у каждого была своя программа, каждый знал, на какие силы следует главным образом опираться. В подобной ситуации стало возможным не только тесное сотрудничество с Мадзини, но и принятие платформы «нейтрального знамени»; умеренным, склонным перейти от конспиративной деятельности к открытым выступлениям, были предложены совместные действия ради достижения общеитальянской цели, ради общеитальянского восстания.

Здесь нет смысла излагать критику Пизакане по адресу Национального комитета Джузеппе Мадзини, которая занимает много страниц. Мы ссылались уже на сентябрьский манифест 1851 года («ни анархии, ни попытки ниспровержения общественного строя»), против которого Пизакане направляет острие своей полемики. «Кто ты, — обращается он к Мадзини, — что мнишь себя вправе запретить мне отстаивать такие системы? Откуда ты знаешь, что такова воля нации?.. и какой судья, кроме всеобщей воли и фактов, может разрешить наш спор?» [2] Это не только риторика! По мнению Пизакане, мадзинистский Национальный комитет был просто-напросто «последним проявлением монархического принципа» [3].

После того как «Итальянский комитет прекратил свою деятельность, итальянцы колебались в нерешительности», пока не стало очевидным, что Мадзини остается верен действию и народному принципу. В этой новой ситуации можно было критиковать Мадзини за то, что он избрал местом восстания Милан, можно было критиковать второстепенные аспекты его конспиративной деятельности, но необходимо было заключить с ним союз ради подготовки восстания и действий, дабы подготовить их наилучшим образом, сконцентрировав все усилия на Юге. Словом, если Пизакане пошел на сближение с Мадзини, то у Мадзини в свою очередь произошел сдвиг влево,— следовательно, они встретились на полпути, как это часто случается.

[1] C. Pisacane, op. cit.
[2] C. Pisacane, op. cit., p. 189.
[3] C. Pisacane, op. cit., p. 193.

Таким образом, в своих «Очерках» Пизакане с большим политическим искусством сочетал резкую критику отрицательных сторон мадзинизма (имевших место в прошлом и еще остававшихся в силе) с выявлением его положительных аспектов, которые, по его мнению, отражали главное в позиции Мадзини.

«Предположим, — писал он, — что не существовало бы Национального комитета, ни его деятельности, ни самого Мадзини или другого, кто, подобно ему, постоянно занимался бы организацией заговоров и тайной деятельностью, и что в Италии, как того хотят доктринеры, никто бы не помышлял о действиях. Кто в таком случае вспомнил бы об Италии? Возможно, Австрия, ободренная спокойствием в своих владениях, заставила бы Пьемонт пойти на ограничение своих свобод, а сам Пьемонт в обстановке всеобщего спокойствия не счел бы необходимым продемонстрировать свою враждебность к Австрии. На что опирались предложения с требованием реформ, изложенные на Парижском конгрессе? На газетные статьи и книги, напечатанные в Италии, или на жертвы, на приговоры, на постоянные судебные процессы, которые являются следствием бесконечных заговоров, этого организованного сопротивления в Италии? И заслугой какой партии является нынешнее движение в Англии в пользу Италии? Заслугой доктринеров или заговорщиков? Действия, повторяем мы, а не доктрины выражают жизнь нации. Нация, восстающая без четкой политической концепции, твердят доктринеры, вновь попадает в рабство. Мы согласны с этим. Но эта политическая концепция может сформироваться и стать народной не с помощью книг, а с помощью действий» [1].

Следовательно, в 1856 году сложилась новая ситуация. Пизакане и Мадзини пришли к соглашению, но на основе платформы, сильно отличавшейся от платформы Итальянского национального комитета, от той платформы, на которой стояли мадзинисты в 1850—1852 годах; это соглашение было заключено на основе левой платформы, предполагавшей призыв к тем рядовым умеренным, которые согласились бы участвовать в конкретных действиях, приняв в данный момент лозунг «нейтрального знамени» и тезис, согласно которому вопрос о политическом и социальном устройстве и о форме правления новой Италии будет решен впоследствии Итальянским учредительным собранием.

Как случается при всяком политическом компромиссе, каждая из сторон от чего-то отказалась. Мадзини отказался

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 198.

придать программе и восстанию антисоциалистическую окраску («нейтральное знамя» означало также и это: передышку в борьбе не только с правыми, умеренными, но и с левыми, социалистами). Со своей стороны Пизакане согласился не препятствовать отныне соглашению с умеренными. Но этот отказ не стоил ему особого труда, ибо, как он полагал, в ходе революционной борьбы «интересы масс» заставят чашу весов склониться в его сторону.

Соглашение действительно было прочным: разногласия между Мадзини и Пизакане могли бы возникнуть лишь после одержанной победы (но победа республиканско-демократических сил лагеря была бы уже сама по себе огромным делом). Несомненно, что в этом предполагаемом соглашении трех течений наиболее близки друг к другу были эти два, стремившиеся обеспечить поддержку своей программы со стороны лучших, наиболее активных конспираторов-умеренных в стране, а на деле — подчинить их своей линии, зажав в железные тиски союза, который был, по существу, *союзом двух*. Расчет был превосходен с точки зрения обеспечения гегемонии демократов, но имел одну слабую сторону: забыли спросить хозяина. Иначе говоря, не подумали о том, согласятся ли умеренные принять это своеобразное «пойдем со мной». Поймут они или нет, что это была попытка установить, пусть даже на широкой основе, гегемонию демократическо-республиканских сил?

Среди демократов революционного смысла этого соглашения не разглядели, конечно, в первую очередь федералисты. Основная слабость их состояла в том, что они, по существу, не верили в революционные способности *итальянского* народа. У одних были одни оговорки, у других — другие.

Они либо мечтали о прогрессивной республиканской буржуазии по швейцарскому или американскому образцу (как, например, Каттанео), которой не существовало в Италии (даже в самых развитых районах, даже в Ломбардии, ибо буржуазия повсюду действовала осторожно и под влиянием страха и относилась с крайним недоверием к народным массам), либо мечтали, подобно Монтанелли и Феррари, о вмешательстве французских социалистических сил в развитие событий в Италии, что было чисто умозрительным и лишенным всякого основания желанием даже до переворота 2 декабря 1851 года и стало совершенно немыслимым после него. Все они были в какой-то мере «героями на словах» (как определил их Пизакане в «Очерках»), которые даже тогда, когда они не разделяли целиком мнения ни той, ни другой стороны (как это имело место с Макки), довольствовались все же своей доктринерской пассивностью.

Они сочли Пизакане почти перебежчиком, когда узнали о его соглашении с Мадзини (как мы видели, в действительности дело обстояло не так). Последовал немедленный и резкий разрыв.

Но самой слабой стороной группы Мадзини, Пизакане, Фабрици, Куадрио, Пило и их политики «нейтрального знамени» было отнюдь не отсутствие поддержки федералистов. Конечно, присоединение федералистов значительно подняло бы престиж этой группы, но практически, с точки зрения действия, эта поддержка не имела реального значения. Слабой стороной этого объединения был скорее отказ присоединиться к нему той группы, которую возглавляли Гарибальди и Бертани и к которой примыкали среди военных Медичи и Козенц и цвет итальянских патриотов.

По существу, основной целью лозунга «нейтрального знамени» было не столько вовлечение умеренных в единый либерально-республиканский фронт (Мадзини и Пизакане не питали на этот счет больших иллюзий; наибольшую активность в этом плане проявлял Фабрици), сколько принятие этой политической платформы теми демократами, которые, подобно Гарибальди и Бертани, уже открыто доказывали необходимость совместных действий демократических сил с Пьемонтской монархией (в целях преодоления страшных препятствий, затруднявших создание единой Италии). Следовательно, между линией Мадзини — Пизакане и линией Гарибальди — Бертани существовало глубокое и принципиальное расхождение. В чем оно состояло?

Мадзини и Пизакане исходили из необходимости утверждения гегемонии демократов. Призыв к умеренным принять участие в действиях был, пожалуй, *честным* призывом (именно Пизакане, как мы видели, использует это слово в своих «Очерках»), но это был прежде всего призыв к низам, к рядовым умеренным *внутри страны, в государствах, находящихся под господством абсолютизма,* а не призыв к верхам, к Пьемонтской монархии, ибо в той ситуации (1856—1857 годы), сразу же после Парижского конгресса, нечего было и рассчитывать, что Пьемонтская монархия решится скомпрометировать себя (пусть даже косвенно) внезапным выступлением с перспективой весьма сомнительного исхода. К тому же, разве попытка восстания в Генуе, которое должно было начаться одновременно с экспедицией в Сапри, не была направлена против Пьемонтской монархии?

Позиция Гарибальди и Бертани была совершенно иной: они видели в демократах — и это необходимо отметить, ибо такова истина, — *вспомогательную* силу Пьемонтской монархии. Волонтерство имело, по существу, для Гарибальди то же значение — вот почему Пизакане был его решительным противником.

Лозунг, выдвинутый группой Гарибальди — Бертани и патриотами, сплотившимися вокруг них,— «*Кто создаст Италию, тот и будет владеть ею*»,— выражал, по существу, отрицательное отношение к позиции демократов, утверждавших, что Италия должна быть только республикой, к полемике по вопросам государственного устройства. Они хотели создать Италию и не беспокоились ни о чем другом. Они не имели даже собственного политического плана.

В самом деле, хотя в 1860 году Гарибальди обнаруживал беспокойство и возмущение (впрочем, более чем обоснованное), а у его соратников были различные устремления, мы не находим у них даже следа такого конкретного военного и политического плана.

Но умеренные не приняли во внимание этот лозунг, впрочем весьма наивный,— «*Кто создаст Италию, тот и будет владеть ею*»,— лозунг, являвшийся как бы призывом к соревнованию в том, кто сделает больше, дабы затем иметь право построить новую Италию в соответствии с собственными идеями, на базе определенных политических учреждений. Умеренные были хорошими политиками и нисколько не сомневались в том, что, *если только* Италия будет создана (в чем они были неуверены до самого конца), они *завладеют* ею полностью и целиком. Более того, у них созрел политический, военный и дипломатический план овладения Италией в известном смысле еще до ее создания. Пусть Италию создает всякий, кто желает,— пьемонтская армия, французская армия, дипломатия и даже (правда, это менее желательно) волонтеры,— но что касается *овладения ею,* то для них с самого начала было ясно, что они овладеют страной любой ценой, даже если придется стрелять в Гарибальди, как угрожал сделать Кавур, когда ему стало казаться, что бурно растущая популярность Гарибальди угрожает позициям умеренных.

Напротив, совершенно иными были политические устремления, вдохновлявшие это тройственное соглашение, которое предполагалось заключить в 1857 году под «нейтральным знаменем» между Пизакане, с одной стороны, Мадзини и мадзинистами — с другой, и умеренными, склонными к открытой борьбе,— с третьей.

Но хотя с демократической точки зрения позиция Гарибальди — Бертани была несомненно спорной, она все же была патриотической, была оправданна и обоснованна, ибо, во всяком случае, преследовала великую, благородную цель создания единой и независимой Италии. Напротив, позиция федералистов с любой точки зрения не имела оправдания и была лишена всякого смысла. Поэтому столкновение с ними было неминуемо.

В самом деле, Пизакане, питая глубокое уважение к Каттанео, резко расходился с Феррари. Мы уже объясняли, что их разногласия относительно способа осуществления революции в Италии носили не второстепенный, а принципиальный характер. По мнению Феррари, итальянский народ бессилен без французской помощи: «Без Франции невозможно избавление» [1].

К тому же для Феррари одержимость Мадзини идеей единства была чисто отрицательным фактором, который «обрек Мадзини на непредусмотрительность, на ослепление и побуждал и побуждает его выступать против революции» [2].

Пизакане же в самых горячих выражениях будет восхвалять эту одержимость идеей единства, так же как он будет превозносить конкретный характер этого революционного действия. А Феррари — Феррари станет доказывать, что он предпочитает насильственную и жестокую реакцию «систематической двусмысленности, проповедуемой сектой, которая проникла в среду умеренных и революционеров, вводит в заблуждение и тех и других и, сочетая дерзость с хитростью, вынашивает замысел, который погубит родину. Я предпочитаю реакцию, — писал Феррари, — этим двойственным программам, ослабляющим веру, этим тайным клятвам, навязывающим ложь; этой иерархии тайны, убивающей свободу размышления; этой секретной власти, подлинной пародии на пьемонтскую королевскую власть; этой стратегии комитетов, которые без конца манипулируют такими понятиями, как республика, монархия, революция и реакция, лишь для полного набора противоречивых мнений, что тысячу раз хуже, чем обман эклектизма... Люди реакции! Не обвиняйте Мадзини, не будьте неблагодарными; накануне Февраля он был почти папистом, в разгар Парижской революции он стал почти роялистом, накануне восстания в Ломбардии и Венеции он заключал соглашение с Пьемонтом и т. д.» [3].

---

1 G. Ferrari, La federazione repubblicana, 1851, p. 33.
2 G. Ferrari, op. cit., p. 97.
3 G. Ferrari, op. cit., p. 120.

Пизакане никогда не занимал подобной позиции в отношении Мадзини, даже в 1851—1852 годах. Он всегда отдавал себе отчет, и особенно ясно в последний год, что мадзинистская партия является главной революционной демократической силой, единственной действительно активной силой, в то время как революционеры типа Феррари оставались революционерами кабинетного толка, от которых в смысле действия ничего нельзя было ожидать.

Полемика Пизакане против доктринеров-федералистов обострилась к концу 1856 года, когда Мауро Макки (одно время друг Пизакане), являвшийся одним из столпов федералистской группировки, опубликовал в Генуе брошюру «Примирение партий. Ответ Джузеппе Мадзини» («La conciliazione dei partiti. Risposta a Giuseppe Mazzini»). На самом деле ответ Макки был адресован не только Мадзини, но и Пизакане. Проживая в Генуе и находясь в тесном контакте со всеми руководителями демократической эмиграции, Макки не мог не знать, что газета «Либера парола» («Свободное слово»), руководимая Пизакане, возникла именно на базе соглашения между Пизакане и мадзинистами в тот момент, когда Пизакане, горя желанием действия, принял так называемую платформу «нейтрального знамени», которую Макки и атаковал, по существу, в своей брошюре. Экспедиция в Сапри должна была быть предпринята именно под этим знаменем.

Полемика Макки против Мадзини была, следовательно, скрыто — и, можно даже сказать, главным образом — направлена против Пизакане.

Известно, что Макки не без ехидства критиковал Пизакане именно за то, что последний ради временного соглашения отказался от тех принципов, за которые всегда сражался. Но чего на деле желал Макки? Что хотели *сделать* он и его друзья? Оставаться хранителями «вечных принципов» и пассивно ожидать, пока манна небесная не посыплется с неба, посвятив себя тем временем «исследованиям социальных проблем»? Но не будь давления и героической борьбы левого крыла демократии, разве пришли бы в движение умеренные, разве они не подчинились бы давлению международной дипломатии, враждебной радикальному изменению итальянского status quo? Осуждение Макки того, что готовилось в Генуе, совершенно очевидно. В своей брошюре он, правда, говорит о попытке восстания Бентивенья (очевидно, что о другой он не мог говорить публично), но, несомненно, имеет в виду рабочее восстание, которое уже подготовлялось в Генуе (и о широком размахе подготовки которого он был, конечно, информирован), и организацию экспедиции в Королевство обеих Сицилий. На брошюре стоит дата 23 декабря 1856 года, но она была напечатана в первые месяцы 1857 года, и Макки писал в ней следующее: «Сердце мне подсказывает, что обстановка, в которой мы живем ныне, не слишком благоприятствует удачному исходу заговоров: воздух еще недостаточно насыщен революционным электричеством, чтобы искра вызвала пламя. Я бы мог ответить [на заданный ему вопрос, одобряет он или нет попытку восстания Бентивенья. — *Д. Б.*] таким образом, что без труда заслужил бы славу пророка. Но мне не улыбается быть пророком несчастья»[1].

На эту брошюру Макки и на аналогичные высказывания его друзей федералистов Пизакане ответил резкими словами в своем «Завещании»: «...конспирации, заговоры, попытки восстаний и т. д.— таковы те факты, с помощью которых Италия продвигается к своей цели. Сверкнувший штык Милано был пропагандой более действенной, чем тысячи томов, написанных доктринерами,— этим истинным бичом нашей страны, как и всякой другой... Я уважаю того, кто одобряет заговор, хотя и не участвует в нем сам, но я не испытываю ничего, кроме презрения, к тем, которые не только не хотят ничего делать, но и находят удовольствие в том, чтобы осуждать и проклинать тех, кто действует. Я не претендую (как утверждают некоторые пустословы, желая уязвить меня) стать спасителем Родины. Нет, я убежден, что на Юге свершилась моральная революция и сильный толчок может привести его в движение, а потому мои стремления и мои усилия направлены на то, чтобы довести до конца заговор, который дал бы подобный толчок... Я лично, вместе со многими благородными людьми, могу сделать только это, и я делаю это; остальное зависит от страны, а не от меня».

«Завещание» было, следовательно, обвинительным актом против умеренных, которые «страшно далеки от того, чтобы приблизить ее [Италию] к возрождению, и, напротив, отдаляют его»; но «Завещание» было также беспощадным ответом и на пассивную позицию федералистов-доктринеров, — ответом, написанным кровью.

Пизакане пытался наметить путь, отличный от всякого другого, путь, который предполагал, конечно, тесный союз с Мадзини и с республиканцами-унитариями и даже принятие лозунга «нейтрального знамени» (против которого метали молнии и Феррари, и Макки, и Каттанео). Этот путь должен

---

[1] Macchi, op. cit., p. 198.

был открыть шлюзы для широкого и бурного народно-демократического восстания, которое, приведя в движение массы, обеспечило бы *гегемонию демократов* в национально-освободительной борьбе за объединение Италии. Как реагировали на «Завещание» умеренные и федералисты (эти последние были особенно задеты), известно: Макки писал Каттанео 1 августа 1857 года, что этот документ производит «впечатление крайне мрачное».

Но это не означает, как полагал Росселли, что Пизакане склонился в последний момент к мадзинистской доктрине, с которой он порвал в 1850 году, не означает, что он пережил духовный кризис. Пойдя на соглашение с мадзинистами ради практических действий, он не отступил ни на ноту от своих идей и своей программы. Конечно, это соглашение означало определенный выбор: Пизакане проводил различия между унитаристами и федералистами, и притом не только в практической деятельности, но и на страницах «Очерка о революции», которые показались ему слишком резкими по отношению к Мадзини и которые он затем вычеркнул.

Для Пизакане речь шла прежде всего о том, чтобы усилить позицию Мадзини, которая была всецело подчинена героической инициативе, практическому действию. Главная слабость Мадзини заключалась, по мнению Пизакане, в его религиозности. «Если бы Мадзини,— писал он,— отвергал религию, он был бы идеалом гражданина». У Пизакане вызывает глубокое восхищение тот факт, что «внешние обстоятельства не властны над ним: меняются времена, рушатся и воздвигаются троны .. а он все так же верен своим принципам и идет через развалины... к намеченной цели». Мадзини — человек «благороднейшего характера», бывший в течение тридцати лет, несмотря на свои ошибки, олицетворением революционной борьбы в Италии, человек, который (как и его организация «Молодая Италия») «верит уже не в иностранные правительства, а в народы, не в тайные общества, а в народные массы, и именно массам, а не руководителям он хочет доверить завоевания революции. Поэтому он отвергает всякую идею диктатуры, которая раздробила бы народ на отряды; в отличие от карбонариев Мадзини не замалчивает, не скрывает этих принципов. как подобает революционеру, он говорит в полный голос, он оповещает народы Европы о страданиях итальянцев, об их правах и их надеждах...», и «подобно тому как Уго Фосколо олицетворял собой жизнь итальянского народа с 1796 по 1814 год, так и Мадзини олицетворял эту жизнь до 1848 года».

Конечно, в Риме в 1849 году он был не на высоте положения (здесь Пизакане повторяет, *хотя и в смягченной форме*, оценку, высказанную им в 1850 году), но даже тогда, «когда Мадзини ошибается, он делает это всегда с чистой совестью и с самыми честными намерениями». «Он никогда не изменяет своим принципам — это принципы не раз изменяли ему»,— метко замечает Пизакане. Пизакане критикует Мадзини не только за мистицизм, но и за его идеализм, который мешал Мадзини видеть революцию в ее истинном свете, то есть с точки зрения материальных интересов народных масс. Пизакане порицал Мадзини за то, что тот заимствовал у Буонарроти получившую тогда всеобщее признание идею, согласно которой после освобождения Италии необходимо сохранить «диктатуру с воспитательными целями» [1]. Такая диктатура, по мнению Пизакане, была бы «тиранией или полутиранией» и помешала бы появлению «тех героев, тех вспышек энергии», которые рождаются не при дворах, «не в палатах диктаторов, а в кипении народных страстей» [2].

Отсюда он делает уже известный нам вывод: необходима не диктатура, а взрыв народного восстания, не обычное централизованное правительство, а ассоциация свободных коммун, которая создала бы Конвент или конгресс, избрала бы членов септината и консула (которые могут быть в любой момент отозваны) и прежде всего приняла бы неизменный общественный договор.

Для Пизакане имеет громадное значение коммунальный коллективизм, свободная ассоциация свободных коммун; он видит в них не только политическое и административное, но и социально-экономическое сообщество, ибо в их задачу входит также обобществление частной собственности в пределах их территории. Италия должна быть «подразделена на столько государств, сколько в ней коммун» [3], которые поэтому не являются ни государством, ни властью, но социально-экономической, административной и политической ячейкой общества.

Эта теория Пизакане представляла, следовательно, крайнюю реакцию на абсолютизм (а также на централизованное, военное, бюрократическое Пьемонтское государство), а с ее материализмом и атеизмом она была также противовесом окрашенной в мистические и теологические тона итальянской религиозно-политической традиции, носителями которой яв-

---

1 C. Pisacane, op. cit., vol. III, p. 212.
2 C. Pisacane, op. cit.
3 C. Pisacane, op. cit., p. 110.

лялись Бальбо, Джоберти, Росмини и сам Мадзини. Теория Пизакане противопоставлялась также бесплодному и пассивному доктринерству федералистов и поссибилизму тех демократов, которые полагали, что объединение Италии невозможно без предварительного подчинения умеренным и Пьемонтской монархии. Конечно, теории Пизакане наряду с бесспорной остротой анализа было присуще нечто крайне парадоксальное. Но это не дает основания относиться к Пизакане так же, как к Прудону — идеологу мелкой французской буржуазии, радикальному только на словах.

Нельзя объяснить воззрений Пизакане, рассматривая их как родственные идеям французского мелкобуржуазного идеолога. Пизакане критиковал основные положения Прудона, он был выше его и в теоретическом, и в практическом отношении, и не только потому, что утверждал в отличие от Прудона непримиримость интересов буржуазии и пролетариата, не только потому, что доказывал необходимость говорить не об улучшении капитализма, а о его разрушении, но и потому, что вся его концепция революции и организации общества на социалистических началах носила совсем иной характер.

Итак, что же представляла собой социальная доктрина Пизакане? Ее невозможно подогнать под какую-либо из существующих схем. Само сближение с народничеством (к которому первым прибег Грамши) следует проводить с большой осторожностью. Пизакане был чрезвычайно оригинальной личностью, и столь же оригинальна и своеобразна была его трактовка национально-народной революции, его доктрина социальной революции. В известном смысле к нему были близки военные революционно-демократические деятели, не чуждые социалистическим идеям, вроде декабриста Пестеля или буонарротиста Бьянко ди Сен-Жорио; среди итальянцев известные точки соприкосновения были у Пизакане с Де Бони и Музолино и некоторыми радикально настроенными сицилийскими демократами, среди которых кое-кто, например Фриша, продолжил его дело. Но Пестель и Бьянко ди Сен-Жорио были людьми 20-х годов, а что касается Музолино, то можно сказать, что его политические взгляды сформировались в 1830 - 1831 годы. Пизакане же сформировался политически позднее. Поэтому, несмотря на все то, что отделяет его от Мадзини, с одной стороны, и от Герцена — с другой, он стоит ближе всего именно к ним, и, быть может, особенно близко к Герцену. Говоря так, мы имеем в виду не народничество, которое утвердилось после реформы 1861 года, но то направление русской революционно-демократической мысли 1840—1860 годов, которое в основе своей представляло не что иное, как крестьянский утопический социализм. Мы не станем упоминать здесь работ, мало известных в Италии, а обратимся к анализу, который содержится в первой главе книги Франко Вентури о революционно-демократической крестьянской идеологии 1840—1860 годов. Конечно, Герцен, как и Мадзини, пришел к социальному движению через сен-симонизм. Но Вентури справедливо отмечает, что Герцен воскресил «ту французскую идеологию XVIII века, к которой сен-симонизм учил его относиться как к отрицательному и отрицающему фактору» и которую он стал рассматривать как «исключительно важную» фазу развития. «В основе этого нового открытия идеологии, — пишет Вентури, — лежит тот факт, что Герцен обнаружил во французской и английской идеологии XVIII века ту социальную и политическую силу, которую невозможно было найти в романтизме и в немецкой философии. Иначе говоря, в энциклопедистах он увидел людей, которые сумели осуществить на практике то, что волновало его в Вятке, когда он писал: «мысль без действия — это сон»»[1]. Следовательно, идейное формирование Пизакане и Герцена имело много общего (отсюда присущий им обоим материализм и атеизм), хотя процесс формирования Пизакане был, несомненно, менее богатым, менее сложным, а влияние идей XVIII века более прямым, непосредственным, можно даже сказать, более прямолинейным: ведь Пизакане заимствует и приводит почти без изменений «афоризмы», как он выражается, итальянских мыслителей XVIII века, рассматривая их как актуальные руководящие политические положения. Но просветительные идеи, лежавшие в основе их идеологии и обусловившие их материалистические и атеистические воззрения, были не единственным и не главным фактором, сближавшим Пизакане и Герцена.

Одна из наиболее характерных черт того движения, начало которому Герцен положил приблизительно в 1840 году, состоит в утверждении особых отношений «между интеллигенцией и толпой»[2], тезиса, предполагавшего совершенно особую постановку проблемы *народности,* то есть вопроса о национально-народной революции. Как мы видели, эти два фактора, выступающие лишь под иным названием, — философы и плебс — и проблема их отношений как главная проблема революции играют громадную роль в теории Пизакане. Равным

---

[1] F. Venturi, Il populismo russo, vol. I, p. 29.
[2] F. Venturi, op. cit., p. 45

образом он отстаивает в большей мере, чем любой другой из итальянских демократов, тезис о национально-народной революции, который он рассматривает и утверждает как практическую и теоретическую проблему первостепенной важности.

Наконец, отнюдь не второстепенную роль играет сходство оценок, которые дают Герцен и Пизакане буржуазии, один — русской, другой — итальянской. Оба они считали благоприятным для революции обстоятельством недостаточное развитие буржуазии в своих странах. Это позволит, полагал Герцен, перепрыгнуть через капиталистическую фазу исторического развития и перейти к коммунизму на основе русской крестьянской общины. Это гарантирует, полагал Пизакане, революционную инициативу Италии (а не Франции, где буржуазия уже чрезвычайно сильна и стоит у власти) и позволит использовать национальное движение для того, чтобы, минуя фазу капиталистического развития, превратить национальную революцию в революцию социалистическую. Само огромное значение, которое Пизакане придавал коммунам как не только политическим, но и административно-экономическим ячейкам нового, социалистического общества, сближает эту его теорию революции с народничеством.

Оба они — и Пизакане и Герцен — столкнулись на своем пути с доктриной Прудона и должны были свести с ней счеты. И весьма характерно, что как один, так и другой очень скоро подвергли ее критике, и притом весьма радикальной, причем критика Пизакане носила еще более резкий характер, чем критика Герцена. Наибольший интерес представляет тот факт, что как Пизакане, так и Герцен исходили в своей критике из одного и того же политического положения[1]: они решительно отвергали кредитно-банковскую утопическую систему Прудона, как попытку примирить невозможное — интересы буржуазии и пролетариата, и, в сущности, заклеймили примиренческий и капитулянтский характер прудонизма.

Это не означает, однако, что Пизакане испытал на себе влияние народнических идей, хотя они, несомненно, были известны в итальянских демократических кругах после 1848—1849 годов и являлись предметом обсуждений и дискуссий. В частности, некоторые замечания Пизакане в «Очерках» — правда, не очень ясные — о *мстителях народа* и о *друзьях народа*[1] позволяют думать об этом. Но заслуживает также пристального внимания и гипотеза, выдвинутая Вальяни, который предполагает влияние Бланки на Пизакане,— гипотеза, подкрепленная, как известно, убедительными фактами[2].

Нельзя тем не менее утверждать, что Пизакане был анархистом. Хотя социализм Пизакане носил анархистский характер, все же нельзя сказать, что это был анархизм в полном смысле этого слова. Теоретиком анархии был Бакунин. Его связь с прудонизмом значительно более тесная, он даже утверждал, что анархизм есть не что иное, как «расширенная система Прудона». Анархизм обнаруживает себя главным образом в вопросе о правительстве и государстве и предполагает полную их ликвидацию. Но Пизакане, как мы уже видели, занимал в этом вопросе особую позицию, то есть признавал определенную форму парламента, правительства и государства, хотя и предельно децентрализованную. Здесь мы снова вынуждены вернуться к Герцену, который был не анархистом, а народником и, подобно Пизакане, выступал против централизованного государства, против якобинской доктрины революции, но *не* против *всякой формы* государства и правительства. Герцен и Пизакане занимают в отношении теории государства — важнейшей части всякой революционной теории — аналогичную позицию, можно даже сказать — идентичную позицию, которая не имеет ничего общего с анархистской доктриной, ибо они рассматривают правительство как необходимый административный фактор, но не как задачу, не как цель человеческого общества, видя в нем, по выражению Герцена, «канцелярию дел народа»; приблизительно так же определял правительство и Пизакане. Герцен полагал, что для достижения этой цели можно также принять временную революционную диктатуру[3]. Пизакане же отвергал ее.

Бакунин был другим человеком и принадлежал к совсем другой эпохе. В его воззрениях доминирующее место занимали не идеи XVIII века, но одна из форм материализма, возникшая на основе философского отрицания от Гегеля и Фихте. Он не обладал политической гибкостью, которая, несмотря на весь экстремизм, была присуща Пизакане и равным образом Герцену (Пизакане решился в конце концов выступить вместе

---

[1] В упоминавшейся работе Ф. Вентури, подметивший эту антипрудонистскую позицию Герцена, цитирует по этому поводу R. Labry, Herzen et Proudhon, Paris, 1928, и письма Герцена в «Литературном наследстве», тт 7—8, 1933, стр 64 и след.

[1] C Pisacane, op. cit, p. 179 «Изменяется характер заговоров, *мстители народа, друзья народа* не знают ни тайн, ни дисциплины карбонариев, они в большей степени соответствуют эпохе, но и менее защищены от ударов правительств».

[2] См. L. Valiani, Storia del movimento socialista, Firenze, s. d. vol. I, p. 103—110.

[3] См. F. Venturi, op. cit., p. 56 sgg.

с умеренными под «нейтральным знаменем», а Герцен в известные моменты склонялся даже в сторону либерализма) Бакунин, напротив, был прудонистом, он даже развил дальше постулаты Прудона и сделал из них крайние выводы. В отличие от Прудона Пизакане был патриотом, а не шовинистом Он никогда бы не дошел, как это случилось с Прудоном, до поддержки и даже поощрения самых крайних устремлений французской политики империалистических захватов, до поддержки воссоздания империи Наполеона I и оправдания территориальных притязаний Наполеона III в Центральной и Южной Италии, до защиты господства папы в Риме. Пизакане уважал право всех народов самостоятельно решать свою судьбу, и право всех народов на свободу и независимость было для него священным принципом, от которого ни он, ни те, кто после 1860 года продолжили его дело, никогда не отрекались. Он не считал, как Прудон или Бакунин, что «национальность есть слово, извлеченное из могилы» [1]

Подобно большей части демократов и социалистов Европы, Пизакане презирал Луи Наполеона и приходил в ужас от его желания отхватить живой кусок от тела итальянской нации — Тоскану и Неаполь Именно стремясь помешать осуществлению планов наполеоновской политики в Италии, Пизакане и заключил соглашение с Мадзини, и именно ради этой цели он и его друзья самоотверженно пожертвовали жизнью Следовательно, существовала глубокая пропасть между позицией Пизакане и позицией Прудона, который, правда, критиковал Наполеона III, но за что? — за то, что он был недостаточно хищным в своей итальянской политике, и ставил ему в пример Бонапарта, который, «завладев железной короной, разделил среди своих зятьев и сестер Тоскану и Неаполь и, пренебрегая даже соображениями личной выгоды, не пожелал создания объединенной Италии».

Дань идеям Прудона, а затем Бакунина, была платой демократов и социалистов за то, чтобы научиться делать первые шаги по пути революционного социализма Временное увлечение этими идеями было неизбежным в условиях отсталого в экономическом и идеологическом отношении движения крестьян, ремесленников и рабочих, то есть движения, не способного еще революционным и последовательным образом отразить в теории развитие классовой борьбы и возможные формы перехода от буржуазно-демократической революции к революции социалистической. Пизакане — и в этом также состоит его заслуга — в известной мере предвидел эти формы Правда, ему не хватало политической зрелости (для чего, возможно, в то время не было условий), которая позволила бы ему бороться одновременно за национальное единство и за демократическую революцию. Отсюда неизбежная печать утопизма. Но между его теорией социальной революции и утопическими теориями XVIII века и первых десятилетий XIX века лежит весьма большой исторический промежуток времени, и идеи Пизакане слишком конкретны и политически заострены, чтобы можно было целиком сводить его теорию к этим истокам.

Впрочем, даже говоря о той части его идей, которая больше всего заслуживает названия утопической, нужно иметь в виду, что есть утопизм и утопизм Был мелкобуржуазный утопизм Прудона, который пришел в конечном счете к тому, о чем мы говорили выше Утопизм Пизакане развивался в другом направлении Вдохновляемый жаждой социалистического преобразования общества, он носил глубоко революционный характер.

Если учесть, что теория Пизакане уходит своими корнями в карбонарскую и просветительную идеологию XVIII века, если учесть ее характерные военные и социальные аспекты и тот факт, что ее основой служат классовые устремления крестьян Юга и что она носит народно-национальный характер, если учесть глубокую и непреклонную верность Пизакане принципам, его жажду героического подвига и трагический исход его акции, — если учесть все это, то нужно признать, что Пизакане был близок не столько Прудону, сколько самой боевой форме народничества

И если этого не замечали и не замечают сейчас, то потому, что ситуация, в которой возникло и развернулось движение русского народничества, была совершенно иной, ибо оно возникло в стране, где уже давно было осуществлено национальное объединение и где не знали тех проблем и не было необходимости делать того драматического выбора, которые, напротив, стояли перед Пизакане.

[1] P. J. Proudhon, Scritti sulla Rivoluzione Italiana, Lanciano, 1933, p 22

ГЛАВА V

# Кризис „Партии действия“ и „инициатива Юга“

Как возникла идея «инициативы Юга»? Явилось ли это следствием военно-стратегических расчетов или же подобная идея проистекала из убежденности в существовании в Королевстве обеих Сицилий особых социально-экономических условий, способных придать восстанию характер широкого движения (в таком случае первоначальное преимущество состояло бы не только в отсутствии австрийских штыков, но и в поддержке народных масс)?

Общеизвестно, что в 1820 году первыми выступили Обе Сицилии. В 1822, 1828, в 1830—1831, в 1837 и в 1844 годах в Чиленто, Калабрии, Сицилии и других областях королевства предпринимались одна попытка за другой. Народные волнения в Калабрии и Сицилии в 1847 году и восстание в Палермо 12 января 1848 года, сыгравшее более значительную роль, положили начало революции 1848 года в Италии. В течение десятилетия, предшествовавшего походу «тысячи», в Сицилии и в Неаполитанском королевстве предпринимались многочисленные попытки осуществить восстание. Бесспорно, что в 1848—1860 годах Сицилия находилась в состоянии постоянного революционного брожения. Политическая атмосфера в королевстве, таким образом, все больше и больше накалялась, что породило, особенно в последние годы, обстановку кризиса и неопределенности.

Надо сказать, что план, предусматривавший революционную инициативу Юга, вынашивался издавна. Ведь и экспедиция в Сапри была задумана вначале как составная часть этого стратегического плана, а в 1860 году именно в Сицилии состоялась главная проба сил добровольческих отрядов. Таким образом, идея «инициативы Юга» стала конкретным фактом. Нельзя, следовательно, отрицать, что эта идея зиждилась на реальной основе уже с того момента, когда она была впервые провозглашена, то есть с 1838 года.

Впрочем, какие-то признаки, симптомы той особой роли, которую призвано сыграть Королевство обеих Сицилий в движении за объединение Италии, отмечались еще до 1838 года. Разве не утверждал Буонарроти (еще до того, как 1799 год подтвердил его предсказания), что революционные идеи обретут конкретную форму именно на земле Везувия? Разве не считал Гульельмо Пепе после революций 1820 года, что в Королевстве обеих Сицилий существовала возможность революции, которая могла стать фактором, способствующим достижению национального единства? Но это факты далекого прошлого. Как стратегический план действия, как подлинное политическое знамя итальянской демократии периода Рисорджименто идея «инициативы Юга» обрела конкретный характер в 1838 году, и наиболее ревностным ее поборником стал Никола Фабрици.

Вряд ли Фабрици отдавал себе ясный отчет в том, что в Королевстве обеих Сицилий существовали специфические социальные условия, которые должны были придать «инициативе Юга» особую силу и обусловить возможность успеха. Доводы, которые Фабрици приводил в поддержку своей концепции, являлись, как правило, доводами военного или же, в лучшем случае, доводами стратегически-политического характера, как-то: отдаленность австрийских войск, особо благоприятные условия для ведения войны отрядами, враждебное отношение населения к бурбонскому режиму.

Как бы там ни было, но именно Фабрици являлся знаменосцем «инициативы Юга» среди итальянских демократов. О том, что занятая им позиция была продиктована отнюдь не соображениями социально-экономического порядка и не являлась результатом анализа социальной структуры и классовых отношений, существовавших в Королевстве обеих Сицилий, мы уже говорили. И все же, даже в тех доводах стратегического и военно-политического характера, которые Фабрици неустанно выдвигал, дабы доказать демократам необходимость сделать главную ставку на Юг, ощущалось подспудное признание того факта, что в Обеих Сицилиях существовали особые социально-экономические условия, благоприятные для осуществления программы демократов.

В самом деле, почему, спрашивается, в Сицилии и в Калабрии было бы легче вести войну отрядами, чем в любой другой гористой местности Центральной Италии? Почему Фабрици считал, что именно эти области — и прежде всего

Сицилия — представляли собой слабое звено в цепи абсолютистских государств?

Можно было бы сослаться на то, что в Сицилии существовали очень сильные автономистские и сепаратистские настроения и даже враждебное отношение к Неаполитанскому королевству Подобныи довод (а Мадзини, в течение долгого времени, как известно, не разделявший установки Фабрици в отношении Юга, неоднократно указывал ему именно на этот факт) являлся, по сути дела, весьма веским аргументом как раз против тех концепций, согласно которым вооруженное восстание с целью объединения Италии должно было начаться на Юге

Разве не могла вдруг Сицилия отделиться от Неаполя? И так ли просто будет добиться того, чтобы сами демократы — сицилийцы и неаполитанцы — действовали сообща?

Фабрици, который, так же как и Мадзини, был убежденным сторонником единой республиканской Италии, надлежало бы знать это Мадзини, обладавший большеи гибкостью и политическим чутьем, включил в свою революционную программу специальный пункт о предоставлении Сицилии статута политической автономии — разумеется, в рамках объединенной Италии, — однако Фабрици был не из тех, кто принимал во внимание подобные требования Он не в состоянии был понять (не говоря уже о сочувствии им) те побудительные причины, которые породили автономистские течения в Сицилии

То обстоятельство, что главным организатором демократического революционного движения в Сицилии был такой человек, как моденец Фабрици, бывший бесспорно храбрым офицером, неутомимым конспиратором и человеком опытным и практичным, но в то же время лишенным понимания социально экономических условий и психологических особенностей Юга, — это обстоятельство имело немаловажное значение Фабрици, иначе говоря, был одним из тех многочисленных сторонников Мадзини (что также было довольно странным явлением), которые ничего или почти ничего не восприняли из религиозно-социальных идей своего учителя [1]

[1] Монтанелли в своеи книге «Memorie sull'Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814 al 1850» (p 40—45) весьма резко высказывается о характере «Молодой Италии» и мадзинистского движения, в котором участвовало множество патриотов не разделявших на деле религиозно социальных воззрений Мадзини Следовательно, по своему составу это движение было с самого начала весьма и весьма разнородным

«Мадзини,— пишет Монтанелли,— провозгласил догматом веры «Молодой Италии» сочетание политического и религиозного принципов, некии *синтез* новой религии основанныи на вере в Бога и в народ, единство Италии как первый шаг к будущему единству Европы Немногим приверженцам «Молодой Италии» пришлось по душе подобное кредо Смеялся над мадзинистским *кредо* Гверрацци, считавшийся в партии толковым человеком, когда я впервые разговорился с ним и признался ему, что по своему темпераменту, склонному к восторженности, по молодости лет и под влиянием занятий философиеи я испытывал тягу к мистико политическим теориям, он ответил мне, что все мы напоминаем ему пастухов из Аркадии, которые избирают разные пути, но все пути ведут в Коринф Карло Бини говорил, что ничего не понимает во всех этих теориях » (меж тем Бини был одним из первых, кто повел среди рабочих пропаганду в пользу «Молодой Италии» См La Cecilia, Memorie, p 64—65)

«В общем «Молодая Италия»,— пишет далее Монтанелли,— отнюдь не представляла собой общества верующих, приверженных единому религиозному и политическому символу, как то пыталась представить марсельская газета Подобно другим, предшествовавшим «Молодой Италии» политическим обществам, это была коалиция людей заинтересованных в революции, которых объединяла идея свержения существующих правительств при этом никого не интересовало ни их мнение касательно порядков, которые надлежало установить, ни тем паче их религиозные верования Под знаменем на котором было начертано «Бог и народ», атеисты протягивали руку деистам »

Таким образом, та независимость, которую Фабрици обычно проявлял в отношении Мадзини, объяснялась не только разногласиями организационного порядка, но и глубокими — хоть и не явными — теоретическими расхождениями

Видимо, идея «инициативы Юга» носила вполне реальный характер, если даже такой деятель, как Фабрици, сделал ее своим знаменем Весьма возможно, что эта идея возникла у Фабрици после сицилийских событий 1837 года [1]

[1] Несмотря на то что Мадзини не принимал непосредственного участия в событиях 1837 года в Сицилии См E Morelli, Mazzinianesimo Siciliano, в «Giuseppe Mazzini, Saggi e Ricerche», Roma, 1950, p 27 sgg Так, вскоре после этих волнений Мадзини писал матери «Я не ожидал уже от Сицилии великих дел, ибо принцип, которым там руководствуются, не является ни общеитальянским, ни подлинно социальным, а сугубо и узко сицилиискии » (G Mazzini, vol XIV, p 78) Между тем Мадзини не отдавал себе отчета в том, что с 1812 по 1837 год в Сицилии произошло немало изменений и идея объединения Италии стала приобретать все больше сторонников и на острове Даже в период с 1837 года до кануна 1848 года Мадзини так и не заметил того глубинного процесса, который происходил в Сицилии и который вот вот должен был вылиться в народное восстание

Куда большее понимание событий 1837 года в Сицилии выказал Монтанелли, он понял прежде всего то новое, что выявилось в последующие годы

«После 1837 года — писал Монтанелли,— подпольная печать приложила немало усилии в Сицилии, чтобы привить там чувство национального самосознания С этой целью в Палермо нелегально перепечатывались рассказы Ботта и романы Гверрацци Не только лучшие писатели — уроженцы других итальянских провинций, но прежде всего неаполитанские и сицилийские писатели воспитывали и воспламеняли своими произве

Эту упорную и носившую столь глубокий политический характер целеустремленность нельзя, однако, объяснить только внешними побудительными причинами

Быть может, Фабрици и не отдавал себе отчета в особенностях социально-экономических условий в Королевстве обеих Сицилий, но он по крайней мере был убежден (убеждение это носило скорее инстинктивный характер) в том, что именно Сицилия и Юг, а не какие-либо другие области Италии, должны были выступить первыми Фабрици, в сущности говоря, был одержим одной идеей перекроить мадзинистский план восстания, перенеся место действия с Севера в Сицилию По его мнению, именно Сицилия призвана была сыграть неповторимую роль в итальянском демократическом движении «Характер ее жителей, — писал он, — все ее прошлое указывают на то, что эта часть Италии более других способна дать сигнал и положить начало национальному возрождению» [1]

---

дениями население этих областей » (Montanelli, op cit, p 175) Между тем Людольф в своем строго секретном донесении за № 3679 от 5 июня 1838 года (ASN, Polizia, 140) уведомлял из Лондона неаполитанское правительство о предполагаемой высадке в Сицилии «Как мне стало известно, одному легиону, состоящему из португальцев и итальянцев и находящемуся ныне в Каталонии на службе королевы, было предложено принять участие в экспедиции, которая готовится против Сицилии, но за недостатком необходимых средств, обещанных некими радикалами англичанами, переговоры эти и по сей день еще не завершены План заключается в том, чтобы погрузить на судно упомянутые воиска в одном из портов Каталонии и взять курс прямо на Сицилию, они должны на месте сразу же разобраться и увидеть, какое впечатление произведет на острове их появление »

[1] SSSP, Carte Fabrizi См также A De Stefano, Lettere di Nicola Fabrizi a Rosalino Pilo, Palermo, 1956, vol, I См письмо Фабрици к Пило от 1 июня 1854 года и последующие его письма, в которых он настойчиво и неоднократно возвращается к этой мысли «Мнение и приводимые в его подтверждение доказательства, будто инициатива должна принадлежать Северу, являются глубоко ошибочными, какая бы партия их ни отстаивала и что бы она ни предлагала Полагаю, что вместе с лучшими людьми Сицилии, придерживающимися наших убеждений, ты должен приложить все усилия действуя крайне осторожно, но в то же время энергично, дабы создать ядро партии из тех сицилиицев и калабрийцев, которые поддерживают связь со своей родиной» Одна из главных целей заключалась в том, чтобы создать партию на основе следующего принципа «Инициатива движения за объединение Италии должна переместиться на Юг Италии» (стр 23)

В другом письме от того же числа (которое предназначалось, видимо, всем генуэзским друзьям, а не только Пило) он подтверждает «неизменную обоснованность инициативы Юга» О Гарибальди в нем говорилось следующее «Генерал Гарибальди, наделенный исключительной храбростью и высочайшими достоинствами, которые столь важны для предводительства национальной революцией, исходит из ошибочного предположения в своих политических действиях он полагает, что ему удастся убедить пьемонтское правительство взять на себя инициативу войны за национальную независимость под знаменем объединения страны, со всеми вытекающими отсюда политическими и военными последствиями Однако ему очень скоро доведется убедиться что все помыслы этого правительства направлены на предотвращение каких бы то ни было действий с чьей бы то ни было стороны » (стр 26—27)

Еще более характерным для понимания позиции Фабрици является следующее письмо без даты (возможно, от октября 1854 года) « я не веду пропаганды, враждебной какой-либо партии, я только стараюсь убедить наших друзей в том, что от Юга Италии зависят судьбы нации и, быть может, коренное изменение и превращение нынешнего кризиса в Европе из кризиса дипломатического в революционный» (стр 89).

[1] G Mazzini, vol XIV, p 33.

Иначе говоря, доминирующая идея Фабрици заключалась в том, что именно Сицилия таила в себе революционный заряд большой взрывной силы, в то время как в других областях такого заряда, по его мнению, либо вовсе не было, либо он обладал куда меньшей взрывной силой Чем же это объясняется? Фабрици не задавал себе такого вопроса, а если и задавал, то довольствовался туманным ответом «характером жителей», «всем прошлым Сицилии». Вот почему Мадзини и называл Фабрици «полуреволюционером» (желая этим сказать, что он не понимал значения социального вопроса «Если бы ты жил в Средневековье, ты был бы революционером в полном смысле слова», — писал он ему [1])

Однако если Фабрици не вкладывал в понятие инициативы Юга определенное социальное содержание, то иной была позиция всей той группы крайних демократов, о которых мы уже говорили Даже Риччарди, который среди демократов продолжал придерживаться патерналистских позиций, придавал идее инициативы Юга ярко выраженный социальный характер Так, он писал в 1851 году « .При нынешнем положении в Италии только Королевство обеих Сицилий способно положить начало святому делу национального освобождения Восстание Обеих Сицилий может стать тем событием, которое послужит благостным сигналом к раскрепощению не только Италии, но и всей Европы. Не премините же воспользоваться, о братья, первой возможностью, которую судьба посылает вам, ваше восстание, несомненно, завершится победой, если только предводители его пойдут действительно по новому пути и, главное, сумеют

1) заинтересовать народные низы в революции, доказав им на деле выгоды и преимущества нового положения вещей,

2) призвать в Сицилию без малейшего промедления на-

иболее революционные элементы, самые боевые силы всей Италии» [1]

После опыта 1848 года даже Риччарди убедился в необхо димости обратиться к народным массам во имя нового «общественного договора», цель которого, по его мнению, «долж на состоять отнюдь не в уничтожении, а, напротив, в обеспе чении естественной свободы человека, с тем чтобы сделать ее священной и гарантировать каждому живущему право пользования благами, дарованными природой всему роду человеческому Из этого следует, что общество должно быть построено таким образом, чтобы ни один гражданин не испытывал недостатка в необходимом, будь то материальные или духовные потребности, — одним словом, каждый должен быть надежно обеспечен в течение всей своей жизни как хлебом насущным, так и духовной пищей Применение этого принципа не влечет за собой уничтожение всякой личной собствен ности ради осуществления коммунизма, поскольку собственность должна быть священна в той же мере, как и труд, ее производящий, но упомянутый выше принцип предусматривает главное, а именно — чтобы человеку, который не может обеспечить себя всем необходимым для жизни собственным трудом, а также тем, кто не в состоянии работать, общество гарантировало бы удовлетворение всех их нужд и потребностей, как материальных, так и духовных Иными словами, среди членов общества должно существовать своего рода всеобщее обеспечение, с тем чтобы никто из них не испытывал недостатка в благах, кои дарит земля не какой то одной части рода человеческого, а всем людям, орошающим ее потом своим» [2]

В Неаполитанском королевстве, которое было более отсталым в социально-экономическом отношении, где нищета народных низов была еще более ужасающей, а классовые противоречия еще более острыми, Сицилия выделялась некоторыми, присущими только ей характерными особенностями почти единодушным стремлением к автономии и независимости, которое хоть в одном вопросе сплачивало усилия сицилийцев и создавало в стране обстановку, чреватую взрывом Вот почему Сицилия, казалось, была призвана выступить первой (да так оно и было на деле)

Когда Пизакане в своей книге «Война в Италии» присоединил свой голос (разумеется, в качестве военного авторитета) к тем многочисленным голосам, которые уже ранее высказывались за «инициативу Юга» (при этом он опирался на новую, передовую социальную концепцию), сам факт принятия им такого решения имел, разумеется, важное значение, но был отнюдь не новым Новыми были лишь мотивы,— его концепция национально-народной революции,— побудившие его присоединиться к идее инициативы Юга

Факт наличия особых социально-экономических условии на Юге с его гнетом, нищетои и духовной отсталостью признавали, впрочем, не только демократы Юга или же те, кто избрал Юг полем своей деятельности (как-то Фабрици, Миньонья, Пизакане, Пило и все сицилинцы — Бенедетто Музолино, Фанелли) Это было широко распространенным мнением как в Италии, так и в Европе, о чем свидетельствует либеральная публицистика того времени, согласно которой после Французской революции, после Партенопеиской республики 1799 года, после политики реформ ставленников Наполеона в развитии Неаполитанского королевства наступил внезапный застой, за коим последовало движение вспять, носившее крайне реакционный характер и опиравшееся на участие лаццарони После 1848 года подобное мнение стало всеобщим Казалось, Бурбоны держались у власти лишь с помощью полицейского аппарата и наемных швейцарских войск

План осуществления революционной инициативы Юга на протяжении ряда лет принимал различные формы

Первая попытка была предпринята Фабрици в 1840 году в Сицилии, а затем — в 1843—1844 годах — на Юге и в Романье Следующая попытка была предпринята (общеизвестно, каким образом) братьями Бандьера в 1844 году [1], к 1847 году относится проект экспедиции в Сицилию Ла Маза, Риботти, Лонго, Ланди и Бенедетто Музолино также пыта-

---

[1] MCR, Carte Ricciardi, b 82-46 „I fuorusciti delle Due Sicilie ai loro fratelli gementi sotto il giogo borbonico"

[2] MCR, b 82-47 G Ricciardi, Pensieri di un esule ovvero vade mecum politico per la crescente generazione italiana

[1] Морелли (op cit, p 30) справедливо отмечает, что Мадзини в своем «Плане для повстанческого движения в Италии» («Piano per un moto insurrezionale d Italia») даже не упоминает Сицилии (и это в 1844 году!), а когда восстания в Калабрии и особенно экспедиция братьев Бандьера вновь выдвинули на сцену Сицилию, то Мадзини строжайшим образом запретил Фабрици использовать посланные ему деньги «для подготовки выступления одной только Сицилии» (См G Mazzini vol XXVI p 40) Лишь в 1855 году — то есть добрых одиннадцать лет спустя! — он сформулировал «Инструкции для повстанческого движения в Сицилии» («Istruzioni per un moto insurrezionale in Sicilia»), но и тогда (как мы увидим далее) он это сделал с большими оговорками Мадзини по прежнему считал, что первым призван выступить Север Италии а восстания на Юге и в Сицилии должны были сыграть лишь второстепенную роль в качестве поддержки главной инициативы

лись начать выступление на Юге, которое вылилось в 1848 году в экспедицию сицилийцев в Калабрию. Такого же рода план, на который возлагались большие надежды (на деле же он ни к чему не привел, ибо попытка Николо́ Гардзилли потерпела неудачу), был разработан и тайным Центральным комитетом Палермо в январе 1850 года. Известны попытки Паскуале Кальви высадить своих людей в Сицилии в 1852 и 1854 годах и план высадки англо-итальянского легиона в Калабрии или Сицилии, задуманный Музолино совместно с Пизакане в том же 1854 году; а также действия Сицилийского комитета в лице Бентивенья и Спинуцца в 1856 году, и попытки Пизакане, Пило, Фабрици и Фанелли в 1856—1857 годах, и, наконец, поход Гарибальди и его «тысячи» в 1860 году.

Если стрелка революционного барометра так настойчиво указывала на Юг, то, надо думать, не без оснований.

Попытки восстания до и после 1848 года носили, однако, различный характер. Так, например, те, что были задуманы Фабрици и предпринимались в 1840—1844 годах из-за границы, носили сугубо военно-повстанческий характер, их участники совершенно упускали из виду особые социальные условия Неаполитанского королевства. Участники же выступлений 1848 года и последующих лет ставили определенные социальные проблемы, не нашедшие, правда, конкретного осуществления. В последующие годы эти вопросы больше не упускались из виду, хотя и были подчинены главному: достижению единства и национальной независимости.

Немаловажную роль в революции 1848 года в Сицилии, а также в Калабрии сыграли крестьянские отряды. То были отряды такого же типа, как и те, что в 1860 году во время экспедиции Гарибальди в Сицилии предопределили вначале ее развитие. Создавались крестьянские отряды обычно в тех местах (иногда под влиянием некоторых видных патриотов), где революционное движение имело более давние традиции и где крестьяне принимали наибольшее участие в революционных выступлениях; шла ли речь о 1848, 1856 или о 1859—1860 годах, это были все те же районы. Революционный дух, присущий некоторым из этих районов, выявился еще в 1820—1830 годы.

В демократическом движении Северной Италии подобная связь с народными массами нашла свое воплощение в тех контактах, которые Мадзини удалось установить — главным образом начиная с 1852—1853 годов — с определенными категориями и организациями рабочих в Милане, Генуе и Ливорно. Мадзини не верил в возможность широкого революционного выступления на Юге. Сама логика доктрины «Молодой Италии» отвращала Мадзини от Юга и от идеи национальной революции, инициатором которой выступили бы южные области Италии. Вначале, в 1832—1833 годах, когда он еще не совсем отошел от карбонариев, когда в Марселе рядом с ним еще были Бьянко ди Сен-Жорио и Ла Чечилья (который являлся в «Молодой Италии» своего рода представителем карбонарской организации Юга), Мадзини пусть ненадолго, но все же обратил свои взоры к Югу, хотя ничего конкретного в этом направлении и не было осуществлено. Выражение «инициатива Юга» возникло впервые именно в той среде и именно в те годы. Не следует забывать, что в марсельскую группу, помимо Бьянко ди Сен-Жорио и Ла Чечилья, входил и Фабрици. Однако в соответствии с идеями «Молодой Италии» экспедиция в Савойю 1834 года показала, что в действительности Мадзини придерживался совсем другой ориентации. Из марсельской группы один лишь Фабрици оставался неизменно верен старой идее и дошел почти до разрыва с Мадзини. Внутренние разногласия ме́жду демократами, вынужденными вместе бороться против общего врага, редко бывали настолько острыми, чтобы дело дошло до прекращения революционного сотрудничества.

Но это не значит, что они не были глубокими и серьезными. И позиции обеих сторон отнюдь не оставались неизменными. Когда Фабрици расширил свою конспиративную деятельность на Юге, Мадзини вновь поддался его влиянию и стал склоняться к мысли о возможности восстания в Королевстве обеих Сицилий. Но едва Мадзини показалось, что события стали развиваться ускоренным темпом, как он тотчас же попытался изменить план революционных выступлений и, по сути дела, выдвинул перед Фабрици идею народного восстания в Генуе и в Ливорно, которому должно сопутствовать выступление на Юге. То был зародыш плана, который нашел затем в июне 1857 года свое воплощение в экспедиции в Сапри.

Итак, хотя Мадзини и был в конце концов почти насильно увлечен на этот путь, он всегда в какой-то мере противился, считая, что превосходство и приоритет принадлежат революционному движению Северной Италии, а выступления на Юге рассматривал лишь как дополнение к нему. Причины такого поведения Мадзини носили отнюдь не случайный характер. Так, он полагал, что «моральная революция», как он ее понимал, созрела на Севере в гораздо большей степени, чем на Юге, ибо Север в большей мере связан с европейским демо-

кратическим движением, достиг более высокого уровня культуры и ему присущи более передовые идеи.

В своих социальных воззрениях он ориентировался на промышленные сословия (предпринимателей и рабочих) как «фермент» современного общества; это была одна из многих идей, унаследованных Мадзини от сен-симонизма. Под влиянием чартизма (в бытность Мадзини в Англии) эта первоначальная идея еще более окрепла в нем. Впрочем, Мадзини никогда не умел мыслить социально-экономическими и классовыми категориями. Поэтому ему, видимо, нелегко было понять, сколь различалось социальное положение буржуазии в таких глубоко отличных друг от друга странах, как Италия и Англия. Итальянская буржуазия, даже на севере страны, ничуть не походила на прогрессивную *промышленную* буржуазию Англии, а являлась в основном *земельной* аристократией, которая еще только обуржуазивалась, приспосабливаясь к новым условиям (даже если она занималась торговлей и промышленностью); поэтому эта буржуазия стремилась разрешать проблемы капиталистического накопления за счет нещадной эксплуатации крестьянства, неизбежно проводя в деревне реакционную, косную политику.

Таким образом, накануне 1860 года пьемонтской и ломбардо-венецианской буржуазии были присущи такие черты, которые позволяли ей терпеть даже разговоры о рабочей взаимопомощи или о необходимости повышения духовного уровня рабочих. Однако она никогда не согласилась бы — или с большим трудом — с мыслью о коренной экономической реформе в деревне. Об этой позиции имущих классов Мадзини не мог не знать — каким бы идеалистом он ни был и как бы плохо ни разбирался в вопросах экономики, — и его линия на политическое примирение с этими классами не могла не повлиять в конечном счете и на его взгляд на процесс объединения Италии.

Впрочем, если в понимании самых радикальных приверженцев Мадзини (в первую очередь Пизакане, а также отдельных групп сицилийских и калабрийских социальных демократов) в основе концепции «инициативы Юга» и не лежала непосредственно ( как у Пиказане) идея крестьянской *жакерии*, то все же эта концепция предусматривала поддержку движения крестьянских отрядов, должным образом контролируемого и направляемого.

Патриотическое движение в Сицилии, Калабрии, в Чиленто основывалось на этой традиции и черпало в ней силу. Между тем, когда дело касалось этого вопроса, Мадзини становился крайне сдержанным и осторожным, что не преминули заметить демократы Королевства обеих Сицилий: создавалось впечатление, будто его революционная концепция сковывалась какими-то тайными соображениями.

Бенедетто Музолино рассказывает, как после контрреволюционного переворота в Неаполе 15 мая 1848 года и разгрома калабрийского революционного движения 1848 года в Рим съехалось множество эмигрантов, которые продолжали поддерживать связь со своими провинциями и готовились к реваншу.

«После установления республики,— пишет Музолино,— наиболее видные изгнанники с Юга предложили некоторым влиятельным членам Учредительного собрания план подготовки вооруженного восстания в провинциях Неаполитанского королевства... Они выражали желание самим принять участие в этой экспедиции, если республика согласится снабдить их оружием и военным снаряжением. Этот план обсуждался тайным комитетом. Комитет высказал вначале кое-какие возражения — не по существу самого плана, а лишь относительно его целесообразности. Некоторые полагали, что все усилия следует, скорее, направить на изгнание из страны австрийцев (битва при Новаре в то время еще не произошла), и поэтому не только настаивали на приведении в исполнение уже изданного декрета об оказании поддержки Карлу Альберту, но и доказывали, что все силы и все средства, которыми располагает республика, надлежит направить на достижение этой цели. На сей раз Мадзини не проронил ни слова. Отвечали наиболее разумные, доказывая, что помогать Северной Италии — это значит благоприятствовать монархии, а не республике, интересам Савойской династии, а не интересам Италии... что если уж вести войну, то разумнее обратить оружие против менее сильного и чувствующего себя менее уверенно в своих владениях врага, а именно против неаполитанского короля... Партия была выиграна, и собрание ассигновало сумму 100 тысяч скудо на приобретение оружия и военного снаряжения...»

Музолино объясняет далее, как и почему, несмотря на торжественно принятое решение, ничего затем не было сделано. Обойдя решение Учредительного собрания, Мадзини послал 100 тысяч скудо, дабы ускорить подготовку восстания в Генуе (восстание это, носившее довольно ограниченный характер, началось, как известно, 1 апреля 1849 года и вызвало взрыв возмущения среди всех демократов, и особенно у южных демократов). «Если даже на минуту допустить,— пишет Музо-

лино,— что это восстание оказалось бы более эффективным и продолжительным, неизбежным следствием его было бы незамедлительное примирение Пьемонта с Австрией »

Таким образом, если идея «инициативы Юга» и утвердилась в итальянском демократическом движении, то этого удалось добиться ценой острейшей борьбы, доходившей порой до полного разрыва с Мадзини[1] — правда, в конце концов его все же удалось преодолеть Однако факт остается фактом, во всей его значимости.

Не раз уже говорилось о том, что создание «Италийского легиона» не означало раскола в полном смысле этого слова в лоне мадзинистского движения Говорилось и о том, что Фабрици всегда был тесно связан с Мадзини, хотя и действовал зачастую независимо от него на конспиративном и революционном поприще. Однако это не так. В 1838 году произошел разрыв между Фабрици и Мадзини, а в 1851 — правда, по другой причине — между Пизакане и Мадзини, и разрыв этот был глубоким. Разумеется, политической жизни присуща своя внутренняя диалектика, разногласия не длятся вечно, а точки зрения то расходятся, то сближаются, в зависимости от событий. А поэтому нельзя утверждать, что в 1838 году не произошло разрыва между Фабрици и Мадзини, а в 1851 году — между Мадзини и Пизакане только потому, что потом они сошлись — искренне, честно и с чистыми помыслами — на общей позиции, при этом каждый из них остался верен своим взглядам

Что же касается разногласий между Мадзини и Фабрици в связи с проблемой «Италийского легиона» и «инициативы Юга», то здесь, на наш взгляд, можно выявить два основных момента Первый относится примерно к периоду с 1837—1838 по 1845 год В этот период между ними произошел настоящий разрыв — один из первых столь знаменательных внутренних кризисов мадзинистского движения. Лишь *после* 1845 года, после провала его самостоятельных действий в Сицилии (особенно после 1848—1849 годов), Фабрици снова сблизился с Мадзини и стал действовать более или менее

[1] «Поведение правительства и Учредительного собрания в этом вопросе, — пишет Музолино, — давало основание эмигрантам яростно обвинять их Открытые упреки эмигрантов в «Кафе нуово» носили столь резкий характер, что Мадзини через посредство Зеноне Вантини предупредил их если они не прекратят свои выступления, то их при первом же случае всех арестуют а затем вышлют с территории республики» Carte Musolino. Pizzo Calabro.

в контакте с ним, неизменно сохраняя, однако, свою независимую позицию[1].

Причины разногласий между Фабрици и Мадзини были весьма отличны от мотивов, которые привели к конфликту между Мадзини и Пизакане. Но тот факт, что как Фабрици, так и Пизакане ратовали за «инициативу Юга» (правда, каждый из них вкладывал в это понятие разный социальный смысл), придает анализу этих двух кризисов известный интерес.

Антимадзинистская позиция Фабрици в 1837—1838 годах была предельно четкой и решительной. Достаточно ознакомиться с уставом «Италийского легиона» В этом уставе Фабрици пытался вскрыть причины поражения итальянских восстаний. Читателю придется несколько напрячь внимание, чтобы проследить за его мыслью, выраженной тяжеловесным языком «Цель наша состоит не в том, чтобы обсуждать, в каком восстании были допущены бóльшие ошибки,— писал Фабрици,— и что явилось причиной крушения многих попыток, участие в которых народных элементов все возрастало и которые были столь многообещающими вначале и столь роковым образом завершились для дела Родины. Нам важно лишь констатировать, что народ не повинен в этом, ибо, по нашему мнению, когда простолюдины без сопротивления встречают какое-то предложение, когда назревает какое-то событие, кое будоражит их и порождает в них надежды, то обещаниями общих выгод, которым они могут поверить и осуществимость которых нетрудно доказать, эти простолюдины могут и должны быть привлечены к участию в движении. Когда же они сами охвачены энтузиазмом и готовы на решительные действия, то это ясно свидетельствует об их великих возможностях и потенциальной силе Но если эта готовность

[1] Следует иметь в виду, что в 1843—1844 годах в результате провала организации и выступлений Фабрици в Южной Италии, а также в связи с крахом экспедиции братьев Бандьера в отношении Фабрици и его братьев были высказаны подозрения и выдвинуты обвинения, ставившие под сомнение чистоту их помыслов Фабрици, очень болезненно реагировавший на эту кампанию, чернившую его имя, почувствовал необходимость снова сблизиться с Мадзини, который — как бы он ни осуждал его взгляды — уважал его за честность, патриотизм и прямоту Несмотря на это сближение, стремление Фабрици действовать независимо от Мадзини было настолько сильным, что в 1847 году Фабрици был склонен принять участие в разработке и осуществлении плана восстания на Юге, который Ла Маза, эмигрировавший в Тоскану, подготовлял вместе с Монтанелли, Медичи и другими Этот план основывался опять-таки на идее революционной инициативы Сицилии, за которой должны были последовать выступления в Неаполе, экспедиция в Абруццы и т д , что никак не соответствовало планам Мадзини.

и энтузиазм иссякают, или растрачиваются впустую, или угасают, не принеся никакой пользы, то происходит это оттого, что не хватает руководителя, который сумел бы использовать эту силу, который способен был бы созидать. Внушить доверие, объединить вокруг ясно изложенной цели, организовать и пробудить волю к действию после того, как простолюдины откликнулись на тот или иной призыв, — этим умением и искусством обладают немногие...»[1]

Итак, по мнению Фабрици, не хватало руководителя, «который способен был бы созидать» и увлечь за собой простолюдинов.

Иначе говоря, Мадзини эта задача была не по плечу, он ведь даже не понял, в какой части Италии созрели силы, готовые к восстанию, и потому не уделял внимания Югу и Сицилии Между тем именно на Юге имели место неоднократные попытки восстания. Следовательно, писал в заключение Фабрици, именно там «стремление к действию не угасло, в него лишь следует вдохнуть новую силу и направить его».

Отсюда и возникла идея создания «Италийского легиона» Как только об этом узнал Мадзини, он высказался против «Не знаю, что это за планы, на которые ты намекаешь, ничего не объясняя,— писал он Фабрици в январе 1838 года,— но должен тебе сказать, не вдаваясь в подробное изложение причин, что я возлагаю очень мало надежд — или, вернее, почти никаких — на Сицилию как на место, где может начаться национальная революция. Сицилия не пользуется никаким влиянием у нас; на нее смотрят как на какой-то обособленный мир, вести оттуда поступают в более важные районы Италии с очень большим опозданием, и потребовались бы не только выступления, но и чудеса духа и революционного гения, на что я не уповаю, чтобы воздействовать на Италию. Усилия, направленные на ее итальянизацию, почитаю святым делом и т. д. Но как на центр действия я не возлагаю на нее надежд...»[2]

---

[1] См неизданные статуты «Итальянского легиона» в очерке «Società segrete del Risorgimento», опубликованном в «Rivista di Roma», vol VI, p 295—296

[2] G Mazzini, vol XIV, p 411 Монтанелли отмечает ряд причин, которые побудили Фабрици порвать с Мадзини ««Италийский легион»,— пишет он,— в отличие от «Молодой Италии» не хотел начинать революцию с городов, он не верил в прокламации, так как надеялся, что народ поддержит идею итальянского единства Мадзини выступал в равной мере как против установки Мамиани на просвещение, воспитание народа, так и против установки Фабрици, сводившейся к чисто военной акции » (Montanelli, op cit, p 54)

Таким образом, два соображения побуждали Фабрици действовать на Юге и в Сицилии, пойдя на разрыв с Мадзини *во-первых*, неверие в Мадзини, которого он считал неспособным организовать и успешно довести до конца конспиративную и революционную акцию, *во-вторых*, наличие там особо благоприятных условий для революционной борьбы, о чем свидетельствовали выступления, уже имевшие место на Юге, и прежде всего в Сицилии

С 1838 по 1840 год Фабрици, впрочем, удалось не только добиться того, что «Италийский легион» проник в Сицилию, особенно в районы Мессины и Катании, но и завоевать приверженцев в Калабрии, Абруццах, Марке и даже в Луниджане и Лигурии. Особые усилия Фабрици приложил для создания одного из центров «Италийского легиона» в Неаполе, поскольку им владела мысль (сама по себе верная) о необходимости установления тесных контактов между неаполитанскими и сицилийскими патриотами, то есть между двумя центрами, которые, по его мнению, играли решающую роль в революционном движении Юга. Для этого надлежало преодолеть региональные распри и создать на Юге широкий революционный союз, который мог бы воплотить в жизнь идею «инициативы Юга»

Фабрици пытался доказать Мадзини, что «Италийский легион» является лишь военной опорой «Молодой Италии». В действительности же, как мы видели, дело обстояло иначе и Мадзини понимал, что если Фабрици добьется успеха, «Италийский легион» в конце концов вытеснит «Молодую Италию» и займет ее место. Разногласия между ними, как мы уже сказали, носили острый характер, особенно в период 1838—1844 годов, и Мадзини дошел даже до того, что старался всячески затруднить действия Фабрици в Романье. Так, 30 декабря 1839 года Мадзини писал Мелегари: «Я говорил, что считаю нужным действовать, и продолжаю на этом настаивать; но ты должен знать, что с первых же шагов я столкнулся со всевозможными препятствиями, одно из них весьма прискорбно как для меня, так и для тебя: это разрыв с целой группой наших во главе с Никола Фабрици»[1].

---

[1] G Mazzini, vol XVIII, p 321 Тот факт, что вооруженное восстание, по замыслу Фабрици, должно было представлять собой войну отрядами, которую надлежало начинать не в городах, а в деревне (см что писал Монтанелли), да и сама структура «Италийского легиона» дают основание полагать, что определенное влияние в военном и даже в социально-политическом отношении оказал на него Карло Бьянко ди Сен-Жорио, с которым Фабрици сблизился в марсельской группе в начале деятельности «Молодой Италии» и работу которого, опубликованную

А 1 декабря 1840 года Мадзини писал Фабрици: «Считаю своим долгом снова крайне настоятельно посоветовать вам подумать о том, что я вам предлагаю. Если вы хоть в какой-то мере доверяете мне и знаете мой нрав, то вам должно быть известно, что меня отнюдь не обуревает страсть к деспотизму. После первого предпринятого шага я готов был бы предоставить вам полную свободу действий, полную независимость в работе, при условии если она будет соответствовать деятельности всей организации в целом. Главное условие успеха для всех — придать действенную моральную силу единому организму — от этого лишь выиграло бы. Между тем мы занимаемся бесконечным изобретением организационных форм, наподобие наших господ. Мы делаем то, за что в свое время порицали «Истинных итальянцев», общество «Апофазимени» и др. Это пагубная ошибка, последствия который мы когда-нибудь почувствуем.

Раздельное существование, которое ты предлагал[1] [для обеих организаций: «Молодой Италии» и «Италийского легиона»], в сущности, представляет собой союз: каждая из этих организаций имеет свой девиз и придерживается своих задач. Название остается прежним. Пагубно выделять в особую группу тех людей из «Молодой Италии», которые должны будут посвятить себя вооруженной борьбе, ибо в один прекрасный день все должны быть готовы принять в ней участие»[2].

А 1 октября 1842 года Мадзини в письме к Фабрици подчеркивал: «Я не верю в возможность восстания в Сицилии и не хотел бы этого по тем соображениям, которые я тебе, кажется, уже излагал. Я не верю в вооруженное выступление в Неаполитанском королевстве, ибо любая попытка была бы *неизбежно* раскрыта — не стану говорить тебе сейчас как — и предотвращена»[1]. (В тот период у Мадзини имелись подозрения в отношении Джузеппе Поэрио.)

Таким образом, разногласия между Мадзини и Фабрици касались множества вопросов, в том числе главного метода действий Фабрици, а также его организационной и конспиративной системы. На этом конфликте следует коротко остановиться, поскольку точно такие же разногласия возникли несколько лет спустя, в 1856—1857 годах, между Фабрици — Фанелли, с одной стороны, и Пизакане—Мадзини — с другой, по вопросу подготовки восстания в Неаполитанском королевстве.

Первые считали, что нужно время, чтобы расширить конспиративную сеть и укрепить организацию, вторые доказывали, что чем дольше медлить, тем больше будут множиться аресты и, следовательно, возникнет угроза не только раскрытия организации, но и срыва самой возможности восстания; они выступали, таким образом, за немедленное вооруженное восстание.

Полемизируя с Фабрици, Мадзини высказывал подобные соображения уже в письме от 30 января 1843 года: «Я считаю к тому же, что ни один заговор не может существовать столько времени, сколько необходимо для обеспечения широкой базы, которая требуется для подготовки эффективного выступления; как правило, такой заговор бывает раскрыт вследствие предательства либо до восстания, либо в ходе его. Думаю, что ни ты, ни кто-либо другой, ни я не в силах этого изменить. Всякий раз, как ты мне скажешь: «Италийский легион» внутри страны в таком-то месяце начинает борьбу за объединение Италии, я позволю себе посмеяться, или, вернее, сокрушаться по поводу еще одного раскрытого заговора или еще одного провала... Восстание одного или нескольких отрядов в Калабрии или в Абруццах и более нигде имело бы еще значение в качестве примера, для приобретения практического опыта, но оно не нашло бы отклика в течение многих месяцев — во всяком случае, до тех пор, пока события не приобрели бы исключительный размах. Какое-либо выступление в Сицилии не получило бы, на мой взгляд, никакого отзвука, было бы даже вредным вследствие примененных методов и в конечном счете нанесло бы ущерб делу национального объединения...»[2]

Высказывания эти свидетельствуют о том, что в 1839 году, когда Мадзини выдвинул свою «автономистскую программу», рассчитанную на сицилийских демократов, он умолчал

---

в 1830 году,— «О применении в Италии национальной повстанческой войны отрядами» («Della guerra nazionale d'insurrezione per bande applicata all'Italia») — он, несомненно, знал. Если это соответствует действительности, то фраза Мадзини: «Мы делаем то, за что в свое время порицали «Истинных итальянцев», общество «Апофазимени»»,— видимо, не случайна.

[1] «Италийский легион» был создан Фабрици на Мальте в 1839 году в целях подготовки вооруженного восстания. Тогда же он предложил Мадзини организовать деятельность патриотов следующим образом: «Молодая Италия» занималась бы исключительно теоретической работой, а «Италийский легион» — практической деятельностью, одна организация воспитывала бы граждан будущей Италии, а другая подготавливала бы повстанческое движение. Мадзини отверг это предложение, и Фабрици продолжал свою деятельность на собственный страх и риск.— *Прим. ред.*

[2] G. Mazzini, vol. XIX, p. 363.

[1] G. Mazzini, vol. XXIII p. 287.

[2] G. Mazzini, vol. XXIV, p. 34—35.

о весьма существенных оговорках, ибо не был вполне убежден в приверженности сицилийцев делу объединения Италии Мадзини прибег к этой программе, как прибегают к политической уловке, с целью привлечения на свою сторону тех, кто придерживается иного мнения или упрямо сопротивляется, и сделал это потому, что не сумел верно понять значение демократического движения за сицилийскую автономию, которое вовсе не было помехой на пути объединения Италии, а, будучи правильно использовано, превратилось бы в подлинную революционную силу.

Но прежде чем рассматривать этот вопрос более подробно, следует, пожалуй, остановиться на другом.

Не подлежит сомнению, что в период 1830—1860 годов мадзинизм был в Италии главной демократической силой. Но он не пользовался существенным влиянием в Сицилии и Калабрии, как и вообще в Неаполитанском королевстве: несравнимо большим было его влияние в Северной и Центральной Италии, особенно в Лигурии, Ломбардии и Тоскане. Из этого, однако, не следует, что если в Обеих Сицилиях мадзинистское движение было слабым, то таким же слабым было там и демократическое движение. В самом деле, развитие демократического движения в Обеих Сицилиях носило совершенно особый характер; это было самобытное политическое движение, которое унаследовало и продолжало традиции XVIII века и традиции карбонариев; следовательно, оно было проникнуто, по существу, враждебной мадзинизму идеологией, отличавшейся множеством характерных особенностей.

Карло Пизакане является показательной фигурой и с этой точки зрения: ведь он олицетворял собой сложный противоречивый процесс оппозиции-присоединения (оппозиционного присоединения) южного демократизма к мадзинизму. Пизакане был, пожалуй, первым среди руководителей демократов Обеих Сицилий, сумевшим глубоко проникнуть в суть мадзинистской мысли. Он лучше всех, бесспорно, понимал Мадзини, в большей мере, чем остальные, ассимилировал его идеи и сумел извлечь из них то, что было в них животворного. Тем не менее и Пизакане никогда не подчинялся полностью влиянию Мадзини. В 1849 году, когда Пизакане был ближе всего к мадзинизму, Музолино писал Кастеллани: «Я собираюсь послать тебе другие издания, выпущенные Пизакане, как я полагаю, по указке или совету М[адзини]. В них идет речь о последних событиях в Риме — с того момента, как была пробита брешь, и до падения Республики. Военный вопрос трактуется верно; политика же — в соответствии с принципами Мадзини, ведь Пизакане, как тебе известно, лишь его подголосок»[1].

В другом письме, от 12 января 1850 года, также адресованном Кастеллани, Музолино писал: «Демократия,— хотим мы того или нет — будет развиваться и крепнуть... Мне только горько видеть, как стараются приписать Мадзини заслуги, которых у него, безусловно, нет. Дух национальности в Италии столь же давнего происхождения, как и сама Италия... Единственная заслуга Мадзини состоит в том, что он в полный голос провозгласил и повторил старые истины и суждения, пребывая в полной безопасности за границей, в то время как мы тут, не страшась ни топора, ни галер, тайными путями распространяли идеи, которые в последнее время принесли такие плоды. Восстания в Неаполе и в Сицилии отнюдь не были делом рук Мадзини, там не знали даже имени его. Таким образом, заслуга Мадзини лишь в пропаганде идей...»[2] «Но,— писал далее Музолино,— как политик и как государственный деятель он играл и всегда будет играть пагубную роль для Италии»[3].

Впрочем, можно ли считать, что в 1849 году Пизакане полностью примыкал к мадзинизму? В этом позволительно усомниться, если вспомнить, что спустя несколько месяцев после падения Римской республики он начал выступать с резкими обвинениями, направленными главным образом против Мадзини. Да и сам Музолино, который летом 1849 года в переписке с Кастеллани говорил о Пизакане как о человеке Мадзини, в своем неизданном труде «Мадзини или итальянские революционеры», написанном в те дни, когда воспоминание о римских событиях было еще свежо, подчеркивал, что даже в 1849 году Пизакане в «суровых словах»[4] отзывался о Мадзини. Иначе говоря, его присоединение никогда не было полным.

Действительно, демократическое движение в Королевстве обеих Сицилий было отнюдь не малозначащим явлением; оно таило в себе огромную энергию и возможности, хотя его развитие и шло собственным путем, независимо от мадзинистского движения. И тот, кто хотел стать на путь мадзинизма, ступал на него, пройдя через этап совершенно независимого политического развития.

---

[1] R. Cessi, La crisi del Mazzinianesimo dopo il crollo della Repubblica Romana, в „Atti dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti", 1949—1950, p. 8.

[2] R. Cessi, op. cit., p. 92—93.

[3] R. Cessi, op. cit.

[4] Miscellanea, cit., Carte Musolino, Pizzo Calabro.

Мы уже говорили, что в ходе самой революции 1848 года наиболее передовая часть сицилийских демократов, как-то: Саверио Фриша, Мило Гуджино и другие, поддерживала позицию Филиппо Де Бони, критиковавшего Мадзини и триумвиров Римской республики. Паскуале Кальви, Джованни Интердонато и сам Габриэле Карнацца стояли, бесспорно, на республиканских позициях, но эти позиции обладали своими особенностями, ибо процесс развития демократии в Сицилии не был тождествен процессу развития мадзинизма (это отмечает и Ромео, говоря о революционных выступлениях и революционерах 1837 года). Однако в 1848 году мало что изменилось. Лишь потом, находясь в эмиграции, некоторые сицилийские демократы (но отнюдь не все) стали в большей мере разделять идеи Мадзини.

Мы уже отмечали, что не следует, пожалуй, столь категорически утверждать, будто сицилийские демократы «оказались неспособными по-настоящему отмежеваться от умеренных и, следовательно, неспособными сыграть роль подлинно обновляющей силы в истории острова» [1].

На деле сицилийские демократы резко отмежевались не только от умеренных, против которых они повели решительную борьбу, но и от мадзинистов, создав вместе с Де Бони, Музолино и другими отдельную группу в лоне итальянской демократии. О роли, которую призвана была сыграть инициатива сицилийской демократии, писал Франческо Далль'Онгаро. выступивший 3 января 1849 года на страницах издававшейся Де Бони газеты «Трибуно». Вспоминая о своих римских встречах с Джузеппе Ла Маза в 1847 году, он подчеркивал, что многие демократы Северной Италии все еще продолжали возлагать надежды на Сицилию, полагая, что именно она выступит первой. Будучи поэтом, Далль'Онгаро представлял себе, как «пламя, вспыхнувшее одновременно» в Сицилии и Неаполе, быстро расплавит «лед Севера» и в конечном счете победит «подсказанную трусостью инертность».

Правда, до 1848 года Мадзини и Фабрици даже не подозревали о потенциальных возможностях демократических сил Сицилии. Но означает ли это, что силы эти, действовавшие определенным образом, начиная с 1837 года, вернее с 1820 года и в последующие годы, не существовали в Сицилии? Означает ли это, что о сицилийской демократии следует судить лишь по письмам Мадзини и Фабрици? Означает ли это, что широко разветвленное демократическое движение, существовавшее на острове еще до 1848 года, надлежит расценивать как движение слабое или второстепенное? Означает ли это, что ошибались те, кто с 1838 по 1860 год доказывали — а среди них были такие, как Фабрици, Кальвино, Козенц, Криспи, Пило, Музолино, Риччарди и даже сам Гарибальди,— что революционная инициатива имела бы гораздо больше шансов на успех, если бы начало ей положили на Юге, особенно в Сицилии?

Правда, в Сицилии у «Молодой Италии» было мало последователей. Но это отнюдь не означает, что демократическое движение Сицилии не обладало энергией и силой, присущими именно ему.

Нельзя судить о деятельности той или иной тайной революционной организации, действующей в условиях абсолютистского режима, только по результатам тех попыток, которые предпринимает находящийся за границей центр либо для установления с этой организацией связи, либо направляя туда своих эмиссаров, либо желая установить свое политическое руководство. В одних случаях такие попытки удаются, в других — нет.

Поддержание же контактов с Сицилией из-за рубежа было связано в силу множества причин с огромными трудностями, и такие попытки, как свидетельствуют факты, отнюдь не всегда увенчивались успехом (это касается, впрочем, всей Южной Италии).

И все же демократические организации на Юге Италии существовали, а сицилийская демократическая организация являлась, бесспорно, не только самой сильной на Юге, но и наиболее самостоятельной, независимой и самобытной. Она оказалась способной выдвинуть такие политические требования, которые отражали местные интересы Сицилии, и боролась за них, как умела и как могла в тех объективных условиях.

В заключение можно сказать, что о силе сицилийского демократического движения следует судить, исходя не из того, что́ удалось или чего не удалось сделать Фабрици или Мадзини в Сицилии в период с 1838 по 1860 год, а из того, что́ удалось сделать (вместе с ними или независимо от них) сицилийским демократам, действуя по собственной инициативе и опираясь на те силы, которые им удалось привлечь и сплотить, на те решения, которые они сумели принять, на те революционные кадры, которые они смогли подготовить, и прежде всего на те связи, которые им удалось поддерживать даже в самые трудные времена с определенными слоями народа.

---

[1] R. Romeo, op. cit., p. 303.

Именно это и является главным. Именно сицилийским демократам, из всех демократов Юга, удалось установить и длительное время поддерживать широкие связи с городскими и особенно с сельскими народными массами. Поддержка, оказанная народом Сицилии походу Гарибальди в 1860 году, явилась решающим фактором, который предопределил ориентацию и других областей Юга,— этого не надо забывать.

Следует учесть также, что сицилийским демократам приходилось вести борьбу с такими трудностями, которых, как правило, не знали их братья из других областей Италии. Там умеренные являлись по крайней мере сторонниками единства или, во всяком случае, не заходили так далеко в своем сепаратизме, как кое-кто из сицилийцев, требовавших отделения Сицилии от ее итальянской родины и перехода ее под протекторат иностранной державы — Англии.

В Сицилии же положение осложнялось еще и этим политическим моментом, игравшим немаловажную роль, вследствие чего разрыв между умеренными и республиканцами (и без того достаточно острый в силу особых социально-экономических условий Сицилии) стал еще более глубоким.

Возвращаясь к Фабрици, следует сказать, что наиболее ценным вкладом, внесенным им в революционное движение на Юге, явилось создание единого центра, который на протяжении всех лет, с 1838 по 1860 год (включая и короткий период, проведенный Фабрици за пределами Мальты), стремился объединить и координировать революционные усилия тайных организаций Юга Италии. Так, если попытки Фабрици создать тайную организацию в Сицилии относятся к 1838 году, то попытка создать центр «Италийского легиона» в Неаполе относится к 1840—1841 годам. Фабрици был поистине одержим стремлением преодолеть издавна существовавшую враждебность между Сицилией и Неаполем и объединить усилия неаполитанских и сицилийских патриотов [1].

Начиная с 1840 года то ли вследствие ими самими осознанной необходимости, то ли вследствие усилий Фабрици, но действия неаполитанских и сицилийских конспираторов оказались в какой-то мере взаимосвязанными и подчиненными общему замыслу, а зачастую и общему руководству, как уже говорилось выше.

Созданию организационного центра на Мальте предшествовало постепенное налаживание связей. В то время руководство еще не было централизованным. Оно стало централизованным с 1838 года — разумеется, в той степени, в какой это могло быть, учитывая, что руководство осуществлялось из центра, который находился за границей, а связь с основными провинциями Южной Италии была сопряжена с немалыми трудностями.

1837 год был последним годом, когда связь между Неаполем и Сицилией поддерживалась прежним образом (без наличия координационного центра, признаваемого в той или иной мере обеими сторонами). После 1840 года связи с Неаполем вновь установил (то ли на основе предварительной договоренности с Фабрици, то ли без нее) один из главных участников сицилийского восстания 1837 года, демократ из Катании Габриэле Карнацца. Карнацца отправился в Неаполь и, осудив неаполитанцев за их поведение в 1837 году, «поставил условие, что восстание в Неаполе должно предшествовать восстанию в Сицилии» [1]. Фабрици принял участие в происходившем обмене мнений, и в 1842 году удалось как будто достигнуть более твердой договоренности о согласованных действиях. В 1842—1844 годах в Южной и Центральной Италии почти всюду шла подготовка к восстанию; отчасти она была связана с деятельностью центра на Мальте, которым руководил Никола Фабрици, отчасти не зависела от нее. Как обычно, особенной активностью отличалась Сицилия: Карнацца действовал в Катании, Раффаэле Гранателли — в Палермо, Грамитто — в Джирженти, барон Панкали — в Сиракузах, Пираино — в Мессине. С этого времени «инициативу Юга» стали рассматривать как некий единый план действий, охватывающий весь Юг, однако главными полюсами этого плана неизменно оставались Сицилия и Неаполь. Время от времени в силу тех или иных причин принималось решение, кому выступать первому — Сицилии или Неаполю, но не раз решение это менялось либо в результате неожиданных арестов, либо в силу других причин, возникавших в ходе подготовки к восстанию.

Слабая сторона всех этих конспиративных действий (что особенно явствует, как мы уже говорили, из деятельности Фабрици) заключалась в том, что они осуществлялись, по сути дела, независимо от того, созрели для этого условия, или нет, и что особенно важно, без учета экономических и социальных интересов тех слоев общества, которые были заинтересованы в успехе движения; просто замышлялся заговор и намечался день восстания. Процесс практического созревания

---

[1] См. комментарии и заметки Паламенги Криспи к книге Giuseppe Mazzini, Epistolario inedito 1836—1864, Milano, 1911, p. 31

[1] F. Curato, La rivoluzione siciliana nel 1848—1849, Milano 1940, p. 32.

революционной ситуации не изучался Поэтому те, кто действовал подобным образом, не понимали, почему, к примеру, восстание, поднятое в 1844 году, оказалось обреченным на провал, несмотря на тщательнейшую подготовку, а восстание в Палермо 12 января 1848 года, менее тщательно подготовленное, завершилось успехом Слабость эта была присуща всем мадзинистам, но сам Мадзини, отличавшийся более широкими взглядами и более острым умом, замечал порои противоречивость и шаткость такой позиции и поэтому выдвигал в качестве предварительного условия наличие в стране хотя бы брожения или глубокого недовольства, иными словами, того, что он именовал «моральной революцией» Что же касается Фабрици, то он даже этого не понял Он считал, что для осуществления восстания достаточно хорошей, широко разветвленной конспиративной организации

К тому, что мы сказали, следует добавить, что даже тогда, когда удавалось достигнуть (по крайней мере на бумаге) единства мнений относительно выступления на Юге, Мадзини и мадзинисты всегда стремились расширить район восстания Так произошло и в 1844 году с восстанием, которое Фабрици в соответствии с присущими ему военно-конспиративными принципами назначил на 15 марта, оно должно было начаться в точно назначенный час одновременно в Калабрии и в Романье Как известно, в результате недоразумения, возникшего в связи с требованием романьольского комитета отложить это восстание, оно началось в одной только Козенце и было жестоко подавлено

Главным поборником расширения района восстания за пределы Юга был Джузеппе Мадзини, который всегда противился «инициативе Юга» или, во всяком случае, всегда стремился подчинить ее движению на Севере Подобная политическая позиция Мадзини, помимо множества других факторов, способствовала углублению кризиса «Партии действия» Однако, прежде чем говорить о том, почему Мадзини проявил такую слепоту в отношении Юга, следует хотя бы бегло проанализировать те причины общего характера, которые привели к кризису «Партии действия».

Почему, спрашивается, деятельность Мадзини порождала столько споров и такую враждебность не только в лагере демократов, но и в рядах республиканцев-унитариев? Одни его превозносили и слепо поддерживали (однако лишь немногие — безоговорочно и буквально единицы — до конца), другие — их было большинство — резко его критиковали и выступали против него Среди демократов с незапятнанной репутацией были и такие, например, как Музолино, которые усомнились в революционной честности Мадзини и в определенный момент почувствовали необходимость письменно изложить свои сомнения, с тем чтобы предостеречь итальянских патриотов Разве сам Каттанео не произнес в 1848 году страшную фразу «Этот человек продался»? [1]

Разве не писал Феррари, что объективно Мадзини, каковы бы ни были его подлинные намерения, не приносил пользы делу итальянской демократии? Чем же объяснить тот факт, что в рядах самих демократов Мадзини вызывал такую острую неприязнь, такое недоверие, такую враждебность?

В период с 1832 по 1860 год мадзинистская партия переживала почти непрерывные кризисы, носившие серьезный и глубокий характер, и не так легко выявить — сохраняя при этом правильную историческую перспективу — те многочисленные причины, которые порождали эти кризисы О первоначальных разногласиях между Мадзини и Буонарроти, между Мадзини и карбонариями и «Истинными итальянцами» было сказано достаточно Ясны причины разрыва, происшедшего *между Мадзини и теми из его последователей, которые заняли* левые позиции и стали, подобно Пизакане, например, поборниками материалистических и социалистических идей Ясно также и то, как и почему часть демократов, потеряв веру в Мадзини и в его этико-религиозную утопию, в конце концов отошла вправо и позволила вовлечь себя в ряды умеренной партии

---

[1] См A Monti, Un dramma fra gli esuli, Milano, 1921, p 16 Монти воспроизводит, как известно, рассказ Джузеппе Феррари о встрече, которая состоялась в 1848 году во время событий в Ломбардии между *Феррари, Каттанео и Мадзини* Однако, *по правде говоря* Мадзини был тогда не так уж неправ, когда обвинял Феррари и Каттанео в *муниципализме* или когда утверждал, что предпочитает все же Карла Альберта не только австрийским штыкам, но и помощи — весьма проблематичной — французских штыков, к которой взывали Феррари и Каттанео Из двух вопросов, за которые ратовали ломбардские демократы *вмешательство Франции* и *созыв Собрания Ломбардии,*— последний мог послужить по крайней мере почвой для сближения двух противоположных тенденций среди демократов Мадзини же возражал, заявляя что в данный момент самое главное — война Дело в том, что, по мнению Мадзини (как в те годы, так и всегда), демократия являлась следствием не столько деятельности демократических Собраний, сколько претворения в жизнь его идеи национального и социального возрождения, истолкователем и даже пророком которых он себя считал Деятельность Собраний Мадзини всегда расценивал как побочный и второстепенный фактор Вот почему в тот решающий для страны момент (как раз тогда, когда встретились Мадзини, Феррари и Каттанео) оказалось невозможным найти общую платформу для соглашения и даже общий язык

Одно обстоятельство, однако, требует пояснения, а именно: как и почему даже те демократы, у которых не было указанных выше оснований политического характера для отхода от Мадзини, почему даже те, кто хотел остаться на его платформе — по крайней мере в том, что касалось политической деятельности (к примеру, Фабрици), все же не склонны были безоговорочно принимать его руководство. Почему это чувство неудовлетворенности и недоверия к нему было так широко распространено среди самих республиканцев-унитариев?

Пожалуй, следует проводить различие между теми внутренними кризисами, через которые пришлось пройти мадзинистской партии *до* и *после* 1849 года. Еще до 1849 года Мадзини приходилось переживать трудные моменты, например в 1834 году, после экспедиции в Савойю. Однако именно в 1849 году, в дни существования Римской республики, когда теориям Мадзини пришлось пройти испытание жизнью, именно тогда и начался глубокий кризис той политической партии, которую он возглавлял. После 1849 года его партия фактически раскололась, хотя все значение и масштабы этого раскола стали очевидными лишь после 6 февраля 1853 года.

Правда, в том или ином случае демократам удавалось с трудом «склеить» (хотя бы временно и частично) отколовшиеся группы, ввиду настоятельной необходимости вести совместную борьбу против абсолютизма и против умеренных. Но вера в Мадзини среди большинства его сторонников была уже потеряна, и эти временные и стоившие стольких трудов примирения выдерживали обычно недолго; вскоре возникали новые, еще более глубокие трещины, взаимные претензии и недовольство.

Римская республика была для Мадзини великим испытанием не только потому, что он впервые получил возможность испробовать свои силы, находясь у власти, возглавляя триумвират республики, но и потому, что он мог теперь проявить себя как государственный деятель пред лицом не только римских демократов, но и демократов всей Италии и всей Европы, многие из которых съехались в Рим и могли теперь судить о нем не по его теориям и не по тому или иному неудачному восстанию, а на основе конкретной политической деятельности, сопряженной с большими затруднениями внутреннего и международного характера, то есть на основе его деятельности в период Римской республики.

Те, кто знал Мадзини лишь издалека, по его спорным, но впечатляющим трудам (или же те, кто все его неудачи, связанные с организацией восстаний, относил за счет невезения и все еще находился под влиянием его славы конспиратора и революционера), смогли наконец узнать его лично настолько близко и хорошо, насколько можно узнать человека, когда он становится главой правительства и слова его обретают значение не сами по себе, а при сопоставлении с фактами.

Испытание жизнью в период Римской республики оказалось для Мадзини неблагоприятным. Именно в Риме Гарибальди порвал с ним, и порвал навсегда. К концу существования Римской республики стал отходить от него и Пизакане, резко осудивший его деятельность. О Музолино и говорить не приходится, ибо он всегда был противником и Мадзини и его идей (а после опыта 1849 года пришел к выводу, что Мадзини следует вынести куда более суровый приговор, и высказал те страшные подозрения на его счет, о которых мы упоминали выше). Что же касается демократов Обеих Сицилий, то если после 1849 года часть из них, ближе соприкоснувшись с Мадзини, примкнула в эмиграции к мадзинизму, то другая часть еще дальше отошла от него. Даже старейшие представители поколения «якобинцев», которые были еще живы и участвовали в борьбе за Римскую республику,— среди них Де Аттеллис — писали о нем в довольно суровых выражениях. Эти люди были, правда, стары не только по годам, но и по своим взглядам; поэтому вес их был невелик. Однако не менее резким и оппозиционным было отношение к Мадзини и многих молодых демократов из группы, возглавляемой Филлиппо Де Бони; они организовали против Мадзини в Риме и Тоскане движение, политическая платформа которого состояла из трех программных пунктов большого революционного значения:

1) необходимость передать демократический контроль над властью в руки народных клубов;

2) вооружение республиканцев и расширение республиканского движения в Тоскане и Неаполитанском королевстве посредством вооруженных экспедиций;

3) созыв Итальянского учредительного собрания, которое должно определить социально-политическую структуру нового государства и демократическим путем взять на себя осуществление власти.

К сожалению, не существует обширного и хорошо документированного научного исследования, из которого мы могли бы узнать, сколько и каких именно сторонников завоевала группа Де Бони на основе вышеуказанной программы [1], как

[1] Кое-какие ценные сведения можно почерпнуть из работы Р. Коррадо (R. Corrado, Filippo De Boni, i Circoli popolari e la

не существует и подробного биографического очерка, посвященного Де Бони, хотя он того заслуживает. Что же касается разногласий между Мадзини и Де Бони, то они представляют немалый интерес.

К 1849 году Де Бони успел уже пройти большой жизненный путь. Издававшийся им журнал «Куэль кэ ведо э куэль кэ пенсо» («Что я вижу и что я думаю») (1843 год) был довольно широко распространен, так же как и его газета «Мондо иллюстрато» (1847 год). Газеты, которые Мило Гуджино попытался издавать в те годы в Палермо, должны были развивать, собственно, те же взгляды, которые Де Бони начал проповедовать в 1843 году. Три года спустя, находясь в Турине, Де Бони решил вместо литературно-критического журнала выпускать журнал политический «Кози ла пенсо» («Что я об этом думаю»), но был выслан из города туринским правительством, и хроника «Кози ла пенсо» печаталась в Лозанне издателем Бонамичи до тех пор, пока не начала выходить в свет «Мондо иллюстрато». В 1846 году, находясь в Турине, Де Бони открыто встал в ряды демократов и выказывал нетерпимость даже в отношении этого города, улицы которого, как он говорил, «отличаются прямизной, а души обитателей — кривизной».

Его переписка с Мадзини свидетельствует о том, что, невзирая на узы, связывавшие его с главой итальянской демократии, он всегда относился к нему весьма настороженно и отнюдь не всегда одобрял его действия; объяснялось это чем-то большим, нежели простым стремлением к утверждению своей независимости.

Де Бони никогда не был мадзинистом. Он им не был в отличие от Пизакане даже в течение самого короткого времени. Его позиция в среде итальянской демократии была неизменно позицией sui generis [1], отличной от других. Будучи еще совсем юным, он покинул семинарию в Падуе и отправился в Тоскану; знакомство с флорентийскими демократами, видимо, оказало на него определенное влияние. Во Флоренции и в Риме Де Бони подружился с последними приверженцами Буонарроти. Во время своего пребывания в Тоскане он, судя по всему, сблизился с Монтанелли не больше, чем с другими. В своих письмах Де Бони неизменно подчеркивал различие между своей позицией и позицией его единомышленников, с одной стороны, и позицией Монтанелли и его сторонников — с другой, хотя и те и другие, бесспорно, боролись вместе за требование созыва Учредительного собрания, выдвинутое Монтанелли. Быть может, в какой-то момент и в какой-то определенной мере позиции их совпали — вот и все.

Монтанелли легко поддавался самым различным влияниям: у него был, по словам Мадзини, характер, «подверженный изменениям», и он легко переходил от социализма к мюратизму, от сен-симонизма к некой разновидности неопротестантства [1].

Что же касается Де Бони, то он шел совсем иным путем и всегда был последователен в своих действиях. Даже тогда, когда он отправился из Тосканы в Рим в целях пропаганды выдвинутой Монтанелли программы Учредительного собрания, он отнюдь не являлся всего лишь рупором тосканских кругов, как не был рупором и сторонников Монтанелли. Его флорентийские связи были давнего происхождения, но во Флоренцию он приехал в качестве делегата генуэзского народного клуба, а народно-демократические и социальные взгляды Де Бони были давнего происхождения, они выявились еще в 1843 году. Он оказал влияние на многих итальянских демократов. Даже сам Пизакане — сначала в Риме в 1849 году, а затем в Швейцарии — испытал на себе влияние Де Бони.

В своей книге «Демократы и итальянская революция» («I Democratici e la Rivoluzione Italiana») Делла Перута справедливо отмечает, что «в то время, как для других демо-

---

legazione di lui a Berna, в „Studi e documenti su Goffredo Mameli e la Repubblica Romana", Imola, 1927). В этом труде Коррадо использует материал из „Дневника" Пьетро Чирони („Diario di Pietro Cironi") и некоторые письма Де Бони, представляющие значительный интерес. См. также F. Bosio, F. De Boni, в „Ricordi personali", Milano, 1878; G. Ferretti, Filippo De Boni e i suoi soggiorni nella Svizzera, в „Rassegna storica del Risorgimento", 1950, J. Facen, F. De Boni. Cenni, в „Rivista europea", 1871, а также F. De Boni, Lettere inedite, в „Rivista europea", 1875 и другие не опубликованные ранее материалы Де Бони в недавно вышедшей работе F. Della Peruta, op. cit., Appendice, p. 459. sgg.

[1] Своеобразной (*лат.*).— *Прим. ред.*

[1] См. A. M. Ghisalberti, Giuseppe Montanelli e la Costituente, Firenze, 1947. «Добрая душа,— говорил о нем Мадзини,— но человек слабохарактерный и увлекавшийся последовательно: «Молодой Италией», сен-симонистами, неокатоликами, Джоберти, всеми и вся». Петруччелли делла Гаттина отозвался о нем более зло: «Дух поэзии и запах ризницы всегда выдавали его, подобно запаху мускуса.. он был всем на свете· преклонялся перед Карлом Альбертом, Пием IX, Мадзини, Ламенне, Прудоном, принцем Наполеоном, республикой, империей, и если вчера он был за федерацию, то сегодня ратует за единство Италии». F. Petruccelli della Gattina, I moribondi di Palazzo Carignano, Bari, 1913, p. 161—162.

кратических деятелей и групп нашей страны революционный опыт явился решающим фактором, побудившим их выработать новые политические позиции путем переосмысления событий революционного трехлетия и осознания имевших место ошибок и недостатков (достаточно вспомнить Феррари, Пизакане, Монтанелли), для Мадзини революция 1848 года означала полное подтверждение правильности его позиций и его программы. Что же касается новых факторов, которые выявил 1848 год, то Мадзини принял лишь те из них, которые совпадали с его позицией и с его программой. События 1848 года показали, сколь важное значение для развития итальянской революции имело участие народных масс, ибо там, где ремесленники, рабочие и крестьяне готовы были сражаться, борьба увенчивалась успехом... Одна из главных задач, которые революция 1848 года завещала итальянской демократии, состояла именно в этом: заинтересовать народные массы в революции, с тем чтобы они связали с ней свои судьбы... Такую цель и поставили перед собой представители зарождавшегося в Италии социализма, от Феррари до Пизакане, от Монтанелли до последователей Прудона; между тем Мадзини уклонился от разрешения этой задачи и продолжал упорно уклоняться» [1].

Это и явилось, бесспорно, одной из главных причин кризиса мадзинизма в послереволюционные годы. Однако разногласия между Мадзини и Де Бони представляют собой интерес еще и потому, что они относятся не только к этим послереволюционным годам. Они выявились еще в 1848 году и даже раньше, хотя и достигли особой остроты именно в период Римской республики. Опубликованное Коррадо письмо Де Бони (адресат его неизвестен) представляет большой интерес, так как в нем четко вырисовывается личность автора, его взгляды и методы в решающем 1848 году. Кому же оно было адресовано? Коррадо пишет, что оно предназначалось «человеку, который был хорошо осведомлен о делах флорентийского народного клуба» [2], и такое впечатление действительно возникает при чтении письма. Может быть, оно было адресовано Дж. Никколини, а может быть, Каннонъери. В письме, в частности, говорится о неких кругах, о «странном поведении Ла Чечилья» и предлагается, чтобы «*это осталось между нами*» (курсив Де Бони), поскольку «невероятно, чтобы человек, который так дорог нам и который выдержал столько испытаний, мог покинуть нас в самый ответственный момент».

[1] F. Della Peruta, op. cit., p. 13—14.
[2] R. Corrado, op. cit., p. 16.

«Который так дорог нам»— но кому именно? «Который выдержал столько испытаний» — но в рядах какой группы? Из текста письма явствует, что это «нам» не может относиться к мадзинистской группе. Далее речь идет о Маэстри, который в тот момент являлся сторонником Монтанелли, а впоследствии воспринял социальные воззрения Прудона [1]. «Как вам известно, друг мой,— пишет Де Бони,— Маэстри играет важную роль в ассоциации за созыв Учредительного собрания. Постарайтесь узнать его получше; Маэстри, несомненно, человек хороший, но сделайте все, чтобы повлиять на него, не очень поддаваясь его влиянию...» [2]

Писавший эти строки говорил от имени определенной группы (но это не были ни сторонники Монтанелли, ни последователи Мадзини); речь шла о группе, у которой была своя доктрина, свои связи и даже свой условный язык. У писавшего эти строки имелась, несомненно, своя собственная доктрина и своя собственная программа, как о том неопровержимо свидетельствует, впрочем, другое письмо Де Бони, адресованное Мадзини, в котором он обращается к Мадзини так, как мог бы обратиться от своего имени и от имени своих сторонников лидер одной группы к лидеру другой.

Разногласия между Мадзини и Де Бони носили глубокий, постоянный характер, хотя, как это ни странно, с точки зрения идеологии Де Бони был более близок к Мадзини, чем кто-либо из демократов. Известно, что он не был материалистом и атеистом, подобно Пизакане и Музолино, не испытал на себе влияние Прудона, подобно Маэстри и Де Кристофорису; не был рационалистом и атеистом, подобно Феррари и Ричарди, не был позитивистом и федералистом, подобно Каттанео и Макки, не проявлял безразличия к религиозным и социальным проблемам, подобно многим, очень многим, называвшим себя мадзинистами, как, например, Фабрици, Медичи, Козенц и др.

Политическая доктрина демократа Де Бони пронизана спиритуализмом, некой разновидностью евангелизма социально-гуманистического характера с ярко выраженной народной тенденцией, хотя из этого отнюдь не следует, что Де Бони был когда-либо сен-симонистом или что он когда-либо воспринял те элементы неопротестантства, которые получили распространение (правда, в ограниченных масштабах) в Италии в период Рисорджименто.

[1] См. F. Della Peruta, op. cit., p. 166 sgg.
[2] R. Corrado, op. cit. p. 18.

Социально-евангелические устремления Де Бони носят еще более радикальный антикатолический и антипапский характер, чем устремления мадзинистов, и представляют собой, пожалуй, последний отзвук того социального евангелизма, который был присущ движению карбонариев. И все же социальная направленность идей Де Бони проявляется довольно явно, а с годами приобретает все более ярко выраженный характер. В 1848 году Де Бони рьяно отстаивает «догматы» «демократической религии». Таким образом, его идейные позиции, оказывается, куда менее далеки от позиций Мадзини, чем материализм, рационализм, атеизм, позитивизм или религиозный индифферентизм очень и очень многих итальянских демократов.

По мнению Де Бони, как и по мнению Мадзини, современная им эпоха должна была ознаменоваться переходом от индивидуализма к коллективизму, от *индивидуальной* эпохи к *коллективной* эпохе. Однако в отличие от Мадзини Де Бони считал, что коллективная эпоха не может быть никакой иной, кроме как социалистической, хотя в 1848—1849 годах такая эпоха и представлялась ему весьма отдаленной и еще не созревшей. Как бы там ни было, но он считал, что долг демократов — указать народным массам на эту цель. Социальная реформа, социализм в понимании Де Бони, хотя и имел спиритуалистическую основу, не означал, однако, как это было у Мадзини, примирения между классами; социализм означал борьбу неимущих классов с привилегированными — сначала за немедленное улучшение условий существования, а затем за полное духовное раскрепощение; означал борьбу, демократической основой и эпицентром которой является суверенитет народных собраний. Иными словами, Де Бони считал, что справедливое социальное устройство создается *снизу*, а не *сверху*. Если у Де Бони и отмечался патерналистский элемент (руководство со стороны просвещенных классов), он все же носил менее ярко выраженный характер, чем у Мадзини. Де Бони в отличие от Мадзини стремился не к «социальному переустройству, покоящемуся на ассоциации», а к социализму, хотя его социализм отличался от материалистической и атеистической концепции социализма Пизакане, находившейся в процессе становления, и от рационалистической и атеистической концепции социализма Феррари, хотя он и был куда более осторожен и осмотрителен в своих суждениях и формулировках.

Христос в восприятии Де Бони походил скорее на Христа карбонариев и неокарбонарских сект, чем на Христа Мадзини.

«Истина,— писал Де Бони Кастеллани,— часто поражает и вызывает возмущение, но то, что сегодня вызывает возмущение, завтра становится культом. Христос сделал именно так и своей проповедью вызвал потрясение и возмущение; чтобы освободить человека от рабства, он встал на крайне противоположную позицию, проповедуя личную свободу и равенство перед Богом. Ныне личная свобода стала свершившимся фактом — правда, во многих случаях ей противоборствуют насилие и сила, однако это насилие и эта сила являются аномалией, противоречащей главной идее, тем принципам, кои находят свое выражение в своде законов и в разного рода политических установлениях. Чтобы добиться этого теперь, что нам надлежит делать? Встать на крайне противоположную позицию, сражаться за коллективную свободу...» [1]

И далее: «Христианская церковь переживает, бесспорно, агонию,— это относится как к римской церкви, так и к протестантской, которая выполнила завет Христа о личной свободе, ныне отвергаемый римской церковью. Но, как видишь, этого недостаточно. Если Моисеев закон был первым словом откровения, то христианство — вторым, порожденным первым. Каким же будет третье слово откровения? Вот в чем вопрос...» [2]

Третьим словом откровения, по мнению Де Бони, является социальная реформа, социализм. Однако он полагал, что даже в 1849 году обстановка для этого еще не созрела. Вопрос, следовательно, заключался в том, как, с чего начать, за какое звено цепи ухватиться.

«Как надо начать?— спрашивает Де Бони.— Ринуться стремглав или двигаться медленно? Открыто заявить, как все кипит в душе, или давать это понять постепенно?» [3]

В период 1846—1849 годов он избрал вторую линию: двигаться медленно и «постепенно давать понять», какую конечную цель надлежит достичь народным массам. По его мнению, социальное преобразование неизбежно, оно свершится рано или поздно, даже если начнется лишь с движения республиканского толка.

«Что касается Италии, то любое будущее движение неизбежно будет носить республиканский характер. И если Римским государством будут и впредь управлять священники, то

---

[1] Из письма Филиппо Де Бони к Кастеллани, опубликованного у F. Della Peruta, op. cit., p. 463.
[2] F. Della Peruta, op. cit.
[3] F. Della Peruta, op. cit., p. 464.

им придется столкнуться с социалистическими идеями, ибо такое управление обречет народ на муки голода» [1].

Даже те меры, к которым австрийцы прибегли в Ломбардии в целях привлечения крестьян на свою сторону, Де Бони рассматривал как средство вывести крестьян на политическую арену, что рано или поздно пошло бы на пользу партии социальной демократии.

С помощью газеты «Трибуно» Де Бони намеревался стать трибуном плебса; с помощью программы, основными пунктами которой были «созыв *Учредительного собрания, вооружение и народные клубы»*, он рассчитывал преградить путь мадзинизму. Но каким образом? Что касается лозунга созыва Учредительного собрания (хотя эта идея принадлежала первоначально Мадзини), то Монтанелли четко разъясняет, почему в той деятельности, которую развернули он и Де Бони, этот лозунг обрел антимадзинистский характер.

«Идя с развернутым стягом Учредительного собрания на штурм существующих правительств, — писал Монтанелли,— итальянская демократия освобождалась от бесплодных пут мадзинистского метода и вновь становилась подлинно революционной силой. Мадзини надеялся добиться объединения Италии, находясь вне какого бы то ни было из итальянских государств, возглавляя организацию, которая представляла бы собой нечто вроде эмбриона будущего национального государства, поощряя немощные восстаньица с целью освобождения той или иной территории, призванной стать затем центром замышляемого им идеального государства; действуя из этого центра таким же образом, он полагал добиться желаемого объединения страны. Поэтому он и советовал всем демократам воздерживаться от участия в правительствах существующих государств, поскольку, по его мнению, войти в орбиту влияния того или иного итальянского государства—это значило перестать вращаться в орбите его, мадзинистской, мифической идеи объединения... Подобный метод, годный на что угодно, но только не на свершение революций, обрекал демократов на благие, но бесплодные порывы, на платоническую страсть к мятежам и восстаниям, лишенным действенной силы; обрекал их на то, что подлинная инициатива неизменно оставалась в руках их врагов. Мне же думается, что он должен был повести нас, демократов, на штурм главных центров государств... А уж однажды оказавшись у кормила правления этих государств, демократам надлежало бы пенять на самих себя, если бы им не удалось создать общенационального правительства» [1].

Мы не собираемся здесь распространяться по поводу темной истории, связанной с убийством Пеллегрино Росси,— как известно, с покушения на него в Риме началось восстание за установление республики. Одно несомненно: в бурный период 1847—1848 годов немало демократических групп стремилось захватить власть, прибегая в этих целях даже к покушениям; это относится и к бывшим приверженцам старого общества карбонариев, и к группам, возглавляемым Де Бони, и к народным клубам, и к мадзинистам.

Музолино весьма подробно повествует об истории одного покушения на Пия IX, которое хотели осуществить, но так и не осуществили Кастеллани (в то время тесно связанный с Де Бони и Музолино), Чиккарелли, один из бывших сторонников Буонарроти, и Антонио Торричелли, также связанный в тот период с Де Бони.

Возникает вопрос: разве в 1849 году лозунг о вооружении не был и мадзинистским лозунгом? Разумеется, был, хотя многие демократы (в частности, именно Де Бони и Музолино) обвиняли Мадзини в нерешительности, в отсутствии должной инициативы и решимости для достижения намеченной цели, а также в том, что он возлагал беспочвенные надежды на помощь извне. И антимадзинистскую деятельность, которую Де Бони и его группа развивали в народных клубах, ратуя *за созыв Учредительного собрания, за вооружение и за осуществление народными клубами действенного контроля за исполнительной властью* [2], следует рассматривать именно в этом свете.

Впрочем, та политическая позиция, которую Де Бони открыто занял в послереволюционные годы, не оставляет никаких сомнений относительно характера его ориентации в период Римской республики: будучи довольно близок к Мадзини по своим религиозно-идеалистическим взглядам, он представлял себе будущее общество не как ассоциацию, объединяющую буржуазию и пролетариев (которые, будучи связаны единой социальной религией, должны вместе строить общество будущего), а как социальный строй неимущих и страждущих народных масс, которые единственно и являются выразителями нового кредо человечества.

---

[1] F. Della Peruta, op. cit., p. 460.

[1] G. Montanelli, Memorie sull'Italia e specialmente sulla Toscana dal 1814 al 1850, p. 418—419.

[2] См. L. C. Farini, Lo Stato Romano dall'anno 1815 all'anno 1850, Torino, 1850, libro III, p. 296.

Это и разделяло Мадзини и Де Бони; их разделяла различная политическая и социальная концепция. Вот почему Де Бони всегда находился в числе демократов — противников Мадзини, борясь с изоляцией и страдая от голода, но оставаясь неизменно верным своим воззрениям. Его положение в среде итальянской демократии было крайне трудным и сложным, но никому не удавалось сбить его с избранного пути и заставить изменить своим убеждениям; он всегда делал все — как мог и как умел, — чтобы доказать правоту своей позиции.

Де Бони терпеть не мог Мадзини и переживал, по его собственному признанию, муки ада, когда ему пришлось, чтобы не умереть с голоду, сотрудничать в мадзинистской газете «Италиа дель пополо»; правда, Де Бони писал (как он подчеркивает) статьи не на политические или идеологические темы, а лишь литературно-исторические очерки.

Откуда же взялся Де Бони? Какова его доктрина? От имени кого он выступал? В период 1846—1849 годов он проявлял чрезвычайную активность, был вездесущим «Juif errant»[1] эмиграции, как прозвал его не без иронии, недоверия и враждебности Мадзини. Но за кого же он ратовал, за какую программу? Мы уже говорили, что в конце 1848 года он разговаривал с Мадзини как равный с равным, как лидер с лидером и имел на то все основания, так как движение народных клубов, развитию которых он в такой мере содействовал, получило широкое распространение в Италии — от Лигурии до Тосканы, от Тосканы до Лацио и вплоть до Сицилии. Движение это являлось, в сущности говоря, «зародышем», по выражению самого Де Бони, «демократической партии», отличающейся по своей программе и организационной структуре от той партии, за которую боролся Мадзини.

31 декабря 1848 года Де Бони писал Мадзини: «Что касается нас, то у нас имеется миллион организаторов, но никто ничего не организует. Я пытался создать клубы, газеты, общества, комитеты, но козни и распри *ваших* и *моих* друзей свели все на нет. Я получил немало предложений о сотрудничестве и совместных действиях от представителей карбонарского движения и начал вести с ними переговоры. Я предложил организовать центральный комитет (в основу деятельности которого были бы положены *ваша* и *моя* доктрины) в составе девяти человек, по одному представителю от каждой итальянской провинции и два представителя от Рима, с целью объединения всех организаций. Этот комитет, как вы увидите из проекта, который я вам пошлю, мог бы стать зародышем демократической партии, таким образом был бы создан единый центр с единой программой; его легко можно было бы превратить в центральный комитет «Итальянской национальной ассоциации» во главе с вами в качестве председателя. Но соперничество и раздоры все разрушили, и таких примеров много. Заметьте, что я не был в числе девяти членов комитета, скрепивших своей подписью его создание; все было сведено на нет *вашими* и *моими* друзьями... Да будет вам известно, что большую часть комитетов для борьбы за созыв Учредительного собрания организовал я; что начались переговоры с Канино о деньгах для издания газеты, но из этого ничего не вышло. Тогда я возобновил переговоры и, измученный всем этим, стал издавать газету сам, добившись лишь 500 скудо от него и 300 скудо от одного ломбардца. А теперь оказывается, что я продался наполеоновской партии. Я не продаюсь и презираю тех, кто называет меня продажным человеком...»[1]

Когда в январе — феврале 1851 года Феррари попытался объединить в единую социалистическую партию тех, кто считал, что итальянская революция должна быть в одно и то же время и социальной и политической, то он прежде всего подумал о Де Бони как о возможном организаторе этой партии. Того же мнения был и Каттанео. «Де Бони готов действовать самостоятельно, если никто не возьмется за дело», — писал Феррари, — «он готов идти вместе с нами в деле борьбы за самые передовые лозунги социальной революции. Он горько раскаивается, что сотрудничал в 1848 году в «Италиа дель пополо» (речь шла на деле о лозаннском издании конца 1849 года, и сотрудничество Де Бони сводилось, как уже отмечалось, к статьям на литературно-исторические темы)... что же касается партии, то Де Бони, по мнению Каттанео, обладает большими, чем кто-либо другой, возможностями и большей дееспособностью...»[2] И речь шла не о материальных возможностях, так как Де Бони жил в нищете, а о таких возможностях, как связи, контакты, возобновление отношений с теми, с кем он уже работал.

Вскоре после падения Римской республики Де Бони, нашедший убежище в Лозанне, так высказался о Мадзини в своем письме к Кастеллани:

---

[1] «Вечный Жид» (*франц.*). — *Прим. ред.*

[1] Письмо Де Бони к Мадзини от 31 декабря 1848 года см. у R. Corrado, op. cit., p. 19—20.

[2] F. Della Peruta, op. cit., p. 436. Письмо Феррари от января — февраля 1851 года, адресованное Чернуски.

«...мне известно его высокомерие и неприязнь ко мне; однако мне в то же время известно, что сопротивление, оказанное Римом, принесло пользу Италии. Вышли два номера «Италиа дель пополо»... В силу крайней необходимости я вынужден писать для этой газеты, но стараюсь не касаться политических вопросов.. » [1]

В другом письме, от 23 декабря 1849 года, также адресованном Кастеллани, он писал:

«Я не выношу узкосектантский дух; я не отказываюсь от того, что реально, даже в том случае, когда это не означает полного претворения в жизнь моих идей, но я полагаю, что мыслитель вовсе не должен из-за этого скрывать ту отдаленную цель, к которой, по его мнению, надлежит стремиться человечеству. Народные массы не могут идти за тобой, отвечаешь ты. Ты прав: до сознания народных масс медленно доходит та или иная идея, но кто-то должен указать им цель» [2].

С того момента, твердо веря в правильность своей позиции — в необходимость постепенно нацеливать народные массы на социалистический путь развития, Де Бони посвятил этому все свои усилия. Мысль, которая давно уже владела им, нашла наиболее четкое выражение после 1849 года; однако те, кто близко был знаком с ним, хорошо знали, что эту мысль он вынашивал очень давно.

Впрочем, уже с 1846—1847 годов, когда он начал печатать в Лозанне свою хронику «Кози ла пенсо» («Что я об этом думаю»), Де Бони стал выражать свое критическое отношение к Мадзини, хотя и не стоял еще на тех четко определившихся радикальных позициях, которые он занял в 1848—1849 годах. Он с большой симпатией и восхищением говорил о Гарибальди в связи с действиями Итальянского легиона в Монтевидео, называя его «человеком, упорно стремящимся к высоким и благородным целям, человеком большого мужества и большого ума, способного на великие свершения» ( в 1846 году такое мнение было отнюдь не общепризнанным в демократическом лагере)[3].

Несмотря на присущий Де Бони спиритуализм, который должен был бы, казалось, побудить его весьма сдержанно относиться к школе Романьози, он отзывался о ней восторженно:

«У нас никогда не прервется традиция, связанная с доктринами Беккариа и Верри, которые получили новое, более яркое освещение и были подкреплены новыми данными и аргументами благодаря трудам двух прославленных уроженцев Пьяченцы... Один из них, Мелькиорре Джоя, неустанный собиратель фактов, проанализировал внешние аспекты этих доктрин и сделал их доступными для всеобщего понимания; второй, Джандоменико Романьози, выявил их наиболее жизненно важные стороны и включил их в свою доктрину, охватывающую всю науку об обществе» [1].

К школе Романьози Де Бони причислял и Каттанео, о котором он говорил с интересом как об ученом, хотя в конце 1846 года Каттанео не выражал еще радикальных политических взглядов. Касаясь «Общества поощрения» [социально-экономических исследований], он писал, что «секретарем этого общества является Карло Каттанео, человек широкой эрудиции, острый критик, который высказывает свое мнение, не спрашивая предварительно мнения других, но он поклонник Романьози, а следовательно, атеист, как говорит брат Росмини и как того хочет брат Меллерио» [2].

Между тем весьма редкие высказывания Де Бони о Мадзини носили уже критический характер. Когда Джоберти опубликовал свой труд «Современный иезуит», Де Бони показалось даже, что Джоберти превзошел Мадзини: «...либеральная партия, боровшаяся за Италию в прошедшем десятилетии, именовалась Мадзини, ныне же идея, владеющая умами итальянцев, именуется Джоберти», — писал он и в примечании пояснял: «Только не следует смешивать идею с действием; эмиграция в этом отношении никогда не давала положительных результатов, о чем свидетельствует история от Алигьери до Мадзини» [3].

С того времени он стал считать, что *для действия* нужно, чтобы руководство демократической партией находилось не в эмиграции, а в Италии, и предсказывал, что это будет не джобертианская и не мадзинистская, а военно-демократическая партия, которая сможет объединить все силы, не объявляя, однако, сразу же открыто о конечной цели.

С тех пор он оставался верен своему методу: постепенно развивать сознание народных масс или, как он говорил, давать им понять постепенно, какую конечную цель надлежит достичь. С этой точки зрения, несмотря на его отвращение к тайным обществам в старом понимании этого слова (такое отвращение было в те годы общим явлением), Де Бони все же придерживался метода постепенного раскрытия революци-

---

1 F. Della Peruta, op. cit., p. 459—460.
2 F. Della Peruta, op. cit., p. 463.
3 „Cosi la penso", № 3—4, p. 369, Losanna, 1846.

1 „Cosi la penso", № 8—9, p. 592, 1847.
2 „Cosi la penso", № 5, p. 108—109, 1847.
3 „Cosi la penso", № 8—9, p. 489, 1847.

онных целей, который был присущ миру карбонарских обществ, сторонникам Буонарроти и членам тех тайных обществ, что существовали в период, предшествовавший 1830—1840 годам. Упоминание им Джоберти не означает, следовательно, что он стал его поборником.

Де Бони отдавал себе отчет в ограниченности политических и социальных воззрений Джоберти, но в то же время утверждал, что именно Джоберти привел к расколу католического блока, реакционного блока в Италии, а следовательно, оказался «идейным творцом тех событий, которые происходят последние два года на нашем полуострове».

Но будет ли прочным достигнутый результат? «Джоберти сделал все это, — писал Де Бони, — и нам его деятельность пошла на пользу. Прочно ли достигнутое? Я не знаю; это в божьей воле» [1].

Результат, достигнутый Джоберти, может оказаться, по мнению Де Бони, прочным, если сквозь брешь, пробитую Джоберти, сумеет пройти такая сила, как народные массы и демократическая партия. Таков был замысел Де Бони; следовательно, надо было создать демократическую партию. С этого момента он отказывается отождествлять демократическую партию с мадзинизмом. Создать партию — вот его цель в 1848—1849 годах. Ее естественной основой должны стать демократические собрания, то есть народные клубы. В этой партии должны находиться, разумеется, и мадзинисты, и сторонники Монтанелли, и карбонарии и представители любого другого направления, лишь бы оно было демократическим. Однако участие мадзинистов не означало, что партия должна была стать вотчиной одной-единственной школы, отождествляясь с мадзинизмом, — так считал Де Бони, и его мнение разделяли многие другие демократы.

Правда, вначале идеи, развиваемые им в «Кози ла пенсо», носили скорее неопределенный характер и были пронизаны глубокой, никогда не покидавшей Де Бони горечью. «По всей Италии трубят, — писал он, — что у меня очень крутой нрав, что в моих словах глубочайшая горечь и что хлыст, которым я размахиваю, никого не щадит» [2]. Касаясь, далее, своей программы, развиваемой им в «Кози ла пенсо» (происходило это в августе 1846 года), он заявлял, что умеет выводить на бумаге «лишь два или три жалких и осквернённых слова — слово добродетель, которой я не всегда умею следовать, слово родина, за которую я хочу умереть солдатом, и слово истина, которую я без устали ищу повсюду» [1].

Его приводила в отчаяние «итальянская низость», низость тех, кого «не знаю уж как именуют, но бесспорно не людьми, и кто составляет бо́льшую часть итальянцев. Никакого достоинства, — писал он, — у тех, кто живет в этой злосчастной стране, которую я так люблю, а подчас чуть не проклинаю; порой мне кажется, будто я один из тех несчастных, кто, подпав под влияние чар красивой, но подлой любовницы, проклинает и обнимает ее в одно и то же время» [2].

И далее: «...Итальянцы не солдаты, итальянцы не хотят сговориться о том, *как, когда и где* разжечь великую революцию; демократическая партия имеет немало мучеников, но ни одной победы... Нам необходимо иметь военный центр и военный отряд — ядро будущих войск, единую направляющую мысль, единое руководство; мы должны сделать все, чтобы объединиться, должны уметь твердо выстоять, не падая при первом же столкновении, и должны двигаться вперед организованно...» [3]

Таким образом, Де Бони в меньшей степени, нежели Ричарди, верил в то, что народное движение может привести к изгнанию из Италии австрийцев и папы [как раз в тот момент была опубликована брошюра Риччарди «Conforti all'Italia»], и не верил вовсе в мадзинистскую теорию мученичества, которая казалась ему несостоятельной и неспособной «разжечь великую революцию». Разумеется, не Мадзини и его сторонников имел он в виду, когда говорил о необходимости иметь военный центр и военный отряд, единую направляющую мысль, единое руководство, а организацию военно-демократической партии. Это был, в сущности говоря, старый, присущий карбонариям подход к политической борьбе, приспособленный к новой действительности.

Разве Музолино и Фабрици думали о чем-то ином? Разве генуэзский военный центр думал о чем-то ином? Не так ли мыслил себе демократическую партию, особенно в самом начале, Пизакане? В этой обстановке и возникла теория Де Бони о постепенном претворении в жизнь революционной цели.

«Что же мы представляем собой? — писал он. — Мы не являемся ни умеренными, ни экзальтированными; или же, если хотите, мы и то и другое одновременно, оставаясь неиз-

---

[1] „Cosi la penso", № 8—9, p. 502—504, 1847.
[2] „Cosi la penso", № 1, 1 agosto, 1846, p 10

[1] „Cosi la penso", № 1, p. 16.
[2] „Cosi la penso", № 1, p. 28.
[3] „Cosi la penso", № 1, p. 100. Рецензия на книгу G. Durando, Della nazione italiana, Losanna, 1846.

менно итальянцами»[1]. Однако взор его был постоянно обращен к народу, который, по его мнению, необходимо снова научить искусству умирать и побеждать[2]. Это ощущалось даже на тех страницах «Кози ла пенсо», которые были проникнуты глубокой горечью и отчаянием; поэтому к Де Бони можно отнести слова, сказанные Каттанео о Мадзини: «Он терял надежду на осуществление того, что являлось самой заветной его мечтой».

Летом 1847 года со страниц журнала повеяло новым ветром, — ветром веры и надежды: народ пробуждался. Де Бони поспешил покинуть Швейцарию и отправился сражаться в Италию. Он забыл, как это ни странно, то, что утверждал еще несколько месяцев назад, и в последнем номере своей хроники написал «Вот уже на протяжении года с верой в душе я описываю величественное зрелище народа, восставшего после многих и многих столетий из могилы и исполнившегося наконец сознания ответственности за свою судьбу; там, где была ночь, забрезжила заря, и Рим, средоточие всех наших бед, стал таким, каким мы видели его в наших мечтах... «могилу» . не удастся снова закрыть, разве только прибегнув к кровавой расправе — да избавит нас от этого небо — над огромной массой людей».

Движение народных клубов получило широкое распространение по всей Италии Во главе этого движения, помимо Де Бони, Чирони[3], Каннонъери (которые составляли его первоначальное ядро), находились представители различных тенденций; правда, позиции того или иного из этих патриотов порой подвергались изменениям. Мы встречаем среди них Чернуски, Маэстри, Рускони, Саличети, Далль'Онгаро. Даже сам Гарибальди, который обычно воздерживался примыкать к той или иной группировке, сочувственно относился к этому движению; близко примыкал к этому движению и Музолино. Что касается Джузеппе Риччарди, то, не будучи участником этого движения, он занимал в отношении Мадзини критическую позицию, которая была в какой-то мере схожа с позицией сторонников клубов.

В своей книге о Римской республике Демарко справедливо отмечал «Действительно, центр политического равновесия страны переместился»[1]; и далее, цитируя Л Фарини. «рычагом, ускорившим процесс развала старого государства, и основой нового» являлась сеть широко разветвленных по всей стране политических клубов Они приложили немало усилий, чтобы на выборах одержали верх представители демократических тенденций, те, кто мог гордиться своим бурным политическим прошлым, кто состоял в различных тайных обществах, кто был республиканцем, или же, говоря словами такого умеренного деятеля, как Фарини, чтобы были избраны «скорее бедные, нежели богатые, скорее невежественные, нежели образованные, ибо богатство и ученость вызывали подозрение и зачастую можно было услышать, что следует опасаться людей ученых и богачей». Народ упрекал «конституционалистов» и «доктринеров» во всех смертных грехах[2]

«К концу года (1848), — писал далее Фарини, — после того как первосвященник и двор бросили конституционалистов,

---

1 „Cosi la penso", № 5, gennaio 1847, p 241.

2 См. „Cosi la penso", № 2, 1846, p. 108

3 О Пьеро Чирони см G Pansini, Democrazia e umanitarismo in Piero Cironi, в «Prato e la Rivoluzione toscana del 1859» Пансини пишет «Что касается его политических воззрений, то их невозможно охарактеризовать одним словом В его мышлении сочетались элементы учений Фурье и Сен-Симона, воспринятых, правда, в основном сквозь призму мадзинизма» (p 49) И далее «По мнению Чирони, задача заключается не в том, чтобы стремиться к постепенной эволюции государства, которая когда-то может привести к достижению свободы и равноправия людей, а в том, чтобы добиться этого как можно скорее, полностью и окончательно Речь идет о фактическом установлении того, что является правом, ибо люди родились свободными и равными Правительства и власти должны не колеблясь опираться на эту нерушимую истину..» (p 68).

Пансини пишет также, что после возвращения Чирони из Рима в 1849 году в его статьях стал наблюдаться возрастающий интерес к рабочему вопросу и к французским социальным теориям Так, в одной из своих статей, опубликованных на страницах «Пополано», он заявлял, что если под социализмом подразумевается присоединение к теориям Сен-Симона и Фурье, то в таком случае «мы не являемся социалистами» Если же «под социализмом подразумевается, во-первых, принцип ассоциации, признаваемый как одна из главных основ того порядка, который должен быть установлен, и, во-вторых, наличие твердой уверенности в том, что на основе неизменных условий материальной и духовной жизни этот порядок создаст новое общество, не похожее ни на одно из существовавших ранее, то в таком случае, да, мы являемся социалистами и в большей мере, чем кто бы то ни было» (p 73) Пансини правильно отмечает, что во взаимоотношениях между Чирони и Мадзини были и взлеты и падения. В действительности главная причина их разногласий заключалась в следующем в 1849 году Чирони являлся одним из поборников движения народных клубов, в 1854 году он подписал обращение, в котором говорилось, что вслед за первым революционным выступлением необходимо *сразу же* созвать ассамблею для обсуждения политического вопроса, а именно для утверждения принципов демократии, осуществляемой *снизу*, — демократии, которая и породила народные клубы «Подобную точку зрения я считаю пагубной», — писал ему в ответ на это Мадзини (G Mazzini, vol LI, p 28 sgg)

1 D Demarco, Una rivoluzione sociale—La repubblica romana del 1849, Napoli, 1944, p 75

2 L. C Farini, Lo Stato Romano dal 1815 al 1850, vol III, p. 118.

после того как абсолютисты проявили свою трусость или, дав себя устрашить, утратили всякое мужество, путь оказался открытым для тех, кто стремился превратить Рим в резиденцию Итальянского учредительного собрания и намеревался осуществить там смелый эксперимент» [1].

В апреле 1849 года римские клубы объединились в Центральный комитет римских клубов общественного надзора. Какова же практическая цель такого слияния? — задавался вопросом Демарко. «На это отвечает программа комитета от 19 апреля 1849 года. Благодаря слиянию клубы должны были стать промежуточным звеном между народом и правительством республики». Отнюдь не собираясь препятствовать деятельности правительства, комитет ставил перед собой цель оказывать ему всемерное содействие во имя блага родины и защиты республики. Однако поскольку этот комитет «был порожден народом и находился в гуще народа», ему надлежало проявлять «особую заботу о нуждах народа, стать выразителем его воли и чаяний, неизменно требуя от исполнительной власти и от Собрания принятия таких законов и таких мер, которые были бы направлены на улучшение социальных условий... стоять на страже порядка и целостности республики» [2].

Следовательно, клубы стремились играть в системе государства роль огромного политического значения, стремились стать таким органом, который бы защищал права народа, то есть действенным органом контроля как над исполнительной, так и над законодательной властью, стремились осуществлять суверенитет от имени народа; считая себя прямым и истинным выразителем его воли; иначе говоря, их целью было претворение в жизнь совершенной социальной демократии.

Антимадзинистская позиция Де Бони встретила широкую поддержку среди демократов Обеих Сицилий, хотя Мадзини прилагал все усилия, чтобы привлечь на свою сторону то одного, то другого. Из неаполитанских демократов с Де Бони и с движением клубов были связаны, помимо Саличети, приверженец Буонарроти Чиккарелли (о котором Музолино рассказывает в своих римских воспоминаниях 1849 года, изображая его в не очень выгодном свете), Торричелли, о котором нам уже довелось говорить, а также Дзуппетта, навсегда оставшийся верным радикальной программе социальной демократии. В период самого острого конфликта между Мадзини и клубами Пизакане, как известно, был мадзинистом и не находился тогда среди тех, кто выступал против Мадзини. Будучи начальником генерального штаба армии Римской республики, он был целиком поглощен одной мыслью: как разрешить насущные военные проблемы. Но не прошло и нескольких месяцев, как его уже связывали тесные узы дружбы с Де Бони и с Музолино, которые были самыми ярыми антимадзинистами.

Среди калабрийских демократов, помимо Музолино, с движением клубов был связан Казимиро Де Льето. Что касается Сицилии, то почти все демократические газеты, издававшиеся в провинциях Палермо и Трапани, являлись органами народных клубов — в частности, «Сентинелла дель пополо», редактором которой был Фодера́, «Читтадино» и другие, редакторами или сотрудниками которых были Мило Гуджино, Фриша, Трапани, Корвайа. Показателен тот факт, что обе газеты, выпускавшиеся Саверио Фриша, назывались «Л'Армаменто» («Вооружение») и «Коституэнте» («Учредительное собрание»), то есть носили названия двух основополагающих пунктов программы Де Бони.

Иными словами, после 1849 года в среде поборников Мадзини выявился глубокий раскол, который не ограничивался определенной позицией того или иного влиятельного лидера (как, например, Гарибальди или Пизакане), а охватывал очень большую группу демократов, имевших свои базы повсюду, и прежде всего в Тоскане, в Риме и Неаполитанском королевстве. На сей раз раскол произошел в самом лоне республиканцев-*унитариев* (они стали делиться на унитариев — мадзинистов и атимадзинистов), добавив таким образом новую линию раскола к той, которая отделяла унитариев от федералистов.

Правда, в сложившихся тогда исторических условиях, после поражений 1848 года, когда крайне шаткие позиции демократов подвергались постоянным атакам, разногласия эти, как бы глубоки они ни были, не всегда выливались в открытую борьбу. Ибо сама жизнь диктовала необходимость совместных действий во имя общего дела. Однако, несмотря на настоятельнейшую необходимость объединения всех патриотов, после 1849 года итальянская демократия оказалась, бесспорно, расколотой на три или четыре противостоящие друг другу группы, а также на многочисленные подгруппы и группки. Бесспорно также, что после 1849 года престиж Мадзини настолько пал даже в глазах его сторонников, что ему с тру-

---

[1] L. C. Farini, op. cit., p. 117.
[2] D. Demarco, op. cit., p. 80—81.

дом удавалось, и то лишь в определенных пределах, подчинять своему контролю партию, все чаще и чаще прибегая к личному воздействию на людей, которое приобретало крайне настойчивый и тягостный характер. В результате Мадзини с каждым годом все более терял свое влияние в партии, хотя особенно очевидным это стало только после 6 февраля 1853 года.

Какие же причины лежали в основе этого глубокого кризиса? Привлекает внимание тот факт, что программа Де Бони и народных клубов 1849 года не отличалась от программы Мадзини, по крайней мере формально, в том, что касается рискованного крена влево (то есть в смысле более ярко выраженной социальной целенаправленности). Правда, она, само собой разумеется, не отражала и более правой позиции. Пребывание в этой группе бывших сторонников Буонарроти, таких, как Каннонъери, Дж. Никколини, Чиккарелли, кое о чем да говорило: ведь прошло всего лишь немногим более десяти лет со времени разрыва и полемики с Буонарроти и его приверженцами.

Показателен тот факт, что в начале 1851 года Феррари отдавал предпочтение Де Бони в качестве возможного организатора новой партии, которую надлежало создать. Более того, Де Бони, видимо, давно был подготовлен к этому, поскольку в конце 1850 года готов был предпринять самостоятельные действия даже в том случае, если Феррари и Каттанео не решатся действовать с ним заодно. Надо сказать, что мысль о создании республиканско-демократической партии, возглавляемой не Мадзини, а кем-нибудь другим, в 1851 году лелеяли многие: Бертани и Медичи например, а также (правда, в иной форме) Мордини, который писал об этом Фабрици (впрочем, в 1857 году он вернулся к этой мысли), Музолино и многие другие. Однако Де Бони был в числе тех, кто наиболее упорно и энергично стремился к достижению этой цели.

Все же нет оснований утверждать, что в 1849 году программа народных клубов имела более ярко выраженную социальную направленность, чем программа Мадзини. То же самое можно сказать и о демократических мерах, за которые в противовес Мадзини ратовали люди самых различных идеологических и политических взглядов, от Гарибальди до Музолино. Правда, как на страницах газет, которые ссылались на народные клубы, так и в ходе дискуссий, возникавших в самих клубах, высказывались значительно более радикальные точки зрения, но говорить о сколько-нибудь осознанной целостной программе, нам думается, нет оснований.

Что же порождало разногласия? Главная причина разногласий заключалась в том, что демократы, о которых идет речь, находили социально-политическую доктрину Мадзини недостаточно демократичной и на деле недостаточно народной, рассматривая ее как умозрительную, теократичную, утопическую и автократичную. Они не разделяли точку зрения Мадзини, считавшего, что носителем суверенитета является бог и гений — истолкователь закона бога на земле.

Но особенно осуждали они другую его точку зрения: будто разум гения (то есть Мадзини), истолковывающего закон бога на земле, определяет процесс национально-освободительного движения и социального возрождения. Федералистам — Каттанео, Феррари, Макки — все это, как известно, представлялось смехотворной и претенциозной выдумкой. Даже республиканцы-унитарии, которым был присущ иной образ мыслей (независимо от того, придерживались ли они более правой или более левой ориентации, чем Мадзини), даже такие люди, как Гарибальди, Бертани, Пизакане, Ричарди, Фабрици, Де Бони, Медичи, Мордини, Музолино, расценивали эти воззрения, как выдумку, лишенную какой бы то ни было реальной почвы. Что же касается таких деятелей, как Пизакане, который в какой-то мере испытал на себе (хотел он того или нет) влияние мадзинистских идей, то он резко и гневно отвергал религиозно-демократический аспект доктрины Мадзини, что изрядно все осложняло, ибо речь шла о целом догматическом комплексе идей и убеждений, который нельзя было частично принимать или частично отвергать, не отвергая в конечном счете его целиком.

Почти все патриоты, которых мы перечислили выше, да и многие другие глубоко уважали Мадзини. Они ценили его вклад в борьбу за воссоединение Италии, ценили его веру, его страстность, его самоотверженность, но все же считали (кто по одной, кто по другой причине), что его социально-политическая программа была неосуществимой и нереальной, а его руководство в политическом и организационном отношении — вредным, что его догматизм порождал раскол, а его фанатизм был чреват пагубными последствиями. В силу всех этих соображений они и считали, что чем скорее Мадзини будет отстранен от фактического руководства движением, тем лучше будет для Италии, хотя, разумеется, следовало отдать ему дань уважения и признательности.

Если в 1856 году Пизакане сблизился с Мадзини, то произошло это потому, что он не нашел никого другого, кто готов был бы *действовать* (как тогда говорили). А Пизакане хотел

испытать свои силы в действии, ибо обстановка представлялась ему созревшей для этого (по его мнению, именно в тот момент — или никогда — надлежало преградить путь умеренным), а его план социально-политического возрождения страны в ходе самого его осуществления должен был, как ему казалось, неизбежно завоевать всеобщее признание и одержать верх. Весьма возможно, что если бы Пизакане нашел поддержку у федералистов, то он бы действовал вместе с ними. Быть может, если бы в 1856 году Бертани и Гарибальди проявили готовность к действию, то он преодолел бы свои сомнения в отношении Гарибальди как военачальника. Однако факт остается фактом: несмотря на его столь осуждаемую доктрину, или, вернее, именно благодаря ей Мадзини был единственным человеком, который в 1856 году готов был ринуться в бой, единственным руководителем группы людей, которые пошли бы за ним по этому пути, невзирая на бездеятельность и противодействие большей части членов его же партии.

Что касается республиканцев-унитариев, противников Мадзини, то им не удалось выработать общую программу. Пизакане занимал обособленную позицию, ратуя за свои давние, глубоко радикальные идеи, которые стали общеизвестны в 1850 году после выхода в свет его книги «Война в Италии». Другие настаивали на необходимости демократической диктатуры типа народно-военной, которая должна была придать военный характер и «Партии действия» (Гарибальди, Бертани, Медичи, Козенц, затем Мордини и даже Фабрици — последний с оговоркой относительно сотрудничества с Мадзини). За военно-демократическую диктатуру был и Бенедетто Музолино — но с оговоркой о необходимости открыто разоблачить Мадзини перед всеми патриотами Италии. И, наконец, была целая группа патриотов, которая противостояла Мадзини, но по другой линии — следуя, так сказать, традиционному и классическому направлению демократической мысли, то есть утверждая, что демократия должна основываться на суверенитете народных собраний (надо сказать, что мнение это многим представлялось вполне естественным). Эта группа, во главе с Де Бони, доказывала, что народные клубы надлежит создать повсюду и что в руки этих клубов должен перейти демократический контроль над властью.

Что же касается Мадзини, который с фанатичной страстностью верил в свои идеи, то он почувствовал себя глубоко задетым политической программой Де Бони и народных клубов (а программа эта, бесспорно, носила демократический характер независимо от того, была ли она политически своевременной в той ситуации или нет) и реагировал на нее с необъяснимой для демократического лидера яростью. Мадзини встретил в штыки и с нескрываемой враждебностью осудил политическую линию Де Бони и народных клубов не потому, что она была левее или правее его политической линии (на деле она была в основном левее, но вряд ли Мадзини отдавал себе в этом отчет), а потому, что она коренным образом противоречила его теории гения — истолкователя закона бога на земле, являющейся сутью мадзинизма.

Мадзини показалось, что его бог осквернен, что мистико-романтический алтарь его социального государства разрушен, что ниспосланное свыше откровение осмеяно, а его миссия в Италии и Европе не признана. Мадзини расценивал позицию Де Бони, народных клубов, их сторонников и друзей как возврат к *клубам* якобинского типа [1], к демократии в духе Руссо и Робеспьера, как возврат к принципу народа-властителя. Он, по-видимому, с подозрением относился и к присутствию в народных клубах последних сторонников Буонарроти, а присутствие их, кстати говоря, было не случайным. Хотя на словах Мадзини и выказывал терпимость, на деле он яростно противился политической программе Де Бони и народных клубов.

На наш взгляд, именно в этой идеологической нетерпимости не только в отношении Де Бони и народных клубов, но и в отношении значительной части демократического движения,— к тем, кто по различным причинам либо никогда не разделял мадзинистские идеи, либо перестал их разделять,— и заключалась основная причина глубокого раскола, приведшего в конце концов к изоляции Мадзини от большинства

---

[1] См. D. Demarco, op. cit., p. 101. Ссылаясь на местные источники, Демарко описывает празднества в честь Римской республики, устроенные в некоторых городах и местностях народными клубами. «Среди великого народного ликования,— пишет он,— возвышались «деревья свободы», увенчанные трехцветным знаменем и фригийским колпаком, а возле них ораторы произносили речи перед народом. Люди танцевали, пели, пили вино, стихийно возникали народные демонстрации». Однако социальная целенаправленность клубов повсюду носила крайне радикальный характер. В письме к отцу Гавацци от 14 января 1849 года Манин сокрушался по поводу «социалистических теорий» народного клуба Венеции и выражал опасение, как бы они не привели к ужасающим последствиям. См. A. Levi, La politica di D. Manin, Milano, 1933, p. 30. Что касается характеристики, которую Сальвемини дает Де Бони («мадзинист, попавший в сети Карла Альберта») в своей работе «I partiti politici milanesi nel secolo XIX» (перепечатанной в «Scritti sul Risorgimento», Milano, 1961, p. 27 e sgg.), то она не соответствует действительности.

итальянских демократов. Причем он оказался изолированным не только от федералистов, не только от Гарибальди и Бертани и от тех, кого впоследствии называли гарибальдийцами, не только от Пизакане и от тех, кто начал приобщаться к социалистическим идеям, но и от самого Фабрици и от тех, кто (подобно Де Бони и его друзьям) стремился к такой демократии, которая не являлась бы плодом откровения гения, истолковывающего закон бога на земле, а основывалась бы просто на демократичности народных собраний.

Иначе говоря, после 1849 года многим стало ясно, что нельзя больше вести себя так, как вели себя во времена создания «Молодой Италии» очень многие, и в том числе, например, Гверрацци, Бини, Фабрици, Ла Чечилья, Бьянко ди Сен-Жорио. Хотя они не без иронии относились к мистико-романтической доктрине Мадзини, к его своеобразной социальной религии, тем не менее они примкнули к его партии, считая, что эта партия, воодушевленная новыми идеалами и обладающая новой жизненной силой, способна к действию во имя торжества демократии и объединения Италии.

После 1849 года многим стало ясно, что именно эта религиозно-политическая доктрина и являлась главным, а отнюдь не второстепенным в учении Мадзини и поэтому превращала партию в нечто среднее между церковью и тайным обществом. Это отталкивало многих демократов и затрудняло создание настоящей партии, которая могла бы объединить ее приверженцев на основе определенной политической программы, независимо от философских или религиозных воззрений. Многим, таким образом, стало ясно, что эта своеобразная доктрина откровения, несомого избранной личностью, лишала партию смысла и права на существование, ибо для чего, спрашивается, нужна была партия — да еще партия демократическая,— если Мадзини, как правило, действовал так, будто и впрямь он являлся единственным носителем истины-откровения.

И не верно, будто Мадзини проявлял нетерпимость (он никогда не проявлял ее внешне, а всегда — по существу) только в отношении Пизакане, потому что тот стал материалистом и социалистом, или только в отношении Де Бони и его друзей, потому что они ратовали за такие формы демократии, которые, по мнению Мадзини, устарели и были опасны, или только в отношении федералистов, потому что они были позитивистами и избегали действий, или только в отношении Гарибальди, Бертани, Медичи и Козенца, потому что они были сторонниками военной диктатуры, или, наконец, только в отношении Фабрици, потому что он являлся поборником такой политической и военной организации, которой надлежало действовать на реальной конкретной почве.

Нет, Мадзини был нетерпимым ко всем, кто не принимал целиком и полностью его догмы, его религии. По форме, внешне Мадзини держался со всеми демократами примирительно, смиренно, говорил с мольбой в голосе (особенно в последние годы). Быть может, они все же присоединятся к нему, чтобы *действовать,* и, быть может, они возьмут на себя руководство и будут руководить даже им, последним из солдат, лишь бы только действовать, лишь бы только добиться объединения и независимости Италии. Он был готов на все, согласен на все и со всеми, согласен быть в самом хвосте, только бы свершилось это объединение Италии с помощью кого угодно и как угодно; ради этого он готов был молча страдать во имя высшего блага родины. Сотни писем Мадзини были пронизаны тем же духом, и когда он писал их, он был, вероятно, глубоко искренен. Среди этих посланий имеются и такие, которые невозможно спокойно читать — таким глубоким волнением дышат они. Однако люди, которым они были адресованы, хорошо знали Мадзини, и если при чтении того или иного письма они порой и могли расчувствоваться, то все же не верили ему и были правы. Ибо стоило только протянуть ему палец, как Мадзини немедленно хватал всю руку и снова начинал проповедовать свою пресловутую доктрину — столь же догматично, как он проповедовал ее в 1832—1833 годах, и так же пытался осуществить ее на практике, как он это делал в 1834 году. Да он, если вдуматься, и не мог поступать иначе, ибо его политические убеждения были не просто воззрениями, которые могли подвергаться изменениям, а являлись догмой-откровением, указующей путь к возрождению рода человеческого.

Именно подобный характер sui generis[1] мадзинистской доктрины и привел к неизлечимому кризису «Партии действия». Второстепенные причины были разными и преходящими, главной же оставалась эта.

Эти своеобразные черты самого Мадзини и его доктрины порождали двоякую реакцию. С одной стороны — героические действия ограниченного круга людей, которые даже в самых неблагоприятных условиях начинали борьбу и приносили себя в жертву, словно озаренные свыше; факт этот имел огромное значение в истории Рисорджименто, так как благодаря этим

---

[1] Своеобразный (*лат.*) — *Прим. ред.*

жертвам смогла проявиться и утвердиться наша демократия, которая не имела возможности проявить себя иначе, учитывая относительную слабость ремесленных и рабочих слоев и отсутствие связи с крестьянскими массами Северной и Центральной Италии.

С другой стороны, отвращение к подобным методам, возраставшее с каждым годом и охватывавшее демократов всех направлений, включая и тех, кто был наиболее тесно связан с Мадзини, привело на деле к расколу «Партии действия». Партия распалась; ее левое крыло стало придерживаться социалистического направления, а подавляющая часть демократов подчинилась умеренным.

«Молодая Италия» была создана в целях формирования нового сознания у итальянского народа путем достижения единства мысли и действия и ликвидации старых политических, религиозных и социальных устоев. Мадзини полагал, что новое сознание возникнет благодаря откровению, которое будет принесено извне, по божественной воле, и благодаря деятельности группы избранных и просвещенных. Но он не представлял себе процесс демократического развития как процесс, пусть трудный и сложный, но идущий *изнутри,* причем не только благодаря действенному и все более широкому участию в революционном движении народных масс (их участие в революционном движении он, бесспорно, считал нужным, желал этого участия и первый претворил его в жизнь), но и потому, что демократические собрания должны были бы стать *подлинными* носителями народного суверенитета. Даже если бы понадобилось установить народно-военную диктатуру для борьбы с абсолютизмом и с иностранным игом, такая диктатура носила бы демократический характер только в том случае, если бы она опиралась на поддержку большинства, выражая устремления и нужды этого большинства. Когда же она опирается на божественное откровение и совокупность догм и принципов, являющихся плодом заумных измышлений, абсолютно чуждых в сущности итальянскому народу, то существование подобной диктатуры не имеет оправданий.

Таким образом, та своеобразная религиозно-философская теория, которая, казалось, составляла силу Мадзини, была вершиной его мысли, на деле, в политическом отношении являлась его слабостью.

Для Рисорджименто, как и для всякого революционного периода, были характерны быстрые перемены. Множество перемен произошло с 1830 по 1849 год, и такое же множество — с 1849 по 1860 год. В течение этого тридцатилетия даже политические лидеры изменились до неузнаваемости. Изменился Гарибальди, изменился в известном смысле Пизакане, изменился — хотя и не очень резко, соответственно присущей ему системе взглядов, — Каттанео. Не изменился только Мадзини; да он и *не мог измениться,* поскольку его доктрина представляла собой неизменную догму и такой оставалась всегда. Его политическая судьба была, следовательно, предрешена. Мадзини остался на позициях 1830—1840 годов, ибо его пресловутая мистико-романтическая доктрина, которую он стремился увековечить в совсем иных, новых условиях, на деле являлась просто-напросто продуктом того ограниченного периода, трудного и противоречивого.

В силу этих причин итальянское демократическое движение, инициатором, более того, апостолом которого являлся Мадзини, за какие-нибудь несколько лет опередило его, перехлестнуло через него, словно бурный горный поток (устремляясь влево и вправо), и он остался в трагическом одиночестве, продолжая призывать, заклинать и умолять, но глас его был гласом вопиющего в пустыне.

Человек, бывший в свое время признанным политическим вождем, поборником нового, перед которым трепетали, человек, пробуждавший в людях свободолюбивые устремления и являвшийся самым видным пропагандистом итальянского Рисорджименто, после 1849 года уподобился пророку, к которому все меньше и меньше прислушивались. В период 1832—1849 годов мадзинизм играл важную роль еще и потому, что идеи Мадзини представляли собой своего рода демократическое издание идей Росмини и Джоберти. Но едва на сцене появился Кавур (он был умеренным, но придерживался светских взглядов), как демократическая религия Мадзини оказалась уже не up to date[1], не соответствующей духу времени.

Все же, для того чтобы картина, которую мы в общих чертах обрисовали, полностью соответствовала реальной действительности, нужно, чтобы она не носила столь одностороннего характера. Да, учение Мадзини, его основные принципы останутся достоянием 1830—1840 годов; что касается теории, то все подлинно значительное, характерное, присущее его религии, его догме социального возрождения, было сказано Мадзини в этот период, во всяком случае до 1848 года,— впоследствии он лишь повторял это в более пространной форме, применительно к новым явлениям. Однако чтобы понять действительность во всей ее полноте, следует добавить, что в Мадзини странным образом уживались доктринер с политическим

[1] Up to date (*англ.*) — современной.— *Прим. ред.*

деятелем, отнюдь не лишенным реалистических устремлений, хотя реализм Мадзини являлся скорее неким компонентом, подчиненным его системе идей и принципов.

Вот почему Мадзини очень болезненно реагировал на ту яростную критику, с которой обрушились на него демократы в период 1849—1853-1854 годов (они крайне резко выступали против его утопической и бессмысленной догматики). И хотя Мадзини утверждал, что эта критика его ничуть не трогает, он все же в конце концов учел ее. Так, если сравнить его статьи, воззвания и пламенные политические призывы, предшествовавшие указанному периоду, с теми, которые относятся к последующим годам, то можно заметить, что в них *меньше* упоминаний о боге и *больше* — о народе, меньше пророчеств, мистицизма, меньше говорится о религиозно-демократической концепции революции и больше уделяется места роли народных собраний и значимости конкретных фактов. Разница, правда, не столь уж значительная: речь идет лишь о *меньше* или *больше,* но и это имеет значение в политике, даже если в последние годы своей жизни, когда все, казалось, было потеряно, Мадзини совершил отчаянный поворот, вернувшись к религии своей юности, приверженность коей он решил еще раз торжественно продемонстрировать перед всеми, во всеуслышанье провозгласив свои идеалы перед Италией, которая, как ему казалось, все более теряла веру, разъедаемая духом скептицизма и материализма.

Таким образом Мадзини, бесспорно, пытался приспособиться к действительности, радикально изменившейся после 1848 года. Спорно лишь то, в какой мере эти попытки увенчались успехом. Да и как они могли увенчаться успехом, если в самом Мадзини не произошло глубоких изменений? Следовательно, ему удалось добиться лишь очень незначительного успеха: он еще смог какое-то время маневрировать, дольше продержаться на поверхности, но не смог избежать ожидавшей его участи. Для того чтобы добиться подлинного успеха, ему нужно было коренным образом изменить и свои методы политической деятельности, и свои принципы, и свою доктрину. Но это было не в его характере, впрочем, его вера оказалась весьма действенной и пустила в нем, да и в других, глубокие корни именно благодаря той почти сверхчеловеческой убежденности, с которой он ее проповедовал. Если политический деятель может менять политические убеждения, которыми он руководствуется (а даже в таких случаях необходимы, как правило, осторожные подготовительные меры), то как можно внезапно изменить религиозную веру, не отрекшись от нее? И как отнеслись бы к подобному явлению — если бы оно произошло — его последователи?

Все дело в том, что нет людей вечных и что время Мадзини прошло. И так ему удавалось оставаться у руководства «Партией действия» (несмотря на постоянный рост числа отступников и обострение внутренних противоречий) до 1857—1858 годов, то есть вплоть до того момента, когда присоединение Джузеппе Гарибальди к «Национальному обществу», основанному Ла Фарина, Манином и Паллавичино, не произвело коренного сдвига в ориентации демократических лидеров.

Все, что нами сказано выше, бесспорно, соответствует действительности: на протяжении этих десяти-одиннадцати лет вера в Мадзини ослабевала из года в год (хотя в его деятельности бывали и взлеты и падения) и была глубоко подорвана даже среди борцов итальянской демократии.

После 1860 года возле него осталась относительно узкая группа его последователей, узкая по сравнению с тем весьма внушительным числом приверженцев его партии, которыми он в течение столь долгого времени руководил. Даже после объединения Италии под эгидой Пьемонтской монархии, когда республиканцы и демократы вновь сплотились, а острота антимадзинистских настроений несколько ослабла среди тех, кого не устраивало новое положение вещей, даже тогда прошлое не до конца было забыто, ибо слишком глубоки были нанесенные в свое время раны, и взаимные упреки и обида оставались столь же жгучими, несмотря на все попытки подавить их в себе и предать забвению.

И все же факт остается фактом (еще один трагический факт нашей истории времен Рисорджименто): даже в период 1849—1859 годов, то есть в те годы, когда Мадзини все более и более терял свой авторитет и престиж среди демократов, в те годы, когда жизнь, казалось, окончательно его обогнала, он все же продолжал оставаться главой итальянской демократии. Никому не удалось отнять у него бразды правления, никому не удалось занять то место, которое принадлежало ему на протяжении четверти века в лагере демократов. Лишь в 1860 году это удалось Гарибальди. Но произошло это в тот момент, когда, выдвинув лозунг «Италия и Виктор Эммануил», Гарибальди, по существу, отказался от попытки добиться руководящей роли демократов, «Партии действия» в национально-освободительном движении; в момент, когда он, помимо своей воли и желания, подчинил то, что осталось от итальянской демократии, гегемонии умеренных.

Возможно ли было другое решение? Для другого решения необходимы были соответствующие условия и предпосылки, которые в то время отсутствовали. Так, например, после 1849 года, или, во всяком случае, после 1853 года, необходимо было заменить Мадзини у руководства «Партии действия» новым человеком — демократом, способным завоевать авторитет, который Мадзини все более терял, способным организовать, направлять и подготовить партию к борьбе на совсем иной основе, чем та, которую избрал четверть века назад Мадзини, а именно на революционной и реалистической основе, как того требовала действительность. Многие, очень многие чувствовали эту необходимость, многие ратовали за нее, а некоторые даже предпринимали усилия, чтобы создать новую демократическую партию, однако никто (ни один человек, ни одна группа) не сумел занять то место, которое Мадзини, этот исполин, эта одинокая вершина, отказывался уступить.

В 1858—1859 годах (то есть в довольно поздний уже период) Бенедетто Музолино, один из наиболее ярых противников Мадзини среди итальянских демократов, писал: «...Мадзини располагает в Италии партией, и партией весьма значительной, которой он распоряжается как верховный владыка. Глубоко заблуждаются те, кто, впадая в противоположную крайность, полагает, будто эта партия дискредитировала себя и даже впала в ничтожество, ибо ее покинули все видные деятели, примыкавшие к ней ранее. А что, в сущности говоря, представляли и представляют собой сии видные деятели?.. Будучи неспособны ни на какую идею, ни на какое не то что радикально революционное, но даже мало-мальски смелое действие (вся их доблесть в болтовне), они приписывают себе то политическое значение, которого не имеют, и обрекают на вечную бездеятельность тех, кто доверился им... Но и без них Мадзини не погиб в том, что касается достижения его сокровенной цели. Вполне достаточно самого Мадзини. Он обладает неистощимыми финансами и армией, которая непрерывно пополняется, невзирая на все потери. Он действует тогда, когда хочет, и так, как хочет; в сущности говоря, только он один имеет настоящую партию, то есть такую партию, которая проявляет силу и жизнеспособность...»

Разве в 1851—1852 годах Пизакане не писал неоднократно Каттанео о «крахе... умонастроения, которое благоприятствовало Мадзини»? Разве не писал он ему, что «теория жертвенности и попыток восстания, смею вас заверить, совершенно дискредитировала себя»; разве не утверждал он, что мадзинистская группировка ничего больше не значит? Между тем, когда Пизакане решил действовать, ему пришлось пойти вместе с Мадзини.

Таково было истинное положение вещей Однако это ничуть не смягчило и не ослабило глубокие и чрезвычайно серьезные причины, породившие среди демократов разлад, раскол и кризис, потерю доверия к Мадзини и горькое разочарование в нем. Таким образом, демократическое движение истощало свои силы в распрях, а после трагического исхода экспедиции в Сапри положение стало поистине безнадежным.

Можно только удивляться тому, как демократы, искренние республиканцы, придерживавшиеся подлинно народной ориентации, такие, как Гарибальди, Бертани и Манин, могли увидеть в пропьемонтском «Национальном обществе» единственный путь спасения не только для дела объединения Италии, но и для дела самой демократии. Какое чувство облегчения испытали все, когда наконец вмешался Гарибальди; поход «тысячи» помог выйти из тупика и спас, таким образом, то, что еще можно было спасти из позиций, завоеванных демократами ценой таких страданий, крови и жертв!

Как мы уже говорили, попытки заменить Мадзини у руководства «Партии действия» были наиболее близки к осуществлению в период 1851—1853 годов. В первых рядах атакующих находился Де Бони, который уже предпринимал безуспешные попытки в этом направлении в 1848—1849 годах. Весьма настойчиво стремился добиться этой цели Феррари. Хотя он был философом, а отнюдь не политиком, Феррари, как и Де Бони, доказал — и это надо признать,— что он лучше, чем кто-либо другой в тот момент, понимал главную задачу, стоявшую перед итальянской демократией, о чем красноречиво свидетельствует его переписка с Каттанео.

В том же плане действовали Пизакане и другие упоминавшиеся выше патриоты. Настроения, царившие в то время среди демократов-эмигрантов, были таковы, что, доведись этой группе осуществить свой замысел, она, бесспорно, встретила бы широкую поддержку, если бы, разумеется, ее программа не носила слишком нетерпимого характера (многим, очень многим надоела исключительность, идеологическая нетерпимость Мадзини) и если бы удалось прийти к согласию не столько в вопросах теории, сколько в области конкретных действий, если бы удалось на основе программы конкретных действий объединить всех демократов, не затрагивая тех или иных религиозных и философских концепций, а также слишком радикальных социально-экономических идей

Почему, спрашивается, никто не хотел присоединиться к новой партии, которую собирались создать? Не потому ли, что та социалистическая основа, которую Феррари, Де Бони и Пизакане намеревались придать этой партии, неизбежно суживала круг ее возможных приверженцев, ибо многие демократы не хотели принять такую программу и сделать ее своим знаменем, поскольку не разделяли подобных идеалов или же считали, что время для этого еще не созрело? Возможно, это и не являлось главным препятствием. Ведь такое препятствие можно было бы если и не преодолеть, то, во всяком случае, обойти. Разве наиболее крайние демократы (в том числе и социалист Пизакане) не приняли в 1856—1857 годах программу так называемого нейтрального знамени, которая оставляла в стороне вопрос о политической форме будущего государства (конституционная монархия или республика) и даже предусматривала совместные действия с теми умеренными, которые решили бы встать на путь восстания? В 1851—1853 годах необходимость создания единого демократического фронта, который избавился бы от пагубного руководства Мадзини и проводил бы реалистическую демократическую политику, слишком остро ощущалась в самых широких кругах, чтобы такого рода трудность нельзя было легко преодолеть.

Что же являлось тогда главным препятствием? Главным препятствием являлось то, что у новой партии не оказалось главы, а следовательно, и программы. Все как один (все, кто устал от мадзинизма), словно сговорившись, указали на Каттанео и обратились к нему. Дело в том, что итальянская демократия была в то время настолько разобщена, ее до такой степени раздирали внутренние противоречия и распри, что необходим был руководитель, который своим престижем в интеллектуальном, культурном и моральном отношении, своей честностью, уравновешенностью, своим участием в прошлых событиях и своим авторитетом в Италии и Европе сумел бы внушить всем уважение к себе.

В тот момент в Италии был только один человек, который, по общему признанию, обладал всеми этими качествами: Карло Каттанео. Но заменить Мадзини, который представлялся всем, даже инакомыслящим, даже его врагам, каким-то исполином (хотя его и обвиняли, как главу итальянской демократической партии, в серьезных ошибках) и который, невзирая на всеобщее недовольство им, был крупной фигурой на итальянской и европейской политической арене, было делом нелегким. Нелегко это было даже для такого человека, как Каттанео, и даже при том условии, что он мог рассчитывать на поддержку не только Феррари, Де Бони, Пизакане, Чернуски и столь преданного Макки, но и таких виднейших, пользовавшихся огромной популярностью деятелей, как Гарибальди, Бертани и большой группы демократов, которые уже начинали сплачиваться вокруг них.

В 1851—1853 годах кандидатура Гарибальди не подходила для этого. В то время речь шла не о том, чтобы возглавить военную экспедицию (в этом случае выбор, несомненно, пал бы на Гарибальди, а также на Медичи, Пизакане, Козенца, то есть на профессиональных военных), а о том, чтобы противопоставить Мадзини идеологического и политического вождя в качестве руководителя демократической партии, в которой представители интеллигенции составляли подавляющее большинство. Вот почему лидер такой партии должен был обладать престижем человека просвещенного и эрудированного, силой и зрелостью мышления, а о Гарибальди этого не могли сказать даже самые преданные его сторонники (хотя в 1860 году, в период, когда он достиг наибольших успехов и наибольшей славы, многие убедились в том, что в разгар борьбы проницательность и чутье стратега и здравый смысл этого выдающегося вождя из народа значили куда больше, чем сомнительный теоретический багаж иных других). Так или иначе, но в 1851—1853 годах никто и не помышлял о кандидатуре Гарибальди на пост главы новой демократической партии, которую намеревались противопоставить мадзинистской партии.

Таким образом, Каттанео являлся в то время единственно возможной кандидатурой, единственной надеждой. Ведь Феррари не пользовался таким уважением и авторитетом, как Каттанео; хотя он и обладал определенной известностью как теоретик, однако, по мнению окружающих, был склонен к суждениям парадоксальным и произвольным, слишком «офранцузился», был далек от итальянской действительности и слишком мало проявил себя как политический деятель и человек действия.

Феррари был тем человеком, который, вместо того чтобы объединять, разъединял людей. Он не сумел бы сплотить даже крайне левое крыло; даже Пизакане не последовал бы за ним при формировании новой партии. Следовательно, об этом нечего было и говорить.

Что касается Де Бони, то он мог бы стать отличным организатором партии и пользоваться большим влиянием, но ему не хватало масштабности Мадзини или Каттанео.

Пизакане также был неподходящей кандидатурой. Он чувствовал и знал, что на него смотрели в то время только как на

второразрядного военачальника. Хотя в своей «Войне в Италии» он и сказал новое слово, эта книга лишь закрепила за ним такую репутацию, прибавив к ней разве что славу человека, обладающего слишком передовыми идеями

Однако если такой человек, как Пизакане, уединился на холме Альбаро и от зари до зари читал, занимался и размышлял, готовя себя к написанию «Очерков», то его работа над историко-философскими и военно-политическими проблемами имела вполне определенную цель. Он понимал: чтобы иметь вес в демократическом лагере, необходимо было обладать определенными знаниями, и не только в военной области; нужно было суметь стать достойным наследником сокровищ итальянской прогрессивной мысли и суметь развить ее дальше.

Плеяда руководителей итальянской демократии, руководителей второго плана, была на редкость блестящей, она насчитывала десятки людей, обладавших разнообразными достоинствами, однако ни один из них сам по себе не пользовался настолько большим авторитетом, чтобы его можно было выбрать руководителем: ни Бертани, ни Фабрици, ни Чернуски, ни Макки, ни Марио, ни Медичи, ни Козенц, ни Мордини, ни Манин, ни Брофферио, ни Монтанелли, ни Гверрацци, ни Музолино, ни Криспи, ни Пило.

Таким образом, в период с 1850 по 1853 год Каттанео являлся тем человеком, к которому многие обращали взоры Находил ли Каттанео социалистическую программу новой партии, которую предлагали ему Феррари, Де Бони и Пизакане, слишком экстремистской? Возможно, но тогда ему самому надлежало предложить другую программу, такую, которая способствовала бы объединению, а не разобщению демократов; ведь он был единственным человеком, авторитет которого был настолько высок, что он мог добиться одобрения своей программы.

Пост этот Каттанео предлагали без всяких условий и оговорок, хотя кое-кто, естественно, и старался, чтобы одержали верх его собственные идеи. Однако Каттанео, сделав несколько робких шагов в этом направлении, порекомендовав в качестве организатора партии Де Бони и обменявшись несколькими многообещающими письмами с Феррари и Макки, под конец, когда стало ясно, что партию можно создать только в том случае, если он, Каттанео, возьмет на себя инициативу, руководство и ответственность, отказался от этой миссии. Он на разные лады повторял, что не создан для политики и хочет одного: чтобы его оставили в покое и не мешали заниматься научными изысканиями в его отшельнической обители в Тичино.

Можно питать глубочайшее уважение к талантам и уму Каттанео, можно всемерно восхищаться теми результатами, которых он достиг как ученый, но нельзя отрицать того, что в решающий момент Каттанео не оправдал возложенных на него надежд.

Ибо даже если Бертани и Чернуски заставили Каттанео возглавить восстание в Ломбардии в 1848 году чуть не силой, он все же был руководителем этого восстания и после 1848 года продолжал оставаться лидером определенного политического направления, группы федералистов, которая представляла собой, по существу, самую настоящую политическую партию, а отнюдь не собрание ученых мужей не от мира сего, и у этой группы или партии была своя программа, велись свои споры, свои сражения, она несла определенную ответственность. От этой ответственности, следовательно, Каттанео не имел права в решающий момент уклоняться. Между тем он уклонился от нее.

После этого в демократическом лагере воцарился полный развал и разброд. В 1853 году Де Бони попытался сделать кое-что сам, но безрезультатно. Пизакане и Фабрици в 1856—1857 годах снова примкнули к Мадзини, да и что еще им оставалось делать? В 1857 году, после провала экспедиции в Сапри, Мордини предложил Фабрици создать новую демократическую партию, новую тайную организацию. Но эта попытка не увенчалась успехом. Судьбы итальянской демократии как самостоятельной руководящей силы в историческом процессе Рисорджименто были отныне предрешены, и Гарибальди, который руководствовался как интуицией, так и безошибочным здравым смыслом, понял, что, если реально смотреть на вещи, не остается ничего иного, как примкнуть к «Национальному обществу» и принять программу «Италия и Виктор Эммануил», стараясь в то же время в ходе совместных действий с умеренными честно и лояльно, как он всегда это делал, стоять на страже демократических принципов и идеалов.

Так развивались события. Сложившееся положение вещей дало возможность Мадзини оставаться во главе «Партии действия» вплоть до 1860 года (хотя число его противников все возрастало) и даже позволило ему в 1859 году, в дни, когда соглашение между Наполеоном III и Кавуром взбудоражило весь демократический лагерь, снова, с удвоенной энергией перейти в наступление. Вот эту энергию, эту силу и эту веру в правоту своих убеждений и предначертанность своей миссии

Мадзини никогда не терял, что позволило ему сохранять свою главенствующую роль в демократической партии до 1860 года, то есть вплоть до того момента, когда на авансцену стремительно вышел Гарибальди

Это, однако, не означает, что процесс постепенной изоляции Мадзини в какой-либо мере приостановился, нет, он в той или иной форме продолжался В определенный момент этот процесс стал приобретать более или менее общий характер, наиболее ощутимым он был в Королевстве обеих Сицилий, где мадзинистская доктрина (по причинам, указанным нами ранее) нашла весьма слабую поддержку

С другой стороны, если попытка Мадзини перенести свою мистико-романтическую теорию о социальном возрождении на общеевропейскую почву (в первое время с помощью «Молодой Европы», а затем используя свои связи с Кошутом, Ледрю-Ролленом и другими демократами) и способствовала вначале росту его авторитета, ибо итальянцы увидели, что Мадзини занял на международной арене видное место, встав в один ряд с такими деятелями как Герцен, Кошут, как Ледрю-Роллен, то в конечном счете она способствовала падению его престижа в Италии

Прежде всего сам Герцен подверг критике спиритуалистические и весьма малореалистические позиции выступавшего в роли пророка Мадзини И хотя трудно сказать, в какой мере эта критика повлияла на умонастроения итальянцев, она, бесспорно, способствовала усилению антимадзинистских тенденций среди итальянских демократов Но все дело в том, что очень скоро выявилась ограниченность политики Кошута и особенно Ледрю-Роллена и стало ясно, что Мадзини заблуждался, делая на них ставку

Таким образом, когда генуэзская группа (она была одной из самых деятельных, влиятельных и боеспособных) стала все более настойчиво доказывать необходимость отстранения Мадзини от руководства «Партией действия», соглашаясь лишь на то, чтобы он представлял итальянскую демократию в лоне международной демократии, то предложение это было выдвинуто не потому, что гипотетическому союзу международной демократии действительно придавалось большое значение, а лишь с единственной целью — занять Мадзини некими почетными обязанностями, дабы удалить его таким образом от фактического руководства итальянскими делами.

Надо сказать, что, за исключением Герцена, который сумел по-настоящему сблизиться с итальянскими патриотами и заслужить их доверие и который, по их мнению (да так оно и было в действительности), не только глубоко сочувствовал движению за освобождение Италии, но и был совершенно бескорыстен, остальные иностранные демократы внушали итальянским демократам, и не без оснований, изрядное недоверие.

Итак, мадзинистская теория божественной миссии, осуществить которую якобы призван каждый народ, — миссии, которая должна объединить и сплотить все народы и нации на основе догмата новой веры, новой религии, многим представлялась просто-напросто плодом досужей фантазии Это не значит, что итальянские демократы отвергали возможность союза с иностранными демократами, возможность использования той или иной позиции, той или иной группы европейской демократии Наоборот, они считали международное соглашение, если только оно возможно, полезным (как полезно, а порой насущно необходимо политическое соглашение между теми силами, которые ставят перед собой определенные общие цели), но они не верили в некую европейскую религию демократии, которая могла якобы объединить всех демократов на основе единого закона, под единым идейным руководством, призванным повести всех и вся на достижение единой цели вожделенной «социальной эпохи»

Многие итальянские демократы видели, как во всех крупных европейских странах бурно развивается мануфактурная, капиталистическая система производства, которая начинает оказывать господствующее влияние на экономическую и политическую жизнь этих стран и руководствуется законами наживы и стяжательства, стремлением захватить, завоевать рынки, законами безудержной конкуренции Такова была реальная действительность, и она не могла не оказать воздействия также и на демократов высокоразвитых в промышленном отношении стран, хотя они и представляли собой своеобразный аспект этой действительности в том смысле, что сочувствовали менее имущим и трудящимся классам и защищали их интересы. Правда, Герцен и русская демократия не испытали подобного влияния, поскольку в России, как и в Италии, капитализм был слабо развит и русские демократы могли, следовательно, проповедовать возможность перехода от крестьянской общины к социализму, минуя фазу капиталистического развития Таким образом, Герцен и русские демократы игнорировали жестокие законы развития капитализма как внутри страны, так и в ходе полемики среди демократов Европы.

Между тем этого, разумеется, нельзя было сказать о французских, немецких или английских демократах, да и вообще

о демократах тех стран, где капитализм пустил уже глубокие корни Идеи Герцена рассматривались, следовательно, как идеи особого порядка, порожденные определенной действительностью, в то же время было прекрасно известно, что совсем иными были позиции Ледрю-Роллена, или немецких демократов из Франкфуртского собрания, или же позиции самого Лайоша Кошута, и к ним питали куда меньше доверия.

Однако именно на этих людей Мадзини продолжал в какой-то мере уповать (хотя он и отдавал себе отчет в ограниченности их позиций), в то время как в отношении Герцена он проявлял сдержанность и неприязнь, ибо чувствовал и понимал, что материалистические, народнические и социалистические позиции Герцена, по существу, были в корне противоположны его позициям

Не следует, однако, думать, будто реалистический анализ непримиримого столкновения торговых и промышленных интересов различных стран, развивавшихся в условиях жесткой конкурентной борьбы, был присущ только немногим демокра там, будто лишь немногие отдавали себе отчет, что в тех странах, где капиталистическое развитие промышленности приняло бурный характер, даже демократия в конце концов оказывалась вовлеченной в этот водоворот, в эту беспощадную борьбу противоположных экономических интересов, которая раздирала страны

Мы уже говорили о том, что такие социалисты, как Пизакане, видели в парламентской либерально-буржуазной системе еще большее зло, чем абсолютизм, между тем как многие другие, не впадая в подобную крайность, все же отдавали себе отчет в том, что определенная часть демократов не могла не подвергнуться воздействию окружающей действительности.

Как же можно было увязать эти неоспоримые факты с мадзинистской теорией ассоциации, перенесенной на международную почву?

Вот почему в историческую эпоху, которая имела указанные выше черты и особенности, идея ассоциации наций, связанных тесными узами солидарности, представлялась большинству демократов сущим нонсенсом

Так, например, если говорить о демократах Королевства обеих Сицилий, то Музолино отмечал, что «торговые интересы являются подлинной и главной причиной, определяющей политику и поведение монархистских и республиканских правительств . Поскольку же экономические интересы, движущие народами, находятся в непрестанном столкновении, любая теория ассоциации на основе солидарности и братства является ложной» И далее «Кошут, этот министр для Вены, аристократ и республиканец в Венгрии, социалист в Марселе, конституционалист в Лондоне, затем снова республиканец, домогающийся денег у Соединенных Штатов, предлагает Венгерскому национальному собранию организовать экспедиционныи корпус в 40 тысяч мадьяр для отправки в Италию, дабы, как он тогда говорил, поддержать Австрию в ее правах И все это делалось потому, что в то время он рассчитывал мирным путем добиться для своей страны независимости, — независимости от империи, но с сохранением полуфеодального господства над Хорватией и Трансильванией Что касается Ледрю-Роллена, то, оказавшись у власти в 1848 году, он попытался завладеть Савойей и Бельгией, и притом не путем открытой военной экспедиции, а с помощью разбойничьих вооруженных отрядов, и не проявил ни малейшего намерения вернуть Италии то, что с географической и этнографической точки зрения принадлежит ей. Карл Альберт же был готов уступить эту первую провинцию при условии, если ему помогут создать Королевство Верхней Италии. Немецкие теоретики, собравшиеся во Франкфурте и даже провозгласившие право на независимость священным принципом всех народов, тем не менее признали законным австрийское господство над Ломбардо-Венецианской областью; а астрийские и немецкие студенты, мнившие себя жрецами всеобщей свободы, бросали учение и покидали университет, чтобы встать под знамена Радецкого.

Внеся в свою конституцию статью *об уважении всех наций* и сделав своим девизом *«Свобода, Равенство и Братство»,* французское республиканское Учредительное собрание приняло затем решение о посылке экспедиции с целью ликвидации Римской республики.

Что касается северных американцев, обладающих территорией, которая благодаря своим огромным просторам и плодородию может вместить и прокормить население, в пятьдесят раз превышающее численность нынешнего населения Соединенных Штатов, то они провоцируют аннексию Техаса в целях сохранения там рабства; предпринимают неоднократные попытки вторжения на Кубу и в страны Центральной Америки, дабы поработить их, стремятся завладеть Канадой из ненасытной жажды господства, спешат с присвоением Орегона и принуждают Мексику отдать им Калифорнию, чтобы таким образом открыть себе путь к владычеству на Тихом океане, а в дальнейшем заменить британский флаг своим флагом

над Океанией, в Китае и, быть может, даже в Ост-Индии; под лицемерным предлогом защиты цивилизации и безопасности мореплавания они напали на Японию; они продолжают зверски истреблять бедных индейцев, гнушаясь приравнять их к себе с помощью цивилизации. Перед лицом всех этих проявлений эгоизма, тщеславия и алчности как в личном, так и в государственном плане кто искренне поверит в национальную солидарность [то есть в солидарность между нациями] на основании какой-то бессильной декларации? .» [1]

Против такого рода фактов возразить было нечего. Однако эта реалистическая позиция больше всего и раздражала и злила Мадзини, который в глубине души терзался и считал, что она порождена узостью материализма. Мадзини вовсе не отрицал, что события развивались подобным образом. Он отдавал себе отчет, что действительность была именно такова, но полагал возможным изменить ее с помощью апостольской деятельности, проповедничества, с помощью новой религии ассоциации, новой веры, которая восторжествует над классовым эгоизмом внутри отдельных наций и над антагонистическими отношениями между странами.

Но в период 1848—1860 годов эти антагонистические отношения стали принимать столь широкий и острый характер, что нужно было поистине слепо верить в мадзинистскую религию, чтобы уповать на возможность изменения существовавшего положения вещей с помощью проповеди какой-то теории солидарности. Кто же еще мог последовать за ним по этому пути, как не ничтожное число истово верующих, которые именно в силу своей слепой веры верили во все и всему, credo quia absurdum? [2] Не следует забывать, между прочим, о том, что перенесение мадзинистской мистической доктрины ассоциации на общеевропейскую почву в конечном счете должно было косвенно усугубить одну из внутренних причин кризиса «Партии действия» (последнюю, но отнюдь не наименее важную), иначе говоря, должно было усилить отрицательное отношение Мадзини к «инициативе Юга».

В самом деле, если выдвигалась гипотеза торжества мадзинистской доктрины ассоциации в общеевропейском плане, гипотеза восстания в странах Европы и, следовательно, тесного сотрудничества с Ледрю-Ролленом, Кошутом и т д, то появлялась еще одна причина ориентироваться на восстание в Северной Италии, поскольку Северная Италия была более тесно связана с предполагаемыми очагами революционных действий в Европе [1] Однако вскоре стало ясно, что осуществление восстания в Италии одновременно с восстанием во Франции или в Венгрии или во всей Европе представляло собой в тех условиях нереальную затею.

Было бы, впрочем, ошибкой видеть в споре о том, кому должна принадлежать революционная инициатива — Северу или Югу, лишь разногласия местнического, муниципалистского характера: скажем, между Генуей и Ливорно либо между Генуей, Луниджаной и Миланом, с одной стороны, и Неаполем, Калабрией и Сицилией — с другой.

Мы уже говорили, что в основе этого спора лежали причины социально-политического характера, а также разногласия по вопросам революционной стратегии — эти последние носили довольно серьезный характер и имели весьма существенное политическое значение. Поднять восстание в Генуе — это значило выступить против Пьемонта, то есть против единственного умеренно-либерального итальянского государства, и выступить до того, как удалось добиться победы демократических сил в Королевстве обеих Сицилий, победы, которая увеличила бы силы демократии, обеспечила бы ей территориальную базу и позволила бы ей либо потребовать от Пьемонта совместных действий, либо прибегнуть (но только тогда) к восстанию. Это значило отказаться выступить *сначала* против главного врага, отказаться от необходимости разорвать *сначала* то звено цепи, которое казалось более слабым, значило прибегнуть к неверной стратегии и, следовательно, идти на риск поражения. .

Вот почему за «инициативу Юга» ратовали, по понятным причинам, все южные демократы, а их было много. Среди них выделялась одна довольно многочисленная группа, которая склонялась к концепции революции в духе народников, хотя она и не делала из нее тех крайних выводов, к которым пришел Пизакане.

Но за «инициативу Юга» были и многие демократы Северной Италии во главе с Фабрици, которые совсем не думали

---

[1] Carte Musolino, Pizzo Calabro.

[2] Верую, потому что нелепо (*лат*) — *Прим ред*

[1] См письмо Джакомо Медичи к Никола Фабрици, датированное 5 апреля 1852 года, Генуя («Roma», Rivista politica parlamentare, anno I, 1897, p 426) «Я не разделяю твоего мнения касательно того, что восстание в Италии должно начаться с Неаполя Поскольку в настоящее время мы находимся в союзе с людьми, коими предводительствует Кошут, я полагаю, что надлежит смело начать наступление на врага одновременно в Венгрии и в Ломбардо-Венецианской области, используя немалое число военных, которые, согласно планам, должны выступить вместе с нами Неаполь же по собственной инициативе, мне думается, не сможет выступить »

о социальном или социалистическом развитии страны и не собирались ни ратовать за него, ни следовать за его поборниками; но тем не менее они не хотели сказать *б* прежде *а* и по-своему отдавали себе отчет в том, что чем лучше будет подготовлено восстание революционно-демократических сил в Неаполитанском королевстве, тем скорее оно приведет к победе и тем легче будет достичь соглашения с умеренными и побудить их к совместным действиям. Они понимали, что победа дала бы демократии прочную независимую базу для серьезного разговора с Пьемонтом. Не случайно после попыток Бентивенья, Пизакане, Фабрици и Пило поднять восстание даже Гарибальди и Бертани, которые были людьми здравомыслящими, стали действовать именно в этом направлении (побуждаемые, правда, сицилийскими демократами). События показали, что именно этот путь был единственно правильным (правда, к этому времени обстановка как внутри страны, так и на международной арене стала, бесспорно, особенно благоприятной).

Но Мадзини всячески сопротивлялся и противился этому. В период 1838—1844 годов он замучил Фабрици бесконечными оговорками и всевозможными препятствиями, а в 1849 году, несмотря на ясное решение Учредительного собрания, которое Мадзини молча выслушал, он, вместо того чтобы использовать оружие и финансовые средства для подготовки восстания в Неаполитанском королевстве, направил их для поддержки первоапрельского восстания в Генуе. Он отклонил предложение Риччарди в 1850 году и предложение Музолино в 1854 году, а в 1856—1857 годах оказался прижатым к стене: не прими он идею «инициативы Юга», он оказался бы без Фабрици, без Пизакане, без Пило, без многих и многих демократов — приверженцев этой идеи и потерял бы надежду на то, что предложение, сделанное Гарибальди, Бертани, Медичи, Козенцу и другим, будет принято.

Таким образом, Мадзини лишь в известной мере и чисто формально согласился с идеей «инициативы Юга»; на деле же он, по своему обычаю, существенным образом изменил первоначальный план, разработанный Фабрици, Пизакане и неаполитанским Тайным комитетом, и частично заменил его своим (но и тогда пришлось спорить, и немало, по поводу того, какую операцию надлежало считать основной, с тем чтобы выделить для нее максимум средств, а какую — второстепенной и побочной),

Сказанное выше, казалось бы, опровергается той попыткой, которую предприняли в 1853—1854 годах Кошут и Мадзини в отношении Сицилии[1]. Попытка эта была обусловлена той крайне тяжелой и нетерпимой обстановкой, которая создалась в среде демократической эмиграции после событий 6 февраля 1853 года. Недовольство Мадзини носило всеобщий характер. Спустя несколько месяцев Кошут дал знать из Лондона, что он хотел бы наладить связь между Сицилией и европейским Комитетом и просит Розалино Пило связать его с теми сицилийцами, с которыми он состоит в переписке.

В Сицилии, как известно, продолжал действовать, сталкиваясь с огромными трудностями и подвергаясь невероятным опасностям, сицилийский Центральный комитет, прилагавший все усилия для расширения своих связей внутри острова и подготовки революционных выступлений. Так с одной и с другой стороны началась подготовительная работа, и когда осенью Никола Фабрици был выслан из Ниццы и отправился в Геную, дабы найти себе новое пристанище, Пило сумел убедить его вернуться на Мальту, с тем чтобы возобновить там его прежнюю деятельность и его связи с Сицилией и Неаполитанским королевством.

По прибытии на Мальту Фабрици узнал, что Кальви уже связался с Мадзини и что он самостоятельно что-то готовит на Сицилии. Участие Мадзини в этом деле действительно остается неясным. Быть может, Кальви предложил, а Мадзини дал согласие на то, чтобы он действовал? Побудили ли их эти контакты с Кальви (в которых Фабрици и Пило видели подлинную угрозу для дела) поспешно обратиться к Мадзини и попытаться уговорить его договориться лучше с ними, поскольку они имели более широкие связи в Сицилии и в Неаполитанском королевстве и готовили действительно нечто серьезное? Если так, то Мадзини достиг своей цели. Как бы там ни было, но работа началась: Генуя, Мальта и Сицилия, Фабрици, Пило и их сицилийские корреспонденты находились в самом разгаре организационной подготовки, когда втайне от всех, и, несомненно, втайне от Никола Фабрици и Розалино Пило, Мадзини предпринял новую попытку в отношении герцогств Центральной Италии, которая имела своей конечной целью восстание в Ломбардии.

Факты общеизвестны. В ночь с 12 на 13 июня 1854 года Феличе Орсини высадился с 40 людьми, имея в своем распоряжении 200 винтовок, в устье реки Магра, в Луниджане. Экс-

---

[1] См. E. Casanova, Lo sbarco di Roccalumera, в „Arch. Stor. Sicil.“, 1927, anno XLVII—XLVIII, p. 260.

педиция потерпела полный провал, и все ее участники, кроме Орсини, были арестованы.

Пило и Фабрици крайне резко протестовали против подобных действий и, считая, что отныне все испорчено, отказались от своего плана в отношении Сицилии. Что касается Кальви, то он пытался действовать по-прежнему самостоятельно и независимо, но он располагал очень ограниченными связями и крайне скудными средствами, будучи оторван от центральной конспиративной сети, которая вела работу как в Сицилии, так и за границей. В этих условиях он подготовил высадку Джованни Интердонато и другого эмигранта в Роккалумери; каковы были плоды этой акции, представить себе нетрудно Операция, если только можно назвать ее операцией, была крайне незначительной по масштабам и не имела никакого успеха.

Итак, развитие событий в 1853—1854 годах подтверждает, что Мадзини не собирался отказаться от своей обычной линии. Можно даже высказать предположение, что до слуха Мадзини и Кошута дошел не только ропот недовольства и возмущения, которыми была охвачена вся демократическая эмиграция после провала восстания 6 февраля 1853 года, но и весть о том, что в Генуе (вразрез с мнением Мадзини) подумывали о подготовке крупного выступления в Сицилии.

Как объяснить, в самом деле, появление на сцене Кошута? Действовал ли Кошут по собственной инициативе или же его побудил действовать Мадзини? Поскольку Мадзини чувствовал, какое глубокое недоверие питали отныне к нему или, во всяком случае, к его организаторским и конспиративным способностям широкие круги демократов, быть может, он рассчитывал использовать имя Кошута, чтобы вновь поставить инициативу выступления в Сицилии под контроль лондонского Комитета? Во всяком случае, одно несомненно: действия Мадзини — Кошута были направлены опять-таки не на то, чтобы способствовать «инициативе Юга», а, наоборот, на то, чтобы преградить ей путь, опередив ее пресловутой операцией Орсини в отношении герцогств Центральной Италии и Ломбардии (обычная тактика Мадзини), принесшей уже известный нам результат.

Впрочем, разве не писал Мадзини 31 мая 1854 года Фабрици: «В мои расчеты не входит Юг — не потому, что я не придаю ему значения, а потому, что я не пользуюсь там сколько-нибудь серьезным влиянием. Я поддерживаю контакт с теми, кто занимается Югом, пришпориваю их, даю советы, но я чувствую, что не в моей власти определить там ход дел»[1].

Мы отнюдь не намерены придавать большое значение тому факту, что, в то время как Фабрици впервые указал на Неаполь как на базу для выступления в 1851 году, Мадзини, установивший связь с Криспи и Пило, напротив, предпочитал в 1850—1853 годах Сицилию (факт этот правильно отмечен в упоминавшейся ранее книге Морелли).

Мадзини был из числа тех, кто умел добиться своего, если он по-настоящему чего-либо хотел, и как еще умел, — а вот в Сицилии до 1860 года он так ничего и не добился. Более того, именно в 1850—1852 годах Мадзини применил в отношении сицилийских эмигрантов-демократов тактику, подрывавшую их единство и способствовавшую углублению кризиса внутри этой группировки. В результате руководство ею, находившееся в основном в руках деятелей социально-республиканской и даже социалистической ориентации, избранных демократическим путем (Ланди, Фриша, Мило Гуджино), в конце концов перешло в руки так называемых чистых республиканцев, то есть мадзинистских неофитов. Что же было дальше? Надо сказать, что в 1851 году именно Фабрици (а вовсе не Мадзини) начал подумывать об организации неаполитанского Тайного комитета, который удалось создать лишь значительно позже.

Таким образом, если Мадзини поддерживал надежды Криспи и Пило, то у него были на то свои соображения: он хотел, опираясь на них, создать противовес неторопливым действиям Фабрици (которые он считал малоэффективными), а также наладить с помощью Пило и Криспи связь с группой влиятельных сицилийских демократов и добиться того, чтобы они признали его руководство и восприняли его учение. Но не более.

То, что Мадзини в 1855 году написал «Инструкции для повстанческого движения в Сицилии», не внесло ничего нового и ничего существенно не изменило.

В 1855—1856 годах подготовка восстания в Сицилии стояла в повестке дня итальянской демократии, как конкретный и важный факт, и Мадзини вынужден был с этим считаться. Однако и в 1856 году, когда зашла речь о том, чтобы направить Гарибальди в Сицилию, он, как это явствует из его переписки с Мордини[2], отнесся с предельным недоверием не только к Гарибальди ввиду его пропьемонтских настроений,

---

[1] G. Mazzini, vol. LII, p. 172.
[2] См. G. Mazzini, vol. LVII, p. 76.

но и к самой идее восстания в Сицилии. А не отправится ли Гарибальди в Турин? А не «откроет ли он врагу тайну готовящегося восстания?»

В этой связи Морелли отмечает в своем исследовании, на которое мы уже неоднократно ссылались: «Правда, именно из этих соображений он готов был скорее направить его (Гарибальди) в Сицилию, чем иметь его при себе в центре» [1].

Мадзини опять-таки считал, что главные действия должны были развиваться в Центральной Италии, а восстание в Сицилии должно было носить побочный, второстепенный характер. И он так думал не только потому, что в его памяти оживали воспоминания, связанные с Римской республикой (он не был до такой степени поэтом и романтиком), а потому, что восстание в Центральной Италии означало открытый разрыв с умеренными, с Францией Наполеона III, со всеми. Означало открытое, решительное революционное выступление, без каких бы то ни было компромиссов, означало восстание, осуществленное по замыслу Мадзини, к которому вынужден был бы затем примкнуть и Гарибальди, если допустить, что в Сицилии все бы шло хорошо. Мы увидим далее, что аналогичную позицию Мадзини занимал даже во время похода «тысячи» в 1860 году. Он не считал необходимым поддерживать Гарибальди в Сицилии (между тем Гарибальди очень нуждался в то время в неотложной и серьезной поддержке и подкреплении), по его мнению, все усилия надлежало направить *на Центр, на Центр, с прицелом на Юг.* А в Центральной Италии инициатива, по всей видимости, принадлежала бы Мадзини, со всеми вытекающими отсюда последствиями политического, дипломатического и военного характера. «Эта сицилиомания — истинное безумие», — писал Мадзини Бертани в мае 1860 года [2].

О том, что позиция Мадзини в отношении восстания в Сицилии и вообще в отношении «инициативы Юга» была в 1855—1856 годах именно такой, а не той, которая, казалось бы, вытекает из его «Инструкций», свидетельствуют и некоторые документы, найденные в личном архиве Бенедетто Музолино, сохраненном его потомками в Пиццо Калабро. В этом архиве имеется, в частности, письмо Федерико Кампанеллы, являющееся ответом на послание Музолино, в котором последний излагал проект высадки в Сицилии; Кампанелла должен был представить этот проект на одобрение Мадзини. Высадку предполагалось осуществить в то время, когда англо-итальянский легион должен был следовать из Генуи на Мальту, направляясь в Крым в связи с войной на Востоке. Музолино сообщил о своем проекте также Пизакане, и, как явствует из его письма к Риччарди от 11 июля 1857 года, Пизакане «не только приветствовал вербовку англо-итальянских легионеров, но и приложил усилия, дабы привлечь офицеров», разделяя точку зрения Музолино, что не следует начинать экспедицию до тех пор, пока не будут собраны крупные средства. В надежде получить эти средства Музолино и обратился тогда к Мадзини, несмотря на свое отрицательное мнение о нем. Очевидно, в 1855—1856 годах Музолино еще не питал в отношении Мадзини тех серьезных подозрений, которые возникли у него в 1858 году, иначе было бы необъяснимо, почему он к нему обратился.

Надо сказать, что даже тогда, когда речь шла о подготовке экспедиции в Сапри в 1856—1857 годах, достичь соглашения с Мадзини было крайне трудно именно потому, что как для Пизакане, так и для Фабрици непременным условием этого соглашения было признание «инициативы Юга». Пизакане и Фабрици казалось, что таким образом они смогут использовать Мадзини, его влияние и его силы для осуществления революционной «инициативы Юга», не принимая вместе с тем безоговорочно его политического руководства. В поисках соглашения пришлось преодолеть немало трудностей, и если такое соглашение все же было заключено, то произошло это не только потому, что средства, которые Мадзини мог предоставить, имели еще определенную значимость, но и потому, что им казалось, что после принятия идеи «инициативы Юга» неудачи, которые постигли предыдущие попытки Мадзини поднять восстание, больше не должны будут повториться и революционное движение должно будет обрести новый характер, новый размах. Пизакане считал, что городские и сельские народные массы поддержали бы восстание и что, следовательно, речь шла бы не о выступлении немногих, а о чем-то существенно ином, хотя и необходимо было бы начать с небольшим числом людей. Мы увидим далее, как, едва придя к соглашению, Мадзини вновь попытался навязать свои воззрения: хорошо, он согласен на экспедицию на Юге, но выступить первыми должны все же Генуя и Ливорно.

Мы хотели подчеркнуть одно обстоятельство, а именно: если в 1856—1857 годах Мадзини и удалось частично заделать (хотя и в крайне малой степени) брешь, возникшую внутри «Партии действия», добившись на сей раз безоговорочной поддержки Фабрици и даже присоединения к нему Пиза-

[1] E. Morelli, op. cit., p. 36.
[2] G. Mazzini, vol. LXVII, p. 378.

кане, то объясняется это тем, что одна из причин разрыва была, по-видимому, преодолена, поскольку Мадзини согласился с идеей «инициативы Юга». А идея эта предполагала не только иной стратегический план, но и иную социальную направленность (по крайней мере по мысли Пизакане), хотя исходная позиция должна была отличаться чрезвычайной широтой, дабы объединить всех под знаменем восстания — то есть под «нейтральным знаменем». Ни одна из сторон не отдавала себе, однако, отчета в том, что при соприкосновении с реальной действительностью подобного рода компромиссное соглашение окажется малоэффективным, а мысль о таком широком объединении — весьма наивной. Ведь речь шла, в сущности говоря, о малоудачном сочетании различных планов, различных систем и методов организации и подготовки восстания, в результате чего трудностей становилось не меньше, а гораздо больше.

Все сказанное должно, пожалуй, заставить нас призадуматься над достоверностью одного из основных тезисов Сальвемини, согласно которому всякий раз, когда на карту ставилось национальное единство, Мадзини неизменно подчинял свои республиканско-демократические идеалы этой наивысшей цели, либо фактически отходя в сторону, либо действуя, в той или иной форме, вместе с умеренными. Подтверждается ли этот тезис фактами? Пожалуй, в меньшей степени, чем это может показаться.

Мадзини, разумеется, ни в коем случае не мог допустить, чтобы его обвинили в том, будто его политические убеждения служат препятствием для объединения Италии в единое национальное государство. Он предпочитал заявлять, что готов отложить на будущее осуществление своих принципов, полагается на волю народа, готов отойти в сторону и желает только одного: сражаться как простой солдат за национальное единство, если Пьемонтская монархия окажется *действительным* поборником такой войны, что, однако, не мешало ему при каждом удобном случае пространно доказывать, что Савойская монархия *никогда* всерьез не вступит на такой путь, что она, *как обычно,* предаст дело объединения страны.

При оценке деятельности Мадзини нужно помнить, что ее нельзя выносить, основываясь лишь на его воззваниях, статьях и заявлениях. Разумеется, заявления, сделанные политическим деятелем, имеют определенное значение, но куда большее значение имеют факты. А факты свидетельствуют о том, что хотя Мадзини и заявлял, что подчиняет свои воззрения делу национального единства (он был искусным тактиком и мастером маневрировать и в этом отношении оставлял далеко позади себя всех остальных демократов), на деле же он неизменно пытался, как мог и как умел, преградить путь умеренным.

Не останавливаясь в данный момент на оценке восстания в Генуе в 1857 году, о котором довольно подробно говорится в разделе, посвященном решающим годам борьбы за объединение Италии, скажем только, что в 1859—1860 годах Мадзини, бесспорно, старался не только обречь на поражение политику Кавура, но и сорвать соглашение с Пьемонтом, за которое ратовали «Национальное общество» и Гарибальди. Во всяком случае, он делал все, чтобы вклинить между действиями Гарибальди и действиями Кавура задуманное им выступление в Центральной Италии, носящее столь ярко выраженный республиканский и мадзинистский характер, что оно должно было сорвать соглашение между Гарибальди и Виктором Эммануилом и вынудить Гарибальди волей-неволей пойти вместе с Мадзини.

И тут нам вправе задать вопрос: что же можно возразить против этого? Разве такая линия не являлась наиболее демократической, наиболее благоприятной для будущих судеб итальянского народа?

Если рассуждать отвлеченно, то линия Мадзини, несомненно, и на сей раз представляется наиболее прогрессивной, она даже кажется более демократичной и передовой, чем линия Гарибальди. Но дело в том, что политическая линия коренным образом отличается от теоретического тезиса, более или менее радикальный характер которого определяется исключительно тем, что́ он, то есть данный тезис, утверждает. Политическая же линия бывает более или менее передовой в зависимости от того, в какой мере она может *конкретно,* реально воплотиться в жизнь. Между тем план Мадзини был лишен этой конкретной возможности и Мадзини не удалось даже приступить к его осуществлению.

Наиболее передовой (и вместе с тем реальной, конкретной и возможной) была в то время линия Гарибальди. Другой вопрос — могла ли эта линия развиваться по-иному, чем она развивалась, носить более глубокий социальный и политический характер и достигнуть бо́льших результатов. Но этот вопрос касается, собственно, уже не Мадзини, а скорее способностей и политической зрелости Гарибальди и той группы, которая сплотилась вокруг него.

Объективный, беспристрастный анализ причин, лежавших в основе разногласий между Мадзини и Гарибальди, принад-

лежит перу Герцена, которого, конечно, нельзя заподозрить в симпатиях к Савойской монархии: именно Герцен после Крымской войны подсказал европейской демократии лозунг, который, возможно, нашел отклик и в Италии: «Деспотизм или социализм — выбора нет» [1].

Герцен должен был встретиться с Мадзини по поручению генуэзской военной группы (в нее входили Медичи, Пизакане, Медзакапо, Козенц; Герцен также указывает имя Бертани), чтобы рассказать Мадзини о недовольстве этой группы патриотов тем направлением, которое навязывали из Лондона развитию демократического движения в Италии. По сути дела, все хотели, чтобы Мадзини был отстранен и чтобы руководство демократическим движением перешло в руки военной партии. Это мнение разделяли как те, кто, подобно Пизакане, придерживался социалистических воззрений, так и такие патриоты, как Бертани, Медичи и Козенц, которые составили в дальнейшем основное ядро гарибальдийской группы.

«В тот же день, вечером, — пишет Герцен, — мы встретились в одном доме; Гарибальди был не весел, Маццини вынул из кармана лист «L'Italia del Popolo» и показал ему какую-то статью. Гарибальди прочитал ее и сказал: — Да, написано бойко, а статья превредная; я скажу откровенно: за такую статью стоит журналиста или писателя сильно наказать. Раздувать всеми силами раздор между нами и Пиемонтом в то время, когда мы только имеем одно войско — войско сардинского короля! Это — опрометчивость и ненужная дерзость, доходящая до преступления... Что же, если король бросится совсем в реакцию, свободное слово итальянское смолкнет в Италии и последняя опора пропадет? Республика, республика! Я всегда был республиканец, всю жизнь, да дело теперь не в республике. Массы итальянские я знаю лучше Маццини, я жил с ними, их жизнью. Маццини знает Италию образованную и владеет ее умами; но войска, чтобы выгнать австрийцев и папу, из них не составишь; для массы, для народа итальянского одно знамя и есть — единство и изгнание иноземцев. А как же достигнуть до этого, опрокидывая на себя единственное сильное королевство в Италии, которое, из каких бы причин ни было, хочет стать за Италию и боится? Вместо того, чтоб его звать к себе, его толкают прочь и обижают. В тот день, в который молодой человек поверит, что

[1] А Герцен, Былое и думы, ОГИЗ, 1947, стр 294

он ближе к эрцгерцогам, чем к нам, судьбы Италии затормозятся на поколение или на два» [1].

Другая непоследовательность Мадзини заключалась в том, что, будучи в плену своих догматическо-идеологических схем, он отказывался использовать для проведения в жизнь своей линии те силы, которые действительно примыкали к левому направлению, но не принимали его мистических пророческих идей. Если же Мадзини и соглашался как-то использовать эти силы, то делал это с трудом и нехотя, ведя внутреннюю борьбу с самим собой, вынужденный к тому силой обстоятельств, в надежде, что рано или поздно они перейдут на его сторону.

Разумеется, трудно было сблизиться с теми, кто резко критиковал его позиции, а порой и оскорблял его и ранил, нападая на самое дорогое, самое священное, что у него было, — на его веру, на его убеждения.

Таким образом, было трудно, чтобы не сказать невозможно, сотрудничать с такими людьми, как Феррари, Музолино, Риччарди (и все же даже с ними Мадзини несколько раз пытался сблизиться). Однако если по отношению к ним его позиция еще объяснима, то труднее, например, объяснить его отношение к Де Бони и движению народных клубов. Впрочем, отдавал себе в том отчет Мадзини или нет, но и среди своих рядовых приверженцев он в конечном счете систематически совершал определенный отбор.

Когда мог, он опирался преимущественно на тех, кто слепо следовал за ним (даже тогда, когда группа его приверженцев стала весьма малочисленной и продолжала таять дальше). В своих воззваниях и на словах Мадзини всегда ратовал за широкий фронт сил, но в конкретной организационной работе неизменно опирался на узкую группу, что понимали все патриоты, и это в немалой мере ослабляло его позиции.

В 1853—1854 годах Пило, взяв на себя руководство сицилийскими делами и действуя совместно с центром на Мальте, возглавляемым Фабрици, стал энергично подготавливать восстание в Сицилии, с помощью которого должна была пробить себе дорогу демократическая «инициатива Юга». Но Мадзини (как мы уже указывали выше), даже не уведомив ни Фабрици, ни Пило, послал Феличе Орсини с небольшой группой патриотов в Луниджану с целью положить начало движению, которое, по его замыслу, должно было привести к восстанию в Ломбардии. Эта экспедиция потерпела провал.

В письме от 20 мая 1854 года, адресованном Фабрици, Пило в этой связи писал: «...после неудавшейся попытки в

[1] А Герцен, цит соч, стр 521—522

отношении герцогств и Тосканы экспедиция в Сицилию, возможно, будет отменена, поскольку нам сказали, что действовать надлежало бы совместно; более того, это правительство[1] одно только знало — здесь ходили слухи, что готовится высадка 20 людей на острове, и это правительство, несомненно, дало знать о том неаполитанскому правительству, поскольку республиканскому движению хотят во что бы то ни стало и всеми средствами воспрепятствовать. Пиппо [Мадзини] совершил ошибку, так опрометчиво подняв восстание! К чему было терять столько оружия и столько отважных людей? Вместо этого следовало собрать все силы, которыми располагает партия, и выступить в надлежащее время только на Юге Италии, это единственная часть страны, где в результате высадки можно было бы водрузить наше знамя. Будем надеяться, что теперь образумятся...» [2]

Ничего не было достигнуто и в 1855 году. В самом начале 1856 года Пило получил от сицилийской тайной организации письмо, копию которого он поспешил переслать Фабрици, считая, что содержание его имеет важное значение.

Это письмо предвосхищало ту политическую программу, которая получила затем свое конкретное выражение в формуле «нейтральное знамя»; этой формулы, впрочем, уже придерживались Фабрици и Пило, а в 1856—1857 годах она стала также лозунгом Пизакане и Мадзини.

«Ваша печать,— говорилось в письме из Палермо,— причиняет лишь зло, провозглашая для Италии исключительно республиканские принципы, которые, несомненно, придутся не по вкусу другим державам Европы. Если ваша печать не желает молчать, пусть она, по крайней мере в настоящий момент, завоюет расположение Пьемонта, Англии, Франции... пусть она приложит старания, дабы объединить все силы и направить их к единой цели, пусть выступит с умеренными требованиями для Италии и ратует за такой политический строй, который бы не шокировал ныне существующие свободные режимы, а когда наступит время, когда мы станем **МЫ**, тогда она во весь голос провозгласит истину и будет проповедовать ее, дабы эта истина дошла до глубины сердец... Я прочел твое последнее письмо, а также присланные вместе с ним газеты. Все это одни слова, черт побери, слова и еще раз слова. Вот уже 7 лет, как вы пичкаете нас все тем же: те же слова, те же выражения, словно вы составили из них свой особый язык. Вы всегда считаете, что момент благоприятен для выступления, и вы всегда готовы предоставить в наше распоряжение всевозможные средства. Но все это только на бумаге; на деле же все сводится к словам и вся ваша помощь тоже свелась к словам. Каковы же были последствия вашего поведения? Тюрьмы, пытки, расстрелы, истребление целых семей. Но довольно о прошлом, поговорим о будущем...

Во всех предыдущих письмах и в том последнем, на которое я сейчас отвечаю, вы обещаете помощь людьми, оружием, снаряжением, но, сколько бы раз вы это ни обещали, казалось, стоит только руку протянуть, чтобы все это обрести, наши надежды всегда рушились. Сколько раз мы ожидали в условленном месте этой пресловутой помощи, но и по сей день дальше посул дело не пошло. Быть может, это и есть та военная помощь, которую вы намереваетесь оказывать нам и впредь? Так вот вкратце наши нужды — насущные и неотложные. Мы испытываем крайний недостаток в следующем вооружении: винтовки со штыками, ибо мы потеряли почти все, что имели; горные орудия и несколько гаубиц для горной местности; нам не нужен целый артиллерийский парк, а нужны всего три или четыре орудия, которые, как вы говорите, у вас имеются и которые вы нам давным-давно обещали. Нам не нужны генералы и офицеры, ибо война наша ведется в горных условиях и только одни мы можем вести ее в нашей стране. Однако если генерал будет таким, как Гарибальди, если офицеры будут нашими людьми, владеющими оружием и, что особенно важно, понимающими толк в артиллерии, тогда присылайте их, ибо они могут принести нам большую пользу. Что до денег, то, если они у вас есть, пришлите, они могут пригодиться нам для начала, однако это не так уж необходимо.

Надежным местом, которое мы вам предлагаем для высадки людей и выгрузки оружия, является... место, за которое мы отвечаем жизнью. Можно было бы предложить и другое... но то не такое надежное, как это. Что касается нашей связи с Катанией, Мессиной, Трапани и другими пунктами, то об этом не беспокойтесь, это уж наша забота, и мы знаем, что следует делать в надлежащий момент.

В завершение письма скажу, что мы хотим лишь одного — вашего ответа относительно возможности получения вышеуказанных военных материалов, но на этот раз, черт побери, ответа правдивого и непременно определенного, каков бы он ни был. Не надо нам ни воззваний, ни писем, ни инструкций, ни политической информации, ни газет, ни бесконечной переписки, которые могут лишь напрасно скомпроме-

---

[1] По-видимому, речь идет о правительстве Пьемонта — *Прим. ред.*

[2] ACS, Carte Fabrizi, I.II. 6.

тировать нас. Оружие, снаряжение. Люди высокой доблести и ума, Гарибальди. Прощайте и знайте: после глубокого недоверия, которое мы питали к эмиграции, я вновь уповаю на вашу помощь, и да послужит эта надежда искренним залогом нашей дружбы» [1].

Письмо было послано Тайным комитетом Палермо, которым в то время руководил Франческо Бентивенья; по всей вероятности, он и составил его. Однако помощь, к которой он так настойчиво взывал, не пришла вовремя, и Бентивенья, бывший, судя по этому отрывку из письма, крайне нетерпеливым и нетерпимым к промедлениям, решил, несмотря ни на что, поднять восстание, опираясь лишь на те местные силы, которыми, как ему казалось, он мог располагать. Попытка эта, как известно, закончилась трагически, и Бентивенья поплатился жизнью за свой героизм: он был схвачен, приговорен к смерти и казнен 28 декабря 1856 года.

Его выступление имело, впрочем, неожиданные и серьезные последствия. Тот план восстания, который разрабатывался в течение многих лет и к которому в 1856 году стали склоняться также Гарибальди, Бертани, Пизакане и Козенц, не говоря уже о сицилийцах Розалино Пило и Кальвино, пришлось коренным образом изменить. Вновь вернулись к мысли об экспедиции в Неаполитанское королевство, при подготовке которой, естественно, надлежало руководствоваться иными критериями, чем при подготовке сицилийской экспедиции. Иными были и люди, которые задумали новый план (за исключением Розалино Пило и Фабрици). Поскольку в этом деле принял участие и Мадзини, то по причинам, о которых мы уже говорили выше, от этого плана отказались, с одной стороны Гарибальди, Бертани, Медичи, а в последний момент и Козенц (то есть вся генуэзская военная группа, за исключением Пизакане), а с другой стороны, Де Бони, Фриша, Музолино и группа крайних демократов. Один только Пизакане в отчаянии решился на это предприятие, надеясь, что он сможет придать этому плану восстания иной характер, чем обычно придавал ему Мадзини. А Мадзини, после того как он убедил большинство в политической несостоятельности федералистов и отстранил наиболее независимых людей из своей партии, удалось совершенно неожиданно перетянуть на свою сторону Пизакане. Это было большой победой Мадзини в той борьбе, которая велась внутри партии, но, увы, последней его победой. Итак, руководство новым восстанием осталось в руках Мадзини, Пизакане, Фабрици и Фанелли. Отныне считалось, что инициатива восстания должна принадлежать лишь континентальным провинциям Неаполитанского королевства. Что же касается Сицилии, то было решено, что, когда начнется восстание, там видно будет, что делать.

Волею судеб Гарибальди и Сицилия должны были ждать решающего часа до 1860 года.

---

[1] ACS, Carte Fabrizi, I II. 6.

ГЛАВА VI

# Решающие годы (1856—1860)

В начале 1856 года Пизакане сменил Пило и взял на себя руководство центром, который занимался подготовкой восстания в Королевстве обеих Сицилий. Итак, от Сицилийского комитета, который с 1855 года находился в состоянии агонии, не осталось и следа [1].

Сам Пило в одном из своих писем Фабрици (оно без даты, но написано в 1856 году) сообщал руководителю центра на Мальте о происшедших переменах в руководстве.

«Ты будешь очень доволен, — писал он, — новым корреспондентом, который заменил меня, да я и сам вижу, что он человек куда более сведущий и гораздо больше подходит для этого, чем я. Вот почему я считаю, что для успешного хода дела было бы полезнее, если бы ты переписывался непосредственно с ним, тем более что мы с ним поддерживаем постоянную связь и почти всегда сходимся во взглядах. Надеюсь, ты сумеешь правильно истолковать все это, с той беспристрастностью и самоотверженностью, которую каждый из нас должен проявлять на службе нашему великому делу, оставив в стороне мелкое самолюбие и честолюбивые претензии, которые могут привести лишь к пагубным последствиям».

И в постскриптуме он добавлял:

«Письма Карло мне нравятся, было бы полезно опубликовать их в качестве противовеса книге Саличети «Мюрат и Бурбоны»» [2].

[1] SSSP, Carte Pilo. Письмо Пило к Фабрици от 6 ноября 1855 года: «В Генуе не существует более никакого Сицилийского комитета». Последним действием Сицилийского комитета была поездка Пило в Турич в марте 1855 года с целью сбора средств для осуществления революции в Сицилии.

[2] ACS, Carte Fabrizi, I.II.

Могли ли Пизакане и Фабрици прийти к согласию? Умонастроение Фабрици было таким, что даже между ним и Пило в последние два года не всегда царило полное согласие. Так, в конце 1854 года Фабрици писал Пило:

«Вы говорите, что, по вашему мнению, следовало бы придерживаться стиля, более доступного *для масс;* однако наша работа рассчитана не на массы, а на интеллигенцию, определяющую принципы, под эгидой которых массы должны объединиться и действовать» [1].

Таким образом, нетрудно себе представить пределы сотрудничества Пизакане — Фабрици. Фабрици, впрочем, в гораздо большей степени сам руководил, чем позволял руководить собой. Он слушал всех, но в конечном счете поступал так, как находил нужным. Поэтому он не внял совету Пило вести переписку только с Пизакане и продолжал переписываться с ними обоими, хотя и было договорено, что главная ответственность лежит отныне на Пизакане. Впрочем, обращаясь к Пизакане, Фабрици не уставал повторять, о чем свидетельствует, к примеру, письмо от 29 января 1857 года: «... в настоящий момент более уместен осторожный характер высказываний, ограничивающихся только проблемой национального единства, что важно для укрепления духа самоотверженности в рядах нашей партии, в противовес сознанию исключительности, присущему некоторым, и для объединения всех сил, жаждущих этой цели» [2].

Таким образом, на страницах газеты, руководимой Пизакане, не только не следовало упоминать о социалистических идеях, но даже отстаивать республиканские принципы.

Провал выступления Бентивенья и в какой-то степени назначение Пизакане ответственным за генуэзский конспиративный центр привели к тому, что арена действий была перенесена из Сицилии в Неаполитанское королевство. Фабрици отдавал себе отчет в том, что новая зона действий в значительной мере ограничивала возможности.

«Различие между неаполитанскими и сицилийскими друзьями заключается в следующем, — писал Фабрици Пило в письме от 8 января 1857 года. — В Сицилии все говорят, что готовы выступить. Атмосфера накалена до предела, все готово, все могут действовать и будут действовать, они ярко-красные. В Неаполе же говорят наоборот: у нас мало людей решительных, массы не тронутся с места, если не подтолкнуть

[1] A. De Stefano, Lettere di Nicola Fabrizi a Rosalino Pilo, Palermo, 1956, vol. I, p. 80.

[2] SSSP, Carte Fabrizi.

их, трудно начать, трудно сделать первый шаг; у нас сильны умеренные и мюратисты, они противодействуют, однако мы приложим все усилия, чтобы выступить» [1].

Иными словами, несмотря на провал выступления Бентивенья, массы, по сведениям из самых различных источников, склонны были поднять восстание, и в этом отношении положение вещей в Сицилии по-прежнему оставалось более благоприятным, чем в Неаполитанском королевстве.

Пило и сицилийцы, а с ними и Фабрици, отдавали себе в этом отчет. Надо сказать, что в первую очередь это понимал Тайный комитет Неаполя, и Фанелли был крайне осторожен в тех донесениях, которые он посылал в 1856—1857 годах в конспиративные центры на Мальте и в Генуе. Впрочем, от кого, как не от Фанелли и не от Тайного комитета Неаполя, узнал Фабрици о мрачных для революции перспективах в Неаполитанском королевстве?

После расстрела Бентивенья комитет Палермо распался и центральный опорный пункт в столице Сицилии исчез. В добавление к этому усилился надзор полиции и почти повсюду на острове были произведены аресты.

Но поскольку объективные условия оставались благоприятными, реорганизовать ряды антибурбонски настроенных патриотов в Сицилии было бы, разумеется, нетрудно; но на это потребовалось бы время, следовательно, речь могла идти не о немедленном выступлении, а о выступлении в будущем.

Мадзини между тем был охвачен в те месяцы каким-то лихорадочным нетерпением и настаивал на немедленном восстании: или сейчас, или никогда. Впрочем, не он один испытывал подобное нетерпение. После Парижского конгресса многим казалось, что обстановка в Неаполитанском королевстве созрела для восстания с целью свержения Бурбонов. Победу одержит любой, кто первым высадит там определенный контингент вооруженных людей, подав сигнал к восстанию. Так думал Люсьен Мюрат [2] и мюратисты, и плохо ли, хорошо ли, но на свой манер и с имевшимися у них средствами они действовали в этом направлении. Так думал и новоявленный умеренный Ла Фарина [3], который 29 апреля 1856 года писал Джузеппе Оддо на Мальту:

«Парижский конгресс нанес, по-моему, страшный удар итальянским правителям... я до сих пор выступал против любого движения, будучи убежден, что это несвоевременно. А сейчас я убежден, что если мы упустим этот год, то совершим большую ошибку...»[1]

Понятно, что, когда Мадзини увидел, что даже умеренные (их называли «trattenentisti» — «сдерживающие») стали ратовать за немедленные действия, его охватило лихорадочное нетерпение и он решил, что демократы должны во что бы то ни стало выступить первыми, преградив путь на Юг сторонникам Мюрата и приверженцам Савойской династии. Следовательно, хотя народные массы Сицилии были куда более склонны поднять восстание, чем народные массы Неаполитанского королевства, в какой-то определенный момент многим показалось, что восстание следует поднять в Неаполе (в ожидании, пока патриоты Сицилии перестроят свои ряды).

С другой стороны, Тайный комитет Неаполя являл пример образцовой конспиративной деятельности. На протяжении трех лет (с 1853 по 1856 год) этот комитет неустанно работал в Неаполе и в континентальных провинциях королевства, поддерживая связь с множеством людей, развивая интенсивную деятельность как политического, так и организационного характера. Имели место частые встречи и собрания с руководителями умеренных, бесконечные дискуссии за и против новой политической платформы так называемого нейтрального знамени; велась активная работа среди народных вожаков, а также среди военных. Кроме того, комитет прилагал все усилия для распространения подпольной печати, поступавшей из-за границы, ему даже удавалось собственными средствами печатать листовки и воззвания. А это кое-что да значило Сам Аджезилао Милано был связан через посредника с Тайным комитетом Неаполя, и Фанелли сразу же после покушения вынужден был уйти в глубокое подполье, чтобы избежать полицейских репрессий [2].

И все же даже покушение, совершенное Аджезилао Милано, за которым последовала волна арестов среди тех, кого подозревали в либерализме (в результате найденных у Аджезилао и его друзей адресов полиция стала даже подбираться к Тайному комитету Неаполя), не причинило вреда (если не считать какой-то временной паники) цельности и эффективности этой организации.

---

[1] SSSP, Carte Fabrizi.

[2] Сын Иоахима Мюрата. — *Прим. ред.*

[3] Прежде он был демократом. — *Прим. ред.*

---

[1] G. La Farina, Epistolario, vol. II, p. 10.

[2] Среди писем и вещей Аджезилао Милано был найден один номер газеты «Либера парола», несколько экземпляров которой (15—20), доставлявшихся в Неаполь, распространялись комитетом Неаполя. См. F. Cascini, La Libera Parola in Rassegna storica del Risorgimento, p. 362 sgg.

Понятно поэтому, что даже такой осторожный человек, как Фабрици (по его мнению, население континентальных провинций Неаполитанского королевства и прежде всего Неаполя вряд ли было склонно к действиям; он знал, что в Неаполе господствовали умеренные), счел Неаполь в тех конкретных условиях единственным центром, на который можно было, несмотря ни на что, опереться. С другой стороны, Пизакане, поскольку он был неаполитанцем, и Мадзини, в силу давнего и глубоко укоренившегося в нем недоверия к Сицилии, не говоря уже о других вышеизложенных соображениях, — оба предпочитали, чтобы начало «инициативы Юга» было положено в континентальных провициях королевства. Мадзини, по-прежнему делавшему ставку на Север, казалось, помимо прочего, что восстание в Неаполитанском королевстве, которое, по его представлению, должно было играть второстепенную роль, легче будет координировать с революционным выступлением в Генуе и Ливорно, которое он считал главным, ибо оно должно было, по его замыслу, придать движению совершенно определенный политический характер. Сицилия же находилась слишком далеко, и Мадзини, кроме того, опасался сицилийского партикуляризма.

В августе 1856 года в Генуе вышел первый номер газеты «Либера парола» («Свободное слово»), которую выпускали Пизакане, Мордини, Куадрио, Пило, Кадолини и Сави [1]. Газета являлась политическим органом нового конспиративного центра, созданного под лозунгом «нейтрального знамени», и должна была послужить более эффективным противовесом газете «Пикколо коррьере д'Италиа», издававшейся Ла Фарина, поскольку мадзинистская «Италиа э пополо», по всей видимости, не отвечала этой задаче.

Новый объединенный центр и новая газета ставили перед собой цель не допустить переход в лагерь сторонников Савойского дома той части республиканской партии, которая разуверилась и была недовольна руководством Мадзини (а число таких недовольных все возрастало).

Надо сказать, что сама политическая программа газеты «Либера парола» свидетельствовала о том, до какой степени позиции «Партии действия» стали нечеткими и шаткими. Создания новой газеты хотели главным образом те, кто считал, что эта партия неизбежно развалится, если ее будет представлять лишь мадзинистская группа. Отсюда и возникла необходимость создания новой группировки (в которую вошел бы и Мадзини, не осуществляя, однако, обычного единовластного руководства) и новой газеты, которая была бы способна объединить и представителей крайне левого направления, таких, как Пизакане, и верных поборников Мадзини, таких, как Куадрио, и демократов, которые, казалось, уже готовы были сотрудничать с Пьемонтской монархией и которых в то же время хотели снова вернуть в «Партию действия», таких, как Гарибальди и Бертани, и генуэзскую группу военных (Медичи, Козенц), которая тяготела в большей или меньшей степени к Гарибальди.

Лозунг «нейтрального знамени» позволял, с другой стороны, занять такую политическую платформу, которая была особенно дорога Фабрици — ведь он предложил ее одним из первых — и обеспечивала его безоговорочную поддержку, столь необходимую тогда. Не важно, что Фабрици придал этому лозунгу слишком широкий смысл, продолжая поддерживать отношения с Ла Фарина и обсуждать с ним возможности совместных действий даже тогда, когда безоговорочное присоединение Ла Фарина к линии, проводившейся Савойским домом, стало свершившимся фактом.

Из всех сторонников Савойской династии Ла Фарина, дезертировавшего из рядов республиканцев, демократы ненавидели больше всех. Поэтому дружеская переписка между Фабрици и Ла Фарина являлась сама по себе знаменательным фактом.

Вначале Мадзини пытался отговорить от издания газеты «Либера парола». Почему бы не избрать в качестве политической трибуны *его* газету, где каждый может совершенно свободно выражать свое мнение? То была обычная попытка Мадзини подчинить всех своей власти, и Пизакане и Мордини отвергли ее. Группа, объединявшаяся вокруг газеты «Либера парола», заключив соглашение с Мадзини, отнюдь не собиралась слепо отождествлять свою линию с линией мадзинистской группы. В этом ее «raison d'être» [1]. Главный лозунг новой газеты был «Единство и Свобода»; следует отметить, что газета носила сугубо светский характер. На ее страницах никогда не упоминался столь опорочивший себя лозунг, как «Бог и Народ». Кроме того, она проводила такую политическую линию, к которой в силу обстоятельств вынужден был примкнуть даже Мадзини, хотя она и не отвечала его внутренним убеждениям. Действительно, на основе общего соглашения группа «Либера парола» объединяла людей различных убеждений. Так, Куад-

[1] G. Cadolini, Memorie del Risorgimento Italiano dal 1848 al 1862, Milano, 1911, p. 213.

[1] Буквально — смысл существования, разумное основание, смысл (*франц.*). — *Прим. ред.*

рио, который в еще большей степени, чем Пило, представлял в редакции правоверных мадзинистов, всячески старался придерживаться традиционной мадзинистской позиции. Что касается Пило, который оставался неизменно верен Мадзини, то он остро ощущал необходимость более широкой базы для действий. Правее всех в группе был Фабрици, который, однако, почти не имел возможности участвовать в работе газеты, поскольку находился на Мальте. Фабрици, впрочем, вскоре потребовал, чтобы было снято указание места издания газеты (Мальта), поскольку оно являлось вымышленным (что и было сделано: начиная с четвертого номера место издания уже не указывалось). Однако с Мальты он все же присылал в редакцию свои замечания, пытаясь смягчить слишком горячий, слишком явно республиканский, слишком откровенный, по его мнению, характер материалов, печатавшихся в газете.

Так, например, 9 октября 1856 года Фабрици писал Пило «Что касается пятого номера «Либера парола», то первая статья, «Примеры для Италии», — отличная. Хороша и вторая статья, «Иоахим Мюрат». Неплоха и третья, «Неаполитанский вопрос», если б не столь подчеркивали мюратистскую опасность и если б концовка не носила чересчур ярко выраженный республиканский характер — это может прийтись не по нутру неаполитанцам» [1].

По мнению Фабрици, если газета хотела быть органом сил, объединившихся под «нейтральным знаменем», то ей надлежало, не отказываясь от республиканских принципов. ограничиться проведением такой политической линии, которая сводилась бы к двум положениям: отказ от мюратистского варианта и утверждение национального суверенитета. Не меньше, но ни в коем случае и не больше.

Фабрици давно уже ратовал за проведение такой линии, и еще до того, как начала выходить газета, получив вместе с другой пропагандистской литературой статьи, написанные Пизакане, он в значительной степени изменил характер этих материалов перед тем, как разослать их в тайные организации. Вот что он писал по этому поводу Пило 2 января 1856 года:

«Пусть Шарль [Пизакане] не обижается: кое-что пришлось *смягчить,* дабы навести немного савойского туману, который в силу некоторых особых обстоятельств оказался необходимым» [2].

1 SSSP, Carte Fabrizi.
2 SSSP, Carte Fabrizi.

Вот до чего были доведены крайне левые республиканцы-демократы и вот какое господствующее положение — в представлении самих республиканцев — занимали умеренные в Неаполитанском королевстве!

Как бы ни расценивал Пизакане опасения и уловки Фабрици, он, бесспорно, обязан был платить по счету, как того требовало совместное соглашение.

Главное обвинение, которое поборники «нейтрального знамени» адресовали прежде всего Ла Фарина (а затем также Гарибальди и Бертани — сторонникам «Национального общества»), заключалось в том, что их соглашение с умеренными носило характер полной капитуляции, в то время как для поборников «нейтрального знамени» такое соглашение с умеренными отнюдь не означало отказа *априори* от возможности осуществления демократами руководящей роли. Оно означало лишь временное соглашение с умеренными во имя совместных действий, а уж затем у кого, как говорится, больше ниток, тот и наткет больше полотна.

Однако к тому времени даже среди значительной части крайне левых республиканцев восторжествовала мысль о неизбежности компромисса для осуществления восстания. Высказывалось, впрочем, и такое мнение: если расширить рамки соглашения, не отказываясь от своих принципов, то, пожалуй, удастся воспрепятствовать дальнейшему рассеиванию сил демократов. Поэтому даже наиболее непримиримые в конце концов в известной мере пошли на расширение рамок соглашения. Многие ратовали за «примирение партий на общей основе — на основе революции» [1], лишь бы только партии оставались верны лозунгу «нейтрального знамени», не претендуя ни на «монополию поборников Савойской династии» [2], ни на монополию республиканцев.

Поклянемся в верности «символу великого Согласия», — призывала газета Пизакане. Значит, и Пизакане пришел к этому? С другой стороны, какой иной путь можно было избрать в тех конкретных условиях? Допустить, чтобы «Партия действия» постепенно распалась? Наблюдать сложа руки, как все новые и новые группы демократов переходят в лагерь сторонников Савойской династии? По какому пути можно было еще пойти, чтобы попытаться восстановить единство демократической партии? Как можно было пытаться поднять восстание в Неаполитанском королевстве, где умеренные занимали

1 „La Libera Parola", anno I, № 1, agosto 1856.
2 „La Libera Parola", anno I, № 1, agosto 1856.

господствующие позиции, не добившись с ними соглашения о совместных действиях?

Лозунг «нейтрального знамени» родился в 1856 году не вдруг. Так, еще 28 февраля 1854 года Розалино Пило писал Фабрици: «Ла Маза хочет не республиканское, а нейтральное знамя; он честен, но находится в плену иллюзии» [1]. А 10 апреля того же года в письме, адресованном революционному комитету на Мальте, Пило уточнял: «...среди эмигрантов в Турине и в Генуе действует партия, которая стремится объединить влиятельных неаполитанских и сицилийских деятелей, дабы совершить революцию, не выдвигая определенного знамени, в этом направлении действует Карбонелли, Де Льето, Плутино» [2].

Вполне возможно, что обе идеи — «инициативы Юга» и «нейтрального знамени», которым суждено было сыграть в дальнейшем такую первостепенную роль,— впервые зародились у Фабрици. Разве не Фабрици послал Фанелли в конце 1853 года в Неаполь для осуществления этой политической программы, предвосхитив, таким образом, мнение и взгляды Ла Маза, Карбонелли, Де Льето и Плутино, явившиеся, пожалуй, лишь неким отражением той деятельности, которую Фабрици уже начал осуществлять в Неаполитанском королевстве?

Идея «нейтрального знамени» получила, по-видимому, распространение в определенных кругах демократов начиная с весны 1853 года (после провала восстания в Милане), а может быть, и раньше, если первое предложение относительно организации новой партии, перестроенной таким образом, чтобы отстранить от руководства Мадзини, было сделано Мордини Фабрици действительно в 1852 году. В дальнейшем идея эта медленно созревала и начала воплощаться в жизнь в конце 1853 года, когда Фанелли был направлен в Неаполь.

После провала восстания 6 февраля 1853 года, на которое возлагали столько надежд, после того как выяснилась невозможность создания такой демократической партии, которая бы не подчинялась исключительно приказам Мадзини, приводившим, как правило, к провалам, многим представлялось, что «нейтральное знамя» является единственным выходом из положения.

Кажется странным, как сразу не заметили, что, несмотря на наилучшие намерения, компромисс с самого начала угрожал принципиальным позициям республиканской партии. И действительно, после провозглашения принципа, согласно которому «Партия действия» должна была действовать под лозунгом «нейтрального знамени», призвав на помощь Сардинскую монархию — если, конечно, последняя действительно решится вмешаться и вступить в борьбу с Австрией во имя единства Италии,— кто, спрашивается, смог бы после всего этого воспрепятствовать окончательному развалу рядов республиканцев и их переходу в монархический лагерь?

Чтобы уяснить себе обстановку, сложившуюся в 1856—1857 годах, нужно помнить, что если было много республиканцев, полагавших, что Пьемонтская монархия может, исходя из своих собственных династических интересов и опираясь на союз с Францией, решиться на войну против Австрии (с целью территориального расширения Сардинского королевства), то очень немного было таких, которые допускали, что эта монархия при благоприятных условиях может действительно стать поборником национального единства.

Между тем в 1856—1857 годах — что бы там ни думали в Турине — умеренные, жившие в провинциях, находившихся под гнетом абсолютизма (неаполитанцы, тосканцы, жители Эмилии, Ломбардии, Венеции и т. д.), верили в намерения Пьемонта способствовать объединению Италии, и мнение их разделяли (правда, с некоторыми оговорками) те республиканцы, которые уже отошли от непримиримых позиций своих партий и примкнули к «Национальному обществу». Более того, эти последние выработали новую политическую доктрину, согласно которой у Сардинской монархии, если она будет действовать с помощью одних только умеренных либералов, не хватит ни силы, ни, пожалуй, решимости добиваться такой великой цели, как национальное единство. Между тем в случае поддержки демократов у нее р решающий момент хватило бы и силы и решимости.

Таким образом, согласно этой политической теории, монархия для победы нуждалась в республиканцах по крайней мере в такой же степени, в какой республиканцы нуждались в Пьемонтском государстве для ведения действенной борьбы.

Но разве те, кто исходил из этих предпосылок, не пришли бы со временем к выводу, что для достижения единства та или другая партия должна была бы в известной мере принести себя в жертву? В 1856—1857 годах ситуация, во всяком случае, не настолько созрела, чтобы можно было открыто заявить о необходимости такой жертвы: в этом отношении она глубоко отличалась от обстановки в 1860 году. Более того, крайние республиканцы надеялись, что, если они выступят

---

1 ACS, Carte Fabrizi, I, II.

2 „Roma", anno IV, p. 774.

первыми, Пьемонтская монархия неизбежно займет враждебную позицию в отношении так называемого примирения партий в целях достижения национального единства и им удастся повести за собой рядовых умеренных, вызволив этих патриотов из-под влияния Пьемонта, и таким образом одержать верх. Так им казалось. Как обычно, было множество различных мнений, однако бесспорно одно: с 1856—1857 годов очень многие уже выказывали готовность пойти на уступки.

Отныне кризис, который переживала «Партия действия», настолько углубился, а недоверие к Мадзини приняло такие масштабы, что чем дальше, тем больше сторонников завоевывала эта позиция. Так, например, Розалино Пило, которому лозунг «нейтрального знамени» в 1854 году представлялся «иллюзией», в 1856 году с восторгом примкнул к нему. Да и сам Мадзини, боясь окончательно утратить свой авторитет в партии, вынужден был сделать вид, что принимает его. Всем, очевидно, казалось, что не было иного выхода, иной возможности добиться единства партии и в то же время обеспечить наиболее широкое объединение патриотических сил для подготовки революции.

В республиканские экспедиции мадзинистского типа никто уже не верил. Под старое знамя «Бог и Народ» никто бы уже не встал. Что касается Фабрици, который держал в своих руках конспиративные нити всего Юга, то он уже давно действовал в этом направлении (не очень заботясь о том, что̀ по этому поводу думал Мадзини), не пренебрегая обсуждением этих вопросов с самим Ла Фарина, в то время уже открыто связавшим себя с политикой Кавура.

Почему же, спрашивается, Ла Фарина так настойчиво старался доказать в своей переписке с Фабрици несвоевременность «провозглашения республики при осуществлении нынешней инициативы»? [1] Он ломился в открытую дверь и полемизировал с позициями, которые не были позициями Фабрици. «Я, — писал Фабрици Ла Фарина 30 июня 1856 года, — не только заявлял, что мы не считаем целесообразным это, но даже доказал с документами в руках, что вот уже два с половиной года, то есть с тех пор, как мы восстановили с определенной целью наши связи с Югом, мы не только не высказываем подобного предложения, а, наоборот, утверждаем, что любой вопрос о форме правления должен быть отложен до решения национального вопроса»[2].

[1] MCR, b. 523-57-30.
[2] MCR, b. 523-57-30.

Единственный момент, на котором Фабрици настаивал перед Ла Фарина, когда речь заходила о савойском правительстве, заключался в следующем: «Имеются интересы, которые *наше выступление может подстегнуть и привести в движение,* и это так и будет, как только наше действие одержит верх над препятствиями, с помощью которых его хотели бы задержать» [1].

Только, по мнению Фабрици, было бы ошибкой пассивно ожидать, пока Пьемонт возьмет на себя инициативу. Инициативу должен проявить Юг, должны взять на себя народ, нация, обе партии, пришедшие к соглашению, демократическая и умеренная: «Пьемонт не может проявить инициативу по причинам географического и политического характера; он не может ни проявить эту инициативу, ни согласиться с ней. Но поскольку он не может также отказаться от участия в ней, то жаждет оттянуть и отдалить ее» [2].

Вывод: нам надлежит развязать инициативу, найдя основу для соглашения, а потом уж и Пьемонт не откажется пойти за нами. Главное заключается в том, что обе партии — умеренные и демократы — будут действовать совместно, соперничая на «позитивной, а не на негативной» [3] почве. Такова наша позиция, писал Фабрици Ла Фарина, в то время как твоя, ваша позиция является нетерпимой, ибо ограничивается утверждением «все для нас» [4] и требует от нас «благосклонно принять и согласиться с дипломатическими предложениями, а остальное уладится само собой» [5].

Таким образом, отмечал Фабрици, мы будем пребывать в пассивности, а революционные возможности будут пока упущены.

В июле — августе 1856 года дискуссия между Фабрици и Ла Фарина продолжается. Фабрици отстаивает свою точку зрения, повторяет, что вот уже три года, как организации, которыми он руководит в Неаполе и в Сицилии, прилагают все усилия для «объединения людей, готовых сражаться за дело национального объединения... объединения, в котором ни одна партия не навязывает своих идей другим, как и не жертвует ими *априори,* предоставив на усмотрение будущих демократических собраний вопрос о форме правления, которую надлежит дать нации» [6].

[1] MCR, b. 523-57-30.
[2] MCR, b. 523-57-30.
[3] MCR, b. 523-57-30.
[4] MCR, b. 523-57-30.
[5] MCR, b. 523-57-30.
[6] MCR, b. 523-57-30.

Чего же требует от демократов Ла Фарина? Отречения от своей партии? Но, возражает Фабрици, «отречение одной партии в пользу предполагаемой программы другой партии означает, по сути, растрату сил, которые могли бы оказаться эффективными, нейтрализацию определенной позиции, не усиливая и не обогащая сколько-нибудь существенно другую партию» [1]. Необходимо, настойчиво повторял Фабрици, «развивать, организовывать и привлекать как можно более широкие силы и делать это как можно лучше, поручив руководство тем, кто готов на все во имя Италии, кто обладает определенными способностями и кто хотел бы предоставить Италии самой решать свою участь, поскольку я твердо убежден, что при определенной европейской ситуации политическое и военное первенство Пьемонта может пойти на пользу делу объединения страны, но нельзя отказываться от самостоятельных независимых от Пьемонта выступлений, ибо это значит упускать существующие благоприятные возможности» [2].

Итак, хотя и с оговорками, с заявлениями о необходимости обратиться в дальнейшем к народу, лозунг «Италия и Виктор Эммануил» был скрепя сердце уже принят самым энергичным конспиративным центром «Партии действия».

Следовательно, присоединение Гарибальди и Бертани к «Национальному обществу» Ла Фарина было отнюдь не случайностью или прихотью; оно явилось завершением процесса, который длился уже долгие годы и в который отныне была вовлечена значительная часть демократических сил.

К концу 1853 года Фабрици просто изымал слово «Республика» из пропагандистской литературы, которую он посылал в Италию, и порой доходил даже до того, что избегал отправлять в страну материалы, носившие слишком явный республиканский характер.

«Ты говоришь: «Докажи мне, что установление республики своевременно, и я пойду с тобой», — писал Фабрици Ла Фарина 3 августа 1856 года,— но я предупреждал тебя, что все мои усилия на протяжении последних *трех лет* были направлены на подготовку группы смелых и опытных людей... которые должны были предоставить нации решать вопрос о государственном устройстве после войны и должны были призвать партии к действию, объединив их *во имя действия* и в *соответствии с его нуждами;* провозглашать какой-то окончательный символ я считаю несвоевременным как в силу внутренних, так и внешних условий. Я даже не упоминал слово «республика» в своей переписке и беседах, в разного рода публикациях, с помощью которых я пытался поддержать усилия добрых друзей, а публикуя чьи-либо статьи, где речь шла о республике в очень категорической форме, я возражал против этой категоричности».

[1] MCR, b. 523-57-30.
[2] MCR, b. 523-57-30.

И далее: «Вполне возможно, что имя Мадзини слишком резко и явно олицетворяет собой республиканский символ, чтобы те, кто еще действует, приняли его; но способствовать тому, чтобы на чаше весов перевесило влияние Пьемонта, это значит способствовать пассивному выжиданию, а не действию. Надо действовать, и *будь что будет*» [1]. Это и легло в дальнейшем в основу лозунга Гарибальди и Бертани *«Кто создаст Италию, тот и будет владеть ею»*, положившего конец нетерпимости партий, идей, тенденций.

Таким образом, если хорошо разобраться, в самой группе, которая согласилась действовать под «нейтральным знаменем», можно различить две тенденции: для Пизакане, для Мадзини (и тут нетрудно понять, что, несмотря на их идеологические разногласия, в вопросе о методах действия они близко сошлись) «нейтральное знамя» означало попытку расширить фронт борьбы демократии, который в последнее время все более и более сужался; означало также соглашение с умеренными внутри страны; означало отказ от полемики с «конституционными монархистами»; означало, пусть даже и в чисто теоретическом плане, возможность такого положения, когда пламя народного восстания вынудит Савойскую монархию включиться в борьбу за объединение страны. Но в то же время «нейтральное знамя» означало (и это для них было главным), что «Партия действия», участвуя в этом общем фронте, не только не отказывается от своей политической программы, от своих идей, от своих принципов, но, несмотря на все трудности, будет добиваться их торжества.

Пизакане и Мадзини приняли лозунг «нейтрального знамени» постольку, поскольку они рассматривали его как средство, как новую возможность для достижения своей цели: руководящей роли демократов в революции.

Так думали Мадзини, Пизакане, Куадрио и, пожалуй, также Пило и еще несколько человек, политические позиции которых были менее ясными.

Но политика Фабрици — человека на редкость цельного и кристально честного — носила уже несколько иной харак-

[1] MCR, b. 523-57-5.

тер, и речь шла об отличии не только внешнем, но и по существу. Как бы ни были сильны симпатии Фабрици к республиканской форме правления, он придерживался мнения, что не следует сейчас добиваться торжества своих принципов, что все должны честно и бескорыстно бороться под «нейтральным знаменем», стремясь к всеми принятой единой цели: к достижению единства и независимости. В дальнейшем единая нация на своих собраниях решит вопрос о форме правления, и решение большинства, *каким бы оно ни было,* явится для всех законом.

И, наконец, среди демократов имелась, как известно, третья, довольно влиятельная группа во главе с Гарибальди, Бертани и Медичи (к ней в последний момент примкнул и Козенц), которой лозунг «нейтрального знамени» казался недостаточным; они считали, что без решительной и безоговорочной поддержки армии и правительства Пьемонта завоевать единство и независимость было бы очень трудно. Какое значение могло иметь соглашение с рядовыми умеренными, с их тайными организациями — думали Гарибальди и Бертани, — если предварительно не будет достигнуто соглашение наверху? Кроме того, поскольку в группе, поднявшей «нейтральное знамя», было сильно влияние Мадзини (хотя оно и не носило прежнего исключительного характера), можно ли было быть уверенным, что Мадзини не попытается в который раз проводить свою прежнюю политику, не попытается в какой-то момент снова навязать ее, придав движению узко радикальный характер и обрекая тем самым его на поражение?

Для Пизакане и Фабрици возможность создания широкого патриотического фронта была обусловлена тем, что Мадзини не будет больше на первом плане, что орган «нейтрального знамени» *не будет его газетой,* что лозунги нового фронта не будут носить мадзинистского отпечатка, что Мадзини, иначе говоря, не будет единственным политическим, организационным и военным главой того предприятия, которое предполагалось осуществить.

Однако Гарибальди, Бертани и Медичи были куда более требовательны в вопросе о Мадзини. С одной стороны, они полагали, что необходимо еще более расширить фронт, заключив соглашение в верхах, с пьемонтским правительством и с Пьемонтской монархией, и действовать только с согласия последней. С другой стороны, они считали, что единственная возможность воспрепятствовать повторению прежних бед и провалов — это исключить Мадзини из состава группы, руководящей действиями.

Демократическая эмиграция была охвачена новым подъемом, но большинство предложений, которые выдвигали то одни, то другие, преследовали одну цель: поддержать действия Пьемонта.

В письме от 14 июня 1856 года, адресованном Фабрици, Розалино Пило так описывал обстановку: «Вот уже около двух месяцев, как эмиграция стряхнула с себя апатию, в которой она пребывала на протяжении многих лет. Да, теперь почти все взялись за работу по своей собственной воле, и *в Турине создано больше центров,* или, вернее, наши товарищи по изгнанию стали чаще собираться; и почти на всех этих собраниях, к счастью, присутствует наш друг Энрико Козенц, поэтому мы знаем от него обо всем, что там говорят и что собираются предпринять. Я пишу тебе об этом, чтобы ты был осведомлен и мог поддерживать с ним активную переписку, дабы быть в курсе всех, даже самых мелких дел и событий.

У меня с Козенцем прекрасные отношения, но поскольку я знаю его как человека скрытного, я держусь всегда в определенных рамках; когда он сам, по своей инициативе мне что-нибудь рассказывает, я слушаю, но не побуждаю его ставить меня в известность о результатах различных заседаний, на которых он присутствует, ибо не хочу смущать его и принуждать изменять своей скрытности. Однако он сам мне сказал, что заседания эти сводятся к отвлеченным дискуссиям и состязаниям в красноречии. На одном из таких собраний присутствовали Мамиани и Карло Фарини, Корренти, Джованни Интердонато, Ла Фарина и др. Однако Козенц сказал мне, что до сих пор ни одно из выступлений этих деятелей по духу своему не являлось несовместимым с его участием в вышеуказанных заседаниях; более того, они вместе обсуждали тот факт, что я приходил к Козенцу домой, чтобы передать ему письмо от Кальвино и получить ответ на содержащийся в нем вопрос: не хочет ли Карло Пизакане принять участие в одном предприятии, которое должен возглавить Гарибальди. Дав мне положительный ответ и заговорив потом о «Пикколо коррьере д'Италиа», Козенц сказал, что любопытно отметить одну вещь: в настоящее время за дело Савойской династии стали больше ратовать люди, которые хотят, чтобы их считали республиканцами (как, например, Ла Фарина, Корренти и др.), чем подлинные *приверженцы Пьемонтской монархии,* такие, как Мамиани и др. Один республиканец, поддерживавший близкие отношения с Мадзини, некий Пиолти Бьянки, которого я знал лично и который хотел познакомить-

ся с Козенцем, с коим мы долго беседовали, также показался мне явным приверженцем Пьемонта...» [1]

Наиболее ясной и решительной была позиция Гарибальди. Едва прибыв в Италию, Гарибальди опубликовал в газете «Италиа э пополо» письмо от 4 августа 1854 года, в котором заявил, что он не желает брать на себя ответственность за обычные неподготовленные выступления и экспедиции.

В 1856 году обстановка, однако, изменилась. Новое положение обусловливалось результатами Парижского конгресса, а также выступлением Кавура в пьемонтском парламенте, и если вся эмиграция была буквально наэлектризована, если даже сам Ла Фарина настаивал на восстании в Королевстве обеих Сицилий, то Гарибальди, разумеется, не мог оставаться в стороне.

Весной 1856 года Гарибальди обсуждал вместе с Розалино Пило, Сальваторе Кальвино и Энрико Козенцем возможности осуществления экспедиции на Юг. Фабрици, державший в своих руках все нити конспиративной сети Неаполитанского королевства, был, естественно, в курсе дела. Бертани действовал как правая рука Гарибальди. «Наш общий друг Бертани, — писал Кальвино в письме от 11 июня 1856 года, адресованном Пило, — поручил мне попросить тебя отправиться к Козенцу и узнать у него, не хочет ли он и Карло [Пизакане] принять участие в экспедиции на наш остров; предводителем этой экспедиции, если она состоится, будет тот человек, с которым ты и я беседовали здесь после получения письма от Никола [Фабрици]. Человек этот готов действовать. Сейчас речь идет о том, как, каким образом осуществить эту экспедицию, чтобы добиться верного успеха. Само собой разумеется, что согласие Козенца будет иметь лишь принципиальное значение, то есть если ему понравится, как, где и когда должна будет состояться экспедиция, о чем ему будет сообщено. То, что я тебе пишу, должно храниться пока в строжайшей тайне» [2].

Речь шла о том, чтобы возглавить восстание, которое Тайному комитету Палермо, руководимому Бентивенья, не терпелось начать. Между тем о настроении Гарибальди в те дни свидетельствует его письмо от 11 июня 1856 года, адресованное его другу Кунео.

---

[1] G. Romano Catania, Rosalino Pilo, в „Nuova Antologia", 1911, p. 67.

[2] E. Librino, Rosalino Pilo nel Risorgimento italiano, Palermo 1949, p. 81.

Гарибальди не разделял иллюзий Мадзини и Пизакане. Он не считал, что моральная революция на Юге уже совершилась, и проводил различие между положением, существовавшим в континентальной части королевства, и положением в Сицилии, открывавшим бóльшие возможности. «Ты не должен заблуждаться, — писал он Кунео. — Наш народ, по-моему, в настоящее время в большей мере, чем другие народы, готов совершить нечто великое — в нашем понимании этого слова. Но этого недостаточно. Люди, которые, на твой взгляд, готовы действовать, — это те, у кого нет хлеба; что касается остальных, то из них мало кто или, вернее, никто не проявляет подобной готовности. Такова истина. Я ничего не могу сказать тебе относительно того, что произойдет. Италия сейчас на пути к национальному объединению, это неопровержимый факт. Пьемонт завладел мыслями большинства; как я, так и, думается мне, многие другие предпочитаем ничего не делать, чем делать плохо. Наши самые злейшие враги — клерикалы обладают огромной силой, и объясняется это тем, что они верховодят в Париже, где, чтобы там ни говорили, роковым образом правит властитель судеб Европы» [1].

Вместе с верным Бертани, Пило и Кальвино (которые хорошо знали положение в Сицилии), вместе с Козенцем и Пизакане (среди генуэзской группы военных они были наиболее решительными сторонниками действий) Гарибальди всесторонне обсудил возможность революционного выступления в Сицилии, но у него уже сложилось убеждение, что без согласия Пьемонта (пусть даже не явно выраженного) ничего нельзя предпринимать: лучше «ничего не делать, чем делать плохо».

Понятно, почему Мадзини был охвачен столь лихорадочным нетерпением и требовал во что бы то ни стало немедленного выступления пусть даже под эгидой «нейтрального знамени», пусть даже в союзе с определенными группами умеренных, но только без признания априори гегемонии Савойской монархии.

Когда Мадзини узнал о том, что́ готовилось и какие формы должен принять конкретный план действий (задуманный, правда, без его участия), он в июне 1856 года поспешил в Геную. Однако его непосредственное вмешательство возымело обратное действие: вместо того чтобы убедить Гарибальди, оно побудило его отказаться от своего замысла и вновь еще

---

[1] P. E. Bilotti, La spedizione di Sapri da Genova a Sanza, Salerno, 1907, p. 369.

более резко подчеркнуть, что он не желает нести ответственности за выступления, замышляемые Мадзини.

С этого момента линия Гарибальди — Бертани становится предельно ясной, и весьма примечательно, что письмо, в котором предводитель «тысячи» сообщал о своем присоединении к «Национальному обществу» Ла Фарина и Паллавичино, датировано 5 июля 1856 года. 13 августа состоялась встреча между Гарибальди и Кавуром. На Гарибальди отныне уже нельзя было рассчитывать не только в деле осуществления мадзинистского плана восстания (это уже давно отпало), но даже в деле выступления под «нейтральным знаменем».

Гарибальди, с присущим ему здравым смыслом, с самого начала было ясно, что «нейтральное знамя», по существу, мало что значило. Возможно, конечно, что с помощью этого нового знамени демократам и удалось бы привлечь большее число сторонников, поскольку мадзинистское знамя было уже изрядно скомпрометировано. Однако умеренные, даже рядовые, даже провинциальные организации умеренных, не согласились бы встать под это знамя, ибо они не решились бы ничего предпринять без согласия Турина. Кроме того, эта новая политическая формула оставляла в стороне ту силу, которая все более становилась решающей в тех условиях, а именно Пьемонтское государство.

Как дальше развивались события — общеизвестно: Пизакане, Пило, Козенц, Кальвино и Фабрици продолжали вести подготовку к осуществлению задуманного плана. Кальвино тайно отправился на Мальту, чтобы согласовать все с моденским патриотом [1], а по возвращении его в Геную Пизакане и Пило начали наседать на Бертани и Гарибальди, убеждая их присоединиться к плану экспедиции в Сицилию под «нейтральным знаменем». Особенно горячо и настойчиво увещевал их Пизакане, но тщетно.

Гарибальдийская группа «Партии действия» избрала к тому времени свой путь. Даже Кальвино, а в последний момент и Козенц также отказались от участия в экспедиции.

С другой стороны, провал поспешного выступления Бентивенья побудил их отказаться на время от мысли осуществить экспедицию в Сицилию. Пило, выехавший в Сицилию на английском пароходе, шедшем на Мальту с остановкой в Мессине, узнав о провале выступления Бентивенья, отправился на Мальту и распорядился прекратить отправку оружия в Сицилию, а затем вернулся в Геную. Попытку революционного восстания было решено предпринять теперь в Неаполитанском королевстве.

Таким образом, именно в той особой политической обстановке, которая сложилась в период между концом 1855 и началом 1856 года, и следует искать ключ к соглашению, заключенному в 1856 году между Пизакане и Мадзини.

Как избежать опасностей, которые таила в себе политика «нейтрального знамени», успевшая завоевать к тому времени значительную часть демократов? Кого поставить у руководства действиями, которые надлежало развивать на основе компромисса, самого по себе чреватого опасностями? Быть может, кого-нибудь из группы Гарибальди — Бертани, которая уже склонялась к соглашению с правительством Турина?

Если бы Гарибальди и его сподвижники согласились принять участие в этом деле, то рядом с ними находились бы Пизакане и Куадрио, которые обеспечили бы соблюдение революционной линии. Но разве Гарибальди и Бертани когда либо решились бы возглавить генуэзское восстание, направленное против пьемонтского правительства?

Совсем иное дело Пизакане. Поставить во главе восстания Пизакане — это значило для Мадзини придать этому революционному выступлению сугубо демократический характер, республиканский по форме и по существу.

Мадзини, иначе говоря, знал, что в политику «нейтрального знамени» Пизакане верил, *в сущности,* еще меньше, чем он сам. Достаточно перечитать его «Очерки». Там можно найти одно место, где настолько обстоятельно излагается и раскрывается точка зрения автора, что ошибиться на этот счет невозможно.

Так, в третьем «Очерке» Пизакане пишет: «Прошло почти два года с тех пор, как я написал эти страницы, и вот в начале 1856 года я, к моему удовлетворению, могу добавить новые факты, подтверждающие правоту моих утверждений. Сейчас, когда социалистические доктрины более не проявляют себя открыто, когда доктринеры всех мастей ратуют за нелепое единение партий против общего врага, социализм пробивает себе путь на практике, он является целью тайного общества «Марианна» [1].

Таким образом, в 1856 году, то есть именно тогда, когда Пизакане, с согласия Мадзини, взял на себя руководство движением, которое надлежало проводить под «нейтральным знаменем»; именно тогда, когда он в первом номере своей га-

---

[1] Имеется в виду Никола Фабрици. — *Прим. ред.*

---

[1] C. Pisacane, op. cit., p. 63.

зеты торжественно провозгласил «примирение партий»,— в это самое время в своих «Очерках» Пизакане предельно ясно раскрывал свою точку зрения, именуя «нелепым» «единение партий против общего врага», за которое ратовали «доктринеры всех мастей».

Бедняги Фабрици и Фанелли и неаполитанские провинциальные руководители! Их, таким образом, могли завлечь на позиции, которые были им чужды. Более того, на эти же позиции хотели завлечь и умеренных (чуть ли не силой), в надежде что они уступят, оказавшись перед свершившимся фактом.

Это движение, которое *формально* должно было осуществляться под «нейтральным знаменем» вместе с умеренными, *по существу*, носило совсем иной характер. Ссылка Пизакане на «Марианну» — тайное общество, вдохновлявшееся радикально-демократическими и бланкистскими идеями, ясно показывает, в каком смысле и с помощью каких средств социализм, по мнению Пизакане, может стать «партией» и воплотиться в жизнь.

Это должно было осуществиться с помощью таких средств, как бланкистские выступления и мадзинистская авантюра в Сапри. Какой уж тут союз с умеренными!

Фабрици и Фанелли удалось уговорить. Что касается Гарибальди, Бертани и Медичи, которые были принципиально против такого рода теорий, то, руководствуясь верным чутьем, они не позволили втянуть себя даже в обсуждение вопроса о возможности их участия в этом предприятии. А у Козенца были свои немаловажные причины, чтобы отказаться от этого участия, правда в самый последний момент.

Какими же сложными и извилистыми стáли пути, которыми вынуждена была идти «Партия действия»! [1].

Это двухлетие, 1856—1857 годы, было решающим в истории демократической партии. Политика пьемонтского правительства привела к глубоким изменениям и в демократическом лагере. Благодаря этой политике удалось не только укрепить позиции умеренных, активизировать их деятельность в эмиграции и внутри страны, придать им больший вес и авторитет среди патриотов, которые под тем или иным знаменем боролись против абсолютизма, но и оживить и активизировать (хотя на первый взгляд это и выглядит странным) деятельность самих демократов.

Разумеется, недоверие демократов к савойскому Пьемонту было по-прежнему велико, и оно усугублялось тем, что никто не знал, как далеко зашел Кавур в своих уступках Наполеону III, какую цену ему пришлось заплатить.

Демократы опасались за Тоскану и особенно опасались, что Мюрату будет предоставлена свобода действий в Неаполитанском королевстве. Однако эти страхи нельзя было отнести только за счет пьемонтской политики. Наоборот, после того как стало известно, что видные патриоты и пользовавшиеся влиянием демократы, такие деятели, как Саличети, Монтанелли, Стокко, Дж. Ромео, Маттео Монтекки (и как выяснилось, в определенный момент даже Габриэле Карнацца и Джачинто Карини), встали на сторону Мюрата, то есть на сторону чужеземного принца, многие стали задумываться: если даже демократические лидеры пошли на то, чтобы поддержать кандидатуру монарха, «импортируемого из Франции» (который ко всему прочему жаждал не объединения, а разъединения Италии и подчинения ее французскому влиянию), то почему, спрашивается, должно считаться зазорным, если другие демократы поддержат итальянского короля — конституционного монарха, который уже начал доказывать (а это главное), что он действительно хочет бороться за объединение страны, пусть даже в династических целях?

И, наконец, еще один фактор был очень ловко использован в интересах пьемонтской политики. Некоторые — а в определенный момент и сам Ла Фарина — считали, что Кавур, побуждаемый к тому серьезными дипломатическими соображениями, взял на себя в своих переговорах с Наполеоном III чреватые опасностью обязательства касательно притязаний Мюрата на Королевство обеих Сицилий. Однако прошло немного времени и стало утверждаться мнение, будто речь шла не об обязательствах, а просто о благожелательном отношении, об обещании не препятствовать притязаниям Мюрата на Неаполитанское королевство, в случае если их осуществление окажется возможным.

Говорили, что Кавур, разумеется, мог делать какие-то *авансы,* но вовсе не потому, что он действительно собирался предложить Мюрату Королевство обеих Сицилий, а лишь в целях дипломатического зондажа. При таком положении ве-

---

[1] О том, что́ понимали под политикой «нейтрального знамени» Мадзини и Пизакане в 1856—1857 годах, не может быть двух мнений. Сам Мадзини, оправдывая свои действия, в письме от 27 ноября 1857 года, адресованном (трудно даже представить себе кому!) Медичи и Бертани, писал: «Мне надлежало разрешить военную проблему и проблему политическую; первая должна была разрешиться в Неаполе, вторая — в Пьемонте. Было и всегда будет нужно иметь базу для национального восстания. Было и всегда будет нужно воспрепятствовать Пьемонтской монархии возглавить движение и предать его Этим объясняется восстание в Генуе» (G. Mazzini, vol. LX, p. 119)

щей многим казалось, что именно демократам (которые, естественно, не брали на себя никаких обязательств) надлежит своей инициативой, своими действиями преградить путь мюратизму в Королевстве обеих Сицилий, а заодно спасти от беды Кавура и его приверженцев, которым, чтобы добиться поддержки дела Италии Наполеоном III, пришлось, понятно, на что-то согласиться, и, может быть, это «что-то» сводилось к обязательству не противодействовать, не препятствовать восшествию Люсьена Мюрата на неаполитанский престол [1].

Таким образом, мюратистская проблема приобрела вскоре важнейшее значение в развитии итальянских событий и стала под конец играть первостепенную роль в политике демократов в еще большей мере, чем в политике умеренных. Ведь умеренные оставались в пределах дипломатической осторожности, поэтому их поле деятельности было, естественно, ограниченным. На долю же демократов выпала неблагодарная задача вести неустанную борьбу, даже ценой своей крови.

Объективности ради следует отметить, что именно в вопросе о мюратистских и вообще наполеоновских притязаниях и проявились политические способности Кавура. Сложившаяся обстановка отнюдь не была благоприятной для него. В самом деле, в каком обличье представал он перед итальянскими патриотами? В обличье премьер-министра Пьемонтской монархии, который ради расширения территориальных владений Сардинского королевства и сохранения конституционно-монархического строя, ради того, чтобы воздвигнуть новое препятствие на пути поборников объединения Италии под знаменем республики, готов был не только обкарнать итальянскую территорию, уступив какую-то часть ее (Савойю и, может быть, Ниццу) французскому императору, но и согласиться даже на опасные притязания родственников Наполеона на значительную часть территории Италии.

[1] В письме графу Джулио ди Гроппелло, пьемонтскому поверенному в делах в Неаполе, «Кавур напоминал ему об инструкциях, уже данных прежде устно, и советовал не противодействовать проектам, благоприятным для Мюрата, но и не содействовать им, ибо «Мюрат — это плохое решение» и если бы он одержал верх, то с этим «пришлось бы волей-неволей мириться». (L. Chiala, Lettere edite ed inedite di C. Cavour, Torino, 1884, vol. VI, p. 39—42; письмо Кавура Гроппелло от 5 октября 1856 года.) Однако в октябре 1856 года Кавур уже вносит поправки в антимюратистском духе. Таким образом, письмо от 5 октября вносит поправки в инструкции, данные устно, которые поначалу, должно быть, носили еще более благоприятный для Мюрата характер. В этом щекотливом вопросе Кавуру приходилось действовать чрезвычайно осторожно — ведь он буквально балансировал над пропастью.

Как же можно было охарактеризовать такую политику? Разве это не было позорной капитуляцией или даже предательством? Подобные обвинения действительно можно было услышать в те годы от различных представителей демократического лагеря. И все же именно на этом поприще, где, казалось, Кавура подстерегали особые трудности и опасности и где он, казалось, должен был окончательно скомпрометировать себя, пьемонтскому министру удалось так ловко маневрировать, что он не только блестяще вышел из тупика, в котором оказался в результате проводимой им политики, но и сумел вызвать неизлечимый кризис демократической партии, перетянув на свою сторону многочисленные группы республиканцев и тем самым заложив прочную основу для гегемонии умеренных в период Рисорджименто.

Можно ли это объяснить одной лишь ловкостью Кавура? Или же — что более вероятно — его успеху в огромной мере способствовали такие факторы, как наличие давнего глубокого раскола внутри «Партии действия», ее крайняя раздробленность, растущее недоверие к Мадзини и мадзинистским методам действия, а также ощущаемая всеми необходимость найти выход из положения?

Мюратизм зародился приблизительно в 1850 году, но до 1855—1856 годов не представлял собой серьезной опасности [1]. В те годы в силу целого ряда обстоятельств положение вещей изменилось. Произошло это, во-первых, потому, что изменилась международная политическая обстановка, и если раньше неясно было, на какой основе можно было достичь соглашение между Наполеоном III и Кавуром (относительно будущих судеб Неаполитанского королевства), то в 1856 году начала складываться такая ситуация, при которой подобное соглашение стало представляться по меньшей мере возможным.

Изменилась, во-вторых, обстановка и внутри страны, ибо за несколько лет до того (когда только заговорили о мюратизме и Мадзини в своем письме к Фабрици от 24 января 1850 года начал разоблачать эту опасность) в лоне «Партии действия», несмотря на наличие серьезных разногласий и внутренних распрей, все же существовала довольно крепкая спаянность. В то время ни одному демократу не могла прийти в голову мысль принять всерьез мюратистскую угрозу; да и умеренные также не принимали ее в расчет. Но когда кризис

[1] См. F. Bartoccini, Il Murattismo, speranze, timori e contrasti nella lotta per l'unità italiana, Milano, 1959.

«Партии действия» принял такой острый характер, что в поисках выхода из положения из того состояния, до которого Мадзини довел партию, значительная часть демократов была склонна поддержать любую попытку, любую инициативу, любую возможность, порождаемую международной политической конъюнктурой, — тогда возможность прихода к власти Мюрата стала принимать реальные, конкретные формы Это вызывало удивление и негодование у большинства, можно даже сказать, у тех же демократов, которые либо оказывали мюратистам поддержку, либо, не оказывая ее открыто, по сути дела, не возражали, чтобы мюратизм сыграл определенную роль, а именно всколыхнул застоявшиеся воды и способствовал, быть может, выходу из кризиса

Кавур, кроме того, не мог открыто отвергнуть или воспротивиться притязаниям Мюрата, так как боялся раскрыть свои карты перед Наполеоном III Вот почему умеренные (или по крайней мере та часть умеренных, которые не очень умно истолковывали политику Кавура) не выступали против Мюрата или же из соображений «политической осторожности» хранили молчание, которое «было истолковано как поддержка кандидатуры Мюрата (Антонио Шалоя, Паскуале Станислао Манчини, Раффаэле Конфорти, Джузеппе Массари, Джироламо Уллоа, Франческо Медзакапо, Диомеде Марвази, Анджело Камилло Де Мейс, Луиджи Драгонетти и др )» [1]

Впрочем, совет соблюдать осторожность и хранить молчание исходил, вероятно, из правительственных кругов

Таким образом, сложилась поистине своеобразная ситуация. Разногласия и распри между итальянскими патриотами все усиливались, они разделились на многочисленные враждебные друг другу группы, подгруппы и мелкие группки, и как раз в этот момент на горизонте вдруг появилась опасность нового иностранного владычества — на сей раз уже не австрийского, а пронаполеоновского, мюратистского Этому владычеству, казалось, не противодействовали ни Кавур, ни партия умеренных, более того, свое благосклонное отношение к нему выказали даже многие демократы, уставшие и изуверившиеся

В какой мере мюратистская опасность была реальной, а в какой — мнимой или воображаемой, ныне трудно точно установить К факторам международного порядка прибавлялись факторы внутриполитического характера налицо был снова типичный итальянский запутанный клубок Одно несомненно — появление на горизонте этой опасности вызвало всеобщую панику Монтанелли, Сиртори, Драгонетти поспешили к Манину, они не примыкали полностью к мюратистскому движению, но в известной мере поддерживали его и отправились к Манину с целью заручиться хотя бы его нейтралитетом, как к тому призывал в своей переписке Джузеппе Ричарди Маттиа Монтекки [1] Последний призывал придерживаться в отношении Мюрата нейтралитета или же позиции благожелательного выжидания

В письме от 14 сентября 1855 года Монтанелли писал Ла Фарина «Неужели мы будем следовать той политике химер, за которую ратуют Риччарди и Мадзини? Перед лицом господствующего влияния *Англии* и *Франции* (ставших ныне вершителями наших судеб) они начали петь старую песенку о том, что мы должны сами освободить себя и сами создать правительство по нашему усмотрению Или же, реально смотря на вещи, мы спросим себя

1 Что лучше сохранить Бурбонов или изгнать их, приняв Мюрата?

2 Если приход к власти Мюрата неизбежен, то следует ли, как это делают некоторые, нападать на Саличети (который пользуется у него огромным влиянием) или же нам надлежит радоваться тому, что мюратистские методы носят скорее либеральный, нежели реакционный характер?» [2]

Несомненно одно к мюратизму склонялись лишь в поисках выхода из положения, ставшего нетерпимым, и делали это, исходя из соображений прямо противоположного характера так, Монтанелли продолжал при этом по-прежнему тяготеть к социализму, а Драгонетти примкнул к мюратистам, потому что «ожидал добра» не от революционной и, возможно, даже социалистической Франции, а «от Франции империалистической, ибо если *произойдет новая французская революция*, то она неизбежно будет социалистической, и горе нам, если с ней стрясется такая беда Кто бы ни возымел желание импортировать социализм в Италию, он натолкнется на яростное противодействие всей мыслящей части нации» Следовательно, если уж надлежит терпеть французское влияние, то пусть лучше это будет императорская Франция «я не колеблясь отдаю предпочтение мюратизму перед социализмом» [3]

---

[1] M Mazziotti, La reazione borbonica nel Regno di Napoli, Milano, 1912, p 346 sgg

[1] Bibl Naz Nap, manoscritti Ricciardi, Miscellanea B, carteggio

[2] G La Farina, Epistolario, vol I, p 544--545

[3] F De Sanctis, Epistolario, 1836—1856, a cura di G Ferretti e M Mazzocchi Alemanni, Torino, 1956, p 225

Неясность и путаница в этом отношении были настолько велики, что (как это выявили Бульферетти и Барточини) еще один изгнанник Папского государства, тяготевший к социализму, а именно Бонфильи, примкнул к мюратизму.

В такой вот обстановке за несколько месяцев (а быть может, и за несколько недель) произошло непредвиденное: мюратистская опасность, казалось бывшая поначалу столь второстепенной, проблематичной и нереальной, вдруг на глазах у всех обрела такой грозный характер, что породила новый водораздел, разделивший итальянских патриотов (и без того разделенных на множество политических групп) на два резко противостоящих друг другу лагеря: мюратистский и антимюратистский.

И не в том дело, что старые распри в один миг исчезли или ослабли, а в том, что все антимюратисты, будь то бывшие демократы, ставшие, подобно Ла Фарина, сторонниками Кавура, или умеренные старой закваски, или радикальные демократы, как Мадзини и Фабрици, или даже такие крайние демократы-социалисты, как Пизакане, вдруг, хотели они того или нет, оказались все в одном лагере.

Кавур, который всегда весьма тонко чувствовал любую перестановку сил, сумел ловко использовать это новое положение.

Это отнюдь не значит, что Кавур создал мюратизм (этого, разумеется, нельзя утверждать), но бесспорно одно: вначале его благоприятное или, во всяком случае, невраждебное отношение к честолюбивым планам Наполеона III способствовало росту мюратистской угрозы (но даже благоприятствуя этому, Кавур, как всегда, сумел не взять на себя никаких обязательств, не скомпрометировать себя и не выйти за рамки самой осмотрительной дипломатии).

Все дело в том, что едва Кавур понял, какую выгоду можно было извлечь из такого положения вещей, как он ловко и внезапно изменил курс и сделал это, как обычно, крайне быстро и решительно, хотя и с должной осторожностью. Перед лицом той опасности, которую представлял собой Мюрат, — опасности в известной мере реальной, а не воображаемой, когда даже некоторые демократы примкнули к мюратистам, Кавур дал понять Ла Фарина и его приверженцам, что втайне он против Мюрата.

Хотя это признание было сделано в крайне осторожной и конфиденциальной форме (а быть может, именно поэтому), весть о нем с быстротой молнии облетела всех демократов. Очень быстро, на протяжении каких нибудь нескольких недель, значительная часть «Партии действия» (внутренние распри и раздоры в которой уже давно подготовили ее к этому кризису) встала на сторону Савойской монархии. В те дни приток людей в «Национальное общество» носил массовый характер.

Разумеется, столь широкое и столь глубокое движение, которое объединило вокруг Пьемонтской монархии не только таких людей, как Манин, Паллавичино и Ла Фарина, но и Гарибальди и Бертани, которое побудило даже такого ярого республиканца, как Риччарди (еще до того, как стала известна антимюратистская позиция Кавура), произнести знаменитую фразу: «Если возрожденной Италии суждено иметь короля, то им должен быть только один, и этот один — король Пьемонта»,[1] — не было, не могло быть следствием одного вышеуказанного факта. Правильно отмечалось, что Манин рано или поздно все равно примкнул бы к «Национальному обществу» (да и не только Манин, но и все остальные, вступившие за ним на этот путь), ибо медленная эволюция в этом направлении шла уже долгие годы и все равно стихийно завершилась бы тем же даже без этого нового мюратистского фактора. Но, разумеется, без мюратизма процесс этот был бы более трудным, сложным, более замедленным и не было бы основания — вернее, предлога — заявить перед всей Италией и перед всем миром: в силу этой новой, высшей необходимости мы, демократы-республиканцы, выступаем за единую монархию: «Италия и Виктор Эммануил». Мюратизм, иначе говоря, явился отнюдь не тормозом, не помехой для политики Кавура, а, наоборот, сослужил ему отличную службу.

Разве не крайние демократы — Мадзини, Пизакане, Фабрици — доказывали необходимость решительных действий и организации в Неаполитанском королевстве восстания именно для того, чтобы преградить путь Мюрату?

В те дни лихорадочная жажда действий достигла в демократическом лагере наивысшей точки. 24 сентября Карло Пизакане и Розалино Пило направили Бертани знаменитое письмо: они просили Гарибальди возглавить под «нейтральным знаменем» экспедицию на Юг, осуществление которой, по мнению демократов и умеренных, нельзя было дольше откладывать.

Разве не следовало приложить все усилия, чтобы преградить путь мюратизму? Однако в Турине — да и сам Гарибальди — полагали, что цель экспедиции, которую Мадзини, Пиза-

[1] Письмо от 20 сентября 1855 года, опубликованное в «Сьекль». См. F. Bartoccini, op. cit., p. 90.

кане и Фабрици собирались предпринять в Южную Италию под «нейтральным знаменем», заключалась не столько в том, чтобы преградить дорогу мюратистам, сколько в том, чтобы помешать осуществлению политики Кавура и умеренных, которым удалось добиться значительного успеха в результате присоединения Гарибальди к «Национальному обществу». Действительно, с помощью «нейтрального знамени» делалась попытка перетянуть Гарибальди на сторону Мадзини Именно поэтому Гарибальди и Бертани отказались присоединиться, высказавшись о мадзинистах крайне резко[1].

Таким образом, с сентября 1856 года по трагический июнь 1857 года на переднем крае действовало только крайне левое крыло «Партии действия», находившееся в полной изоляции и обреченное на неизбежную неудачу. Это было героическое самопожертвование, отчаянный призыв к народным массам поднять восстание, выступить по собственной инициативе, а не служить второстепенной вспомогательной силой для государственных и дипломатических акций; это была последняя, отчаянная попытка не отказаться априори от возможности добиться руководящей роли демократов.

Почему, спрашивается, экспедиция в Сапри завершилась таким удручающим провалом?

Для того чтобы обоснованно ответить на этот вопрос, необходимо хотя бы вкратце коснуться того, как развивалось патриотическое движение в Королевстве обеих Сицилий в период между 1848—1849 и 1856—1857 годами, каковы были его связи с массами, а также своеобразного способа организации экспедиции.

Попытка обрисовать эволюцию патриотического движения на Юге в те годы была предпринята вскоре после 1860 года одним из его участников — Джузеппе Ладзаро[2]. Однако хотя его мемуары представляют несомненную ценность, к ним следует относиться с осторожностью, поскольку о периоде до 1856 года Ладзаро, бывший тогда очень юным, рассказывает лишь то, что слышал от своих старших товарищей по конспирации; что же касается периода, когда он принимал непосредственное участие в борьбе, то у автора мемуаров отмечается явная тенденция преувеличивать ту роль, которую он играл в событиях.

[1] См. N Rosselli, op cit, p 229 e nota a p 395. Так, Медичи писал Гарибальди в письме от 26 сентября «Как видишь, мы скоро явимся свидетелями еще одного сумасбродства Мадзини, которое независимо от удачи или неудачи завершится таким же смехотворным образом Этот человек губит все, за что бы он ни брался» «Да избавит нас господь от этих надоедливых мадзинистов!» — восклицал Паллавичино 4 октября

[2] См. G. Lazzaro, Memorie sulla Rivoluzione dell'Italia Meridionale dal 1848 al 7 settembre 1860, Napoli, 1867.

Утверждение, будто в 1848 году в тайном патриотическом движении Неаполя существовали три группы (своего рода партии): одна — «бурбонская, конституционно-монархическая, ратующая за конституцию 1848 года (Карло Поэрио)»[1]; другая — представленная обществом «Унитариев» (программа которого, по словам Ладзаро, заключалась якобы в монархическом объединении с Пьемонтом) и, наконец, третья — республиканцев-унитариев, — это утверждение не вполне соответствует действительности.

В действительности положение вещей в 1849 году отличалось от положения вещей в 1856 году, и об этом мы уже в свое время говорили.

«Унитарии» представляли собой общество, которое состояло из республиканцев домадзинистского типа и из монархистов, симпатизировавших Пьемонту. Что касается формы правления (монархия или республика), то политической программой «Унитариев» была программа «нейтрального знамени» прежде всего. В этом обществе преобладали, однако, республиканцы домадзинистского и неокарбонарского типа.

После роспуска общества (в результате полицейских репрессий и арестов) возникло «Военно-карбонарское общество». В него вошли бывшие участники прежней организации, в первую очередь Никола Миньонья, а вместе с ним Джачинто Альбини ди Монтемурро, калабрийцы Антонио Моричи и Карло Милети, маркиз Тальявиа из Неаполя, Джованни Риччарди (тот самый, который в 1847 году находился в переписке с Пизакане), Луиджи Фортунато, Джованни Бальзамо, Гаэтано Салазар, Клаудино Дель Бене и другие.

Среди неаполитанских умеренных-конституционалистов самых разных оттенков были Джузеппе Ферриньи, Гаэтано Тревизани, Дженнаро Де Филиппо, адвокат Джузеппе Де Симоне, Франческо Катапано, Либорио Романо, Фердинандо Машилли и другие. Тогда между радикалами и умеренными уже не существовало «китайской стены».

Машилли был тем лицом, которому умеренные поручили поддерживать связь с радикалами. А среди республиканцев поддерживать связи с умеренными было поручено Миньонья Неверно, будто Миньонья занимал в то время открыто монархистскую позицию, как это утверждает Ладзаро[2]. Невер-

[1] G. Lazzaro, op. cit., p 15.

[2] См. G. Pupino-Carbonelli, Nicola Mignogna nella storia dell'unità d'Italia, Napoli, 1889.

но также и то, будто Фанелли вернулся в Неаполитанское королевство в 1851 году и примкнул к группе, созданной Миньонья и Джачинто Альбини. В действительности Фанелли удалось обосноваться в Неаполе лишь в конце 1853 года [1], и он обнаружил, что как умеренные во главе с Де Филиппо, Де Симоне и Машилли, так и радикалы (Никола Миньонья и Джачинто Альбини) проделали уже определенную работу

По прибытии в Неаполь Фанелли, однако, не связался ни с теми, ни с другими Он прежде всего начал осторожно организовывать собственный центр, затем, запасшись необходимыми рекомендательными письмами и уже располагая своей базой, начал налаживать связи

Вначале он опирался только на Луиджи Драгоне и его жену Розу Моричи Объяснялось это, естественно, причинами конспиративного характера В 1850 году случилось так, что один из руководителей «Военно-карбонарского общества» Антонио Моричи, которого разыскивала полиция, вынужден был покинуть родину и укрыться на Мальте, где он стал одним из соратников Фабрици Однако перед отъездом Моричи оставил патриоту Луиджи Драгоне, мужу своей сестры Розы, список лиц, с которыми он поддерживал конспиративные связи, и другие сведения Драгоне должен был сохранить их для использования в надлежащий момент Занимался или нет Драгоне настоящей революционной деятельностью еще до появления Фанелли в Неаполе, одно несомненно — Фанелли, заручившийся рекомендациями как самого шурина Драгоне, так и Фабрици, сразу же обрел твердую точку опоры и благодаря этому мог начать свою работу [2]

Следовательно, вначале Фанелли действительно считал целесообразным действовать отдельно от Миньонья, а затем, по мере укрепления созданного им центра, его сотрудничество с ним становилось все более тесным Во всяком случае, ясно, что начиная с 1853 года Фанелли (придерживавшийся строго инструкций Фабрици) не касался в своей конспиративной работе вопроса о форме правления, ограничиваясь утверждениями, что последняя будет определена нацией после победоносного завершения восстания

С помощью Драгоне и Миньонья Фанелли удалось стать наследником дела двух прежних тайных неаполитанских организаций — «Унитариев» и «Военно-карбонарского общества».

Организационная структура Тайного комитета Неаполя, по существу, мало чем отличалась от структуры этих двух прекративших свое существование обществ Так, Тайный комитет Неаполя поддерживал связи с ответственными представителями от различных провинций, а в городе Неаполе — с представителями различных городских кварталов, те в свою очередь, используя прошлый опыт, продолжали более или менее успешно работать среди народных вожаков и военных.

В 1853—1856 годах Фанелли, по всей видимости, не помышлял ни о радикально-демократическом решении проблемы, ни тем более о социалистическом Это произошло позднее, лишь около 1860 года, хотя не исключено, что его контакты с Пизакане (правда, начиная с 1857 года) уже тогда начали нацеливать его в этом направлении.

Несомненно одно в 1853—1856 годах он был безгранично предан Фабрици и являлся горячим приверженцем его политической линии, которую, конечно, нельзя считать крайней в республиканском лагере По указанию Фабрици, основная политическая задача Фанелли в Неаполе должна была заключаться в реорганизации и расширении в городе и в южных провинциях демократической конспиративной сети, а также в установлении любыми средствами прочных связей с умеренными, он должен был наладить совместные действия с ними

Можно без преувеличения утверждать, что, хотя Фанелли и ставил перед собои цель расширения и укрепления связей с провинциальными конспиративными организациями, все же значительная часть его времени и усилий была отдана тому, чтобы найти общий язык с умеренными (попытка эта, как выяснилось в дальнейшем, оказалась напрасной)

С этой точки зрения Ладзаро правильно отмечает, насколько «глубоки» были в 1856 году «разногласия между неаполитанскими либеральными партиями Так, умеренные и революционеры, эти родственные партии, были более враждебны друг другу, чем совершенно различные по своим позициям партии Это, впрочем, всегда так было, да и не могло быть иначе

Считая революционеров опасными, умеренные препятствовали всем их действиям Это вызывало крайнее возмущение первых, и они называли умеренных самыми последними сло-

---

[1] MSMN, Carte del Comitato segreto napoletano, SSSP, Carte Pilo e Fabrizi.

[2] См F Schlitzer, La „Cronaca" della spedizione di Sapri e Luigi Dragone, Napoli, 1934

вами, какие только могут родиться в пылу ожесточенной политической схватки...» [1]

Умеренные, впрочем, имели определенные преимущества перед радикалами. Главное из них заключалось в том, что они могли использовать, помимо всего прочего, и легальные возможности. Они не находились — в отличие от Тайного комитета — в подполье.

Руководители умеренных — Де Симоне, Де Филиппо и другие — нормально занимались каждый своим профессиональным делом, жили у себя дома (их местожительство, конечно, было известно полиции и находилось под наблюдением) и могли, соблюдая, правда, известные предосторожности, передвигаться и действовать более свободно, чем члены демократического Тайного комитета, которые жили в условиях подполья и чье жилище представляло собой настоящий склад, где хранились целые архивы корреспонденции, подпольной печати, знамена и даже оружие.

Хотя центр умеренных развивал относительно меньшую активность, зато он располагал большими возможностями поддерживать связь со своими приверженцами и передавать директивы, подвергаясь меньшему риску. Между обоими центрами существовала отчаянная и зачастую чреватая опасностью конкуренция. Оба центра вели работу среди народных вожаков и в армии (а умеренные также среди высших слоев населения), и вся беда заключалась в том, что очень часто они обращались к одним и тем же людям, усугубляя таким образом смятение и внутренние распри и подвергая еще большему риску и опасности всю работу.

Как неаполитанская полиция за столько лет умудрилась не добраться до руководителей того и другого комитета, попросту необъяснимо; вернее, это можно объяснить лишь деградацией и самым настоящим разложением бурбонского правительства и его полицейского и репрессивного аппарата.

Согласно свидетельствам, почерпнутым из источников, не вызывающих никаких сомнений (Фабрици, Драгоне, сам Фанелли, Ладзаро), умеренные издавна представляли собой самую влиятельную партию в Неаполе, причем она пользовалась влиянием не только среди просвещенных слоев общества, но и в армии, среди народных вожаков и, следовательно, среди народных масс. И это несмотря на то, что радикалы, как мы уже говорили, проявляли куда бóльшую активность и в значительно большей степени подвергались, особенно в провинциях, арестам и преследованиям со стороны полиции, постоянно являя собой пример самоотверженности и героизма. Даже в континентальных провинциях Неаполитанского королевства положение было примерно таким же, хотя и несколько менялось в зависимости от района; правда, были и такие провинции, где присутствие некоторых видных радикалов придавало демократам больший вес.

Учитывая все это, можно сказать, что по сравнению с Неаполем позиции демократов в провинциях были относительно более сильными, но все же не столь прочными, как раньше. Итак, кризис «Партии действия» сказался и в наиболее отдаленных провинциях.

Следовательно, мнение, будто обстановка в континентальных провинциях королевства созрела для победоносного восстания, не соответствовало действительному положению вещей. Такое мнение созрело в эмигрантских кругах (и не только среди патриотов крайне левого направления, но и среди таких новоявленных умеренных, как, например, Ла Фарина), среди людей, которые в продолжении многих лет жили вдали от родины и не имели верного представления о реальных условиях, существовавших в Неаполитанском королевстве. Совсем иначе судили о положении те, кто действовал внутри страны, а следовательно, и сам Тайный комитет Неаполя. Комитет этот, разумеется, значительно расширил сферу своих действий, поддерживая связь со своими корреспондентами в каждой провинции, которые в свою очередь располагали многими опорными точками.

Но каков был на деле удельный вес этих корреспондентов? На какие силы они могли по-настоящему рассчитывать? Если оставить в стороне Сицилию — положение которой было действительно особым, — то нельзя утверждать, будто народные массы континентальной части королевства были склонны поднять восстание. Да и во имя чего должны они были восстать? Такая цель, как достижение национального единства, была не очень ясна и понятна крестьянским массам Юга — во всяком случае, не настолько, чтобы заинтересовать их и толкнуть на восстание. Кроме того, никто из местных патриотов не ставил перед неимущими крестьянами такой цели, как захват земли или хотя бы удовлетворение их материальных интересов.

Как бы мало ни было сделано в этом смысле в свое время (в 1820—1821 годах и в 1848 году), все же тогда было сделано больше, чем в те годы, о которых мы говорим. И вполне понятно почему. Почти все провинциальные патриоты при-

[1] G. Lazzaro, op. cit., p. 122.

надлежали к сословию дворян и зачастую являлись богатыми землевладельцами. Поднимать определенные проблемы, когда достижение единства, установление конституционного режима и т. д., казалось, было совсем близко, считалось особенно опасным.

Так во имя чего, спрашивается, эти массы должны были восстать? На это можно возразить, что в бумагах Тайного комитета Неаполя имеется несколько донесений информационного характера, в которых говорится о наличии двух с лишним тысяч людей, готовых выступать (это касалось, в частности, Лукании и Чиленто). Ведь именно на основании этих донесений и рассчитывая на традиции прошлого, Чиленто и был выбран местом высадки экспедиции Пизакане.

И все же о чем свидетельствуют в конечном счете все эти секретные донесения, если их рассмотреть и проанализировать самым тщательным образом, как того требует характер подобных документов? Они опровергают то, что настойчиво утверждалось на словах. На деле же в той самой провинции, о которой говорилось, что она, мол, располагает двумя тысячами людей, готовых восстать, достаточно было столкновения с первой же трудностью, достаточно было первого ареста (иногда одного лишь человека, одного руководителя), чтобы все считалось потерянным или, во всяком случае, обреченным на провал, и тогда обстановка рисовалась совсем в ином свете, нежели всего за несколько недель до того; факт этот сам по себе свидетельствует о том, сколь мало значили приводившиеся цифры и дававшиеся обещания. Но если должным образом проанализировать даже те донесения, которые были написаны в наиболее благоприятный момент и носили внешне более оптимистический, более радужный характер, если прочесть их не глазами человека, ищущего во что бы то ни стало подтверждения своих надежд, а критически, то сразу же бросается в глаза следующее: хотя в них и говорилось, что в такой-то провинции тысячи людей готовы подняться, они вместе с тем содержали настойчивое требование прислать «офицеров, умеющих командовать», оружие и материальные средства. В них говорилось о необходимости такого события, воздействие которого сделало бы возможным (или даже несомненным) успех, о необходимости гарантировать, что другие выступят первыми и что, таким образом, речь будет идти о широком, всеобщем восстании.

Иначе говоря: не хватало людей, умеющих командовать, не было плана восстания, не хватало оружия и материальных средств (или же их было очень мало), и — что значительно серьезнее — никто на деле не готов был к выступлению.

Ну а массы готовы были выступить? Мы не станем утверждать, будто сведения из вышеуказанных донесений о количестве людей, готовых участвовать в восстании, были вымышленными. Они исходили от патриотов, сознававших свою ответственность, и, следовательно, нельзя сказать, что эти сведения являлись плодом фантазии. Однако добывались они обычным способом, а именно: в той или иной местности имелось определенное число пользовавшихся большим влиянием патриотов (иногда всего-навсего один или два), которые заявляли (так по крайней мере бывало обычно), что они располагают массами, таким-то числом людей, и что эти массы готовы восстать по их сигналу. В лучших случаях говорили даже с людьми из народа, у которых были тысячи причин быть недовольными собственным положением и которые отвечали, что в нужный момент они, разумеется, не останутся в стороне.

Однако в большинстве случаев то были разговоры общего характера, которые свидетельствовали, конечно, о враждебном отношении к существовавшему режиму, но, по сути дела, никого и ни к чему не обязывали. И менее всего они обязывали к такому выступлению, которое (в том виде, как оно было задумано теми, кто находился за границей) требовало не только хорошей организации и военной подготовки, но и хладнокровной решимости и высокого героизма. Это отнюдь не значит, что вся та подготовительная работа, которая на протяжении многих лет велась в различных провинциях, не имела никакого значения. Работа эта, бесспорно, была и эффективной и крайне важной.

Благодаря ей создавалось определенное общественное мнение, подготавливались соответствующие условия, поддерживалось брожение умов, и если бы международная обстановка и условия внутри страны созрели бы тогда (как это произошло к моменту похода Гарибальди), то эта работа, несомненно, принесла бы — да так оно и было на деле — огромные плоды.

Но для того, чтобы восстание в континентальной части королевства стало возможным, главное уже должно было быть осуществлено *другими,* будь то экспедиционные войска Гарибальди, или королевские войска Пьемонта, или же сицилийские «пиччотти» [1], которые действительно всегда были хорошо

[1] Крестьяне, участники партизанских отрядов в Сицилии в период Рисорджименто. — *Прим. ред.*

организованы, вооружены и готовы восстать — правда, не во имя национального единства, а для достижения своих целей.

Именно поэтому план восстания, разработанный Фабрици — Фанелли, предусматривал длительную и кропотливую работу, объединение всех сил республиканцев и умеренных, всестороннюю подготовку и лишь на этой прочной основе осуществление в подходящий момент восстания.

Разумеется, план восстания на Юге, разработанный Фабрици и Фанелли, не лишен был некоторой экзальтации и чрезмерного оптимизма, его разработке были присущи взлеты и падения, которые вполне понятны, если учесть тогдашнюю обстановку. Но даже учитывая все это, их план не был оторван от действительности: достаточно вспомнить о той особой роли, которую Фабрици отводил в осуществлении восстания Сицилии.

Итак, беды начались тогда, когда Мадзини и Пизакане отвергли этот план и навязали свой. Прежде всего это относится к Мадзини, ибо Пизакане после своей поездки в Неаполь в начале июня 1857 года начал отдавать себе отчет в существовавшем положении и согласился дать неаполитанской организации больше времени для подготовки восстания. Но нажим со стороны Мадзини был столь велик, что по возвращении Пизакане экспедицию пришлось ускорить.

Впрочем, вопрос заключался не в том, чтобы располагать одним или двумя лишними месяцами для более тщательной подготовки восстания. Вопрос заключался в том (не говоря уже о возможности действовать в более благоприятных международных и внутренних условиях), чтобы добиться союза с умеренными, которые представляли довольно значительную силу в патриотическом фронте и соглашались выступить лишь в ими выбранный момент и при условии, что им априори будет гарантирована руководящая роль.

Для демократов проблема могла стоять и по-иному: найти в лице крестьянских масс могучего союзника, который позволил бы им выступить одним, без умеренных. Но разве можно было сразу обрести такого союзника? Разве можно было обрести его без соответствующей подготовки, после тех тяжелых разочарований, которые крестьяне испытали в 1820—1821 и в 1848 годах? И самое главное: как можно было разрешить вопрос о восстании в Королевстве обеих Сицилий, разжигая недовольство крестьянских масс и поддерживая их требования земли, если сами демократы «Партии действия» на Юге представляли собой большей частью земельных собственников или, во всяком случае, интеллигентов, выступавших против «осквернения» идеалов национального единства идеями классовой борьбы? Разве не воспротивился бы сам Мадзини намерению подготовить и осуществить восстание таким путем?

Как бы там ни было, важно одно: в период 1853—1857 годов в Королевстве обеих Сицилий вопрос об этом *никогда* и никем не ставился. Даже Пизакане, который больше, чем кто либо другой из патриотов-радикалов, был склонен разделить подобную точку зрения на революционную борьбу, согласившись встать под «нейтральное знамя», отказался (по крайней мере временно) от такой перспективы на ближайшее время, оставив за собой, возможно, право выдвинуть свою передовую социально-политическую программу в ходе самого революционного восстания.

Против того, чтобы дать какую-то передышку и, таким образом, позволить Тайному комитету Неаполя лучше подготовиться к восстанию, возражал прежде всего Мадзини — возражал несмотря на то, что Никола Фабрици прислал в Геную Фальконе с письмом, в котором предлагал отложить восстание на определенное время: за этот срок восстание было бы более тщательно подготовлено и имелась бы хоть какая-то гарантия успеха.

Позиция Мадзини, впрочем, легко объяснима. Он понимал, что на деле речь шла не просто об отсрочке на месяц или на два (если бы действительно шла речь о таком коротком сроке, то он, возможно, и согласился бы). Он понимал, что за вопросом об отсрочке скрывались, по существу, расхождения политического характера. Если бы восстание было отложено, снова одержала бы верх военно-политическая концепция Фабрици и Фанелли, заключенная в формуле «нейтрального знамени», согласно которой начинать восстание можно лишь с согласия и при поддержке умеренных; это означало фактически ждать, пока Пьемонт не решится подать сигнал, поскольку взоры умеренных Неаполитанского королевства были обращены главным образом в сторону Пьемонта.

Тот горячий спор, который шел весной 1857 года между Мадзини и Пизакане, с одной стороны, и Фабрици и Фанелли — с другой, касался, следовательно, не столько технических и стратегических вопросов и времени осуществления восстания, сколько *политических* вопросов. Мадзини и Пизакане удалось навязать свою точку зрения, но не удалось полностью убедить Фабрици и Фанелли в обоснованности их аргументов.

По мнению Мадзини и Пизакане, находясь за границей, они не могут создать необходимых для восстания условий. Кроме того, они не верят в возможность длительной подготов-

ки, которой неизбежно помешают аресты. Либо «моральная революция» существует, и тогда достаточно одной искры, примера — и мы готовы подать его, даже ценою нашей крови, — либо ее не существует, и тогда нам остается только стонать под позорным игом.

Любопытно отметить, что когда Фабрици и в особенности Фанелли всячески старались доказать (не всегда, правда, проявляя при этом должную решимость и дальновидность, поскольку сами отчасти подвергались нажиму и считали себя связанными определенными моральными обязательствами), что так называемая «моральная революция» на деле вовсе не совершилась или же совершилась, но в недостаточной степени, лишь среди горстки патриотов, то Мадзини, а затем и вовлеченный в этот водоворот Пизакане, приняв желаемое за действительное, резко возражали. Разве сами Фабрици и Фанелли не явили доказательства того, что «моральная революция» в Южной Италии совершилась, заявляли Мадзини и Пизакане, показывая им те самые сведения, которые комитет на Мальте и Тайный комитет Неаполя переправили в свое время в Геную и в Лондон. Речь шла в основном о выдержках из тех пресловутых донесений из различных провинций, которые содержали зачастую много обещаний на словах, но, как мы видели, весьма мало значили на деле.

Таким образом, Фабрици и Фанелли оказались словно прижатыми к стене и вынуждены были поневоле следовать той линии, которую считали несвоевременной, опасной и чреватой новыми бедами.

Фанелли был преданным и честным патриотом, человеком высокой моральной чистоты и мужества, что он в полной мере доказал за долгие годы своей конспиративной работы и во время военных действий в 1848 и 1860 годах, но он был слабохарактерен и не на высоте возложенной на него задачи. Бедняга, он так старался, чтобы его миновала сия чаша, он неоднократно просил оставить его в Неаполе, где бы он работал под началом более способного, чем он, человека. Но просьбам его не вняли: все снова подтвердили свою веру в него. В своих письмах Фанелли продолжал приводить множество причин (и все они, надо сказать, были вполне обоснованны), доказывая необходимость отложить выступление до более благоприятного момента, однако у него не хватило ни способности, ни силы категорически воспротивиться всем этим нажимам, тому плану, что был ему предложен, и самой концепции осуществления восстания, которую он считал ошибочной.

В своем исследовании о Пизакане Фалько правильно писал, что Мадзини (и Пизакане) в то время «действительно ставили на последнюю карту: вся Италия должна была быть вовлечена в революцию, и следовало помешать Пьемонтской монархии удушить ее или же использовать в своих интересах» [1].

Мадзини, как известно, в прошлом не проявлял подобной поспешности и нетерпения. Он стал проявлять их тогда, когда его политическое чутье подсказало ему, что умеренные начали отныне преграждать ему дорогу и что все большее число самих демократов смиряется с такой перспективой. Это побудило его предпринимать все более лихорадочные попытки, дабы навязать свою точку зрения на решение итальянской проблемы, которое, по его мнению, должно было основываться исключительно на народной инициативе (в его понимании), нацеленной на создание единого республиканского государства, без вмешательства Савойской династии и без иностранной помощи.

Однако осуществить подобное решение, облеченное в столь крайние формы, да тем более без мобилизации народных масс на борьбу за их насущные интересы, было настолько трудно, настолько тяжело в тех неблагоприятных и чрезвычайно сложных условиях, что замыслы Мадзини представлялись нереальными, неосуществимыми, совершенно безнадежными. Между этими идеями и реальной действительностью не было никакой конкретной связи, и для того, чтобы ее создать любой ценой, действительность все время представляли в искаженном виде

Разрыв между способностью к выступлению и реальной возможностью для выступления героического меньшинства, руководимого мадзинистским «гением-пророком», был столь велик, что все подобные выступления, как правило, оканчивались провалом.

Но для Мадзини немыслимы были никакие изменения в его концепции, и поэтому на следующий день он начинал сначала, сталкиваясь, естественно, со все более неблагоприятными объективными условиями.

Иной была революционная концепция Пизакане, изложенная им еще в 1850 году в его книге «Война в Италии»; он развил ее затем в своих «Очерках» и в статьях, написанных в период подготовки экспедиции в Сапри. Пизакане неодно-

---

[1] G. Falco, Note e documenti intorno a Pisacane, в „Rivista storica Italiana", vol. XLIV, 1927, p. 265.

кратно осуждал мадзинистскую позицию. Именно он, поборник анархистской социалистической республики, встал под «нейтральное знамя», движимый убеждением, что надлежало найти такую платформу, которая воспрепятствовала бы прогрессирующему развалу республиканской партии. Он считал необходимым расширить фронт борьбы, дабы иметь возможность осуществить эффективные действия и таким образом связать наконец группу радикалов с массами, которых следовало призвать к восстанию; по его мнению, массы, несомненно, подняли бы восстание, сразу же выбив почву из-под ног не только мюратистов, но и умеренных, бывших весьма ненадежными союзниками.

Итак, для Пизакане все должно было начаться также с внезапного выступления меньшинства, но выступления, имеющего своей целью развязать массовое восстание.

Вслед за тем итальянский народ, собравшись на свои избирательные ассамблеи, должен будет решить вопрос о государственном устройстве, принять свою Конституцию, свой *общественный договор*. Однако, по мере того как Пизакане прилагал усилия, чтобы претворить в жизнь этот план, он наталкивался на множество трудностей. Многие из наиболее влиятельных демократов отказывались действовать вместе с Мадзини. В последний момент от него отошел и Козенц, мотивируя это тем (и не без основания), что первоначальный план носил совсем другой характер и что вновь все свелось к обычному мадзинистскому предприятию; не зря ведь перед предполагавшейся поездкой в Неаполь к нему приставили Куадрио.

Что оставалось делать Пизакане, Фабрици, Фанелли? Возвратиться вспять? Остановиться на полпути? Пизакане не мог этого сделать, ибо, как и Мадзини, был убежден: если демократы хотят утвердить свою руководящую роль в революции, то медлить далее нельзя. Итак, пожалуй, уже было поздно, ибо Пьемонт мог вскоре окончательно подчинить своему контролю демократическое движение [1].

Следовательно, надо было взять инициативу на себя. Но Пизакане принял это решение отнюдь не с легким сердцем. Его тревожили серьезные сомнения и оговорки Тайного комитета Неаполя и колебания Фабрици. Поэтому он решил отправиться в Неаполь, чтобы воочию удостовериться в существующей обстановке.

[1] Уже в апреле 1851 года Пизакане писал Каттанео «Если Пьемонт успеет вступить в игру, боюсь, что свобода Италии будет погребена» („Epistolario", p. 117—118).

Фалько очень точно обрисовал душевное состояние Пизакане в те дни. «Положение вещей, которое он обнаружил в Неаполе, — писал Фалько, — было таким, как его описал ему Фанелли. Из его писем, адресованных Пило и Фабрици, из тех инструкций, которые он оставил комитету перед отъездом, как будто явствует, что, стряхнув с себя грезы, он обрел более трезвое ощущение действительности. Все то, что он давным-давно отбросил в своем революционном порыве, сейчас представляется ему необходимым. Нужно, чтобы Фанелли упрочил свой авторитет с помощью тех средств, которые будут ему доставлены; надо энергично поработать в Неаполе, раздобыть оружие, побудить выступить Базиликату и, если потребуют руководителей, послать их.

Как и почему, несмотря на этот план работы, было решено после возвращения Пизакане в Геную ускорить экспедицию, нет нужды повторять. Следует скорее удивляться его крайнему воодушевлению, его уверенности, его обращенным к друзьям словам, то серьезным, то шутливым: никакой мюратистской партии не существует, а республиканский дух царит даже среди неаполитанских кучеров. По-видимому, едва он отдалился от Неаполя, как героические устремления, ставшие для него привычными, снова взяли верх над доводами разума».

И все же легкая печаль звучит в его словах, когда он сообщает Фанелли о неожиданно принятом решении, о том, что он вынужден подчиниться суровой необходимости.

«Медлить далее невозможно по причинам, которые слишком долго объяснять, да и не к чему. Я согласился, так как всегда соглашаюсь, когда речь идет о том, чтобы действовать, и так как уверен, что это последняя игра, которая будет пока сыграна» [1].

Мадзини тем временем продолжал настаивать. Разве Пизакане не замечал, что за политической платформой, на которой стояли начиная с 1853 года Фабрици и Фанелли, за предложениями, сделанными Фабрици Ла Фарина, за той настойчивостью, с которой Тайный комитет Неаполя добивался союза с местными умеренными, ставя успех восстания скорее в зависимость от этого союза, чем от действий демократов, — разве Пизакане не замечал, что за всем этим скрывалась определенная политическая линия? И разве он не замечал, что эта политическая линия — независимо от намерений — была куда ближе политической линии Гарибальди — Бертани, чем

[1] G. F a l c o, Note e documenti intorno a Carlo Pisacane, в "Rivista Storica Italiana", vol. XLIV, 1927, p. 271.

линии Мадзини — Пизакане, нацеленной на достижение руководящей роли демократов в революции?

Можно ли было в этих условиях выжидать? Выжидать — это значило отказаться от возможности увлечь Фабрици, Фанелли и тайные организации на путь революционных, радикальных и безотлагательных действий; это значило допустить, чтобы еще год или два Фабрици и Фанелли постепенно основательно готовили почву для других, для того момента, когда Гарибальди, когда «Национальное общество» выступят вместе с Пьемонтом. Таким образом, революция, оказавшись под контролем Пьемонта, была бы задушена, а дело республики — погублено. Так считал Мадзини, и Пизакане не мог не признать его правоты.

Теперь, обогащенные всем последующим опытом, мы можем, пожалуй, возразить, что для проведения одновременно и радикальной и реалистической политики надо было не бросаться в отчаянные предприятия, не бояться совместных действий с Пьемонтом, а настойчиво пытаться снова сблизиться с Гарибальди, сосредоточив все усилия демократической партии (ввиду возможного соглашения с савойским Пьемонтом) на проведении решительной и самостоятельной политики, настолько эффективной и целеустремленной, чтобы она могла обусловливать действия самого пьемонтского правительства и чтобы к моменту подведения итогов проблема объединения страны получила бы не только династическое, но и народно-демократическое решение.

Однако история регистрирует только события, и следовательно, нельзя говорить о политике, которую практически никто тогда не проводил, за которую никто не ратовал.

Все дело в том, что Гарибальди опасался какого бы то ни было сближения с Мадзини и считал соглашение с ним невозможным. И не потому, что он не хотел этого или такое сближение ему претило; просто он хорошо знал Мадзини, знал, что, хотя на словах он будет всячески уверять в своем желании достичь соглашения, на деле договориться с ним невозможно, поскольку Гарибальди уже принял лозунг «Италия и Виктор Эммануил».

Надлежало сделать выбор: либо с Мадзини, либо с Пьемонтом, и Гарибальди этот выбор сделал. Как Гарибальди, так и Бертани хорошо понимали, что лозунг «нейтрального знамени» представлял собой всего лишь попытку повергнуть в прах «Национальное общество»; они знали, что экспедиция в Сапри была направлена не только против бурбонского правительства, но и — путем вооруженного восстания в Генуе — против пьемонтского правительства. Таким образом, если бы даже Гарибальди и Бертани решили проводить одновременно радикальную и реалистическую политику (как мы увидим далее, весьма сомнительно, чтобы у них были такого рода намерения), то они все равно не смогли бы претворить ее в жизнь с теми людьми, которые готовили экспедицию в Сапри и восстание в Генуе. Те демократы, которые примкнули к «Национальному обществу», не могли ожидать от других проведения подобной политики или претворять ее в жизнь совместно с другими. Если бы у них достало сил и умения, то им надлежало бы осуществлять эту политику самим.

Однако мы воздержимся сейчас от подробного анализа того, что происходило в верхах «Партии действия», и попытаемся более обстоятельно выяснить, каков был моральный дух и дееспособность тайных демократических организаций в континентальных провинциях Неаполитанского королевства в период 1854—1857 годов.

В своей книге «Хроника Тайного комитета Неаполя, повествующая об экспедиции в Сапри»[1] Де Монте опубликовал основные документы по этому вопросу. Тщательное изучение всей переписки Тайного комитета Неаполя (которая в свое время была передана Неаполитанскому музею Сан-Мартино вдовой Драгоне) позволяет подтвердить тезис, который отстаивал Де Монте, а именно: он считал необоснованным мнение, которому способствовали уцелевшие участники этой экспедиции, в первую очередь Никотера, а также Энрикетта Ди Лоренцо (ее душевное состояние, впрочем, легко понять) и отчасти сам Пило. Согласно этому мнению, Пизакане и Мадзини приняли решение о пресловутой экспедиции в Сапри якобы потому, что были введены в заблуждение теми сведениями, которые Фанелли посылал из Неаполя, будто провинции решились восстать, все, мол, готово, надо только дать толчок извне.

Даже если бы не существовало переписки (почти целиком сохранившейся) Тайного комитета Неаполя, свидетельствующей о полнейшей необоснованности подобных утверждений, то все же в оправдание и в защиту Фанелли и его неаполитанских товарищей говорят два самых главных документа: отчет Никола Фабрици Гарибальди[2] и заключения, написанные группой таких честных и незапятнанных патриотов, как Дзуппетта, Агрести, Миньонья, которые сами принимали жи-

---

[1] De Monte, Cronaca del Comitato segreto di Napoli sulla spedizione di Sapri, Napoli, 1877.

[2] „La spedizione di Sapri e il Comitato di Napoli". Al Generale Garibaldi, relazione di Nicola Fabrizi, Napoli, 1864.

вейшее участие в конспиративной деятельности Юга и к которым обратились после ознакомления с основными материалами Тайного комитета. Эти заключения были затем представлены «Никола Фабрици, игравшему главную роль в этом деле, а также Саффи, Криспи, Де Бони и Мордини», которые также «полностью с ними согласились и одобрили их» [1].

Всего этого, казалось бы, достаточно. Впрочем, далее мы увидим, что если Пило и Ди Лоренцо были искренни как в своем беспредельном горе, так и в своих подозрениях после трагического конца экспедиции в Сапри, даже когда они выдвигали тяжкие обвинения против Фанелли, то этого нельзя сказать про самого яростного обвинителя Фанелли и Тайного комитета Неаполя, который поднял больше всех шума (спустя много лет, сразу же по возвращении с каторги на острове Фавиньяна). Сделал он это не столько с целью привлечь к себе внимание (он был единственным оставшимся в живых из всех участников экспедиции), сколько для того, чтобы потопить в этой шумихе все еще упорно циркулировавшие слухи: якобы в ходе следствия Никотера, стремясь избежать смертной казни, дал судье Айосса и бурбонскому правительству важные показания.

Что касается обоснованности таких слухов, то мы еще к этому вернемся в дальнейшем. Теперь же мы хотели бы остановиться на другом: насколько дееспособны в организационном и политическом отношении были те тайные организации в Неаполе и в провинциях, на которые делали ставку Мадзини, Пизакане и Фабрици; какую политическую линию они проводили, какое влияние они в действительности могли оказывать на ту часть населения, к которой непосредственно обращались, то есть на молодежь из среды интеллигенции, на армию, на неаполитанский мелкий люд, на крестьянские массы?

Фанелли, разумеется, не стал ждать 1857 года, чтобы сообщить Фабрици, а через него — в Геную и Лондон о тех трудностях, с которыми было сопряжено осуществление восстания в Королевстве обеих Сицилий. Так, вскоре после приезда в Неаполь, в 1854 году, он писал Фабрици:

«Мы также сознаем всю важность инициативы Юга и сколь необходимо не упустить настоящий момент для ее осуществления. Однако наши усилия наталкиваются на множество препятствий... и препятствия эти таковы, что мы порой теряем надежду успешно использовать те благоприятные возможности, кои нам ныне представляются; мы их упустим, если в самое ближайшее время не будем располагать действенными средствами для их преодоления» [1].

Следует отметить, что в числе главных препятствий, перечисленных в этом письме, указывался и мюратизм, который начинает привлекать к себе и тех, «которые были до сих пор нашими». Тон письма, во всяком случае, отнюдь не отличался оптимизмом. Если Фанелли писал об этом Фабрици в 1854 году, то на какие силы, спрашивается, рассчитывал Фабрици, какой путь мог он указать Тайному комитету Неаполя для успешного достижения цели?

22 сентября того же года Фабрици писал в Неаполь в следующих выражениях: «Когда революционное движение, подобно гальваническому току, распространится с Юга на Центр и на Север Италии, независимо от того, желает или не желает того сие правительство, привыкшее загребать жар чужими руками, то боевой дух самого народа у подножия Альп и в Лигурии сделает для того правительства вопросом жизни или смерти участие в этом великом деле, и Савойский дом, верный своим традициям пользоваться благоприятными возможностями, не им подготовленными, поспешит осуществить свои притязания на Ломбардию... Инициатива Юга является, несомненно, единственной и наиболее разумной, которая может положить начало выступлению всей нации, а опора на низы — единственно правильной основой для ведения войны за независимость; только при наличии этих двух обстоятельств можно надеяться на восстание...» [2]

Таким образом, начиная с 1854 года «Партия действия» хотела начать в Неаполитанском королевстве движение «снизу», под «нейтральным знаменем», но силу и широкий национальный размах этому движению должны были придать действия Пьемонта. Но все же, выдвинув этот политический план, рассчитанный на примирение, Тайный комитет Неаполя столкнулся с огромными трудностями, вызванными и недоверием к демократам местных умеренных, и недостатком средств и слабыми связями с провинциями; кроме того, по мнению комитета, в тот момент обстоятельства складывались благоприятно не столько для планов Фабрици, сколько для планов Мюрата.

Действительно, чем больше усилий прилагал Фанелли, тем больше терял он надежду на успех. 1 ноября 1855 года он писал Фабрици: «Если демократы полагают свое спасение

[1] L. De Monte, op. cit., p. 7.

[1] MSMN, XXXII. 3.
[2] MSMN, XXXII. 4.

в том, чтобы первым выступил Юг, пусть готовятся к действиям и к жертвам, которых требует осуществление подобного плана; если же они не склонны принести эти весьма скромные жертвы, то пусть они обратят свои взоры в другую сторону [на север], но пусть они оглянутся и назад, ибо мюратизм сорвет их план, в то время как они воображают, будто он вопреки себе приносит единственно возможную помощь. К этому выводу я пришел после двух лет неустанной работы на месте, которой я отдавал все свои дни и ночи, пренебрегая всем, что не способствовало достижению этой единственной цели, стараясь использовать все средства, предложенные вами, все, изобретенные мной самим, никогда при этом не упуская тех возможностей, которые мог предоставить благоприятный случай. Однако результаты оказались равны нулю, да так и должно было случиться, ибо среди здешних патриотов, которые прекрасно знали друг друга, каждый из которых выбирал методы действия под влиянием своих страстей (как то неизбежно свойственно человеческой натуре), вдруг появились мы, абсолютно никому неведомые люди, не знавшие, в какую дверь стучаться, но желавшие распространять идеи нового знамени, знамени примирения; нам некому было направлять нашу печать, публикации, наши письма. Таким образом, мы всегда оставались у порога, упорно и терпеливо выжидая; при каждом удобном случае мы были тут как тут и старались использовать малейшую возможность, чтобы проявить себя. Наконец кое-кто узнал, что мы существуем; но до тех пор, пока нам не удастся (следуя тем же путем) проникнуть дальше, убедить, то есть объединить людей, дабы потом направлять их, если у нас достанет выдержки, мы должны покориться сначала мюратизму, затем конституционализму Франциска II [1], интригам дона Луиджи, брата короля, и т. д. и т. п., и кто знает, удастся ли нам достигнуть цели, ибо смерть идет за нами по пятам и может настичь нас прежде, чем мы доберемся до середины пути, по которому движемся черепашьим шагом. И если после всего этого мы предположим на минуту, что работа наша выполнена, предположим просто так, разговора ради, и вы захотите узнать от меня, что нужно для того, чтобы начать восстание? То на это я не смогу вам ответить, ибо никогда не руководил восстаниями и мог бы, следовательно, допустить слишком большие ошибки; посему я молчу. Лишь в общих словах могу сказать, что тут нужны способные, смелые люди, нужны войска, флот и т. д.

[1] Последний король Королевства обеих Сицилий (1859—1860) — *Прим. ред.*

Необходимо оружие, снаряжение, деньги, программа, воззвания, знамя и, помимо всего прочего, торжественное обещание, скрепленное документом, что за восстанием здесь последует восстание в Центре, на Севере, за пределами наших границ» [1].

Можно ли было сказать яснее? Следует отметить, что письмо это приобретает особо важное значение, поскольку оно было в известном смысле отчетом за два года работы неаполитанского комитета. Надо сказать, что Фанелли, присланный туда из-за границы, сразу же столкнулся с огромными трудностями. Члены комитета действительно не обладали должным авторитетом и были мало известны. Они пользовались доверием лишь среди демократов и вынуждены были (что было для них особенно тягостно) скрываться, жить в подполье. Поэтому их сторонились как чумы те патриоты, которые, возможно, и находились на подозрении за свое прошлое и были под надзором, но положение которых было относительно спокойным, легальным, чья деятельность носила нормальный характер, средства существования поступали регулярно, а жизнь и работа протекали, следовательно, в совершенно иных и куда менее тяжелых условиях, чем те, в которых находился Тайный комитет Неаполя.

Таким образом, местные патриоты (в основном умеренные) и слышать не хотели о контактах с этой тайной группой засланных к ним революционеров. Но даже преодолев их великие страхи и сопротивление, для Фанелли и Драгоне было по-прежнему крайне трудно установить связи с местными руководителями партии умеренных. По сути дела, сам факт существования Тайного комитета в Неаполе расценивался умеренными как явление опасное и ненормальное. К этому следует добавить, что Фанелли и Драгоне рассматривали не как руководителей определенного движения, а как обычных эмиссаров некоего заграничного центра, который не имеет никакого представления о подлинном положении вещей в королевстве (надо сказать, что это последнее было не лишено оснований).

Умеренные считали, следовательно, что этот центр мог отдавать из-за границы бог весть какие необдуманные приказания и замышлять невесть какие, заранее обреченные на провал действия, поскольку он ничем ведь не рисковал и не имел точного представления о том, что в действительности происходило в Неаполитанском королевстве. В дальнейшем это чувство недоверия и подозрения усугубилось, поскольку,

[1] MSMN, XXXII. 10.

по мнению умеренных, Тайный комитет Неаполя находился под влиянием Мадзини. А в глазах неаполитанских руководителей умеренных Мадзини был хуже чумы. Фанелли, Драгоне и их друзья тщетно пытались доказать, что программа, за которую они ратуют, не имеет ничего общего с мадзинистской, что они стремятся к соглашению с умеренными на основе платформы «нейтрального знамени», дабы поставить савойский Пьемонт перед свершившимся фактом и вынудить его выступить.

Но тогда, в 1854—1855 годах, местным патриотам и этот план казался нереальным. Большинство из них считали, что имелось только две возможности: либо ожидать благоприятной обстановки, либо уповать на действия мюратистов, которым, пожалуй, удастся сдвинуть все с мертвой точки.

Но какую позицию занял бы Пьемонт в отношении Мюрата? Вот что представлялось тогда самой актуальной политической проблемой. Во всяком случае, даже тогда, когда местные умеренные позволяли втянуть себя в обсуждение плана, предлагаемого Тайным комитетом Неаполя, они возражали против него, ссылаясь на то, что для осуществления такого плана потребовалось бы не только участие масс, но и действия широчайшего размаха и огромные средства, в то время как ничего этого не было.

Именно в этой связи, отвечая Фабрици, который спрашивал, не предлагал ли он местным патриотам организовать «участие простолюдинов», Фанелли писал:

«.. Я должен также отметить, что необходимо было бы не только *участие* простолюдинов, но и действия широчайшего размаха; а мне думается, что сочетания такого рода добиться крайне трудно. Кроме того (примите во внимание то, что я вам скажу), мне кажется недопустимым, чтобы восстание начали *немногие,* не имея твердой уверенности в поддержке многих; ибо слишком укоренилось у всех мнение, что предприятия, осуществляемые подобным образом, завершаются обычно провалом. Тут требуется широкая и тщательная организация, которая сделала бы успех наиболее вероятным. Было бы лучше, если б дело обстояло иначе, но это так» [1].

15 ноября 1855 года Фанелли сообщил Фабрици о своей беседе с одним из местных руководителей умеренных, который сказал ему четко и ясно, что Мадзини не только приносит вред, но что его следует повесить, и в самых мрачных красках обрисовал существующее положение. По его словам, «у масс нет каких-то определенных убеждений, у них одна лишь ненависть к нынешнему режиму и династии; интеллигенты являются конституционалистами, а знать — безразлична или враждебна... провинция движима *только* духом личной мести... из числа сторонников республиканцев в столице были люди, чье усердие и твердость духа достойны восхищения, но их бесплодные усилия были столь малоприемлемы, что они, без сомнения, не могли принести никаких результатов» [1].

Сведения, которые Фанелли сообщал Фабрици в начале 1856 года, нельзя назвать более благоприятными. Так, 10 января он писал: «Дела в Калабрии обстоят наихудшим образом, а Чиленто только пробуждается» [2].

А 8 февраля он сообщал:

«Окружающая меня обстановка не только не позволяет мне отказаться от моих постоянных мыслей, но, наоборот, еще более укрепляет мою убежденность в их правоте» [3].

И весной 1856 года, когда жажда действий охватила почти всю эмиграцию и даже умеренных, Фанелли, оспаривая возможность «поднять Юг на революцию», писал Фабрици 15 мая:

«Бездействие Юга вытекает из двух причин. Первая — так называемые руководители умеренных, которые олицетворяют собой большие дела прошлых дней; это единственные люди, которые располагают средствами и пользуются влиянием среди имущих; они имеют доступ во все сферы и области деятельности внутри и вне партии, а между тем, утратив веру в народные силы, они уповают лишь на дипломатию... Вторая причина заключается в том, что «Партия действия» (бедная и обескровленная) не верит ни в какие планы, если нет необходимых средств для их претворения в жизнь. Поэтому умеренные хотят пребывать в бездействии, ожидая, пока в силу самих событий или в результате ошибок дипломатия не подготовит им путь; при этом они придают крайне важное значение тому спокойствию, которое проявляет ныне «Партия действия». А «Партия действия» в поисках средств для осуществления того или иного плана восстания только к умеренным и обращает свои взоры; и так одни уповают на других. Одни — в надежде получить поддержку, другие — в надежде, что ожидание и разочарования остудят пыл, которому они хоть и отдают дань, но считают (по вышеизложенным причинам) преждевременным. Вот почему ничего не удается сделать, ибо умеренные — *монополисты* и не думают предоста-

[1] MSMN, XXXII. 9.

[1] MSMN, XXXII. 12.
[2] MSMN, XXXII. 29.
[3] MSMN, XXXII. 32.

вить эти вожделенные средства... Таким образом как одни, так и другие множат число тех, кто отчаялся».

В заключение указывалось, что без необходимых средств можно лишь «истощить силы, добиваясь бесполезных компромиссов и принося жертвы», но не «убедить Юг начать революцию» [1].

Но Фабрици казалось невероятным, что нельзя добиться поддержки выступления на основе лозунга «нейтрального знамени». Фабрици понимал, что в Неаполитанском королевстве невозможно поднять восстание, преследующее демократические, явно республиканские цели, но не понимал, почему Фанелли никак не мог найти поборников новой, примирительной политической формулы.

20 марта 1856 года Фанелли отвечал, что «... не нашел действительных сторонников нашей примирительной концепции (а ведь она новая для здешних мест)».

Итак, Фанелли настаивал на том, чтобы его считали только исполнителем распоряжений; он умолял Фабрици найти для руководства политическими действиями человека более подходящего, который бы как можно скорее заменил его. Он благодарил Фабрици за доверие, но признавался ему, что роль руководителя ему не по плечу, что его одолевают «тяжкие мысли и огромные трудности, измучившие меня до такой степени, что это пагубно повлияло на мой характер и на состояние здоровья» [2].

Деятельность Фанелли, надо сказать, не всегда была продуктивной в политическом отношении, ибо он не был тем человеком, который был бы способен проводить самостоятельную политику. Ему были даны инструкции относительно «нейтрального знамени», и он этих инструкций придерживался.

В результате в Неаполе не проводилось никакой политической работы — ни в духе умеренных, ни в духе республиканцев. Умеренные, например, предложили как-то провести по подписке сбор средств для пьемонтских войск, которые принимали участие в Крымской войне, и устроить даже манифестацию. Разумеется, это не было восстанием, но все же кое-что это значило. Однако Фанелли поспешил воспрепятствовать подобным намерениям и 17 апреля 1856 года докладывал в письме Фабрици:

«Я обращаюсь ко всем, к кому только могу, дабы это не произошло, и мне дали знать, что этого не произойдет. Я настоятельно убеждаю их в необходимости придерживаться примирительной позиции, а именно ни в коем случае не поддерживать какое-либо выступление, которое явилось бы выражением либо сугубо конституционной, либо сугубо республиканской линии, если только они искренне принимают наши предложения, а содействовать только тому, что присуще в равной мере обеим партиям, и я сказал, что республиканцам в подобном случае я скажу то же самое» [1].

Фабрици, однако, продолжал настаивать, чтобы Тайный комитет Неаполя изучил возможности восстания. Взвесьте все возможности добиться успеха, писал он 24 июня, «импульс найдет несомненный отклик». Возможно ли, чтобы Фабрици изменил своему традиционному осторожному курсу на длительную подготовку вглубь и вширь, которая единственно таила в себе реальные шансы на успех? Этого нельзя утверждать, ибо уже в следующих письмах он возвращается, хотя и не без колебаний, к плану действий, над которым работал много лет. С другой стороны, следует заметить, что, хотя Фабрици и был сильной и независимой личностью и редко когда слепо следовал чужим советам, он все же не всегда оставался нечувствительным к чужому влиянию. Кроме того, нужно иметь в виду, что процесс формирования разных мнений и разных направлений не был ни спокойным, ни прямолинейным: люди были ожесточены долгими страданиями в эмиграции или под гнетом чужеземца, и многие испытывали горечь, нетерпение и порою впадали в экзальтацию. Многие поэтому обнаруживали нетерпение или предавались отчаянию, которые, в сущности, были двумя сторонами одного и того же явления — усталости. В результате даже наиболее закаленные и уравновешенные — к числу которых, без сомнения, принадлежал и Фабрици — порой оказывались жертвами противоречивых чувств. К тому же те, кто проповедовал восстание любой ценой, обладали (в сравнении с теми, кто, наученный многочисленными горькими неудачами, противился их давлению) тем преимуществом, что могли прибегать к своеобразному моральному шантажу по отношению к своим более осмотрительным товарищам. От этого шантажа не всем удавалось ускользнуть или же приходилось платить за это дорогой ценой — разрывом с единомышленниками. В свое время это произошло с Фабрици, с Пизакане и не раз случалось с Гарибальди в их отношениях с Мадзини. Но то были исключительные люди, способные противостоять какому угодно влиянию. Те же, кто обладал меньшим авторитетом или не

[1] MSMN, XXXII. 47.
[2] MSMN, XXXII. 35.

[1] MSMN, XXXII 41.

столь сильным характером, не всегда могли избежать этого давления, даже тогда, когда они оценивали обстоятельства совсем по-другому, чем их товарищи. Так, можно понять, почему Фанелли, позиция которого в вопросе о восстании в корне отличалась от позиций Мадзини, в конце концов, так и не одобряя их, согласился, чтобы план Мадзини осуществлялся на практике.

В августе — сентябре 1856 года (в те самые недели, когда граф ди Гроппелло сообщал Кавуру из Неаполя в уже цитированном нами донесении, что мюратистская опасность начинает приобретать серьезный характер, и осторожно советовал пьемонтскому правительству занять более ясную позицию) Тайный комитет Неаполя направил Козенцу послание в том же духе. В послании подчеркивалось, что за эту неделю на пути сторонников союза демократов с умеренными под «нейтральным знаменем» выросли новые огромные трудности. «Ныне сдерживающие, — писал комитет Козенцу, — думают, что пьемонтское правительство хочет Мюрата, и соглашаются с ним... и самые честные, или менее бессовестные, говорят, что они делают это ради одного — использовать средства, которые могут привести к осуществлению идеи итальянского единства; следует, однако, заметить, что люди, которые утверждают это,— богачи и даже немногие из них могли бы дать без ущерба для себя необходимое для революции» [1]. Поэтому комитет предлагал Генуе приступить к открытому разоблачению мюратизма.

Но если в Неаполе политическая ситуация была трудной и продолжала ухудшаться, то, может быть, в провинциях положение было лучше? Именно 15 сентября 1856 года Доменико Мауро писал из Калабрии, где он руководил конспиративной деятельностью: «Надеяться, что восстание начнется отсюда, бесполезно; ожидать, что эта провинция делами ответит на призывы, приходящие издалека, — иллюзия. Она лишь последует за другими, и тогда ее гнев будет могуч и страшен; тот, кто обещает сверх этого, обольщается. Друг мой, здесь у людей глаза светятся радостью, когда говорят, что англо-французский флот стоит на якоре у вашего побережья, чтобы поддержать шаги Пьемонта против Австрии...» Далее Мауро пишет, что и в Калабрии распространился и благожелательно комментируется слух насчет сотрудничества между Виктором Эммануилом и Мюратом, и жалуется, что надежда на Англию, на Францию, на Пьемонт и на Мюрата в конечном счете «парализовала все умы». Чтобы разогнать мрак», он требует

[1] MSMN, XXXV. 47.

«прокламаций, инструкций» [1], но, в сущности, не обещает ничего.

Заметим, что в своих предыдущих письмах Фанелли неоднократно спрашивал у Мауро (одновременно информируя его о том, что происходило в Неаполе), можно ли рассчитывать на решительные действия в Калабрии. И вот в его руках ответ Мауро, патриота, известного своим мужеством, твердостью и решимостью, и этот ответ доказывал, что в Калабрии царят по меньшей мере такие же путаница, пассивность и замешательство, как в Неаполе. Между тем именно в те дни Пизакане написал неаполитанскому комитету, перефразируя известное выражение Мадзини, что «кинжал добывает ружье». Но Драгоне — даже бравый Драгоне! — 21 декабря 1856 года отвечал Пизакане: «Условия в нашем городе весьма отличны, это касается и правительства и народа». Впрочем, еще раньше, 24 сентября 1856 года, Фанелли был с Пизакане еще более откровенным. «Без оружия и денег здесь ничего нельзя сделать, — писал он, — а с оружием и деньгами — трудно». Правда, вопреки всему этому Тайный комитет Неаполя писал Мадзини 25 декабря 1856 года, что единственное средство помешать мюратистам достигнуть их цели — это «ускорить восстание»; для этого комитет требовал 400 или 500 человек и все необходимое.

Если оставить в стороне тот факт, что это письмо было написано Драгоне, а не Фанелли, противоречивость этих посланий объясняется теми мотивами, о которых мы уже говорили выше. Впрочем, тот, кто стоял во главе «Партии действия», должен был чувствовать различия между линией, которая явно превалировала в Тайном комитете Неаполя (то есть линией, продиктованной сознанием малочисленности собственных сил, пассивности населения, слабости провинций, отсутствия средств), и краткими взрывами энтузиазма, которые неаполитанский комитет был почти вынужден демонстрировать под градом критики из-за границы, под давлением Мальты, Генуи, Лондона. В марте 1857 года тон переписки между Фанелли и Пизакане становится даже резким. Неаполитанский комитет жалуется на чересчур радикальное направление «Либера парола», которая по-прежнему отстаивает крайние принципы. Фанелли считает, кроме того, что газета преувеличивает, а то и измышляет факты, имевшие якобы место в Неаполе и провинциях. «Вещи, которые вы сообщаете о Неаполе, — пишет он Пизакане 26 марта 1857 года, —

[1] MSMN, XXXVI. 37.

почти все неверны, и это очень плохо, ибо ставит под сомнение другие». Еще категоричнее выражается Фанелли в своей переписке с Фабрици. 16 января 1857 года, сообщив ему об арестах и вновь подчеркнув, что умеренные «властвуют в городе», Фанелли писал: «... народ в ожидании, и мы трудимся не покладая рук, хотя вынуждены скрываться и лишились лучших среди нас — они арестованы. Но без средств, боюсь, мы ничего не сделаем. Проклятье! Еще хуже, однако, раздробленность наших сил, особенно сейчас, когда надо было бы ловить момент. Для отдельных решительных выступлений нужны средства, а чтобы развить их, нужно оружие, меж тем, как вы знаете, у нас нет ни того, ни другого»[1]. А в другом, более раннем своем письме, от 16 октября 1856 года, Фанелли с горечью писал Фабрици, что от патриотов Неаполя требуют слишком многого, в то время как именно те, кто остался в стране, «... были бы вправе спросить, что сделано за границей за эти восемь лет, если там не сумели даже раздобыть немного денег и оружия — задание куда менее трудное, чем то, которое предлагают людям, оставшимся в стране»[2]. 23 января 1857 года он снова возвращается к этому вопросу и сообщает Фабрици, что умеренные располагают большим числом газет, а у демократов их крайне мало, что население провинции разочаровано и что вследствие этого небольшое выступление невозможно, так как никто его не поддержит, а шансы на успех имеет только общее широкое движение[3] Если бы это письмо — только это одно — прочитали с должным вниманием, если бы его критически проанализировали, то неизбежно пришли бы к выводу: если невозможно небольшое выступление, поскольку провинции разочарованы, то тем более невозможно общее широкое восстание. Следовательно, когда речь шла об общем широком движении, то как в провинциях, так и в Тайном комитете Неаполя думали не о движении, начатом снизу в провинциях континентального Юга, а о чем-то совершенно ином: либо о крупной экспедиции добровольцев, организованной патриотами-эмигрантами, либо о вмешательстве пьемонтского государства и его армии, либо, что более вероятно, о сочетании этих обоих факторов с особо благоприятной международной обстановкой (отсюда надежды на Францию и Англию), как и произошло в 1860 году Тогда и только тогда, думали в Неаполе, народное движение могло бы присоединиться к этим общим действиям и придать им силу и опору в массах. Письмо от 23 января заканчивалось следующими словами: «Можно ли в стране, пребывающей в таком положении, как наша, найти людей, которые, не видя грандиозных приготовлений, решились бы начать революцию? Если вы мне ответите, что да, то я вам скажу, что не нашел их, но если бы и нашел, то уверены ли вы, что я нашел бы таких, которые последовали бы за ними?»[1]

Можно возразить, что некоторые письма из провинций, например от Джованни Матера или от Джачинто Альбини, который действовал в Базиликате, а после ареста Маньоне — и в Чиленто, по тону своему отличаются бо́льшим боевым духом и энтузиазмом. Но достаточно внимательно прочесть их, чтобы убедиться, что не тон делает музыку. И действительно, что осталось от организации и боевого повстанческого духа Чиленто после ареста Маньоне? Подводя итоги, Альбини также соглашается, что начинать надо не в одной, а в двух или трех провинциях. Правда, вначале он утверждал, с несомненным легкомыслием, что в случае высадки в Чиленто «все рухнет». Однако несколько дней спустя он сообщал, что, «согласно сообщению посланца из Салы, Чиленто не двинется с места без иностранной помощи, десантов и прочего...»[2] Со своей стороны Либертини из Апулии заверял в «организованности и готовности к некоторым жертвам Бари, Базиликаты и Лечче»[3] и запрашивал сведения о Салерно и трех калабрийских провинциях. Но речь шла не о «некоторых жертвах», а скорее о том, чтобы начать восстание почти без оружия и без средств (и — что еще хуже — без уверенности, что его поддержит население). Восстание к тому же должно было явиться лишь началом суровой и тяжелой борьбы, к которой на деле никто не чувствовал себя достаточно подготовленным: ни континентальные провинции королевства, ни Тайный комитет Неаполя. Комитет Неаполя предельно ясно охарактеризовал положение, когда писал Фабрици в письме от 16 апреля 1857 года, что он убежден также, «что без широкой организации никто не примет участия в выступлении. Политик должен использовать существующие обстоятельства, а не строить утопии на основе тех идеальных условий, которые должны были бы быть... Не могу также обещать, что все восстанут при вашем появлении, если почва не будет подготовле-

[1] MSMN, XXXIII 11
[2] MSMN, XXXV 16.
[3] MSMN, XXXIII 13. Утверждение Дж Сальвемини (op cit, p 21) насчет того, что в 1860 году в Неаполе «не было» партии умеренных, лишено основания.

[1] MSMN, XXXIII 13
[2] L. De Monte, op. cit.
[3] L. De Monte, op. cit.

на, ибо выражаемое всеми чувство заставляет меня думать, что предприятие может окончиться провалом; меж тем я убежден, что при подготовленной почве можно будет начать... Говоря это, я вовсе не лишаю ни вас, ни Мадзини свободы суждений и свободы действий, которую почитаю за главное и чту как святыню. Добавлю к тому же, что верю в разум Мадзини и в ваш разум, а также в составленный вами практический план настолько, что, если вы мне скажете: иди туда-то и жди нас, — я без возражения пойду туда, какова бы ни была опасность; но приду как паломник, не пригодный ни к чему путному, как человек, имеющий пару рук и жаждущий применить их для спасения Родины» [1]. Ровно двумя неделями раньше, 2 апреля, Фанелли писал Пизакане почти в тех же выражениях: «Я всегда вам указывал, что для восстания необходима серьезная и основательная организация внутри страны, поскольку каждый утвердился в решении не подниматься на борьбу без этого условия. В письме к Мадзини от 2 февраля... я писал: «Бесконечные разочарования привели здесь к убеждению, что нужно предпринять нечто грандиозное или ничего не предпринимать, и умеренные поддерживают это убеждение, уже вошедшее в плоть и кровь»» [2]. Но Мадзини требовал ускорить выступление, и Фанелли, несмотря на изъявление своей преданности Мадзини, полностью раскрывает, что было у него на душе, в письме к Пизакане от 2 февраля. «Если вы поразмыслите о том, — пишет он, — что Мадзини за тридцать лет борьбы не достиг результатов, то сочтете справедливым желание устранить сомнения и согласно и со всем возможным тщанием подумать над тем, как в дальнейшем наверняка подготовить то место, которое мы сочтем решающим. Мадзини написал мне, что после следующей попытки он обратится мыслями к Югу, — я жду этого. О, если бы эта мысль пришла ему в голову раньше!» [3]. Впрочем, Фанелли обратился тогда же и к самому Мадзини и был с ним предельно откровенен (он послал ему копию своего письма к Пизакане). Он точно изложил ему различия во взглядах на восстание тех, кто находился в эмиграции и хотел максимально ускорить его, и тех, кто, действуя внутри, напротив, считал обстановку совершенно несозревшей для восстания. Что часается Юга, писал Фанелли (причем его открытые упреки явно направлены в адрес Мадзини), то тут «все надеются, более того, желают собрать плоды того, что они не сеяли. Одни требуют, чтобы

[1] L. De Monte, op. cit., p. CXIX.
[2] L. De Monte, op. cit., p LXV.
[3] L. De Monte, op. cit., p XVI.

мы устроили революцию с носовыми платками (перед лицом правительства, которое без угрызений совести истребит всех безоружных, решившихся на нее), но, требуя этого, не оказывают никакой помощи делу. Меж тем, находясь в несравненно лучших условиях, сами они не способны сделать и десятой доли того, что предлагают. Другие — и это мы — хотели бы устроить революцию так, как должно, а не без всякой подготовки, если не считать распространения нескольких слов правды, отпечатанных в 15—20 экземплярах, среди пяти миллионов человек, либо недоверчивых, либо разочарованных, либо самым тщательным образом начиненных чуждой пропагандой» [1].

Мог ли Тайный комитет Неаполя более ясно выразить свои убеждения? Получив эти послания, люди в Генуе, на Мальте и в Лондоне не имели больше права питать какие бы то ни было иллюзии. С этого момента было очевидно, что Юг, рассматриваемый многими как поле решающей революционной битвы, не готов к восстанию. Нельзя было полагаться и на отдельные письма того или иного из местных патриотов, которые высказывали больший энтузиазм. Мы уже говорили об условиях, в которых действовали эти патриоты, и о том, что зачастую они принимали желаемое за действительное, с тем, однако, результатом, что при первой же, даже не очень серьезной заминке они вынуждены бывали отказываться от своих пламенных обещаний, данных всего несколькими неделями, а то и днями раньше. Какой же практический смысл могло иметь письмо Мадзини, направленное им в конце января 1857 года Пизакане (последний сообщил о нем неаполитанскому комитету), в котором он, Мадзини, уведомлял о своем решении в том же или в следующем месяце разыграть «последнюю карту», имея в виду, вероятно, обернувшиеся полной неудачей попытки в Ливорно и Генуе! В континентальных провинциях Неаполитанского королевства ни один из районов не мог поднять восстания, опираясь лишь на собственные силы. В столице господствовали умеренные, и именно от них зависели народные вожаки, которые без нажима со стороны умеренных (а возможно, и в случае нажима) не двинулись бы с места. У всех свежи еще были в памяти печальные события прошлого, и все хотели быть уверенными, что на этот раз речь не идет об очередной авантюре. Большинство к тому же полагало, что необходимо прямое вмешательство Пьемонта, его армии и даже помощь Франции и Англии или по край-

[1] L. De Monte, op. cit., p. IX.

ней мере их благожелательный нейтралитет. Таким образом, между взглядами на возможности победы революции тех людей, которые должны были на месте организовать ее и добиться успеха, и тех, кто находился за границей — Мадзини и Пизакане,— существовала пропасть. Для Мадзини и Пизакане достаточно было дать выход «скрытому огню», и пожар, по их мнению, охватил бы весь полуостров. Пизакане так и пишет Фабрици в письме от 21 апреля: «Мадзини и я рассматриваем дело под другим углом зрения, нежели ты и Фанелли. Вы говорите (и Фанелли при этом перебарщивает): необходимо подготовить почву, дабы успех революции был наиболее вероятным; мы же говорим: революция зависит не от отдельных людей, но от скрытого огня, который нужно угадать так же, как угадывают место, в котором надо рыть шахту» [1].

Но невольно возникает вопрос: действительно ли существовал этот скрытый огонь, эти залежи, к которым нужно было рыть шахту? Во всяком случае, не в том виде, как это представляли себе Мадзини и Пизакане: никак не на поверхности земли, и словами вроде «Сезам, откройся!» здесь не удалось бы обойтись. Если уж говорить о шахте, то это было необследованное, еще только потенциальное залегание. И чтобы превратить его в действующий рудник, нужна была долгая работа рудокопов. Нужна была не только и не столько общая мадзинистская политическая агитация, которая не доходила до крестьян и не интересовала их (сам Пизакане за несколько лет до того подверг ее радикальной критике), сколько работа по мобилизации сельских масс на основе конкретных задач, то есть та работа, которой после 1848 года никто не занимался. И если бы даже в континентальных провинциях королевства нашлись люди, готовые в последний момент посвятить себя этим усилиям (а таких людей не было), то и тогда им вряд ли удалось бы за несколько месяцев успешно провести такую мобилизацию. Фабрици и Фанелли отдавали себе поэтому отчет в трудностях положения и с января по июнь 1857 года претерпевали буквально физические муки. Фанелли, как мы видели, писал, что его здоровье подорвано (много лет спустя бедняга, как известно, сошел с ума), да и сам Фабрици — железный Фабрици!— писал Пило 30 апреля: «Чувствую себя неважно. На душе крайне тревожно» [2]. Но хватит об этом.

Мы не будем пересказывать историю организации экспедиции — она известна ныне в мельчайших подробностях. Мы уже говорили, что предприятие, задуманное в 1856 году Кальвино, Пило, Козенцем, Гарибальди и Бертани как попытка начать восстание в одной Сицилии, — своего рода экспедиция «тысячи», передвинутая на четыре года вперед, — претерпело полное изменение. Первоначальный план был целиком переработан. Уже не Сицилия, а Неаполь. Уже не восстание патриотов, которые к тому времени считали необходимым соглашение наверху, с Савойской монархией, но «нейтральное знамя». Уже не отстранение Мадзини, но его участие в руководстве движением (в котором Мадзини в конечном счете занял главенствующее положение). Уже не исключительно «инициатива Юга», но одновременное выступление на Севере и Юге. Более того, Пизакане пришлось потратить немало сил, чтобы отвергнуть предложение Мадзини, который, как всегда, требовал начать *сначала* на Севере. Политически это означало бы придать всему предприятию скорее антисавойский, чем антибурбонский характер (рискуя к тому же ограничить попытку одним только Севером, ибо было более чем вероятно, что дела на Севере пойдут плохо, как всегда случалось при руководстве Мадзини). Пизакане в последний момент вынужден был даже отказаться от краткой отсрочки восстания, которую он во время своей поездки в Неаполь счел необходимым предоставить Тайному комитету Неаполя для лучшей подготовки движения. Даже в этом ему пришлось отступить. К моменту отправки возникла неприятность (Пило не доставил обещанного оружия), и Пизакане с немногими своими единомышленниками вынужден был отправиться на освобождение Юга даже без оружия Лишь по счастливой случайности он обнаружил оружие на борту корабля и сумел завладеть им. Все произошло самым невероятным образом, вопреки мнению Фабрици, который долгие годы руководил этой работой, вопреки убеждениям неаполитанского комитета, поспешно, беспорядочно, отчаянно, все пошло по пути, прямо противоположному тому, который в течение многих лет подготавливали Фабрици, Фанелли и южные организации.

Известно, как развивались события после высадки Пизакане в Сапри. Да и как они могли развиваться иначе? Рачоппи, который был первым историком экспедиции (он писал свою работу [1] в 1862—1863 годах, еще в пору эпопеи Рисорджименто), со всем тщанием постарался выяснить, скрупулезно собирая архивные документы, как и при каких условиях события могли бы развиваться более благоприятным

[1] L. De Monte, op. cit., p. CXXIV — CXXV.
[2] SSSP, Carte Pilo.

[1] G. Racioppi, La Spedizione di Carlo Pisacane a Sapri con documenti inediti, Napoli, 1863.

образом. Но и после всех его построений, после длинной вереницы «если», после того как он исследовал все возможные благоприятные гипотезы, он все же вынужден был прийти к выводу, что экспедиция все равно не могла рассчитывать на успех. Даже если бы все было лучше организовано, даже если бы провинции были вовремя предупреждены, даже если бы Базиликата восстала.

Рачоппи отмечает три причины провала экспедиции: подчинение восстания на Юге «из-за нужды в деньгах замыслам Мадзини в Средней и Верхней Италии и отказ, именно в силу такой зависимости от планов Мадзини, от совершенно очевидной и логичной идеи, что внешняя инициатива должна зависеть от внутренней широкой организации и согласовываться с ней, а не наоборот»; излишняя секретность во время предварительной высадки на о. Понца — в итоге руководители движения в провинциях до последнего момента ничего не знали; и, наконец, идея «столь же благородная, сколь неверная, засевшая в голове Карло [Пизакане] и проявлявшаяся зачастую в различной форме в его статьях... что внезапность лучше всякого предварительного сговора придаст разгон народному движению»[1].

Истина состоит в том, что предприятие началось по-одному, а закончилось по-другому. Иначе говоря, Мадзини потихоньку-полегоньку превратил выступление под «нейтральным знаменем» в мадзинистское выступление. В конце концов он придал ему обычный характер акта веры, подвижничества (в гораздо большей степени, чем организованной политической акции, нацеленной на успех), который был типичен для всех его начинаний. Провалившееся выступление в Генуе придало, впрочем, всему движению явно республиканскую и антипьемонтскую направленность. И Фабрици проявляет наивность, поистине непростительную для политического деятеля, когда утверждает (несомненно, с обычной своей честностью и глубокой убежденностью), что выступления в Генуе, Ливорно и Сапри не различались по своему характеру, они проходили под тем же знаменем, ибо повсюду строго следовали примирительной политической формуле. «Программа везде *была подлинной* и единой, той, ради которой мы пожертвовали нашими убеждениями... и нашей кровью»[2],— писал он. Но это утверждение не выдерживает критики. Вернее, оно выдерживает ее, но при одном условии, если мы признаем достоверным слух (по правде говоря, довольно широко распространенный в те дни в некоторых кругах), будто само пьемонтское правительство (в частности, Раттацци) если и не поощряло, то по крайней мере не воспротивилось решительно высадке в Сапри и своим необъяснимым бездействием допустило также до стычек в Генуе, дабы иметь потом возможность легко отвергнуть обвинение в соучастии. Во всяком случае, не подлежит сомнению, что в Турине не могли не знать об экспедиции, которая должна была вот-вот отправиться из Генуи, то есть с территории Пьемонтского государства. Знали и о присутствии в городе Мадзини; его местожительство держалось в тайне, но многим оно было известно, точно так же как и его участие в многолюдных собраниях[1]. С другой стороны, поскольку выступление предполагалось осуществить на основе союза демократов и умеренных, а эти последние (как находившиеся в эмиграции, так и пребывавшие в стране) поддерживали контакт с людьми из правительства Пьемонта, то нелепо даже предполагать, будто пьемонтское правительство не было осведомлено — и притом весьма точно — о том, что готовилось, *где, как* и *кем*.

И потом, разве Ла Фарина не обещал помочь экспедиции 1856 года? Даже если предположить, что отчасти это было лишь хвастливыми посулами, одно несомненно: туринское правительство, какова бы ни была его доля участия в этих делах, было точно и своевременно осведомлено о них. Разве Карло Никотера не получил в 1856 году от Кавура (или, во всяком случае, от правительства) задание побывать с тайной миссией в Королевстве обеих Сицилий в связи с готовящейся

---

[1] G. Racioppi, op. cit., p. 52.
[2] SSSP, Carte Fabrizi.

[1] Мадзини находился в Генуе с июня по ноябрь 1856 года. Из переписки Пило—Фабрици, из писем самого Мадзини явствует, что пьемонтское правительство прекрасно знало, что Мадзини находится в Генуе не для морских прогулок, но для подготовки восстания в этом городе и экспедиции в Сапри. В Генуе он не только виделся со многими людьми и участвовал в собраниях, но встречался даже со своей сестрой. В Турине никак не могли сделать вид, что они ничего не знают о пребывании Мадзини и о целях его деятельности на территории Пьемонтского государства. Помимо обильной информации, поступившей по внутренним каналам (Раттацци мог прикинуться, будто эти сведения ему неизвестны), пьемонтское правительство было уведомлено французским правительством, направившим ему серию дипломатических депеш, как о присутствии Мадзини в Генуе, так и о мотивах, которые привели его в этот город. Более того, из Парижа в Турин сообщили, что Мадзини направился в Геную именно для подготовки восстания против правительства Пьемонта. Приходится, таким образом, согласиться с выводами, к которым пришел Росселли: если генуэзская полиция «закрыла один глаз на подготовку местного восстания, то из этого поневоле вытекает, что она закрыла оба глаза на подготовку экспедиции» в Сапри (p. 414).

туда экспедицией?[1] Кроме того, в какой мере можно верить утверждению Уайт-Марио, по мнению которой сам Джованни Никотера участвовал в экспедиции в Сапри по поручению пьемонтского правительства?[2] Нелепый слух? Выдумка, лишенная оснований? Но даже весьма осторожные русские дипломаты, аккредитованные в те годы при неаполитанском правительстве, донося в Петербург о знаменитых разоблачениях Никотера на процессе по делу о высадке в Сапри, утверждают (и не по слухам, а на основании сообщения, сделанного им бурбонским правительством), что Никотера сохранил себе жизнь отнюдь не безобидными разоблачениями мюратистов, как впоследствии неоднократно заявлял сам Никотера Никотера сообщил судье Аиосса сведения, согласно которым в организации экспедиции были, по видимому, замешаны Раттацци и Ланца[3] Многозначителен и тот факт, что тотчас же

[1] Фактически были две миссии Никотера Одну действительно выполнил Карло, брат Джованни Никотера другую должен был выполнить сам Джованни Никотера следуя, как пишет Росселли «определенному в общих чертах заданию Кавура» (p 411)

[2] См N Rosselli, op cit, p 411 «Одно из писем Уайт к Биглс, опубликованное Фальке рождает подозрение, что Никотера присоединился к плану Пизакане по совету или с разрешения Кавура Так, Уайт (возмущенная поведением сардинского правительства после катастрофы в Сапри) пишет «Кто бы мог вообразить, что те самые власти, которые дали товарища герою, отправившемуся умирать за Италию, распорядились » и т д Убеждение, что пьемонтское правительство несет отчасти ответственность, поскольку оно предоставило экспедиции возможность у него под носом провести необходимую подготовку, было распространено почти при всех европейских дворах См M Minghetti, I miei ricordi, Torino, 1890, vol III, p 188—189 Мингетти приводит суждение Пия IX (безусловно, хорошо информированного) « Есть правительства, которые исподтишка занимаются подстрекательством»

[3] Российский поверенный в делах при неаполитанском дворе Погген поль неоднократно возвращается в своих депешах к этому вопросу См, например, депешу от 6 августа 1857 года (Архив Министерства иностранных дел СССР в Москве, Миссии в Неаполе, 1857, № 123), которую мы приводим ниже в ее основных чертах «Министр внутренних дел и полиции, а также посланник Пруссии конфиденциально известили меня о показаниях Никотера и других обвиняемых по тому же процессу насчет истоков и характера попытки в Сапри По словам министра, эти показания дают основание предъявить серьезные обвинения в сообщничестве Франции, Англии и пьемонтским министрам Раттацци и Ланца и доказывают, что обе державы снабдили деньгами, правда в разных целях, одна [Франция] — мюратистов, другая [Англия] — республиканцев Мадзини предупредил осуществление плана мюратистов выступлением своих единомышленников и распространил на Геную и Ливорно поощряемый Англией заговор, который должен был быть направлен только против Неаполя Эти же показания свидетельствуют о том, что Раттацци и Ланца были замешаны в заговоре касающемся Сапри, и благоприятствовали бегству Мадзини из Генуи Будучи предоставлены самим себе, неаполитанцы не дадут себя увлечь никакому

после провала экспедиции Наполеон III счел необходимым направить в Геную совершенно секретно группу агентов своей полиции с заданием проверить на месте, как развивались события, и установить, можно ли доказать соучастие в этом деле туринского правительства Столь же показательно замешательство, с которым генуэзские власти доносили в Турин о присутствии в Генуе агентов французской полиции и упоминали о весьма странных предположениях, которые кое-кем принимаются за достоверные[1]

А само категорическое заявление Фабрици, исключительно цельного человека, в честности и серьезности которого никто бы не посмел усомниться, о том, что «программа везде была *подлинной*» (то есть что демократы повсюду действовали или старались деиствовать в согласии с умеренными), либо свидетельствует о потрясающей наивности, либо заставляет призадуматься Все было довольно странным в этих событиях Поразмыслить заставляет внезапный отказ Козенца, который в первых числах июня должен был отправиться в Неаполь, чтобы возглавить там восстание Козенц, как известно, согласился ехать (хотя сначала он был против экспедиции, считая, что она не так организована, как следует) Он согласился в порыве «ложного самолюбия», по его собственному признанию, но, когда 9 июня в беседе с Мадзини он узнал, что во время поездки в Неаполь к нему будет приставлен Куадрио, то почувствовал себя надутым (это его собственные слова) и не поехал Он написал Пизакане, объясняя ему мотивы своего внезапного отказа, и принял решение вернуться в Турин Не убеждают и заявления Пило, по мнению которого Козенц был глубоко неправ, когда пошел на попятный в последний момент, ибо Куадрио «не был приставлен к нему тайком иначе говоря, для того, чтобы придать всему

революционному движению » Л Кассезе, который в качестве директора Государственного архива Салерно самым тщательным образом изучил этот вопрос, был убежден, что Никотера выдал судье Айосса куда более серьезные вещи, чем те, которые он признал позже публично Но факт этот недоказуем, так как его показания не были зафиксированы ни в каких письменных документах Никотера совершил все же одну серьезнейшую оплошность, написав интенданту Айосса записку о том, что он хочет сообщить ему чрезвычайно важные и неотложные сведения, которые непосредственно касаются бурбонского правительства Кассезе обнаружил эту записку и опубликовал ее См L Cassese, La prigionia di Giovanni Nicotera, в „Miscellanea di studi storici ed archivistici in omaggio al Comm Antonino Tripepi", Teramo, 1937

[1] ASG, Questura di Genova, 1857

предприятию мадзинистскую политическую окраску, а по решению, принятому заблаговременно»[1].

Участники генуэзского выступления (которое заслуживает, возможно, более пристального изучения) были представлены почти исключительно рабочими да некоторым числом студентов, но руководила ими группа известных патриотов. Правда, многие примкнули к движению, полагая, что они направляются на собрание своего профессионального объединения ( а следовательно, не зная в точности, о чем идет речь). Но в общем и целом участие в этом странном восстании приняли сотни людей, число же арестованных было сравнительно невелико. За решеткой оказались лишь пятнадцать человек, причем все люди из народа, без имени и влияния. В сетях застряла только мелкая рыбешка, никто из предводителей в тюрьму не попал. Разумеется, те пятнадцать бедняг, которые предстали перед судом, были осуждены на суровое наказание — до двадцати лет каторги, — и приговор был подтвержден сначала апелляционным, а затем кассационным судом решением от 14 июля 1858 года. Но после всего происшедшего трудно было ожидать, чтобы судьи вели себя менее сурово по отношению к этим пятнадцати. С другой стороны, не вызывает сомнения, что не только взгляды Раттацци и Ланца, но и самого Кавура в 1856—1857 годах на решение неаполитанского вопроса были далеко не ортодоксальны. В своих беседах на эту тему с людьми, определявшими политику Англии и Франции, Кавур не исключал возможности отказа от нормальных дипломатических путей и применения чрезвычайных и дерзких средств[2]. Летиция Бонапарте Раттацци попыталась объяснить в своих «Мемуарах», как и почему Раттацци, превосходно осведомленный (он получал сообщения как от своих агентов, так и по дипломатическим каналам) о том, что готовилось в Генуе, все же решил — кто знает отчего — не уделять этому внимания «Сессия парламента подходила к концу, и хорошо ли плохо ли, но она заканчивалась успешно для кабинета, когда Раттацци был уведомлен своими агентами в стране и дипломатами из-за границы, что Мадзини и его друзья замышляют одну из своих дерзких вылазок, которые зачастую делали их знаменитыми и в то же время смешными. Речь шла о выступлении в Генуе. Раттацци, слишком хорошо зная мадзинистов, не придал большого значения этим предупреждениям. Его враги впоследствии утверждали, что он сделал это нарочно, по тайному сговору с Мадзини. Это было ложью...»[1] Конечно, это было ложью, если представить дело именно в таких выражениях. Но это не было ложью на все сто процентов: вся эта история сопровождалась странной пассивностью властей.

Как бы то ни было, удастся или не удастся точно установить «истинную правду», о которой говорил Росселли, одно несомненно: катастрофа в Сапри вызвала в республиканском лагере волну неистовых обвинений против умеренных. Их обвиняли в том, что они не выполнили соглашения, что они помешали успеху экспедиции и т. д. и т. п. Даже Фабрици, один из самых уравновешенных, сдержанных и далеких от экстремизма демократов, в письме к Пило употребляет суровые слова, которые свидетельствуют о том, что многих умеренных (заслуженно или нет) считали людьми, которые вели себя недостойно, и притом не только в Неаполитанском королевстве. «Не думайте, что я говорю лишь о неаполитанских обманщиках, — писал Фабрици Пило 12 сентября 1857 года. — Я говорю об обманщиках всей Италии, хотя сицилийские и неаполитанские оказались наиболее роковыми... В последнее время именно на них пала вина, записанная такой благороднейшей кровью, как кровь Бентивенья и Пизакане»[2]. Оправданные или неоправданные, эти обвинения привели к совершенно определенному результату. Мадзини если и не стремился к нему сознательно, то уж, несомненно, принял его

---

[1] SSSP, Carte Pilo.

[2] См L Rattazzi, op cit «Валевский [министр иностранных дел Франции] всерьез говорил о неаполитанском короле,— писал Кавур Раттацци — Возможно, он даже перешел границы, поскольку помешал России поддержать его намерения Кларендон заклеймил папское правительство как наихудшее из всех возможных, а о неаполитанском короле он говорил, как эмигрант Убежденный в невозможности достичь практического результата он счел нужным отбросить парламентские выражения. Я сказал ему «Послушайте, милорд, на дипломатию здесь нечего надеяться; настал час прибегнуть к другим средствам, по крайней мере в отношении неаполитанского короля» — «Нужно заняться Неаполем, и побыстрее»,— ответил Кларендон. «Я как раз хотел поговорить с вами об этом»,— сказал я Я подумал, что могу предложить ему взорвать короля бомбу «Что вы скажете о проекте посылки в Неаполь принца Кариньянского? Необходимо что-то предпринять; нельзя ли послать его в Палермо, если Мюрата хотят видеть в Неаполе? Нынешнее положение в Италии не может больше продолжаться, Наполеон убежден в этом, и если дипломатия бессильна, мы должны прибегнуть к чрезвычайным мерам Хотя я придерживаюсь умеренных взглядов, я не пренебрегаю крайними средствами. Дерзость ныне лучшая из политик, она сослужила службу Наполеону, она может послужить и нам» Раттацци ответил «Какое бы решение ни было принято, но если Бурбона прогонят из Неаполя, это, во всяком случае, будет действительным шагом вперед »( p 319—320)

[1] L. Rattazzi, op. cit, p. 333.

[2] SSSP, Carte Pilo.

с радостью: политическая формула «нейтрального знамени», которая господствовала на протяжении 1856—1857 годов, окончательно рухнула в стане демократов. Отныне разделение патриотического фронта на два четко разграниченных лагеря — демократический и умеренный — становится не только более ясным, чем до 1856 года, но и более четким и решительным, чем это казалось в 1853—1854 годах, когда в рядах «Партии действия» начались первые разговоры и острые споры по поводу политики «нейтрального знамени». Понадобится еще два года, понадобится франко-пьемонтская война против Австрии, чтобы ускорить дальнейший развал демократического фронта и переход демократов на сторону Савойской династии. Поэтому изучение событий второй половины 1857 года и всего 1858 года представляет особый интерес для понимания того, как развивался внутренний кризис «Партии действия». Размежевание в эти месяцы оказалось настолько резким, что не пощадило даже престижа таких людей, как Гарибальди, Бертани, Медичи Разве они не примкнули к «Национальному обществу»? Разве не перешли они сами в лагерь изменников? Характерно в этой связи письмо Сальваторе Кальвино к Пило, поскольку речь идет о двух сицилийских патриотах, которые связывали все свои надежды на организацию экспедиции в Сицилию в 1856 году именно с Гарибальди и его ближайшими соратниками — Пизакане и Козенцем. «Гарибальди согласился с пресловутым «Национальным обществом» Ла Фарина, — писал Кальвино Пило 9 октября 1857 года, — теперь же он, похоже, раскаялся и говорит, что он вовсе не требует слепо следовать за Пьемонтом, чего бы это ни стоило. Но, говорит он, *если Пьемонт начнет действовать,* то он готов последовать за ним, и это же надлежит сделать и республиканцам; если же *начнет действовать республиканская партия,* то здесь уже пьемонтскому правительству надлежит последовать за ней! Бедняга! Гарибальди благороднейший человек, обладает огромным мужеством, но разума у него — ни капли!» [1]

И все же, как ни осуждались после Сапри мотивы, которые в 1854—1857 годах привели в конечном счете к глубоким переменам в стратегии «Партии действия» (казалось даже, что эта катастрофа полностью сведет их на нет), однако незаметно и потихоньку они продолжали оказывать свое действие. Мадзини, однако, не замечал — или делал вид, что не замечает, — этого. Впрочем, ситуация ничуть не упростилась. Мадзини и непримиримые мадзинисты, чуть ли не силой вынужденные к политике компромиссов, но в душе продолжавшие сопротивляться ей, после Сапри почувствовали себя как бы избавленными от кошмара. Неистовое упорство, с каким велась подготовка генуэзского выступления, весьма показательно в этом отношении. Ведь это выступление, как известно, не встретило одобрения большинства в самой руководящей группе партии, но по разным причинам, если брать таких людей, как Пило [1], Пизакане или Фабрици Эти патриоты хотели, чтобы все силы, внимание и средства были сконцентрированы на Юге или, во всяком случае, чтобы в Генуе была организована простая манифестация ради достижения целей, которые и по сей день выглядят не очень-то ясными (каждый по крайней мере истолковывал их на свой лад). Тем временем та часть партии, которая была настроена наиболее антисавойски, продолжала исповедовать чрезвычайно радикальные идеи. Каким бы странным и противоречивым это ни показалось, но именно в течение двухлетия 1856—1857 годов, то есть как раз в тот период, когда «Партия действия» проводила политику *соглашения с правыми* (на деле соглашение было скорее кажущимся, чем реальным), ожесточение наиболее радикальных кругов партии выросло до гигантских размеров. Это было ожесточение против Турина, который день ото дня все более прибирал к рукам руководство движением за объединение страны, а также, естественно, ожесточение против Парижа, то есть против союзника, но такого, который делал возможным династическое решение национального вопроса.

Ожесточение дошло до того, что вызвало к жизни странные тени одиночек-террористов, «мстителей». Удалось ли этим теням проникнуть вплоть до приемной Кавура? У нас нет достаточно фактов, чтобы утверждать это, но есть сведения об одном странном событии. В апреле 1857 года (то есть в дни самой напряженной подготовки экспедиции в Сапри — от этого и сам факт выглядит более примечательным) туринская полиция обменялась письмами с полицией Генуи. Полиция Турина сообщала, что ею произведены «тщательные расследования на крупнейших фабриках и мануфактурах нашего города, на каковых может быть занято значительное число рабочих». Из этого расследования явствовало, что полиции известен некий Эмилио Ферреро, этот последний «вел с неко-

[1] SSSP, Carte Pilo.

[1] SSSP, Carte Pilo Маркcу генуэзская вылазка также казалась нелепостью «Путч Мадзини произведен совсем по старому официальному образцу Если бы этот осел хоть, по крайней мере, Геную не втянул в это дело!» (К Маркс и Ф Энгельс, Соч, т 29, стр 118)

торыми рабочими подрывные речи, наподобие тех, что он вел с Торреани Луиджи на перроне государственной железной дороги»[1] в Генуе.

По мере выяснения личности Ферреро начала складываться довольно запутанная картина. Оказалось, что он родом из Фенестрелле, не имеет постоянного местожительства, по профессии механик, никогда не подвергался арестам. Это был активный республиканец, проживший почти всю жизнь за границей, работавший в различных типографиях, прослуживший восемь месяцев механиком в Манчестере, в Англии, а затем механиком в Константинополе, в арсенале великого султана. Он был знаком с патриотами-мадзинистами братьями Орландо, которые использовали его на своей механической фабрике; 8 июля 1850 года он был обвинен в нанесении трех ножевых ударов некоему Камилло Сталли, что явно не соответствовало поводу ссоры, крайне ничтожному, и заподозрен как «мститель», посланный «Партией действия». Затем Ферреро приехал в Турин, чтобы добиться аудиенции у графа Кавура: он хотел узнать, каков результат двух его посланий из Смирны, в которых он обвинял местного генерального консула Пьемонта в том, что тот продержал его сорок пять дней под арестом по подозрению в краже пистолета. В Турине он сумел встретиться и поговорить с генеральным секретарем кабинета графом Сальмуром. Больше о нем ничего не удалось узнать; сведений, следовательно, слишком мало для того, чтобы можно было высказывать предположения.

Но если очертания этой тени весьма расплывчаты, то более отчетливыми чертами обладают «мстители», которые обратили свое оружие против Наполеона III. Мы имеем в виду не только Феличи Орсини, который к моменту покушения уже давно и полностью порвал с Мадзини и мадзинистами. После провала покушения Орсини (13 января 1858 года) другие патриоты, теснейшим образом связанные с Мадзини, и видные руководители партии продолжали действовать в том же направлении. Было подготовлено, иначе говоря, другое покушение с участием Розалино Пило и Коррао.

Коррао не был «мстителем»-дилетантом, это был скорее знаток своего дела: в 1848 году революционное правительство Сицилии назначило его, тогда еще 26-летнего парня, «капитаном исполнителем приговоров». Рабочий-конопатчик из палермского порта, народный вожак портового района (а это уже немало), он пользовался особой популярностью на окраинах города, протянувшихся вдоль моря, в районе, расположенном между Романьоло и Багерией. Это был человек по-своему высоких принципов, величайшей решительности, стойкий патриот, героический, отважный и в то же время хладнокровный. Контакты с руководителями революционного движения его кое-чему научили. Его письма, написанные почти целиком на сицилийском диалекте, насыщены страстной любовью к народу, патриотическим горением. Это был человек, который делал то, что говорил, и даже больше, чем говорил. Гарибальди, познакомившись с ним, проникся к нему таким уважением, что назначил его бригадным генералом в свою армию. Таким образом, к дивизионным генералам Биксио, Медичи и Козенцу прибавился еще бригадный генерал Коррао.

После того как провалилось покушение Орсини, Коррао и Пило задумали весной — летом 1858 года убить Наполеона III. Они собирались поразить «свинью» в Париже, дабы одновременно нанести косвенный удар «черному пьемонтскому правительству»[1], как писал Коррао Пило в письме от 23 июня 1858 года, советуя ему не забыть, когда он будет в Лондоне (то есть встретится с Мадзини), «сделать все что нужно, чтобы я мог оказать великую услугу *человечеству*» (мы не станем расставлять традиционных sic и оставляем в неприкосновенности слог Коррао).

Действовали ли Коррао и Пило только вдвоем? Логично предположить, что да. Письмо Коррао, впрочем, открыто свидетельствует об этом. 29 июня он торопит Пило помочь ему поскорее довести до завершения подготовку *одного благого дела,* по поводу которого он «убежден, что все будет хорошо, и если рок сохранит мне жизнь, тогда посмотрим» и т. д. и т. п. «Мне бы изрядную долю вашего железного характера», — пишет Коррао Пило и дальше добавляет: «Друг мой, торопитесь, возьмите мою кровь для блага страждущего человечества, которое столь страдает и требует от нас жертв, кои необходимы, дабы положить конец его мукам... Все народы стенают и глазами, полными слез, взирают на избранных, дабы дали сигнал к борьбе, и уж они подымутся как один человек и разобьют оковы, опутавшие их со всех сторон. Действуйте поскорее и сделайте так, чтобы свинья была сохранена для сицилийцев, я это предчувствую, и кровь у меня закипает»[2]. В письме от 9 августа 1858 года он писал: «...Са-

[1] ASG и AST, Carte di Polizia, 1857.

[1] SSSP, Carte Pilo.
[2] SSSP, Carte Pilo.

мая большая услуга, которую можно оказать человечеству, — это отсечь опухоль, которая угрожает гангреной и которая, поверьте мне, охватывает город, где он обитает. Когда он прибудет туда, посмотрим, уйдет ли он от моей руки; средств, чтобы свершить это, у меня нет, но я полагаюсь на свою смекалку и сердце. Когда я буду в названном городе, то предупрежу вас, если вы будете хранить *молчание*» [1].

Коррао писал из Александрии в Египте. Розалино Пило послал ему денег для проезда из Александрии на Мальту, с Мальты в Сицилию и, наконец, из Сицилии в Париж. Путешествие, должно быть, было нелегким и довольно долгим. Лишь в начале 1859 года Коррао прибыл в Порто-Эмпедокле и оттуда направился в Багерию (февраль 1859 года), где восстановил связи с вожаками местных народных отрядов; связи эти оказались чрезвычайно ценными в конце 1859 и в 1860 году. Последнее письмо Коррао было датировано 19 марта 1859 года и уведомляло Пило об отъезде отправителя в Париж. Что произошло после этого? По-видимому, события 1859 года, неизбежность франко-пьемонтской войны против Австрии заставили Пило направить «капитану исполнителю приговоров» новый приказ, отменявший прежний. С этого момента деятельность Пило и Коррао нацелена на другие задачи: подготовку экспедиции гарибальдийцев в Сицилию.

Такова была общая картина: от политики «нейтрального знамени» в короткое время был совершен переход к совсем иной политике. Более того, по правде говоря, эта иная политика, радикального и даже террористического характера, хотя и отошла в 1856—1857 годах на задний план, на самом деле никогда не отвергалась совсем. Патриоты продолжали прибегать к такого рода средствам и одновременно хотели соглашений с умеренными. Политика «Партии действия» развивалась по этому противоречивому пути. Впрочем, если вдуматься, подобные крайние позиции, казавшиеся взаимоисключающими, на самом деле дополняли друг друга. Тенденция к соглашению с умеренными и тенденция к применению кинжала, бомбы, к терроризму, как бы они ни были противоположны, обусловливались одной и той же причиной: слабостью «Партии действия» [2].

[1] SSSP, Carte Pilo.

[2] По этому поводу см также проницательные замечания А Лепре (A Lepre, Carlo Pisacane e il Mezzogiorno d'Italia, в «Cronache Meridionali», ottobre 1957, p 632) «Можно установить обратную взаимосвязь между деятельностью умеренных и деятельностью демократов чем более действия первых приобретали мощь и размах, тем более политика вторых приобретала черты узости и окрашивалась в тона отчаяния Но давление умеренных было лишь одним из двух факторов, толкавших демократов на крайние позиции Другой фактор следует искать в их собственной, внутренней неспособности действовать с большим размахом Изучение экспедиции в Сапри, в которой наличествуют оба эти фактора, поучительно с этой точки зрения»

Но вернемся к дискуссии о причинах крушения экспедиции в Сапри. Ожесточенные споры продолжались с июля — августа 1857 года и почти до конца 1858 года. Особенно важно и характерно для этих споров письмо Пило к Мадзини, написанное с Мальты 5 декабря 1857 года. В этом письме, черновик которого сохранился среди бумаг сицилийского патриота, опровергается слух о предательстве и особой ответственности за происшедшую катастрофу одного из друзей Пизакане прежних лет (еще до бегства 1847 года), Патераса. «В Неаполе организовывалась огромная народная демонстрация, которая должна была положить начало революции, но наши друзья для большей вероятности успеха постарались заручиться помощью партии резонеров и умеренных. Эта партия согласилась или прикинулась согласной, но едва собрание между руководителями партии умеренных и нашими окончилось, как умеренные тотчас же бросились повсюду, дабы убедить народных вожаков не выходить на площадь. Гнусными своими уловками они добились цели, которая состояла в том, чтобы убедить народных вожаков совсем не выступать, и через посредство своих прихвостней обезглавили собрание, *которое должно было состояться на площади*. Патерас и другие, кто встречался с Карло в дни 13 и 14 июня, остались одни, ибо люди действия были от них гнусным образом отторгнуты резонерами и умеренными конституционалистами, каковые удовольствовались тем, что наши геройские друзья, высадившиеся в Сапри, наши победоносные зачинатели движения за объединение страны были зверски перебиты. Наши друзья в Неаполе даже предложили предводителям умеренных самим образовать революционный правительственный центр, только бы они решились свергнуть бурбонское правительство, но все попытки были бесцельны. Умеренные гнусно сорвали все то, что нашим удалось сделать за два дня, с их же согласия, ради низвержения правительства Бурбона, после того как мы узнали о высадке. Агенты и посыльные умеренных появились повсюду, и в столице, и в окрестных деревнях, дабы помешать народу подняться и взяться за оружие...» [1]

Подобная картина неаполитанских событий не лишена, конечно, доли истины, но в целом она выглядит пристрастной,

[1] SSSP, Carte Pilo.

узкопартийной и несправедливой. Неаполитанские умеренные, как мы видели, сотни раз выражали свою неприязнь к такого рода выступлениям, и, конечно, никак нельзя было надеяться в последний момент заставить их силой поддержать его. Впрочем, неприятие подобного замысла восстания (хотя и мотивированное иначе), сомнения в его успехе имели место и среди самих демократов Неаполя и неаполитанских провинций. Такие настроения были довольно широко распространены даже среди самих республиканцев, живших в эмиграции, особенно южан. Трудно перечислить все письма калабрийских, неаполитанских, апулийских и сицилийских патриотов, которые, будучи более или менее осведомленными о готовящейся высадке и даже о самом месте ее (а более или менее осведомленными были многие, очень многие), утверждают, что они предвидели или предчувствовали катастрофу [1].

Пило тем не менее не утратил надежд, обращая взоры прежде всего к Сицилии. В марте 1858 года он писал Джакомо Агрести в письме, приложенном к отпечатанным экземплярам циркуляра Мадзини, датированного октябрем 1857 года: «Дорогие друзья, последние попытки Бентивенья, Аджезилао Милано и героизм Карло Пизакане обязывают нас, их братьев по союзу, действовать с новым упорством и энергией. Мы недостойны будем именоваться людьми, если не приложим всех сил для выполнения этого долга. Таковы слова великого Мадзини. Это правда, что в Италии, к несчастью, существуют разные партии, но ни с какой другой партией, можете быть в этом уверены, наша Италия не достигнет своей свободы и единства; ей принесет их неизменная самоотверженность «Партии действия».

Необходимо, однако, чтобы те, кто говорит о своей принадлежности к «Партии действия», раз и навсегда прекратили болтовню и двинули вперед дело организации партии и ее центральной кассы... После того, как поставлено это условие, дорогие друзья, нужно, чтобы вы честно сообщили нам, исполнены ли вы твердой решимости трудиться с нами во имя вышеизложенных целей и идей, поддерживая через нас связь с Центральным комитетом, находящимся в Лондоне. Если вы расположены сотрудничать с нами, организуйте комитет и сообщите нам имена его членов, с тем чтобы установилось взаимное доверие и при новом нашем выступлении нам не пришлось бы столкнуться с тем отчуждением, кое, к горестному сожалению, проявили люди «Партии действия» при героических попытках Бентивенья и Пизакане. Дорогие друзья, провозгласите во весь голос, что партия, которой дорога честь, не может быть сведена к действиям одного человека или немногих людей. Партия — это большое общество, и она должна следовать законам каждого общества. Так делали карбонарии» [1].

Таким образом, после Сапри «Партия действия» как бы оправляется от поражения, вновь вздымая нетронутое, незапятнанное, неизменное старое знамя мадзинистского республиканизма. В октябрьском циркуляре 1857 года (о котором говорит в своем письме Пило и который он взялся распространить) Мадзини и впрямь утверждает, что последние попытки не только не «сократили», но «численно увеличили нашу партию, особенно в Пьемонтской провинции и в Сардинии». Ему казалось, что Италия вступила в период, когда «неудачный исход благородных попыток не причиняет нам вреда, он возбуждает и еще более разжигает пламя»; ему казалось, что подобные кровопролития доказывают «мощную жизнеспособность «Партии действия»»; ему казалось, что самопожертвование Пизакане «возбудило всеобщие симпатии» [2]. Тотчас же после крушения экспедиции в Сапри он направляет специальное обращение, призывая к восстанию не кого-нибудь, а неаполитанцев! Можно подумать, что он действовал, сообразуясь не столько с политической реальностью, сколько с горячечными видениями. Экспедиция в Сапри возбудила не всеобщие симпатии, а всеобщее сожаление, в том числе и среди самих демократов. По крайней мере среди тех, кто не примыкал к узкой группе мадзинистов, которая отныне выступала в одиночестве, открыто, с развернутым знаменем: кто не с нами, тот против нас.

Не отдавая себе отчета в том, насколько партия в Неаполе впала в состояние прострации и уныния, Мадзини следовал своей странной теории, согласно которой взрыв должен произойти именно там, где была принесена жертва, и требовал, чтобы неаполитанцы восстали. Он не придавал должного значения справедливым советам Пило, который указывал на Сицилию как на единственное место на Юге, где возможна революционная инициатива. Разумеется, Мадзини обращался и к сицилийцам, но точно так же, как он обращался и ко всем

[1] Одним из первых, кто пытался отговорить от этой экспедиции, приводя политические и военные доводы, был д'Айала (op. cit., p. 235) Возражали также Бертани, Музолино, Криспи, Саффи, Кальвино, Кадолини, Мордини и патриоты тех мест, которые были избраны для высадки Де Доминичис, Мацциотти, Кардуччи и др Список этот еще далеко не полон.

[1] SSSP, Carte Pilo.
[2] SSSP, Carte Pilo.

остальным: не понимая, что отныне Сицилия представляла единственно возможное поле действия на Юге.

В одном из своих писем из Лондона к демократам Катании от 4 марта 1858 года он предлагает создать организацию «с новыми руководителями, состоящую из молодежных групп, число участников которых было бы не более пяти и не менее трех; один из членов служил бы связующим звеном между несколькими такими группами, а каждая из них должна была бы образовать вокруг себя отряд из простонародья». Он призывал к сбору средств, «пусть они складываются не из *крупных* пожертвований *немногих* богачей, но из *мелких* даяний *многих* небогатых людей». «У вас два врага, — писал он, — правительство и люди, систематически усыпляющие вас и именуемые *умеренными*. С первым необходимо бороться действием, со вторыми — абсолютным безразличием. Изолируйте их! Идите к простонародью и отучите его от привычки почтительно слушать этих людей» [1].

Итак Мадзини отверг идею сконцентрировать все усилия «Партии действия» в Сицилии, превратив ее в поле решающей битвы демократических сил, идею, которую восприняла затем группа, все более сплачивавшаяся вокруг Гарибальди. Таким образом, и Пило и Фабрици и почти вся «Партия действия» оказались в конечном счете втянутыми в сицилийскую кампанию, проводившуюся под лозунгом «Италия и Виктор Эммануил». Между тем в Неаполе и прилегающих провинциях положение было далеко не таким, каким оно виделось Мадзини в силу его романтической теории взрыва морального возмездия, порождаемого «непрерывными самопожертвованиями». В сравнении с призывом к восстанию, направленным Мадзини неаполитанцам через несколько месяцев после Сапри, более реалистическим в политическом отношении выглядит даже письмо убитой горем женщины, Энрикетты Ди Лоренцо, овдовевшей подруги Пизакане, оставшейся в Генуе с маленькой Сильвией на руках.

«Благодарю, друг мой, — писала Энрикетта Пило 17 марта 1858 года, — за дружбу и внимание. Подлинные друзья столь редки для меня, что мне необычайно дорого видеть вас неизменно таким. Это выше сил моих, но креплюсь, во-первых, ради Сильвии, а затем в надежде увидеть в один прекрасный день остальных моих детей! Но если бы вы знали, друг мои, как я несчастна, какую беспросветную жизнь я веду! Вы изумились бы не меньше меня, что женщина может претерпеть столько мук! Я живу одна с моей дорогой дочуркой, проводя большую часть дня в четырех стенах. Сильвия играет со своими куклами, а я плачу, читаю, пишу, и все время мой Карло стоит у меня перед глазами! Чем больше времени проходит, тем больше вспоминаю я его редкие качества, его совершенства, великую любовь, которую он принес мне и на которую я так мало отвечала! Ибо если бы я любила его так, как он любил меня, я бы нашла способ убедить его в том, о чем думала сама: страна, которая жаждет революции, не нуждается в том, чтобы горстка героев жертвовала собой ради ее начала; страна, которая равнодушно взирала на гибель Бентивенья и Милано, не готова к восстанию! Я говорила ему все это, но не ласково, как подобало бы, а с раздражением при виде упорства, с каким он хотел верить всему, что писал ему Фанелли. Хватит, если я причинила зло, я несу за него заслуженную кару! По крайней мере Карло не страдает больше! И бедный Орсини тоже! С каким равнодушием присутствуют народы при самопожертвовании стольких мучеников! Я не имею счастья разделять ваши надежды, я и раньше испытывала отчаяние, а теперь больше, чем когда-либо... Не бойтесь за П. [Мадзини]. Он умеет быть весьма осторожным. Вчера я получила от него письмо, где он пишет, что мы должны отомстить за Карло! Я желаю этого, но как? Желание не стоит ровным счетом ничего!..» [1]

Однако начиная с июля 1857 года Мадзини ведет себя как одержимый. Июльские и августовские номера «Италиа дель пополо» за этот год (а также приложения, в которых он опубликовал нечто вроде общего обзора положения в Италии после экспедиции в Сапри), его письма, циркуляры и воззвания свидетельствуют о том, что он находился в явно необычном состоянии духа. Он считал, что после Сапри активным действиям противятся уже только «ничтожные группы людей, которые сами по себе не обладают сколько-нибудь серьезной силой, однако увеличивают замешательство в рядах национальных сил и снабжают доводами тех многих, кому нужно оправдать перед самим собой и перед другими собственное бездействие». Он ополчается на литераторов (то есть на Каттанео и на Макки), «которые прославляют *книги, а не оружие*»; нападает на «*социалистов,* которые желали бы оттянуть восстание до тех пор, пока они не будут уверены в торжестве своих систем»; высмеивает «независимых, помешавшихся на *прудонизме* и почитающих грехом против свобо-

[1] ACS, Carte Pilo, 6. LIV. 2762.

[1] SSSP, Carte Pilo.

ды индивидуума участие в ассоциациях»; но главное острие своих атак он направляет в первую очередь против тех «немногих, но влиятельных людей, которые обладают благодаря заслуженно добытой в 1848—1849 годах славе благотворной силой, но они позволяют ей пропадать втуне, ибо не любят меня или других деятельных членов «Партии действия»».

Теперь он был убежден, что с такими людьми не следует больше заключать союзов. Прошли те времена, когда считали возможным объединить их с крайним крылом республиканской партии под «нейтральным знаменем». По мнению Мадзини, демократам, если они не хотят брать на себя ответственность за преступление перед нацией, если они не хотят быть на побегушках у умеренных, у «сдерживающих», не остается ничего иного, как вернуться на свои собственные позиции. «Речь идет не о том, чтобы присоединиться ко мне или к кому-то другому; речь идет о том, чтобы объединиться всем на основе одного принципа, а именно: *Италия, если пожелает, может своими силами приступить к делу собственного освобождения; будучи в силах, она должна сделать это...* Я утверждаю, что имена Манина, Томмазео, Сиртори, Каттанео, Микеле Амари, Маццони, Уллоа, Козенца, Монтанелли, Гарибальди и других наряду с именами двух-трех деятелей Пьемонта и трех-четырех наших людей, будучи поставлены под кратким манифестом, ясно и смело выражающим этот принцип и делающим из него некоторые выводы, разом положили бы конец жужжанию мошкары в гриве льва, придали бы партии сознание своих неисчислимых сил, указали бы час нашим юношам, лишили бы робких предлога отказываться от жертв и во сто крат умножили бы средства действия. То, что я делаю, как говорят, в одиночку, может служить мерой того, что мы сделали бы объединившись. Место, время, способы действия зависели бы от планов, которые выдвинули бы один или другой из нас, и от элементов, которые привело бы в движение новое *выступление*. И эти планы не ограничивались бы *тогда* лишь узкими рамками».

Когда он обращается к этим людям, он уже не размахивает чужим знаменем, знаменем компромисса, но говорит от имени партии, *своей* партии: *«Бог и Народ, Единство и Республика»*. Отныне он уверен, что по этому его пути «мало-помалу пойдет Италия». Республиканцы, примкнувшие к «Национальному обществу», взывающие к «монархии, не испытывая к ней любви», доверяющие «участь Италии невозможной королевской *инициативе*», заявляющие, что «Пьемонт один только в силах распутать узел национального вопроса», и не пытающиеся «побудить его к тому или проложить для этого путь», — эти республиканцы составляют партию, которая «неизбежно умрет; через месяцы или годы — неважно». Но пусть они берегутся. «С 1848 года простой люд Италии, бесспорно, вырос и растет; средний, образованный класс, испорченный печатью и ложными безнравственными учениями той группы, на которую я указываю, отступил и отступает в борьбе. Стоит простому народу чуть больше осознать собственную силу и найти агитаторов, не столь осторожных и терпимых, как мы, и неравновесие сил, которое мы слабо ощущали доныне, примет угрожающие размеры и приведет к пагубным последствиям. Да не допустит господь, чтобы сбылось это предвидение. Но если инерция одних и быстрое возвышение других насадят в Италии — прежде чем будет создана единая нация — вражду между классами, которая уже увлекла на дно Францию, то это повлечет за собой захирение и упадок на многие годы.

Но пусть задумается над этим средний класс. В силу самой природы вещей народный элемент может выступать либо с ним, либо против него. Народный элемент в Италии, без сомнения, поднимается для борьбы; нужно либо возглавить его и сражаться с ним вместе, либо уступить ему поле битвы, когда он выйдет на него» [1].

Но соответствовали ли подобные изъявления уверенности и силы, намеренно подчеркиваемые Мадзини, реальному соотношению сил демократов и умеренных, а внутри демократического лагеря — мадзинистов и антимадзинистов? Если Мадзини действительно верил в это, то можно сказать лишь, что он жил с повязкой на глазах. На самом деле в 1856—1857 годах положение было совсем иным, умеренные сумели занять руководящие позиции в патриотическом фронте, ловко использовав несомненные успехи, которые были достигнуты в международной политике, и слабости «Партии действия»; что же касается самой «Партии действия», то авторитет Мадзини внутри партии еще более упал. Если ожесточение, вызванное тем, что произошло во время экспедиции в Сапри и после нее, действительно еще больше сплотило вокруг Мадзини таких патриотов, как Пило, то сколько было таких, кто, испытывая прежде колебания и не решаясь сделать выбор между «Национальным обществом» и группой решительных мадзинистов, окончательно покинул Мадзини в 1857—1858 годах! Война Франции и Пьемонта против Австрии в 1859 году,

[1] „L'Italia del Popolo", Supplemento al № 180, Genova, 22 agosto 1857.

несмотря на Виллафранкский мир, несмотря на опасения и разочарование, которые он вызвал, все же в общем и целом еще более склонила чашу весов в пользу тех, кто считал, что без признания главенствующей роли Пьемонта нельзя предпринять ничего серьезного.

Даже среди тех демократов, которые (пусть даже в силу определенных причин) хотели бы сохранить верность республиканским идеалам, все более крепло убеждение, что лично Мадзини скорее дискредитирует радикальную партию, чем способствует ее престижу. Характерно в этом отношении письмо Антонио Мордини, направленное в ноябре 1857 года Никола Фабрици, в котором он предлагает сделать все возможное, чтобы отстранить наконец Мадзини от руководства «Партией действия». То была одна из бесчисленных попыток подобного рода, предпринимавшихся внутри «Партии действия», но показательно, что эти попытки все более множились и в них начинало принимать участие все больше авторитетных деятелей партии.

«Я первым нарушаю долгое молчание, воцарившееся между нами, — писал Мордини Фабрици. — В моем последнем письме много месяцев назад я излагал, если ты помнишь, причины, по которым, на мой взгляд, обстановка в нашей стране выглядит довольно мрачно. Последние столь печальные события доказали, что суждение мое было неверно. Не могу выразить тебе всей глубины моей скорби, которая и ныне терзает меня каждый день при мысли, что столько славных бойцов безвременно принесено в жертву без пользы, без какой бы то ни было зримой надежды (по крайней мере в этот час) на успех нашего дела.. Меня, как и тебя самого, связывает с Пиппо искренняя и горячая дружба. Я всегда был и буду верен ей, каковы бы ни были в прошлом и какие бы ни возникли в будущем расхождения в наших общих с ним политических взглядах... При всем том, к сожалению, Мадзини не тот человек, который может с пользой возглавлять боевую политическую партию. Самое главное, на мой взгляд, состоит в том, что он наделен от природы чересчур поэтическим темпераментом... Поэтому из уважения к делу демократии, а также для вящего блага партии мы должны, несомненно, отвергнуть прозвище *мадзинисты.* Нам следует сделать это тем более решительно, что это слово, помимо того, что оно выглядит неразумным и неуважительным в применении к людям, кои суть не кто иные, как республиканцы, в сегодняшних условиях звучит еще — и даже больше, чем прежде, — как *люди без царя в голове, действующие наобум, бестолковые...* Он не относится к людям твердых замыслов и практической сметки. Если бы он был таким, он бы убедился, как и многие другие проницательные и беспристрастные наши деятели, кои изучают времена, людей и вещи, что в тот момент нельзя было рассчитывать на население Италии для совершения революции. В красноречивых признаках, впрочем, не было недостатка. Не нашедшие отзвука попытки Бентивенья и Милано...»

Мордини считал, что только Юг может стать базой для надежно подготовленного широкого выступления. Нелепой теории Мадзини об «одновременности выступлений» он приписывал и кровопролитную, безрезультатную попытку восстания в Ливорно и смехотворный генуэзский «выкидыш».

Интересен в письме Мордини анализ классовой базы партии, которая среди аристократов «насчитывает лишь единицы сторонников, немногих — среди буржуазии и многих — среди городского простонародья. У нее, таким образом, достаточно рук в стране, но от нее бегут просвещенная мысль и богатство, а с богатством — и те материальные средства, которые необходимы для тайной подготовки и начала революции». Разве восставшие в Ливорно и Генуе рабочие не были лишены «даже ножей и стилетов»? Но, по мнению Мордини, эти рабочие составляют лишь меньшинство среди плебса, ибо подавляющая часть рабочих и «крестьян и по сю пору позволяет, чтобы их наставляли и ими руководили попы...» Остаются, «следовательно, аристократия и буржуазия», но «в политике они являются либо монархистами, либо конституционалистами. Если ты встречаешь кого-нибудь из них в рядах демократов, то можешь смело сказать, что это исключение. Здесь уместно заметить, что итальянские конституционалисты питают большую ненависть к республиканцам, чем к *чистым, абсолютным монархистам,* руководствуясь, по-видимому, ложным принципом: *привилегии, пусть даже тощие, все же лучше, чем равенство.* Во-вторых, конституционалисты... противятся любой революционной попытке по многим причинам». Среди этих причин Мордини отмечает «страх, охвативший их ныне больше, чем когда-либо, что они рискуют и даже могут потерять все свое имущество или какую-то часть его». К каким же выводам приходит он в итоге этого длинного анализа? В лице Мадзини партия имеет плохое политическое руководство; у нее нет базы среди средних слоев (или есть, но слабая), поскольку эти последние ориентируются на умеренных; партия обладает определенным влиянием среди городского простонародья, хотя подавляю-

щая часть плебса, и особенно крестьяне, находится под воздействием реакционеров. Для конституционалистов республиканцы — большие враги, чем сторонники абсолютной монархии. Мордини приходит к выводу, что позиции партии очень слабы. Партия, следовательно, не должна допускать никакого дробления на фракции, не должна изолироваться и бросаться в отчаянные предприятия, которые еще больше сокращают ее скудные возможности; «не должна позволять, чтобы ею руководили и вели за собой приверженцы крайностей. Она должна объединить все свои силы, отстранив от руководства Мадзини, который выступает как фактор раскола и обострения внутренних противоречий «Партии действия». Партия должна установить согласие между унитариями и федералистами, между «республиканцами, *более или менее формальными,* республиканцами, более или менее радикальными, и республиканцами, которые являются в большей или меньшей степени социалистами». На знамени партии должно быть начертано одно-единственное слово — революция; партия должна быть организована на манер тайного общества (дабы поражать воображение простолюдинов) и по военному образцу всюду, где это возможно; местопребыванием руководства партии должна быть Генуя (где находился Мордини) или Мальта (где находился Фабрици). На Мальте, во всяком случае, должен находиться комитет для связи с Неаполем и Сицилией. Мадзини, проживающий в Лондоне, и эмигранты, пребывающие в Париже, должны будут просто поддерживать отношения с европейскими демократами [1].

Это была очередная попытка вывести партию из тупика мадзинистских планов, предпринятая — в который раз — по обычной схеме. Если и было в этом нечто новое (впрочем, тоже отдающее стариной), так это попытка преобразовать партию в тайное общество прежнего типа, дабы вырвать ее из-под влияния Мадзини; тайное общество, которое поражало бы воображение простолюдинов и повело их на борьбу, не допуская, однако, чтобы они приобрели решающее значение. Последний отзвук карбонарских идей, поистине неожиданный у такого демократа современных воззрений, каким был Мордини! Но его инициатива не получила, да и не могла получить никакого развития.

Сколько могло еще продолжаться влияние Мадзини, усилению которого способствовала трагедия Сапри? Мадзини еще будет играть первостепенную политическую роль

[1] См. „Il Risorgimento Italiano", 1914, p 481 sgg

в 1859 году, когда он станет полюсом притяжения для тех патриотов, которые с недоверием отнеслись к франко-сардинскому соглашению, заключенному в Пломбьере в июле 1858 года и дополненному тайными соглашениями 1859 года. Сколь бы глубока ни была и какой бы широкий характер ни носила в эти месяцы критика по адресу Мадзини как вождя партии, организатора, как человека действия, нельзя все же целиком отрицать обоснованность его тревожных предупреждений. Не случайно в 1859 году и особенно после Виллафранкского перемирия его политическая публицистика получит довольно широкий отклик не только в Италии, но и в левых кругах всей Европы.

Но отныне успех или неуспех его политики был неотвратимо связан с большей или меньшей обоснованностью его критики по адресу тех демократов, которые приняли платформу Ла Фарина: Гарибальди, Бертани, Медичи, Козенца. Отметим особо, что так или иначе к этой платформе примкнул в последний момент и Каттанео, который ухудшил ее своими не слишком разумными политическими советами [1]. Единственный практический совет, который Каттанео дал тогда Гарибальди, если бы только его принялись буквально выполнять в 1859 и 1860 годах, лишил бы демократов последнего оружия, с помощью которого они могли бы в случае чего оказать давление на своих вероломных союзников и защитить демократические позиции: независимости волонтерских частей.

Одним словом, отныне проблема состояла в том, чтобы выяснить, был ли Мадзини прав или заблуждался, объявляя «*королевскую* инициативу невозможной»; был ли он прав или заблуждался, насмехаясь над теми, кто видел в Пьемонте единственную силу, способную «распутать узел национального вопроса», и в первую очередь был ли он прав или заблуждался, предрекая, что та часть его партии, которая оторвалась

[1] См. письмо Каттанео к Бертани от 24 февраля 1859 года, в котором Каттанео впервые намекает на попытку воспротивиться предложениям Медичи и Симонетта «Довожу до твоего сведения, что Медичи и Симонетта спросили у меня лишь, согласен ли я написать *несколько слов* в пользу задуманного ими дела объединения Италии с королем Виктором Эммануилом во главе. Как видишь, речь шла об их замысле, а не о моем » Но в апреле он пишет тому же Бертани· «Раз уж жертва принесена, раз уж мы согласились с пьемонтской программой, не следует бросать дела на полдороге » Каттанео, *иначе говоря, советовал не настаивать на создании независимого* корпуса волонтеров, а «принять целиком и полностью уставной порядок регулярной армии». Он считал, что корпус *партизан* был бы окружен «недоверием» и на каждом шагу сталкивался бы с «трудностями» („Epistolario" di Carlo Cattaneo, a cura di R. Caddeo, Firenze, 1954, vol. III, p. 106—107 e p. 123)

от него ради лозунга «Италия и Виктор Эммануил», скоро превратится в ничто, умрет «через месяц или годы — неважно». Между тем, несмотря на Виллафранкский мир, несмотря на пророчества Мадзини, именно этой части партии, отнюдь не собиравшейся умирать, было суждено взять на себя руководство политикой демократов в Италии, окончательно вырвав его из рук Мадзини. И вскоре состояние экзальтации и самоуверенности, в котором пребывал (или делал вид, что пребывает) пророк в период с 1856—1857 годов до подписания Виллафранкского мира, сменилось в 1860 году состоянием, близким к бешенству, трагическому бессилию, отчаянию. Впрочем, сам Виллафранкский мир вовсе не означал конца политик сотрудничества демократов с умеренными. Более того, он доказывал, насколько важно было это сотрудничество, чтобы не допустить опасного развития политики Пьемонта по двусмысленному пути, подготовленному Наполеоном III. Несмотря на Виллафранкский мир, революция развивалась дальше более или менее в согласии с политикой умеренных. Тоскана, Романья, герцогства Парма и Пьяченца, Модена, а также Реджо освободились от своих монархов и установили у себя временные режимы в ожидании присоединения к Пьемонту. Было очевидно, что следующим шагом в этих условиях могло быть лишь освобождение Королевства обеих Сицилий. У правительства Пьемонта и деятелей «Национального общества» могли существовать — и действительно существовали — различия во мнениях относительно того, каким путем, как и когда осуществить это; но цель, по крайней мере частично, была общей. Впрочем, и в самом пьемонтском правительстве взгляды короля и Раттацци на экспедицию волонтеров отличались от взглядов Кавура, более осторожных и пронизанных неприязнью к гарибальдийцам.

Какова была политика Мадзини в 1859—1860 годах, хорошо известно. После того, как в августе 1857 года он объявил «невозможной» королевскую инициативу, после того, как в 1857—1858 годах он сотни раз повторял этот тезис, в 1859 году, увлекаемый течением, которое склонило значительную часть его собственной партии в пользу компромисса с умеренными, Мадзини не мог далее оставаться на абсолютно негативных позициях, грозивших ему полной изоляцией. Поэтому он вынужден был заявить, что последовал бы за Пьемонтской монархией, если бы она «определенно стремилась» к объединению Италии. Возврат к политике «нейтрального знамени»? Или же шаг вперед, который поставил бы группу наиболее верных сторонников Мадзини рядом с «Национальным обществом», даже если б она сохранила свою независимость?

До какой степени новый поворот политического курса Мадзини был искренним, совпадал с его убеждениями и чувствами и до какой степени он был вынужденным маневром, продиктованным непосредственными тактическими, утилитарными соображениями? Тот, кто следил за ходом нашей мысли на протяжении всего повествования, хорошо знает, какой ответ, на наш взгляд, следует дать на эти вопросы. Мадзини не хотел и не мог оставаться в изоляции, не хотел оказаться в роли человека, препятствующего монархической инициативе из узкопартийных побуждений и даже ценой подрыва дела национального единства. Но он неизменно считал династическое решение вопроса бедствием для страны и действовал как мог, чтобы искусно провалить такое решение, не выдавая своей заведомой оппозиции к нему. Однако внутреннее положение в «Партии действия» было таково, что едва Мадзини выразил намерение (даже в исключительно тактических, утилитарных целях) двинуться в том направлении, о котором мы говорили, иначе говоря, едва он признал в плане чистой гипотезы, что если Пьемонтская монархия будет «определенно стремиться» к осуществлению единства Италии, то она может рассчитывать на поддержку в этом деле демократов, как Каттанео (который, как мы видели, уже почти дал Гарибальди, Медичи и Бертани свое одобрение на совместные действия с туринским правительством) мгновенно накинулся на него. Таковы были «добрые отношения», которые связывали вождей демократов!

Адресуясь к итальянским изгнанникам в Лондоне (а фактически к Мадзини), Каттанео писал 1 мая 1859 года: «Вы призываете республиканцев Италии следовать *прямым путем, объединиться вокруг знамени, блюсти вечную незапятнанную нравственность*... Вся ваша программа — это *«Единство и Республика»*...

Однако же, по вашим словам, вы *последовали бы за Пьемонтской монархией, лишь бы она определенно стремилась к объединению* Италии. Значит, вашей программой будет уже не *«Единство и Республика»*, но *«Единство и Монархия»*. От вашей программы, таким образом, остается *половина*, ибо вы изгоняете из нее республику. Ваша программа становится совсем *другой*, ибо вы вводите в нее монархию. Впрочем, монархия, говорите вы, — это дело лишь *сегодняшнего* дня. Республику, следовательно, вы приберегаете *в душе* для *завтрашнего дня*. Это и есть, по-вашему, вечная *незапятнанная нрав-*

*ственность*?» И дальше: «Вы хотите монархию, чтобы иметь победу, а победу — чтобы иметь республику. Монархия, стало быть, совершенно необходима для победы! Вы, следовательно, отныне больше верите в королевские войны, чем в войны народа. Вы хотите воспользоваться королем, чтобы потом избавиться от него. Такой замысел бесчестен для республики, ненавистен для монархии, которая в силу самой своей природы ищет повод, чтобы в любой момент расторгнуть заключенные ею соглашения, и абсурден для всех, ибо все прекрасно знают, что в подобные силки королей не поймаешь» [1].

Франко-пьемонтская война с Австрией, возможно, придала больше хлесткости публицистике Мадзини (который мог в свое удовольствие прохаживаться насчет опасности, таившейся в таком союзе), но она поставила «Партию действия» в трудное положение: какую конкретную позицию занять по отношению к войне? Примкнуть к ней таким же образом, как примкнули Гарибальди и Бертани, с полусогласия самого Каттанео, означало отказаться от всякой самостоятельной цели. Но не примкнуть или воздержаться от вмешательства было невозможно, ибо крайне левое крыло «Партии действия» не могло остаться в стороне от национального движения. Мадзини, таким образом, не мог сделать ничего иного, как вступить на путь, уже избранный им в 1856 году: попытаться вклиниться в общее движение умеренных и демократов, но не пассивно, следуя за Пьемонтской монархией, а с намерением повернуть события и направить их на достижение собственной цели. Именно такова была суть политики Мадзини начиная с мая 1859 года, в каких бы выражениях он ни формулировал свою официальную программу (Мадзини изложил ее с вполне понятной осторожностью в своей статье «Война», опубликованной в «Пенсиеро э ациоие» за 2—16 мая 1859 года).

Предусматривал ли, во-первых, Мадзини инициативу Сицилии? Была ли «инициатива Юга», и в частности Сицилии, центральным тезисом мадзинистской революционной мысли? На наш взгляд, такое мнение следует поставить под сомнение. Разумеется, есть письмо к Франческо Криспи, датированное 9 июля 1859 года, в котором Мадзини дает и Сицилии директиву «восстать, восстать под чисто итальянским знаменем» [2]. Но это письмо ничего не доказывает, так как в те месяцы Мадзини давал подобные указания всем областям Италии, подчеркивая, однако, с особой настойчивостью, что инициатива должна принадлежать *не Сицилии или Югу, но Центру*. Старая мадзинистская схема восстания не изменилась. Она повторяется с некоторыми вариантами. И действительно, стратегический план Мадзини состоял совсем не в том, чтобы начать восстание в Сицилии, а затем осуществить поход из Сицилии для завоевания континентальных провинций Юга и Центральной Италии. Его план, предельно ясно изложенный 18 июля в статье «Мир в Виллафранке», был совсем иным: во-первых, как можно язвительней разоблачить предательство короля, который «определенно не стремится» к единству Италии, ибо вступил в недостойный «торг, спекулируя на святой идее» во имя «приобретения клочка территории» [1]; во-вторых, как следствие первого, избавиться от подчинения Пьемонту и самостоятельно, независимо, опираясь лишь на силы демократов и народа, направить все усилия на Центр: *на Центр, на Центр с прицелом на Юг*. Эта стратегия чрезвычайно ясна. Выступление в Центральной Италии нанесло бы смертельный удар союзу между Виктором Эммануилом и Наполеоном III, были бы взорваны связи, объединявшие «Национальное общество» с Пьемонтской монархией, в самое сердце была бы поражена — во всех ее аспектах — политика союзов и компромиссов; ситуация приобрела бы более радикальный характер и «Партия действия», восстановив свое единство и обретя независимую оперативную базу, попыталась бы самостоятельно вести борьбу, конечно тяжелую, но зато с гордо развернутыми знаменами. Кстати, в упомянутой выше статье Мадзини излагает этот план с предельной ясностью.

«В Центральной Италии,— пишет он,— мы сражаемся с тиранией во всех ее обличьях: с тиранией гражданской, политической, религиозной, чужеземной и отечественной. А завоевав чересчур *колеблющийся* Юг Италии, мы будем иметь самую мощную оперативную базу, какую только можно дать национальному движению» [2]. Поэтому инициатива должна принадлежать именно Центру, а не «чересчур колеблющемуся Югу». Эта схема Мадзини, даже в плане международных отношений, ничем не отличается от его старого плана. «Венгрия, — пишет он, — готова к действию, и подлинно итальянский клич поднимет ее на битву. Венгерское восстание получит отклик в Польше... пусть итальянцы выполнят свой долг, и свершится то, что может свершиться. Лучше погибнуть, чем терпеть позор. Лучше пасть под давлением превосходящих сил... чем заслужить прозвище народа малолетних и раба чужеземца. Тот,

[1] C. Cattaneo, op. cit., vol. III, p. 132 sgg.
[2] G. Mazzini, vol. LXIII, p. 282.

[1] G. Mazzini, vol. LXIV, p. 61.
[2] G. Mazzini, op. cit.

кто верит в это, пусть решительно возьмется за дело и не заглядывает вдаль. За него смотрит Бог»[1]. Но призыв упал в пустоту. Для Гарибальди, Бертани, Медичи, Козенца недостаточно было, чтобы за них смотрел бог: они хотели смотреть сами, чтобы дела на этот раз не приняли обычный оборот и не привели к провалу, грозившему к тому же в решительный момент сорвать достижение высшей цели — единства родины.

Летом 1859 года Мадзини перебрался из Лондона во Флоренцию и попытался убедить Гарибальди (находившегося в Болонье, где он командовал тосканской дивизией) совершить нападение на Марке, вторгнуться в Центральную Италию, с тем чтобы затем двинуться на Юг. Но у Гарибальди одно лишь имя Мадзини вызывало отныне раздражение и неприязнь. Связав себя с совсем иной политикой, он, во всяком случае, не поддался ни на какие уговоры. Впрочем, даже когда Гарибальди высадился в дальнейшем в Сицилии, Мадзини не изменил своей линии. Он остался рядом с Бертани, стараясь уговорить его не всех людей, не все средства направлять в Сицилию (для прямой поддержки гарибальдийцев), утверждая, что Гарибальди следует помогать *косвенным образом*, организовав в Центральной Италии другую экспедицию, независимо от гарибальдийской. Это было равноценно совету взорвать и без того ненадежное соглашение между Гарибальди и Пьемонтской монархией. Бертани, однако, проявил себя по-своему очень искусным политиком. Он не ответил Мадзини решительным отказом, не стал разубеждать его. Он держал его при себе, позволял ему говорить, позволял ему спорить, предлагать решения (тем более что знал его бессилие). Он нейтрализовал его: не порывая с ним, не отталкивая его, он шел своим путем, отдавая всех людей и все средства делу гарибальдийцев на Юге в полном согласии с Медичи и Козенцем.

Как рассказывает сам Мадзини, он пребывал в ожидании в маленькой комнатушке, в то время как в комнате рядом Бертани вел переговоры с умеренными. Прежде чем смириться с такой злосчастной ролью, Мадзини попытался организовать самостоятельное выступление. Чтобы не идти со смиренно протянутой рукой к людям вроде Гарибальди и Бертани, которые давно уже были настроены враждебно к нему, он обратился к самым верным своим последователям, призывая их предпринять что-нибудь. Но группа наиболее рьяных мадзинистов в действительности могла сделать очень немногое. Он обратился также к Розелли, своему главнокомандующему времен Римской республики, умоляя его «обрушиться на Перуджу», с тем чтобы достигнуть Абруцц и затем Юга, пусть даже ценою оставления «Рима пока в стороне» (из других документов, однако, явствует, что у него не было ни малейшего намерения оставлять в стороне Рим). «Если вы откажетесь, — писал он, — душа моя исполнится печали оттого, что ни у одного из моих старинных товарищей не осталось сил, чтобы жить или умереть по-римски»[1].

С того момента, как началось сицилийское восстание (с октября 1859 года), обстановка становилась все более напряженной, все более накаленной. Если бы отрицательное отношение Кавура к гарибальдийской экспедиции в конце концов возобладало в Турине, было бы трудно (и даже невозможно) удержать те демократические силы, которые хотели действовать вместе с Пьемонтской монархией, но с каждым днем все более убеждались, что ждать далее нельзя. Если бы отрицательная точка зрения Кавура одержала верх, хрупкое равновесие, достигнутое с теми, кто примкнул к «Национальному обществу», могло нарушиться и не известно, к каким последствиям все это могло привести. Но, несмотря на бесчисленные трудности и противоречия, вопреки мнению Кавура, был найден способ сделать так, чтобы Гарибальди беспрепятственно отплыл из Кварто. Означало ли это, что с началом гарибальдийской экспедиции инициатива была вырвана наконец из рук умеренных и перешла в руки «Партии действия»? Разумеется, нет.

Собственно «Партия действия» и ее вождь, Мадзини, в действительности остались в стороне. Нельзя даже сказать, чтобы партия вела борьбу за самостоятельные, независимые действия или хотя бы за согласованные действия с умеренными, имеющие, правда, своей целью добиться демократического решения национального вопроса. Правда также, что Гарибальди и «Национальное общество», готовясь к экспедиции, не выдвигали никаких таких условий: они были счастливы уже оттого, что им больше не мешают; все их надежды

---

[1] G. Mazzini, op. cit.

[1] G. Mazzini, vol. LXIII, p. 324. См. также интересную подборку наиболее значительных политических документов 1859—1861 годов в антологии П. Алатри (P. Alatri, L'unità d'Italia, Roma, 1959). Стремясь обеспечить себе поддержку слева, с тем чтобы контролировать действия Гарибальди, Мадзини начиная с 1859 года пытался сблизиться с Де Бони. См. „Un carteggio inedito di G. Mazzini con F. De Boni (1846—1863)", в „Bollettino della Domus Mazziniana", Pisa, anno VII, 1961, № 1—2, a cura di S. Candido.

сводились к тому, чтобы в последний момент не пришел приказ повернуть назад с полдороги. Им — как утверждали — тайно покровительствовал король, чье молчаливое согласие было вырвано вопреки настойчивому противодействию Кавура. Кавур мог считать экспедицию «безумным предприятием», мог жаловаться Нигра, что у него недостало престижа и силы, чтобы воспрепятствовать ей. Одно, во всяком случае, несомненно: экспедиция совершалась самым подходящим для Пьемонтской монархии образом: ни Кавур, ни правительство не несли ни малейшей ответственности ни перед кем: ни перед волонтерами (которых было приказано остановить, когда корабли прошли половину пути до Сицилии), ни перед великими державами, которые могли обвинить пьемонтское правительство самое большее в слабости или пассивности.

После отплытия «тысячи» Мадзини продолжал уговаривать своих самых верных соратников предпринять самостоятельное выступление: «Вы спросите, что делать? То, что мы хотели и должны были сделать раньше. Совершить на суше то, что Гарибальди сделал с моря. Атаковать папу, нести восстание в Умбрию и Марке, организовать вылазку в Абруццы. Так будет спасена Сицилия и одним ударом создана Италия. Потом вы отдадите ее королю, а я уеду, чтобы умереть за пределами страны...» [1] Но, как всегда, он не раскрывал до конца своих мыслей. Самостоятельное выступление в Центральной Италии сулило надежду, что, может быть, Италию и не придется отдавать королю, или, во всяком случае, не придется отдавать без всяких условий. В отдельное выступление в одной лишь Сицилии Мадзини, напротив, по-прежнему не верил. 17 мая он писал: «Может статься, не приведи господи, что Сицилия падет...» При этом Мадзини излагает тезис, который на протяжении тех месяцев играл главенствующую роль во всей его деятельности и состоял в следующем: Сицилию «нельзя спасти», направляя туда «подкрепление в несколько сот волонтеров», ее можно спасти, лишь атакуя в Центре и создавая Италию «сегодня же, одним ударом» [2].

Впрочем, настойчивая пропаганда Мадзини в пользу выступления в Центральной Италии не осталась совершенно безрезультатной. Сам Гарибальди оставил Медичи инструкции в этом духе на случай, если бы экспедиция в Сицилию увенчалась успехом. Так, Бертани писал Гарибальди 25 мая 1860 года: «Медичи по слабости настолько позволил отвлечь себя от вашей программы в отношении Папской области, что

[1] G. Mazzini, vol. LXVII, p. 276.
[2] G. Mazzini, vol. LXVI, p. 63—66.

стал даже противиться любому предприятию, кроме второй экспедиции на Сицилию, которая сейчас готовится и будет возглавлена им» [1]. Бертани заверял его, что сам он трудится над более широким проектом, но на практике этот широкий проект никак не мог обрести конкретные черты. Медичи же в это время уже не только не повиновался Мадзини, но и самому Гарибальди подчинялся лишь в той мере, в какой Гарибальди оставался верен девизу: «Италия и Виктор Эммануил». От мадзиниста прежних времен не осталось и следа, и даже облик старого гарибальдийца Медичи изрядно выцвел и поблек. В нем уже проглядывал человек, который арестует Мадзини в Палермо, который в 1862 году откажется следовать за Гарибальди, проглядывал Медичи будущего — маркиз Медичи дель Вашелло. В сущности, и другие влиятельные сподвижники Гарибальди чувствовали себя более или менее связанными верностью данному слову: это относится и к Биксио, и к Козенцу. Эра Мадзини окончилась. Да и Гарибальди в значительной степени был пленником собственной политики.

«Военачальники, вроде Медичи, Козенца и других,— писал Мадзини Каролине Стенсфельд 25 июня 1860 года,— предпочитают придерживаться того, что одобрено правительством; они предлагают отправиться в путь и ищут помощи. Бертани, слабый, как все люди, не осмеливается перечить и уступает их просьбам. Сегодня у него есть деньги и средства для нашего плана, назавтра у него нет ничего... Но пока все средства в его руках, только я ничего не могу поделать...» [2] Триумфы гарибальдийцев в Сицилии становились, таким образом, проклятьем для Мадзини, «сицилианомания» доводила его до исступления, но он ничего не мог поделать, чтобы претворить свой план в действие. Теперь было ясно, что атаковать *Центр с прицелом на Юг* суждено отнюдь не самостоятельно действующим силам демократов. В удобный момент сюда вступят части королевской армии, наложив, таким образом, свою политическую печать на воссоединение Италии.

Но перейдем к рассмотрению сицилийского восстания. В движении за объединение Италии оно являлось, несомненно, тем событием, которое носило наиболее ярко выраженный народно-демократический характер. Сицилия, как мы видели, уже много лет подряд жила в состоянии непрерывного брожения. Достаточно взглянуть на переписку начальника бур-

[1] См. P. Alatri, op. cit., vol. II, p. 149.
[2] G. Mazzini, vol. LXVIII, p. 101.

бонской полиции в Сицилии Манискалько (причем не только на последние, действительно драматические депеши 1860 года, а и на корреспонденцию предыдущих лет), чтобы ясно представить себе, насколько широкой, глубокой и неудержимой была волна нетерпения и возмущения, сотрясавшая Сицилию. Ее не сдержал даже расстрел Бентивенья. В 1858 году мятежный дух начал охватывать весь остров.

В августе 1859 года была раскрыта тайная организация, которая замышляла восстание в провинции Джирженти. Бранкато недавно подробно осветил этот заговор, нити которого «...простирались в многочисленные коммуны, а революционные проекты были таковы, что повергли в изумление даже бурбонские власти; в частности, их поразило то, что в заговоре участвовали люди совсем скромного происхождения» [1]. Заговор охватывал коммуны Джирженти, Каникатти, Гротте, Арагона, Комитини, а большую часть его участников составляли, если верить полицейским докладам, «воры, рабочий люд из серных рудников» [2]. Заговорщики ставили своей целью не только поднять на восстание население всего острова, чтобы изгнать Бурбонов, но и образовать, как утверждает князь Кастельчикала в своем донесении бурбонскому правительству, «правительство равенства ради разграбления чужой собственности и овладения достоянием зажиточных»; они хотят «всех предать смерти и, упразднив различия между классами, разделить между собой, братьями равенства, добычу» [3]. Если в августе 1859 года заговор с подобными целями существовал в провинции Агридженто, то в сентябре — октябре в провинциях Палермо и Трапани замышлялось открытое возмущение, вооруженное восстание для низвержения власти Бурбонов в Сицилии. В бумагах Криспи сохранилось сообщение мессинского комитета о провале революционных попыток в Палермо в октябре 1859 года: «Приближался момент, когда мы могли нанести удар с большой вероятностью успеха. В сердцах нарастал гнев, общественная атмосфера накалялась, все добрые сицилийцы, которые не знали и не могли знать о том, что готовилось втайне, но жаждали перемен, во весь голос кричали, что революция не за горами. Кое-что, таким образом, дошло неизбежно и до полиции, которая, перепугавшись и вследствие того ожесточившись, произвела многочисленные аресты» [1]. Во главе движения стоял Пеппино Кампо, «которого,— пишут мессинцы,— мы обеспечили всеми необходимыми средствами». От его первой операции зависели все остальные, которые должны были за ней последовать. 9 октября, войдя через ворота Термини, Кампо должен был совершить нападение на полицию. «Мы послали одного из наших,— пишут мессинцы,— переговорить с тем крестьянином, который был действительным вожаком людей, на которых рассчитывал Кампо. Вечером в субботу Палермо обезлюдел; перепуганная полиция решила, что ее песенка уже спета и притом безвозвратно, все полицейские силы сосредоточились в комиссариатах и кордегардиях» [2]. Но возникли непредвиденные препятствия. Был убит сыщик в Багерии, еще один сыщик был разоружен в Аспре; были разоружены городские стражники в Санта Флавии; два часа продолжалась перестрелка в Виллабате (напомним, что несколькими месяцами раньше в этом районе побывал Коррао), но затем повстанцы вынуждены были отступить, и началась волна арестов.

Генеральный наместник Сицилии Паоло Руффо, князь Кастельчикала, доносил в Неаполь об «усилении мятежного духа» начиная с 10 сентября 1859 года. «Вот уже три дня,— писал он,— как эти намерения все усиливаются; в самой испорченной части города и прилегающей сельской местности обнаружили замысел произвести дерзкую вылазку и начать мятеж, который поддержали бы все жители, жаждущие нововведений» [3].

Из того же донесения князя Кастельчикала явствует, что несколько революционных эмиссаров отправились из Палермо в окрестные селения и в селения округа Термини, дабы поднять их на восстание, назначенное на 14 сентября [4].

---

[1] F. Brancato, La rivoluzione del 1860 in Sicilia, в „Quaderni del Meridione," 1960, № 9, p. 23 sgg.

[2] F. Brancato, op. cit., p. 39.

[3] F. Brancato, op. cit., p. 24.

[1] ACS, Carte Crispi, 28. II.

[2] ACS, Carte Crispi, 28. II.

[3] См. R. Giuffrida, Lo spirito pubblico in Sicilia dal settembre 1859 al maggio 1860 nei rapporti di Castelcicala, Trapani, 1960, p. 13. В донесении приводятся имена зачинщиков мятежа: Гаэтано Скадуто, Бранкаччо и Альтавилла. В Багерии был арестован Гаэтано Скадуто и другие «одиннадцать лиц», «из тех, что более других свирепствовали во время революции 1848 года во главе орд, которые сделали столь трудным управление Сицилией». Арест Скадуто вызвал даже перестрелку.

[4] R. Giuffrida, op. cit. 14 сентября 1859 года Кастельчикала вновь и в еще более тревожной форме подтвердил свое донесение; заявляя, что на острове по-прежнему царит «отчаянное настроение, стремление поднять мятеж», он добавляет: «Ползут тревожные слухи, их пускают, дабы вселить в души тревогу, подогреть людей, толкнуть их в объятия крайних элементов. Все говорят об ожидающемся выступлении, в котором, как

Полиция опознала некоторых из эмиссаров, направившихся в наиболее неспокойные сельские центры: Багерию, Виллабате, Альтавиллу, Бранкаччо, но по слухам заговор был куда более широкого размаха. Главный рассадник мятежного духа находился, как полагали, в Палермо и близлежащих сельских районах, и, разумеется, это не относилось к крупным землевладельцам (за исключением крайне незначительного меньшинства). Что касается зажиточных слоев Сицилии, то Кастельчикала был даже убежден, что «большинство собственников, хотя и таит недовольство, *избегает* мятежной агитации и желает жить в мире»[1]. Из полицейских документов явствует, что в районе Мизильмери, Багерии, Виллабате революционерами руководил и финансировал их деятельность Паоло Патерностро. После событий 1848 года Патерностро эмигрировал сначала в Лондон, а потом в Египет, где стал советником правительства и начальником отдела в министерстве иностранных дел. После возвращения в Палермо в 1859 году он был заключен в тюрьму за участие в октябрьских волнениях 1859 года, но вскоре выпущен на свободу в результате протестов египетского правительства. Укрывшись в Тоскане, он направил сицилийцам прокламацию, призывая их восстать на основе программы присоединения к Пьемонту. Среди заговорщиков было много людей, руководивших в 1848 году отрядами повстанцев, 11 октября 1859 года в Багерии Джузеппе Кампо, устав ждать, решил со своим отрядом в пятнадцать человек перейти к действиям, чтобы ускорить восстание в Палермо. В Виллабате он столкнулся с королевскими войсками, и в этой перестрелке, как уже было сказано, потерпел поражение, после чего его отряд рассыпался. Эта попытка, таким образом, была легко подавлена. Но то было не больше, чем выброс лавы через одну из боковых расселин; обстановка была накалена по всей провинции, а эпицентром надвигавшегося землетрясения был Палермо. Аресты вынудили многих столичных патриотов бежать в сельскую местность, но это не только не остудило мятежного духа, а, напротив, способствовало его усилению и распространению по всем провинциям.

Начиная с октября циркулировал упорный слух о скорой высадке в Сицилии эмигрантов, с которой все связывали надежду на успех восстания. В ночь с 24 на 25 января 1860 года

утверждают, в назначенный день и час примут участие все коммуны Сицилии, воскрешая пример Сицилийской вечерни». Сигнал, по его сведениям, должен подать Палермо (Op. cit., p. 15, ASP, b. 1234).

[1] R. Giuffrida, op. cit.

полиция конфисковала несколько экземпляров листовки, провозглашавшей: «Сицилийцы, час настал. Да здравствует Виктор Эммануил, король итальянцев!» Листовка была составлена, по всей вероятности, группой умеренных, в которую входил Патерностро и которая продолжала конспиративную работу и после того, как он вынужден был укрыться в Тоскане. В то же время Кавур, вернувшись к власти в январе 1860 года, направил в Сицилию с тайной политической миссией Энрико Бенца. Кавур рекомендовал Энрико Бенца д'Ондесу Реджо, который входил как раз в группу Патерностро. Бенца связался с наиболее видными руководителями умеренных в Палермо: с бароном Ризо, печально прославившимся среди демократов своими деяниями в 1848 году; с молодым маркизом Рудини, с герцогом ди Чезаро и другими. Бенца представлялся как кузен Кавура и говорил о том, что он действует от имени короля. Своим появлением он пробудил огромные надежды, хотя он и предупредил, что Сицилия вправе начать восстание лишь в том случае, если будет полная уверенность в успехе, то есть рассчитывая лишь на собственные силы и не надеясь на поддержку Пьемонта, прежде чем успех восстания не будет полным. Помощь, иначе говоря, придет позже, после того как дело будет сделано. Как видите, Кавур не только намеревался отсрочить отплытие волонтеров Гарибальди из Кварто и по возможности воспрепятствовать экспедиции, но и побуждал сицилийских умеренных взять в свои руки и прочно удерживать (если только это им удастся) инициативу движения в Сицилии.

Аресты, начавшиеся в октябре 1859 года, продолжались до марта 1860 года, приобретая все более широкий размах. Но чем более полиция расширяла круг своих репрессий, тем больше она отдавала себе отчет, что речь идет не об узкой группе, не о тайном обществе, не об отдельном заговоре, который можно ликвидировать, арестовав несколько десятков или сотен человек. Речь шла совсем о другом — о единодушной решимости всего населения острова восстать в предвидении событий, которым суждено будет осуществить многолетнюю мечту Сицилии: окончательное низвержение власти Бурбонов. Поэтому аресты — и Кастельчикала и Манискалько достаточно хорошо сознавали это — не только не достигали цели, но еще более накаляли атмосферу. В Сицилии, иначе говоря, в 1859 году происходило нечто противоположное тому, что происходило в 1853—1857 годах в неаполитанских провинциях. Как Манискалько, так и Кастельчикала не сомневались в существовании революционной организации,

охватывающей Палермо, Багерию, Мизильмери и Монреале и готовой начать восстание. В своем уже цитированном нами исследовании Джуффрида пишет: «Что больше всего приводило в растерянность Кастельчикала, так это то, что мятежный дух все разрастался среди низов Палермо и они все лучше усваивали идеи невмешательства, народного суверенитета, всеобщего избирательного права» [1].

Катания продолжала оставаться спокойной. К середине марта распространился слух, что целесообразно было бы отложить восстание до того момента, когда станут известными результаты голосования в Тоскане и ответ короля Пьемонта на плебисциты по вопросу о присоединении в восставших государствах Центральной Италии. Говорили, что Тоскана проголосует за присоединение к Пьемонту и что это воспламенит всю Италию. С 1 апреля обстановка начала обостряться. 4 апреля произошла схватка у монастыря Ганча в Палермо. Подавленное в городе, восстание перекинулось в соседние селения. В Термини, Багерии, Мизильмери, Карини, Партинико, Пьяна деи Гречи, Капачи взбудораженный народ поднял трехцветное знамя. Телеграфное сообщение было прервано, гонцов перехватывали. Начала сказываться нехватка продовольствия. «Положение тревожное, но не отчаянное»,— доносил Кастельчикала в одной из депеш королю Неаполя. Гарибальди к этому времени еще не отплывал из Кварто.

В белой книге, изданной Бурбонами уже в изгнании, под заглавием «1860 год. Документы о Сицилии» [2], собраны не только депеши Маниекалько, Кастельчикала и других представителей бурбонских властей королю, но и послания самого короля своему наместнику и его чиновникам в Сицилии. В марте и апреле король настаивал на ликвидации партизанских отрядов в провинциях Палермо и Трапани, «банд» в Алькамо, Партинико, Пьяна деи Гречи, Корлеоне. 12 апреля он писал Кастельчикала: «...должен теперь добавить, что моя чрезвычайная озабоченность уничтожением окружающих вас банд проистекает из получаемых мною известий насчет неизбежных дипломатических осложнений, в случае если эта гражданская война затянется» [3]. 6 апреля, после подавления выступления у Ганчи, Кастельчикала докладывает королю об обстановке далеко не в оптимистических тонах. «Палермо,—пишет он,— сдерживаемый силой, спокоен; никаких проявлений враждебности. Но если бы случилось так, что мятежники проникли в город извне, пожар восстания охватил бы пламенем всю столицу» [1]. Он сообщает королю, что Термини, Багерия, Мизильмери, Карини, Пьяна деи Гречи подняли трехцветное знамя. В некоторых важных центрах провинции бурбонские гарнизоны оказались осажденными и положение их ненадежно: «Гарнизон Монреале в угрожающем положении: он выдержал сегодня утром сильную атаку...— писал в тот же день Кастельчикала.— Дабы устранить и должным образом наказать дерзость многих крестьян, укрепившихся в деревне, именуемой Сан Лоренцо аи Колли, посылаю туда сегодня ночью сильный отряд с приказом разрушить все. Если этого урока окажется мало, я поступлю так же с некоторыми другими неспокойными деревнями и готов обречь на такую же участь Палермо, если только он решится открыто отдаться во власть восстания... Очень опасаюсь за Мессину, Катанию и Трапани» [2]. Жестокие замыслы! Через десять дней после карательной экспедиции против нескольких крестьянских хижин в нищей деревне Сан Лоренцо аи Колли Кастельчикала торжествующе доносил королю: «Сан Лоренцо еще дымится» [3].

В апреле (почти за месяц до высадки Гарибальди в Марсале) обстановка, по мнению неаполитанского правительства, настолько ухудшилась, что властям Палермо был дан совет отвести четыре роты, расквартированные в Кальтаниссетте, и войска из Джирдженти, ибо они подвергаются слишком большому риску [4]. Бурбонские сановники были до такой степени охвачены паникой, что даже министр полиции Маниекалько поспешил отправить семью в безопасное место — Неаполь. После этого посыпались бесконечные прошения от семейств высших неаполитанских чиновников в Сицилии, умолявших вывезти их с острова. А в Генуе, в штаб-квартире Гарибальди, все еще шли споры: отправляться или не отправляться в Сицилию. Власти Неаполя между тем размещали в Сицилии свои лучшие воинские части. Для укрепления бурбонских позиций на остров прибывали все более сильные подкрепления. Нельзя сказать, чтобы король питал большие надежды на будущее и умел вдохнуть мужество в своих слуг в Сицилии. «Будьте бдительны и внимательны, чтобы не допустить дела до компромиссов с Пьемонтом,— писал король

---

[1] R. Giuffrida, op. cit., p. 47.

[2] Без указания даты и места издания.

[3] R. Giuffrida, op. cit., p. 38.

[1] R. Giuffrida, op. cit., p. 12.

[2] R. Giuffrida, op. cit, p. 3—4.

[3] R. Giuffrida, op. cit., p. 74.

[4] См. R. Giuffrida, op. cit, p. 22.

князю Кастельчикала 24 апреля.— Хотя, по правде говоря, мы не в состоянии сопротивляться Пьемонту и революции одновременно»[1].

Но, пожалуй, еще более характерными, чем депеши Кастельчикала, были донесения Манискалько. «Я по природе своей не склонен с легкостью предаваться тревоге,— писал Манискалько королю 29 марта 1860 года,— и не умею мрачными красками рисовать обстановку, преувеличивая опасность, которая и без того достаточно велика... Я не умоляю о вмешательстве, ибо Ваше Величество уже наделили власти этой части королевских владений силой и полномочиями, достаточными для сохранения в неприкосновенности общественного порядка. Я желаю лишь убедить Ваше Величество, что Палермо находится во власти революционной лихорадки. Но Ваше Величество должны быть уверены, что каждый здесь выполнит свой долг»[2]. А в письме от 13 мая он пишет. «Сицилия, убедившись, что Пьемонт окажет ей свое покровительство, охвачена глубоким волнением; и Палермо, испокон веков враждебно настроенный к королевскому правительству, престиж которого ныне чрезвычайно низко пал, горит желанием восстать и ждет лишь появления Гарибальди, каковой находится, возможно, в двух днях пути от Палермо. Как я уже сообщал в официальных донесениях, ныне изменения государственного строя требует все население, а страх перед революционной местью побуждает и порядочных людей действовать очертя голову. Намерение поднять мятеж настолько твердо, что были даже тайно предупреждены все те, кто в 1848 году служил в национальной гвардии, дабы по первому сигналу они были готовы охранять порядок в столице, в то время как народ будет сражаться с королевскими войсками.

При появлении в долине Палермо Гарибальди, к которому присоединятся по пути все повстанцы, начнется ужасное сражение. В этой битве войска Вашего Величества будут иметь перед собой сильного противника, а на флангах и в тылу у них будет еще более коварный и многочисленный враг, который, умело используя преимущества местности и нанося удары исподтишка, будет истреблять солдат, как скот на бойне. Государь, у ворот Палермо будет решаться судьба не только Сицилии, но и монархии. Революционеры говорят, что если Гарибальди одержит победу в Палермо, то, нимало не мешкая, он направится со своими альпийскими стрелками

[1] R. Giuffrida, op. cit., p. 85.
[2] R. Giuffrida, op. cit., p. 473—474.

и немалым числом сицилийцев в Калабрию, дабы зажечь пламя в этих провинциях и двинуться походом на Неаполь. Предприятие это может оказаться не столь уж трудным, если этот авантюрист добьется первого успеха, способного подорвать боевой дух войск. Ныне, к сожалению, чума подрывных идей заразила все население, и старинная вера в провинциях Калабрии глубоко потрясена. Одного имени Гарибальди достаточно, чтобы толкнуть народ к революции...»[1] Но если б речь шла только о Гарибальди и гарибальдийцах! «Но если б перед нами был только один этот противник! — писал Манискалько. — Окруженные со всех сторон бунтовщиками, наши войска в момент битвы разуверились бы в успехе и пали жертвой уныния»[2].

Именно это и произошло у Калатафими и сразу же после Калатафими. В своих «Мемуарах» Гарибальди следующим образом подытоживает результаты этой битвы: «Первым важным результатом было отступление противника из Калатафими, который мы заняли утром следующего дня, 16 мая 1860 года. Второй весьма ценный результат состоял в том, что население Партинико, Борджетто, Монтелепре и других селений атаковало отступающего противника. Повсюду затем были созданы отряды, которые присоединились к нам; энтузиазм во всех окрестных деревнях поистине достиг наивысшей точки...»[3]

Мы уже рассказали, что́ представляли собой эти крестьянские отряды. Однако начиная с середины мая 1860 года в движение оказалось вовлеченным население целых селений (иногда до нескольких тысяч человек), в борьбу включились все сколько-нибудь боеспособные мужчины. С этого мгновения результаты движения невозможно уже свести лишь к действиям одних пиччотти — постоянных участников народных «отрядов». Если уж говорить о самых славных и трудных страницах истории борьбы пиччотти, то они вписали их до высадки Гарибальди в Марсале, во время схваток с полицией и войсками, продолжавшихся с октября 1859 года по начало мая 1860 года. После победы под Калатафими участие населения в восстании приобрело массовый характер, но костяком движения продолжали оставаться отряды. Был ли Криспи или не был автором депеши, которая должна была ускорить отплытие Гарибальди из Кварто, не известно; одно

[1] R. Giuffrida, op. cit., p. 479—480.
[2] R. Giuffrida, op. cit.
[3] G. Garibaldi, Memorie, ed. diplomatica a cura di E. Nathan, Torino, 1907, p. 317.

несомненно. мятежный дух, сотрясавший Сицилию с осени 1859 года, был настолько широк и глубок, что сведения, сообщенные генералу, оказались более скромными, чем действительность В движении к этому моменту участвовали уже не только отряды, но народ в самом широком смысле этого слова.

Что можно сказать о самих крестьянских отрядах? Это движение было весьма неоднородно. Но, во всяком случае, значительная часть отрядов действовала под командой незапятнанных патриотов, таких, как Пило, Коррао, Оддо, братья Ди Бенедетто, Ла Маза, Ла Порта, Мастрикки. Движимые ненавистью к бурбонскому правлению, они сражались бок о бок с гарибальдийцами во имя Сицилии и в надежде на улучшение нищенских условий существования. Были и такие отряды, которые, конечно, нельзя рассматривать как чисто наемные отряды, однако они были завербованы и существовали на деньги богатых землевладельцев — умеренных патриотов еще до высадки Гарибальди. 7 апреля, например, князь Кастельчикала сообщал королю, что «двести простолюдинов были наняты за ежедневную плату сыном маркиза Рудини». Обстоятельство это не должно смущать нас, ибо речь шла о неимущих, которым нужно же было на что-то существовать и которые в то же время (а ведь именно это, и только это имеет значение) даже за все золото мира не согласились бы служить бурбонскому правительству. Нет ничего удивительного, что в рамках столь широкого движения существовали также «дружины» — впрочем, их было мало, и они подверглись жестокому разгрому, — которые действовали ради собственной корысти. Такой была, например, «дружина» деревни Санто-Мели; 22 мая в окрестностях Корлеоне отряд Ла Маза разоружил ее и распустил, а главарь ее был арестован, отдан под суд и расстрелян в Палермо в августе 1860 года [1] Важна

[1] Что касается «дружины» Санто-Мели, то нельзя отрицать, что некоторые ее действия против собственности и собственников напоминали по своему характеру почти разбой Но можно ли в столь накаленной обстановке провести четкую грань между разбоем и взрывом элементарного возмущения и ненависти против виновников вековой нищеты и страданий? Во всяком случае, большая часть действий отрядов против собственности и собственников носила, несомненно, социально-экономический характер и никоим образом не должна была поэтому рассматриваться гарибальдийской диктатурой как факт бандитизма Таковы были, например, события в Монтемаджоре, Бьянкавилле и Бронте Особенно характерным был трагический эпизод в Бронте, где крестьяне захватили помещичье имение и земли Ими руководил отнюдь не главарь с сомнительными намерениями, а патриот, участник революции 1848 года, и тем не менее он вместе с другими крестьянскими вожаками был безжалостно расстрелян одним из главных соратников Гарибальди, Нино Биксио. Поистине зверское подавление этого крестьянского движения обнаружило, что взгляды некоторых из самых близких к Гарибальди командиров — Биксио, Медичи, Козенца — в области социальных проблем были отнюдь не передовыми Не случайно у Кавура в определенный момент возникла мысль отстранить Гарибальди от командования волонтерами и передать его Медичи См V. Graziano, La squadra di Santo Meli nel 1860, Palermo, 1941

в первую очередь общая картина, порыв и боевой дух народных сил, борьба которых продолжалась не несколько дней или недель, а без малого целый год.

Сицилия сделала давнюю мечту об «инициативе Юга» реальностью. Она обеспечила гарибальдийской экспедиции народную и демократическую базу; революционные события в Сицилии послужили импульсом, толчком для всех событий последующих месяцев на Юге Италии. Именно это и имеет значение. Конечно, внутреннее и международное положение Италии было уже не таким, как в 1857 году. Но столь же верно и то, что в период между октябрем 1859 года и маем 1860 года в Сицилии назрела революционная ситуация, в то время как в других областях Неаполитанского королевства не было ничего подобного. Особенности, отличавшие повстанческое крестьянское движение в Сицилии от освободительного движения в провинциях континентального Юга, заключались в следующем.

1) Полуфеодальная структура земельной собственности, нашедшая в Сицилии гораздо более яркое выражение, чем в самых отсталых областях континентального Юга. Этот уклад находил отражение в мышлении, в формах быта и борьбы и даже в самих формах организации крестьянства. Это тем более верно, что подобное мышление в гораздо большей степени обнаруживало себя именно в той части Сицилии — Западной Сицилии, — где феодальные пережитки особенно живучи.

2) Своеобразная вооруженная организация сицилийских крестьян — отряды. Порождение особых социально-политических условий Сицилии, эта организация сыграла заметную роль уже в революционном движении 1820—1821 годов, а в 1848 году она показала себя особенно эффективной; в дальнейшем она получила распространение в феодальных (или бывших феодальных) владениях. Благодаря такой организации крестьяне участвовали в революционном движении не пассивно и тупо, но активно, организованно, с оружием в руках, о чем мы уже говорили выше. Нет сомнения, что подобного типа организации не знала ни одна другая область Юга.

3) Традиция кровопролитной борьбы за автономию и независимость Сицилии от Неаполя Эта традиция, имеющая давние исторические корни, не раз объединяла в едином порыве возмущения, в восстании все классы населения, пробуждая, особенно у городского простонародья и сельских тружеников, безграничную, порою даже исступленную ненависть к бурбонскому режиму

4) Особого рода связь, возникшая в результате давней традиции совместной борьбы, между руководителями демократов (и в значительной степени даже руководителями умеренных) и городским простонародьем и отрядами Правда, умеренные (а порою и сами демократы) использовали эту связь прежде всего для того, чтобы направить натиск масс по другому руслу, умерить его, сдержать, а не направить его на достижение передовых целей Но такая связь существовала, и это было чрезвычайно важно Благодаря ей сицилийские интеллигенты, городские и сельские буржуа,— большей частью выходцы из крестьян — очень тонко чувствовали и знали настроение масс, даже если подчас это и усиливало их собственные опасения Вспомните письмо Пило к Мадзини, которое мы уже цитировали «К сожалению, я слишком хорошо знаю массы той страны, где родился». Именно руководствуясь этим чувством, землевладельцы из числа умеренных (едва они ощутили осенью 1859 года, что на их землях повеяло ветром мятежа) устремились в свои владения, чтобы нанять за деньги отряды, состоящие из пиччотти Они хорошо при этом знали, что в данном случае речь идет не только о финансовых узах, но — в силу своеобразного мышления, характерного для Сицилии,— также и *о долге чести* который никто не решился бы нарушить Следует подчеркнуть, и мы вовсе не хотим отрицать этого, что землевладельцами из числа умеренных двигала также идея национального единства Кое-кто из них давно уже поддерживал эту идею и ради нее готов был нести жертвы и подвергаться опасности Но столь же бесспорно, что другие землевладельцы — и тоже издавна — выступали против этой идеи, но когда наступил критический момент, то и они решились тряхнуть мошной и финансировать отряды[1] Таким образом, как одними, так и другими владела одна и та же забота обезопасить себя и гарантировать свои земли в эти смутные времена от возможных превратностей, и они шли во имя этого на довольно значительные финансовые жертвы

Движение крестьянских масс Сицилии в 1859—1860 годах (то же случилось, хотя и несколько иным образом, с движением крестьянских фашо в 1893—1894 годах) ускорило развитие политических событий в Италии Могут сказать, что то был лишь один из факторов, которые постепенно созревали То была, если угодно, одна только капля (однако какая крупная капля[1]), но *именно она* переполнила чашу, причем так, что привела к полному перевороту в расстановке политических сил в Сицилии и к определенному пересмотру кавуровской политики по отношению к Гарибальди Консервативные силы Сицилии — бароны-землевладельцы и крупная буржуазия,— которые в силу давней традиции придерживались сепаратистской линии, добиваясь абсолютной политической и государственной независимости Сицилии, внезапно изменили курс Кризис их *сознания был мгновенным, он совершился* буквально всего за несколько недель Часть из них, возможно, охватил внезапный порыв патриотизма, но подавляющее большинство, без сомнения, вынуждено было принять новый политический курс из страха перед классовым антагонизмом, который начал обнаруживаться в Сицилии весной — летом 1860 года Так, все бароны, владельцы поместий и богатые буржуа, за небольшими исключениями, сделались более или менее рьяными сторонниками национального единства и присоединения к Пьемонту И наоборот, демократические силы, которые на протяжении десятилетий отстаивали унитарный принцип, которые боролись за единство Италии, расплачиваясь за это кровью и каторгой (задачу воссоединения они ставили даже выше проблемы административной автономии, которую сами считали необходимой для Сицилии), в 1860 году энергично, а порою прямо неистово выступали против аннексионистского плебисцита и даже против декрета Гарибальди от 16 сентября 1860 года, устанавливавшего административную зависимость Сицилии от учреждений гарибальдийской диктатуры в Неаполе В те дни Саверио Фриша совершил стремительную поездку в Неаполь с письмом от продиктатора Мордини[1], он был принят Гарибальди и Бертани, которые

[1] Это, впрочем предвидел Кастельчикала, так, в своем письме королю от 17 октября 1859 года он писал «Землевладельцы и добропорядочные люди будут с правительством до тех пор, покуда оно будет сильным и сумеет сдерживать и усмирять бунтарские страсти злоумышленников» (R Giuffrida, op cit, p 25)

[1] В письме, датированном 21 сентября 1860 года, Мордини представлял Фриша Гарибальди как старого соратника Пило и Кавура «Я уполномочил его настаивать на том,— писал он,— чтобы ваше правосудие удовлетворило особые требования нашего острова в интересах всей нации» О настроениях Фриша в те месяцы и в последующем, 1861 году свидетельствует его переписка с Криспи (ACS, F 114 XVIII 1)

признали обоснованность сицилийских требований. Но чего могли стоить к тому времени их заверения?

Как бы то ни было, все перечисленные нами обстоятельства — совершенно отсутствовавшие или слабо ощущавшиеся в областях континентального Юга — толкали Сицилию на вооруженное восстание. Эти же обстоятельства обусловили и пределы революционного движения.

События 1860 года в Сицилии не удивили поэтому тех патриотов, которые уже много лет справедливо утверждали, что Сицилия в силу целого комплекса причин призвана осуществить революционную инициативу. Меньше всех эти события удивили бурбонское правительство, которое знало, насколько трудным и непрочным стало его положение в Сицилии. Они удивили, напротив, многих руководителей умеренных в континентальной Италии, а также некоторых руководителей демократов. Те самые люди, которые призывали Сицилию восстать, не ожидали вспышки такого пламени, не ожидали, что события на этом острове получат такой немедленный отклик и дальнейшее развитие во всем королевстве. Как же отве тили на эту вспышку умеренные и демократы?

Франко Мольфезе в своем исследовании «Роспуск южной *гарибальдийской армии (1860—1861)*» [1] считает, что число сицилийских повстанцев из отрядов, присоединившихся к «тысяче» и другим северным волонтерским частям, переброшенным морем из Лигурии (экспедиции Аньетта, Медичи, Маленкини, Козенца, Сакки, Рюстова и Эберхарда), достигало 3200 человек. Он справедливо отмечает, что «вклад сицилийцев во всю кампанию освобождения Юга ни разу не превысил нескольких тысяч человек, включенных в ряды регулярной армии», но обращает внимание на то, что эти данные совершенно не соответствуют «размаху и силе подъема сицилийских народных масс в городах и особенно сельской местности» [2]. В самом деле, начиная с первых вооруженных антибурбонских выступлений в октябре 1859 года и вплоть до сокрушительного восстания в марте — июне 1860 года, сицилийское крестьянское движение непрерывно нарастало и ширилось, в его ряды вливались десятки тысяч нерегулярных бойцов [3]. Почему от этих десятков тысяч (которые говорят о 60 тысячах, но Бранкато обоснованно сокращает это число почти наполовину) в конце концов осталось только 3200 человек? Очевидную и основную причину, которую Мольфезе не раскрывает, следует искать в гарибальдийской прокламации от 13 июня и в декрете Гарибальди от 14 числа того же месяца, которыми вождь «тысячи» распустил добровольческие крестьянские отряды и предложил их благородным бойцам (хотя и в весьма возвышенных выражениях) мирно вернуться к своим полям. Следует отметить, что декрет был издан в трудный в военном отношении для Гарибальди момент, когда успех экспедиции на сицилийском театре действий был крайне непрочным: всего несколькими днями раньше генералы Ланца и фон Мехель отступили из центра Палермо на окраины города со своими 20 тысячами отлично вооруженных солдат, в то время как гарибальдийцы, прибывшие из Кварто, располагали в тот момент лишь несколькими сотнями действительно годных ружей и лихорадочно пытались получше вооружить в Палермо более чем скромные ряды волонтерских частей. Несмотря на очевидный риск и трудности обстановки, Гарибальди тем не менее уступил настояниям тех, кто считал обращение за *помощью к народным силам неприятной необходимостью; как* справедливо замечает Бранкато в уже цитированном нами исследовании, «умеренные либералы охотно обошлись бы без этого» [1].

Роспуск крестьянских отрядов в момент, когда поход гарибальдийцев в Сицилии, можно сказать, только начинался и предстояло еще разгромить превосходящие военные силы Бурбонов, оказал немедленное воздействие, как легко догадаться, не только на добровольцев самих отрядов, но и на все трудящееся население городов и деревень, которое своим участием в борьбе внесло решающий вклад в успех гарибальдийской экспедиции. Если бы Гарибальди и «тысяча» встретили в Сицилии такую обстановку, какую встретил Пизакане, высадившись в Сапри, они, возможно, не дошли бы даже до Калатафими или же, во всяком случае, оказались бы там в крайне трудном положении. Не говоря уже о том, что бурбонские войска были ослаблены, напуганы и деморализованы крестьянским вооруженным восстанием, не прекращавшимся несколько месяцев подряд, именно под Калатафими — как рассказывает сам Гарибальди — произошло первое крупное выступление сельских масс в поддержку экспедиции. Это выступление сыграло решающую роль в успешном развитии

---

[1] Franco Molfese, Lo scioglimento dell'esercito meridionale garibaldino (1860—1861), в „Nuova Rivista Storica", anno XLIV, gennaio-aprile 1960, p. 1 sgg.

[2] Franco Moltese, op. cit., p. 2—3.

[3] См. Salvatore Francesco Romano, Momenti del Risorgimento in Sicilia, и Denis Mack-Smith, The Paesants, Revolt of Sicily in 1860, в „Studi in onore di G. Luzzatto", Milano, 1949.

[1] F. Brancato, op. cit., в „Quaderni del Meridione", № 10, p. 138.

экспедиции. Необходимо заметить, что роспуск отрядов был из осторожности произведен в два приема: сначала декретом от 14 июня были отпущены бойцы в возрасте от 30 до 40 лет, с тем чтобы они вернулись в свои родные селения; четыре дня спустя другим декретом были отпущены все остальные. в результате чего отряды были распущены полностью и окончательно. Палермская газета «Кроче ди Савойя» («Савойский крест») (название освобождает нас от необходимости уточнять ее политическое направление) так разъясняла мотивы этого решения: «Пока нужды нации требовали присутствия масс, генерал Гарибальди настаивал на их участии, вознаграждая их деньгами за оказанные услуги. Но ныне, когда все возвращается к нормальному состоянию... это ремесло должно быть уделом организованных и дисциплинированных войск...» [1] Организованные и дисциплинированные войска ожидались, естественно, из Генуи до той поры, когда в дело наконец-то смогут вступить регулярные пьемонтские войска. Было бы, впрочем, неправильно связывать роспуск отрядов единственно с нажимом умеренных, хотя они и действовали в этом смысле чрезвычайно настойчиво и упорно. Сам Криспи, который в тот момент возглавлял штаб демократической партии, сплотившейся вокруг Гарибальди, направляя Винченцо Орсини приказ Гарибальди пройти с артиллерией через округа Корлеоне, Бивона и Шакка, писал ему: «Прошу тебя, прими меры для организации милиции, дабы мы могли избавиться от отрядов» [2].

Правда состоит в том, что к середине июня крестьянское восстание подошло к своему узловому вопросу, и это отчетливо понимали все. После изгнания Бурбонов (в политическом плане крестьяне и не мечтали о большем, и требование национального единства было им по большей части чуждо) на первый план, естественно, выступили те требования, ради которых они веками вели борьбу. Если патриоты хотели вовлечь широкие массы сицилийского крестьянства (а не только меньшинство) в борьбу за освобождение и национальное единство, они должны были поддержать эти требования. После палермского декрета Гарибальди от 2 июня, устанавливавшего раздел домениальных земель и их раскладку по жеребьевке с особым предпочтением для волонтеров — участников освободительной войны, крестьянское движение разрослось до требований о восстановлении сервитутных прав, о возвращении узурпированных домениальных земель, о немедленном выполнении декрета диктатора. Таким образом, «повстанческие отряды,— справедливо отмечает Мольфезе,— после того как кончились партизанские операции против бурбонских войск, считали теперь своей главной задачей возглавлять и поддерживать подобные выступления» [1]. Так наступил критический момент сицилийского восстания. На деле сами гарибальдийцы — будь то умеренные или демократы — не склонны были выступать против владельцев латифундий либо потому, что это не соответствовало их взглядам и интересам, либо потому, что они считали подобную политику несовместимой с курсом на совместные действия с Пьемонтом и способной помешать достижению национального единства. Впрочем, даже крайние демократы-республиканцы, вступив на путь борьбы под лозунгом «Италия и Виктор Эммануил», вынуждены были подчиниться и покорно следовать политике Гарибальди и «Национального общества». Поэтому если народное движение в Сицилии и было в 1860 году более широким и всеобщим, чем в 1848 году (среди крестьян оно было и более сознательным с точки зрения понимания своих собственных классовых целей), то, пожалуй, еще ярче, чем в 1848 году, обнаружилось отсутствие у него радикального руководства [2]. К тому же действия отрядов, которые со всей очевидностью вдохновлялись социальными мотивами и интересами, встречали у военачальников гарибальдийской армии неизменно враждебное отношение. Даже те патриоты-демократы, которые понимали причину этого взрыва и оправдывали его, не решались поддержать отряды из страха подорвать солидарность патриотического фронта. Таким-то вот образом дело и дошло до военно-полевых судов, до расстрелов руководителей крестьянских выступлений против землевладельцев.

---

[1] „La Croce di Savoia", Palermo, 19 giugno 1860.

[2] F. Guardione, I Mille, Palermo, 1913, p. 145.

---

[1] F. Molfese, op. cit., p. 3.

[2] F. Guardione, Saverio Friscia, Napoli, 1913. Особенно проницательный анализ классовых отношений на Юге в последние три столетия дает Р. Виллари (R. Villari) в своей работе «Mezzogiorno e contadini nell'età moderna», Bari, 1961. А. Лепре продолжил и углубил этот анализ (в части, касающейся санфедизма, кризиса 1806 года, классового содержания карбонарского движения), придя в конце концов в своей рецензии на книгу Виллари (A. Lepre, Ancora sul Mezzogiorno e contadini, в «Società», dicembre, 1961, p. 945—956) к выводам, которые аналогичны нашим. Что касается важных замечаний Виллари и Лепре, увидевших свет уже после того, как эти страницы были напечатаны, то мы отсылаем к ним читателя, сожалея, что у нас нет возможности более широко обсудить их в этой книге По этому вопросу см. также R. Colapietra, Mezzogiorno e contadini nell'età moderna, в „Società", 1961, p. 574—593.

Трудно сказать, в какой степени разочарование, пережитое крестьянами Сицилии, оказало влияние на ориентацию сельских масс континентального Юга. В Калабрии еще наблюдался некоторый крестьянский, народный порыв. Но инициативу в континентальных районах Юга, во всяком случае, прочно захватили в свои руки крупные землевладельцы, и разрыв между ними и массами крестьянства ощущался более остро. Меры, принятые Гарибальди после вторжения в континентальную Италию (отмена налога на помол всех зерновых, кроме пшеницы; снижение вдвое цены на соль, а на плоскогорье Сила бесплатное осуществление сервитутных прав на посев и выпас на домениальных землях), в сущности, имели своей целью скорее нейтрализацию этих масс, чем удовлетворение их вековых требований. Дальнейшее продвижение гарибальдийской армии население по-прежнему встречало с радостью и энтузиазмом (особенно в городах), но все это было далеко от примера того самоотверженного, героического участия в восстании, который явили крестьянские массы Сицилии. К тому моменту, когда Гарибальди вступил в Неаполь, деревня (мы не касаемся восторженного приема, оказанного ему в столице) относилась к этим событиям уже почти безразлично, и вскоре применение бурбонским правительством «галицийских» методов [1] в крестьянском вопросе позволило ему использовать *против* Гарибальди и его армии крестьянские мятежи в Терра ди Лаворо, в Абруццах, Саннио и Молизе. Нет никакого сомнения, что Кавур лицемерил и сознательно пытался чрезмерно сгустить краски, когда называл гарибальдийскую диктатуру «гнездом красных республиканцев и демагогов-социалистов» [2].

* * *

Итак, мы подошли к концу нашего рассказа. Нужно ли во что бы то ни стало завершать его заключением? Разве факты сами по себе не являются заключением?

[1] Имеются в виду методы, применявшиеся австрийскими властями в Галиции. В 1846—1848 годах во время польского национально-освободительного движения австрийские власти использовали против польских помещиков недовольство украинских крестьян, провоцируя даже их восстания.— *Прим. ред.*

[2] В 1861 году обстановка в Сицилии ухудшилась настолько, что часть отрядов, героически сражавшихся в 1860 году с оружием в руках против Бурбонов, восстала против унитарного правительства. Особенно тяжелый оборот приняли события в районе Кастелламмаре-ди-Алькамо, в провинции Трапани.

Как же оценить главных действующих лиц Рисорджименто: Мадзини, Гарибальди, Пизакане, Каттанео, Кавура? Как следует оценить соотношение сил умеренных и демократов? В какой мере демократы действительно искали поддержки крестьянских масс?

Гарибальди вошел в историю в ореоле народной любви и признательности; ни один другой участник национальной эпопеи не пользовался такой любовью. Это объясняется его героизмом, его бескорыстием, его великодушием. Но какой бы аспект — дипломатический или революционный — движения за национальное объединение мы ни взяли, это политическое движение, а не турнир великодушия. Оно сопровождалось поэтому жестоким, бурным столкновением идей, а также интересов. До какой степени отдавали себе в этом отчет Гарибальди и Бертани в период подготовки и осуществления экспедиции «тысячи»? В общем, если мы действительно хотим прийти к какому-то определенному заключению, нужно уметь заставить молчать собственные чувства и хладнокровно задать себе вопрос: какую задачу ставили перед собой Гарибальди и его соратники, отплывая из Кварто?

Иными словами, *действительно* ли хотели Гарибальди и его соратники объединения Италии под эгидой Пьемонтской монархии, провозглашая лозунг «Италия и Виктор Эммануил»? Даже если их толкала на это суровая, неблагоприятная действительность (раздробленность и слабость демократического движения, трудное международное положение, отсутствие собственных боеспособных вооруженных соединений, нехватка оружия, средств и т. д.), история неотступно стояла перед ними, напоминая о том, какова эта монархия на самом деле, даже в ее либеральном и модернизированном обличье. Значит, тот, кто провозглашал этот лозунг, внутренне уже примирился с существовавшим положением, которое — независимо от того, назовем ли мы его прекрасным или уродливым,— было единственной реальностью в тот момент и которое в любом случае никак нельзя было считать ни демократическим, ни либеральным (по крайней мере без серьезных оговорок).

Или же Гарибальди и гарибальдийцы рассматривали единство действий с умеренными как временное соглашение, то есть такое, в ходе выполнения которого они оставляли за собой свободу действий в выгодный для них момент? Но тогда при наступлении этого благоприятного момента они должны были бы, невзирая на все трудности, энергично и без особой щепетильности извлечь на свет свой собственный военный

и политический план, дабы восторжествовать над Пьемонтской монархией.

Или же (и эта третья гипотеза как раз имеет некоторое реальное основание) Гарибальди, Бертани и их ближайшее окружение думали, что лозунг «Италия и Виктор Эммануил», конечно, означает конституционно-монархическую Италию, но такую, однако, которая будет считаться с великим вкладом демократических сил, даст определенные демократические гарантии и допустит некоторые демократические формы и институты, признав принципы волонтерства, гарибальдизм и многие, многие другие вещи. Но здесь мы возвращаемся ко второй гипотезе. Во-первых, ничего не было заранее предрешено, не существовало никакой предварительной договоренности. Во-вторых, когда одна партия заключает политический компромисс с другой партией, она должна прежде всего держать наготове средства, способные заставить партнера выполнять условия соглашения; политические компромиссы, как и все имеющее отношение к политике,— это не турниры великодушия и благородства, но столкновение (а следовательно, и равновесие) интересов и сил. Между тем приходится отказаться от мысли, будто у гарибальдийцев существовал хоть какой-то социально-политический и военный план достижения подобной цели, велась хоть какая-то подготовка и организация сил, которые позволили бы навязать Пьемонтской монархии определенное равновесие социально-политических сил.

Истина состоит в том, что гарибальдийская группа не имела подобного плана. Самое большее, что она сделала,— так это приняла тот минимум мер, на которые вынуждали сами обстоятельства. Все внимание гарибальдийцев, все их усилия были сосредоточены на немедленной организации армии в несколько десятков тысяч человек, которая смогла бы разбить войска Бурбонов — и это было нешуточное дело Все делалось наспех. Мак-Смит прав, когда отмечает, что «полдюжины, или около того, правительств, которые он (Гарибальди) назначил на Юге, либо целиком состояли из умеренных, либо в лучшем случае включали лишь незначительное число радикалов» [1]. Попытка Гарибальди назначить продиктатором в Неаполе Паллавичино — который, кстати, отнюдь не принадлежал к числу крайних демократов — вовсе не являлась результатом заранее составленного плана, она не была подкреплена военно-политическим нажимом, а потому окончилась

[1] D. Mack-Smith, Garibaldi e Cavour, Torino, 1958, p. 452.

единственно возможным образом — ничем. Истина заключается в том, что то была когорта благородных патриотов и героев, но не политиков. Они думали о создании *единой Италии*, и это казалось им — да и было в действительности — высоким подвигом. Все остальное представлялось им в розовом свете, если эта героическая попытка увенчается успехом. Прежде всего — Италия, а там будет видно. Что же иное можно было ожидать увидеть, как не то, что и произошло в действительности?

Ко всему сказанному следует добавить, что, конечно, не все гарибальдийцы последовали бы за Гарибальди, если бы идейный конфликт грозил обернуться открытым столкновением противостоящих сил. Многие из его последователей — у нас уже была возможность отметить это — были убеждены, что без Пьемонта ничего не удастся добиться; сам Гарибальди, впрочем, способствовал распространению подобного убеждения. Эта идея была широко распространена даже в Сицилии, где в прошлом были исключительно сильны радикальные настроения. Мог ли Гарибальди в случае обострения конфликта рассчитывать на своих заместителей: Медичи, Биксио, Козенца (о таких людях, как Ла Фарина, Паллавичино, нечего и говорить)? Кто пошел бы за ним, решись он на проведение более радикального курса? Нельзя сказать, чтобы среди преданных ему людей было много таких, кто побуждал бы его действовать более смело (мы имеем в виду не рядовых членов, а средние и влиятельные кадры бывшей «Партии действия»).

Среди радикалов выделялась группа во главе с Филиппо Де Бони, объединившаяся вокруг газеты «Пополо д'Италиа»; газета пропагандировала ассоциацию, которая была бы «сообществом свободных людей, способным сохранить *инициативу* за народом» [1]. Де Бони заявлял, что всякая революция — это «проблема улучшения моральных и материальных условий жизни народа, в противном случае это безнравственная ложь», и считал, что сопротивление пьемонтской политике следует оказывать не только в военно-политическом, но и в социально-экономическом плане. В номере от 4 ноября он напоминал: «Гарибальди еще не исчез с политической арены. Виктор Эммануил еще не вступил в Неаполь. Армия Южной Италии еще не распущена». Вокруг Де Бони стояли Дзуппетта, Риччарди, Фриша, Фанелли и немногие другие. 17 сентября 1860 года, то есть до того, как определилось дальнейшее раз-

[1] „Il Popolo d'Italia", 3 novembre 1860.

витие событий, Бенедетто Музолино также написал Гарибальди, недвусмысленно давая ему понять, что, *«как бы ни повернулись события,* он может рассчитывать на три батальона калабрийцев, находящихся под его командованием и влиянием» [1]. Музолино, по правде говоря, сделал больше: когда Гарибальди был еще в Сицилии, он сообщил ему содержание секретного документа, неведомо как полученного им из Парижа от одного его друга, работавшего во французском министерстве иностранных дел. Из документа явствовало, что граф Кавур вел переговоры с Францией с целью добиться свободы рук в Центральной Италии и Неаполитанском королевстве. В обмен Кавур готов был уступить Франции или Геную, или остров Сардинию. Документ, который Музолино передал Гарибальди, стал известен Мадзини и вызвал протест Комитета по обеспечению Палермо [2]. Мадзини отнесся к документу с полнейшим доверием; он написал Музолино письмо, в котором, в частности, процитировал депешу лорда Джона Рассела от 22 мая 1860 года сэру Джеймсу Хадсону в Турине. В депеше дословно было сказано следующее: «Я не скрою от графа Кавура настойчиво циркулирующий слух, согласно которому в случае дальнейших территориальных приобретений Пьемонта Франция потребует и сардинское правительство согласится уступить Геную или остров Сардинию — или обе эти территории — Франции. Передача Генуи полностью ликвидировала бы независимость Италии. Передача острова Сардинии привела бы к серьезному нарушению равновесия сил в Средиземноморье... перед лицом дальнейшего расширения французской территории Европа не может оставаться безразличной». Депеша Рассела Хадсону требовала, в сущности, чтобы Кавур взял на себя обязательство не делать больше территориальных уступок [3]. Сам Фабрици был в числе тех, кто испытывал горечь и нерешительность. Но решился бы он выступить в поддержку крайних тезисов? [4] Пило уже не было, но Коррао во главе сохранившегося ядра пиччотти готов был следовать за Гарибальди хоть в преисподнюю. Целая группа патриотов, наконец, чувствовала себя еще очень связанной с республиканской доктриной и настаивала на проведении более энергичной политики. Но в общем и целом численность, влияние, боеспособность всех тех, кто помышлял о каком-то сопротивлении пьемонтскому засилью (даже если приведенные нами имена составляют еще далеко не полный список), свидетельствуют о том, что сила группы, которая могла бы потребовать в последний момент самостоятельной и решительной демократической политики, была весьма относительной. Истина такова, что демократы, если они желали придать силу и самостоятельность своим действиям, должны были углубить крестьянское движение в Сицилии, поддержать его, пока еще было не поздно, с тем чтобы потом распространить его на области континентального Юга. Вместо этого крестьянское движение было подавлено или в силу заведомой враждебности к нему, или из страха нанести ущерб объединительному движению. Когда гарибальдийцы вышли к Вольтурно, их отношения с крестьянскими массами были уже совсем не те, что в самом начале. В деревнях уже начинались санфедистские выступления против армии волонтеров.

На какие же социальные силы мог бы опереться Гарибальди, чтобы успешно сопротивляться давлению Пьемонта? Обратиться в последнее мгновение к Мадзини? Но каким весом обладал тогда Мадзини, со своими изолированными группками ремесленников и рабочих? С другой стороны, если Гарибальди не обратился к Мадзини раньше, то безумием было просить о помощи в последний момент, когда партия уже заканчивалась проигрышем. Это значило бы лишь позволить противнику раздавить себя с большей легкостью и окончательно. Это означало бы, возможно, даже срыв объединения и, уж наверняка, ликвидацию тех демократических позиций, которые гарибальдийцы все же сумели завоевать в ходе борьбы за воссоединение. Таким образом, Гарибальди не без оснований отправился на Капреру. Завоеванное им идейное достояние оставалось при этом нетронутым, а вымаливание для гарибальдийцев признания, щедро оплаченного

---

[1] Carte Musolino, Pizzo Calabro.

[2] G. Mazzini, vol. LXIX, p. 199 sgg.

[3] Carte Musolino, Pizzo Calabro. Письмо Мадзини к Музолино от 19 февраля 1861 года.

[4] 9 мая 1861 года Фабрици спрашивал у Мадзини совета вступать или не вступать ему в регулярную армию? См. E. Casanova, Professioni di fede de N. Fabrizi, в «Rassegna Storica del Risorgimento», p. 385 sgg. «Было время, когда ты был полезней как независимый конспиратор,— писал Мадзини Фабрици.— Сегодня обстоятельства переменились. Взвесь также настроения на Юге. Если бы ты предвидел, что в один прекрасный день вспыхнет сепаратистское движение, не бурбонское и не мюратистское, но радикальное, антиправительственное, такое, которое, даже не будучи вызвано нами, заставило бы нас встать во главе его, дабы сохранить его для единства, представленного другим правительством,— тогда ты должен был бы беречь свою свободу от каких бы то ни было уз. Если же ты предвидишь лишь медленный прогресс, тогда важно, чтобы армия была как можно больше проникнута итальянским духом, идеями свободы, и в этом случае твое присутствие есть благо».

кровью, становилось не столь трудным — хотя все же трудным — делом С другой стороны, убедившись, что святые права гарибальдийцев не могут покоиться на силе, но лишь на их моральном престиже, какой иной путь он мог избрать? [1]

А как же следует оценить политику крайне левого крыла «Партии действия» Мадзини, Пизакане и их ближайших последователей? Здесь дело куда сложнее, и именно в этом вопросе следует, пожалуй, вспомнить и поспорить о тезисах Грамши о Рисорджименто [2].

Какова доля истины в утверждении, будто Грамши видел в Пизакане патриота, способного направить Рисорджименто по более последовательному пути, поскольку он выдвигал в качестве основной задачи демократов аграрную революцию? Право же, нам кажется, что Грамши нельзя приписать ни такую оценку Пизакане, ни такое толкование движения за объединение Уравнение Рисорджименто — несостоявшаяся аграрная революция (по крайней мере в столь категорических выражениях) скорее приписывается Грамши, чем действительно принадлежит ему Грамши считал (и это другой вопрос), что «Партия действия» настолько подчинила себя умеренным, что не проводила самостоятельной политики. Дело в том, что у «Партии действия» не было дисциплины, присущей в большей или меньшей степени современным партиям, в партии, понимаемой в широком смысле, каждый говорил и действовал по-своему, зачастую в противоречии с другими Таким образом, в ней были люди, которые полностью подчинились умеренным, люди, которые подчинились в меньшей степени, и люди, которые пытались совсем не подчиняться Следовательно, когда Грамши утверждает, что даже Мадзини чересчур подчинился умеренным, он разделяет убеждение, которое в свое время было столь дорого Сальвемини, но которое не совсем обоснованно Мы попытались уже детально проанализировать, *как* и *насколько* этот тезис соответствует фактам Разумеется, деятельность Мадзини не всегда была прямолинейной, его надклассовость толкала его в иные моменты — например, в 1850—1851 годах — на проведение политики, которую можно было бы истолковать подобным образом; но нельзя сказать, что основное направление, в каком развивалась его политика, состояло в *действительном* подчинении умеренным В самом деле, когда Виктор Эммануил говорил, что «Партия действия» у него «в кармане», он имел в виду не Мадзини, а Гарибальди Конечно, объективно существовала тенденция к подчинению, однако ядру демократической партии удалось избежать его

История Рисорджименто — это чрезвычайно богатая и сложная история, охватывающая длительный период (многие десятилетия), насыщенный противоречиями, переворотами и в том числе внезапными изменениями политических позиций; чересчур синтетическое, чересчур обобщающее суждение о Рисорджименто неизбежно рискует оказаться неполным, не учитывающим всех сторон действительности Грамши, однако, в другом месте уточняет свою мысль и пишет: если бы «Партия действия» сумела постоянно (а не только эпизодически) выступать в качестве самостоятельной силы, если бы она включила «в свою программу определенные народные требования (например, требование аграрной реформы)», тогда она «смогла бы по крайней мере придать движению Рисорджименто более отчетливый народный и демократический характер (большего здесь, вероятно, нельзя было бы достигнуть при тех предпосылках, которые легли в основу самого

---

[1] По поводу запутанной и противоречивой политики Гарибальди в августе — сентябре 1860 года см письма Ф Де Бони Георгу и Эмме Гервег, опубликованные Ф Делла Перута в исследовании «Democratici italiani e democratici tedeschi di fronte all'unità d'Italia (1859—1861)» («Annali Feltrinelli», 1960, p 11 sgg) Особенно характерно письмо Де Бони от 29 сентября 1860 года « Здесь сейчас Каттанео, Мадзини, Феррари, Саффи и многие другие, кто составляет цвет нашей интеллигенции, все готовы поддержать Гарибальди Он никак не использует их, порой он выслушивает их советы, а потом делает все наоборот, или же если он обещает что то, то через два часа меняет намерение и поступает прямо противоположным образом Партия против Кавура проиграна, национальное объединение в данный момент — также проигранное дело, движение, возможно, замрет на несколько месяцев Это зрелище достойно слез Гарибальди может все и рушит все На словах он говорит, что он против Кавура, а его министры — друзья Кавура Он бранится последними словами по поводу продажи Ниццы и не жалеет сил чтобы совершилась продажа другой провинции Сейчас ничего нельзя сделать без Гарибальди, а с Гарибальди все рискует провалиться, само его всемогущество приносит вред Он хотел двинуться на Рим, но достаточно одного письма от короля, что бы остановить его,— от короля, который неискренен с ним, как и со всеми Какова позиция генерала? Он подарит две короны В [иктору] Эм [мануилу] Даритель оказывается чересчур великим я не вижу для него иного выхода, кроме Капреры » (p 100) Суждение Де Бони о Гарибальди совпадало, иначе говоря, с мнением подавляющего большинства руководителей демократов большой рыцарь, героический боец, талантливый военачальник, простой, добрый и, следовательно, популярный, более чем кто-либо иной, но, конечно же, не политический деятель, способный с успехом вести партию в такой сложной и трудной обстановке, как та, что сложилась летом 1860 года Относительно слабых политических способностей Гарибальди см A Gramsci, Il Risorgimento, p 186

[2] Примером правильного истолкования тезисов Грамши о Рисорджименто могут служить три уже вышедших тома «Истории современной Италии» Дж Кандеторо

движения)».[1] Вот то, что с чувством меры, равновесия пишет Грамши

Грамши, иначе говоря, ясно видел, что в тот исторический период, в той определенной международной обстановке, при тех национальных и классовых предпосылках, которые лежали в основе движения, Рисорджименто, возможно, могло получить «более отчетливый народный и демократический характер», если бы были осуществлены некоторые условия, даже с учетом того, что «большего здесь, вероятно, нельзя было бы достигнуть». Таков основной тезис Грамши о Рисорджименто

Следует перечитать «Замегки о Макиавелли», в которых заключена суть грамшианского толкования Рисорджименто. Грамши рассматривает в них антитезу Кавур — Мадзини, антитезу «пассивная революция, позиционная война» — «народная инициатива, маневренная война». Что же он говорит? Он говорит, что если бы Мадзини «был реальным политиком, а не апостолом-просветителем (иначе говоря, если бы Мадзини не был Мадзини), то равновесие сил, возникшее в результате слияния деятельности двух направлений [то есть умеренных и демократов], было бы иным, более благоприятным для мадзинизма; иначе говоря, итальянское государство было бы основано на более современной, а не на столь отсталой базе»[2].

Грамши, иными словами, считал, что демократическая партия, будь она более реалистичной, более сплоченной, могла бы привести к «равновесию сил, возникшему в результате слияния деятельности двух направлений [то есть умеренных и демократов] . более благоприятному для народных сил». Это тем более верно, что, разъясняя более пространно свою мысль, Грамши добавляет «Излишне говорить о том, что для выполнения подобной исторической задачи было необходимо решительное вооруженное восстание народа, идеей которого был совершенно одержим Мадзини. Но это как раз означает, что он подходил к организации такого восстания не как реалист, а как миссионер-апостол.

Вмешательство народа, которое тогда не могло вылиться в форму концентрированного и одновременно возникающего восстания, не приняло и «рассеянной», «капиллярной» формы

[1] A Gramsci, op cit, p 72 (см А Грамши, Избранные произведения в 3 томах, т III, М, ИЛ, 1959, стр 347—348)

[2] A Gramsci, Note sul Machiavelli, Torino, 1949, p 70 (см А Грамши, Избранные произведения, т III, М, ИЛ, 1959, стр 202).

косвенного давления, хотя такая форма была возможна и могла стать необходимой предпосылкой восстания»[1].

Что же касается Пизакане (который будто бы выступает как главный носитель вышеупомянутого уравнения Рисорджименто — несостоявшаяся аграрная революция), то Грамши неоднократно повторяет, что следовало бы «посмотреть» Пизакане, «изучить» Пизакане, но, за исключением замечаний о якобинизме Пизакане, о чем мы уже говорили, он не берется высказать окончательное суждение о нем В том месте, где он дает ему наиболее суммарную оценку, Грамши ограничивается следующими словами Пизакане «был единственным человеком, попытавшимся придать «Партии действия» не формальное, а истинное, глубокое содержание»[2],— имея в виду, очевидно, что концепция Пизакане принимала во внимание интересы сельских масс Но в другом месте Грамши замечает, что способ, каким Пизакане думал осуществить свою попытку, не мог не привести к ее провалу. Впрочем, Пизакане, добавляет Грамши, не представлял «антитезиса, преодолевающего традиционные позиции», в том, что касается вопроса о восстании любой ценой, характерного для мадзинистской программы. Более того, «в теории и на практике Пизакане довел эту мадзинистскую тенденцию до крайности».

Грамши, таким образом, приходит к выводу, что «следует сказать, что он [Пизакане] не представлял в Рисорджименто «реалистической» тенденции»[3]. Но что особенно следует отметить, так это то, что Грамши и в этих заметках о Пизакане возвращается к rorro unum (главному вопросу) своего анализа Рисорджименто, то есть к исследованию возможностей проведения в тех условиях *передовой* и в то же время *реалистической* политики,— возможностей, которые по тем или иным причинам остались не использованными руководителями «Партии действия», Мадзини, да и Пизакане тоже Иначе говоря, «Партии действия», по мысли Грамши, недоставало политической зрелости, она разрывалась между двумя противоположными крайностями (либо подчинение умеренным, либо восстание любой ценой, теория мученичества, революционные и почти анархистские озарения), будучи не в силах проводить политику народно-демократического характера, упорную и последовательную (включив в свою программу *некоторые* основные народные требования), то есть такую, кото-

[1] A Gramsci, op cit, p 71 (русское издание — т III, стр 204)

[2] A Gramsci, op cit (русское издание — т III, стр 204).

[3] A Gramsci Il Risorgimento, p 116 (русское издание — т III, стр 406)

рая придала бы партии реальный вес и, следовательно, могла бы серьезно обусловить политику самих умеренных.

Это весьма проницательное замечание Грамши касается лишь одной стороны реальной действительности. Как же следует оценивать в связи с этим Мадзини и мадзинизм? Одна из главных заслуг Мадзини (которому помогали лишь немногие верные сторонники) заключалась в том, что вопреки всему он был главным элементом единства и сплоченности нашей демократии. Без него, нет сомнения, распад был бы молекулярным, полным. Но в то же время — и в этом состоит противоречие — своеобразие идей Мадзини было настолько велико, настолько трудно было их усвоить большинству, что его взгляды сами по себе служили постоянным поводом для споров, полемики, а следовательно, и для размежевания, независимо от проводившейся им политики, которую, впрочем, многие также встречали в штыки (и по многим причинам, из которых не последней было его неверие в возможности Юга). Иначе говоря, Мадзини, с одной стороны, объединял, а с другой — не только разъединял, но и обострял до парокси́зма процесс внутреннего размежевания, раскола, разложения *«Партии действия»*. Правда, *этот процесс был не прямолинейным*, а довольно дифференцированным. С 1832 по 1848—1849 годы Мадзини, несомненно, действовал *преимущественно* как сила, объединяющая и сплачивающая демократическое движение, как сила обновления и омоложения Начиная с 1850—1851 годов он сталкивается со все большими трудностями при выполнении тех функций, которые сделали из него в прошлом неоспоримого вождя партии.

Разумеется, само подразделение политического пути Мадзини на два отдельных периода (*до* и *после* 1848—1849 годов), на протяжении которых его влияние и функции были весьма различны, не следует понимать столь схематично и упрощенно, ибо даже в первый период (1832—1849) деятельность Мадзини имела и отрицательные стороны. Конечно, Мадзини обновил старый мир итальянских тайных обществ, вдохнул в него новую энергию, дал новые импульсы, указал новые пути. Но все ли его нововведения были положительными? И не таился ли уже в них зародыш того тяжелейшего кризиса, который стал особенно очевидным после поражения революции 1848 года? Нет никакого сомнения, что для дальнейшего движения вперед нужно было преодолеть принципы и методы карбонарской организации, основав демократическую партию, соответствующую требованиям политической действительности, враждебной отныне методам тайных обществ. Разумеется, надо было объединить демократов в новую, широкую, открытую партию. Но значит ли это, что нужно считать положительным актом демократической партии и то, что она отбросила прочь ценный опыт, накопленный карбонариями Королевства обеих Сицилий в области определенной политической организации широких сельских масс — первый опыт такого рода в истории Италии? И не усугубил ли еще более эту политическую линию Мадзини своим непониманием и недооценкой Юга, своим почти непрерывным противодействием «инициативе Юга»? Следовательно, Маркс был прав, усматривая в отрыве «Партии действия» от крестьян одну из объективных причин ее слабости. Совершенно очевидно, что в таком же смысле следует понимать и замечания Грамши (которые, кстати говоря, он высказывал с осторожностью, о чем всегда нужно помнить). Сам союз Мадзини — Пизакане в 1856 году в силу тысячи и одной причины не компенсировал и не мог компенсировать этой слабости демократической партии, ибо это было поспешное соглашение, заключенное в последний момент (и в весьма своеобразной ситуации), а не глубокое решение партии, вытекающее из ее программных установок и соответствующее ее политическому курсу на протяжении длительного периода времени. То было лишь кратковременное тактическое соглашение, при котором принципиальные идейные позиции двух сторон оставались далекими, более того, в некоторых аспектах даже диаметрально противоположными.

В сущности, даже в период 1832—1849 годов многие демократы враждебно относились к проникнутым мистикой идейным концепциям Мадзини. Правда, вначале расхождения казались не слишком серьезными. Главным считали обновление партии. Впрочем, как мы уже видели, Бьянко ди Сен-Жорио, Бини, Ла Чечилья, Гверрацци, Фабрици, то есть первые соратники Мадзини, посмеивались над его мистической экзальтацией как над модой века, немного нелепой, но, в сущности, не приносящей вреда. Этот смех, однако, не предвещал ничего хорошего. Могло ли подобное положение долго продолжаться? Год или два люди улыбались, но после пятнадцати-двадцати лет непрерывной исступленной проповеди в мистико-пророческом духе они уже были сыты этим по горло. С другой стороны, время шло и демократы все более убеждались, что этот мистицизм был у Мадзини не данью романтизму той поры, но представлял собой нечто существенное и серьезное: иначе говоря, концепцию, которая целиком определяла его мышление. После этого неизбежно

должны были обнаружиться глубокие разногласия. Дело дошло до того, что, убедившись в невозможности вырвать партию из-под руководства Мадзини, многие демократы в конце концов предпочли светскую конституционную монархию, живую и современную, довольно туманной республике мистико-теократического типа. Таким образом, те особенности мадзинизма, которые, казалось, еще можно было более или менее терпеть до 1848—1849 годов, стали совершенно невыносимыми в последующие годы.

Когда, следовательно, говорят, что «Партия действия» должна была бы проводить передовую и вместе с тем реалистическую политику, то необходимо учитывать, что проведение подобной политики предполагает прежде всего наличие единой демократической партии (надежда, которая со временем становилась все более призрачной), а также некоторого идейно-политического единства, которого на деле совершенно не существовало. В тех суровых условиях, в каких вынужден был работать Грамши, он постепенно, шаг за шагом, приближался к осознанию этого фактического положения вещей по мере того, как он вновь и вновь возвращался к проблемам Рисорджименто, продвигаясь все дальше в своем анализе, подобно любому другому историку. Мы уже указали, во всяком случае, конечный результат его анализа — а только он один и имеет значение. В общем, Грамши считал, что в Италии 1850—1860 годов главная проблема заключалась, конечно, не в осуществлении анархистско-социалистической революции — о чем страстно мечтал Пизакане — или даже такой буржуазно-демократической революции, которая бы оказалась способной не только свергнуть абсолютизм и чужеземное иго, но и раздавить умеренных, устранив их с политической арены или поставив их в подчиненное положение: подобная программа выглядела достаточно фантастической и нереальной при существовавшем тогда соотношении сил. Однако бороться за руководящую роль, с тем чтобы заставить почувствовать всю значимость вклада демократов в национальное объединение; бороться, дабы под конец, возможно, даже пойти на соглашение с умеренными, но таким образом, чтобы добиться более благоприятной ситуации для народных масс,— это, пожалуй, было возможно и в рамках национально-буржуазной революции — такова мысль Грамши. «Партия действия», однако, не сумела достичь этой цели.

Грамши хорошо понимал, что Италия — это не Франция и что 1860 год — это не 1793-й. Во Франции якобинцам удалось в течение непродолжительного времени удерживать власть с помощью террора. Но Франция к тому времени уже несколько столетий была единой нацией, а не смешением государств, только что объединенных в одно. Париж уже тогда был крупным производственным центром, насчитывавшим огромное число трудящихся — ремесленников и рабочих мануфактур,— и этот центр играл господствующую роль в политической жизни страны. Италия же была еще арифметической суммой маленьких государств, которые впервые пытались объединиться (демократы-федералисты к тому же отрицали пользу и возможность централизованного объединения, поощряя тем самым — хотели они того или нет — центробежные тенденции). В Италии не только не существовало такой столицы, как Париж, являвшейся законодателем в социально-политической области, но сама будущая столица находилась во власти папства; это обстоятельство не только все усложняло, но и заставляло отодвигать на второй план проблему национальной столицы (да и делало ее довольно трудной).

Франция не только существовала уже несколько столетий как единая нация, но и занимала сильные международные позиции, которые могло бы сохранить и революционное правительство. Итальянские же государства, напротив, веками находились в зависимости то от одной, то от другой иностранной державы, и было просто чудом, что Кавуру удалось в решающие для национального объединения годы проводить сравнительно независимую внешнюю политику. Иной был даже уровень социально-политического развития сельских масс: во Франции они не только в 1789 году, но и на протяжении нескольких веков неоднократно, можно даже сказать, всякий раз, когда наступал важный момент в национальной жизни, участвовали в политической борьбе, следуя за буржуазией, но пытаясь в то же время (в пределах своих возможностей) отстаивать и собственные интересы. Союз буржуазии и крестьянства во Франции имел, следовательно, прочные и давние исторические традиции. В Италии же дела обстояли совсем иным образом, так как третье сословие всегда боялось призвать на помощь крестьянские массы. Вот почему такой человек, как Мадзини, который действительно был апостолом-просветителем, но притом не лишен был политического чутья, даже борясь за победу «Партии действия» и веря в эту победу, сознавал, что положение республиканцев, крайних демократов в Италии довольно трудное, и считал, что, даже если им удастся одержать победу, она будет весьма непрочной. Отсюда его призывы к единству демократов, к революци-

онной инициативе, к героизму, самопожертвованию и даже к сверхъестественной божественной помощи Отсюда и его тактическое, утилитарное приспособление к умеренным в те моменты, когда они обнаруживали тенденцию к проведению более активной, боевой политики Мадзини не мог не учитывать этого не только потому, что многие из его партии считали, что без единства патриотических сил победа невозможна, но и потому, что не хотел оставаться в стороне от национального движения Поэтому его борьба за демократическую Европу, за «Молодую Европу» была борьбой не только за утверждение принципа, но и за нечто более конкретное Если он настаивал с таким упорством на необходимости установления связей с европейскими демократами, то для того, чтобы с помощью Европы, с помощью восстаний во Франции, Германии и особенно в Венгрии и Польше преодолеть внутреннюю слабость итальянской «Партии действия». Вот почему итальянские демократы — не все, но многие — возлагали столько безмерных надежд на весьма маловероятную победу демократии во Франции в 1850—1851 годах Вместо этого произошел государственный переворот Луи Бонапарта, который, подобно могильному камню, придавил надежды демократов.

После 2 декабря 1851 года с каждым годом становилось все более очевидным, что при тех внутренних условиях, которые существовали тогда в Италии, и при тогдашней международной обстановке радикальные цели были весьма трудно достижимы В самом деле, против откровенно демократической Италии ополчилась бы вся Европа Австрия воспользовалась бы этим случаем, чтобы сохранить свое господство на Апеннинском полуострове. Франция Наполеона III — новый, но не менее заклятый враг радикалов — получила бы возможность повести в Италии крупную игру Начиная с 1856 года царская Россия склонна была не препятствовать действиям итальянских умеренных (и это было крупным дипломатическим успехом), но при условии, что они будут сверхумеренными и дадут гарантии бороться против каких бы то ни было демократических решений Таким образом, в случае если бы крайне левое крыло одержало бы верх над умеренными, Россия также выступила бы в поддержку реакционных сил Даже Англия (как бы благожелательно ни была настроена ее общественность), будучи великой державой, занимала позицию, аналогичную позиции Австрии; вследствие этого она с предельной враждебностью относилась не только к демократическому решению, но и вообще к объединению Италии Правда, между великими державами существовали острые противоречия по поводу того, каким образом должна быть решена итальянская проблема Правда и то, что каждая из этих держав по-разному оценивала последствия того или иного решения итальянской проблемы для международных отношений Но если умеренные, направляемые таким искусным и лишенным предрассудков дипломатом, как Кавур, могли вбить клин в щель, образованную этими противоречиями, и использовать его как рычаг, то демократам, по вполне понятным причинам, было бы несравненно труднее проделать подобную операцию

Но, как говорит Грамши, даже в той трудной внутренней и международной обстановке, несмотря на тяжкое историческое бремя нашей отсталости, несмотря на нашу раздробленность, несмотря на внутреннюю слабость «Партии действия», все же можно было добиться — цитируя Грамши — «равновесия сил, возникшего в результате слияния деятельности двух направлений [то есть умеренных и демократов] . более благоприятного для народных сил» Состояние раскола и распада, в котором пребывала «Партия действия», социальные предрассудки, обусловливавшие ее деятельность, не позволили тем не менее достичь даже этого результата. Таков в конечном счете вывод Грамши.

Демократы (даже наиболее реалистически мыслящие, даже самые последовательные в борьбе против абсолютизма и в своей оппозиции к умеренным, даже Мадзини, даже Пизакане) смешивали осуществимые и конкретные цели с утопическими целями, в отношении которых даже бóльшая часть самих демократов придерживалась далеко не единого мнения. Либо они мечтали, подобно Мадзини, преодолеть классовый антагонизм и полагали, что среди итальянских патриотов объявится некий гений-пророк, способный воздвигнуть более или менее фантастический «идеальный город» — Италию и Европу будущего Либо они помышляли о реорганизации общества на основе эгалитаризма, сообразно с вечными законами природы Либо же они даже не знали, что думать и чего желать, кроме независимости от чужеземцев и свободы Даже в вопросе объединения — централизованного или типа федерации — демократы были расколоты и лишь снова и снова повторяли друг другу (то в порядке обмена обвинениями, то просто констатируя фактическое положение вещей), что если ранее не было известно, к какой цели стремиться, то впредь необходимо наконец со всей ясностью определить такую цель.

Бесспорно, начиная с 6 февраля 1853 года призыв к восстанию у Мадзини становится буквально наваждением он

понял, что времени терять более нельзя, ибо с каждым месяцем общая ситуация все больше приближала Италию к окончательному решению, а умеренные завоевывали все новые позиции как руководящая партия Однако достаточно ли этого, чтобы утверждать, будто Мадзини не был политиком реалистом?

В исторических условиях Рисорджименто быть «политиком-реалистом» представляло нелегкую задачу даже для руководителя либерально-умеренной партии, даже для Камилло Кавура (кроме врожденных способностей и закалки, он имел еще и возможность быть реалистом), который в решающие моменты тоже не раз оказывался на грани провала. Насколько же несравненно труднее было быть «политиком-реалистом» вождю партии, ставившей перед собой передовые и трудно выполнимые в итальянских условиях задачи,— демократической партии, разделенной к тому же на сотни группировок, без конца полемизировавших друг с другом, причем сами эти группировки без конца претерпевали непрерывные изменения В чем мог состоять политический реализм руководителя демократов?

Чтобы как следует понять, какую задачу призвана была решить в нашей стране «Партия действия», нужно хорошо представить себе Италию тех лет, от возникновения карбонарского движения и до 1848 года Это была суровая, трагическая Италия, страна, в которой даже самые стойкие революционеры были так придавлены, что переживали состояние депрессии, тоски, порою даже без проблеска надежды, ибо всякий порыв к свободе, всякую попытку возмущения немедленно топили в крови

Заслугой демократов, и особенно после 1830 года заслугой Джузеппе Мадзини, было то, что в эти годы они сумели зажечь огонь веры и неизменно поддерживали его Тогда реалистическая политика для демократической партии состояла в том, чтобы утвердить идею «итальянской инициативы», убедить людей в возможности и необходимости действовать, добиться того, чтобы жертва во имя родины и свободы была освящена как высшая доблесть, иными словами, создать партию, которая никогда не теряла бы мужества, не склонялась перед самой жестокой реакцией, не отступала ни перед какими препятствиями, никогда не теряла бы духа, даже в случае самого ужасного поражения, и в самые тяжелые и ужасные моменты сохраняла бы веру в победу

Не следует забывать, что наиболее образованные и просвещенные слои итальянского общества веками отучались от борьбы, от самопожертвования; эшафотов 1799 года и первых тайных организаций, первых битв было недостаточно для сформирования новой традиции, нового слоя революционеров Итальянцев нужно было научить (как это сделал Мадзини), что бессмысленно пробуждать мысль, если одновременно — действием — не пробуждается и воля Демократы, и Мадзини в первую очередь, в огромной степени содействовали воспитанию воли, характера, закалке итальянцев, они наново закаляли их в подпольных организациях, на эшафотах, на полях сражений Именно *они* сделали это, ибо *они были единственными, кто мог это сделать* (или, во всяком случае, могли сделать это несравненно лучше умеренных, озабоченных главным образом переговорами с европейскими дворами и правительствами).

Если бы эта героическая задача не была выполнена демократами, никакой д'Адзелио, никакой Кавур не создали бы никогда Италии.

Проведение демократами реалистической политики иного типа, если уж на то пошло, пожалуй, было возможно в период революции 1848—1849 годов, *когда обстановка столь* радикально изменилась, или в последовавшие за ней годы. Но после 1848—1849 годов демократы оказались неспособными существенно изменить ни свою политику, ни свои методы борьбы, ни формы связи с народными массами (шаги вперед в этой области, как мы уже сказали, были сделаны как раз Мадзини и Пизакане) С другой стороны, не было никакой возможности сменить руководителей (хотя такая потребность ощущалась очень и очень многими) Единственным новым руководителем, появившимся у демократов после 1848 года, был Пизакане, который вместо того, чтобы видоизменить и умерить мадзинистский курс на восстание любой ценой, еще более усилил его, хотя и попытался наполнить новым содержанием

Единственной группировкой, которая, руководствуясь в своих действиях не высокими политическими соображениями, а конкретными потребностями страны и здравым смыслом — мы могли бы даже сказать, инстинктом,— пошла по демократическому, реалистическому пути, была группа, сплотившаяся под началом Гарибальди (и то была не последняя причина ее огромной популярности). Но политическая ограниченность этой группы хорошо известна, и в решающий момент она слишком подчинилась Пьемонтской монархии Она не сумела поэтому использовать свою народную базу Это была к тому же *группа,* а не демократическая партия, хотя

ряды ее росли из месяца в месяц Как бы то ни было, ей не удалось создать собственной независимой организации, обрести самостоятельность действий, следовать действительно своему политическому курсу Поэтому события развивались так, как всем нам известно

Проницательно и чрезвычайно метко замечание Грамши о том, что «после 1848 года только умеренные выступили с критикой методов, бытовавших до поражения революции, и их лагерь в целом действительно подвергся обновлению был ликвидирован неогвельфизм, новые люди заняли важнейшие места в руководстве» Между тем «со стороны мадзинизма не последовало никакой самокритики, кроме ликвидаторской самокритики» [1]

Это создало положение, когда партия умеренных все более обновлялась и обогащалась за счет переходящих в ее ряды республиканцев, между тем как партия Мадзини, напротив, все больше застывала в старых схемах и слабела Единственной «ортодоксальной», как пишет Грамши, попыткой обновления, то есть попыткой, предпринятой в рамках самой демократической партии, были «Очерки» Пизакане, которые, однако,— добавляет Грамши — «так и не сделались платформой новой органической политики» [2] Да и как они могли стать ею? Грамши объясняет в другом месте, что это не могло произойти, так как Пизакане не был носителем реалистической политики Но, кроме этого, есть еще более решающее обстоятельство, помешавшее «Очеркам» сделаться платформой новой органической политики наиболее существенная часть их («Очерк о революции» и четвертый «Очерк») была опубликована лишь в 1860 году и, следовательно, стала известной тогда, когда игра уже была закончена и история произнесла свое неумолимое «ставки сделаны»

Истина истин состоит в том, что исторические и классовые основы, на которых возникла демократия в нашей стране, были столь слабы и противоречивы, что вся демократическая партия оказалась с результате дезориентированной, раздробленной, дезорганизованнои, она буквально распадалась поскольку сами ее группировки претерпевали бесконечные перемены Зачастую фракции и группы организовывались исключительно для проведения какои-то конкретной экспедиции или другого подобного предприятия После того как оно терпело провал, одни бросались вправо, другие оставались с левыми, третьи вообще отходили в сторону Сама мадзинистская группировка, которая благодаря усилиям Мадзини и некоторых из его приверженцев была, пожалуй, самым организованным ядром, переживала, по существу, непрерывный кризис, непрекращающиеся изменения А после июля 1857 года взаимные обвинения по поводу Сапри, еще более определенная позиция Гарибальди, Ла Фарина и той группы радикалов, которая приняла в конце концов лозунг «Италия и Виктор Эммануил», нанесли «Партии действия» как организованной партии смертельный удар В 1860 году единственной партией, претендующей на руководство движением,— единственной партией, достойнои этого названия по своей дисциплине, экономической и военно-политической силе, широте своих связей и относительному идеологическому единству,— была партия умеренных Самой трудной ее задачей было привести к повиновению и ассимилировать свое новое левое крыло, гарибальдийское и экс-мадзинистское, которое долго еще будет тяготеть к своему радикальному прошлому и проявлять стремления к самостоятельным и независимым демократическим действиям

Ромео в своем очерке «Марксистская политическая историография» [1] утверждает, цитируя Д Мак-Смита, что в 1860 году существовала конкретная и реальная демократическо-гарибальдийская альтернатива политике умеренных, и эта альтернатива могла бы даже одержать верх Но у Мак-Смита этот тезис выглядит весьма гипотетическим и осторожным (Мак Смит в действительности выявляет слабость и противоречия руководящего гарибальдийского ядра) Во всяком случае, Ромео упускает из виду, что именно этот тезис не противоречит тезису Грамши о Рисорджименто Более того, он скорее подтверждает мысль Грамши, ибо доказывает, по-видимому, что (несмотря на подчинение гарибальдийской группы умеренным) демократическая альтернатива могла бы стать «чем-то более реальным» (мы употребляем выражение Ромео), если бы участие народа проявлялось не от случая к случаю (в виде организованных выступлений небольших групп или крика «Да здравствует Гарибальди!»), но являлось бы фактором более стройной, более последовательной политики «Партии действия», проводимой на протяжении длительного времени и с большим учетом интересов народных масс

---

[1] A Gramsci Note sul Machiavelli, p 72 (русское издание — т III, стр 205)

[2] A Gramsci, op cit

[1] Romeo, La storiografia politica marxista, в „Nord e Sud", anno III № 21, agosto 1956, p 5—37 settembre 1956, № 22, p 16—44, перепечатано в „Risorgimento e Capitalismo", Bari, 1959

Но дело в том, что такой политики как раз и не было. Вот почему этот тезис, или, точнее, гипотеза, не опирается на факты.

Наконец, несколько беглых замечаний по поводу оценки итальянского объединительного движения Марксом и Энгельсом.

Кое-кто утверждает, якобы Маркс и Энгельс рассматривали итальянское национальное движение, делая особый упор на его радикальных возможностях. В какой мере подобное утверждение верно? Антонио Лабриола был прав, призывая изучать мысль Маркса в ее развитии и советуя держаться подальше от «мудрости в пилюлях», которую особенно любят те, кто привык нанизывать одну цитату за другой, словно перепелок на вертел. Лабриола говорил, что тот, кто «не в состоянии проследить это развитие, будет искать в таких фрагментах то, чего там нет и не должно быть» [1].

Всякий раз, когда речь заходит об оценке Марксом нашей демократии времен Рисорджименто, и особенно Мадзини, цитируют некоторые яркие выражения из его писем, например из знаменитого *письма* Маркса Вейдемейеру [2], не учитывая должным образом то, что всегда чрезвычайно важно для историка, то есть дату: 11 сентября 1851 года. Иначе говоря, Маркс в письме Вейдемейеру политически реагировал, и притом совершенно правильно, на два манифеста Мадзини — от сентября 1850 и сентября 1851 годов, первый — уже изданный и второй — обсуждавшийся в те дни Национальным комитетом (он был опубликован 30 сентября). Среди всех политических заявлений Мадзини эти два манифеста представляли, несомненно, самую решительную попытку примирения с умеренными, и потому в них межклассовая линия Мадзини выходила далеко за прежние рамки.

Именно эти два манифеста заставили Пизакане написать, что Мадзини в 1850—1851 годах сделался «покровителем богачей» (тем самым он воскрешал, но с еще большей силой, тот водораздел, который еще в 1832 году разделял Мадзини и бабувиста Буонарроти). Именно эти манифесты побудили Пизакане, Феррари, Де Бони, Чернуски, Макки предпринять лихорадочные переговоры с Каттанео, чтобы попытаться создать в Италии подлинную республиканскую партию, решительно нацеленную на глубокие социальные реформы, как думали одни, или даже на социальную революцию, как полагали другие. Так что эти манифесты заслужили не только суровую оценку Маркса, которую мы только что привели, но и вызвали подлинный бунт в рядах самих итальянских демократов.

Бóльшая часть самих мадзинистов взбунтовалась против своего вождя, обвинила его в оппортунизме, в джобертианстве, в капитуляции, в диктаторских методах (поскольку он наметил этот путь для партии не посоветовавшись с ними). В общем, нет таких жестоких и едких обвинений, которые письменно или устно не были бы брошены в те дни в лицо Мадзини. *Целиком* эти манифесты не встретили одобрения почти ни у кого из итальянских демократов. Даже те, кто согласился с ними, делали про себя оговорку, что речь-де идет не о подлинных убеждениях Мадзини, не о действительной программе итальянской демократии, но о спорной политической уловке в целях создания более широкого фронта.

Следовательно, наиболее передовая часть итальянских демократов (совершенно не зная мнения Маркса) уже давно была убеждена, что одна из причин слабости нашей демократии заключалась в позициях Мадзини, иногда примирительных и всегда надклассовых, и утверждала, что партии, для того чтобы быть подлинно демократической, нужно опираться на народные массы, а не на привилегированные слои. Передовая часть демократов утверждала это с такой настойчивостью, что в конце концов обусловила (в 1853 году и в дальнейшем) решительный переход на свои позиции самого Мадзини. Однако основная проблема, которая стояла в центре всех споров и для которой наши демократы не могли найти единого решения, состояла в другом: как сделать так, чтобы, не рискуя успехом борьбы за единство и независимость Италии, сохранить одновременно верность передовым социальным позициям?

Именно этот вопрос обусловливал все колебания и сдвиги то вправо, то влево, а затем снова вправо и снова влево. И человеком, который более, чем кто-либо иной, испытывал колебания, снова и снова выискивая в меняющейся действительности верную формулу, был именно Мадзини: от манифестов 1850—1851 годов он обратится к восстанию миланских рабочих 6 февраля 1853 года и политическому

---

[1] A. Labriola, Discorrendo di Socialismo e di Filosofia.

[2] См. К. Маркс и Ф. Энгельс, Соч., т. 27, стр. 506—508. «Политику Мадзини я считаю в корне ложной...— пишет Маркс.— Он забывает, что ему следовало бы обратиться к крестьянам, к этой веками угнетаемой части Италии, и, забывая об этом, он подготовляет новую опору для контрреволюции Но, несомненно, нужно много мужества, чтобы заявить буржуазии и дворянству, что первый шаг к независимости Италии состоит в полном освобождении крестьян и в превращении испольной системы аренды в свободную буржуазную собственность».

соглашению 1856 года с социалистом Пизакане, для которого национальная революция была синонимом крестьянской, социальной революции.

В той мере, в какой Марксу и Энгельсу удавалось следить и знакомиться с этими основными течениями в подпольной организации итальянских демократов, их суждения приобретали различную окраску, но их существо, разумеется, не менялось Так было с их оценкой Мадзини в 1853 году и затем с оценкой его отношения к войне в 1859 году.

Чтобы понять позицию Маркса и Энгельса по отношению к нашему Рисорджименто, нельзя за деревьями не видеть леса, нельзя забывать об их основной принципиальной позиции Могла ли их позиция в национальном вопросе быть более радикальной, чем та, которую марксисты занимают и поныне, во второй половине XX века (когда более трети человечества входит в социалистическую систему)? Нет и не было ровным счетом никаких оснований для того, чтобы эта принципиальная позиция носила в ту пору (ни мало, ни много в 1848—1860 годах) более крайний характер и притом именно в Италии, то есть в стране, где борьба за национальное объединение происходила с наибольшим запозданием, встречала наибольшие препятствия и была наиболее трудной.

Разумеется, Маркс и Энгельс надеялись, что в Италии умеренно-либеральное движение разовьется в сокрушительное демократическое движение (но, конечно, при условии, что такое движение не повредит основной цели, к которой стремились и демократы и умеренные. национальному единству и независимости). Маркс полагал, что итальянские демократы не обрели силы, потому что они не сумели либо из-за своей идеологической слабости, либо из-за своих классовых связей конкретно поставить вопрос о необходимости расширения и радикализации буржуазно-демократического движения путем участия в нем как можно более широких масс мелкой буржуазии вообще, крестьян в частности и, наконец, неимущих классов.

Маркс и Энгельс, таким образом, ставили целью своей критики подтолкнуть вперед нашу демократическую партию, но в то же время отдавали себе отчет в трудностях, на которые наталкивались наши демократы в попытках придать более отчетливый социальный характер национально-освободительному движению. Эти трудности были тем более велики, что речь шла о стране, где на пути к единству и независимости стояли огромные вековые препятствия (не последним среди них было существование светской власти пап) и где, следовательно, особенно опасны были внутренние расколы, способные ослабить национальный фронт.

Таким образом, и с точки зрения Маркса и Энгельса, социальный вопрос, каким бы важным и актуальным он ни был, следовало координировать и связывать с делом освобождения итальянского народа от абсолютизма, от власти пап, от иностранного господства.

«До тех пор пока отсутствует национальная независимость,— писал Энгельс Каутскому в 1882 году,— большой народ исторически не в состоянии даже обсуждать сколько-нибудь серьезно какие-либо внутренние вопросы»[1]. «Попробуйте представить себе,— писал Энгельс именно в предисловии к первому итальянскому изданию «Манифеста Коммунистической партии»,— какое-либо общее международное действие итальянских, венгерских, немецких, польских, русских рабочих при политических условиях, господствовавших до 1848 года!»[2] (А в Италии, можно добавить с полным основанием, вплоть до 1860 года)

После того как единство стало свершившимся фактом, обстоятельства, препятствовавшие более передовому демократическому решению социальных проблем нашего Рисорджименто, почти полностью отпали или, во всяком случае, отступили на второй план. Самопожертвование «Партии действия» не только послужило, таким образом, народно-демократическим катализатором для объединительного движения, но и создало условия для того, чтобы борьба за социально-экономическое освобождение трудящихся развивалась отныне с меньшими препятствиями и в совершенно других обстоятельствах. И действительно, когда объединение свершилось — даже еще до того, как Рим был провозглашен столицей Италии,— эта борьба обрела форму широкого, бурного, как половодье, потока, который ничто больше не в силах было задержать и отвлечь в сторону. Демократы, которым принадлежит заслуга придания движению Рисорджименто народного, а следовательно, не только *формально,* но и *по существу* национального характера, имеют перед Италией еще одну заслугу: они создали субъективные условия, благодаря которым трудящиеся массы города и деревни после воссоединения оказались подготовленными к осознанию собственных прав и к новой борьбе за признание и гарантии этих прав, к долгой, суровой борьбе, которая не закончилась и поныне.

[1] К Маркс и Ф Энгельс, Соч, т 35, стр 220
[2] К Маркс и Ф Энгельс, Манифест Коммунистической партии, М, Политиздат, 1963, стр 29

Голодные безземельные крестьяне Юга, которым Рисорджименто ничего не принесло (либералы, говорили им Бурбоны, «не оставят вам даже глаз, чтобы плакать»), предались разбойничеству — жестокая и примитивная, если вам угодно, форма возмущения и протеста, но исполненная большого значения. Впрочем, уже вскоре движение сицилийских фашо явило и на Юге первый пример крупных организованных мирных выступлений крестьянских масс, сопровождавшихся, правда, и взрывами ненависти. Организация рабочих в профессиональные союзы принимала все более широкий характер, причем уже не только в Милане, Генуе и Турине, но и в Неаполе, Палермо — во всех итальянских городах; они начинали бороться уже не только за интересы одной своей профессиональной категории, но и во имя общих классовых целей. В 1864 году секция Интернационала была создана и в Италии. Мы не раз встречались на этих страницах с именами Фанелли и Фриша, которые явились ее основателями. Многие другие мадзинисты и гарибальдийцы стали пионерами рабочего социалистического движения в Италии: достаточно вспомнить Биньями и Освальдо Ньокки Виани. Многозначительно то, что к Интернационалу присоединился и народный герой Рисорджименто — Джузеппе Гарибальди. Начиналось второе Рисорджименто, без дозволения Кавура и Виктора Эммануила. По мере того как повсюду разгоралась классовая борьба, надклассовые позиции Мадзини очень скоро стали анахронизмом. Точно так же и в области организации рабочих великий предтеча быстро исчерпал свою задачу: его время уже миновало.

После того как была создана Италия, нужно было создать итальянцев — это сообразил даже Массимо д'Адзелио. А как иначе их можно было создать, если не путем выведения их массами, миллионами на политическую арену и улучшения экономических, социальных и духовных условий их существования? Над горизонтом занимался социализм — поле битвы новой исторической эпохи.